



БОРИС ХАЗАНОВ

ПУСТЬ НОЧЬ ПРИДЁТ

Повести о женщинах



Название нового сборника прозы Бориса Хазанова заимствовано из хрестоматийного стихотворения Гийома Аполлинера «Мост Мирабо». Мост любви, взаимоотношения мужчины и женщины — такова сквозная тема повестей и рассказов, вошедших в книгу.

Алетейя

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬ

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Борис ХАЗАНОВ

ПУСТЬ
НОЧЬ
ПРИДЁТ

Повести о женщинах

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2013

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
X 152

Хазанов Б.

X 152 Пусть ночь придёт. Повести о женщинах. – СПб.: Алетейя, 2013. – 446 с. – (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978-5-91419-895-1

Название нового сборника прозы Бориса Хазанова заимствовано из хрестоматийного стихотворения Гийома Аполлинера «Мост Мирабо». Мост любви, взаимоотношения мужчины и женщины – такова сквозная тема повестей и рассказов, вошедших в книгу.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-91419-895-1



9 785914 198951

© Б. Хазанов, 2013
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2013

ВЗГЛЯНИ НА ИЕРОГЛИФ

Пролог. Забвение песка

*Zwischen
deinen Augenbrauen
steht deine Herkunft
eine Chiffre
aus der Vergessenheit des Sandes.*

Nelly Sachs¹

(1)

Наклонись над струйкой, следи за тем, как вода вырывается из-под камня, скользит и вьётся, и вливается в озерцо. И, успокоившись, течёт между травами и корнями деревьев, по песчаному руслу. Проводи её глазами, покуда она не исчезнет из виду. Сколько времени понадобилось воде, чтобы пробиться сквозь толщу земли, отыскать трещину в окаменелостях далёкого прошлого, растворить в себе соль веков. Подумай о том, что твоя жизнь, единственная, замкнутая в себе, на самом деле только пробег ручейка от порога к другому порогу: не правда ли, мы не догадывались, что в нас продолжается подземный ток, что ты сам — бегущая вода. Из тёмных недр прорывается безмолвие голосов, так бывает во сне, так даёт о себе знать череда предков, ты понятия не имеешь о них. А между тем ты их продолжение. Ты весь составлен из подробностей, накопленных ими, ты их совокупный портрет. Ты сбрываешь рыжую, уже поседевшую щетину на щеках — её оставил тебе в наследство пращур, современник царя Давида, а ему — патриарх Иаков, тот, кто поцеловал у колодца смуглую девочку с тёмными сосками, с лоном, как ночь, и с тех пор чёрная и рыжая масть спорили в поколениях твоих предков. Ты вперяешься в молочный экран и раздумываешь над каждой фразой, лелеешь и пестуешь язык, это потому, что твой согбенный прадед весь век вперялся в зеркальные строки квадратных букв с заусеницами и обожествил алфавит. Ты лежишь на пороге своего дома в Вормсе, в годину чумы, с проломлен-

¹ Между / твоими бровями / твоё родословие / шифром / из песчаного забвения. (Нелли Закс, перевод В. Микушевича.)

ным черепом — тебя обвинили в распространении заразы. О тебе в Кишинёве сказал поэт: встань и пройди по городу резни, и тронь своей рукой присохший на стволах и камнях, и заборах остылый мозг и кровь комками; то — они. Их уличили в том, что они — это они, а не кто-нибудь другой. Ты в очереди перед газовой камерой, и рядом стоит твой соплеменник, босой пророк из Галилеи, царь иудейский, чтобы вместе со своей верой, которую он возвестил в Иерусалиме, со всеми вами вдохнуть циклон Б и сгореть в печах. Потому что заодно с теми, кого изгоняли и убивали из века в век за несогласие признать Иисуса Христа богом и, наконец, сожгли в печах, сгорело и христианство. Да, мы древний народ, мы поплавок, качающийся на поверхности взбаламученных вод, там, где на страшной глубине, занесённые илом, лежат целые цивилизации. И вот теперь ты остановился, тайный двойник, соглядатай, в зелёном лесу, и не можешь оторвать взгляд от родника — что стоит копнуть лопатой и засыпать его землёй!

(2)

Я никогда не видел моего голубоглазого, рыжебородого деда, он умер, не дожив до пятидесяти лет, задолго до моего рождения. Он был ремесленник, бедняк, обременённый многодетной семьёй, считался знатоком Торы и Талмуда. От него не осталось портретов, не осталось ничего. От него остался я.

Я почти ничего не знаю о своих предках с материнской стороны, но помню мою мать, молодую женщину, умершую, когда мне было шесть лет; она была выпускницей Петроградской консерватории, пианисткой и художницей.

Я думаю, что во мне сказались двойное наследство — противостояние слова и музыки.

Привязанность к Слову, к листу бумаги, к начертанию букв: я ощутил её чуть ли не с раннего детства, она передалась от деда и через него — от бесконечной череды согбенных книжников. А мою любовь к музыке, жизнь в музыке я получил от матери.

Я стал писателем, потому что Слово для меня — воплощение логики, ясности и дисциплины, но эти начала сталкиваются и сливаются с тем, что не поддаётся переводу на язык слов, — с музыкой. Проза есть царство разума, но его размывают волны музыки, как ночь размывает день. Оттого чистота и логическая упорядоченность прозы смешалась в моих писаниях с фантастикой, с хаосом, с искривлёнными зеркалами, с безответственным отношением к времени, с мертвящим, как взгляд василиска, неверием в благость Творца и сомнением в разумном мироустройстве.

(3)

Отчего я не возвращаюсь — как возвращаются в родные места на закате жизни? Перипатетики философствовали, гуляя в саду перед храмом ликейского Аполлона. Существует новая философия прогулок: по прямоугольнику каменного двора, парами, руки назад, не останавливаясь, не замедляя шаг. Существует философия мёртвых коридоров, гремучих ключей, цокающих сапог и прогулочных дворов высоко на крыше главного здания Государственной безопасности в Москве...

Отчего я не возвращаюсь... Можно привести дюжину доводов, нужны ли они? Там негде и не на что жить. Государство ограбило нас дочиста. Всё, что я сделал, все следы моего пребывания в России выскоблены. Я лишён пенсии, хотя работал всю жизнь. Моя жена лежит на мюнхенском кладбище. Куда я от неё поеду?

Меня в Москве может остановить на улице любой милиционер. Моё пухлое дело хранится в архивах тайной полиции и, может быть, ждёт своего часа. Скажут: времена изменились. Но кровавая гадина жива. Они, возразят мне, теперь этим не занимаются. Но я отравленный человек.

Ты русский писатель; не спорю. Писатель должен дышать воздухом реальной жизни. Какой жизни? Дышать воздухом российской действительности. Что такое действительность?

Есть реальность памяти, она могущественней минутных впечатлений, всего хаоса, что наваливается на гостя. Новая жизнь осыпается на другой же день, как мгновенно пожухнувшая листва. Ибо память не терпит поправок. Есть действительность души, только она по-настоящему реальна.

Толкуют о читателе. Но у меня нет или почти нет читателей в России. Мой русский язык непонятен. «Ни одного человека вокруг, — жалуется изгнанник Овидий, — кто сказал бы словечко по-латыни!». Мой язык — латынь. И уже не здесь, а на родине я был бы эмигрантом. Я русский писатель, но я не национальный писатель. Где я, там русская культура, да-с; но это не культура сегодняшней России.

(4)

Одному человеку приснился сон, чей-то голос сказал ему: поезжай в Прагу, увидишь там большую реку и мост, под мостом лежит сокровище. Человек продал имущество, долго ехал, приехал, но оказалось, что мост охраняется. Каждый день он приходил, садился и смотрел на мост, постепенно к нему привыкли, он познакомился с

начальником стражи. Однажды начальник сказал: этой ночью я видел сон. Голос рассказывал о деревне, будто бы там стоит заброшенный дом, в подвале спрятано сокровище, и никто об этом не знает. Вот я и думаю, сказал начальник, не рвануть ли мне туда. А где это находится, спросил приезжий, и понял, что речь идёт о его деревне. Боясь, что его опередят, спешно отправился в обратный путь, на последние деньги добрался до места, оторвал доски, которыми крест-накрест была заколочена дверь его избы, спустился в подпол и нашёл сокровище.

(5)

Одному человеку приснился сон. Голос прошептал: бросай всё, поезжай в Прагу, там под мостом через Влтаву найдёшь сокровище. Он поехал, увидел мост, но дорогу ему преградила вооружённая стража. Он остался в городе, каждый день сидел у моста, сперва на него смотрели с подозрением, потом привыкли. Он познакомился с начальником стражи. Тот ему рассказал свой сон: будто бы где-то есть деревня, там стоит заколоченный дом, а в подвале лежит сокровище. Надо бы туда съездить, проговорил начальник, да нехорошо службу бросать. Крестьянин понял, о какой деревне идёт речь, вернувшись, стал искать свой дом, но никакого дома уже не было.

I

Взгляни на иероглиф

Как океан объёмлет шар земной...

Нижеследующий рассказ есть, собственно, отчёт о поездке для моих друзей в город детства, и ничего более; постараюсь обойтись без беллетристических украшений, но меня смущает одно обстоятельство, рискующее подорвать доверие к автору. Рассказ этот настолько же объективен, насколько и «субъективен» — именно это, мне кажется, гарантирует его достоверность. Поясню, что я имею в виду.

Стихотворение Тютчева, я думаю, помнят все:

Как океан объёмлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь — и звучными волнами
Стихия бьёт о берег свой...

Нам нелегко признать равноправие двух сторон нашего бытия. Пробуждаясь, мы с растущим недоверием провожаем плавающие в моз-

гу хлопья ночных сновидений, здравый смысл напоминает, что мы вернулись из мира фантазий в реальный мир. Но с тем же правом можно усомниться в приоритете дневной действительности, глядя на неё из бастионов сна. Если мы *отсюда* смотрим на сон как на нечто призрачное, то сон, в свою очередь, взирает на нас *оттуда*, и мнимой оказывается реальность дня.

Мысль эта стара как мир. Что же мешает нам сделать окончательный выбор? Постоянство яви и эфемерность сновидений, отвечает Паскаль. Если бы королю каждую ночь снилось, что он бедный ремесленник, а ремесленнику — что он король, они не сумели бы отличить грёзу от действительности. Если бы философ превратился во сне в махаона, говорит китайская мудрость, а махаону приснилось, что он философ, они не смогли бы решить, кто они на самом деле. Но довольно об этом; перейдём к делу.

Начну с начала, с того момента, когда, пройдя паспортный контроль, я двинулся к выходу и искал глазами в толпе встречающих человека с картонкой, на которой должно было стоять моё имя. Прошло полчаса, прошёл час. Один за другим приземлялись самолёты, выходили новые пассажиры, сменялись ожидающие, человек с картонкой не появился. Я увидел в этом дурное предзнаменование. Пришлось взять такси. Сумерки ступились. Ехали сперва довольно быстро, затем, по мере того, как огни столицы обступали нас всё гуще, движение замедлилось, шофёр едва выгребал в потоке машин. Поздно вечером добрались до гостиницы.

Новые впечатления ожидали на каждом шагу. Шутка ли, столько лет я не был в этом городе. Не могу сказать, чтобы я жаждал вернуться: все нити, казалось мне, давно оборваны. Известие было для меня полной неожиданностью. Видите ли, я всегда думал, что для того, чтобы о нас вспомнили, — если это вообще когда-либо произойдёт, — нам надо умереть. Только это условие может подарить моим сочинениям шанс возбудить сочувственный интерес на родине. Я, однако, всё ещё жив. Назавтра предстоит церемония возложения лаврового венка на мою облысевшую голову.

Мальчик потащил наверх мой чемодан. Гостиница, двухэтажное, старое, но перестроенное здание с замысловатой вывеской, находилась в самом сердце города, на улице, чьё название воскрешает память о храме Покрова Богородицы. Смутно помню эту церковь, она была снесена или, по крайней мере, порушена, но сейчас вновь возвышается, отстроенная и расписанная, как палехская шкатулка. Трамвайная линия давно уничтожена. Лялин переулок был рядом, чуть подальше остатки Бульварного кольца пересекали улицу. Направо, если стать лицом к Садовому кольцу, Покровский бульвар; налево — Чистые Пруды; городпалимпсест всё ещё хранил следы старинной планировки.

Внутри моя гостиница оказалась много вместительней, чем показалось снаружи. Путаница лестниц, ведущих то вверх, то вниз, переходов с зеркалами, откуда навстречу поднимается загадочный двойник. Войдя в номер, я сбросил одежду и через несколько минут уже спал.

После завтрака оставалось свободное время, я вышел пройтись. Но разгуливать здесь не так просто. Я очутился в городе, охваченном перманентной лихорадкой. Привычная теснота теперь достигла невозможной степени. Как и накануне, улицу загрохотали машины, утрюмые толпы колыхались на узких тротуарах. Вас могли запросто сбить с ног. Самый воздух содержал, вместе с выхлопными газами, некую субстанцию, от которой кружилась голова и путались мысли. Меня вынесло к бывшему Земляному Валу. Я говорю: бывшему, оттого что здесь мало что можно было узнать. Исчез кинотеатр, исчезли домики и лавчонки моего детства, вместо них воздвиглись многоэтажные сооружения, огромные рекламные щиты взывали к небесам на непонятном языке. Столица, ослепительно новая, напоминала разодетую в пух и прах старуху, у которой под париком спрятаны седые космы, под густым слоем морщин — глубокие морщины.

Несколько времени погода я вынырнул в переулке, по которому некогда ходил в школу. Здесь было спокойней. А вот и Юсуповский сад, кованые чугунные листья высокой ограды, сиротливые деревья и причудливый дворец. Большой Козловский — ещё немного пройти, окна нашего дома. Мне пора было возвращаться.

Я устал, рассчитывал прилечь, но зазвонил телефон: за мной приехали. Надо было привыкнуть к тому, что приходится выезжать заблаговременно, движение на проезжих улицах происходит едва ли не со скоростью пешехода. Кажется, в гостинице остановился ещё кто-то, приглашённый участвовать в церемонии. Я попросил дежурную передать, чтобы сопровождающие поднялись ко мне в номер. Как вдруг оказалось, что в комнате я уже не один.

Гость был в широком и бесформенном, балахонообразном пальто, какие сейчас никто не носит, в кепке, надвинутой на лоб, вертикальные борозды прорезали серое лицо, отчего оно как будто сползало вниз. Гость помалкивал, я тоже не нашёлся что сказать.

Не ожидая приглашения, он уселся за круглый столик, приблизил лицо к вазе с цветами. Неужели настоящие?

«Если, — возразил я, — вы имеете что-нибудь мне сообщить, то, пожалуйста, покороче. Меня ждут внизу».

«Это я тебя ждал... Ты говоришь мне “вы”?»

Я растерялся: ведь я своего отца помню совсем другим; он не был стар. Он был хорошего роста, я едва доставал ему до пояса. Носил габардиновый плащ и низко, важно надвинутую кепку с большим ко-

зырьком. Свою мать я почти не помню. Существовала фотография: мы втроём, я посредине, мне не больше трёх лет. Моя мама часто ездила на гастроли с театром, неделями, даже месяцами её не было дома. Я научился не скучать по ней. Однажды она уехала и не вернулась. Мы окончательно остались одни.

Мой отец был молод, высок и красив. Из-под козырька с насмешливой любовью смотрели на меня его зелёные глаза. Таким он отправился на сборный пункт в первую неделю войны; это был последний день — с тех пор я его больше не видел. Как почти всё народное ополчение, спешно созданное и отправленное на фронт, он скорее всего погиб где-нибудь под Вязьмой; вообще же говоря, судьба этого войска осталась неизвестной.

«Мы опаздываем, — он взглянул на часы, — неужели нельзя было вовремя одеться...»

Я надеялся, что отец забудет про бант. Не тут-то было. Мы стояли перед зеркалом в дверце шкафа, он подтянул галстук и нагнулся ко мне, поправить шёлковый, ярко-красный бант, щекотавший подбородок. Ненавистный бант, который делал меня похожим на девочку. Перешли трамвайную линию, папа крепко держал меня за руку, зорко поглядывая по сторонам, и я вспомнил турникет у выхода из Чистопрудного бульвара в Большой Харитоньевский переулок, прогремевшую мимо «аннушку» с буквой А на белом диске головного вагона и собаку, прыгавшую навстречу мне на трёх лапах. Задняя нога была поджата, из неё лилась на булыжную мостовую алая кровь.

Когда мы вошли в невзрачное, как почти все дома на этой улице, здание с табличкой у входа и поднялись по лестнице, вступительные испытания уже начались, в коридоре толпились родители с празднично наряженными детьми. Дверь отворилась, разъярённый папаша, держа за руку испуганную девочку с огромным белым бантом в чёрных волосах, кричал, что он будет жаловаться. Следом вышла полная, очень строгая тётя и назвала мою фамилию. А вы, сказала она моему отцу, видимо, под впечатлением спора с родителем непринятой девочки, посидите в коридоре.

Я стоял перед роялем, вспотевший, мучимый своим бантом, полная дама сыграла одним пальцем короткую фразу, я простучал карандашом по крышке рояля ритм. Снова была сыграна мелодия, я пропел её. После чего наступил главный момент. Я тяжело дышал, неожиданно ласково она сказала: «Ты можешь снять» — и сама распустила мне ленту. Я спел революционную песню:

Заводы, вставайте, шеренги смыкайте,
На битву шагайте, шагайте, шагайте!
Проверьте прицел, заряжайте ружье...

Дама сочувственно кивала, и я вернулся в отель.

Там было тихо, в номере стоял нераспакованный чемодан, на столе телефон; нажав на цифру гостиницы — выход в город, — я позвонил в секретариат премии, чтобы сообщить о своём приезде, после чего спустился перекусить в буфете, прежде чем отправиться на занятия в школу. Я не умел настраивать скрипку, учитель, высокий тощий человек с бабочкой на шее, поворачивал колки, придерживая подбородком мою детскую скрипку-половинку. Я стоял, вознеся это орудие казни, перед пиюитром, по вискам моим катился пот, плечи ныли, рука, державшая гриф, непроизвольно опускалась, стараясь незаметно опереться локтем о грудь; потные пальцы скользили по струнам. То и дело учитель вставал с места, подходил ко мне, похлопывал по спине — выпрямиться, выше локоть, не горбись, не опирайся грифом на ладонь, кисть должна висеть свободно. В другом классе, там, где когда-то происходил приём в музыкальную школу, все сидели за партами, висела доска с нотным станом, дородная дама (та самая) рисовала мелом продолговатые, как миндалины, ноты, и был ещё один зал, где происходили занятия ритмикой. Раздавались команды, рояль стучал и дребезжал, это был Марш военно-воздушных сил: *всё выше, и выше, и выше стремим мы полёт наших птиц*; это был Глинка, марш Черномора, там, в облаках перед народом, через леса, через моря колдун несёт богатыря; в одних и тех же небесах — почему бы и нет? — гудя, проносились краснозвёздные стальные птицы и летел злой карлик, и теперь он, держа на весу серебряную бороду, маршировал и приплясывал впереди. Ученики, в спортивных тапочках, трусах и майках, высоко поднимая колени, дефилировали следом за карликом, как вдруг девочка, у которой резинки с застёжками на чулках высовывались из-под сатиновых трусов, та самая дочка с бантом в чёрных волосах, которая провалилась на экзамене, но её родители всё же добились своего, — споткнулась и шлёпнулась на пол. Учительница выбежала из-за рояля, хоровод расстроился, девочку подвели к окну, слезы висели у неё на длинных тёмных ресницах. Я узнал её, она жила в нашем доме, но никогда не выходила играть со всеми во двор; изредка я видел её в окне второго этажа, она следила с завистью за нашей беготнёй.

Черномор отлепил бороду, намотал на скалку и спрятал в портфель. Школа опустела. Черномор устал, что-то прошамкал, ему нужно было успеть на праздник в детский сад, а потом ещё в одну школу.

«Ты ждёшь свою маму?»

Я ответил, что у меня нет мамы.

Он качал головой, поглядывал на меня своими склеротическими еврейскими глазами. Давно пора было возвращаться в гостиницу, мы

стояли на тротуаре, пережидая проходивший мимо трамвай, карлик крепко держал меня за руку, он был почти такого же роста, как я. Откуда ты приехал, спросил он, и я чуть было не ответил: из Германии.

«Ниоткуда», — сказал я.

Он продолжал спрашивать: где я живу? Знаю, как же, кивнул он, когда я назвал Большой Козловский переулок. Черномор спешил, но не бросать же меня на середине пути.

«Это страшный город, — сказал он, — опасный город, нельзя одному ходить по улицам». Что он имел в виду: уличное хулиганье или движение транспорта? Очевидно, последнее: как раз в эту минуту, дребезжа, шёл трамвай.

Едва только освободился путь, я вырвался и, не простившись, побегал к вывеске моей гостиницы, куда вошёл уже взрослым человеком.

Вечером, не зная куда себя деть, я сидел в ресторане отеля, зал постепенно заполнялся людьми; я спросил девушку, подошедшую ко мне, не хочет ли она выпить со мной. Ответом был молчаливый кивок, без всяких церемоний она уселась напротив меня. Её глаза были густо подведены, крошка чёрной краски повисла на ресницах, напомнив мне слезинку на реснице у девочки в музыкальной школе. Я сказал ей об этом. Принесли коньяк. Я сразу догадалась, сказала она.

«Догадалась — о чём?»

«Что это ты. Тебе присудили премию».

«Я думал, — сказал я, — что для того, чтобы стать известным, надо сперва умереть. Может, я и вправду умер? И явился с того света».

Она рассмеялась. Мне понравилась эта тема, я хотел сказать, что и по ту сторону жизни можно видеть сны. Она не слушала.

«А ты меня, я вижу, не узнаёшь!»

Заиграла музыка, люстра метала разноцветные огни, мы вышли из-за стола. Моя партнёрша танцевала профессионально, затуманенными глазами смотрела на меня, время от времени, после резких поворотов, словно бы ненароком прижималась ко мне животом и грудью. Её губы были приоткрыты, свежее дыхание обвевало меня. *Warmädchen*.

«Что это?»

«Девушка в баре».

С прелестной ужимкой, опустив накрашенные ресницы, она сказала, что я могу пригласить её к себе наверх, плата входит в стоимость номера. Всё так же согласно мы двигались в ритме танго. «Только я, — прибавила она, — подошла к тебе не для этого. Помнишь Черномора?»

«Конечно, — сказал я. — Тем более что мы только что виделись... Но ты поразительно молода. Столько лет прошло».

«Это для тебя прошло. А собаку, попавшую под трамвай, а верблюда — помнишь?».

«Я всё помню», — сказал я и чуть было не прибавил: и как твой отец кричал, что будет жаловаться. И чулки на резинках помню. Мы допили коньяк, я оставил на столе чаевые, мы перешли на ту сторону улицы и миновали музыкальную школу, всё ещё существующую, — «смотри-ка, — проговорил я, — кто идёт!» Мой отец шагал навстречу, держа под мышкой чехол со скрипкой, и рядом бежал мальчик. Отец вёл меня в школу. Вот так же, рассказывал он, шли Бетховен и Гёте по аллее в Бад-Тёплице. А навстречу им двигалась нарядная курортная толпа, знатные дамы и кавалеры, и Гёте, сняв шляпу, стоял сбоку от дороги и раскланивался, а Бетховен, представь себе, надвинул шляпу на лоб, скрестил руки на груди и молча, ни на кого не обращая внимания, прошагал сквозь расступившуюся толпу. Мой отец всегда рассказывал мне о великих композиторах по дороге в школу.

«Они нас не узнали, — пробормотал я, не совсем понимая, кого я имел в виду, — не обращай внимания...». Обогнув рыбный магазин, мы вступили на бульвар. За газонами, по ту сторону ограды, где проложены рельсы, «аннушка» приближалась, громко звоня, чтобы снова не задавить собаку. Я обернулся: один за другим оба вагона, покачиваясь, обогнули бульвар и скрылись в узком проезде на Покровку. Когда-то здесь, сказал я, на месте лодочной станции, цветочных клумб и аллей, знаешь, что было? Пруды, заросшие ряской, и топкий берег в камышах, и назывались эти пруды грязными, пока их не почистили при царе Алексее Михайловиче. И вот прошли столетия, от Чистых прудов остался один пруд, окружённый штакетником.

«Откуда ты всё это знаешь, это тебе твой папаша рассказывал?» — спросила Люда, — теперь я вспомнил, как её звали, она жила в нашем доме, только не выходила никогда во двор. Стояла очередь, к нам приближался, выбрасывая мозолистые ноги с двумя толстыми пальцами, жуя губами, высокий, мохнатый, горбоносый, надменный верблюд, и в корзинах, висевших между горбами, покачивались, как грибы, детские головы. Вожатый с длинной жердью в руках, похожий на дрессировщика в цирке, щёлкнув языком, остановил верблюда, вынимал из корзины каждого пассажира и ставил на землю. Моё сердце колотится от любопытства, нетерпения, счастья, вожатый подхватывает меня под мышки и сажает в корзину, где уже тесно, где рядом со мной, в лёгком пальтишке и капоре, сидит моя ребяческая любовь. И мы отправляемся в странствие по круту, впереди на длинной отвислой шее невозмутимо покачивается губастая голова с хохлом, вышагивают длинные ноги, — ах, заволновалась моя подружка, меня там, наверное, хватились. Клиенты ждут девушку из бара. Я с негодованием покосился на Люду; она слегка развела руками. Работа как работа.

Мы поплелись назад...

«Только мужской интеллект, опьянённый сексуальным инстинктом, мог назвать красивым этот низкорослый, коротконогий и широкозадый пол...»

«Кто это сказал?»

«Шопенгауэр. Был такой философ».

«Дурак он, твой философ... И потом, у меня вовсе не короткие ноги. Хочешь меня?»

«Но на самом деле, — продолжал я, хотя то, что я собирался сказать, мысль, которая меня преследовала, явно не имела никакой связи с предыдущим, — на самом деле действует закон зеркала».

Людмила криво усмехнулась; кажется, она подумала: чего ради терять с ним время? Я продолжал:

«Ты разглядываешь себя в зеркале, а из зеркала та, другая, смотрит на тебя и думает, что ты — её отражение. Ты вспоминаешь прошлое, а прошлое вспоминает тебя. Видишь сон, а там считают, что ты им снишься... Где тут правда, где обман?»

Её голос донёсся:

«Ты совсем задурил мне голову. Выходит, и я — только сон?»

«Не знаю. Бывают сны наяву. Мы на грани времён. То, что произошло ночью, кажется нам мнимостью, а во сне сновидением кажется день. Сон может длиться одно мгновение, но это только здесь. Потому что время, вот эта круглая рожа циферблата — всё это существует в дневном мире... В пространстве сна времени нет».

Померкла люстра из фальшивого хрустала, исчез город за окнами. Лампочки под чёрными колпачками освещали пюпитры и подбородки музыкантов, и огоньки свечей дрожали на столиках гостей; молча, лениво она поднялась, я взял её под руку, и, обогнув тени танцующих, мы прошагали к портюере. Лестница звала наверх. И снова, как в день моего прибытия, из лабиринта коридоров навстречу поднялся двойник, теперь он был во фраке, с бабочкой на шее, с искусственной розой в петлице, и, опираясь на его руку, рядом ступала поддельная красавица.

Мой номер, чисто прибранный, неузнаваемый; ночник над широкой кроватью, и отражённая в тусклом стекле призрачная пара. Как ты меня находишь, спросила та, что когда-то споткнулась на занятиях ритмикой, сейчас она была без всего, с нагими опущенными руками, с тщательно выбритым причинным местом, и я ответил, что не видел женщин прекрасней.

«Ты хочешь меня? Тогда за чём дело стало. Или ты боишься? Не волнуйся: нас проверяют. Медосмотр каждую неделю».

«Воззришь! — Я покосился на Люду, но её губы были сомкнуты. Голос звучал из зеркала. — Взгляни на этот иероглиф, на эту букву игрек, образованную двумя косыми складками паха и вертикалью сомкнутых ног... У тебя есть шанс, ты можешь его разгадать».

«Да, но после этого ты уже не будешь такой...»

«Э, что за беда. Немного времени пройдёт, загадка восстановится».

«Нет там никакой загадки...»

«А это мы ещё посмотрим!» — сказала она лукаво.

Я возразил: «Но меня всё равно уже не будет».

«Ты собираешься умереть?»

«Я уеду. У меня виза всего на три дня».

«Уедешь, а потом вспомнишь. И вернёшься ко мне».

«У тебя много других...»

«Зачем об этом думать? Мы здесь одни. Думай о том, что будет сейчас».

Она вышла из зеркала и стояла теперь возле кровати.

«Но чем же всё-таки объяснить... — сказал я, уходя от темы. — Чем объяснить, что я состарился, а ты молода и прекрасна?»

«А не надо ничего объяснять. Боишься, что не получится? Это, малыш, зависит от меня. Я тебе помогу. Снимай свои штотки. Подойди ко мне сзади, обними меня, возьми мои груди в ладони. А! — воскликнула она. — Понимаю. Ты ревнуешь. Но ведь это было очень давно. И вообще, какая разница: сломал целку, не сломал?»

Неожиданная грубость опечалила меня. Я опустил голову. Вот ты и заговорила настоящим своим языком, подумал я.

«Не сердись. Ну, ляпнула не подумавши... сама не знаю, что говорю. Я не помню. Я его с тех пор больше не видела».

В спальне было тепло, но она озябла, я подал ей халат.

«Я думаю, — проговорила она, — он давно умер».

Это была неправда. Мы стояли все трое, переминаясь с ноги на ногу, возле пожарной лестницы.

Мальчик с серыми, злыми глазами — ещё бы его не узнать! Гибкий, грубый, отважный и наглый. Поплевав на ладони для шика, он полез наверх по ступенькам из арматурных прутьев. Я и сам сколько раз лазал по этой лестнице на крышу нашего дома, но чтобы так riskовать... На высоте второго этажа лестница крепится к стене двумя железными штангами. И вот он придвинулся к краю, левой рукой схватился за перекладину, правой держится за лестницу. «На-ра-ра...» — он там что-то пел и, кажется, даже «Заводы, вставайте», — неужели та самая песня? Ловким кошачьим движением, изогнувшись, перехватил второй рукой перекладину и повис в пустоте между лестницей и стеной дома, болтая ногами, как на турнике. Я взглянул на Люду — в страхе и восторге, открыв рот, она смотрела на него. Героя звали Юрка Казаков, Казак.

Он отодвинулся, перехватывая штангу тонкими руками, ещё дальше от лестницы, подтянулся раз и другой, силясь коснуться перекладины подбородком, затем просунул ноги между руками, отпустил руки и повис, качаясь, вниз головой. Я снова покосился на девочку. «Ты! — сказал я. — Ты не спускала с него восхищённых глаз!» — «Ничего не помню», — быстро сказала Людмила. Мы всё ещё стояли в моей комнате с зеркалом, ночником и кроватью.

«Ты не сознавала, что должны были означать эти полуоткрытые губы...».

«По-моему, — отвечала она, — ты просто помешался».

Мы топтались у подножья пожарной лестницы, и теперь я был ещё дальше от неё, ещё безнадежней. Валкой походкой Казак подошёл к ней вплотную. Она не отодвинулась. «Поцелуй меня!» — скомандовал он. Ты не двинулась, ты смотрела и не смотрела на него, полуопустив ресницы. Тогда он схватил тебя за голову и громко, смачно чмокнул в губы.

«А ты чего тут торчишь, — сказал он. — Вали отсюда, у нас свои дела...»

Женщины всегда достаются победителю. Что мне ещё оставалось делать? Они ушли.

Я спросил: где это произошло?

«Что?»

«Это!»

«Ничего не произошло. Не было ничего».

«Нет, было! На лестничной площадке. Где с двух сторон двери квартир, а посередине окно во двор».

«Писатель, — сказала она презрительно. — Выдумал, а потом получишь за это премию».

«Он прижал тебя к подоконнику».

«Откуда ты знаешь?»

«Знаю. А потом ты опустилась на пол».

Несколько времени я простоял в задумчивости, потом двинулся за ними. Я шёл на цыпочках, и было совсем тихо. Я поднялся на второй этаж, и там никого не было.

«Вот видишь, — сказала Люда. — Я просто ушла домой».

«Но тебе самой хотелось попробовать».

«Ничего мне не хотелось».

«А он куда делся?»

«Казак? Почём я знаю».

Я крался по лестнице, и внезапно мне всё опостылело; я остановился. Плевал я на них, пусть делают что хотят. Мысленно я произнёс это слово, означавшее, что именно они там делают. Наша квартира на-

ходила в другом подъезде. Пойду сейчас домой и докажу вам всем. Отец на работе, мне никто не помешает. Привяжу верёвку к крюку, на котором висит люстра, встану на стол и спрыгну.

Она меня догнала.

«Тебя зовут к телефону».

Холодно, презрительно я оглядел её с головы до ног и, ничего не сказав, зашагал дальше.

«Тебя к телефону!»

«К какому ещё телефону?»

«К нашему...»

Я не стал спрашивать, кто, и в чём дело, и почему звонят в квартиру, где живёт Люда, коротко бросил: «Да пошла ты...», несколько минут мы шли рядом, и непонятная надежда шевельнулась во мне, я почувствовал, что мне расхотелось кончать жизнь самоубийством. Я повернул голову увидел девочку, и её красота окончательно сразила меня. Дверь чёрного хода была открыта, мы прошли через коммунальную кухню, в коридоре на стене висел телефонный аппарат, и трубка болталась на проводе. Звонили из гостиницы, мне пора было отправляться на церемонию присуждения литературной премии.

II

Костёр

Гости собрались в просторной гостиной, она же музыкальная комната, прекрасный летний день, за окнами всё утопает в зелени. Всё ещё неугасшая традиция домашних концертов. Три пьесы Шуберта D 946, из посмертного, бодрое *Allegro assai*, в котором слышится затаённая тоска. После музыки закуска и болтовня; я прощаюсь.

Я собрался писать — о чём? Не всё ли равно. Я мечтаю о прозе, свободной, как музыка, от «идей», мне грезится повесть, в которой отменены все правила повествования, вместо этого — каприз прихотливых сцеплений, встречных образов, поворотов, возвращений. Так гребец оставляет вёсла и ложится на дно лодки. И чувствует, как течение уносит его на своей спине. Друг мой, вам это знакомо: усталость от классической прозы в корсете с перетянутой талией, с претензией навязать действительности некую онтологическую благопристойность. Но не я ли твердил, что достоинство литературы — в сопротивлении хаосу? А между тем какой соблазн бросить вёсла. Как тянет испытать сладкое головокружение, заглянув в бездну. Горячие от солнца крыши нашего детства: карабкаешься по железной лестнице, добираешься до громыхающей кровли, до угла, забираешься на брандмауэр соседнего дома и, подойдя к краю, боком, упёршись ногой, заглядываешь вниз. И видишь себя самого, разбившегося, распластанного на асфальте, там, на дне двора.

Гости собрались в музыкальной комнате, пианист опускает крышку рояля, тут лукавая двусмысленность литературы тотчас даёт себя знать. Хочешь освободиться, ан нет, словесность призывает тебя к порядку. Изволь явиться перед читателем в приличном виде, при галстуке и с розеткой в петлице. Тонкий аромат роз, щебет за окнами и женский щебет; дамы слетаются над пирожными, маленькими глотками отпивают кофе из крошечных чашек. Не вы ли мне внушали, мой друг, что жизнь не нуждается в том, чтобы её упорядочила литература, жизнь существует ради себя самой, её смысл и оправдание — в ней самой. В мире всё есть как есть и всё происходит так, как оно происходит сказал Витгенштейн.

Я мог бы возразить, — если вы ещё способны меня слушать, — что тезис о самоценности есть отрицание ценности, и утверждение, будто смысл нашего существования заключается в нём самом, равнозначно признанию бессмыслицы. Сказать, что жизнь — самоцель, всё равно что сказать: цель жизни — смерть.

Похоже, что в самом деле жизнь, какова она есть, жизнь сама по себе — бессмысленна, как бессмыслен абсурдный мир вокруг. И что тайный импульс нашего существования, двигатель внутреннего сгорания, — это тяга к смерти. Но зато у нас есть литература. Преобразить жизнь, свою или чужую, в нечто такое, в чём мерцает, как костёр в тайге, высший смысл, противопоставить пламенеющее бытие человека неглядной тьме — не таков ли проект литературы?

Вот вам на первый случай одна идея, вы спросите, какое отношение она имеет к сказанному. Если можно мгновенно перенестись в прохладу московского двора, куда не заглядывает солнце, поставить ногу на ступеньку-перекладину пожарной лестницы и схватиться за верхнюю перекладину, на всю жизнь сохранить в ладонях ощущение шершавого железа, — и вот я лезу наверх, этаж за этажом, выбираюсь на буро-красную, с чешуёй шелушащейся краски, крышу, — если это так просто — передвигать как попало стрелку часов и лет, то почему бы вовсе не пренебречь временем?

Если можно свободно смешать «события», перетасовать лица и происшествия, — долой каузальность!

Заглянуть, как только что заглядывал в пропасть каменного двора, за кулисы времени, и увидеть себя тогдашнего, и понять, что «теперь» и «тогда» — лишь поручни нашего сознания, что благословение детства в том, что оно игнорирует будущее и не знает прошлого, благословение памяти — что она отменяет грамматику с её парадигмой глагольных времён. Память, не правда ли, — ведь это модель вечности, где всё происходит одновременно.

Память, шаровая молния, влетевшая в ночное окно. Память, которая носится от прошлого к настоящему, и снова назад, цепляется за что попало, порхает туда и сюда, обнюхивает, как собака, давно не существующих людей, предметы, тёмные углы.

Довольно трепаться, присядем на рельсы, помолчим, я устал, возвращаясь из дальнего квартала, путь по шпалам — единственный, по которому можно добраться до лагпункта, но сумеречная даль обманчива, и показались огни. Эшелон приближается к границе. Некто на своей даче-крепости едва успел улечься; ночной человек, он всегда засыпает перед рассветом; половина третьего, ночь накануне летнего солнцестояния, ещё неделю тому назад высокий чин из Народного комиссариата обороны докладывал, что рейх завершил подготовку к вторжению, Розенберг объявил, что буквы СССР в самое близкое время исчезнут с географических карт, — обо этом-де сообщает источник, действующий в штабе Люфтваффе. На что карлик с лицом, изрытым оспой, тот, кто сейчас лежит, как труп, на спине, усамй кверху, ответил не медля: ложная информация, пошлите ваш источник к е... матери! Ближистя рассвет, всё ярче огни, и уже подрагивают рельсы, — отскочить прочь, скатиться вниз по насыпи! Навстречу слепящему лобовому прожектору и красной звезде на брюхе локомотива несётся пограничный столб с орлом и свастикой в когтях, протяжный гудок приветствует могущественного соседа, гремят колёса на стыках, пронесли мимо контейнеры с зерном, рефрижераторы с мясными тушами, цистерны с нефтью, занимается заря, дребезжит телефон в комнате дежурного генерала, начальник генштаба требует разбудить «его». И вновь глухой желудочный голос призывает не поддаваться на провокацию. Какая провокация, товарищ С.! — молящий голос генерала, — бомбы сыплются на наши города.

Этого не может быть, и оттого, что не может быть, это происходит. Чёрный рупор на крыше углового здания исторгает счастливую музыку, марш военно-воздушных сил, под который маршировали в музыкальной школе на Покровке, хочется плясать, шагать, махая локтями, всё выше и выше, и выше стремим мы полёт наших птиц, соседка плачет на кухне, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ! И дальше по крышам, в просвет переулка, на улицу Кирова, рвутся с крыш эти мелодии, если завтра война, если завтра в поход, весёлая, грозная музыка, под которую строем шагают войска, штыки наперевес, летят, отпустив поводья, краснозвёздные конники в суконных будённовских шлемах, пашки наголо, мчатся лихие тачанки, и соседка плачет, и впереди всех, словно фараон на колеснице, вождь с простёртой рукой.

На Берлин! Вероломный враг... Но рабочий класс всех стран на нашей стороне. Пролетариат Германии на нашей стороне. Пусть осенит вас образ наших великих предков, Александра Невского, Василия Чапаева и кого там ещё... На Чистых прудах лежат на газонах похожие на огромные сардельки азростаты воздушного заграждения, которым не дано было подняться в воздух, воют сирены — граждане, воздушная тревога, — по тёмному небу мечутся белые струи прожекторов, и ты стоишь, задрвав голову, вперяясь, ищешь, когда появится в скрещении лучей летучий чёр-

ный таракан. Взрыв где-то поблизости, кажется, в Машковом переулке упала бомба, ну и что, нам всё нипочём, люди бегут с детьми на руках к полукруглой, как вход в туннель, станции «Красные Ворота», вниз по лестницам, скорее, перед выходом на платформу створы тяжёлых герметических дверей готовы закрыться на случай газовой атаки. Будь готов к противохимической обороне! Будь готов к санитарной обороне. Юные пионеры, будьте готовы! Pioniere, seid bereit! Рот-фронт! Свободу Эрнсту Тельману! Но, как выяснилось, вы что, не слышали: немцы — истинный враг славян. Люди лежат вповалку, у некоторых с собой подушки. Но когда объявлен отбой, почему-то нельзя выйти, толпа бредёт по шпалам в полутёмном туннеле до следующей станции, бригады идут на рассвете по шпалам узкоколейки, конвой спешит с автоматами поперёк груди, впереди вахта производственного оцепления, впереди свет, платформа станции «Кировская», и я вбегаю во двор нашей школы.

Это большой двухэтажный бревенчатый дом, вокруг зелёный луг, не сравнить с каменным московским двором; школьный двор в оккупированном городке, для которого ещё нужно придумать подходящее украинское название, где я стою рядом с генералом Паулюсом, ещё не генерал-фельдмаршалом, мы шуримся от яркого солнца и смеёмся, мы не знаем, что нас ждёт; кто бы подумал, что год окончится катастрофой и гибелью в снегах под Сталинградом.

Бывший капитан вермахта разглядывает старую фотографию. (Подзреваю, что вы мою повесть не читали.) Солнце палит с высот, горят поля пшеницы, ползут вперёд броневые колонны, гранадёры, голые до пояса, стоят в открытых люках, где-то далеко уходит к Дону отступающая Красная Армия, но мы за тысячу километров от фронта; каникулы, школа пуста, я один во всём здании, я поднимаюсь на второй этаж, толкаю дверь библиотеки, я снимаю с полки книгу и ложусь с книгой на стол, забыв обо всём на свете. Второе лето войны, кто мог подумать, что я когда-нибудь о нём напишу, и напишу о том, как я о нём написал; второе лето, раскиданные даты жизни, — что получилось бы, какая составила бы причудливая биография, если бы, собрав места и события, разложить их по-другому, как складывают наугад шарики детской мозаики. Я сижу на полу.

Что делать? В комнате стелется дым. От огня на паркете осталось чёрное пятно, — это наше жильё, коммунальная квартира на первом этаже, Большой Козловский переулок, 3/2, но чур не отвлекаться, ещё далеко до победной музыки из уличных громкоговорителей, до мужественного, как лязганье танковых гусениц, хора: вставай, страна огромная; я сижу на полу среди надоёвших кубиков, рассыпанной мозаики, я раскладываю костёр из спичек. Но когда коробок пустеет и гаснет пламя, ужас — чёрное пятно на паркете, сейчас вернётся Настя, вечером придёт с работы отец. Вечер наступил, никого нет, мы в эвакуации, Нас-

ты осталась в Москве, нет и отца, всё народное ополчение сгнуло в лесах между Вязьмой и Смоленском, осталось выжженное чёрное пятно, я придумал затереть его мокрой тряпкой, тёмная полоса маскирует преступление, но предательский дым стелется в комнате, бежать из Москвы от грохота приближающейся армады, от пулемётного стрекотанья мотоциклов, несущихся по дорогам, солнце пылает с небес, горят деревни, горит спичечный костёр на полу, летучее пламя пожирает спелую пшеницу.

Второе лето войны! В клубах пыли, с лязгом и грохотом движутся танковые колонны, гранадёры без шлемов стоят в люках, шагает, горланя песни, пехота. А там — сверкающее лезвие Дона, переправа у Калача, где я никогда не был, но когда-нибудь напишу об этом, и напишу о том, как я это написал, и окажусь в лабиринте зеркал, где мелькает мой Doppelgänger, тот, кто притворился мною. И уже маячит в лиловом мареве заветная цель, виден в цейссовском бинокле раскинувшийся вширь город. Не видать им красавицы Волги, и не пить им из Волги воды!.. Задышающийся от счастья довоенный голос Любви Орловой...

.....

Гости собрались в просторной гостиной, летний день за окнами, Klavierstück D 946, рукопись, найденная в бумагах Шуберта, дамы лакомятся пирожными, отпивают из чашечек кофе маленькими глотками, и я бреду по аллее под нависшей листвой, поднимаюсь на насыпь и сижу на рельсах, жду, когда покажется вдали дымок паровоза, когда пронесётся мимо пограничный щит с орлом и свастикой, когда, наконец, я сумею собрать раскатившуюся по полу мозаику моей жизни. Вот картон с круглыми гнёздами, я выкладываю из цветных шариков узор, глядите-ка что получилось!

И снова музыка, и я всё ещё шагаю по тенистой аллее, не заметив, что дошёл до U-Bahn, станции метрополитена, и очутился в центре города, эскалатор вынес меня на площадь Одеона, — какая встреча! Она там стоит. Моё сердце колышется, как шар, налитый расплавленным оловом, — но как ты здесь очутилась?

Как очутилась... очень просто. Где ты, там и я.

Репейник памяти! Ты заслушался Шуберта, уронив голову, ты погрузился в полусон, сидя на рельсах лагерной одноколейки, зачитался, лёжа на столе библиотекарши в опустевшей сельской школе, впереди осень, я поступлю в седьмой класс, впереди зима, и Шестая армия Паулюса уже похоронена под снегами, сердце моё колотится от предчувствия, я выезжаю из подземелья — слепящее солнце, воскресная толпа, и Нюра стоит в легнем платье с короткими рукавами-фонариками, с полукруглым вырезом на груди, озираясь, неловкая, неуклюжая, немисливо красивая, у входа в Hofgarten.

По-русски — Придворный сад, говорю я; а это, — и показываю на тяжёлый портал с двумя гербами, на башни с баварскими львами-флюгерами, — а это Teatinerkirche, был такой монашеский орден театинцев, холодная, помпезная церковь с гробницами курфюрстов и королей.

Да, это была та самая зима Сталинграда — помнишь, как ты вошла в комнату, и огонёк коптилки вздрогнул в чёрном оконном стекле, те самые дни, когда немец захватил почти весь город, сплошные развалины, и река, вся в огне, уже была, вероятно, в нескольких десятках метров, и главнокомандующий сидел со своим штабом в подвале на площади Героев, а тем временем были подтянуты свежие силы, и двойное клещевидное контрнаступление началось, и четверть миллиона солдат Шестой армии и части Четвёртой танковой армии, и остатки двух румынских армий, да ещё венгры, да ещё русские вспомогательные отряды — всё оказалось в кольце, и отчаянный танковый прорыв Манштейна захлебнулся, и ударили сорокоградусные морозы, и свирепый ветер нёсся над половецкой степью. Ты вошла в пальто, накинутом на ночную рубашку, на твоих волосах поблескивал иней, чахлый огонёк заметался на столе. Но как же, девушка, ты оказалась тут, в этом городе?

А ты, спросила она и, вздохнув, вынула кружевной платок из рукава на резинке, да, сказал я, была та первая, ужасно холодная зима, когда русский Бог спохватился и помог отогнать немца, а теперь жаркое лето, весь взмок, пока доплёлся до школы, — каникулы, пусто, прохладно, и я озираю книжные полки в библиотеке, а дивизии вермахта снова рвутся вперёд, уже теперь ясно — к Волге. Откуда ты всё это знаешь, спросила она, ведь об этом ничего не сообщают, и как всё было на самом деле, узнали только теперь. Когда — теперь? Это теперь было всегда, и хочется написать нечто свободное от всех этих «после того как», и понять, что порядок времён — всего лишь грамматика для зубрил. Ты здесь, Нюра, и тебе двадцать лет, вот что главное.

Но что же мы стоим? И мы отправились в тень, свободных столиков нет, я спросил, можно ли подсесть, у одиноко сидящего человека, он кивнул, поднялся и сказал: я ждал вас. «Ты его знаешь?» — спросила она, поглядев ему вслед. Я пожал плечами. Барышня в коротких штанишках, прикрытых фартуком, принесла чаши с мороженым, похожие на башни придворной церкви театинцев, — да, продолжал я, мы привыкли держаться за нить повествования, как Тезей за нить Ариадны, но память не есть воспоминание о прошлом, память — это присутствие. Ты явилась поздним вечером, томит бессонница, нет ли чего-нибудь почитать, на тебе зимнее пальто с узким воротником искусственного меха, накинутое на рубашку; поздно, все спят, и видно, что ты сама только что встала с постели. И ты присела, положив руки на стол, и наклонилась поглядеть, что я там пишу, — или, может быть, сделать вид, что тебя это

интересует, — и твои груди поднялись в вырезе рубашки; уловив мой мгновенный взгляд, ты запахла. Нравится ли тебе мороженое, не заказать ли ещё одну порцию? Это было инстинктивное движение. Ты отпрянула от стола. Сознавала ли ты, когда облокотилась о край стола, что я увижу, как они встанут из выреза рубашки? Язычок огня колыхнулся, — там твои плечи и открытая шея в ночном окне, и моё лицо, освещённое снизу, словно лицо преступника, тетрадь с дневником и том Герцена, и как он красуется перед юной Natalie, изображает из себя умудрённого жизнью в письмах из Владимира, и его рассказ в «Былом и думах» о том, как однажды в Москве он вернулся домой на рассвете и дверь ему отворила горничная, и было видно, что она только что встала с постели. Платок брошен на плечи, она придерживает его спереди, и рука его почти произвольно тянется к платку — её грудь обнажена.

О чём ты думала, постукавшись ко мне? Ты знала, что твоя красота, твоя прекрасная неуклюжесть девушки из народа, у которой нет ухажёра, потому что все женихи лежат в подмосковных снегах и в степях Поволжья, и умирают в полевых госпиталях, и околевают в немецком плену, — ты знала, что твоя красота цветёт в эту минуту и ты вся излучаешь невыносимую раздражающую прелесть; ты чувствуешь всю себя, свои бёдра, плечи и руки, тесноту подмышек и тревогу сосков, — почему же ты не решилась?..

Потому что не решился ты.

Но я недоросль, а ты женщина.

У меня ещё никого не было. Война, мужиков не осталось, какая я женщина.

Нет ли что-нибудь почитать? Но тотчас ты почувствовала, что трепет, всколыхнувшийся, как язычок огня, навстречу тебе, — не то повелительное влечение, за которым следует мужской напор, но лишь растерянность, обожание и страх. Боязнь оскорбить твою невинность, — ах ты, Господи, какое там оскорбление. Достаточно одного лёгкого движения, еле заметного порыва навстречу тебе. Право же, было что-то нечестное, что-то против правил — вот так сидеть, и ждать, и поглядывать тускло-влюблёнными глазами, вместо того чтобы встать из-за стола! И ты послушно поднялась бы — пора уходить, свидание окончено! И пальто съехало бы к твоим ногам. И ты стояла бы, как потерянная, не решаясь наклониться и поднять, — стояла в своей рубашке с деревенскими кружевами, зачем ты пришла в рубашке? Не спалось. Завернувшись в платок, накинув пальто, вышла в морозную ночь и, когда возвращалась, скрипя валенками по снегу, из дощатого домика, стоящего на отшибе, помедлила у моего крыльца, оглянувшись. Луна, ещё невысокая, залила сугробы и крыши барачных ледяным, мертвенным светом.

Пальто упало к ногам. Твоя тень, переломившись от стены к полку, приняла в себя мою тень, но нет, запрет действия сидел в тебе, ты

должна была не взять, а отдаться. Ты отступила бы — к двери, к кровати? Куда же мы двинемся, пора расплатиться, куда девалась кельнерша в коротких штанишках? Потоп света, жидкое масло зноя низвергается с небес на Придворный сад, на площадь Одеона, глазам больно от блестящего асфальта, сверкают стёкла автомобилей, мечут тусклые молнии лвы на башнях и позолоченный циферблат, и чахоточный язычок копилки изнемог на столе в полутёмной комнате, — на кровати спит мой маленький брат, мачеха дежурит в общем корпусе больницы, — ты пришла, Нюра, чтобы всё переиграть, потому что возможное — это кладовая реального, неисчерпаемый ресурс бытия, и вновь постановывает тяжёлая дверь в сених, кто-то тайно стучится в дверь, и ты, в белом с грубыми нитяными кружевами, с кое-как сколотыми ореховыми волосами, придерживаешь у ворота полушубок, но как же нам быть, если кровать занята? И к тому же мы страшно стесняемся.

Но там другая кровать!

Страх! Страх!.. Перед женщиной, перед вторжением судьбы, вдруг явившейся, вставшей во весь рост. Я качаюсь под слабым ветром в океане настоящего, где плывут, как рыбы, видения прошлого, глагольные времена; я чувствую, что грань между «тогда» и «всегда» иллюзорна; в той действительности, которая скрыта от нас, существует другая связь вещей, другое сцепление происшествий, и надо сломать навязанную нам конвенцию прозы, и можно, глядя на спичечный костёр, знать о горящих полях войны, и можно помнить, сидя на перекладине пожарной лестницы, как приоткрылась дверь, как в комнату вступила девушка двадцати лет и волна её прелести всколыхнула оранжевый лепесток огня на столе.

.....

Тем временем — каким временем?.. — я плетусь по площади, где на мачтах висят поникшие флаги, где бронзовая плита на мостовой извещает о гибели города и новом рождении — есть и у городов своя сансара, — сворачиваю на улицу роскошных витрин, а там другая площадь, и печальная тень курфюрста всё ещё бродит по залам и лестницам дворца, ныне принадлежащего концерну Siemens, и поглядывает из окон на каменный зад коня и себя с простёртой дланью. Похоже, случайно оказавшийся полицейский не станет возражать, если я вскарабкаюсь на постамент, встану под мордой коня, — подумает, что я хочу сфотографироваться. Высоко, и немного кружится голова, как на кромке брандмауэра, откуда виден наш двор, старая снеготаялка и пожарная лестница...

Herr Polizist может не беспокоиться, я умею обращаться с лошадьми. Я стою впереди, но это неправильно, к коню, если он не знает тебя, нужно подходить не спереди и не сзади, а только сбоку, он должен сразу почувствовать в тебе хозяина, не должен пугаться, лошадь нужно окликнуть, с ней нужно разговаривать. Похлопать по шее, это знак приветствия.

Животные наделены изумительным слухом, моя полуслепая Брошка, невысокая блондинка игреневого масти, не успею я войти в конюшню, как уже слышит мои шаги, ждёт, когда я протиснусь в стойло, положу ладони на морду, подтолкну, и лошадь послушно пятится, выбирается задом из закутка; теперь хомут, затянуть супонь, насадить седёлку с металлическим арчаком, слабым пинком заставить поджать живот, затянуть на брюхе чересседельник; после чего привязываем к гужам оглобли, берём оглобли в руки, ведём мою Брошку, правая сзади оглоблями, к вагонке, ставим между лежнями, этим подобием рельс из толстых жердей, и зацепляем оглобли за скобы лесовозного экипажа. Расправить уши между ремешками уздечки, надавить на нижнюю челюсть, и большие жёлтые зубы коня разожмутся — вставить трензель, лошадь чмокает мягкими шершавыми губами, привыкая к металлу, и в углах рта прицепить к кольцам верёвочные вожжи. Я стою на постаменте курфюрста Максимилиана перед грудью коня-гиганта, сняться на память, перед тем, как отправиться в путь.

Слабый визг стальных колёс, усердное киванье большой головой, долгий путь по лежнёвке через болота, мимо куртин, за дровами для зоны, в бывшее оцепление, где гниют бурты невывезенного леса. Снова лагерь, почему лагерь? Я не знаю, я могу лишь пожать плечами. Потому что лагерь был и будет. Странно было бы, родившись в лагерьном государстве, не загреметь туда. Поскрипывают повизгивают, катясь по лежням, колёса вагонки, копыта медленно, с опаской вышагивают по шаткому ступняку, и нет предела кладбищу пней, оловянному блеску болот, подъехав к бурту, я ищу место посуше, ищу бересту, спички припрятаны за подкладкой бушлата, я раскладываю костёр, далёкий потомок спичечного пожара на паркете. Лошадь моя стоит, понурившись, спина и грива блестят от измороси, сырая вата облаков застлала горизонт, тускнеет день, всё ярче огонь. И я спокоен, я безмятежен в моём божественном одиночестве, у меня в кармане френчика пропуск бесконвойного — в конце концов, можно и в лагере достичь относительной независимости. Попробуйте представить себе, мой друг, что это значит, когда никто не стоит над душой, нарядчик не обложит матом, бригадир не выгянет дрыном по спине оттого, что плохо работаешь. И этот запах! Идёшь себе вниз по Людвиг-штрассе, тебя несёт воскресная толпа, какое счастье чувствовать себя никому не нужным, счастье быть эмигрантом, счастье быть чужим! Пылает огонь в сырых густеющих сумерках, и я вдыхаю запах костра.

Запах дыма, юности, лагерной отчизны! Запах таёжных костров, стрекочут электропилы, с грохотом, с треском ломающихся сучьев валяются в болотную топь столетние великаны, всё ещё вздрагивают кроны поверженных деревьев, сучкорубы обрубают ветви, сучкожоги волочат их к кострам.

А там эшелон, растянувшийся на полкилометра, весь из глухих безоконных вагонов, так что можно принять его за товарный состав, и в самом деле битком набитый живым товаром, замедляет ход, — прокатился гром столкнувшихся буферов, конвой стоит на насыпи у колёс, я вылезая, и ещё один такой же из другого вагона, почему-то нас только двое, выдернутых из поезда, никто никогда не знает, куда везут, страна большая, сколько бы ни ехали, где бы ни высадили, всё будет Россия, свисток — и лягнули буфера, покатались вагоны, спецсостав министерства внутренних дел, знаем мы, что это за дела, следует дальше, на север, в неведомые края, секретным маршрутом. И мы плетёмся в наручниках, прикованные друг к другу, проваливаясь где по щиколотку, где по колено в снегу, следом бредёт четвёрка конвоиров, по-двое, с автоматами, добираемся до карантинного лагпункта, воскресная толпа влечёт меня мимо роскошного памятника королю Людовику Баварскому, оруженосцы-пажи ведут под уздцы его лошадь, нигде невозможно быть более одиноким, чем в оборванной, остервенелой толпе, осаждающей барак столовой. В дверях драка, но толпа не даёт упасть, на мне рваная телогрейка бе-у, «бывшая в употреблении», и притом уже не раз, и руины ватных штанов, я не мылся второй месяц, сколько-то суток не ел; снаружи, сквозь ветхую ткань своего рубища я сжимаю в кулаке луковицу, хранимую в кармане, я вижу себя в гуще живых насельников моей памяти, театр теней, народец моих сочинений, — где же, спрашивается, граница между грёзой и явью, памятью и литературой, но луковица в кармане штанов — это, знаете ли, гарант подлинности.

И вот я чувствую, как чья-то рука лезет ко мне в карман, сопливый подросток с глазами рыси ищет добраться до луковицы — и, кажется, уже ухватил добычу — я крепко держу луковицу снаружи, в эту минуту мы натываемся на обледенелую ступеньку, толпа втаскивает меня на крыльцо, молча, свирепо, дыша ощеренными ртами, прёт к дверям, откуда несёт аппетитной вонью кислой капусты. У дверей два амбала с продавленными носами; мы у цели, мы почти уже впёрлись, нужно что-то предъявить, доказательство, что ещё не получил миску баланды, не лезешь по второму разу, но у меня ничего нет, у меня еврейская внешность ловкача и обманщика, и кулак-кувалда, сбрасывает меня с крыльца.

Я сижу за столиком уличного кафе на Театинер-штрассе, был такой орден и, кажется, существует до сих пор, хотя ничто на этой улице вывесок и витрин не напоминает о монастыре, никто в праздной толпе не вспоминает о руинах войны, — и я не могу справиться со слабостью, в полутьме добираюсь до барака, где спят на полу, подложив под голову, чтобы не стянули с ног, башмаки-говнодавы, и впервые за долгие месяцы следствия и пути глотаю постыдные слёзы.

Друг мой, вы готовы уличить меня в подражании знаменитому браазу, но могу вас заверить, я вовсе не собираюсь погрузиться в stream of consciousness, пресловутый поток сознания, этот фальсификат литературы, который нам выдают за подлинник человеческой души; да, и мне бы хотелось добраться до истины, заглянуть за кулисы нашего хронологически упорядоченного мира, — так нет же, язык-диктатор повелевает вернуться на проторённый путь. Границы моего мира, сказал философ, это границы языка. Мы порабощены грамматикой, между тем как истинный мир души — за пределами языка. И всё же, всё же! Остаются голоса, и лица, и запахи, — мелочи жизни, за которые можно уцепиться, остаётся луковица в кармане. Первая жестокая лагерная весна в карантине, прежде чем попадёшь на стационарный лагпунт, залубневшие на морозе штаны, скользкая наледь вокруг колодца, вдвоём с напарником крутишь железную рукоять, вцепившись, изо всех сил, — упустишь, ударит в лоб, собьёт с ног, — тяжело, медленно показывается из сруба плещущая бадья; немного погоды меняешься с чахлым подростком, может быть, и не младше тебя, но он из той породы вечных недорослей уголовного мира с хлюпающим носом и мокрой верхней губой, с острым крысиным личиком, с глазами голодного грызуна, с дырой во рту на месте выбитых зубов; он становится к напарнику на твоё место, ты тащишь ведро с водой к столовой, выливаешь в бочку Данаид, и назад: оплывший холм колодца, скрипучий вал, и плеск, и цепь, которую подтягивают к себе, скользя на ледяном откосе, и снова с полным ведром к столовой, к железной раковине коммунальной кухни на первом этаже, уставленной столиками жильцов, с полками для кастрюль, с примусами и керосинками; струя хлещет из крана, я поднимаю ведро, — дверь чёрного хода наружу, и мы поливаем асфальт, и двор превратился в каток. Но однажды раздвинулись створы ворот, грузовик с горой угля для котельной втиснулся кузовом вперёд в подворотню, мимо мусорного ящика во двор, отпал задний борт, рабочий в перепачканной робе загребает совковой лопатой, сбрасывает уголь на лёд — прощай, наш хоккей!

С иглы стекает весёлая музыка, раздаётся треск из чёрного картонного конуса домашней «зорьки», советский суд приговорил троцкистско-бухаринских извергов к высшей мере, энкаведе привёл приговор в исполнение, советский народ одобрил и приступил к очередным делам, а дел было много, предстояли выборы в Верховный Совет. Глухой желудочный голос звучит из рупора, я, товарищи, не собирался выступать, но наш дорогой Никита Сергеевич, можно сказать, силком притащил меня на собрание: скажи, говорит, речь. Идут бои на карельском перешейке, Красная Армия штурмует линию Маннергейма, совсем немного осталось до начала большой войны, до писем Герцена к Natalie, до ко-

мендантского лагпункта, до конного монумента короля Людвига, сжимаемая в кармане, как амулет, луковицу, а навстречу беспечная толпа, а навстречу шагает юноша-монах в чёрном плаще с откинутым капюшоном и видит в небе нависший над городом меч возмездия.

Меч Господень, *gladius Dei*! Вот он и опустился на башни церквей и дворцов. Бежим, свернём на улицу Шеллинга, бывшую улицу, в ущелье между двумя грядами руин. Рельсы завалены щебнем. Та самая линия, голубой трамвай, десятый маршрут от площади Одеона в Швабинг, и в вагоне бледная, как мел, Инес Инститорис стреляет в любовника¹. Меч Господень! Бывшая штаб-квартира партии — над разбитым подъездом всё ещё виден раскрытый орёл с дырой между штанами, где была свастика в венке.

«Не только свастика. Они его кастрировали».

Кто кастрировал?

«Американцы. Прошу прощения, — сказал человек, — вы, кажется, подходили к столику...»

В чём дело, спросил я холодно.

«Я хочу сказать, не вы ли тогда подошли к столику, за которым я сидел. В Придворном саду. Вы были с девушкой».

Допустим; ну и что? У меня нет ни времени, ни охоты разговаривать с первым встречным. Несколько времени мы идём рядом, я крупно шагаю, он семенит, едва поспевая.

«Она удивительно похожа...»

На кого?

«На одну из ваших героинь!»

Мы остановились. «Не валяйте дурака, — сказал я. — И вообще: с какой стати вы ко мне привязались?»

«Я читал. Я читаю все ваши произведения».

«Весьма польщён».

«Мне показалось, что это она и есть».

Остается только пожать плечами. Я поглядывал на небо.

«Нам надо где-нибудь укрыться».

Едва только мы успели вбежать под своды сумрачной церкви Святого Людовика, как меч сверкнул над обречённым городом. Небо раскололось. Мы сидим на скамье сбоку от алтаря и слушаем нарастающий шум потопа.

«Это было очень давно, первая любовь. Тебя не удивляет, что...»

«Ничуть, — возразил он. — Память всё может. А, значит, и литература. Литература — это и есть память».

«Ты так думаешь? Кто ты такой?»

¹ Т.Манн, «*Gladius Dei*», «Доктор Фаустус».

В полутьме поблескивают трубы огромного органа, тускло светится готическое окно-розетка над входом, мы одни, ливень снаружи как будто стихает, и мы выходим на широкую паперть под аркой портала. Голубое серебро мостовой, машины несутся, расплёскивая лужи.

«Впрочем, нет. Не всё может».

Я напомнил ему, что меня ждут, домашний концерт, пробормотал я, Шуберт...

«Ничего, подождут. — Он продолжал: — Ты мечтаешь сбросить оковы времени, пространства, ещё чего-то. Это осуществимо, но какой ценой? Ценою смерти своего драгоценного “я”. Парадокс! Мечтал добраться до самых глубин своей личности, а личность-то — ау!».

Сколько-то метров прошагали молча, он спросил, знаком ли я с мескалином.

Нет, но я так и знал.

«Что знал?»

Что без психоделиков дело не обойдётся.

.....

Погружение началось прежде, чем я успел проглотить снадобье, значит ли это, что я в нём не нуждался? Провожатый коснулся кнопки над неразборчивой фамилией, чей-то голос отозвался из микрофона, отщёлкнулся замок, мы вошли и поднялись по лестнице. Жена моего приятеля стояла в дверях. Похоже, что нас здесь ждали.

Мы сбросили с себя одежду и облачились в шёлковые кимоно. В широком окне стоял летний день. Мы сидели в низких креслах перед столиком друг против друга и слушали музыку, тот самый экспромт Шуберта, ор. posth. D 946, в трёх частях. И вновь, ещё до того, как был внесён поднос, на котором стояли старинные серебряные стаканчики и градуированный фиял с дистиллированной водой, и приготовлено питьё, я заметил перемену обстановки: это было не окно, а зеркало, и я видел в нём моё сумрачное отражение. Музыка напомнила о том, что потеряно в жизни, о близкой смерти.

Зачем, спросил я, глядя, как женщина добавляет в сосуд одну за другой несколько капель по виду маслянистой, бесцветной жидкости, следит, как они бесследно растворяются в воде, — зачем это нужно, ведь я и так уже нахожусь по ту сторону. Затем, был ответ, что ты выберешься из клетки, освободишь из заточения твоё «я».

Музыка смолкла, я держал перед губами, стараясь не расплескать, стаканчик, смотрел на своего визави, ожидая, когда он кивнёт, напиток не имел ни запаха, ни вкуса, я не чувствовал никакого действия, по-прежнему ясно сознавал себя, хотя не стал бы утверждать, что тот, чьё присутствие я сознавал, был я, а не кто-то другой; мне было необыкновенно уютно в мягком, низком кресле, спокойная, по-домашнему одетая

женщина неслышно входила, убрала фиал и стаканчики, задернула штору перед зеркалом, я снова спросил: зачем? Так полагается, сказала она, но если вы настаиваете... Завеса упала, и я увидел блестящую гладь стекла, в котором никого не было, не почувствовал никакого разочарования и попытался встать — мне помогли.

А у нас, смеясь сказала она, для вас приготовлен сюрприз!

Он — ибо это был явно кто-то другой — шествовал по коридору, квартира оказалась запутанной, как лабиринт, я толкнулся наугад в дверь, в полутёмной комнате на кровати спал мой маленький брат, на столе горел огонёк, девушка стояла посреди комнаты. Она стояла такой, какой вышла из рук ваятеля, освещённая сзади, с тёмными кругами глаза, со слабо светящимся нимбом волос, и, значит, недаром я собирал раскатившиеся шарики моей детской мозаики, и не зря гигантский гороскоп звёзд поворачивался и времена сменялись, смешав минувшее с будущим в единое абсолютное время; не зря я заглядывал с кромки брандмауэра в пропасть каменного двора, брёл в толпе бушлатов по шпалам узкоколейки, крутил ручку обледенелого колодца и вдыхал неумирающих запахов таёжных костров, не зря шагал по улице Людвиг и возвращался — чтобы увидеть твои глаза, твои круглые груди, увидеть тебя, Нюра.

III

Пардес

Я решаюсь изложить, по возможности кратко, то, что произошло на днях, точнее, в одну из этих ночей. Должен ли я объяснять, почему выбран такой заголовок? Слово «пардес» означает плантацию, сад, а также Путь познания. Опасный путь, на котором можно погибнуть, не дойдя до цели. Думаю, этого пояснения будет достаточно.

Как всегда, я лёг в половине двенадцатого, чтобы спустя полчаса окончательно убедиться, что не усну. Надо чем-то заняться, а не пичкать себя таблетками. Пришлось одеться, я вышел, оставив часы на ночном столике,

Чоран рассказывает, как он сражался с бессонницей: колесил ногами до изнеможения на велосипеде. Я брёл пешком. Я двигался, как автомат, то, что со мной происходило, можно было принять за продолжение сна, но эта гипотеза не выдерживает критики. В полутьме я слышал стук своих шагов по асфальту. Ночью улицы кажутся незнакомыми. Я приближался к тёмной массе деревьев, это был Английский сад, известная достопримечательность нашего города, правильной было бы назвать его лесом. Стоит только сойти с главной аллеи, и тропинки, ветвясь и пропадая, и появляясь вновь, увлекут вас в шорох трав, мрак и

шепот деревьев. Он огромен, этот сад. Он похож на еврейский Пардес, о котором только что сказано; поздний час усугубил сходство. Я старался не слишком удаляться от аллеи, рассчитывал выйти где-нибудь возле Северного кладбища и вернуться домой ночным автобусом.

Небо заволочлось, я больше не видел звёзд. Несколько времени погода холод пробрал меня, оказалось, что я сижу, ловлю свои ускользающие мысли, боясь уснуть тут же на скамье. Чаща поредела, и показались огни. Я понял, что несколько сбился с пути, но это меня не смущало. Ночь показалась мне короткой. Тусклое серебро рассвета покрыло бульжную мостовую. Один за другим гасли тлеющие фонари. Окна мёртвых домов блестели, как слюда. Здесь совсем не было машин; облупленные фасады, зияющие подворотни, тротуары, истосковавшиеся по ремонту, — я очутился на дальней окраине.

Всё же любопытно было узнать, что это за район. Как называется улица? Щитки с номерами домов, полукруглые под угловатыми фонариками, напомнили мне далёкие времена. Солнце блеснуло в просвете улицы, и я разобрал, наконец, надпись. Так и есть! Название переулка было начертано по-русски.

Кто-то выбежал из ворот: девочка лет двенадцати. А мы тебя ждём, сказала она. Я силился вспомнить, как её зовут. Куда ты пропал? Лида, возразил я, мне кажется, я заблудился, мне пора домой. Хотел спросить, как дойти до ближайшей станции метро. Но тут же спохватился, что никакого метро ещё не существует. Да и что значит: домой? Я был дома. Мы вступили в сумрачную прохладу двора. Я узнал высокий, сверху ко-со освещённый брандмауэр, пожарные лестницы, рёбра старой снеготаялки. Солнце сверкало в стёклах верхних этажей, где-то там было и наше окно. Ничего не изменилось. И я рассмеялся от счастья.

Все стали в кружок. Тыча пальцем в каждого, я приговаривал: «Заяц белый, куда бегал, в лес дубовый, что там делал?..»

На минуту я замешкался. Неужели забыл считалку?

«Лыки драл, куда клал? Под колоду. Кто украл?..» Магия ритма неслала меня дальше, «вынь, положи, кого берёшь, как замуж выдаёшь?» — крут замкнулся, я стоял, как вкопанный, с протянутым пальцем. Это была Феня.

Феня, Фенечка, дочь дворника, смуглая, черноглазая, слегка косящая, в которую мы все были влюблены. Она смотрела на меня и мимо меня.

Я пробормотал: «Тебе водить». Кто-то подбежал к доске, ударил ногой, палочки рассыпались, и все бросились прятаться кто куда. Для тех, кто забыл, напомню, что игра заключается в том, чтобы неожиданно за спиной у водящего выскочить из укрытия и, ударив ногой по доске, вновь раскидать палочки. После чего водящий собирает их заново, опять начинаются поиски, и так до тех пор, пока он не отыщет всех. Фе-

ния сидела на корточках возле доски, лежащей на кирпиче так, что один конец был на земле, а другой висел в воздухе. Двенадцать палочек были собраны, пересчитаны и уложены на краю доски. Раз, два, три... — она выпрямилась, приложив руку козырьком к глазам.

«Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать».

По лестнице чёрного хода, прыгая через ступеньку, я взбежал на второй этажа, подкрался, как тать, к окошку. Смуглая девочка в платье, не доходившем до коленок, стояла в нерешительности посреди двора. Я не мог оторвать от неё глаз. Вдруг, почувствовав мой взгляд, она обернулась — я отпрянул от окна. Выждав немного, я снова выглянул. Её не было. И почти сразу же послышались осторожные шаги. Она поднималась по лестнице. Она не боялась, что кто-нибудь выбежит из другого выхода, в противоположном углу двора. На цыпочках я поднялся ещё выше. Больше ничего не было слышно. С колотящимся сердцем я стоял между маршами. Добравшись до площадки третьего этажа, поглядел снова. Двор по-прежнему был пуст. Я понял, что она вышла и направилась на поиски в другой угол двора. Тут-то и можно было высочить и топнуть по доске с палочками. Но я медлил.

Я обернулся. Феня стояла передо мной. Сердце моё оборвалось. «А вдруг кто-то выскочит?..» — пролепетал я, понимая, что дело не в этом. Игра уже не имела никакого значения.

Она молчала. Мы стояли друг перед другом, она была чуть выше меня, тоненькая, в тёмнооранжевом платье, которое удивительно шло к её смуглой коже, в носках и сандалиях. Чёрные глаза косили, непонятно, смотрит ли она на тебя или мимо. Мы переминались в растерянности, мы были одни, так никогда не было.

Оглянувшись, я быстро сказал: «Пойдём со мной».

Она подняла брови.

«Бежим, пока никто не видит. Здесь недалеко... Феня, — продолжал я, — ведь я вернулся из-за тебя!»

По правде сказать, эта мысль пришла мне в голову только сейчас.

«Откуда это вернулся?» — сказала она надменно.

«Оттуда. Надо только пройти через сад. Там можно запутаться, пока дойдёшь до другого конца. Я знаю дорогу».

«Да ну тебя», — сказала Феня.

Мы топтались, не зная что сказать друг другу.

«Ну я пошла», — сказала она.

Со двора доносились голоса, видимо, там начали сызнова считать-ся, игра возобновилась.

«Поднимемся на минутку, а то ещё кто-нибудь прибежит прятаться». Я тащил Феню за собой наверх.

Она выдернула руку, остановилась и спросила: что такое Пардес?

Тут я вспомнил, что ничего ещё не знал в то время, — как же она могла спрашивать, если я не упоминал о Пардесе?

Всё же я ответил:

«Заколдованный сад. Там однажды три мужика решили прогуляться, три мудреца. Одного звали бен Сома, другого бен Абуя, а третьего... забыл, как его звали. Попросили Акибу...»

«Акибу?»

«Ну да; такое имя. Попросили пойти с ними, он знал дорогу. Надо было спешить, потому что сад закрывался после захода солнца. Он пошёл вперёд, а потом обернулся и видит: один мудрец сошёл с ума, другой вырвал кусты и посадил вверх корнями, а третий...»

Мы оба запыхались. Мы стояли на площадке последнего этажа.

«Что третий?»

«Умер».

«Никуда я не пойду. Иди сам».

«Да ведь это же сказка».

«Откуда ты это всё знаешь?» — спросила она.

«Я не знаю, это я потом прочту».

«Потом?»

«Когда вырасту», — сказал я и опять спохватился, что говорю что-то не то. Выглянул наружу, двор внизу был пуст, народ разошёлся по домам. «Побежали!» — я схватил её за руку. Но тут открылась дверь. Там была кухня. Все двери на лестнице чёрного хода вели в коммунальные кухни. Выглянула тётя Женя, в фартуке, с полотенцем в руках.

«Как тебе не стыдно? Все собрались, ждут. Гусь, наверное, уже перестоял».

«Кто ждёт?» — спросил я растерянно и вдруг вспомнил.

Тётя Женя наклонилась к плите, открыла дверцу духовки и вытянула чугунную латку, похожую на маленький саркофаг.

«Феня, — сказал я, — у меня день рождения, совсем забыл. Пойдём к нам. Мы ненадолго».

Мне показалось, что она что-то проговорила, у меня нет подарка, что-то в этом роде. Ерунда, возразил я, но её уже не было. Я наклонился над железными перилами и никого не увидел. Какая проворная, подумал я, какая лёгкая, быстрая, и, догнав в коридоре тётю Женю, распахнул перед ней дверь нашей комнаты.

«А вот и мы!» — громко сказала она. Саркофаг был водружён посреди праздничного стола. После смерти мамы, в дни моего рождения хозяйничала тётя Женя. Гости обменивались восклицаниями, потирали руки, в открытой латке загорелый оранжевый гусь лоснился и дышал жаром, кто-то уже приготовился подцепить его длинной двузубой вилкой. Мой отец стоял во главе стола с откупоренной бутылкой тёмного стекла. Гусь шлёпнулся на эмалированное блюдо. Тётя Женя накладывала

вала на тарелки лакомые куски и потемневшие, размякшие половинки яблок. А в углу на столике, где обычно помещалась швейная машина, были разложены подарки: книжки, завёрнутые в цветную бумагу, перевязанная красной ленточкой коробка конфет «Новая Москва» и самое главное — похожий на волшебный сон набор деталей «Конструктор».

На мне был мой новый костюм, накрахмаленная рубашка, немного мешавшая поворачивать голову, свежeverглаженный красный пионерский галстук; я был радостно возбуждён и что-то лепетал в ответ на поздравления и пожелания. Стук ножей и вилок заглушил мои слова.

Потом явился пирог. Набрав полную грудь воздуха, напыжившись, я дунул из всех сил. Огоньки одиннадцати тонких ёлочных свечей всколыхнулись, несколько свечек погасло. Гости аплодировали. Мой отец потушил остальные.

Я думал о Фене. За спиной у меня слышался смех, музыка — тётя Женья играла на пианино. В коридоре было тускло и скучно. Я раздумывал, не вернуться ли, меня смущала двусмысленность этого слова: вернуться. Между тем я уже стоял на лестничной площадке, оглянулся — мое бегство, по-видимому, осталось незамеченным — и уже спокойно, уверенный, что найду Феню, пересёк наш двор, раздвинул створы ворот и выглянул в переулок. Я здесь, тихо произнёс её голос. Она стояла за моей спиной.

«Что же ты не пришла?»

Она молчала.

«Был пирог, — сказал я. — С вареньем, пальчики оближешь».

«Я не люблю с вареньем».

«А с чем?»

«С мясом. И вообще».

«Что вообще?»

«И вообще мне нельзя к вам ходить. Мне мама не велела».

«Почему?»

«Ты еврей, — сказала она. — А моя мама татарка. И я тоже татарка».

«Ну и что?»

«Евреи не любят татар. Никто не любит татар».

«Наоборот, — сказал я. — Это евреев никто не любит».

Надо было спешить, медленно умирал летний день. «А то закроют». Мы прошли весь переулок, свернули в другой, теперь мне всё было знакомо. Наконец, город кончился. Впереди в лучах заката манил, темнел, зеленел Сад.

«Вспомнил, — сказал я, — как звали третьего. Бен Асай. А вёл их бен Акиба».

«Они все были евреи?»

«Да. Все были евреи».

«Расскажи, — попросила Феня, — про этого Акибу».

«Это был великий мудрец. Он прошёл через Пардес, и ничего с ним не случилось».

«Я боюсь».

«Дурочка. Это же сказка. Легенда!»

Мы шли по широкой аллее, не шли, а шествовали, и как я был горд, какое счастье шагать вдвоём, держась за руки, навстречу птичьему гомону! Закатный свет исполосовал дорогу. Я крепко держал Феню, воображал себя рабби Акибой и знал, что с нами ничего не случится. Навстречу шли двое, ночной обход — оба, мужчина и женщина в зелёных мундирах баварской полиции. Немного погода мы сошли с дороги, извилистая тропа вела нас через поляны, сквозь кустарники. Небо уже пылало серебряным огнём, и я разглядел в высоте белёсый серп.

«Далеко ещё?»

Мы присели на скамью. Ночь накрыла нас с головой.

«Немного передохнёшь, — сказал я, — а я тут погляжу, где пройти покороче. — Я сейчас!» — крикнул я, и в самом деле, дорога, по которой я направлялся вчера в город моего детства, была совсем рядом. Я вернулся к Фене.

Но что-то случилось, и я почувствовал, что никогда больше её не увижу. Она погибла там, в этой чаще. Не каждому дано пройти через Сад. Нет больше скамейки, нет никого, я пробовал кричать, звать и ни до кого не докричался. Открыв ключом дверь моей квартиры, я увидел неубранную постель, часы на ночном столике. Полчаса прошло с тех пор, как я вышел. Я лёг и заснул мёртвым сном, от которого лучше бы не просыпаться.

IV

Сельский врач

Перед рассветом

Когда мы дремлем, уткнувшись лицом в своё ложе, все вместе, мы похожи друг на друга, как дети одной матери, мы все равны, но стоит нам повернуться на спину, и нашему братству приходит конец, мы злобно косимся друг на друга, каждый подозревает соседа в тайных кознях, завидует соседу и готовится к драке. Ведение войны требует союзников, вот почему мы вступаем в коалиции, чтобы вместе ополчиться на врага, но это лишь тактический ход: как только ситуация меняется, мы, не задумываясь, изменяем нашим союзникам. Правила войны выше морали. Всё оправдывает победа.

Ради этой победы хороши все средства: коварство, ложь, подлог, предательство. И того же мы ждём от противника; мы, если угодно, соглашаемся в низости; побеждённому нет пощады.

Война требует оснащения. Меч в руке короля — всего лишь декоративная принадлежность, как лилия дамы — часть её туалета; мы дерёмся не мечами. Наше истинное оружие, инструмент борьбы не на жизнь, а на смерть — наше войско — это они: те, кто сидит за столом. Кто думает, что играет нами. Но мы-то знаем, кто есть кто! От них требуется беспрекословное подчинение. Пусть только попробует рука наёмника бросить на стол не ту карту! Мы жестоко караем всякое своеволие. Строптивного игрока доведём до самоубийства.

Разумеется, и я принимаю участие в военных действиях, мои враги — другая масть. Несчастье в том, что — так уж получилось, такова моя участь — там находится моя страсть. Не одна я тоскую по червонному Королю. Знаю, что мне делать: втереться в доверие супруги, пусть эта гусыня верит в мою бескорыстную дружбу. Тем легче нам будет разделаться с общим противником.

Добьюсь ли я своей цели? Увы! Король равнодушен к обеим. Его пассия — смазливый Валет Треф.

Утро близится, время ложиться. Карты шлёпаются на стол... Я, конечно, романтизирую игру. Но неужели не ясно, что не игрок играет в карты. Не я раскладываю пасьянс. Карты распоряжаются нами, карты живут своей тайной жизнью, одержимы своими страстями и пользуются нами в своих целях. Пускай картёжник верит в счастливый расклад, пускай клянёт невезенье, — на самом деле это их, это наше решение. Мы — его судьба. А то, что называется случаем, — всё равно что крап, обратная сторона, маска нашего произвола.

Когда-нибудь, если буду жив, я раскрою эту тетрадь, вспомню мои долгие бдения, игру с самим собой, и как они решили мою участь, как заставили меня проиграться. Это из-за них я лишился моей жены. Вряд ли когда мне удастся привести в порядок мои записки, но тот, кому они попадутся на глаза, узнает, по крайней мере, кто я такой. Ведь меня принимают Бог знает за кого.

Я предпочитаю ни с кем не встречаться. Знаю, что обо мне рассказывают всякое. Что я тронулся, сидя взаперти, — с чем я вполне согласен, надо только встать на точку зрения этих людей. Для них я в самом деле помешанный. Или что я будто бы тайком постригся в монахи, дал обет молчания. Какой обет, откуда им известны такие выражения? Слыхали ли они когда-нибудь о молчальниках, об исихастах, об «умной молитве» Григория Паламы? За многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь хотя бы перекрестился... Если я мало с кем разговариваю, то не потому, что лишился дара речи. Просто не считаю нужным обмениваться шаблонными репликами, отвечать на глупые вопросы, задавать самому. Я заранее знаю, что мне ответят.

...не утра, конечно, — в это время я уже собирался лечь. А сейчас на ногах, бодр и свеж, стемнеет — пойду гулять. Сегодня Касьян, — чуть не забыл, что я именинник. Народная этимология связала это имя со словом «косить»: Касьян с косой в руках, как сама смерть. Високосный год считается несчастливым. Было ли моё рождение несчастьем для родителей, для меня самого? Очень похоже.

Но, с другой стороны, не так уж плохо появиться на свет 29 февраля, это значит, что мой возраст прибавляется один раз в четыре года. Мой патрон, святой Кассиан, поплатился за чистоплотность. В наших местах до сих пор рассказывают, как однажды Иисус Христос шёл ненастным осенним днём с двумя святителями, Георгием и Кассианом. Вдруг видят — мужик застрял с возом посреди дороги, надо пособить. Святой Георгий, недолго думая, подвернул портки повыше и полез в грязь. А Касьян стоит на обочине, не желает пачкаться. Двое упёрлись в задок, лошадь дёрнула раз, другой, и вытащили воз. Крестьянин снял шапку, поблагодарил и поехал дальше. Иисус же промолвил: за то, что ты, Егорушка, помог человеку, тебя будут праздновать дважды в году, ты будешь Егорий Вешний и Осенний. А ты, Касьян, поленился, и за это твой день будет отмечать раз в четыре года.

Кажется, он добавил: и год твой будет недобрый.

Итак, ставлю дату. День такой же тёмный, ненастный, вот уже и смеркается. Заглись огоньки в отделениях — между прочим, моя заслуга. Сам я, однако, предпочитаю мою старую, верную керосиновую лампу. Меня раздражает электрический свет. Кроме того, я хочу быть независимым. Бывает, что зимой буран повалит столбы; жди, пока приедет трактор, пока починят линию; а у меня покойно, уютно, я сижу в своём убежище, в тускло-гаинственном сиянии, среди теней, в одиночестве и молчании.

Ближе к полуночи

Насчёт «заслуг»: тут особая история. Дела давно минувших дней (как всё). Мы прибыли по распределению. Брак наш, хоть и недавний, трещал по швам, а тут ещё случился выкидыш; я подозревал, что она забеременела от меня. О, как мне ясно теперь, что сомнения не имели под собой никакой почвы. Но тогда последняя соломинка переломила спину верблюда — жена моя уехала. Несколько времени спустя от неё пришло письмо, она писала, что не мыслит своей жизни в глуши, лучше повеситься; а кроме того, даже если вернуться, она не в силах больше выносить мой характер. Я был полностью с ней согласен, клялся и божился, что прошлое не повторится; никакого ответа. Я не мог отделаться от подозрения, что она сбежала к любовнику. Позже до

меня дошёл слух, что моя жена умерла — то ли в родах, то ли от позднего криминального аборта. Выходило, что я был прав: она снова с кем-то сошлась.

Я не запил, что было бы естественно; вместо этого рьяно взялся за хозяйство. Свёл дружбу со Степаном Ивановичем, мастером на все руки; втроём с женой и свояченицей они за неделю отремонтировали амбулаторию. Однажды приехал председатель колхоза — к этому времени успели распространиться слухи о моём врачебном искусстве. Ничего страшного у председателя не оказалось, но он считал, что болен опасной болезнью, и, выписываясь, спросил: сколько я хочу взять за лечение? Я сказал: а вот ты мне лучше проведи электричество. Назавтра — откуда что берётся? — явились рабочие, поставили столбы, подключили к сети. В селе до одиннадцати работает движок, потом всё гаснет, — у меня в отделениях всю ночь горит свет.

На другой день

Сказав, что я ни с кем не общаюсь, я всё же погрешил против истины. К примеру, вышеупомянутый Степан Иванович. Это невысокий жилистый мужик с серыми, всё ещё густыми волосами, серым цветом лица и хрустальным блеском глаз, какой бывает у лёгочных больных. Он приходит, осматривается, я показываю кивком, но он и сам уже понял: чинит проводку (приходится всё же пользоваться электричеством) или поправляет оконную раму. Добыл где-то доски и починил крыльцо. Дом потихоньку разваливается, и если бы не Степан Иванович, я давно лишился бы крова. Таких людей можно встретить только в сельской глуши: чеховский Редька, гоголевский расторопный мужик не в немецких ботфортах.

«Как жизнь молодая, Степан Иваныч?» (Ему 60.)

«Помаленьку».

«Погодка-то, а?»

«Да, погода не жалуется».

Раз в году, а то и дважды, весной и осенью, он хворает. У него начинается лихорадка, температура скачет, проливной пот, кашель с гнойной мокротой. Больной желтеет и худеет. У него, как он говорит, «апщес». Диагноз был поставлен ещё до меня. Следовало бы ехать в город, в те времена уже научились оперировать хронический абсцесс лёгкого. Но он ни куда ехать не хотел. Я был молод и, что называется, на коне, ликвидировал обострение массивными дозами только ещё входившего в употребление пеницилина. С тех пор Степан Иванович свято верит в уколы, каждый год умирает и каждый год воскресает, как Озирис. Почувствовав приближение рецидива, ложится в больницу и сам говорит врачу, что надо делать.

Негоже раскладывать пасьянс при электрическом освещении, карты к нему не приучены, куда приятней и достойней — при свечах. И тогда мы оживаем, ощутимей становится наша власть, тогда можешь вчитаться в свою участь, начертанную на наших неподвижных лицах, — тайну, спрятанную в катакомбах грядущего. Мы получаем указания отсюда, мы, короли, дамы, валеты, — перст Божий.

А может, и демонское наваждение.

К несчастью, свечи вышли из обихода; как уже сказано, я сижу с керосиновой лампой. Древняя лампада из толстого зелёного стекла, должно быть, принадлежавшая земскому врачу, который некогда обитал с семейством в моих хоромах. В своё время я интересовался историей наших мест. Больница была построена уездной земской управой в конце XIX века — в самом деле чеховские времена. Село от нас в двух километрах, мощёную дорогу строили солдаты. По ней однажды проезжал Лев Толстой в гости к какому-то крестьянскому философу,

На чём я остановился... Я хотел написать, что было дальше, после того как я расстался с моей женой. Хозяйственные усовершенствования продолжались. Я затеял строительство водопровода. Медицинское начальство регулярно присылало из города окружные письма, инструкции, приказы по району и прочие доказательства своего существования, я швырял их не читая в ящик письменного стола; после окончания строительства пришло две бумаги: в одной мне выносили выговор за перерасход средств, в другой — благодарность за активную работу.

Возвращаюсь к стройке: в итоге долгих переговоров прибыла из треста «Водоканал» бригада, для деревенских женщин это было волнующим событием. На поляне в виду моего дома появилась строительная площадка, работы затянулись — бурили долго, никак не могли добраться до воды; октябрь наступил, пошли дожди, пока, наконец, я не увидел в окне обляпанный грязью грузовик с трубами. Была воздвигнута водонапорная башня и проведён водопровод в общее отделение, в родильный дом, в детское, в так называемый заразный барак и амбулаторию. Первые времена врачебной практики всегда запоминаются. Вскоре произошёл один случай. Прервусь ненадолго...

Ночь, продолжение

Первое время я ещё спал по ночам; когда меня вызывали, возвращался и засыпал; но оттого ли, что ожидание стука в дверь заставляло меня даже во сне быть настороже, или одиночество усилило во мне те черты характера, на которые пеняла мне моя супруга, нормальный ритм дня и ночи нарушился, — ныне этот так называемый нормальный ритм, напротив, кажется мне ненормальным.

Длинные путанные сны стали преследовать меня, я вскакивал посреди ночи и вперялся в темноту, мне казалось, что лезут в окно, что кто-то караулит в сенях. И в самом деле, стукнули в дверь — раз и другой. Был второй час ночи. На пороге стояла, закутавшись в платок, моя жена. Проморгавшись, придя в себя, я убедился, что это дежурная сестра. Мы побежали по свежевывавшему снегу к общему корпусу. У крыльца стояла подвода, в приёмном покое сидел на табуретке пожилой мужик — отец или муж, на топчане, под тулупом, в тёплом платке, из-под которого виднелась белая косынка, в валенках с галошами, лежала больная.

Лежал полутруп. Бледно-синюшная, без пульса, с закрытыми глазами и теми особыми чертами лица, которые описаны две тысячи четыреста лет тому назад отцом медицины. Вдвоём с сестрой мы раздели её; платье, рубашка, трусы — всё пропитано кровью, влагалище в тёмно-багровых и свежих алых сгустках. Большую бил озноб Её везли издалека. Она была в сознании, но не отвечала на вопросы.

Продолжение

И вот я сижу на круглом вращающемся табурете между ногами пациентки, электричества у меня тогда ещё не было. Рядом столик с керосиновой лампой. Сестра подаёт инструменты, санитарка держит вторую лампу. Но мне было темно. Разбудили шофёра, он подогнал к окну операционной урчащую колымагу, и сияние фар залило белые колпаки женщин, забрызганное кровью покрывало и физиономию хирурга с кюреткой в правой руке и щипцами Мюзо в левой. Кровотечение прекратилось, всё ещё живой труп был перенесён в палату, но давление отсутствует, тоны сердца не прослушиваются. Удалось связаться по телефону с городом, выслали машину, мой фургон встретил её на середине пути. Под утро драгоценные ампулы крови для переливания прибыли; слава Богу, всё обошлось. Женщины поразительно живучи — она выкарабкалась.

Я поговорил с мужем, это было похоже на допрос. Вмешательство произвела некая «баушка», древнейшим способом, то есть вязальной спицей. Взяла за это пятьдесят целковых. Я о ней уже слышал, в сердцах хотел донести на подпольную абортмахершу (случай, впрочем, не остался без огласки), но было не до того. Мужик был мрачен, мне даже показалось — не слишком обрадован благополучным исходом. Он был намного старше Катерины (так зовут, кстати, и мою покойную жену), был свояком председателю, того самого, который вскоре провёл мне в больницу электричество. В отношениях с Катериной что-то очевидным образом не ладилось. Ей за тридцать — по деревенским понятиям, почти старая; детей не было; когда я заметил, что, возможно, и не

будет, он сказал: «Так ей и надо!» Я спросил: разве ему не хотелось бы сына? — «А у меня есть». (Очевидно, от первого брака.) Тут, между прочим, выяснилось, что среди женщин, которые вызвались обслуживать рабочих «Водоканала», варили для них, стирали исподнее, была и Катерина. Я уже упоминал о том, что строительство водопровода вызвало оживление среди местного населения, по большей части состоящего из женщин. Кстати замечу, что надо благодарить Бога за то, что в России больше баб, чем мужиков; случись наоборот, всё полетело бы в тартарары.

Проснувшись после полудня

В те времена, как и теперь, я вёл добродетельную жизнь, другими словами, жил бобылём. Санитарки топили печь в моём доме, мне приносили обед из больничной кухни. Я много работал — с утра в отделениях, после обеда амбулаторный приём, мне помогал фельдшер Ростислав Николаевич, мужчина неопределённых лет, рослый, подтянутый, всегда выглядевший в рабочей форме, в закрытом халате с засученными по локоть рукавами, очкастый и безнадежно пьющий. Проживал, как и весь мой персонал, в селе; была у него подруга из бывших наших пациенток; однажды я заглянул к ним. В комнате не было ничего, кроме кровати и единственного стула: всё пропили.

Приходилось мне колесить и по округе: на моём участке числилось 12 тысяч, на самом деле население неуклонно убывало — деревня, как по всей России, мелела.

Как-то раз, возвращаясь к себе, я увидел женщину, сидевшую с узелком на ступеньках крыльца. Она показалась мне знакомой; мы вошли в дом. Она развязала узелок, там были деревенские гостинцы: ватрушки с творогом и завернутый в холстинку большой кусок вкусно пахнущего чесноком, свежепросоленного, розоватого сала. Кроме того, толстые шерстяные носки, связанные ею самой.

Я должен был примерить, подойдут ли, прошёлся в носках по комнате. Она молча, ясно, держа руки под большой грудью, смотрела на меня. Тут только я сообразил, что это та самая Катерина, которую привезли ко мне полуживой. Она промолвила:

«Аркадий Семёныч...»

Я взглянул на неё.

«Возьмите меня к себе».

Я нахмурился, воззрился на неё. Опустив голову, она продолжала:

«Не могу я с ним жить. Возьмите меня... Я всё буду делать».

«Вот как, — возразил я, — что же именно?»

Так она осталась в моём доме, и народ кругом всё это принял как нечто почти естественное, а моё сиротское жильё преобразилось. Разу-

меется, я спал с Катериной; первое время даже, если позволено будет так выразиться, с увлечением; муж не появлялся, вовсе не давал о себе знать; вечера мы проводили вдвоём, лампа горела на столе, я читал или слушал радио, Катерина вязала, чинила бельё. Она по-прежнему говорила мне «вы». Иногда мы играли в подкидного, я проигрывал и сердился. Ещё она умела гадать. И постепенно я постигал таинственную природу карт.

Погуляв

Боюсь, что я совсем отвыкну от сна, — устал, но не решаюсь ложиться, боюсь не заснуть. Тупо тасую колоду. Давно уже в моём жилище никого нет. В больнице другие люди; дорогу от нас до села размесили грузовики; что-то творится вокруг, якобы строится, а на самом деле неотвратимо приходит в упадок. В известном смысле это образ того, что происходит в стране, но мне до этого нет никакого дела. В России не одно столетие всё валится, да никак не повалится. Слава Богу, что лес ещё не вырубил. Мой дом — моя крепость. Я знаю, что за мной никто не придёт, никто не посмеет ломиться, разве что почтальон раз в месяц приносит пенсию. На худой конец, когда станет совсем невестомогу, я подожгу свой дом. Сгорит и вся эта разноцветная компания. Держа карту между ладонями, я переворачиваю, убираю руку — так и есть: он. Не могу сказать, что старый пердун, тот, кто сидит за столом, то есть я, — его двойник; скорее, вассал. С годами картон обтрепался, покрылся трещинками, но мы живы, здоровы, мы окружены послушной челядью, семьями, десятками, и готовы повелевать; меч по-прежнему в руке старого короля, серебряные локоны спускаются волнами из-под короны.

Впрочем, пора объяснить. Не настолько я свихнулся, чтобы не понимать, что это всего лишь картон. Но дело в том, что изображение, однажды выйдя из-под печатного станка, начинает жить собственной жизнью. Это можно почувствовать, когда имеешь с ними дело. Профессионалы-картёжники подтвердят. И, наконец, в этом можно убедиться, если проследить за мимикой, за выражением глаз. Когда старуха Пик подмигнула Германну, вы что думаете, это выдумка? Как бы не так!

Для них, для этих половинок, лишённых нижней части тела, отчего они не могут двигаться и не могут производить потомство, сознание своего «я», и заносчивость, и упорство, и минутный каприз неизбежны, необходимы: такова их натура. Компенсация увечья! Так что пусть никто не сомневается насчёт моих умственных способностей и психического здоровья. Во всяком случае, *у них* таких способностей нет.

Я им сочувствую. То, что они не в состоянии соединиться, мучительно-неутолимое влечение дамы к королю, короля к красавчику-валету, невозможность обладания — разжигает их фантазию, застав-

ляет предаваться бесплодному и безвыходному мозговому сладострастию. И они знают, эти нарисованные чудовища, что здесь исток их чувствительности к красоте. А что касается нас, кто их тасует, и добывает из колоды, и швыряет на стол, — зависть к игрокам, зависть карт к тем, кто свободно совокупляется со своими женщинами, — истинная причина их мстительности.

Такова моя философия карт. Усталый и умиротворённый, я с трудом встаю, иду спать.

Сколько-то времени спустя

Не выспался и вообще сбился с панталыку. Уселся было за пасьянс, моё обычное лекарство, — опять не ладится. В чём дело? Сменив колоду, я по рассеянности сунул туда лишние карты: выскочили две дамы Треф. Обе сразу — но ведь это тоже должно что-то означать.

Я позвал к себе старого приятеля Степана Ивановича. Тот совсем состарился, согнулся — тёмный, страшный; краше в гроб кладут. Предложил ему рюмочку-другую. Потом стали пить чай. Мне всё никак не удавалось приступить к своему поручению.

«Ну, как жизнь молодая», — сказал я уныло.

«Да никак».

«Неплохо выглядишь».

«Да уж куда лучше».

«Ничего, мы ещё поживём».

«Поживём, да... — проговорил он. — Больницу-то закрывают».

Как это так закрывают — я был слегка ошарашен. Кто это ему сказал?

«Говорят, народу нет».

Куда ж народ-то девался, спросил я, хотя прекрасно понимал, в чём дело. К этому шло. Пациентов и в моё время становилось всё меньше, теперь в иных деревнях осталось две-три старухи, дома заколочены, а то и вовсе торчат одни закопченные печные трубы; избы разобраны и свезены в город. И всё же новость была неожиданной, я всё надеялся, что на мой век хватит. Спрашиваю себя, куда же я денусь.

«Самые, можно сказать, исконные места. Скоро вовсе никого не останется», — сказал Степан Иванович.

«Что же будет с больницей?»

«А ничего. Сгниёт и повалится. И всё так. Строили, строили...»

Махнул рукой:

«Нечего тут больше делать. Земли много — продадим на́хер американцам али китайцам. Хоть польза какая будет», — заключил он.

Я кашлянул.

«У меня к тебе просьба, Степан Иваныч...»

Должен сказать, что я всегда относился с недоверием к так называемой народной медицине. Все, что было в ней ценного давно уже использовано, выделены действующие начала, противопоставлять лечение «травами» научной фармакологии глупо. Но сейчас мне пришлось вспомнить о Старухе. Не зря я пишу это слово с большой буквы. Забыл, как её звали, а может, и не знал. Некогда она вручила мне склянку с бурой жидкостью. Так сказать, последний дар моей Изоры.

Три капли, сказала она, не больше; пять капель выпьешь, увидишь небо в рогожку, а десять — помрёшь. Кажется, я догадывался, что это такое; во всяком случае, убедился, что лучшего снотворного для меня не найдётся. Больше того — лучшего средства восстановить душевное равновесие. Бабусе и тогда было много лет; почему-то я был уверен, что она жива. Я написал несколько слов, сложил записку вчетверо.

«Пошлешь внука, — сказал я Степану Ивановичу. — Да смотри, чтобы сам он не притрагивался».

Я решил как следует выспаться и не стал дожидаться ночи, на исходе седьмого часа накапал в кружку с водой. Семь — священное число, да и карта, которую я вытянул наугад из колоды, оказалась семёркой. Сперва заснул крепко, но потом стало сниться. Будто бы, наскучив валяться, я решил пройтись. Ночь ясная, звёздная, поднимая голову от подушки, я вижу над тёмным лесом слегка наклонённый Ковш, но никакой подушки, разумеется, нет, я шагаю, ёжась от ночной прохлады, мимо отделений моей больницы, где я как будто всё ещё работаю. Выхожу на дорогу, сворачиваю в сторону, углубляюсь в чашу. И с удивлением замечаю вдали мерцающий огонёк.

Сон повторился раз и два. Это начало меня раздражать, я хотел ещё выпить капелек, присланных Старухой, но как назло успел выкинуть склянку. Всё же было любопытно узнать, в чём дело, кто там разжёт костёр. Не хватает только лесного пожара. Эта мысль заставила меня вскочить с постели, я оделся и вышел. Всё то же самое: корпуса больницы, звёзды Большой Медведицы и смутно белеющий над головой Млечный Путь. В чаще леса огонь.

Я давно потерял тропинку, исцарапался, продираясь через подлесок, временами приходилось идти в обход, огонёк оставался единственным ориентиром, то приближался, то еле светился вдали. Надо бы вернуться, но я потерял дорогу назад, небо заволоклось; если пойдёт дождь, огонь погаснет, я окажусь посреди тёмного леса. Выбрался, наконец, на поляну. Костёр догорал, и никого вокруг. Я осторожно постучал в окошко — это был дом лесника. Взошёл на крыльцо. Щёлкнула задвижка, в тёмных сенях на полу косо лежала полоска света, я потянул к себе приоткрытую дверь. Опрятная, уютная деревенская гор-

ница, на столе трёхсвечник, на полу чистые половики, в красном углу темно поблескивающие иконы. И здесь тоже никого. Путник тяжело опустился на скамью.

В изодранной одежде, без шапки — потерял в лесу, — с повисшей головой, гость готов был поверить, что грезит; услышав шорох, встрепенулся: к столу, мягко ступая в толстых носках, с двумя тарелками в руках приближалась Катерина. Узкие гранёные рюмки, искрящийся графин с жёлтой, настоящей на лимоне водкой, сало тонкими ломтиками, студень с похожей на изморозь корочкой жира, ровно и важно горящие свечи в серебряном подсвечнике.

«Мне нельзя», — сказал я.

Она вопросительно взглянула на меня, держа графин над моей рюмкой.

«Я выпил эти чёртовы капли. Старуха сказала, ничего спиртного...»

Катя покачала головой, пожала плечами. Мы сидели под углом друг к другу. Я видел её широкое лицо, спокойные серые глаза, тёмно-ореховые волосы, пухлую шею, большую грудь.

Она пробормотала:

«Ничего, не повредит. Ну... со свиданьем, что ли...»

После первой рюмки мне стало тепло, я смотрел на мою подругу и не мог наглядеться.

Она снова наполнила мою рюмку.

«А ты?» — спросил я.

«Мне хватит. Да и тебе больше не надо».

«Да ладно, — я махнул рукой, — семь бед, один ответ!»

Она строго взглянула на меня. «Будешь много пить — не сможешь».

«Что не смогу?»

«Сам знаешь».

«Катя, — сказал я, смеясь. — Ведь я старик».

«Ну и что?».

Я вспомнил про костёр в лесу.

«Это я разожгла. Чтобы ты не заблудился».

«Да, — проговорил я, обвёл слезящимися глазами посуду, лепестки огня, — я ведь и вправду чуть не заблудился...». И мы оба умолкли, мне казалось, она задумалась о чём-то.

Я сказал ей, что она удивительно похожа на мою жену. А кто же я, по-твоему, был ответ, я и есть твоя жена. Так-то оно так, пролепетал я, вот и две трефовых дамы тоже... или они у вас называются крести? Это всё капли, объяснил я и вдруг вспомнил: а как же криминальный аборт?

«Я не хотела тебе говорить. И просить тебя не хотела, ведь аборт запрещены. Решила самой выпутываться».

Я чуть не крикнул: да ведь это я, я тебя вытащил! Тебя полумёртвую привезли. Мне было темно, я велел подогнать к окнам машину.

Разве я спорю, сказала она.

«Говорю тебе, решила сама. Я тебя знаю. С твоей вечной ревностью ты ведь стал бы меня мучить. Дескать, не от тебя забеременела».

«Конечно, не от меня. От одного из этих мужиков водопроводных»

Мне снова хотелось возразить — и вообще: как всё это согласовать?.. Не отвечая, не споря со мной, знакомым движением сложив руки под грудь, она спокойно смотрела на меня с таким видом, точно всё это уже не имеет значения. Кто старое помянет... Завязав волосы узлом, в одной рубашке, она налила из кувшина горячую воду в корыто, разбавила холодной из другого кувшина. Помогла мне раздеться.

«Ишь, весь в смоле перепачкался... Завтра протопим баньку, а сейчас обмоемся, не лезть же таким в постель...»

Я хотел ей сказать, что вот так же, в корыте на двух табуретках меня купали в детстве. Ну, ну, бормотала она, держа наготове намыленную мочалку в голой руке, кого стесняешься. Расставь ноги пошире...

Высокая белая кровать с откинутым одеялом ждала.

V

Время

Первое, что бросалось в глаза, были плакаты.

«Время — деньги! *Ф. Ницше*».

«Соблюдайте осторожность при переходе через железнодорожные пути».

«Не курить. Окурки на пол не бросать». И прочее в этом роде.

За барьером сидел неопрятный человек с папиросой. Посетитель снял с руки часы и протянул мастеру. Часовщик отложил тлеющий окурочок, отколупнул крышку, вставил в глаз окуляр. Осмотрел механизм, извлёк крохотным пинцетом миниатюрную батарейку, проверил ёмкость. После чего уложил батарейку на место, щёлкнул крышку и положил часы перед клиентом.

Значит, заметил я, глядя на дымящийся окурочок, курить всё-таки можно?

Часовщик сунул папиросу в рот и сказал наставительно:

«Кому можно, а кому нельзя. Часы в порядке».

«Как это в порядке, вы же видите, что они показывают».

«Вижу».

«Они не идут!»

«Что ж я могу поделывать. Я вам объяснил: механизм в порядке».

«Может быть, стрелки?»

«И стрелки в порядке».

Он взглянул на часы на стене и перевёл стрелки моих часов.

«Видите, они прекрасно двигаются».

Я спросил, сколько я ему должен.

«За что?» — возразил он.

Мне пришлось довольно долго ждать на платформе: большая часть поездов здесь не останавливается. Сойдя с электрички, я перешёл через пути по эстакаде и довольно быстро отыскал улицу, где находилась мастерская, выглядевшая солидной. Здесь ожидало несколько заказчиков, персонал ушёл обедать. Бодро тикали и постукивали часы на полках, на стенах висели лозунги и портрет правителя.

Наконец, явился часовых дел мастер. Очередь дошла до меня, часовщик положил часы на ладонь и задумался.

«Лёха, — проговорил он через плечо. Никто не отозвался. — Кому говорю!»

Лёха просунул голову через дверную щель.

«Ты Нинку видел?»

«Видел; а что?»

«Ничего».

Проверка вновь показала, что часы в порядке. Что же в таком случае было нарушено?

Время зависит от часов, а часы — от времени. Не правда ли, мы не всегда способны постичь эту простую истину, не всегда осознаём, что находимся в заколдованном кругу. Мои взаимоотношения с таинственным феноменом, который выбран здесь в качестве заголовка, побуждают меня вернуться назад.

Главное, на чём я настаиваю, — что бы там ни подумали, — встреча с гроссмейстером мною отнюдь не вымышленна. Некоторые писатели рассказывают весьма тривиальные истории, а выглядит это так, словно речь идёт о чём-то необыкновенном. Другие сочиняют небылицы, но стараются выдать их за подлинные происшествия. Чего доброго, и меня кто-нибудь примет за вымышленную фигуру. Пусть так; я не возражаю.

Чемодан и рюкзак были упакованы накануне, лыжи с ботинками стоят в углу. Как большинство смертных, я тяну лямку; как большинство, ненавижу свою работу, вскакивание на рассвете, торопливый завтрак, поглядывание на часы, эту вечную зависимость от минутной стрелки, рабство у круглолицего дьявола. Баста: завтра утром, в первый день отпуска, я отправлюсь на пустующую дачу моих друзей.

Кажется, я был единственный, кто сошёл с поезда на безлюдном полустанке, двери захлопнулись, электричка неслышно двинулась навстречу пылающему зелёному глазу, последний вагон растворился во

мгле. Всё слилось кругом в серой белизне; часы на столбе, полузасыпанные снегом, показывали невероятное время; призрачная фигура в платке, в зипуне и валенках сгребала снег с платформы. Дачник присел на скамью, чтобы снять городскую обувь, сунул ноги в лыжные ботинки. Несколько минут спустя я полушагал, полускользил вдоль дороги, с брезентовым мешком за спиной, равномерно переставляя палки, везя за собой санки с чемоданом.

Я взошёл на засыпанное снегом крыльцо и отомкнул висячий замок. В доме было холодней, чем снаружи. На кухне постояльца ожидали совок для выгребания золы, щепы и газеты для растопки; в кладовой запас дров, в большой комнате стол, поставец, старая, но исправная пишущая машинка, керосиновая лампа на случай перебоев с током, за пёстрой занавеской широкая деревянная кровать.

На стене висели деревенские расписные ходики; я подтянул кверху гирыку; маятник покачался и остановился. Мои часы, как оказалось, тоже стояли.

Дрова трещали в печи. Чайник кипел на плите. Восхитительное сознание, что не надо никуда спешить, чувство свободы, покоя и одиночества завладели душой странника. Таково было вступление, первая пришедшая в голову фраза. И точно: наконец-то я принадлежал самому себе.

У меня никого нет. Долгое время женщина, с которой я был связан, сражалась с соперницей, той самой, что стояла сейчас на столе. Клятвы, слёзы, выяснение отношений, постельная забастовка или, напротив, ухищрения любовной техники — всё было пущено в ход, все средства вплоть до обмана, до мнимой беременности. В конце концов на меня махнули рукой. Было ясно, что мною владеет иная страсть. Я остался один, каким и был, в сущности, всю свою жизнь.

Два обстоятельства объясняют, почему до сих пор мною не создано ничего, кроме вороха заготовок: во-первых, как уже сказано, не было времени засесть по-настоящему за работу. Я мечтал о карьере ночного сторожа на каком-нибудь складе, не соблазняющем грабителя, о месте библиотекаря в библиотеке, где не бывает посетителей, мечтал запереться от всех, скрыться, удрать куда-нибудь подальше, вести полуничье вольное существование в тёплых краях, спать днём, проводить ночи за письменным столом. Но есть и другая, более важная причина, она коренится в природе моего замысла. Я не хотел быть писателем как все. Я должен был выдать нечто великое и небывалое. Не роман, не драму, не эпос, не нечто такое, что было бы всем сразу и ничем в отдельности. Если хотите, сверхроман, всеобъемлющий синтез нашего времени.

Пока что моё творение, как плод в материнской утробе, шевелится в моей голове, но дайте срок, думал я, дайте только срок! В горнице стало тепло. Всё ещё длилось позднее утро; закусив из своих припасов, на-

пившись чаю, я собрался было приступить к делу, разложил бумаги, но не мог преодолеть сонливость — действие деревенского воздуха. Кровать, словно любовница, приняла меня в свои объятия.

Сказанное, не так ли, выглядит вполне правдоподобно. Удастся ли мне убедить читателя, что и дальнейшее — чистая правда? Мне приснился звон будильника. Потом оказалось, что это огромные часы бьют на вокзальной башне. Надо было спешить, я втиснулся в автобус, вместе с толпой штурмовал вагон метро; в поезде, в чёрном туннеле, среди мелькающих огней, мне пришла в голову простая мысль: куда это я несусь, ведь у меня отпуск. Сейчас будет остановка, я вылезу, вернусь на вокзал и поеду на дачу. Но поезд по-прежнему мчался, не снижая скорости, вагон шатался, в чёрных окнах смутно виднелись лики усталых пассажиров, летели тусклые огни, постукивало, посвистывало, и когда я открыл глаза, кровать всё ещё раскачивалась; я поднёс к глазам руку с часами, забыв, что они остановились; белый, бездыханный день стоял за окошком.

Я всё ещё не мог привести себя в форму; на другой день с утра вяло тюкал на машинке, взялся было писать пером, начертил несколько фраз. Наконец, оделся, но на лыжи становиться не стал. Погода прояснилась, небо голубело, был лёгкий мороз. Снег поскрипывал под ногами. Никто не встретился на дороге, я подумывал о том, чтобы проехать две-три остановки до большой станции, где надеялся отыскать мастерскую. Но, не дойдя немного до железной дороги, увидел лачужку с железной трубой и вывеской.

Там висел прейскурант, висела табличка с изречением Фридриха Ницше и было жарко от раскалённой печурки; всё это я уже описал. Не стану повторять и то, что я услышал в мастерской рангом выше. Перейду к главному. Начиная смеркаться, когда, проехав сколько-то времени в тряске автобуса, плутая в переулках полудеревенской окраины, перебираясь через сугробы, я, наконец, добрался до места. Часовых дел гроссмейстер обитал в избе-развалюхе на краю заснеженного пустыря. Я отворил калитку, постучал в дверь, в окно. Никто не отозвался. Потоптавшись, я взялся за ручку двери, утонувшую в лохматом войлоке.

Хозяин сидел на низкой тахте.

«Меня, — пролепетал гость, — направил к вам...»

Гроссмейстер, косматый, бородатый старик с характерной внешностью, перебил меня:

«Небось сказал, что я уже умер!»

Помявшись, я подтвердил, что мастер дал мне адрес «на всякий случай».

«Все они так говорят. Я всем мешаю...»

«Да, но он меня направил...»

Старец не слушал.

«Я имею в виду конкуренцию. И мою квалификацию. Впрочем, я уже не занимаюсь практической орологией».

Посетитель робко спросил, что это такое.

«Наука о часах. Точнее, наука о времени... Что случилось? А-а, — пробормотал он, мельком взглянув на мои часы, — можете не снимать. Я и так вижу, в чём дело».

«В чём?» — спросил я, озираясь.

«Вот там табуретка. Только осторожней... — Он покашлял. — Вы меня очень обяжете, если... э...»

Я вошёл за дощатую перегородку, там находилась кухня.

«А! — махнув рукой, возразил старец, когда я предложил сбежать за чем-нибудь. — К тому же здесь нет магазинов. Поищите... что-нибудь там найдёте. Осторожнее с газом».

Кое-что нашлось; я разложил снедь по тарелкам. Гроссмейстер лежал на тахте бородой кверху. Я остановился посреди комнаты, с медным чайником в одной руке и бутылкой вишнёвой наливки в другой.

«Поставить на стол, — сказал хозяин, не открывая глаз. — Чашки и прочее в буфете. Зажечь свет. Теперь помоги мне...»

После двух попыток удалось сесть. Старик глубоко вздохнул. Голая лампочка горела под потолком. Он прошествовал к столу.

«Дело в том, что... м-да. А это что такое? Где взял? Там есть получше!»

Вдвоём отправились на кухню, он давал указания.

«Вынужден прятать от дочки. Дочка иногда приезжает».

«Откуда?»

«Откуда... Из Израиля, естественно! Два раза в году, осведомиться о моём здоровье».

«Вы боитесь, что она всё выпьет?»

«Тоже не исключено».

Явились рюмки-пейсаховки. Мы вернулись в комнату с коньяком «Реми Мартен», правда, оказалось, что в чёрную бутылку налит напиток маркой похуже.

«Тебя интересует, в чём дело. Дай-ка мне часы... Стоят, ты не ошибся. Часы, которые стоят, дважды в сутки показывают верное время. Это давно известно. Это установил автор Шулхан-Арух, Великой Трапезы, к сожалению, его имя осталось неизвестным. Не исключено, что у книги вообще не было автора».

Я спросил, что это за книга. Дед молча оглядел меня.

«Когда же она была написана?»

«Написана? Она была продиктована!»

Выпили, старик жевал колбасу, гладил бороду. Я снова наполнил пузатые стаканчики псевдоконьяком.

«Тебя, стало быть, интересует, что же произошло... Часы в полном порядке, эти прохвосты тебя не обманули».

Напиток оказал своё действие. Старец стал расплываться в тумане. Возможно, оттого, что я ничего не ел с утра. Что значит — в порядке, когда они не в порядке! Гость почувствовал, что он плохо понимает хозяина. Разумней было отложить дело до другого раза; я пробормотал:

«Вы, наверное, устали. Уже поздно...»

«Устал? Очень возможно. Всё может быть... даже то, чего быть не может».

Пожалуй, пролепетал гость, я поеду...

«Поедешь, куда? Впрочем, поезжай... поезжай. Ты прав, я действительно утомился. Ты спросишь, от чего. От этой жизни, разумеется. От этой гнусной жизни. От недоброжелателей, и от себя самого, и от женщин...»

Женщин, каких женщин?

«Как это, каких. Меня посещают женщины. Главным образом по ночам. Я всё равно не сплю... А кстати, ты... Кто ты такой? Осмелюсь осведомиться. Но только правду. Правду!»

«Может быть, перенесём этот разговор на завтра...»

«Не увливай!»

Я объяснил, что занимаюсь литературой. Пишу.

«Угу. И что же ты там пишешь?»

«Где — там?»

«Где-нибудь. В твоей конторе. Или, может быть, это министерство? Верховный Совет?»

«Верховного Совета давно нет. У меня отпуск. Целых три недели!»

«Откуда это известно, что три недели?»

Я развёл руками.

«Ты не можешь этого знать, — сказал, погрозив корявым перстом, часовых дел гроссмейстер. — Ничего утверждать невозможно, коль скоро часы остановились. А вот я тебе сейчас расскажу, в Мидраше есть одна притча...».

«Завтра!» — взмолился посетитель.

«А вот я тебе расскажу. Однажды Гейне... знаешь такого поэта?»

«Никогда не слышал».

«Тем хуже для тебя. Однажды Гейне пришёл к Ротшильду. Это был такой банкир — тоже, между прочим, а ид. Что подлаешь, кругом одни евреи. Ротшильд жил во дворце. — А, дорогой Гейне! Наконец-то вы посетили мою конуру. — Нет, говорит Гейне, я пришёл взглянуть на собаку. Смешно? Не смешно? У тебя нет чувства юмора. Так вот. В Мидраше есть притча. Один архитектор пришёл в гости к торговцу шерстью. Ты меня слушаешь?»

Гость кивал тяжёлой головой.

«Пришёл к торговцу. А шерсть, да будет тебе известно, дело при-быльное. Особенно там, где холодно... Вот они ходят из комнаты в комнату, из одного зала в другой, купец показывает свои богатства. Потом вышли в сад, поглядеть на дом снаружи. Не дом, а дворец. Не хуже, чем у Ротшильда. Архитектор смотрел, смотрел... у-ах-х!»

Мне показалось, что и гроссмейстер вот-вот заснёт, я подлил ему. Старик опрокинул стопку в рот.

«...и хвалил, потом говорит: хотите, я построю вам новый дворец? — Ещё лучше? — спрашивает торговец. Архитектор помялся, нет, говорит, не обязательно. Но зато это будет новый дворец. — Ну и что? — Как это, что? Новое всегда лучше старого! — Ты так думаешь? — сказал торговец. — А ну иди отсюда вон!.. Это я не тебе, — пояснил гроссмейстер, — это я рассказываю... Я к тому, что ты собираешься стать писателем. Строить новый дворец...»

Не стоило тащиться к нему, слишком дорог каждый день отпуска. Время было позднее, я остался у него ночевать. В кладовке нашлась старая раскладушка.

Ночью почудилось, что кто-то топчется на крыльце. Могу ли я утверждать, что высокая белая фигура, которая прошла мимо меня, не привиделась мне? Но если это и был сон, то не мой. Я отнял у гроссмейстера его сон, не имея на это никакого права, сейчас, подумал я, он проснётся в гневе и выгонит меня на мороз. Я лежал на кухне, женщина в белом — возможно, это была рубашка — прошествовала в комнату хозяина. Я слышал, как она ходила по комнате. Старик что-то пробормотал. Она встала в дверном проёме, босая, с распущенными волосами. Закрытыми глазами уставилась на меня.

Утром я отправился за харчами. Пришлось довольно долго разыскивать магазин. Когда я вернулся, хозяин, как вчера, сидел на тахте. В доме было тепло. Я не стал спрашивать, кто затопил плиту на кухне. Кажется, он угадал мой вопрос: подмигнул, описал в воздухе нечто округлое, сужающееся и снова округлое. Уселся за стол. Потом, сказал гроссмейстер, он сводит меня кое-куда, ибо лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Для начала он испил из пузатого стаканчика и шумно втянул воздух в широкие волосатые ноздри.

«Без ложной скромности, да. Могу без ложной скромности сказать, что я более или менее разбираюсь в двух вещах. Которые так или иначе соприкасаются. Во-первых, в часах, это уж само собой, а во-вторых, я знаю толк в женщинах».

Гость спросил, какая между ними связь.

«О! и немалая. Сейчас, сейчас, — сказал он, видя, что я нервничаю, — куда ты торопишься? Они же всё равно стоят. Несколько теоретических замечаний. Наш мир, чтоб ты знал...»

Он вонзил зубы в огромный бутерброд с ветчиной. Трефное его не смущало. Жуя, он с презрением оглядывал своё жильё.

«Вся эта юдожь, чтобы не сказать хуже... одним словом, наш мир — это тусклое отражение высшей реальности. Всё, что происходит наверху, так или иначе отражается в низших сферах, за всем, что делается внизу, наблюдают свыше. Но есть некий узел соответствий, угадай: какой? Женщина!»

«Может быть, — заметил гость, — мы всё-таки двинемся? Это далеко?»

«Моя мастерская? Нет, рядом...»

По узким дорожкам мы пробирались через сонную окраину, которая так и не стала городом, перестав быть деревней. Гроссмейстер переставлял ноги в огромных валенках, то и дело проваливаясь в снег. Его одяние представляло собой гибрид лапсердака и тулупа. Я держал стачка под руку.

«Нетрудно заметить, что тело женщины имеет сходство с песочными часами. Может быть, и ты в этом убедился... сегодня ночью».

«Ночью?»

«Ну, ну, молчу. Станешь ли ты утверждать, что это сходство — случайность?»

Топ, топ. Лишь бы не свалиться. Глухой, туманный день. Чахлый лес неподалёку. Вокруг ни души. Можно было подумать, что мы за тысячу вёрст от столицы.

«Так вот, чтоб ты знал... Женщина не просто напоминает часы. Что такое часы? Вот, например, твои часы. Которые стоят. Или часы на кремлёвской башне, которые ходят неверно. Показывают одно, а на самом деле всё совсем другое... А что такое песочные часы, что такое вообще — часы? Приспособление, чтобы узнавать, который час, вроде того, как термометр показывает температуру? Допустим. Но, как сказано в Талмуде: возможно, правильным будет и обратное. Часы — это воплощённое время. Не я, конечно, это открыл. Это известно очень давно. Мир неудержимо стареет. Но! Достаточно перевернуть часы, и что тогда? Песок посыплется снова. Тебе понятно?»

«Более или менее. Но вы говорите, женщина. Женщин много...»

«Много, это верно. Пожалуй, даже слишком. Ходят, ходят, конца им нет...»

«Вы имеете в виду...»

«Да. Это, знаешь ли, утомительно. И чего они ходят? Каждая предлагает себя, точно я святой Антоний. Каждая думает, что она одна на свете...»

Я чуть было не сказал: но ведь одна и приходила.

«Далеко нам ещё?»

«Недалеко. Надо пройти лес».

«Вы говорили, рядом».

«Кто это говорил? Пройдём через лес, потом будет поворот. А куда торопиться...»

«Вы, наверное, устали».

Я разбросал ногой снег, дед сидел под деревом, выглядывал из-под косматых бровей, как волк из кустов.

«Есть женщины, — продолжал он, очевидно, попав на любимую тему, — и есть Женщина. Для Того, кто создал мир, нет явлений, есть сущности. В своё время делались попытки взглянуть на мир с точки зрения самого Творца».

Мне стало скучно. Отвести полоумного старца домой и откланяться.

«Ты скажешь, что это невозможно — увидеть мир глазами Творца. Но ведь написано, что Бог создал человека по своему образу и подобию. Значит, человек в состоянии проникнуть в мысль Бога. Так вот, с точки зрения Творца, женщина, чьё тело не зря напоминает песочные часы, — это и есть время, ставшее плотью».

Я помог ему встать на ноги, и мы, наконец, пришли.

Дом был похож на амбар. Кроме того, он походил на конюшню, на ковчег, на молитвенный дом или уж не знаю на что. Из железной трубы летели искры. Гроссмейстер говорил, что не занимается больше практическим ремеслом. Чем же он занимался? Он поцеловал пальцы и коснулся мезузы, косо прибитой к дверному косяку, мы вошли, дед плюхнулся на скамью, навстречу вышла, зевая, корявая баба в кофте, в ватных штанах, поверх которых символически была надета юбка.

Старик пробормотал:

«Ночь не спала, вот теперь и отсыпается... Что нового, тётя?»

«Давай, давай, — приговаривала она, — поднимай ногу...»

Она опустила на колено, кряхтя, стянула с гроссмейстера сперва один, потом второй валенок и при этом чуть было не повалилась сама. Я помог старику выбраться из тулуша.

«Я спрашиваю — какие новости?»

Ответа не последовало, мы смотрели вслед удалявшейся сторожихе, она понесла сушить валенки.

И в общем-то мало походила на Женщину его философических грёз.

«Н-да», — веско сказал он. Я спросил, не она ли приходила ночью.

«Она, кто же ещё. Конечно, не в таком виде. Что это за вид? Ни мужик, ни баба».

«Это ваша жена?»

«Что значит жена? Согрешили когда-то. Было дело... Вот с тех пор ко мне и приклеилась».

Почему, спросил я, вместо того, чтобы выяснить, что в концов концов случилось с моими часами, можно ли отремонтировать или надо их просто выбросить, — почему он уваливает? Причём тут иудейские бредни, заплесневелые древности?

«Заплесневелые, много ты понимаешь... Отвечаю: очень даже причём. И мой отец, и дед, и прадед были часовщиками. И вообще, часовое дело — традиционное ремесло евреев».

Стало быть, и разглагольствования о времени? Я поглядывал на мастерскую. Дед сидел на табуретке. В стороне, на дощатом столе были разложены инструменты. На стенах, на полках, на полу стояли и висели приборы всех фасонов и, пожалуй, всех веков. Я бы не удивился, если бы здесь оказались часы из эпохи, когда вообще часов ещё не изобрели. Высокий потолок над нами казался меньше пола, как если бы стены мастерской незаметно сужались кверху.

«Чтобы ты не сомневался...» — пробормотал он, пересаживаясь к столу. Он оглядел с обеих сторон мои часики, поднёс к уху, к носу. Вскрыл, вставил в глаз окуляр, обмахнул механизм крохотной кисточкой. Втянул в ноздри воздух и важно кивнул самому себе. После чего отложил окуляр и щёлкнул крышкой.

Сколько я ему должен, спросил я. В конце концов, это был часовщик, занятый своим делом.

«Нисколько. Или столько, что ни ты и никто другой никогда не сможет заплатить».

Моё терпение иссякло. «Знаете что...» — сказал я.

«Знаю».

«Что?»

«Ты хочешь сказать, что тебе ужасно приспичило написать обо мне. Не знаю только, что: балладу, поэму? Роман?»

«Откуда вы это взяли?»

«Ты же говоришь, что ты писатель».

«Да, но...»

Гроссмейстер покачал бородой.

«Ни к чему. Что ты можешь обо мне сказать? Что вы все можете обо мне сказать? Всё давно уже сказано и написано».

Усмехнувшись, я спросил, кто же это написал. Где?

«Я отвечу. Например, есть целая глава в Книге Сияния. В комментариях Моше бен Шимона тоже много обо мне говорится. Да мало ли где... Но ты затронул любопытную тему. Почему орология — традиция евреев? Могу объяснить. Есть китайцы, есть индусы. Китайцы утверждают, что они существуют три тысячи семьсот лет. Поди проверь... Индийцы немного скромней, но тоже, знаешь ли... Евреям 3200 лет. Если не больше. Но Индия и Китай — это большие страны, народу много, и народ там жил постоянно. Иудеи — народ маленький,

самое большое, сколько их было когда-то, — тринадцать, может быть, пятнадцать миллионов... И у них давным-давно нет своего дома. Почему? Потому что иудеи — это не народ Пространства. Это народ Времени... А теперь пошли».

«Куда?»

«В ту комнату, куда же».

Я понял, откуда летели искры: в каморке за перегородкой находился очаг с дымоходом. Что служило горючим материалом, решить было трудно. В крутом каменном углублении, ограждённом для безопасности кирпичами, плясал огонь. Очевидно, мастерская обогревалась таким архаическим способом. Почему не поставить обыкновенную печку?

«Глупец. Это не для тепла».

«А для чего?»

«Неужели непонятно: это часы!»

«Как это, часы?»

«Вот так; очень просто. Стрелки — языки пламени».

«Сколько же времени показывают эти часы?»

Старый оролог выставил перед очагом ладони с растопыренными пальцами.

«Это что, — спросил я, — какой-то знак?»

«Делай как я... Время сгорает в этих часах. Творец непрерывно сжигает им же созданное время. Или, что то же самое, развоплощает. Так спадают одна за другой материальные оболочки... Уходит видимость. Подумал ли ты о том, что служит для этих часов топливом?»

«М-м...»

«Мы! — сказал он торжествующе. — Мы все: ты, я... Наше тело, наш мозг, сердце, наши органы деторождения и с ними все, кого мы произведём на свет, Время сгорает в нас самих и мы вместе с ним».

«Угу, — сказал я. — Ничего себе».

«Я вижу, что кое-что начинаешь понимать. Можно сделать часы, где на циферблате вместо цифр будут одни чёрточки, можно вовсе без циферблата. Можно — у меня есть такие — сконструировать часы, состоящие из одного маятника, можно и без маятника. Можно вообще без ничего — без корпуса, без механизма... одним словом, без всего!»

Мы поднялись по лесенке, наверху было ещё одно помещение. Но тут стены расходились, пол был меньше потолка.

А что здесь находится, спросил я — или подумал — веря и не веря.

«Ничего. Ты сам видишь, весь песок высыпался вниз. — Я не стал спрашивать, что за песок, где этот песок. — Пошли, — сказал он, — здесь долго нельзя оставаться. Взгляни на эти стены — и прочь».

Мы засиделись в мастерской, среди стука и тиканья. Старик философствовал, говоря, что никто не знает, в чём сущность времени, нам доступны лишь его проявления. Но можно представить себе, что такое отсутствие времени.

«Смерть. Да, юноша, — продолжал он, — для мёртвых время ничего не значит, они находятся в пространстве, где часы стоят. Где они и не нужны. Где времени нет, или, что то же самое, в заповеднике абсолютного времени, освобождённого от всех своих свойств и всех проявлений. Ты только что находился в таком очищенном времени, там, в верхней половине... Побудь мы там ещё немного, и нас бы уже не было в живых».

«Берегись, — проговорил он, — твои часы остановились. Как их снова завести? Ты можешь мне ответить?»

Мне незачем (как уже сказано) оправдываться, доказывать правдивость моего сообщения, я не могу ссылаться на свидетеля: несколько времени спустя гроссмейстер сгорел во время пожара своей мастерской. Нет необходимости и называть себя, читатель вправе принять рассказчика за вымышленное лицо. Но вопрос, который я едва решаюсь задать себе самому, сверлит мою память: что если мои часы остановились навсегда?

VI

Светлояр

Наконец-то! В пахучей мгле пронеслись огни, простучали колеса на стыках, проследовал десятичасовой скорый. Пора. Не слышно голосов в коридоре. Синий свет ночника вздрагивает в такт биению сердца. Пора! Быстро, уверенно, сам удивляясь своему проворству, я отлепил датчики, отсоединил трубки, сбросил покровы и путы, сел на своё ложе, мои голые ступни не доставали до пола. Я проскользнул по коридору мимо столика, на котором горит лампа под чёрным колаком, что-то несло меня, я не шёл, я летел — тёмный, тёплый ветер пахнул в лицо. Ни малейшего представления, куда я направляюсь, — знаю только, что надо спешить, у меня мало времени. Выбрался из колючих кустов на берег.

Неширокая, тусклая, как поверхность металла, река, дымящееся поле с едва различимой кромкой леса на горизонте. Луна поднялась уже высоко. Луна превратила в пространство сна обыкновенный русский пейзаж. Скользя и хватаясь за что-то, я съехал с глинистого обрыва на влажный холодный песок, и хотя здесь, внизу было свежо, подумал, не войти ли мне тоже в воду, — я говорю «тоже», потому что в реке, в каких-нибудь десяти метрах от меня, стояла по пояс в воде русалка.

Тут я вспомнил: они меня хватятся! Прибегут за мной... Глупость, я недосыгаем. Да, почти со злорадством я подумал о том, что они до меня уже не доберутся, это мой последний, наконец-то удавшийся побег. Да и кто хватится, кто заметит? Они думают, что я — это тот, кто лежит на

высоком ложе, в застеклённом боксе, точно музейный экспонат; меня зовут — я не слышу, колотит иглой — я не шевельнусь, сердце сокращается, зрачки слабо реагируют на свет, я не замечаю никого и ничего. Пусть делают с моим телом что хотят, они не могут понять, что мне попросту не до них, не до всех этих пустяков, у меня остаётся слишком мало времени. Я переминаюсь в нерешительности на холодном песке, сейчас брошусь в воду, смотрите-ка, она зовёт, манит пальчиками еле заметно, та, что по пояс в воде. Но я боюсь воды, никогда не умел плавать; страх сидит во мне с тех пор, как я провалился под лёд, как если бы вода не простила мне, что я спасся.

Я всё это помню. Я покинул самого себя, я *над* моим померкшим сознанием; я — всё ещё тот, кто лежит за стеклом, но он — не я, меня нет, и никогда им этого не понять. Прошла весна. Прошли лето и осень после смерти моей матери, настала зима, и было необыкновенно весело. Играла музыка: радио в репродукторах или, может быть, духовой оркестр. Вдоль всей аллеи вокруг пруда ярко-тусклые фонари. Народ съезжает на санках на нерасчищенный лёд, копошится в снегу, стоят няни-домработницы, дяденька бранит дочку за то, что она запачкала варежки. А я бегу к середине пруда, там в снегу торчит палка, надо мной высокое тёмное небо, я хватаю палку и, как во сне, молча, медленно погружаюсь, в ботиках и рейтузах, в пальто с поднятым воротником, вокруг которого обмотан шарф, в шапке с завязанными ушами, всё ниже ухожу по грудь, по шею, вокруг ледяные обломки, тёмная пахучая вода, мои руки торчат над водой, и так же молча дяденька, подкравшись по кромке льда, одним рывком вытаскивает меня из воды.

После этого он опять стоял рядом с дочкой и, должно быть, доругивал её за испачканные варежки; музыка провожала нас, мы брели домой с Чистопрудного бульвара, оба с громким плачем, по переулку, мимо домов, мимо поликлиники, я и домработница, и мне было стыдно, что я обмотан её платком, как девчонка, вода хлюпает в ботиках, капает с рукавов и превращается в сосульки. Я сижу в корыте с горячей водой, и тотчас наступает утро.

Бегом, босиком, по сырой траве, жмурясь от яркого и горячего солнца, я несусь к качелям, они уже там, сказать или не сказать? Подбегаю и говорю:

«А я тебя видел».

Не следовало сразу открывать тайну, а надо было помучать её намеками, но надо спешить, у меня мало времени, мы приехали неделю тому назад, солнце блестело между верхушками деревьев, и луг сверкал, усыпанный синими брильянтами, мой двоюродный брат по имени Натка показывался на доске, хозяйская дочка, в пёстром платье без рукавов, светлоглазая, загорелая, что давало ей непонятное преимущество перед нами, стояла, приставив к глазам ладонь козырьком, делала вид, что смотрит не на меня.

«А я видел».

Она опустила руку и стрельнула глазами в меня, словно интересуясь, кого это я видел.

Реку, чёрную, как олово, хотел я сказать, и дымную даль, и тебя в реке, ты покачнулась, выходя из воды, лунный бисер одел твою наготу, я всё видел, круги незрячих глаз, ямку между ключицами, бугорки сосков, твой впалый живот и бёдра, едва успевшие округлиться. Врёшь, сказала она, кто это купается ночью. Ты, сказал я, мне хотелось её подразнить, теперь я знаю, какая ты.

Какая, спросила она надменно.

Мы стояли на доске, Натка, тощий, как щепка, в трусах и сандалиях, на одном конце, я на другом, Соня сидела посередине, верхом, мы по очереди приседали и отталкивались, скрипели цепи, медленно, неохотно, всё шире и всё стремительней раскачивались качели, летели светлые волосы Сони, летели её загорелые ноги, вспархивало её пёстрое платье, и ещё, и ещё, и всякий раз я видел перед собой застывшее в ужасе и восторге лицо моего двоюродного брата, приседал и отталкивался, и уносился ввысь, вперёд, вися на цепях, к летящим навстречу небесам. Мы остановились. Руки дрожали, всё ещё вцепившись в цепи. Она слезла с доски. Я прыгнул следом.

«Ты куда?» — лениво, сонным голосом спросил Ната.

Меня несло куда-то через луг.

«Эй, ты!»

Голос донёсся, как эхо, издалека. Они не знали, что времени в обреш, что годы не имеют значения и одно тянет за собой другое. Обернувшись, я в последний раз увидел хозяйскую дочь, она всё так же стояла, приставив к глазам ладонь, выбрался из кустарника, прокрался по коридору. Только что отгремел вдали ночной десятичасовой поезд.

То, что проплывало на дне моих глаз, подлинное отражение действительности, никак не согласовалось с окружающими людьми и предметами, они мешали мне своей мнимостью. Я чувствовал, как надо мной склонилась фигура в белом. Дежурный врач приподнял мне верхнее веко, в чём не было никакой надобности, мои глаза были открыты. Тело, с которым они что-то делали, не было моим телом. Настала глубокая тишина во мне и вокруг меня; неслышно двигались фигуры; я всё ещё был жив. Они меня сейчас убьют, с ужасом подумал я, — но нет, они хотят продлить мне жизнь, а что это, собственно, значит? Сейчас, когда я начинаю что-то понимать. Мне хотелось крикнуть: оставьте меня в покое, дайте додумать самое главное!

Что же именно, что?.. Что ты хочешь додумать, спросил врач или кто он там был. Но так же, как невозможно выразить в двух словах главный вопрос, невозможно дать и короткий ответ. Я понимаю — или догадываюсь, — вопрос о смысле моего существования есть одновре-

менно вопрос, где оно, что оно такое — моё существование. В каких глубинах или, может быть, на каких высотах пребывает моё «я»? Кто задаёт этот вопрос? Стоит только спросить, что такое мое «я», как оно исчезает. Прячется в самом вопросе. Положим, я сознаю себя; но я сознаю и то, что во мне живёт это сознание, а значит, живёт и сознание моего сознания. Вот так и гоняешься между зеркалами за собственным двойником, за призраком самого себя.

Только сейчас до тебя доходит. Всю жизнь было некогда, жизнь отвлекала от жизни, вот в чём дело, милейший, не хватало терпения, не было смелости, мудрости всмотреться в неё. И только в эти последние мгновения становишься самим собой, сбрасываешь тряпье. Только в эти мгновения ты способен постичь истину. *Ты сам становишься истиной.* Ты, от которого уже ничего не осталось.

Медленно, медленно катятся оловянные воды. Даль в тумане. Завтра будет солнечный день. Завтра будут летать качели. Ещё ничего не произошло, вся жизнь впереди. Если бы знать, что ждёт. Если бы не знать... Еле слышимый звук рождается в тишине, слабый плеск доносится, удар хвостом-плавником. Шевельнулась вода, пошли круги, сейчас она вынырнет.

Нагота не существовала сама по себе, кто-то должен был её видеть. Стоило потерять её из виду, как она исчезала, и осиротевшая память могла лишь перебирать мокрое покрывало тайны. На другой день, когда я увидел Соню и моего брата на площадке возле качелей, где был насыпан песок, и она стояла, заслонясь от солнца ладонью, голоногая и загорелая в своём пёстром платице, когда я сказал с замиранием сердца, со злорадством, словно то, что произошло ночью, давало мне власть над ней: а я тебя видел! — то сейчас же почувствовал, что от моего самодовольства ничего не осталось, открытие не имело никакой цены. Секрет её тела, приоткрывшийся было, чтобы увлечь за собой в воду случайного соглядатая, замкнулся, как створки раковины, божественная нагота заволоклась, я глядел на Соню, словно никогда не знал её без одежды, я ничего не присвоил из увиденного ночью, в сущности, ничего и не видел, и презрительная гримаска на её лице как будто подтверждала это.

Нужно было зажмуриться, перевести стрелки назад, что и случилось, и опять (или впервые?) в реке поднялась фигурка, вся в серебряной чешуе, шла и не шла, танцую, балансируя тонкими руками, выступили соски, в тёмной воде просвечивал лунно-белый живот, бледная чаша бёдер; было зябко, холодно сидеть на песке, я встал, в этот час вода, разогретая за день, была теплей воздуха, плавать я не умею, но так тянуло искупаться! Это был не сон и не обман зрения, но моё зрение соткало из лунных волокон её округлившееся тело, и это тело тотчас перестало существовать, как только я вспомнил, что пора возвра-

щаться, и я вовсе не был уверен, что видел её на самом деле, когда, подбежав к качелям, объявил или, может быть, хотел объявить: теперь я знаю, какая ты из себя.

Она посмотрела на меня с сонным, туповатым выражением, открыв рот, медленно наклонилась и стала яростно царапать свои голени цвета, который бывает у кожурки арахиса, оставляя белые полосы ногтей на загорелой коже.

«Какая?» — спросила она.

Подозреваю, что мой двоюродный брат Натан слышал эти слова. Что и подтвердилось. Кстати, он пропал без вести, и я тоже отправился бы на фронт, если бы война продлилась до осени, но в то утро никто ни о чём не подозревал. Он спрыгнул с качелей, отозвал меня в сторону и сказал, что нам надо поговорить. Нет, это мы потом пошли с тобой в лес, возвратил я, а перед этим качались втроём на качелях. Он как-то легко со мной согласился, пожалуйста, сказал он надменно, если ты настаиваешь. Я не настаиваю, ответил я, просто так было. Мы вознеслись вверх, и полетели вниз, и снова вверх, и следом за нами проваливались и взлетали деревья, взлетало Сонино платье, и её руки вцепились в доску, и глаза стали неподвижными. И особенным шиком, особым эффектным трюком было повиснуть, запрокинув голову, на цепях в мгновение, когда ты долетал до уровня перекладки, знать, и подумать молниеносно, что будет, если пальцы вдруг разожмутся. Всё это продолжалось до тех пор, пока Натка не сказал ей: ты побудь здесь, у нас мужской разговор.

«Надеюсь, ты не станешь отрицать, — сказал он, специально выбирая взрослые выражения, — надеюсь, не станешь отрицать».

«А в чём дело-то?» — спросил я, прекрасно понимая, в чём дело.

Он сказал: «Мне всё известно».

У меня заколотилось сердце, и я спросил: что известно?

«Всё», — отвечал он.

Мы выбрались из чащи, и пламя небес ударило нам в глаза; мы зажмурились.

«Что это ты там говорил, что ты её видел, — где ты её видел?» — небрежно спросил Натка, и я понял по его тону, что он всё-таки знает не всё.

Он поднял голову к верхушкам деревьев и сказал, что сегодня особенный день: солнцестояние. Я впервые слышал это слово, но на всякий случай переспросил: сегодня?

«Я бы вызвал тебя на дуэль», — продолжал он задумчиво, и я понял, что задавать вопрос, где он достанет оружие, излишне, так как его отец был военным, носил форму и портупею, и шпалу в петлице. Кроме того, я давно догадывался, что между Наткой и Соней что-то есть. Они были вместе, когда утром я сбежал со ступенек террасы. У него было

преимущество, он был старше меня почти на два года. Но зато я видел то, чего он, конечно, не видел, и оттого, что он не знал, *что именно я видел*, я почувствовал, что в руках у меня козырь.

«Ну и вызывай», — сказал я.

«Жалко».

Я не понял.

«Убивать тебя жалко, — сказал он. — Впрочем, — и это тоже было особое, никогда не употреблявшееся слово, — впрочем, ты ведь всё это выдумал».

«Что выдумал?» — спросил я, сбитый с толку.

«Что она купалась ночью, всю эту цепуху. Ведь на самом-то деле, — добавил он, — ты там».

«Где — там?»

«В реанимации, где же ещё».

«Ну и что», — сказал я растерянно. Значит, он всё-таки знает. Где я и что со мной, всё знает. В это время мы уже пересекли поляну, прошагали по лесу, продрались через кустарник. Перед нами была река. Внизу, под обрывом, полоска песка. Вода у берега была тёмной, как графит, а дальше сверкала так, что было больно смотреть. «Мне её переплыть, раз плюнуть», — сказал Натан.

Мы побрели назад. Он стоял у сосны и стругал кору перочинным ножиком, который отец подарил ему ко дню рождения. Это было приятное занятие, резать мягкую сосновую кору. Заострить нос, подрезать корму и выдолбить углубление. Так как же, сказал он небрежно, не поднимая головы. Мы молчали, он отшвырнул кору, что как? — спросил я, и мы двинулись дальше.

«Имей в виду».

«Что — имей в виду?»

Я продолжал думать о реке, которая днём казалась совсем не той, в которой купалась Соня, и вдруг меня осенило, что днём она обыкновенная девчонка с испаряющимися ногами, а ночью русалка, и в этом скрыта разгадка, почему её нагота кажется невероятной, несуществующей наутро, — но я-то знаю, я видел. Конечно, я не стал об этом говорить, уж очень это всё звучало по-детски.

«Имей в виду, — проговорил Натан, — что она мне... — и тут он употребил грубое слово, которое я, конечно, знал, но сейчас оно было как удар молотком по темени. — Она мне *дала!*»

Я остолбенел.

«Когда?»

«Тебя ещё не было».

«Врёшь», — сказал я.

«Хочешь, спроси у неё. Она мне отдалась. Я её, — он сложил колечком два пальца и всадил туда палец другой руки. — Это чтоб ты знал».

Он взял нож за кончик лезвия, примерился и метнул в дерево. Я вырвал нож из ствола, отступил на пять шагов и тоже метнул, нож ударился о ствол и отлетел в сторону. Мне пришлось подобрать его и вручить Натану. А ты что, разве не заметил, сказал он немного погодя, но я не понимал, что он имел в виду. По походке, объяснил Натка, можно сразу узнать, целка или нет. Мы подошли к веранде, кто-то выбежал навстречу, это была моя тётя, мать Натана, из кухни послышался голос: «Молоко убегает!», но тётя даже не обернулась, она молча смотрела на нас, закрыв рот ладонью, оказалось, что началась война.

Он, конечно, всё выдумал насчёт походки, и о том, что у него было с хозяйкиной дочкой, но мне нужно было знать наверняка, я решил спросить об этом Сою; только что проследовал десятичасовой скорый, стеклянная дверь приоткрылась, неслышно вошла в белом, но не дежурная сестра, а гостья; сестра стояла за её спиной. Сестра что-то объясняла укоризненным шепотом, по-видимому, хотела сказать, что это не время для посещений и что ко мне вообще никого не пускают.

Не на что было сесть, она стояла возле моего ложа, так называемой функциональной кровати. Я сначала не понял, кто это, за столько лет она изменилась до неузнаваемости, но не хотел быть невежливым, сделал вид, что узнал её. Ты не хочешь меня поцеловать, сказал я с упрёком. Она наклонилась и коснулась губами моего лба. По-моему, он умер, сказала она, повернувшись к сестре, которая стояла за стеклом. Сестра помотала головой. Мне стало смешно, я хотел сказать, что я действительно отдал концы, но не для неё, ведь иначе она бы не пришла.

Как замечательно, хотел я сказать, как прекрасно, что ты здесь, Соня... и тут же спохватился, это было недоразумение; ума не приложу, как это я не заметил, что женщина, стоявшая передо мной, босая, в одной рубашке, была вовсе не Соня.

Мне стало стыдно.

Она улыбнулась. «Ничего страшного, ты просто меня не помнишь, — сказала она. — Ты и квартиру нашу, наверное, не помнишь, квартира была пуста, кто-то позвонил с улицы, и ты побежал отворять».

«Нет, — растерянно пролепетал я, — то есть да... То есть как это не помню. Мы жили на первом этаже... А как же Чистые пруды?»

«Ну, это было уже после меня. Это было зимой».

Я всё ещё не мог понять и спросил: «Как ты здесь очутилась?»

Ведь ты, хотел я сказать, лежала в постели. Днём все на работе, в пустой коммунальной квартире, никого, кроме нас, нет. Ты была больна, ты всегда лежала в постели. А я сидел на полу. Вокруг меня висели вещи. В этой комнате, которая казалась мне очень большой, я был как в целом мире. Я в ущелье письменного стола, между тумбами. Я в

убежище под обеденным столом, скатерть, свисающая складками по углам, как занавес, скрывает меня от всех. В эту минуту кто-то позвонил в дверь. Я вылез и побежал открывать.

Я становлюсь на цыпочки, чтобы дотянуться до английского замка. Тотчас парадная дверь распахивается, там стоит незнакомка, и мы оба уставились друг на друга. Удивительная, огненноглазая, в красном, в лиловом, канареечный платок съехал на затылок, у неё чёрные конские волосы и тёмное сморщенное лицо. Моя мама выбежала в коридор, босиком, в рубашке, задыхаясь, схватила меня за руку и захлопнула парадную дверь перед носом у сморщенной тётки.

«В чём дело?» — спросил я.

«Я испугалась. Мы были одни в квартире. Все говорили, что цыганки ходят по домам и воруют детей».

«Тебе, наверное, холодно, босиком, в одной рубашке. Тебе врач запретил вставать».

«Ничего, ничего...»

«Тебе надо в постель».

«Нет, — сказала она, улыбнулась и покачала головой, — не хочу больше».

«Ты выздоровела?»

«Пожалуй. Можно сказать и так. Вот этого, — добавила она, — ты действительно не помнишь».

«Ты, — пробормотал я, — ты... в этой посудине, за мраморной дощечкой? Это ужасно смешно».

«Смешно, но так принято».

«А что там написано?»

«Не знаю. Какое это имеет значение?»

Я согласился с ней, что это не так важно.

«Оставим это, — сказала она. Снова вошла сестра, они пошептались. — Я к тебе ненадолго».

Я ждал, что она меня приласкает, как когда-то, когда я расхаживал по комнате и подходил время от времени к ней. Мне даже казалось, — хоть я и понимал, что это чистая фантазия, — что я подбежал к ней с верёвочкой. «Обвяжи меня». Верёвочка были завязана вокруг пояса и крест-накрест, как ремни на гимнастёрке, сбоку висел карандаш, изображавший шпагу. Но она не шевелилась, молча и безразлично лежала на подушках, её глаза уставились в потолок, тонкие руки покоились поверх одеяла, впрочем, я ошибаюсь, она стояла рядом, молча, не сводила с меня печальных глаз и покачивала головой. Наконец, она прошептала:

«Вот я смотрю на тебя...»

«И что же?» — спросил я со страхом.

«Ты изменился».

И это всё, что ты мне можешь сказать, хотел я спросить и пожал плечами — пожал бы, если б мог.

«Из тебя ничего не вышло».

«То есть как».

«Не знаю. Не вышло, вот и всё».

Эта фраза показалась мне обидной. Я смотрел на мою мать с ненавистью. Я понял, что это и была цель её прихода — уколоть меня напоследок, сделать мне больно.

Она сказала:

«Ты был вся моя надежда. Ты казался мне необыкновенным ребёнком. Ты был похож на меня, а не на отца. А ведь я, что ни говори, была не совсем заурядной женщиной».

Да, думал я или хотел сказать. Ты писала стихи, рисовала, ты закончила консерваторию, ты тоже подавала большие надежды. Ну и что?

«Жизнь была тяжёлой, мы еле сводили концы с концами, а тут ещё эта болезнь. Я так и не оправилась после родов. Я уже не жила, я угасала. В сущности, это ты виноват в моей смерти».

«Выходит, я остался жить, а ты...»

«То, что я говорю, тебе никто не скажет. Ты никогда не был самим собой, вот в чём дело».

Чушь какая-то, бормотал я, что это значит — не был самим собой. А кем же?

Сестра вмешалась:

«Не надо его волновать».

Я сказал:

«Ты пришла меня упрекать. Ты хочешь отравить мне последние мгновения».

«Опомнись, — проговорила она мягко, — я и не думала. Дурачок. Ведь меня нет!»

И в самом деле, всё разъяснилось. Не на что было сесть. В наброшенном на плечи посетительском халате женщина, которую я не узнал, стояла возле моего ложа. Ты не хочешь меня поцеловать, спросил я. Соня коснулась губами моего лба. По-моему, она... сказала она, повернувшись к сестре, которая стояла за стеклом. Мне стало смешно, если это так, хотел я сказать, то уж во всяком случае не для тебя.

«Я случайно узнала», — сказала она.

Мои губы зашевелились, что́, что ты хочешь сказать, прошептала она, нагнувшись вплотную к моему лицу, да, муж получил новое назначение, мы тут проездом.

«Дня на три», — добавила она, выпрямляясь.

Значит, подумал я — или сказал, — ты сможешь побывать на моих похоронах.

«Ты поправишься», — сказала она.

Я усмехнулся. Сестра за стеклом делала нам знаки, чтобы мы говорили потише. Придёт врач и даст нагоняй. Соня стояла передо мной в лёгком демисезонном пальто, держа посетительский халат в опустившейся руке, из расстёгнутого пальто выглядывало светлое платье, ничего похожего на ту, загорелую, с расцарапанными ногами, которая только что стояла возле качелей, заслонясь ладонью от солнца, и всё же это была Соня.

Я боялся, что она уйдёт; надо было что-то сказать; брякнул наугад:

«Твой муж теперь, наверное, уже полковник».

Ответа не было. Не надо было об этом говорить.

«А помнишь, — спросил я, — как я тебя увидел, ты купалась ночью».

«Купалась, когда?»

«Voici la nudité, le reste est vêtement»...¹

Что это, спросила она. Я сказал:

«Это такие стихи».

Она растерянно, приоткрыв рот, воззрилась на меня, вероятно, подумала — он бредит, все вы так думаете, хотел я сказать, её губы зашевелились, где это я купалась, о чём ты, бормотала она, как будто сама сомневалась в том, что это она стоит возле меня, она, та самая Соня. И, чтобы окончательно ей доказать, я сказал:

«Перед войной. Вернее, накануне. То есть в тот самый день. А Натку помнишь?»

Я не зря упомянул моего двоюродного брата, мне мучительно захотелось узнать, правда ли, что у них *было*.

Какую Натку, спросили её губы, стало ясно, что она всё забыла, но я настаивал, мне хотелось ей объяснить, понимаешь, продолжал я, для тебя это было давно, а для меня... пожалуйста, постарайся, сделай над собой усилие, это не так уж трудно понять. У меня мало времени, но это только так считается, на самом деле для меня времени вообще больше не существует, то есть его нет в том смысле, как его обычно понимают... это верно, что мне осталось совсем немного, вероятно, несколько минут, но опять же всё зависит от того, какой смысл вкладывать в эти слова: несколько минут.

Я устал объяснять то, что, в сущности, не требовало объяснений. Но мне нужно было всё-таки знать. Скажи правду, сказал я.

«Боже мой, — устало проговорила она и провела рукой по волосам, — какая тебе ещё нужна правда...»

«Ты их красишь?» — спросил я.

«Волосы? — Она усмехнулась. — Ты это и хотел узнать?»

¹ Вот нагота, а прочее — одежда. Вот чистота, всё остальное — грязь. Шарль Пегу (*фр.*).

«Это правда, что у вас тогда с Наткой?..»

Она смотрела на меня, вздыхала и качала головой.

«Бедный, милый... Совсем один. Теперь я вижу, что ты действительно очень болен. Позвать сестру?»

Её губы смыкались и снова шевелились, но я понимал все слова.

Но сестра и так не спускала с неё глаз и время от времени делала нетерпеливые знаки за стеклом. Разговор наш прервался, как мне казалось, в тот момент, когда нам надо было так много сказать друг другу. Было невозможно предложить Соне подсесть ко мне, кровать слишком высокая. С ужасом, словно только сейчас заметила, открыв рот и качая головой, она поглядывала на все, что меня окружает, на мои исколотые руки, на аппаратуру. Всё-таки странная идея, пробормотал я, купаться ночью, одной. Между прочим, меня в детстве однажды вытащили из воды, это было на Чистых прудах, хочешь, расскажу? Я провалился под лёд.

Она молчала, смотрела на меня затуманенным взором, — что-то знакомое, сонно-туповатое было в сонином лице, — и все покачивала головой. Дверь открылась, вошёл, прыгая на костылях, Натан. Я рассмехался.

«Лёгко на помине!» — сказал я.

«Кто это?» — спросила Соня.

Натан сказал: «Побудь там пока. У нас мужской разговор». Он был худ и острижен под ноль.

«Вот видишь, — сказал я, когда она вышла, — она тебя не узнала. Она тебя не помнит».

«А что она вообще помнит!»

«Я как раз собирался спросить у неё...»

«Чего спрашивать, — сказал он презрительно, — конечно, было».

«Но она ничего такого не помнит!»

«Не хочет говорить, вот и всё».

Упавшим голосом я спросил, как же всё-таки.. как это произошло? Ведь мы оба едва успели свести с ней знакомство.

Мой двоюродный брат насмешливо взглянул на меня.

«Вот теперь я вижу. Ты действительно не того. Ведь я это всё выдумал; а ты поверил? Мальчишеское бахвальство. Но признайся: ты ведь тоже придумал, будто видел её в реке?»

Я ничего не ответил, мне не хотелось его разочаровывать. Я испытывал необыкновенное облегчение. Надо было переменить тему.

«Слушай-ка, что я хотел спросить... Ты... действительно?»

«Опять, — сказал он досадливо. — Меня уже спрашивали».

«Кто спрашивал?»

«Там... когда я пришёл. Откуда я такой явился... Да, да, да. Зато ты уцелел. Сумел-таки увильнуть!»

Я хотел возразить, что до меня просто не дошла очередь. Осенью меня бы призвали. Натка поглядел через плечо.

«Покурить охота. А?»

«Валяй, никто не видит».

Он извлёк кiset и зажигалку из болтающейся штанины.

«Так вот, значит... Обучение, то да сё. А какое там обучение, показали, как надо целиться, и пошёл. Я и воевать-то толком не успел, сразу попали в пекло. — Дежурная сестра появилась за стеклом, он уронил самокрутку и наступил на неё ногой. — Да чего вспоминать. А ты, значит, загибаешься?»

«Уже загнулся», — сказал я.

«Торопись. К нам никогда не поздно».

«Значит, ты...»

«Так точно. — Он вытянулся и взял под козырёк, придерживая локтем костыль. — Пропал без вести, ваше высокоблагородие!»

На что я холодно возразил:

«Отставить. Без пилотки честь не отдают».

«А между прочим, где я её оставил... Ты не знаешь?» — пробормотал он.

Я спросил:

«Ты хочешь сказать — убить?»

«Не обязательно. Тут есть разные возможности. Много возможностей. Можно, конечно, сразу отдать концы, это во-первых».

Мы услышали дальний грохот, потом всё ближе.

«Громче! — простонал я. — Ничего не слышу».

Гром, свист.

«Я говорю, первая возможность! — орал Натан. — Мы уже в Кюстрине, до Берлина рукой подать. Двадцать армий, два с половиной миллиона, представляешь? Катюши, гранатомёты, дальнобойные орудия — триста стволов на каждый километр. Подвезли прожектора, я сам видел. Только вот ошибочка вышла, я тебе скажу».

«Тебя убили?»

«Да я не об этом. Мясник этот ошибся».

Я хотел спросить, какой мясник.

«Е...на мать, не знаешь, что ли! А, — он махнул рукой, — что вспоминать. Думал после артподготовки ослепить немцев прожекторами, и — за р-одину, за Сталина, с ходу займём высоты, а что получилось?»

Он раскашлялся, умолк, мы оба ждали, когда закончится адский свист и грохот.

«В общем, лежим, ждём. До рассвета ещё, наверно, часа три. Впереди у немцев сплошное зарево по всему горизонту, загорелись леса. Короче, всё застлало дымом, и фокус с прожекторами не вышел. Да ещё местность сплошное болото, топь, в канавах вода по брюхо, снег только

успел стаять. Побежали вперёд, ура, со знаменем, а где тут побежишь. Техника вязнет, люди еле успевают вытаскивать ноги из грязи. Немцам только этого и надо. Немцы тоже ведь не дураки...»

Не может наговориться, подумал я. А времени в обрез.

«Где это было?» — спросил я.

«Я же говорю — зеловские высоты. Зёлов, есть такой. За Кюстрином километров двадцать. В общем, все там остались. Кроме тех, кто дальше шёл в наступление».

Меня беспокоила мысль: где Соня? Она могла не дожидаться и уйти. Ещё немного, встану и пойду её искать.

«...подорвался на mine или что там, плохо помню, пришел в себя, а не надо бы. Часа три промучался, никому до тебя дела нет, много вас таких. Сначала холодно, потом всё теплее, теплее, и на небо. Шучу... Я, может, там так и остался, война кончилась, а я уже того, сгнил. Вот тебе одна возможность».

«Слушай, Натка, — сказал я. — Может, хватит об этом? Тебе ведь и самому, наверно, не так уж приятно вспоминать. Писем от тебя не было, это мне твоя мама рассказывала, похоронки тоже не было, ты пропал, что с тобой приключилось, никто не знает, ты не вернулся. Так что всё это, наверно, я сам и придумал, мне ведь тоже ничего не известно...»

«Чего придумывать-то, чего придумывать! Нет, ты постой, я ещё не договорил. Короче, я эту возможность не использовал. Подобрали-таки... Ампутация бедра в верхней трети, ничего не помогло, гангрену не остановили, напрасно трудились. Вот тебе вторая возможность. А кстати, — спросил Натан, — не знаешь, долго это ещё продолжалось?»

«Война? Но ты же...»

«Откуда мне знать, — сказал он. — А в общем-то мне всё равно!»

Я почувствовал, что вязну в какой-то путанице. На всякий случай я спросил: а когда, собственно, это случилось?

Человек в шинели крикнул вместо ответа, нагнулся, держась за составленные костыли, и подхватил с пола раздавленный окурочок.

«Случилось, и ладно. Могло быть хуже. Могло обе ноги оторвать. И яйца заодно. Хотя — зачем они мне? Всё дело в том... — бормотал он, разглядывая окурочок, извлёк кисет из выгоревших галифе, ссыпал остаток табака, сунул кисет обратно, — всё дело, говорят, весь философский смысл в том, что на каждом повороте появляются новые возможности».

«Да, но вероятность бывает разная».

«Что значит вероятность? Даже самая маленькая вероятность возьмёт да и сбудется, а невероятностей не бывает. Вот ты со мной споришь, а сам думаешь: встану и отправлюсь на поиски. Это, ко-

нечно, маловероятно в твоём положении. Но нельзя сказать, что совсем уж невозможно. Слушай... а сколько сейчас времени, мне ведь тоже пора».

Сейчас потушат свет, сказал я, только что прошёл десятичасовой поезд.

«Ну и, наконец, еще одна возможность, самый лучший выход».

Он наклонился, повис на костылях, сопел, дышал мне в лицо, «молчи,— зашептал, — никому ни слова!» — и погрозил пальцем.

«Пропал без вести, понятно? Ничего тебе не понятно! Что это значит? Это значит, пропал и всё, оторвался с концами, и привет. И никто никогда не разыщет... а ты знаешь, сколько таких пропавших? Ничего ты не знаешь. Целое человечество в нашем веке пропало без вести. Ну, до скорого!»

Так, с поднятым пальцем, он и удалился, упрыгал прочь, и я остался в синем свете ночника наедине с моим бодрствующим мозгом. Меня снова поразила мысль о том, что едва только я начинаю прозревать, едва начинаю различать подлинную действительность и, кажется, вот-вот подберу ключ к моей жизни, к этой шифровке, — как приближается последняя минута моего существования. Как будто это и есть условие, на котором мне дают шанс понять, для чего я жил, что означала моя жизнь.

Соня, пробормотал я, твоё явление чудесно, невероятно, оно напоминает мне ночь, когда я сидел на песке и прислушивался: вот-вот плеснёт вода, всплывёт русалка, покажутся её плечи и грудь в лунной чешуе. И ещё встаёт перед глазами озеро... помнишь ли ты или уже забыла наши места, заболоченную тайгу?

«Сказка, легенда. Не было никакого озера».

«Для кого легенда, а для кого... Сейчас я тебе покажу, мне всё равно пора вставать...»

«Ради Бога... сестра увидит...»

«Не увидит. Можешь не волноваться».

«У меня будут неприятности».

«Ну, как хочешь», — я пожал плечами.

«Я уж собралась на вокзал, — сказала она, — что он тебе тут наговорил?»

«Болтовня, бред, не стоит об этом. Между прочим, он тебя хорошо помнит...»

«Меня, откуда?»

«Помнит, и как мы на качелях качались, помнит. Хрен с ним, забудем об этом. Главное, мне посчастливилось его найти».

«Кого найти?»

«Не кого, а что. Озеро, всё в камышах... я его видел своими глазами. Ты не поверила, пока сама не убедилась».

Да, но ведь это было потом, прошелестели ее губы.

«Что значит потом?» Позже, раньше, какая разница, хотелось мне возразить, ты, дорогая, барахтаешься в тенёгах грамматики. Для тебя все это непреодолимо... А для меня существует одно только вечное настоящее.

Я есть истина.

«Ты бредишь. Нет, ты не бредишь, ты умираешь. Я сейчас позову сестру и скажу, что ты умираешь».

«Возможно; впрочем, не совсем». Я хотел сказать, что у меня ещё остается немного времени — то есть, конечно, в том смысле, как она понимает это выражение: немного времени.

«К твоему сведению, это был Натка», — сказал я.

«А! вспоминаю».

«Между прочим, он мне наврал, он сказал, что у тебя с ним кое-что было».

«Что было?»

Я показал, сложил два пальца колечком.

«И луг сверкал синими брильянтами. Скажи... это действительно враньё?»

«Фу. Как тебе только не стыдно».

«Но он бегал за тобой».

«Что значит *бегал*?»

«Это было такое словечко. Был влюблён в тебя».

Мало ли кто был влюблён — она пожимает плечами.

Помнит ли она ту минуту, когда она отперла замок и сняла железную перекладину, отперла дверь ключом, но не сразу вошла в магазин, стояла на крыльце?

«Помню», — сказала Соня.

И сделала вид, что меня не узнала?

«Как я могла узнать, через столько лет...»

«Не так уж много».

«Да, но...»

«Конечно, в телогрейке, острижен под нулёвку, где меня узнать...»

«Это судьба».

Я вздохнул. При моём сравнительно небольшом сроке, протрубив половину, можно было надеяться, что меня расконвоируют. У большинства двадцать пять лет, бывшие военнопленные, изменники родины, попади, например, в плен мой двоюродный брат Натан. Он бы из немецкого лагеря загребел в наш лагерь. Если бы остался жив, если бы не узнали, что он наполовину еврей, если бы дотянул до конца войны, он бы тоже схватил четвертной. А я? Мне вообще, Соня (хотел я сказать) всю жизнь везло. Меня не успели убить на войне. В лагере у меня был маленький срок — по сравнению с большинством. На каж-

дом ОЛПе надобность в бесконвойных велика, — хозвозчики, пожарники, сторожа, мало ли всяких работ, но кому я рассказываю, ты сама прекрасно знаешь.

Развод кончился, оркестр — у нас был оркестр из заключённых — умолк, бригады потопали в оцепление, бесконвойные ждут перед вахтой, рыл десять от силы на весь лагпункт, я же говорю, у большинства — четвертной.

Показываешь в окошко пропуск, гремит засов на вахте, и выходишь — свободный человек! За спиной у тебя ворота с флажками и лозунгом, вышка над вахтой, столбы с проволокой, запретная полоса, древнерусский тын из высоких толстых жердей, сверху наклонённые внутрь ряды колючей проволоки, лампочки наружного освещения, и над всем этим вышки с прожекторами, всё позади, — иди, никто не остановит, куда хочешь — с той лишь оговоркой, что не захочешь. И, однако же, побывав на разных должностях, и возчиком, и в бане для вольняшек, и ночным древоколом на электростанции, и сторожем на лесоскладе в дальнем оцеплении, я ухитрился ночью ходить за сколько-то километров в деревню, там у меня была одна...

«Это ещё кто?»

«Так... одна».

«Ты мне об этом не рассказывал».

«На подсочке работала».

«Что это?»

«Там был химлесхоз. Делали такие насечки на сосне и собирали смолу».

«Дальше».

«Что дальше?»

«Рассказывай дальше».

«Ах, Соня, к чему это? Будем считать, что этого не было».

«Но это было...»

«Что я хотел сказать... О тебе... Муж начальник лагпункта, не кол собачий».

«Не надо так».

«Удельный князь с дружиной».

«И вообще не надо об этом».

«Его перевели к нам на север, пятое отделение Белый Лух — Пож — Лашанга, когда это было?»

«Не помню. Не хочу вспоминать».

«Надо же было встретиться».

«Это была судьба».

Тишина, синий свет ночника. Только что простучал во тьме десятичасовой поезд.

«Вот именно, Сонечка. Лагерное существование, как тебе объяснить. Это дело обыкновенное, образ жизни русского человека, лагерь — это судьба, а что, собственно, означает это слово? Обыкновенную жизнь. Рассказать жизнь невозможно. Так и лагерь рассказать невозможно. Надо же было выйти за такого человека замуж».

«Я его любила...»

«Где он тебя подцепил, можно спросить?»

«Наш дом в войну сгорел».

«Дача?»

«Когда немцы подходили, всё вокруг горело, весь посёлок. Наши, когда отступали, подожгли».

«И качели сгорели?»

«Не знаю; наверно. Мы когда вернулись, не было ни кола ни двора. Поселили нас в бараке, и то благодаря тому, что отчим инвалид Отечественной войны... Моя мама вышла за него в эвакуации. Он приехал без ног».

«Да, но ты-то, ты...»

«Где с мужем познакомилась? В клубе на танцах. Он говорил, что он в командировке. Потом стали встречаться».

«Он тебе сказал, что он в этой системе?»

«Он говорил, что он на секретном объекте. Я девчонка была. Меня это всё очень интриговало. И вообще, такой видный из себя. Потом сказал... когда уже мы расписались. Я говорю, чего ж ты от меня скрывал. Не имел права, государственная тайна, сама должна понимать. Тебе тоже придётся заполнить анкету. Подписку дать о неразглашении...»

«А о том, чтобы не вступать в связь с заключённым, ты тоже давала подписку?.. Извини», — сказал я, и мы оба умолкли.

Она смотрела куда-то мимо меня, мой двоюродный брат сидел на качельной доске, мы оба были влюблены по уши, и он, конечно, слышал мои слова и хотел отомстить мне за то, что я увидел её ночью, хватался своим умением метать нож и сказал, что мог бы вызвать меня на дуэль.

А всё-таки, думал я, мне тогда показалось... когда ты стояла на крыльце.

«Что я тебя узнала?»

Я мигнул в ответ, я лежу и говорю с ней глазами, потому что от меня уже почти ничего не осталось. Но зато я кое-что начинаю постигать. Ключ к шифру жизни, Соня, вручается тому, от которого ничего уже не осталось. Нужно добраться до конца, до обрыва, как я тогда, перед тем как увидеть тебя в воде, и обретёшь истину. Развод кончился, колонны рабов отправились на работу, была ледяная весна, солнце успело взойти, наше жёлтое, таёжное солнце, точно так же оно блестело сквозь пелену облаков, когда татары добрались до Китежа и ничего

не увидели, кроме озёрной глади в камышах. Я стоял перед запертыми воротами со своим возом-ларём на двух лесовозных вагонках, соединённых цепями, с кольями по бокам, чтобы не дать ящику соскользнуть, с двумя парами колёс с обеих сторон, и колёса катятся по деревянным лежням, как по рельсам. Лежни проложены из зоны за ворота и там расходятся по сторонам.

Нормальная жизнь, Соня, далёкий год, единственный, как на Сатурне, где год равен тридцати земным годам. И кто знал, что так получится? Судьба велела тебе выйти замуж за лагерного офицера, судьба сделала меня бесконвойным. Вахтёр в изжённом картузе, в ватной телогрейке, в армейских травянистых галифе и гремучих сапожищах, сошёл с крыльца, отворил дверцы ящика, осмотрел полки, нет ли чего лишнего, буханки, ещё тёплые, пахучие, лежали в три ряда, я возил хлеб в магазин для вольнонаёмных из пекарни, которая находилась в зоне. Вахтёр захлопнул дверцы и пошёл открывать створы ворот. И солдат-азербайджанец пел тягучую песню на вышке, над крышей вахты. Лошадь дёрнулась, закивала головой, завизжали колёса. Выехали и повернули налево, мимо домика вахты. И дальше, вдоль тына, минуя угловую вышку, к посёлку сил и начальств, там же где-то и терем князя, помнит ли она это утро, спросил я.

Ещё бы не помнить.

Воз подкатил к магазину. Напротив будка ночного сторожа, там лежит овчинный тулуп, превратившийся в руину, я дремал там, скорчившись на полу, вылезал наружу, расхаживал под звёздным небом, заходил погреться в пожарку, где огромный рукастый мужик по имени Дуля, западный украинец, жарил в печке колбасу из крови и требухи, дар начальства, для которого Дуля делал настоящие колбасы из мяса.

Магазином заведовала, и она же была продавщицей, злобная тётка, жена оперуполномоченного, иной жены у него и не могло быть. И казалось мне, я уже слышу её жирный голос, она командовала, расставив ноги и сложив руки под огромной грудью. Вот бы цапнуть за эту грудь, что бы она запела? Лошадь стояла, понурившись, в оглоблях, которые подцеплялись к крюкам на передней вагонке, дверцы хлебного ящика были распахнуты, с горкой буханок на руках я повернулся, чтобы нести в магазин. Но никакой жены уполномоченного не было, на крыльце стояла ты, и точно так же, как в реке, облитой лунным оловом, точно так и тем же самым жестом, когда ты высматривала кого-то, заслоняя ладонью, утром в день солнцестояния, возле качелей, так и теперь ты смотрела из-под руки, ты посторонилась, пропуская меня с буханками, и не взглянула на меня. Я поехал назад, распряг лошадь и отвёл в конюшню, брёл в зону, к своему барaku, никого не видя, ничего не слыша, вошёл в секцию и повалился на нары. Я знал, что на крыльце стояла ты.

«Ты в самом деле меня не узнала?»

«Ты уже спрашивал».

«Я ещё хочу тебя спросить, мне это очень важно... ведь он тогда врал, когда говорил, что у него с тобой было?.. Ага, — вскричал я, — значит, ты всё помнишь. И озеро помнишь?»

«Не было там никаких озёр. Это всё легенда, — сказала Соня и оглянулась на дежурную сестру, которая стояла за стеклом моего бокса и делала нетерпеливые знаки. — Сейчас... две минуты», — пробормотала она с мольбой, с досадой. И, как всегда бывает, когда срочно надо что-то договорить, мы умолкли.

«Итак?» — спросила она или вообще кто-то.

Я вздохнул, лучше сказать — перевёл дух. Итак, я подъехал. Бросил возжи на спину лошади, открыл дверцы ящика и стал выгружать хлеб. Одна буханка упала на землю. Я ждал окрика — жирный голос жены оперуполномоченного раздался. Я дорожил своим местом. Зимой, в лютый мороз, когда двухметровые берёзовые плахи колются, как орехи, я работал ночным дровоколом на электростанции, там со мной кое-что случилось, я провалялся сколько-то времени на больничном лагпункте Керженец, а вернувшись, был признан негодным, на электростанции вкалывал другой. Я качал воду и топил баню для вольнонаёмных. Я был ночным сторожем на лесоскладе в сто первом квартале, от лагпункта километров десять; сплошь болото, идти можно только с палкой по лежнёвке. Теперь я сторожил возле магазина и возил по утрам из пекарни хлеб для вольняшек. Завпекарней был уголовник, важная птица, он и мне иногда давал что-нибудь.

«Можешь мне не рассказывать».

А я ему за это — с риском, само собой, — проносил кое-что из-за зоны: цыбик чаю для чифиря, пачку духовитого мыла, одеколон выпить. Вся жизнь, если хочешь знать, устроена по лагерному образцу, лагерное существование есть нормальный образ жизни, я знал людей, которые боялись конца срока, с тревогой ждали освобождения. Я знал разных людей, Соня. Буханка упала, я поспешно подобрал, никакого окрика не последовало, не было больше жены уполномоченного, на крыльце магазина стояла ты. Что это за шум, спросил я.

«Это аппарат, он дышит вместо тебя».

А... ну пусть дышит. Нет, лучше пусть уберут, мешает говорить. В общем, будем считать, что мы друг друга не узнали. И ничего бы не было, если бы не эта случайность... этот щит.

«Это была судьба. Ничего бы не случилось, если бы не судьба».

«Но судьба — это и есть истина, ты как считаешь?..»

Загремел засов на вахте. Это было такое устройство, чрезвычайно практичное, в лагере вообще было много изобретений, лагерь сам — гениальное изобретение. Не надо каждый раз выходить и проверять, кто

идёт. Надзиратель смотрит в окошечко, показываешь пропуск. У него там рычаг, он нажимает, засов отодвигается. Магазин работает до восьми, а время — начало девятого. Она выходит на крыльцо, машет рукой, начальственным жестом, чтобы я помог ей навесить щит. Я человек крепостной, у нас крепостное право, мы все крепостные. Что велют, то и делаем. Щит из сколоченных досок прислонён к окошку, она берётся с одной стороны, я с другой, нет, говорю я, отойдите, поднял и поставил щит на подоконник, теперь брус, я держу щит, она просовывает в скобы деревянный брус, который удерживает щит, мы стоим рядом, в магазине полутемно, мы стоим рядом и не смотрим друг на друга, дверь закрыта, если кто подойдёт, шаги будут слышны на крыльце, и действительно, кто-то подходит, опоздавшая покупательница или кто там, сейчас заметит, что железная перекладина висит рядом с дверью, значит, магазин ещё не закрылся, мы стоим рядом, судьба спасает нас, шаги удаляются, щит закрыл окошко, темно, и я обнял тебя, Соня.

Я видел тебя ночью, в лунной чешуе, ты поднялась и шла к берегу, и вода постепенно опускалась вокруг тебя, ты меня не заметила, и наутро твоя нагота вновь окуталась тайной.

Она вырвалась. Несколько мгновений она стояла, глядя в пол, медленно подняла голову и вздохнула, словно нам обоим предстояло выполнить тяжёлый долг.

«Как тебе не стыдно...» — проговорила она и покосилась на дежурную сестру, но сестра, на наше счастье, исчезла.

«Ангел смерти», — усмехнувшись, сказал я.

«Как тебе не стыдно, ты же мужчина. Ты не сдвинулся с места... ты хотел, чтобы я первая».

«Я заключённый, Соня. А ты была начальница. Да ещё какая: жена князя».

«Перестань... почему ты называешь его князем?»

«Потому что я смерд».

«Я заперла дверь на ключ. Почему ты медлишь?»

«Потому что я тебя люблю».

«Этого не может быть. С тех самых пор?»

«Здесь темно, но я тебя вижу».

«Что ты видишь?»

«Я вижу тебя всю. Ты такая же».

«Если бы ты вошёл в воду...»

«Я боюсь воды. Меня однажды вытащили из проруби».

«Если бы ты меня подождал».

«У меня оставалось мало времени».

«Теперь мы будем вместе».

«А как же твой муж?»

«Никак, — сказала она. — Муж одно, а ты другое».

«Муж — это муж», — сказал я.

«Я буду тебя ждать. Когда ты освободишься, я с ним разведусь».

«А до тех пор?»

«А до тех пор так и будет».

«Ты часто с ним спишь?»

«Иногда».

«Ты его любишь до сих пор?»

«Не знаю. Так, как с тобой, у меня с ним никогда не было».

«Но ведь ты что-то чувствуешь, когда ты с ним?»

«Чувствую. Я же не колода».

«Тебе бывает приятно?»

«Иногда приятно»

«Он пьёт?»

«Все пьют. Ну и что?»

«А то, что меня не никогда не освободят, вот что».

«Почему это?»

«Потому что у меня такая статья. Кончится срок, его продлят автоматически. Или в ссылку».

«Куда?»

«Почём я знаю. Далеко».

«Я к тебе приеду».

«В ссылке ещё хуже, чем в лагере».

«Зато будем вместе».

Мы всегда вместе, хотел я сказать. Мы там так и останемся. Где там? — прошелестели её губы. Магазин состоял из двух комнат. Во второй помещался склад. Мы устроили там ложе из ящиков. Каждое утро я разгружал хлеб. Покупательницы стояли и ждали. Все тебе завидовали. И твоему месту, и то, что ты жена князя. Он был капитаном, теперь, наверное, полковник? Нет, сказала она, после той истории повышение откладывали несколько раз. Нас перевели на другой лагпункт. А потом он и вовсе ушёл из этой системы. Из этой системы не уйдёшь, хотелось мне возразить. Эта система вечная. Кто там побывал, даже если удалось ускользнуть — вернётся. Всё равно, кто он: князь или смерд. Как смерч, неслась по зоне весть о том, что капитан обходит свои владения. Лазают по баракам, как это называлось, — после развода, после того, как нарядчик обнюхает секции, отловит отказников, когда дневальные в пустых секциях принимались за уборку. Капитан вошёл, с ним помпобыт и два надзирателя. Дневальный с шваброй, навтытяжку. А это кто там? На верхних нарах в углу. Это я, Соня, лежу, притворившись спящим, потому что с начальством лучше не связываться. Ты думаешь, я лежу здесь в боксе на функциональной кровати, но ведь кровать — те же нары, в некотором смысле. Я лежу и слышу пропитый голос капитана, и знаю, что он сегодня ночью с тобой спал, но он не знает, что накануне вечером ты

принадлежала мне. Ночной сторож, отвечает помпобыт. Почему не в секции для бесконвойных? Гремят сапоги, капитан со свитой покидает секцию. Раз в неделю я ездил на станцию Поеж за продуктами. Наше княжество самое северное. От нас до комендантского лагпункта ехать в теплушке полсуток. Когда затеялось дело — когда всё это открылось, меня везли в теплушке, и я просидел в тюрьме месяц. Мне добавили срок и отправили на штрафной, на самые тяжёлые работы. До этого сидел в изоляторе у нас на лагпункте, пока опер-кум трудился над оформлением дела, для него это была находка, он давно копал под капитана. Потом повезли, как обезьяну в клетке, на комендантский. Это только так называется — теплушка, на самом деле стучишь зубами от холода всю ночь. Конвой сидит в тамбуре, там у них железная печка. Наше пятое лаготделение в керженецких лесах. Лагерь движется всё дальше, год на Сатурне тянется тридцать лет, лагерь вгрызается в тайгу, оставляет после себя заброшенные насыпи железнодорожных усов, полусгнившие штабеля невывезенного леса, кладбища полуобгорелых пней, пустыню чёрного праха. И сколько ни истребляли лес, ни до какого озера не добрались. Легенда, бред твоего угасающего сознания. Ты наедине со своим сознанием, как тот, кто склонился над своим отражением в воде.

«Однако ордынцы его нашли, — сказал я. — Надо уметь искать».

Нет там ни лежнёвок, ни гатей, и конём туда не проедешь, только лазутчики, знавшие эти места, видели чудный город, и следом за ними, сперва по Керженцу на узких лодчонках, потом всё дальше уходя от реки в таёжную глубину и тьму, хлюпая в болоте, обходя трясины, под тучами мошкары отряд монголов, сорок воинов, молча, тайно продирался через подлесок. И вдруг увидали просвет, голубое небо, и вот оно, серебряное, лазоревое, недвижимое — чудное озеро Светлояр, тёмное у берегов от леса, поднявшегося со дна. Но на самом деле это не лес на дне, а лишь отражение берегов. А где же Китеж? Лазутчики разводят руками.

Она сказала:

«Это всё Ферапонтиха».

«Верно, Соня. Я совсем забыл, что фамилия оперуполномоченного была Ферапонтов. И забыл про жирную тётку. От которой, между прочим, мне житья не было... Откуда ты знаешь?»

«Знаю. Это она пронюхала. Она до меня заведовала магазином. Мы не будем открывать».

«Да. Мы не будем открывать».

«Пускай ломают дверь».

«Пускай. Тебе надо одеться».

«Они ушли».

«Пошли за ломом».

«За отмычкой. У лейтенанта есть отмычка. Может, тебе выйти? Потихонечку. Я сейчас открою».

«А ты?»

«Что-нибудь наплету. Выходи скорей, пока их нет».

«Бесполезно. Они же видели — сторожка пуста».

«Они сейчас вернутся. Вот... переговариваются, слышишь? Я так и знала, я чувствовала. Представляешь себе, что будет. Заключённый, с женой начальника, ночью. Что они с тобой сделают?»

«Ничего».

«Что они с тобой сделают!»

«Да пускай хоть на куски режут. Я неуязвим, Соня. От меня уже ничего осталось, я свободен».

«Там никого нет. Милый, родной. Уходи».

«Соня, — проговорил я. — Это правда. Никакого Китежа нет, там одно пустынное озеро. Там тишина, там даже птиц не слышно. Но если прислушаться, кое-что услышишь. Соня, я знаю дорогу, мы обойдём трясину. Там такой густой ельник, что в трёх шагах ничего не видно, неба не видно. Но я знаю, как добраться. Ты увидишь, нет больше никакого Китежа, пропал Китеж. Мы с тобой сядем передохнуть и услышим. Это колокольный звон. Колокола бьют, и вода чуть-чуть колеблется, ты сама увидишь, если присмотреться. Соня, мы с тобой уйдём, и никто нас никогда не разыщет. И будет считаться, что мы с тобой пропали без вести. Я боялся воды, меня когда-то вытащили из проруби, но теперь я больше не боюсь, и даже хорошо, что я не умею плавать. Я возьму тебя за руку и скажу: вставай, пошли. А как же, ты спросишь, прямо так, в одежде? Конечно. Вот так, взявшись за руки, здесь дно сначала мелкое. И никто нас больше не увидит. Пусть хоть целый взвод с собаками пойдёт по следу, пусть оцепят всё княжество. Пускай объявят всеоюзный розыск, нам-то что. Мы пропадём без вести! Уйдём за тридевять земель от этой Ферापонтихи, и от кума, и от князя, и от вышек с прожекторами, от всей этой гнусной жизни и Богом проклятой страны уйдём прочь, они прoderутся сквозь чашу, выскочат на берег с псами, с автоматами, сами как псы, — а нас, ха-ха! Ищи, свищи».

«Бегите за врачом, — сказала она. — По-моему, он умер».

ЗОВ РОДИНЫ

I

Пассажир атлантического лайнера увидел в иллюминаторе низкое здание аэровокзала, прочёл название города — греческие буквы — и подумал, что должен был бы испытывать необычайное волнение. Вместо этого им владело странное спокойствие — чувство нереальности. Нереален был прежде всего он сам. Пассажир чинно шагал вместе с другими к широкому входу, который охраняли солдаты в пятнистой полевой форме. В холле, на лестнице — всюду стояли вооружённые люди, почему-то в матросских тельняшках под гимнастёрками нараспашку. Он встал в очередь в зале паспортного контроля, народу всё прибавлялось. Один за другим зажглись стеклянные кубы над контрольными кабинетами, люди бросились к другим очередям, толпа смешалась, турист топтался, не зная, куда податься, и очутился в самом конце очереди. Ожидание заняло много времени. Он разглядывал рекламы на стенах. Прислушиваясь к говору соотечественников, различал каждое слово и не понимал, о чём они говорят. Постепенно чувство действительности, то самое чувство, которое сознаёшь только когда оно исчезает, возвращалось к туристу, правильнее было бы сказать — чувство двойной действительности. Точно он сделал шаг на другую половину разводного моста: одна нога здесь, другая там. Мост медленно расходится, а внизу вода. Наконец, он приблизился к барьеру. С чемоданом у ног, держа свою книжечку наготове, он ждал решающего момента. Офицер за стеклом — это была женщина — углубилась в изучение бумаг, мать с малышом на руках, держа за руку другого, засуетилась, посадила ребёнка на полку перед стеклом кабины, рылась в сумочке, требовалось предъявить ещё что-то. Контролёра безучастно наблюдала за ней. Туристу — малоподходящее слово, он сам не знал, как себя аттестовать, — туристу представилось, как пальцы с кровавым маникюром развернут его паспорт, как контролёра, прижимая погоню телефонную трубку, произнесёт несколько слов. Приезжего просят «пройти». Комната с зарешечённым окном, с портретом властителя. Приезжий требует, чтобы его соединили с посольством. Ошибаетесь, гражданин, посольство тут ни при чём. Но почему его задержали? Это вам объяснят в другом месте.

Хлоп! Удар штемпелем. Счастливая мать удалилась. Он приблизился к окошку. Забытое ощущение человека с неполноценными документами. Что-нибудь непременно оказывается не так; безупречны только фальшивые документы. Он протягивает паспорт и визу, на него смотрят из-под козырька спокойные женские глаза, голос приказывает снять очки. Дама в погонах задумалась. Хлоп, ему возвращают докумен-

ты. Пассажир минует таможенный контроль — никто не интересуется его чемоданчиком — и выходит в неторопливую суету осеннего города. Блестят лужи, шуршат, подъезжая и отъезжая, машины. Он глубоко вздохнул. Дождь перестал.

Его обступают, наперебой предлагая свои услуги, у этих людей наметанный глаз, в нём тотчас распознали иностранца. Он решил не показывать виду и всё же не удержался, дал понять (тотчас пожалев об этом), что он не новичок в городе. Летят навстречу рекламные щиты, надписи, макаронический язык, не русский и не английский, озябшие женщины на обочине, две и ещё две, высоко открытые ноги, обтянутый зад, одна выбегает на проезжую часть, машет клиенту, другие стоят, переминаясь, руки под грудью, жёлтый глаз светофора пронесится мимо, грязный кузов автобуса загораживает путь — водитель в засаленном пиджаке что-то объясняет милиционеру в широкой блинообразной фуражке с латунным орлом. Мир дробится в расколотом зеркале, город надвигается. Город завладевает гостем, и чувство, которое он испытал в аэропорту, чувство утраченной действительности, оживает вновь, теперь её права узурпирует новая действительность, другая суета оттеснила волнение отъезда. Не доезжая Белорусского вокзала, свернули на правую полосу, почему не прямо? С этими людьми надо держать ухо востро. Шофёр усмехнулся, не удостоив ответом; ленивая снисходительность старожилки.

Между тем начинает темнеть, всё больше огней вокруг, день сморщился. Путешественник забыл перевести часы. Он нажимает на кнопки входного устройства, один раз, другой, щёлкнуло, он успел толкнуть дверь, в полутьме поднимается по ступенькам, гремучий, шаткий лифт тащит его вверх.

Слава Богу, хозяйка дома. Он уличил себя в том, что везде ожидает подвоха, лазутчик во враждебном стане. Но ведь так оно и есть. Человек приехал домой и как будто не домой. В совершенстве владеет местным наречием, и всё же нет-нет да и выдаст себя устарелым словечком. Иностранец гость, а как хорошо, легко и свободно изъясняется на языке страны. Иностранец вступил в сумрачную квартиру. Хозяйка — интеллигентная дама, милая и гостеприимная, возраст близко к восьмидесяти, ужасно одета, узелок волос цвета семечек. Он пьёт чай, с трудом уместив ноги под ненадёжным столом, и хвалит статуэтки животных из обожжённой глины. Звери стоят на полочках в прихожей, на кухне, в комнате, где помещается стол, книжный шкаф, телевизор, горшки с чертополохом; на шкафу и под столом — картонные коробки с имуществом, всё свободное место заставлено чем-то, негде повернуться: чем человек бедней, тем больше у него добра. Тут же и ложе, на котором предстоит ночевать. Он сразу же отсчитывает доллары.

«Я у сестры. Если что случится...» Что может случиться? Если отключат воду или что-нибудь с электричеством. После этого она долго

объясняет, как пользоваться ключами. Вода с грохотом вырывается из крана. Он хотел принять душ, но раздумал. И, засыпая, снова видит зал паспортного контроля, солдат, диковинные рекламы, ярко освещенную кабину, даму за стеклом, в форменном галстуке, с выдающейся грудью.

II

Он проснулся от резкого звонка: участковый милиционер. Бдительный сосед. Нищенка с ребёнком. Или — люди «оттуда»?

В пыльных завесах солнца пляшут искры, он сидит в трусах, между своими коленями на низком диване, почти на полу, среди книг, иссохших растений, коробок из-под обуви, ждёт, когда в дверь позвонят снова. Он иностранный подданный, *what on earth you're doing here?* Какого лешего. Он спит, оставьте его в покое. Его нет дома. Его нет вообще. Всякий покинувший страну перестаёт существовать, чего ж вы ломитесь к несуществующему человеку?..

Его нет, и всё же он здесь. Поразительно и невероятно: он — здесь. Проходят минуты, за дверью молчание. Звонки не повторились. Он включает радио, женский голос тараторит на чудовищном языке подворотен: на родном языке. За завтраком (добрая хозяйка оставила кое-что в холодильнике) приезжий раздумывает, позвонить ли ему на улице из автомата или прямо отсюда.

«Павел Евгеньевич?»

Заспанный голос: «Какой тебе ещё Павел Евгеньевич».

«Будьте добры Павла Евгеньевича».

«А кто его спрашивает?»

«Знакомый... с ним договаривались».

«Кто договаривался?»

Чёрта вызывают трижды. Трубку берёт сам Павел Евгеньевич, о котором известно только то, что его зовут Павел Евгеньевич. Приезжий передаёт привет от такого-то — род пароля; ему велят перезвонить через полчаса. Пыльно отсвечивает мутный, как око слепца, экран телевизора, за окном, в просвете тёмных, не стиранных со времён революции, штор сияющий день. Первый день на родине. Несколько времени погода несуществующий человек нетерпеливо крутит расхлябанный диск. Короткие гудки. Снова и снова он набирает номер. Он вышел на улицу, одетый так, чтобы не бросаться в глаза, но что-то в походке, в лице, он это чувствует, выдаёт в нём воскресшего из небытия. Блудный сын вернулся. То-то радость. Заколите отколмленного тельца!

И правда: день так юн и ослепителен, и сверкает в витринах, и вспыхивает молниями в стёклах несущихся мимо машин, что забытое счастье — выбежать из подъезда без шапки, в распахнутом пальто, в си-

неву, счастье шагать по этим улицам — оживает в душе приезжего; сейчас, когда пришла пора приступить к делу, ему кажется, что задуманное было не целью, а лишь предлогом.

Мешает, однако, нечто. Мешает чувство умышленности. Прохожие искоса поглядывают на него. Чьи-то глаза провожают его. Он идёт, жмётся к домам, и кто-то следует за ним. С самого начала его взяли на прицел, поджидали у подъезда. Это уже что-то психиатрическое. Он сворачивает, кто-то тоже сворачивает. Успеть перебежать улицу, рискуя жизнью: бесправие пешеходов — первое, чему здесь следует научиться. Турист увидел вывеску ювелирного магазина, гордо прошагал мимо, постоял на углу, вернулся, разглядывает витрину. Охранник из отряда приматов, поперёк себя шире, устремил на него недобрый зрак.

Дальнейшее — как скверный криминальный роман. Некто кивает в стеклянных дверях. Клиент входит внутрь, оба минуют торговый зал, его ни о чём не спрашивают, на него не смотрят, в задней комнате сидит элегантный, с дорогой булавкой в галстук, деловой и немногословный молодой человек. Едут по Садовому кольцу, где катится лавина, где воздух дрожит от рёва и грохота, руки водителя в перстнях, в манжетах с мерцающими запонками вращают баранку, глаза прищурены, для этой касты правил не существует. Врываются в гущу урчащих, тархтящих машин, несутся вперёд под рубиновым оком светофора, эффектно сворачивают. Визжат тормоза. Впереди Красные Ворота.

Проезд Серова или как он теперь называется. Никто никогда не сможет ответить, кто такой был этот Серов. Никто не помнит, никому не придёт в голову, что на углу была когда-то керосиновая лавка. Огромными буквами — не курить, всё обито железом, жёлто-серебристая струя льётся из крана в железное корыто, продавец в клеёнчатом фартуке красной, лоснящейся ручищей, литровым черпаком наливает серебряный керосин, вытряхивает капли из воронки, очередь с бидонами, с бутылками на верёвочке, и этот запах.

Ещё немного — покажется полукруглый, наподобие туннеля, вход в метро. «Где такие люди, настойчивые люди...» А ведь мы даже помним, хоть и смутно, шахту метрополитена в переулке, рядом с чехословацким посольством. «Они сказали, будет сдана работа в срок! Кессонщики, бетонщики... Бетонщики, кессонщики... Где такие люди? На Ме Тро!».

Осанна! Гремит и ликует хор всесоюзного радиокомитета. Срок — метро, убудочная рифма в духе тридцатых годов. Что такое срок? Схватить срок, тянуть срок. Влепить новый срок. Всё слепилось вместе на улицах старого города, башня с квадратными часами, с гигантским портретом генералиссимуса, а там Земляной Вал, поворот на Покровскую мимо кинотеатра «Спартак», Маросейка, Ильинка, ночные переулки, глухие ворота. Мигающая сигнализация, сами собой раздвигаются чугунные створы, а там двор, тусклые огоньки, этажи камер.

Чуть дальше... но машина успела свернуть, взвизгнули тормоза, пассажир очнулся. Знакомый дом из времён детства. Фасад обманчив. «Свой!» — кричат ему окна. «Чужой», — бубнит подъезд. Приехали: тёмная лестница с дореволюционными перилами, по таким перилам съезжали на животе сто лет назад. Провожатый ведёт клиента, звякнула цепочка, на пороге встречает хозяин, приземистая бородатая личность, интеллеktуал-громилa, с кольцом в ухе и золотым крестиком на шее, в куртке иноземного покроя, в необъятных джинсах. Мяукает кот. После чего молодой человек в перстнях, доставивший гостя, деликатно исчезает.

Трудно понять, что это за квартира: музей, жилище коллекционера или антикварная лавка; впрочем, хозяин — известное лицо: не то историк, не то писатель-фантаст; вернее, то и другое; разбойная внешность — модный стиль. Кинжалы и арбалеты. На бархате, за стеклом кресты, медали, звёзды, сейчас можно без особых усилий приобрести полного Георгиевского кавалера, можно Отечественную войну. Заметьте, подлинную. Желаете посмотреть?.. Не интересуетесь. А что же вас интересует?

Я полагал, промолвил приезжий, что с вами договорились.

«Со мной?.. Ошибаетесь, драгоценный, со мной никто ни о чём не договаривался!» Должен был позвонить Павел Евгеньевич. «Какой Павел Евгеньевич? Кто такой Павел Евгеньевич? Не ведаю никакого Павла Евгеньевича. Да вы проходите, милости прошу».

Писатель подталкивает гостя в комнату рядом.

«Рюмочку коньяку?»

О, сказал гость, мельком взглянув на этикетку. Гостеприимный хозяин развёл руками: «Другого не держим».

III

Перехватив взгляд посетителя, густобородый детина поднялся и снял с полки несколько книг, стоявших на виду, — пёстро разрисованные переплёты. «Государи Руси».

«Интересуюсь, как видите, историей. Российская история, это, я вам скажу, непочатый край. Всё сфальсифицировано коммунистами».

Иностранец переворачивал страницы.

«Вот так... вы, конечно, там, как бы это сказать, маленько отстали. А вот кстати: известно ли вам, при каких обстоятельствах было совершено это изобретение?»

Какое изобретение, спросил гость.

Хозяин показал на блюде с нарезанным лимоном.

«Тоже, я бы сказал, часть отечественной истории. — Короткий вздох. — За то, чтобы у нас всё было о-кэй. За нашу родину, нашу мать, едри её в корень. Родину забывать нельзя!»

Он опрокинул пузатую рюмку в волосатый рот, с наслаждением обсосал дольку лимона.

«Император Александр Третий, да будет вам известно, был большим почитателем и коллекционером коньяков. Вообще знал толк в выпивке... Так вот».

Разговор продолжается, между тем из нижнего ящика извлекается нечто, на свет является картонный короб.

«Да, так вот: знал, я говорю, толк. Но, к несчастью, врачи определили болезнь почек. Прописали его величеству витамины, лимоны, ни капли спиртного. За этим следила сама царица. А знаете, кто она была?»

Коробка лежит на столе, писатель протягивает ладонь. Иностранец отсчитывает серо-зеленые сотенные бумажки. Небрежно-внимательно, большим пальцем, держа пачку в другой руке, хозяин пересчитывает.

«Ты мне мешаешь. Брысь». Кот разгуливает, задевая хвостом за брюки покупателя.

«Она была датчанка. Все русские царицы были немками, а она датчанка. А датчане, знаете ли, отъявленные трезвенники. Ну и вот, однажды она входит, государь в это время сидел со свитским генералом: естественно, вышивали. Увидал жену — и бутылку в сапог. А сам сосёт лимонную дольку, соблюдает диету. И, представьте себе, получилось исключительно удачное сочетание. За границей как-то не признают наш приоритет».

За границей, возразил гость, коньяк не принято заедать лимоном.

«Тем хуже. Ещё рюмочку? На посошок?».

Гость распаковывает товар, внимательно осматривает покупку, хозяин важно кивает, дескать, можете не сомневаться. Ему вручили принадлежности, сбрую, круглую, чёрно-поблескивающую штуку в целлофане, плоскую жестяную коробку. Похоже, из-под леденцов.

Разве они ещё существуют?

«А как же».

В моё время, заметил гость, леденцов уже не было.

«Ваше время, дорогуша, давно прошло. У нас теперь всё есть. И монпансье, и коньяки какие только душа пожелает. И... Одним словом, всё есть. И даже больше».

Он добавил:

«Если вам нужен специалист...»

И показал глазами на коробку. Гость слушал с лёгким любопытством.

«Обойдётся ненамного дороже. Можно договориться. Вы возвращаете мне вот это, доплачиваете разницу... фамилия, адрес, необ-

ходимые приметы. Об остальном можете не беспокоиться. Спокойно садитесь в самолет. Объявление в рамочке вам пришлют. Ваше здоровье».

Они бредут по узкому коридору.

«Да, и ещё хотел вам сказать напоследок... Стёбаный в р-рот!» — заревел он и яростно пнул кота. Зверь отлетел с жалостным мяуканьем в другой конец коридора.

«Вот то-то же. На чём я остановился... Хочу предупредить. Может, и не стоит, а надо. — Он заглянул в глазок, взялся за дверную цепочку. — Честность и доверие — моё первое правило. Я не знаю, кто вы такой, вы, положим, знаете, кто я такой, но никогда меня не видели. И я вас не видел, ясно? Я уважаю вас, вы уважаете меня, мы оба — уважаемые люди, как сказал один философ. Так вот, — промолвил хозяин ласково, — если ты кого-нибудь сюда приведёшь. Или кто сам без тебя придёт, ты меня понял».

Гость сделал вид, что не понимает.

«Объясню, — сказал писатель. — Если кто-нибудь что-нибудь. Я тебе глаза выдавлю, яйца раздавлю».

Приезжий пожал плечами.

«Разыщу везде, хоть в Новой Зеландии. Ясно?»

Молчание.

«Может, повторить?»

«Ясно», — сказал иностранец.

«О'кей. Вижу, что имею дело с интеллигентным человеком. А теперь канай отсюда. — Он снял цепочку. — И подумай над моим предложением, на размышление два дня. Если нет, считай, что я тебе приснился. Всех благ».

IV

Город — как моток проволоки. Город невозможно распутать, разогнуть его петли, распрямить кривые улицы, и никогда не удастся сделать его просторным, вольным, даже если смести прочь всю эту мерзость фанерных реклам, безвкусных статуй, пряничного кича и державного великолепия. Турист подкрепился, чем Бог послал и валяется на подстилке. Странно, он не решается вылезти, двинуться в центр, увидеть башни со звёздами и орлами и монструозного всадника перед Историческим музеем. Пройтись мимо университета, вдохнуть воздух пре-красного города, который мы так любили.

Нам казалось, что мы плоть от его плоти. Нам казалось, нигде больше невозможно жить.

Город был древен, дряхл, достаточно было заглянуть в первый попавшийся двор, бросить взгляд на осыпавшиеся карнизы, ржавые водо-

сточные трубы, искрошенную кирпичную кладку, достаточно было увидеть его торчащие старые кости и полужасохшие выделения. Город был стар, но странно и неестественно молодо, словно подвергся рискованной операции пересадки гонад. Город напоминал престарелого нарумяненного кавалера. И гостю казалось, что он разгадал секрет этого подозрительного обновления, искусственной юности: её условием было забвение прошлого. Но какое же забвение, сказал он себе, а все эти орлы, маршал, новенькие маковки церквей, вся благочестивая и героическая история, выставленная напоказ? Но, как и прежде, героическая история не хранила, а декорировала прошлое.

Два дня, три дня, думал он, от силы неделю. И нас здесь больше не будет. Призраки долго не задерживаются. В сущности, так приятно думать, что через неделю тебя здесь уже не будет. И так горько. А пока, прежде чем приступить к «делу», хочется повидать кое-кого. Он роется в записной книжке. Короткие нервные гудки, квартира жива.

Она там говорит с кем-то — если это она. Сидя на низком ложе, чуть ли не на полу, жилец крутит диск снова и снова. Два часа спустя он отыскал дом, он стоит на площадке перед квартирой, узнаёт почерк на приклепленной к дверям записке и не верит своим глазам. Он слышит тяжёлые шаги, которые медленно поднимаются по ступенькам, слышит частый стук своего сердца, — один марш, другой, сейчас она появится из-за поворота лестницы, обвисшая, отяжелевшая женщина с розовыми щеками, с потускневшим взглядом. Лейтенант в зимней, брошенной на плечи шинели, хитрый, подмигивающий, весёлый человек, всегда как будто в подпитии, подходит к сидящему, минутная стрелка прыгает на стене по нарисованным цифрам, мёртвый город, четвёртый час ночи, настужь открытое окно, решётка, продрогший арестант за крошечным столиком в углу. Следовательно щёлкает пальцами, словно карточный фокусник, выкладывает фотографию, ясные глаза, завитки светлых волос, нежный подбородок, кто такая? На обороте вместо имени ребус. Конспирация, шифр? Ничего себе краля. Ты её — того? Ну и как? Давай, рассказывай.

Она, наконец, взобралась на площадку между маршами, слышно её дыхание, и тут оказывается, что это не она. Пройдя мимо и не взглянув на гостя, цепляясь за перила, — и дальше вверх, её шаги остановились на площадке верхнего этажа, слышно бряканье ключей.

Тишина в подезде. Пришелец сдёргивает записку — «сейчас вернусь», но прошло уже полчаса. Прошло целых сорок пять минут. Всё ненадёжно в этом городе, говорят одно, думают другое, назначают свидание и не являются. Обманный манёвр, и не зря её голос по телефону звучал двусмысленно. Согласилась встретиться, и тотчас пожалела, и теперь это уведомление, этот шифр означает: подождать и уйти. Посетитель комкает записку, делает шаг к перилам, стоп, внизу хлопнула дверь подъезда. Снова кто-то поднимается по лестнице.

Она слегка запыхалась. Человек, прибывший из прошлого, с изумлением видит её наяву: она в расстёгнутом пальто, шёлковая косынка вокруг шеи. Поразительно, лепечет он.

«Раздевайся... Что тебя так удивило?» — сказала она, снимая пальто, сдёргивая косынку.

Она в темно-оранжевом закрытом платье до колен, это её цвет, накладные плечи, платье подчёркивает грудь и талию. Вернулась мода тех лет. Она подходит к зеркалу... та же причёска, завитки на висках. Тёмно-медовые глаза, грудной голос.

«Поразительно, — сказал гость, — ты несколько не изменилась».

«Спасибо. В самом деле?»

«Столько лет прошло, Оля».

«Ты долго ждал?»

Она хочет сказать — долго ли пришлось стоять на лестнице. Достает из буфета чашки с синими ободками, по-видимому, парадный сервиз, сидит на корточках перед холодильником, застёжка лифчика между лопатками, круглый зад, обтянутый платьем. Чайник кипит на плите.

«Извини, — она смущённо улыбается, — я опять забыла... как тебя зовут».

Забыла, вот те раз. Этого не может быть. Забыла!

«Но ведь ты узнала меня, когда я звонил».

«Узнать-то узнала. Память девичья... мы вместе учились, да? Напомни, пожалуйста».

Может быть, она притворяется? Гость всё ещё держит в руках своё приношение.

«О, спасибо. У нас теперь это тоже есть...»

Он возится со штопором, из кухни перешли в комнату, весёленькие гардины во всю стену приоткрывают широкое низкое окно без подоконника, люстра с подвесками под старину, игрушки, статуэтки, альбомы и парадные корешки книг за стёклами. Мишка на диване и фотографии. Она и ещё кто-то, она посреди школьных подруг, а вот их выпуск, позабытые лица; его, конечно, здесь нет.

«Так ты, значит...» Она спрашивает, откуда он приехал.

Видно, и в самом деле всё улетучилось из её памяти, но даже если бы она притворялась, что не помнит ничего, — какая, в сущности, разница? Слово откровение, несуществующего человека осеняет простая мысль, очевидная истина: всё, что кажется ему таким важным, здесь не имеет значения, всё, чем он жил эти годы, никому не интересно, и сам он неинтересен, потому что его не существует. Потому что двух времён быть не может. Здесь идёт своя жизнь, здесь живут своими заботами, от этих забот, новостей и сенсаций он далёк, чего доброго, даже не слышал о них; а то, что для него живо, словно случилось вчера, — для них минувший век, неправдоподобное прошлое.

«Для них». Теперь и она превратилась в одну из «них».

В том-то и дело! Они все чем-то заняты, — а он?.. Понимая, видя по выражению её глаз, по тому, как она скучливо кивает, рассеянно пригубила рюмку, рассекла лопаточкой торт, что воспоминания её нисколько не увлекают, что, по-видимому, она думает о каких-то срочных делах и ждёт, когда он поднимется, чтобы проститься, — прекрасно всё это понимая, гость не может остановиться и всё ещё повторяет упавшим голосом: а помнишь парадную лестницу, балюстраду, где мы часами стояли, глядя вниз... Помнишь то, помнишь это... Да, помню, говорит она. Нет, не помню.

«А Серёгу помнишь?»

«Какого Серёгу?»

«Он приходил к нам на факультет».

Она поджимает губы, мотает головой.

«Ну, такой... Ну, он ещё...»

Пожимает плечами.

«Вас, наверное, всех вызывали», — сказал он.

«Кто вызывал?»

«Когда это случилось».

И опять она ничего не понимает, ничего не помнит, словно вчера родилась на свет: «Что ты имеешь в виду?» Разговор глухонемых. Свидание напоминает телепрограмму с выключенным звуком.

И, словно под крутящимися стрелками часов, она неуклонно стареет: видны морщины вокруг глаз, пергаментные веки, дрябловатая шея. Неуловимо и неуклонно её лицо тяжелеет, становится жёстче, день опять заволочся тучами, обещали дождь, говорит она, и зажигает люстры, но искусственный свет ещё безжалостней подчёркивает её годы.

Но память, о, память ревнива и неподатлива. Память не терпит исправлений, дёржится за своё и отталкивает новые впечатления. Пройдёт немного времени, может быть, несколько часов, и этот новый образ поблёкнет. Останется, вступит снова в свои права та, какой она была на самом деле, какой была когда-то на фотографии, которую эти крысы нашли при обыске. И уже не припомнишь, о чём, собственно, шёл ненужный, прерывающийся разговор. Незачем было встречаться.

Я знаю, что ты предала меня. Не хочется ворошить прошлое, я тебя понимаю. Поверь, я на тебя не сержусь: любая поступила бы так на твоём месте. Тебе грозили, ты испугалась, а кто не пугался тогда до обморока, до патриотического восторга? Ты подписала то, что велели, но не подумай, что я пришёл об этом напомнить, дорогая, это не имеет значения. И я не сержусь на тебя за то, что ты сделала вид, будто всё позабыла, даже моё имя... а может, забыла на самом деле? Да, конечно, ты всё забыла. У тебя своя жизнь. Я увидел тебя и подумал, не чудо ли — всё вернулось. Но у тебя своя жизнь, и двух времён не бывает. Ты сидела напротив меня, резала торт, подносила к губам вино и думала, когда же он, наконец, уберётся. У тебя пергаментные веки, морщины и складки у

рта, но они разгладились, не правда ли, когда я ушёл. Какое прошлое ты хотела прогнать? Окончила университет, тебя взяли в научный институт, более или менее престижный, более или менее бездельный. Муж, которого выбрала в толпе поклонников, их ведь в самом деле было немало, — пожили, разочаровались — развелись. Чего доброго, и во мне бы разочаровалась, если бы ничего не случилось, если бы каким-то образом ты согласилась выйти за меня. Но ничего и не случилось, не было ничего, беспамятство — условие молодости, а ты хочешь быть молодой; забыть прошлое, чтобы сохранить красоту бёдер, волнующую походку, этот всё ещё прелестный, полнеющий стан.

V

Иностранец шагает по набережной, сворачивает в переулок, он решил совершить это паломничество, как некогда отправлялись к святым на поклон, накануне опасного предприятия.

В вестибюле, напротив лотка с альбомами и открытками, он протягивает в окошечко деньги, один билет, будьте добры.

«Вы — турист?»

Он величественно кивнул.

«По-русски понимаете?»

«Думаю, что да», — сказал он.

Кассирша показывает на объявление: входной билет столько-то, а для зарубежных гостей... ого, это уже что-то новое. Род пошщины на искусство. Иностранец усмехнулся недоброй усмешкой.

«Будьте добры, один билет».

«Вы по-русски понимаете?»

«Это не по-русски».

«А по-каковски?» — спросила она саркастически.

«Гражданин, — сказал кто-то за спиной, — или платите, или отойдите».

Подошёл милиционер.

«Вот, требуют билет, а платить не желают».

Иностранец сказал:

«Во-первых, я не требую, а прошу. Во-вторых — почему же это я не желаю».

« Попрошу документы».

Турист шмыгнул носом: «Я великолуцкий».

«Чего?»

«Из Великих Лук... город такой».

«Знаем, что город. Документы ваши попрошу предъявить».

«Документы?» — спросил турист. Этого ещё не хватало.

Человек в погонах ждал. Турист копался в боковом кармане. Заплатить кесарю кесарево — или вон отсюда; но какой-то бес вселился в него.

«Знаете что...» — проговорил он.

Сзади напомнили:

«Гражданин! Или платите, или...»

«О, непременно», — сказал турист.

Они отошли в сторонку.

«Знаете что, — сказал приезжий, вынул свою атлантическую книжечку и вложил в неё кое-что. — Я вот тут подумал. Чем этой хрычовке платить, лучше уж подарю вам...»

Милиционер провожает гостя до дверей. Билетёрше:

«Это наш человек».

И он вступил в зал. Кое-что изменилось. Вернее, ничего не изменилось. Поблескивают рамы, и белый пасмурный день отсвечивает в стёклах, за которыми стоят беспощадные пронзительные глаза. Смолистые кудри Димитрия Солунского, крутолобый Николай Мирликийский, узкая, худенькая, как подросток, Параскева Пятница, братья-мученики Борис и Глеб со скорбными лицами, бок о бок на неподвижно гарцующих тонкошеих конях, дальше, дальше... Наконец, он увидел издали трёх юношей. Ни на что больше он смотреть не хотел.

Странная история, думал путешественник, глядя на трёх ангелов, древние иудеи должны были представлять себе всё это совсем иначе. Соединение высокой мистики с самой обыкновенной повседневностью. В полуденный зной пришли три мужика в запылённой одежде, их усадили в тени под деревом, омыли им ноги, хозяин хлопочет об угощении.

«И будет сын у Сарры, жены твоей».

Старуха усмехается: как же это может быть? Когда и крови у неё давно уже прекратились. «И господин мой стар».

«А вот увидите».

Житейская сцена. А тут?.. Не мужи — полуюноши, полудевы в праздничных одеяниях. Они ничего не говорят, ничего не едят, просто сидят и молчат, склонив головы в пышных причёсках. Тишина, красота, гармония. То, чего никогда не было и никогда не будет на несчастной нашей земле.

Не было никакой охоты вступать в беседу с аккуратно причёсанным старичком, который остановился сзади.

«Это кто ж такие будут?»

«Троица», — сказал иностранец.

«Какая ж это Троица. Троица — это отец-сын-святой дух. А это что?» «Угу», — сказал приезжий, не отрывая глаз от иконы.

«Чего?»

«Вы совершенно правы».

«Я говорю: а это что?»

«Это? — спросил турист, просыпаясь. — Как вам сказать. Это беседа без слов: Я, Ты и Он».

«А по-моему, — сказал старик, — это что-нибудь божественное».

«Вы правы. Тут изображены три ангела, они пришли к Аврааму и Сарре. Это знаменитая икона».

«Знаю, что знаменитая. К кому, говоришь, пришли?»

Не дождавшись ответа, старик проговорил:

«Это что, евреи, что ль?»

К сожалению, сказал иностранец и отошёл побыть у окна. Аккуратный старичок покачал головой и побрёл прочь.

Народу прибавилось. Вокруг теснились экскурсанты. Путешественник смотрел в окно. Ещё одна группа вступила в зал.

«The prophet Elija with scenes from his life!»¹

VI

Таксист, почувывая хороший калым, везёт его за город, в Николо-Ленинское или как оно там называется: не доезжая Пахры, свернуть на дорогу без указателя, место таинственное и знаменитое. В лесу, где ещё недавно собирали грибы почётные инвалиды социализма, стоят заборы, висят видеокамеры, сверкают башенки вилл, кукольное средневековье, дворцы-мутанты, третьеразрядный модерн. Выяснение личности перед воротами из чугуна и жести, всё на удивление просто и быстро, старая дружба не ржавеет! Такси разворачивается и катит прочь, гость вступает на территорию, ведомый мордатый телохранителем, радушный хозяин встречает в просторном холле.

Хозяин свеж, бодр, улыбчив, по-видимому, не испытывает смущения, что, впрочем, было бы странно в этих хоробах. Лицо Серёжи с раздавленной нижней половиной стало прямоугольным, кожа бронзовой, он не постарел, пожалуй, даже помолодел зрелой, законсервированной молодостью. Время течёт по-разному на разных планетах, и как бы даже в разные стороны. Что-то мешающее есть в этой встрече, надо признать, — какой-то песок на зубах, но в конце концов это не удивительно, после стольких лет. Хотели было обняться.

«Сколько времени ты уже здесь?.. — За этим следует ритуальный вопрос: — Жрать хочешь?»

И распаиваются половинки дверей, и катится стол-тележка с бутылками необыкновенных фасонов, мажордом с физиономией, по которой проехала скалка для раскатывания теста, расставляет яства. «Фуршетик», — говорит хозяин. Друзья сидят за овальным столом на неудобных стальных стульях с круглыми спинками; слабый взмах ладонью — так отмахиваются от насекомых, — и человек с плоским лицом

¹ Илья-пророк с житием! (англ.).

исчез. Ручной телефон промурлыкал первые такты каватины Фигаро. Комната представляла собой гибрид музея с деловым кабинетом, пахли розы, тонкий, гниlostно-сладковатый запах, словно где-то в подвале разлагается труп. Хозяин трясёт металлическим патроном, в котором брякают кубики льда.

«Алло», — сказал он брезгливо.

Некоторое время он слушал шепчущую, бормочущую трубку.

«Короче».

Трубка шелестела, волновалась.

«Я сказал: нет. Пусть заткнётся».

Он разлил по фужерам бледно-янтарный напиток.

«Ты давай, приступай, не жди...»

«Мы тогда таких напитков не пили», — заметил гость.

«Уж это точно, — улыбнулся хозяин. — Нравится?»

«Нешлохо».

«Мой рецепт. Ты давай. Не стесняйся. Надолго к нам?»

«Ещё денька два-три».

«По делам или так?»

«Какие у меня дела. Да, — проговорил гость, — тут много перемен.

Хотя бы уже то, что я могу приехать...»

«Демократия», — сказал хозяин.

Он спросил:

«Видел кого-нибудь из наших?»

Приезжий ответил, что никого не видел, одну только Ольгу.

«Это которую?»

«Ту самую». Он назвал фамилию.

«А!.. где-то припоминаю. Рыжую? Она, по-моему, уже три фамилии сменила».

«Столько воды утекло, а она нисколько не изменилась».

И опять: *мальчик резвый, кудрявый, влюблённый.*

«Алло...»

Иностранец поворачивал голову, поглядывал по углам.

«Алло. Я сказал. Больше повторять не буду... — Гостю: — Так, говоришь, не изменилась. Ты ведь, кажется, вздыхал по ней».

«Не я один».

«На меня, что ли, намекаешь?»

«Хотя бы».

«Что-то не помню. Ну и как она тебя встретила?»

Гость пожал плечами.

«Ты женат? — Приезжий ответил, что живёт один. — Ну, так тем более. Не теряйся. Раз уж приехал. Она всем даёт, — сказал хозяин, берясь за новый фиал. — Вот это попробуй».

Владельческий князь наливает яд в кубок дорогого гостя.

«А ты?»

«Воздержусь. Врачи запретили».

Приезжий смотрит в окно; пора приступать. Погода хмурится. В сущности, у него нет никакого плана, он полагается на вдохновение.

«А ты помнишь, Серёжа...»

(Или, может быть, Сергей Иванович?)

«Конечно, помню».

«Но ведь ты ещё не знаешь, — гость улыбается, — что я хочу спросить».

«Знаю, — хозяин в ответ. — Университет».

«Помнишь нашу балюстраду, в Новом здании?»

«Как же, как же».

«Оно тогда ещё называлось новым, а старое — где был наш факультет, по другую сторону улицы Герцена».

«Большая Никитская, — поправил хозяин. — Я там тыщу лет не был».

«Представляешь, я зашёл в клуб... если помнишь, там стоял бюст Ломоносова. *Держайте, ныне ободренны...*»

Хозяин кивал.

«И вижу: никакого Ломоносова больше нет, вместо Ломоносова портрет патриарха. Нет ни клуба, ни студенческого театра, всё захватила церковь. Какие-то личности в рясах... Причём тут церковь, можешь ты мне объяснить?»

«Когда-то там была церковь. Я давно там не был», — повторил Сергей Иванович. Поднял брови, подлил гостю и поискал глазами на столике напиток для себя.

«Ты извини, — проговорил он, — я бы не хотел, чтобы в этом доме оскорбляли религию».

«Но я не оскорбляю...»

«Я христианин. Ты многого не понимаешь. В тебе ещё живо советское воспитание».

«Да, да, конечно... — пробормотал гость, медленно, двумя пальцами вращая свой бокал. — Тогда у меня к тебе вопрос. — Он поднял глаза на хозяина. — Можно?»

«Валяй, — сказал Сергей Иванович и взглянул мельком на часы. — Подожди минутку».

Он выстукал номер, трубка охотно откликнулась.

«Я. Ну что там. Короче. А ты куда смотрел! Твою... — он хотел выругаться, но осёкся. — Ладно. Держи меня в курсе... Извини», — сказал он приезжему.

Дождь обрушился на город. Ветер сорвал с деревьев пожухлые слова. Остался голый смысл безлистных сучьев.

VII

Несколько времени оба прислушивались к шумящим потокам. Казалось, приезжий не может собраться с мыслями.

«Скажи, Серёжа... Ты евангелие читал?»

«Почему ты спрашиваешь? Ну, читал».

«Историю эту помнишь?»

«Какую историю?»

«Историю с Иудой».

«А», — сказал Сергей Иванович.

«Иуда за плату обещал выдать Учителя и поцеловал его, когда пришли за ним. Облобызал, чтобы они могли его узнать... Как ты относишься к этой истории?»

«А как к ней надо относиться?»

«Некоторые считают, что всё произошло согласно воле Божьей. И что если бы не предательство, Иисус не был бы арестован, не был бы судим, его бы не распяли, ну и так далее. Иуда был Божьим орудием, в конечном счёте действовал во благо...»

«Можно считать и так, — сказал хозяин, которому стало скучно. — Ты, кажется, ещё в университете интересовался ранним христианством... Знаешь что, — и он снова взглянул на часы, — я очень рад был с тобой повидаться. К сожалению...»

«У тебя дела, понимаю. Ещё две минуты».

«Что поделаешь», — Сергей Иванович развёл руками. Гость вздохнул и с какой-то мукой взглянул на него.

«То место между статуями... На балюстраде. Сверху была видна вся лестница... А позади Коммунистическая аудитория. Я туда вчера заходил... Я даже представить себе не мог, что когда-нибудь буду снова там стоять. Огромные статуи вождей из алебаstra. До них опасно было дотрагиваться, они пачкали. Помнишь?»

«Как же, как же».

«Теперь их нет».

«Ещё бы».

«Я тебя всегда там ждал. Ты приходил в штатском».

«Я уже не помню».

«Ты учился в военном институте, а к нам в университет приходил в штатском. На тебе всегда был костюм с иголочки».

«Возможно».

«И у тебя всегда были деньги. Ты был щедр, Серёжа... А ещё Александровский сад, мы там втроём гуляли. Наши бесконечные дискуссии... Каждый старался блеснуть перед Олей... Да... Так, значит, ты считаешь, что поступок Искарриота, так сказать, оправдан высшими соображениями? Извини, я тебя ещё спрошу...»

«Спрашивай, спрашивай, — сказал Сергей Иванович. — Я тебя тоже хочу спросить. Ты что, приехал, чтобы вести со мной теологический диспут? Я в таких делах не силен».

«У меня вопрос конкретный. Как ты теперь относишься к... ну, к тому, что произошло? Будь добр: отключи это... на короткое время».

Хозяин пожал плечами, выключил мобильный телефон.

«Что ты имеешь в виду?» — спросил он холодно.

«Ты меня посадил, Серёжа», — сказал иностранец.

Хозяин сузил глаза.

«То есть как. Я?..»

«Ты, кто же ещё».

«Когда?»

«Тогда. Ты был приставлен ко мне, Серёжа».

«Ты что... Ты о чём?.. Ты рехнулся. Ах вот оно что. За этим ты и явился? Знаешь что. Если ты собираешься меня шантажировать...»

«Ты меня посадил, — не слушая повторил гость. — Спокойно, — сказал он, — поговорим как мужчина с женщиной. Как бывшие друзья. Ближе тебя у меня не было друга...»

«Я и сейчас тебе друг, — промолвил Сергей Иванович. Скорее с изумлением, чем со страхом, он глядел на пистолет, который гость неожиданно выхватил из портупеи под пиджаком. — Брось, — сказал он строго, — не валяй дурака...»

Гость сидел, выставив оружие перед собой

«Ты не ответил на мой вопрос».

«Какой вопрос? Какой вопрос?! Что тебе надо?.. Денег?.. И вообще, откуда ты взял?»

«От верблюда», — сказал гость.

«Наговорить можно на любого. Особенно в то время... Давай разберёмся. Ты считаешь, что я на тебя настучал, да? Кто это сказал? Где доказательства?»

Приезжий злобно усмехнулся.

«Никто не сказал... и никогда не скажет. Всё, что ты писал, твои доносы, всё хранится в отдельном деле. Эти дела никому не показывают».

«Чего ж ты тогда...»

«А в следственном деле о тебе никаких упоминаний».

«Ну вот видишь!»

Человек с пистолетом ничего не отвечал и только кивал головой. Сергей Иванович перевёл дух.

«Слушай... Убери. Я ведь вижу, что это игрушечный... Убери, пока не поздно. И вали отсюда».

Гость кивал.

«Вообще не советую тебе со мной связываться. Ты даже не представляешь, какие у меня возможности...»

«Представляю».

«Я всё могу с тобой сделать... И для тебя всё могу сделать».

«Можешь».

«Тебя никто не задержит. Пальцем не тронет. Расстанемся по-хорошему».

Человек с пистолетом сунул руку глубоко в потайной карман, добыл цилиндрическую насадку-глушитель и навинтил на ствол. Хозяин остолбенело следил за его движениями.

«Это-то и есть доказательство».

«Не понял».

«Следственное дело, — гость показал двумя пальцами, — это вот такой том. Тебе дают пять минут, чтобы ознакомиться. Двести шестая статья. У вас ведь всё по закону».

«А ты что, — спросил Сергей Иванович, очевидно, стараясь протянуть время, — считаешь, что тебя арестовали незаконно?»

«Нет. Не считаю. Что говорил, то говорил».

«То есть... извини, я назову вещи своими именами: вёл антигосударственные разговоры?»

«Если угодно, да. Хотя ты кое-что приукрасил, но в общем...»

«В общем, это правда?»

Приезжий пожал плечами.

«А откуда, собственно говоря, ты взял, что...»

«Оттуда. Вёл разговоры, но ведь не с самим собой. С ближайшим другом. С тобой. То, что там написано, я говорил только тебе. И ты соглашался. И о режиме, и насчёт Усатого, и вообще, ты был заодно со мной. Даже, я бы сказал, ещё радикальней. Подливал, что называется, масла в огонь. Я успел просмотреть дело. Там много чего. Я клеветал на советский государственный строй, я то, я сё. А кому всё это говорилось, неизвестно».

«Ну и что?»

«А то, что следователь знал весь наш факультет, сыпал фамилиями, знал всех моих знакомых, обо всех спрашивал. И только о тебе ни слова. Как будто тебя вообще не было. Следователь тебя выдал, понимаешь? Была одна свидетельница...»

«Ольга? Ну, я так и знал».

«Её допросили за десять дней до моего ареста. Когда всё давно было решено. То, что она сказала, — десятая, двадцатая часть. Её заставили... А тебя никто не заставлял. Твой отец был — сам знаешь, кто. Ты об этом никогда не говорил...»

«Естественно».

«Ты никогда не приглашал к себе».

Серёжа развёл руками.

«Твой отец был там большой шишкой. А сам ты учился в военном институте иностранных языков».

«Ну это ты, положим, знал».

«Но ты никогда не говорил, что это за институт, кого он готовил. Ты приходил в дорогом костюме, а мы все ходили в отрепьях. У тебя всегда были деньги. А мне не на что было пообедать в столовке... Ты был щедр, ты угощал меня. Ты окончил институт. Был направлен за границу, верно? Мог бы там и остаться, а?»

«Что ты хочешь этим сказать?»

«Остаться... насовсем».

«Да, мог бы, — сказал Сергей Иванович, — особенно когда здесь начался этот хаос. Но знаешь... Для тебя это, может быть, пустая риторика. А я люблю свою родину. В трудное время надо быть с ней».

Гость молчал, держал в руке своё оружие и ждал продолжения.

«Не будем ссориться, — сказал Сергей Иванович. — Я всё понимаю. Ты, конечно, пострадал. У каждого своя судьба... Но родина у нас одна. Нас многое связывает...»

«Моя родина — лагерь, — сказал человек с пистолетом. — У тебя мало времени, Серёжа. Встань, пожалуйста. Я сейчас тебя расстреляю».

VIII

«Как это, расстреляю?» — спросил Сергей Иванович.

«А вот так, очень просто».

«Ты что... Ты шутишь? Да ты знаешь, что я могу...»

«Спокойно. Одно лишнее движение — я за себя не отвечаю. Становись лицом к стене. Не вздумай поднимать шум, будет ещё хуже... А так ты умрёшь мгновенной смертью»

Хозяин переводил взгляд то на дверь, то на приезжего. На окно, словно надеялся увидеть там кого-то. Дождь перестал, пятна яркого света лежали на полу.

Он услышал тусклый голос:

«Лицом к стене, я сказал... Покажи, где у тебя затылочная ямка. Пальцем покажи...»

Человек с пистолетом сощурил один глаз. Кажется, он даже не то-ропился. Вздохнув, проговорил:

«Ужасно не хочется тебя убивать... Но что поделаешь, жить с этим, — он всё ещё целился, — тоже тяжело. Так тяжело...» Выдержав паузу, он отвёл ствол в сторону и нажал на курок. Раздался негромкий хлопок. «Теперь ещё раз», — сказал гость, повёл дулом в другую сторону и выстрелил снова. Минуту спустя — или ещё меньше — он корчился на полу, сбитый с ног умелым ударом, двое стояли над ним, третий, это был плосконосый мажордом, подбирал с пола бутылки, осколки посу-

ды. Хозяин, бледный, стараясь унять дрожь, осматривал оружие, это был 9-миллиметровый «макаров», несколько устарелый, но в общем пистолет как пистолет.

«Не трогать его. Вот дурак», — в сердцах сказал Сергей Иванович.

Действительно, что ещё можно было сказать? Если (как предположил Серёжа) старый друг просто хотел попугать его, то непонятно, с какой целью. На что он рассчитывал?

Последующее совершилось быстро и чётко, могло служить образцом почти воинской дисциплины. У подъезда ждала машина с тёмными стёклами. С двух сторон уселись провожатые. Шофёр дал газ. Пролетели мимо заборы и дворцы, зачастил лес. Вывернули на шоссе. Потянулись кварталы бывших новых районов, грозно квакнула сирена, милиционеры в синих блинах почтительно козыряли. Сильно качало. Автомобиль нёсся навстречу сторонящемуся потоку по центральной оси. «Лихо едете, — заметил пассажир. — У нас бы за такую езду...» — «То у вас, а то у нас», — возразил провожатый.

Остановились в переулке у обшарпанного дома, кнопки входа, грязная лестница; отомкнули жилище скульпторши. Усмехаясь, поглядывали на пыльную рухлядь. «В сортир можно?» — попросил турист. Закуток, где не повернёшься, в такие боксы-отстойники поспешно заталкивали, когда из коридора за поворотом раздавался предупредительный стук ключом о пряжку, птичий клёкот, цоканье подковок, это вели другого подследственного. Воспоминание, словно встречный поезд в ночи, промелькнуло и пропало. Иностранец стоял над древней фаянсовой чашей и думал — о чём?

Его привёл в себя стук в дверь: «Помер там, что ли?»

Чемодан лежал раскрытый на полу. Постоялец взялся за телефонную трубку. «Ну это ты брось», — лениво сказал провожатый и положил ладонь на аппарат. «Ты лучше погляди, — заметил другой, — не забыл ли чего». Вышли и сели. На полном ходу машина ворвалась в бурлящий поток.

Двоящийся образ города снова, как наваждение, маячил перед оцепенелым взором паломника, гостя, туриста — так и не удалось толком узнать, кто он и как его зовут. Двоящийся образ воздвигся перед глазами, город летел навстречу, и вместе с физическим зрением восстало другое, внутреннее. Пассажиру не сообщили, куда его везут, совершенно так же, как когда-то он сидел с провожатыми на заднем сиденье, фуражка ночного лейтенанта покачивалась рядом с

шофёром, и никто не потрудился объяснить, куда едет машина. Это был долгий путь. Перед бывшей Колхозной площадью пришлось тормозить; и скоро увязли окончательно в застывшей лавине. Детские руки уже елозили грязной тряпкой по капоту, подростки совали в стекло журнальчики с красотками, нищенки качали детей, протягивали чёрные ладони, инвалиды катались между машинами на тележках. Двинулись толчками, повернули с Садового кольца на Брестскую, и опять пробка. «Куда ж ты полез, бля-сабля...» — «Да кто знал, бля». — «Осади назад». Но назад дороги уже не было. Нечто неопишное, на взгляд приезжего, творилось, клубилось в воронке на подступах к площади Белорусского вокзала, смолистый диалект предков стелился над чёрным пылающим варевом машин. Город смерти, думал турист, долина Иосафата.

Ленинградское шоссе, наконец-то. С заднего сиденья пассажир вперил взор в зашкалившую стрелку спидометра. Как вдруг завизжали тормоза, машина стала на обочине. Тот, кто был старшим, отправился на разведку, водитель пересел на его место рядом с пленником. Другой безучастно смотрел в окно. Подошла, покачиваясь, как цветок, на крутых бёдрах, постукивая каблукми тонких длинных ног, привет, мальчишки. Нос и раскрашенные глаза приникли к стеклу, маленькие груди вываливаются из выреза. Неслышно опускается стекло, «не понимаю, — говорит шофёр, — мы иностранцы». — «Могу показать Москву». — «Уже видели». — «Не всё видели, вот она где, Москва», — говорит она, и её ладошка скользит вниз по животу. «Хо-хо; а почём экскурсия?» — «А смотря какая». — «Зелёнькими?» — «А ты как думал». Вернулся провожатый. «Вали отсюда. Поехали».

Хвост машин выстроился перед въездом, аэропорт перекрыт. Какая-то делегация прибыла в столицу. Милиционеры в белой сбруе. «Алё, шеф... Нам по-быстрому, где твоё начальство». Доверительная беседа с тучным капитаном в фуражке размером с площадку для вертолётта. Машина объезжает очередь.

Все трое стояли в гулком зале среди суетящихся людей. Старший направился к кассам поменять рейс и дату отлёта, путешественник ждал, его прочно держали за локоть. Провожатый вернулся. Поглядели по сторонам. Времени навалом, может, выпить на посошок, чтой-то в горле пересохло. «Народу больно много». — «А чего нам народ. — Пассажиру: — Ты как?» — «Никак», — сказал приезжий. «Сабля-бля. Компанию поддержать не хочешь?» Пассажир испытывал неприятную слабость в ногах. Он сказал: «Дайте мне билет. Никуда я не денусь, сам управлюсь». — «Ишь ты какой... ну, пошли». — «Куда?» — спросил турист. Ему не ответили. Табличка на дверях в коридоре: «Для служебного пользования».

«Это для персонала», — сказал пассажир. «А мы и есть персонал». — «Не пойду». — «Чего?! Ну-ка...» Шибануло в нос едкой сыростью. Блеснул мёртвенной желтизной кафель. Человек запер дверь и оставил ключ в замочной скважине.

«Дай погляжу на тебя, землячок. — А он ещё ничего. — Ну-к, повернись».

Оба стояли, тяжело дыша, над приезжим, который лежал ничком на каменном полу, одна рука подвернулась под живот. Тот, кто был главным и потрудился больше всего, тяжело дышал, утирал пот; глаза его цвета мыльной пены остекленели, он покачал бедрами, похоже, что у него произошло семейзвержение. Где-то лилась вода. Бандит побрёл к писсуару. Чемодан приезжего стоял у входа.

«Вставай, земляк... Ну чего, так и будем валяться?»

Рывком подняли, шлёпнули по щекам, подвели к раковине, обмыли и вытерли бумагой разбитое лицо пассажира. Насадил на нос очки. Заботливо отряхнули, почистили одежду, пригладили волосы. Вдвоём под руки вели иностранца по коридору. Один из них нёс чемодан. Голос чревовещателя скрежетал в зале, регистрация закончилась. Барышня за стойкой спросила, не нужна ли медсестра. Приезжий покачал головой. Он обернулся — провожатых уже не было.

Три постскриптума участников круглого стола

Вы, как я понял, автор этого произведения. Так вот, я бы хотел сделать несколько замечаний. Вы тут вывели меня, как бы это сказать, в довольно-таки отрицательном свете. Ну, это ваше дело. Вы говорите, если кто-то подумает, что рассказ выдуман, то это, дескать, неверно; дескать, на самом деле всё так и было. Так вот, давайте внесём ясность. Было-то было — только совсем не так.

Мы, действительно, когда-то дружили. Виделись чуть не каждый день. Что я его будто бы не пускал к себе домой, не приглашал в гости, такого случая не помню. Дело было ещё при Сталине, — ну, сами понимаете, что было за время. И судить о нём по сегодняшним меркам было бы неправильно. Его, действительно, арестовали, за что, по правде сказать, не знаю. Время было такое. Самое главное — что всё это сочинено с его слов, вы это сами признаёте.

Через много лет он вдруг является — я даже не знал, что он живёт за границей, — и начинает меня шантажировать. Я, конечно, мог его просто вышвырнуть вон. Тем более, что он ещё стал грозить оружием. Но я решил запастись терпением, ради нашей молодости, старой дружбы. У вас получается, что я будто бы испугался. Это ложь. Сами подумайте: кто я и кто он. Мне достаточно было только мигнуть, и он бы вылетел из моего дома со скоростью реактивного самолёта.

Самое главное, моя совесть была чиста. Вы вот тут рассуждаете о памяти, дескать, нельзя забывать, то да сё. Простите, но всё это не по делу. На самом деле он приехал, чтобы мне отомстить. И весь ваш рассказ написан с одной только целью: оправдать самосуд. Вот, дескать, были совершены преступления, никто не наказан, а надо бы со всей этой сволочью расправиться. А о том, к чему всё это может привести, эти самоуправные суды, вы не подумали. Вы за сто вёрст от нашей жизни, от интересов народа, они вам чужды — так же, как и этому, не знаю уж как его назвать, вашему герою.

Вообще, я вам скажу: хватит сводить счёты. Не прошлым надо жить, а будущим. Слишком много проблем, в частности, экономических, стоит перед страной. И мы их решаем, мы, деловые люди. А эти бывшие зациклились на своих переживаниях и думают, что все должны ими заниматься.

Но я всё-таки хочу вернуться к этой истории. Могу открыть тайну, да и какая это тайна: меня, действительно, вызывали, от меня хотели узнать правду. Вообще-то им и так всё было известно. Так что, вздумай я отказаться, ничего бы всё равно не изменилось. Нашли бы другого. А у меня были бы большие неприятности. Это вам сейчас хорошо говорить, а вот пожили бы вы в то время. Вы бы иначе рассуждали. Голову даю на отсечение: любой из вас поступил бы так же, как я.

Ничего я не придумывал. От меня требовали говорить правду, я и сказал правду. Что имели место антиправительственные, подрывные высказывания. Подрывные планы. Было? Было. За такие дела в любой стране по головке не погладят. А у нас, между прочим, всё было не так уж плохо. Нечего кричать о лагерях. Кто там сидел, сидел за дело. И его, если уж говорить начистоту, посадили за дело, за служил, вот так.

И последнее, насчёт мнимых палачей. Я моих ребят знаю, они мне никогда не лгут. Я от них получил полный отчёт: как довезли до аэродрома, как посадили в самолёт, и оревуар — нечего ему у нас делать. А то, что вы там написали, избивение в сортире и прочее, если это он вам рассказал, то пусть останется на его совести. Всё из пальца высосано, вот так.

Я была замотана, когда он позвонил, — живёшь в вечной суете, — как-то даже не сразу сообразила, что к чему. То есть, конечно, я его вспомнила. Тут написано, будто я забыла, как его зовут, вот уж неправда, просто я была замотана, ну и, конечно, столько лет прошло, ну а что касается всей этой истории, будто он приехал с целью убить стукача, я об этом ничего не знаю, может, и правда, у нас, между прочим, сейчас добыть оружие плёвое дело, были бы деньги, короче говоря, мне ничего не известно, я вообще не понимаю, зачем меня

сюда впутали. Да и дело-то было сто лет назад, чего ворошить-то, я даже не знала, что люди могут быть такие злопамятные. Сергей тут правильно сказал, что ничего бы всё равно не изменилось, знаете, как тогда говорили: органы не ошибаются, раз арестован, значит, ах, ничего уже не изменишь, а тут тебе говорят, если не подпишешь, значит, ты помогаешь врагу народа, значит, ты сама соучастница. Тут себя надо спасать, а человека всё равно не спасёшь. В общем, запудрили мозги, а ведь сами понимаете, я была совсем девочкой. Да я не хочу оправдываться, чего там, я вам вот что скажу: моя вина другая. Это я была во всём виновата. Тут намекали на антисоветскую пропаганду, антисоветские разговоры, я уж не помню, о чём они там разговаривали, по-моему, дело совсем не в этом. А дело в том, что оба были в меня влюблены по уши. А я, между прочим, была очень недурна собой, я была, чего уж там скрывать, самой красивой девушкой на курсе, спросите хоть кого, ну и, конечно, кокетничала почему зря, как это там поётся: и сердцами бесщётно играть, вот так же и я играла, а если говорить серьёзно, то разжигала ревность у обоих, этому говорю, что тот меня поцеловал, а тому намекаю, что с этим чуть было не... Ну и кончилось тем, что возненавидели друг друга, и он начал стучать на своего друга. Вот вам и вся история.

Разрешите мне как писателю поделиться, так сказать. Я считаю, что писатель имеет право на выдумку, на творческую фантазию. Лично я в своих исторических романах так и поступаю, я додумываю за моих героев их мысли, я передаю их чувства. Там, где в летописи, к примеру, стоит одна фраза, я разворачиваю в целую сцену. Но порочить моих героев, клеветать, вот этого я никогда не позволяю и позволить не могу. А что мы видим здесь? Выведен я, узнать меня нетрудно, я человек известный. И что же делает этот человек? Он торгует оружием! Несёт какую-то херню о Государе. И мало того, намекает, что может организовать заказное убийство. Всё это, повторяю, приписано мне. Тут уж, знаете, я вам скажу. Тут злостная клевета, вот что. Хотят оболгать честное имя писателя, патриота, а за клевету у нас, между прочим, наказывают. В уголовном порядке, да-с. Хочу ещё сказать об этом, с позволения сказать, произведении. Всё в нём совершенно неправдоподобно. Человек попросту не знает нашей жизни. А писатель обязан изучать жизнь. А этот описывает так, будто это какая-то другая планета. Оно и понятно. Нечего было братья за такую тему, когда столько лет живёшь вдали от России. Ему всё не нравится: и церкви, и памятники, и люди. И вообще вся страна ему не нравится. Ну что ж, отправляйтесь к себе назад, в свои границы, живите там как вам нравится. А мы будем жить так, как нравится нам.

Зам. главного редактора

Уважаемый... Если Вы читали наш журнал, то, наверное, обратили внимание на предупреждение, что «непринятые рукописи не возвращаются и редакция в переписку по поводу их не вступает». Таким образом, для вас сделано исключение. Конечно, я бы могла ограничиться коротким ответом, сослаться на то, что портфель переполнен (он действительно переполнен). Но мне хочется побеседовать с Вами. Я думаю, что начинающему автору полезно выслушать правду от старшего товарища. Так что извините, если буду говорить с Вами откровенно.

Мне трудно судить о степени Вашего дарования. Возможно, что в Вас, как говорят, «что-то есть». Я бы посоветовала Вам больше работать над словом. В Вашем рассказе встречаются неудачные, подчас даже не совсем грамотные выражения, фразы, требующие правки, ненужные рассуждения, которые надо просто выкинуть. Но всё это в конце концов техника. Недостатки рассказа лежат гораздо глубже.

Два слова о «постскриптумах». Возможно, это просто неуклюжий литературный трюк (хотя я не понимаю, зачем он понадобился), но если Вы в самом деле решили поместить — опять же непонятно, с какой целью, — отзывы лиц, послуживших прототипами героев Вашего произведения, то я должна сказать, что некоторые из их высказываний мне кажутся справедливыми.

В Вашем письме в редакцию Вы пишете, что рассказ написан «со слов» реально существующего человека, эмигранта, приехавшего в Москву. Можно сказать, что и повествование ведётся в значительной мере от имени этого персонажа. Конечно, мы знаем множество произведений, где реальность показана сквозь призму отрицательного героя. Ваше право — избрать любую условную точку зрения. Но в том-то и беда, что она для Вас не условная, а Ваша собственная, Вы разделяете чувства своего героя, согласны с его оценками, и это вызывает естественный протест у читателя. Я не знаю, насколько автобиографичен Ваш рассказ, но у меня буквально на каждой странице впечатление, что Ваш герой — это Вы сами.

Вот Вы приезжаете, — то есть он приезжает, — в город своего детства, своей юности, и что же он видит? Грязные дворы, нищих, проституток, езду против правил. Его окружают сомнительные типы, милиционеры-взяточники «в блинах», какой-то псевдописатель, который тайно торгует оружием, бывшая подруга, которая «всем даёт». Всё новое, всё, чем украшается сейчас наша столица, размах строительства — всё это вызывает у него злобу и насмешку. Чего стоит одна эта фраза: «Никогда не удастся сделать его просторным, вольным, даже если смести эту

мерзость фанерных реклам, безвкусных статуй, пряничного кича и державного великолепия». Это говорится о великом городе, который вызывает восхищение иностранцев. И дальше всё в том же духе: обретение духовности, возвращение нашего народа к вере отцов Вы считаете «декорацией».

Герой рассказа вспоминает юность, но что он вспоминает? Историю своего ареста, тюрьму, лагерь — и больше ничего. Всё, чем он обязан своей стране, выходит, не в счёт, любовь к родине, гордость за неё, за свою нацию, выстоявшую в великой войне, — от всего этого ничего не осталось, одна только злоба и зависть, простите за прямоту — зависть ренегата и отщепенца.

Тут мы подходим к главной теме. Сюжет рассказа основан на том, что герой, Вы называете его «туристом», на самом деле приезжает вовсе не как турист, а с целью разыскать человека, который, как он считает, посадил его в тюрьму, и отомстить ему. Что хочет сказать этим автор? По-моему, идея совершенно ясна. Раз государство не наказывает так называемых преступников, мы должны сделать это сами, рассчитаться с «советским прошлым».

Мы уже слышали таких геростратов, которые хотят перечеркнуть всю историю советских лет, сплошь обмазать наше прошлое дёгтем. Хотят внушить молодёжи, что ничего, кроме лагерей и тюрем, в нём не было. Да, были и тюрьмы, и лагеря, надо только как следует разобраться, кто там находился. Но главное — были великие социальные преобразования, была индустриализация, обеспечившая нам независимость и победу, был энтузиазм, была самоотверженность и вера в великие идеалы. Была, наконец, великая культура и самая гуманистическая в мире литература. Вы призываете к мести, Вы сеете вражду. Понимаете ли Вы, что это значит? Вы, простите, не были здесь, Вы не пережили всего того, что мы пережили. Отдаёте ли Вы себе отчёт, живя там, на благополучном, на заевшемся Западе, что такие призывы могут привести к нарушению социального мира, а внутренний мир и согласие — это для России сейчас самое главное. Не зря народ говорит: кто старое помянет, тому глаз вон. Русский народ незлобив. Он готов простить даже отъявленному врагу. А ведь сказать, что люди, стоявшие у кормила державы, сумевшие вывести её и из пекла гражданской войны, и из тяжких испытаний Великой Отечественной войны, сказать, что это были одни палачи, — тоже нельзя, не все были такими уж злодеями.

Мы обычно предупреждаем, — если Вы читали наш журнал, — что рукописи не возвращаются, но для Вас делаю исключение, возвращаю Вам рассказ.

С уважением...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Весь фокус был в том, чтобы найти равновесие между реальностью ситуации, будничной и логичной, и нагромождением неожиданных препятствий, которые, однако, не должны были производить впечатление фантастических. На помощь пришёл сон — и даже сон во сне.

Луис Бунюэль

I

Вы согласитесь со мной, что с каждым могут случаться странности. То, что со мной случилось, покажется неправдоподобным. Я слышал, как голос вещает по радио, различал отчётливо каждое слово и ничего не понимал. Наконец, до меня дошло: авария в туннеле. Пассажиры просят воспользоваться наземным транспортом. Народ уже ехал вверх по эскалатору. Чёрные клочья небес висели над крышами зданий, мимо неслись машины с включёнными фарами, сеялся мелкий дождь, от которого всё вокруг — окна домов, тротуар, лица прохожих — приняло неживой, оловянный оттенок. Жизнь суетилась вокруг меня, это была механическая, мёртвая жизнь без цели и смысла, напоминающая старую поцарапанную киноплёнку. Я стал в очередь, но никакой очереди не соблюдалось. Люди втискивались как попало в подошедший, старый и забрызганный грязью автобус. Я ехал в молчаливой кольхающей толпе, в испарениях пота и влаги, автобус кружил по извилистым улочкам, сквозь мутные стёкла ничего не разобрать.

Стемнело, зажглись фонари; смутные отсветы дрожали на лицах, никто не выходил, на остановках новые толпы штурмовали автобус, руки висящих искали, за что уцепиться, экипаж, как корабль от пристани, грузно отвалил от тротуара, проплыл ярко освещённый циферблат. Следовало перевести стрелки; в эту минуту я уже вполне отдавал себе отчёт в том, что моя затея безумна; возвращаться было поздно, и что значит возвращаться, куда?

Оказалось, что в дом невозможно войти. Это было что-то новое, подражание за границе; других новшеств я не заметил, в общем-то ничего не изменилось за эти годы. Это угнетало и утешало в то же время, и даже придавало мне отваги. Наружная дверь снабжена устройством с кнопками и микрофоном. Здесь боялись бандитов. Сообразив, что надо набрать номер квартиры, я надавил на кнопку с надписью «входите», — безрезультатно. Тут каким-то образом возник некто в плаще с поднятым воротником, в низко надвинутой шляпе, что-то нажал, произнёс что-то, может быть, пароль, и открыл дверь. «Подождите», — сказал я (или хотел сказать), схватился за ручку, но человек как будто не слышал и с силой захлопнул за собой дверь. Я сошёл с тротуара: это был наш дом, мертвенно отсвечивали высоко под крышей наши тёмные окна.

Незачем было торопиться — её нет и не может быть. Ноги подтащили меня к дверям, я надавил, сколько было силы, на кнопки, услышал шорох в микрофоне и рванул ручку. Я был доволен, что человек не пустил меня в дом, никто не будет знать, что я здесь. Лифт, как всегда, не работал. По тёмной лестнице, этаж за этажом, я крался наверх, пока не увидел над головой потолок. Позвонил, и мне открыли.

Она была в домашнем халатике. Вероятно, она уже легла, я заметил неприбранную постель. В комнате ничего не изменилось. Моя жена тоже не изменилась. Всё тот же болезненный вид, блестящие волосы и круги под глазами. «Выпьешь чаю? — беззвучно спросила она. — Когда ты приехал?» Очевидно, предположила, видя меня без багажа, что я уже несколько дней в городе.

Я ответил: «Какой-то жилец захлопнул дверь прямо перед моим носом. Разве я похож на преступника?»

Она улыбнулась.

«Тебя не удивляет, — продолжал я, — что я пришёл без предупреждения?»

Она покачала головой, её взор блуждал, избегая моих глаз, она запахнула на шее халат.

«Тебя не интересует, как я живу?»

Ответа не было. Мы стояли друг перед другом, я уловил лёгкий вздох, её губы прошелестели: «Я знала».

«Да, но...»

«Я знала, что ты вернёшься», — сказала она.

Эти слова меня удивили и обрадовали, я не нашёлся, что ответить. Речь, которую я приготовил, застряла у меня в гортле. «Но ты же понимаешь, Катя...» — пробормотал я.

«...вернёшься, — сказала она, словно не расслышав моих слов, — и мы будем жить по-старому».

Вот это мне уже не нравилось, это напоминало наши бесконечные ночные пререкания. Я чуть было не возразил: по-старому? Что значит по-старому? Опять всё сначала: обыски, допросы, машина под окнами? Я ничего не сказал, она прочла мои мысли. Усталым жестом провела рукой по волосам.

«Теперь всё переменялось. Если бы не переменялось, тебя бы здесь не было...»

О, нет, Катя, хотел я сказать, ничего не переменялось.

«Я знала, — продолжала она. — Знала, что ты приедешь. Я тебя ждала. Каждый день ждала. Вчера ждала. Сегодня ждала».

«Я тебя разбудил...»

«Да. Я успела задремать и увидела во сне, будто ты приехал и стоишь внизу. В дверь звонят, а я лежу и ничего не слышу. — Она засмеялась. — Может, ты и сейчас мне снишься?»

«Катя. Сейчас не время. Мы можем всё спокойно обсудить позже».

Неполадки, конечно, бывают, продолжал я, но их быстро устраняют, это не Россия. Она усмехнулась, смотрите-ка, сказала она, каким ты там сделался патриотом. Я объяснил: нам бы только добратсья до метро.

«До метро?»

«Да. Спустимся вниз, и никто нас уже не сцапает».

Она ничего не понимала: кто нас должен сцапать? Какие неполадки?

«Сам не знаю; авария или что там. — Я хотел рассказать, как я ждал поезда, не мог догадаться, о чём вещал громкоговоритель; но сейчас это не имело значения. — Важно, что это способ, понимаешь? Способ уехать».

«Уехать?»

«Ну, конечно».

«А я думала...» — пробормотала она.

Я хотел было сказать, что приехал не совсем легально, но сообразил, что сейчас об этом лучше помалкивать, это может её отпугнуть. Я вдруг растерял все мысли. Всё начало путаться в голове. А главное, я забыл, что нельзя задавать некоторые вопросы. Нарушил правила игры, которые мы, не сговариваясь, молча установили для себя.

Ни с того ни с сего я брякнул:

«Катерина... неужели это правда?»

Я имел в виду, что она, как бы это выразиться. Что она жива.

«Как видишь», — сказала она просто. Поёжилась, поплотней запахнула халатик.

Выходило, что она как будто даже знала о том, что до меня дошло это известие. И так, я по крайней мере удостоверился, что известие было ошибочным. Теперь я даже не помнил, когда я его получил, три года назад или ещё раньше, да и не всё ли равно. Это была ложь. Без сомнения, дело рук всё той же организации. На них это похоже. У них есть специальный отдел для распространения ложных слухов.

Смешно! А я-то, дурак, поверил, не знал куда деваться от тоски и горя.

Она сказала:

«Ты мне не писал. Я поняла, что ты занят... готовишься к возвращению».

Опять она об одном и том же.

«Катя, пойми. Там была авария, — сказал я, забыв, что уже говорил об этом. — Теперь всё поправили. Собирайся».

«Куда?»

«У нас мало времени. Собери самое необходимое».

Я встал и начал ходить по комнате. Моя жена дрожала, я видел, что у неё поднялась температура, обычная история, но мне не хотелось думать сейчас об этом, я сказал, у тебя окошко открыто, ты не одета, здесь другой климат. Здесь гораздо холодней, чем у нас там... и подошёл к окну, лёгкий ветер отдувал занавеску. И было такое впечатление, будто город исчез. Не было переулка и дома напротив, и даже не видно было горизонта, чёрная пустота, ночь, похожая на небытие. Но, приглядевшись, я кое-что заметил.

«Послушай... — проговорил я. — Там стоит машина».

«Какая машина?»

«Перед домом! — закричал я. — Ты что, успела сообщить этим крысам?»

Она только испуганно мотала головой, закрыла рот рукой.

«Прекрасно, — бормотал я, озираясь, — ты не обращай внимания, я сейчас... Скажешь, что у тебя никого не было. Скажешь, ты спала и ничего не слышала...» Я выскочил на лестничную площадку и стоял, схватившись за перила, была мёртвая тишина. Очевидно, они ждали, когда я выйду из подъезда. Я рассчитывал спуститься в подвал и оттуда как-нибудь выбраться через окно; впрочем, стук разбитого стекла мог привлечь внимание. Тут я заметил — было ли это через несколько секунд или минут? — заметил, что считаю этажи: в это время я сходил по лестнице. Никакого хода в подвал не оказалось. В этой тишине таилась такая угроза, что лучше бы уж снаружи слышались шаги или рокот мотора. Подкравшись на цыпочках, я приоткрыл парадную дверь. Но машины не было, никого не было, и я двинулся, инстинктивно приглушая шаги, наугад по тёмному переулку.

II

Не помню, чтобы я просыпался, радуясь предстоящему дню. Утро для меня время трезвой безнадежности. Обстоятельства тут ни при чём; причины скорее внутренние. Утро заглядывает в моё жильё, слёзы дождя стекают по стёклам, диктор читает последние известия, не отличимые от вчерашних. Я не стал бриться, что было бы совершенно излишним. Позавтракал чем Бог послал.

Вероятно, мне надо представиться. Надо ли? *Nomina sunt odiosa*¹ Те, кто со мной знаком, знают, как меня звать, для незнакомых не всё ли равно? Платон говорит (устаами Сократа), что имена следует давать, не погрешая против природы. Прав он или не прав, но имя становится в самом деле частью вашего естества, как горб или кривой нос. Я существо мужского пола. Об этом можно догадаться по глагольным фор-

¹ Имена ненавистны (лат.)

мам, мною употребляемым. Мне пошёл пятый десяток, примерно столько же мне можно дать, взглянув на меня. Я уже не молод, но ещё не стар. Роста я невысокого, особо располагающей внешностью похвастаться не могу; если женщины изредка оказывают мне внимание, то это объясняется разве лишь состраданием. Далее, я не являюсь подданным этой страны, хотя живу здесь постоянно. На вопрос, нравится ли мне здесь, я могу ответить: да, потому что всегда можно отсюда уехать. Не всякому государству можно поставить в заслугу, что оно не держит на привязи своих жителей.

В четверть восьмого (мои часы спрятаны под рукавом балахона, на мне просторные штаны неопределённого цвета, на голове антикварная фетровая шляпа, башмаки просят каши) я поднимаюсь по широкому ступеням храма св. Иоанна Непомука, расстилаю коврик, вернее, то, что когда-то было ковриком. Рядом со мной стоит бутылка красного вина, наполовину опорожнённая, это наводит на мысль, что я успел подкрепиться спозаранок. Таков в двух словах мой «имидж». Что же касается моего характера, менталитета или как там это называется, то важная черта его состоит в том, что я остаюсь самим собой и в то же время обзираю себя со стороны. При кажущейся несообразности моего существования я сохраняю безупречный контроль над собой. Порядок есть порядок; внутри некоторой безумной системы царствует логика. Это правило одинаково применимо к произведениям искусства, к снам и к повседневной жизни. Я сижу, прислонившись к колонне. Головной убор поκειται между ног.

Итак, мы можем считать, что рабочий день начался, время подумать о душе, поразмыслить о моей профессии, одной из древнейших. Но день сулил мне неприятности. Я должен был их предвидеть.

Не успел я собрать и гроша, как из-за угла (церковь стоит у поворота на магистральную улицу и несколько особняком) выступил субъект, в котором я без труда распознал собрата по ремеслу; возможно, он поджидал меня. Он склонил взгляд на мою шляпу, как заглядывают в высохший колодец. Я извлёк из-за пазухи стаканчик, налил ему. Он отпил глоток и выплюнул.

«Дрянь».

Я пожал плечами: дескать, что поделаешь.

«Погодка, — по-русски сказал он, садясь рядом. — Давно тут паcёшься?»

Человек протянул корявую ладонь.

«Вальдемар. Можно просто Вальди. А тебя как? Ты что, инопланетянин?»

Я искоса взглянул на него и сказал:

«Каждые семьдесят шесть лет комета Галлея появляется на нашем небе».

«Да ну?» — сказал он лениво.

«Каждые полторы секунды на земле совершается три тысячи убийств».

«Я думаю, больше».

«Восемнадцать с половиной тысяч изнасилований».

«Доказать невозможно, — заметил он, — у бабы не всегда поймёшь, хочет она или не хочет. — Закончив разговор, он поднялся. — Собирай манатки, пошли».

«Куда?»

«Здесь всё равно ничего не соберёшь».

«Я собирал».

«Пошли, я тебя с нашими познакомлю. Кому сказал! А то хуже будет», — добавил он.

С ковриком под мышкой я поплёлся за ним; тот, кто знает город, может мысленно проследить наш маршрут. Переулками, избегая шумные магистрали, мы шагали по направлению к Северному кладбищу. Дождь перестал. Исчезли нарядные вывески, с каждым перекрёстком дома становились ниже и неказистей. Жалкое солнце осветило скучные, пустынные кварталы, где я никогда не бывал. Утро можно было считать потерянным. Оставалось не так уж много времени до полудня, когда мне надлежало отправляться на вторую работу.

«Слушай, Вальди...» — пробормотал я.

«Без паники; сейчас всё узнаешь. Ты про такого композитора слышал: Вивальди?»

Мы брели мимо низких слепых окон, горшков с мёртвой геранью, мимо заборов и подворотен, завернули в хозяйственный двор, пробрались между фургонами и штабелями пустых ящиков; это были задворки магазина, выходящего на другую улицу. Во дворе стоял трёхэтажный дом с пыльными окнами и зияющим входом, на вид нежилой, вошли, узкая лестница, шаткие железные перила, выщербленные ступеньки. Вожатый трижды стукнул кулаком, выждал и стукнул ещё раз. Некто со съехавшей вбок физиономией — в народе говорят: косорылый — впустил нас в полутёмную прихожую. Коридор загромождён рухлядью, с кухни тянет пригорелым, пованивает отбросами.

В большой комнате сидел перед отечественным самоваром человек с наружностью отставного профессора, в полуседой бороде, в пенсне, с высоким залысом лбом, в парчовом халате, как будто сшитом из театрального занавеса, продранном под мышками и на локтях. Рядом на стуле стоял проигрыватель.

«Вивальди привёл», — доложил косорылый.

«Астрономией интересуется, — пояснил Вальдемар, — говорит, комета Галлея... каждые сто лет».

«Семьдесят шесть», — презрительно сказал я.

«Да неужто? — удивился профессор. — Вы действительно так думаете?»

«Это установленный факт», — возразил я.

«Нет, вы это серьёзно?»

Человек за столом обратил вопросительный взор к Вальдемару. Тот пожал плечами, профессор шумно втянул воздух через волосатые ноздри и насупил. Наступило молчание, затем он промолвил:

«Этот вопрос стоит обдумать. Подстилку можете положить в угол...»

Он сделал знак косорылому. Меня отвели в другую комнату, где было ещё грязнее. С топчана поднялся детина огромного роста, гривастый, с чёлкой до бровей, и, не говоря худого слова, врезал мне по уху. Я пошатнулся и чуть не сел на пол.

«Ты чего... что такое...» — лепетал я, закрываясь руками, и получил вторую затрепину.

В дверь всунулся Вивальди.

«Ты зачем коллегу обижаешь, Дёма? Нехорошо!»

«Ты... йёбт!» — проревел Голиаф и ощерился, делая вид, что хочет броситься на него.

«Да ладно тебе...» Поддерживаемый с двух сторон Вальдемаром и субъектом с несимметричной физиономией, я был препровождён назад в гостиную, где профессор в халате пил из блюдечка чай.

«Безобразие! — сказал он. — Где вторая чашка? И пирожные. Кто сожрал пирожные, признавайтесь, суки».

Передо мной поставили чай, явилось и блюдо с полурасплюсненным пирожным.

«Сливки?» — осведомился профессор.

Просверлив меня взглядом, он проговорил:

«Пошли вон... (Это относилось не ко мне.) Дёме передать, чтоб больше не смел».

Мне он сказал:

«У него тяжёлая рука. Этак и убить можно. Но! Порядок есть порядок. Вот так. Лицензия у вас имеется?»

«Какая лицензия?»

«Какая, какая, в гроб твою мать. Полицейская, какая же ещё. Полиция даёт разрешение на занятие промыслом, вы что, впервые об этом слышите? Пейте чай».

«Я думал...» — сказал я.

«А не надо думать. Поберегите умственную энергию для более серьёзных вопросов. Что вы думаете о проблеме бытия?»

«Ничего не думаю, — сказал я мрачно. — Мне надо идти».

«Куда это?»

«Мне пора на работу».

«Ась? Не слышу».

«На работу...»

«На какую это работу? Ага, — сказал он. — А вот это уже совсем плохо. Из ваших слов я заключаю, что промысел для вас всего лишь побочное занятие, так сказать, халтурка с целью подзаработать...»

«Промысел?»

«Да. Из ваших слов следует, что промысел для вас не работа».

«Одно другому не мешает».

«Ошибаетесь, любезный... Этот вопрос, впрочем, можно обсудить. Ты что, брезгуешь, дай-ка мне... — пробормотал он, забирая у меня пирожное. — Полиция дело десятое, — продолжал он, — мы тебе эту лицензию устроим. Я сам позабочусь... И заруби себе на носу: никакой самодеятельности. Ты находишься в свободном государстве. И более того. Ты живёшь в правовом государстве. Хочешь работать, работай. Хочешь собирать милостыню — пожалуйста. На голове ходить? Сделай одолжение. Но! — рявкнул он, подняв палец, — изволь соблюдать порядок. А то, понимаешь, выбрал себе местечко: без разрешения, без согласования! Если каждый будет себе позволять... Один у Непомука, другой в оперном театре начнёт собирать, а то ещё, пожалуй, у дверей земельного парламента...»

Профессор дожевал пирожное, обсосал пальцы.

«Договоримся так. Ты до какого часа сидишь? До обеда? Вивальди в это время как раз обходит коллег. Двадцать пять процентов. Это нормальное обложение, я бы даже сказал, гуманное... в других городах взимают половину. Мою мысль понял?»

«Понял, — сказал я. — А если ничего не соберу?»

«Так не бывает».

«Иногда бывает».

«Это от неопытности. Ничего, научись... Разве что погодные условия могут быть неблагоприятны, ну там, проливной дождь... Да ты и сам не вылезешь в такую погоду. Ты пособие получаешь? нет? Я тебя ставлю на пособие. В случае падения подаваемости. И смотри у меня, — сказал профессор, — один раз поймаю — всё, ты у меня вышел из доверия. За укрывательство знаешь что бывает? Я тебя достану из-под земли. Мои люди тебя всюду найдут, заруби это себе... Эй, кто там? — крикнул он. — Неси сюда».

Косорылый явился с граммофонной пластинкой.

«Терпеть не могу эти новые...». Он имел в виду компакт-диски. Профессор отодвинул чашку и застыл в молитвенной позе.

«Прекратить пить чай, — сказал он внятно. — Это кто?»

«Перголези. Stabat mater».

«Правильно. Вот за это хвалю».

Минут пять послушали, этого было достаточно, чтобы что-то переменялось в гнуснейшем из миров. Шеф приподнялся, остановил музыку.

«Гармония происходит оттуда, — он поднял кверху палец, — это я тебе как знатоку астрономии говорю. Ты о Пифагоре слыхал? Пифагор учил... музыка сфер...»

«Это каждый ребёнок знает», — сказал я.

«Не каждый. Никто из этих говноедов не имеет представления о том, что такое настоящая музыка... Я упомяну о тебе в своих мемуарах. Давно побираешься? Один живёшь? Когда приехал?..»

Аудиенция закончилась.

III

Пришлось искать такси — как ни мало это согласовалось с моим одеянием. Шофёр опустил стекло и осведомился насчёт платёжеспособности. Я сунул ему купюру и плюхнулся на заднее сиденье. Машина остановилась возле моего дома; чтобы не привлекать внимания, я попросил въехать во двор, выскочил, не теряя времени, и взбежал по чёрной лестнице. Я опаздывал.

Полчаса спустя (метро с пересадкой) я свернул на улицу Шеллинга и зашагал в толпе; я был свежесвыбрит, сделался выше ростом и помолодел, женщины угадывали во мне удовлетворительную потенцию, моя шляпа, плащ, галстук, ботинки ничем не выделяли меня среди снующих взад и вперёд пешеходов, меня можно было отнести к нижней половине среднего класса. Я как бы видел себя со стороны. Мои глаза приняли неопределённую окраску — это был цвет погоды, физиономия лишилась какого-либо выражения, если не считать летучей заботы, своего рода рассеянной сосредоточенности горожанина; короче, я стал никем. Клим, услышав шаги, вышел в коридор, где у нас помещаются шкаф с бумажным хламом и фотокопиральная машина. Куда я пропал? Потрясающие новости.

Неизвестные люди в Бухаресте подожгли автомобильные крышишки перед статуей кондукатора. Это может означать начало очень важных перемен. Продолжаются демонстрации в Польше. Обыски и аресты в Москве. Я придвигаю стул вплотную к письменному столу, чтобы освободить место посреди комнаты, и становлюсь на голову. С улицы доносится гул города. У меня слегка поламывает скула после дёминого приветствия. Два женских голоса поют в моей душе, лебединая песня Джованни Баттиста Перголези.

Я держу равновесие; люди, которые умеют стоять на голове, всегда вызывали у меня почтительное изумление, и я, наконец, научился этому искусству; оно возвращает мне чувство самоуважения и утверждает моё место в мире; люди, стоящие вверх ногами, легче справляются с су-

ществованием в мире, который в некотором смысле тоже стоит на голове. Я уселся за стол, меня ждёт кипа рукописей. Почти наугад вытгиваю одну, заглядываю в конец, чтобы сразу прикинуть, сколько нужно сократить. Начнём с начала; заголовок никуда не годится. Заголовок не должен обозначать содержание, для этого существует подзаголовок. Заголовок — это метафора, он должен быть неожиданным, загадочным, интригующим, заголовок статьи — это встреча, полная романтических ожиданий, а подзаголовок — то, чем незнакомка окажется на самом деле. Первая фраза всегда лишняя. Весь первый абзац, в сущности, лишний. Нужно брать быка за рога, нужно швырнуть читателя в водоворот событий вместо того, чтобы топтаться на берегу. Я работаю, вычёркиваю, вписываю, исправляю неправильные обороты, я прекрасно понимаю, с кем я имею дело. Автор — заслуженный борец с тоталитарным режимом, что, по-видимому, даёт ему право не заботиться о таких пустяках, как синтаксис и грамматика. О слоге не приходится говорить. В комнате устоявшийся запах рутины. Мой стол, телефон, стопка исчёрканных, испещрённых корректорскими значками страниц — всё пропиталось этим запахом, похожим на запах скверного табака. Время от времени я смотрю в окошко. Моё тело сидит за столом, голова ушла в плечи, лёгкие всасывают воздух, почки процеживают кровь, органы наслаждения безмолвствуют в углублении между бедрами и животом. Несколько времени погода я отправляюсь в кабинет Клима, где всё дышит энтузиазмом. Мы составляем план номера, и я по-прежнему поглядываю в окно.

Мой коллега, товарищ по общей судьбе и благородному делу, тот, кому это дело обязано своим существованием, а я — работой и какой ни есть зарплатой, заслуживает того, чтобы по крайней мере сказать о нём несколько слов. Беда в том, что говорить о нём мне скучно. Это не значит, что я отношусь к нему плохо. Мы друзья и научились терпеть друг друга. Две черты его характера, по-видимому, необходимы для выполнения миссии, которую он возложил на себя: самоотверженность и нетерпимость. Он всегда готов очертя голову броситься на помощь преследуемым, арестованным, сосланным, заточённым в психиатрическую тюрьму. Если бы он мог поехать «туда», чтобы разделить с ними их участь, он бы сделал это. Что касается другой черты, то она приняла у него своеобразную форму всесторонней осведомлённости. Он всё знает и притом лучше всех. Он знает историю, философию, медицину, искусство, кулинарию и многое другое. Нужно остерегаться обсуждать с ним что бы то ни было, паче всего — вторгаться в политику. Здесь возможна лишь одна форма диалога: согласие и поддакивание. Здесь он непререкаем и неумолим. Клим моложе меня на добрый десяток лет. На нашей бывшей родине он знаменит. Он подписал две дюжины писем протеста и отсидел несколько лет в тюрьме. Его арест в свою очередь вызвал волну протестов, о его освобождении ходатайствовали руководители нескольких стран. Я чувствую себя обязанным воздать моему товарищу

нелицемерную хвалу за то, что он пострадал за свои убеждения, в отличие от меня, который их не имел. Я не задаюсь вопросом, что подумал бы честный Клим, увидев меня сидящим на ступенях Непомука. При том что всё это, заметьте, происходит не так уж далеко от редакции. Но, представив на минуту, что кто-то мог бы меня разоблачить, я тотчас отвергаю это предположение, я уверен, что осколки моего существования разлетелись так далеко, что сложить их вместе, как осколки разбитой тарелки, не сумел бы никто.

Жизнь не равна самой себе, вот в чём дело. У действительности есть второе дно. Будь я художником, я примкнул бы к школе, которая доверяет фантазиям больше, чем реальности, и декларирует сверхистинну снов; я не удивился бы, увидев вместо Клима в кресле главного редактора какое-нибудь монструозное существо. Я даже думаю, что так оно и есть, просто это не бросается в глаза. Мир, если уж на то пошло, выглядит для меня более упорядоченным, пожалуй, даже более пристойным, когда я сижу у колонны со своей шляпой и початой бутылкой; двусмысленность мира не кажется такой очевидной, как в то время, когда, переодетый в цивильное платье, я сижу, как сейчас, в кабинете Клима. Возможно, я несу околесицу, но позвольте уж договорить.

Утром, со своего поста на ступенях я вижу ноги женщин, я выбираю какую-нибудь фигурку и провожаю её взглядом до угла. Монеты падают в шляпу, механически я повторяю формулу благодарности. Не то чтобы я испытывал вожделение ко всем этим девушкам, но и там, за углом улицы, я не покидаю незнакомку, почти уже не помня, как она выглядит. Невидимый, я иду следом за ней, постепенно она теряет остатки индивидуальности, от неё осталась одна походка, но походка — это и есть то, что делает её женщиной, просто женщиной; она отпирает ключом парадный подъезд, входит в холл, она у себя в квартире, и когда она снимает уличную одежду, чтобы облечься во что-нибудь домашнее, прикинуть к зеркалу, разглядеть что-то у себя на щеке или просто полюбоваться собой, обшарить всю себя глазами одновременно женскими и мужскими, — я с ней, я знаю, что отразится в стекле. А сейчас? Поглядывая из окна редакции на прохожих, я вижу, может быть, тех же людей, что бросали мне мимоходом монеты, чего доброго, замечаю ту же самую девицу; небо густеет, вот-вот вспыхнут фонари, сейчас она одета совсем по-другому, она элегантна и ослепительна, но кто она, кто они все под их одеяниями? Невиданные, странные, может быть, мохнатые или чешуйчатые существа.

IV

Вернёмся к тому, что принято называть действительностью: на этот раз дело происходит в полуподвальчике неподалёку от наших

мест. За каким лешим, спрашивается, меня туда занесло? Мой новый друг профессор оккультных наук сидел за столиком. Профессор помахал мне рукой.

«Рад вас видеть», — сказал я кисло.

«Брось. Давай по-простому, на ты».

«Рад тебя видеть, пахан».

Я озираюсь. Я был в цивильной одежде.

«Э, э, э. Не вздумай спастись бегством. С чего это ты меня так называешь? Согласно современным словарям, пахан — это главный бандит. Это годится для главы правительства. Но мы-то ведь не бандиты. Садись... Есть хочешь? Я угощаю».

Так не говорят, заметил я.

«А как говорят?»

«Я приглашаю».

«Ну, мы по-русски, чего там».

Он подозвал официанта.

«Принеси-ка нам, дорогуша, этого... того».

Кельнер солидно прочистил горло.

«Ну, сам понимаешь», — сказал профессор.

Кельнер явился с подносом, расставил тарелки, бокалы, сунул поднос под мышку и показал профессору бутылку. Профессор наклонил голову. Кельнер вынул штопор. Профессор отведал вино, величественно кивнул. Несмотря на убогий вид заведения, здесь соблюдалась некоторая торжественность, по крайней мере до тех пор, пока не набралось достаточно народу. Время было уже не обеденное, вечер ещё не настал. Вечер двигался на нас из России. В углу сидела пара: плохо одетый, изжёванный жизнью мужчина и девушка. Она смотрела на него, он, по видимому, избегал её взгляда. Обычный сценарий, она призвала его, чтобы сообщить, что у неё задержка. Но они могли быть отцом и дочерью. Папаша снова лишился работы, она собирается прочесть ему нотацию. Или познакомились на улице, в сквере перед памятником монарху. Он не смеет признаться, что у него нет денег заплатить за обед.

Профессор был облачён в полосатый костюм, платочек уголком в нагрудном кармане, борода подстрижена, на шее «киса», на носу пенсне. Профессор потребовал предварительно по рюмке шнапса. Человек в углу поглядывал на нас.

«Prost, дядя», — сказал я.

«Prost, малыш».

Он захихнул салфетку между воротничком и жилистой шеей, вооружился инструментами.

«Что слышно нового из Гринвичской обсерватории?»

«Она закрылась», — сказал я.

«В чём дело?»

«Треснул телескоп».

На несколько мгновений профессор погрузился в задумчивость, ковырнул вилкой еду и вновь, постучав ножом о тарелку, поманил кельнера.

«Это что такое?»

Официант объяснил, что это такое.

«Нет, я спрашиваю, что это такое!»

Кельнер молчал.

«У меня на родине это называется...»

«Вот и поезжайте к себе на родину», — возразил кельнер.

«Что? Повтори, что ты сказал.»

«То, что вы слышали.»

Я встал и отправился с кельнером на кухню, сказав ему что-то.

«Нет, как тебе это нравится?» — кипятился профессор.

Человек, сидевший с девицей, подошёл к нам.

«Я вас прекрасно понимаю. Они все ведут себя возмутительно. Я спрашиваю себя, зачем я сюда пришёл...»

«Ты бы лучше себя спросил, зачем ты сюда приехал», — буркнул профессор.

Я сказал: «Он сейчас принесёт замену».

Дядя снял стёкла с утинового носа и стал протирать их краем салфетки, мрачно сопя ноздрями. Человек топтался возле стола, очевидно, намереваясь продолжить разговор.

«Благодарю вас», — пробормотал профессор. Человек вежливо кашлянул.

«А, — сказал профессор. — Вот в чём дело. Да ведь я тебя, кажется, знаю...»

Человек получил монету, дядя сверкнул стёклышками вслед ему. Девушка пудрилась, глядя в зеркальце.

«В прошлом году, — сказал дядя, — я с этим хмырём, м-да. Мылся в миоллеровских банях. У него член длиной в двадцать сантиметров. Но это ровно ничего не означает».

«Вообще, — продолжал он, — это начинает меня беспокоить. Прогцветающее общество — необходимое условие для нищенства, ибо какой смысл собирать подаяние, если все кругом нищие, но когда наша профессия приобретает чрезмерную популярность, это скверный признак. Во-первых, рост конкуренции. В нашем деле конкуренция полезна лишь в определённых пределах... Во-вторых, затрудняется контроль. Этот процельга посмел подойти ко мне. Потребовать милостыню — у меня! И, наконец, где мы живём? В цивилизованной стране или в Буррунди?»

Кельнер поставил перед нами тарелки, молча, с обиженной миной разлил бокалам по бокалам, мы с дядей чокнулись и принялись за еду.

«В следующий раз я тебя приглашу», — сказал я.

«В следующий раз? А ты уверен, что мы с тобой ещё увидимся? Меня приглашают, когда я сочту нужным. После предварительного согласования... Ладно, — сказал он, утирая рот салфеткой, — рассказывай...»

«Что рассказывать?»

«Я собираюсь вплотную заняться моими мемуарами. Возможно, мне придётся на некоторое время удалиться от дел... Рассказывай о себе. Кто ты, что ты».

Я заметил, что человек, принявший от профессора дань милосердия, исчез. Девушка по-прежнему сидела в углу.

Профессор, с бокалом в руке, воззрился на меня; я пожал плечами.

«Хорошо, я скажу тебе сам. Ты оборотень. Ты ведёшь двойную жизнь. Утром ты одно, а после обеда другое. Может, ночью ещё что-нибудь, кто тебя знает. Может, у тебя хвост и три яйца».

«Вы просто как в воду смотрите».

«Для того, кто знаком с тайноведением, это не проблема. Может быть, на твоей работе ты недостаточно зарабатываешь».

«Prost», — сказал я, подняв бокал, и показал глазами на незнакомку, дескать, не пригласить ли её к нашему столу,

«На кой хер она нам сдалась. Prost... Сбор милостыни, как известно, доходный промысел, так что это предположение не лишено смысла. Возможно, тебя соблазнила авантюра двойственного существования, ты захотел выломиться из социальной рутины, из этих оглобелей; но ведь попрошайничество — это тоже оглобли, а? Только в другом роде».

Он приблизил ко мне своё бородатое лицо, угреватый нос, безумные глаза за стёклышками пенсне: «Существует... — зашептал он, — внутренняя, непреодолимая тяга к нищенству, инстинкт нищенства, подобный инстинкту смерти... Тайный голос зовёт: бросай всё на х...!»

«Не исключено», — сказал я.

«А может быть, две планеты правят твоим астральным телом, заставляя тебя быть то тем, то этим; в конце концов это легко проверить, ты как считаешь?»

«Возможно».

«И, наконец... — оккультный профессор яростно вкалывал вилку, пилил ножом, жевал жилистое мясо жёлтыми зубами, — наконец... я высказал несколько гипотез, но вот она, страшная догадка: может быть, ты, едрёна вошь, — писатель? Золя ездил с машинистом в паровозе, спускался в шахту. Даже, говорят, спал с проститутками, чтобы изучить, так сказать, технологию... Ты тоже решил побыть нищим, чтобы написать роман».

Я сказал: «Это уже теплее».

Мне показалось, что незнакомка сделала мне знак. Негодяй удрал и не заплатил.

«То есть не совсем тепло. Я работаю в журнале, ничего особенного», — добавил я, видя, что дядя, держа нож в кулаке, нацелился на меня смертоносным лучом.

«Журналист?» — просипел профессор.

«Не то что бы, но вроде».

«А я это, между прочим, знал!»

«Зачем же спрашивать?»

«Чтобы подтвердить имеющиеся данные. Мы, любезнейший, осведомлены лучше, чем ты предполагаешь. И в небе, и в земле сокрыто больше... как это говорит принц Гамлет, ну тот, который был автором трагедий некоего Шекспира? Чем снится нашей мудрости, Горацио? Так вот, к вашему сведению: как раз наоборот — ничего не сокрыто. От нас не скроешься... Ты мне вот что скажи... Э, чёрт, запихнуть бы им в глотку это мясо!»

Он выплюнул ком и швырнул его через плечо.

«Ты мне вот что скажи: на кой чёрт тебе всё это случилось? Хочешь изменить порядки в России? Это ещё никому никогда не удавалось. Кому там нужна ваша демократия, ты себя когда-нибудь спрашивал? Там нужно вот что! — Дядя показал кулак. — Не говоря уже о том, что борцы за демократию сами меньше всего демократы. В этом состоит ирония судьбы, историческая ирония. Хохот богов, а? Ты не находишь?»

Я пожал плечами.

«Так или иначе, — пробормотал он, — всё скоро полетит к чертям».

«Что полетит к чертям?»

«Вся эта ваша свободная пресса. Если режим рухнет, кто её будет читать? Вы все осиротеете без этого режима».

«Ну и прекрасно».

«Так-то оно так. Только вы все останетесь без работы. Вы даже не понимаете, что пилите сук, на котором сидите... Или ты хочешь сказать, что у тебя есть в запасе другой заработок? А-а, вот оно что! — вскричал он. — Готовишься заранее. Они все будут лапу сосать, а у тебя тёпленькое местечко... на ступенях храма...»

«Кто это, они?»

«Ну, эти... борцы, в рот их».

«Может быть, я вернусь», — сказал я.

Профессор внимательно, с поехавшими кверху бровями, посмотрел на меня.

«У меня есть знакомый психиатр, — промолвил он. — Очень вдумчивый специалист. Могу сосватать».

Теперь я видел, что женщина в углу почти неотрывно смотрит на меня.

Профессор бормотал:

«Вернусь, ха-ха, он собрался возвращаться. Там всё отравлено. Там запах лагеря, как запах сортира. И вообще, что это за тема для душевного разговора... Меня политика не интересует. Плевать мне на патриотизм. Мы, рядовые граждане, заинтересованы только в одном: в стабильности и общественном порядке. И в благосостоянии населения! Родина там, где хорошо подают. Но ты не ответил на мой вопрос».

«Я получаю зарплату», — сказал я.

«Какого же хрена, спрашивается, ты торчишь на улице, отнимаешь хлеб у настоящих нищих, что это за маскарад...»

«Дядя, я тоже настоящий». Я встал и направился к даме в углу.

V

Профессор заявил, что он тоже человек пишущий.

«Говорю так, чтобы не употреблять слово писатель, загаженное в нашем протитуированном обществе... А вы, случайно, не представительница этой профессии?»

Я вмешался: «Ты хочешь сказать, писательница?»

«Гм. Моя мысль, собственно, была другая...»

«Вам придётся извинить его, сами понимаете, возраст...»

«Кто здесь говорит о возрасте? Мы ещё поживём! Впрочем, неизвестно, кто из нас моложе... Позвольте представиться», — сказал дядя, приосанившись, держа пенсне, как бабочку, двумя пальцами.

«Нет необходимости. Профессор социологии. Я его племянник... А это Мария Фёдоровна».

«О! так звали, если не ошибаюсь, вдовствующую императрицу. Разрешите вас называть Машей?»

«Мой дядюшка, — пояснил я, понизив голос, — потомок одного из древнейших родов России. Из старой эмиграции...»

«Х-гм. Старая эмиграция... да, да... Какие люди, какие умы. Мы тут беседовали о литературе. Герр обер!..»

Официант принёс ещё один прибор. Профессор насадил пенсне на нос.

«Так вот, насчёт литературы... Я, знаете ли, работаю над мемуарами. *Noblesse oblige!*¹ Помню, государь сказал мне однажды на приёме в Зимнем: ты, князь, слушай и всё запоминай. Когда-нибудь обо всех нас напишешь... Он уже тогда предчувствовал, что его ожидает».

«Но ведь это же было очень давно», — возразила гостья.

«Да, моя девочка, это было давно».

¹ Знатность обязывает (*фр.*).

«Сколько же вам было тогда лет?»

Я разлил вино по бокалам.

«Может, не надо, — сказала она. — А то ещё запыняю».

Я осведомился о её спутнике.

«Это тот, который...? Если память мне не изменяет... В мюллеровских банях?» — пролепетал профессор.

«Я его знать не знаю. Пристал на улице».

Выяснилось, что она со вчерашнего дня ничего не ела.

«Короче говоря, слинял. Хамство, — констатировал профессор. — Даже если он не воспользовался твоим, э-э... гостеприимством. Но ничего. Мы с ним потолкуем. Мы его найдём».

По мере того, как темнело снаружи, «локаль» наполнялся голосами, взад-вперёд сновали официанты, теперь их стало трое, появились завсегдатаи, ввалилась компания немолодых пузатых мужиков и вызывающе одетых женщин. Кельнер шёл к нам со счётом.

«Мы не торопимся, — сказал профессор. — Ещё не всё обсудили».

«Можно обсудить в другом месте», — заметил кельнер.

Он положил на стол счёт, профессор смахнул листок со стола, снял пенсне и осмотрел кельнера.

«Пошли отсюда, дядя», — сказал я по-русски.

«Знаете ли вы, что он сказал? — спросил, перейдя на вы, профессор. — Он сказал, что побывал во многих странах. Но нигде ещё не сталкивался с таким хамским обращением».

«Врёшь», — сказал кельнер.

«Что? Повтори, я не расслышал».

«Он тебе два слова сказал, а ты переводишь как целую фразу».

«А известно ли тебе, — сопя, сказал профессор, — что русский язык обладает краткостью, с которой может сравниться только латынь? Я попрошу уважать русский язык!»

Подошёл хозяин заведения — или кто он там был, — скопческого вида, с длинным унылым лицом, мало похожий на трактирщика.

Профессор насадил стёкла на утиный нос.

«Я запрещаю издеваться над моим родным языком».

«Да успокойся ты, никто не издевается. Вот, — сказал официант, садясь на корточки, — не хотят платить». Он добыл из-под стола бумагу, протянул хозяину, тот взглянул на счёт, потом на меня, Марию Фёдоровну и, наконец, на профессора.

«Я этого не говорил, — возразил профессор и повёл носом, словно призывал окружающих быть свидетелями. — Но ещё вопрос, за что платить!»

Я вынул кошелек, дядя величественным жестом отвёл мою руку.

Хозяин кафе сказал:

«Я тебя знаю. И полиция тебя знает».

«Вполне возможно, — отвечал профессор. — Я человек известный».

«Вот именно, — возразил хозяин. По-видимому, он что-то сообщал. Потом произнёс по-русски с сильным акцентом: — Если ты, сука, немедленно не...»

«О, — сказал дядя, — что я слышу. Диалект отцов. Язык родных осин! Но тем лучше. Нам легче будет объясниться. Так вот. Пошёл ты... знаешь куда?»

«Нет, не знаю», — сказал хозяин.

«К солёной маме! — взвизгнул профессор. — Можете звать полицию», — сказал он самодовольно.

В погребе зажглись огни, словно здесь готовилось тайное празднество, синеватый свет вспыхнул на бокалах, на украшениях женщин, бросил на лица лунный отблеск. Воцарилось молчание. Астральный нимб окружил чело оккультного профессора, а физиономия хозяина приняла трупный оттенок. Кельнер направился было к телефону, владелец заведения остановил его.

«Сами управимся».

И тотчас в зале появился, к моему немалому удивлению, персонаж, о котором уже упоминалось на этих страницах. Широко расставляя ноги, развесив ручки, двинулся к нам.

Фраширован был и мой друг профессор.

«Дёма! — проговорил он. — И тебе не стыдно?.. Позвольте, это мой человек. Он у меня работает».

«У нас тоже», — сказал кельнер. Хозяин не удостоил профессора ответом и лишь кивнул в нашу сторону. Человек-орангутан схватил дядю за шиворот.

«Дёма, что происходит? Ты меня не узнаёшь?.. Имейте в виду: коллега — известный журналист, он сделает этот случай достоянием общест-венности. Он вас разорит!» — кричал профессор. Никто уже не обра-щал на нас внимания.

«Кстати, чуть не забыл... — пробормотал профессор, счищая грязь с брюк. Шёл дождь, и он поскользнулся, вылетая из подвальчика. — Ты лицензию получил? Я освобождаю тебя от налога. А с этой образиной мы ещё разберёмся».

VI

Вопреки предположению моего друга и покровителя, я не только не пишу романов, но не питаю интереса к этому роду искусства, во всяком случае, к изделиям нынешних романистов. И уж тем более к тому, что пишется в России. Может быть, я согласился бы кое-что прочитать, если бы мне за это заплатили. Хочу сказать о другом. Революция нравов

лишила литературу её наследственных владений. Никого больше не соблазняют многостраничные повествования о любви, ушли в прошлое истории встреч, надежд, узнавания, сближения, всё то, что должно было понемногу разжечь любопытство читателя, — вплоть до решающей минуты, когда дверь спальни захлопывалась перед его носом. Спрашивается, оттого ли у современных писателей всё совершается так скоропалительно, что упростились современные нравы, — или нравы упростились оттого, что литературу перестали интересовать околичности, не имеющие отношения к «делу».

Я уже рассказал коротко о знакомстве с женщиной по имени Мария Фёдоровна. Стоит ли называть это «романом»? Я был одинок, она была одна. Совместима ли платная любовь с чувствами? Могу сказать только, что меня повлекло к ней не только то, что составляет цель подобных сближений. Какая-то инерция побудила меня продолжать путь рядом с ней. И если уж говорить о «чувствах», то это было скорее чувство продолжения старого разговора. Возможно, мы в самом деле виделись где-то — ведь мир тесен для кучки изгнанников.

Что-то такое мелькнуло у меня в голове — обманчивая мысль, — когда я сидел с профессором и чувствовал на себе её взгляд. Именно о таких, не слишком речистых, притворно-скромных, не привлекающих взоры, начинаешь думать — а ведь я её уже встречал. Я люблю смотреть на женщин, мой уличный промысел предоставляет для этого наилучшие условия. Я привык созерцать женщин снизу вверх — ракурс фотографа и нищего, — но если вообразить, что какая-нибудь остановилась бы и спросила, в чём дело, не желаешь ли прогуляться со мной? Я бы не торопился бежать следом за ней. Видела ли меня когда-нибудь Маша на улице? Она никогда об этом не говорила.

Расставшись с «дядей», шагая неторопливо под фонарями, мы чувствовали себя не то чтобы вполне *à l'aise*¹, но и особой неловкости я тоже не ощущал. Незначительность разговора удостоверяла, что мы узнали друг друга. Разумеется, она думала, — хотя речи об этом не шло, — что я пошёл с ней «по делу». Она не задавала вопросов, я тоже ни о чём её не расспрашивал, я не интересовался её прошлым, какое прошлое может быть у таких женщин? Подошли к дверям (она предупредила меня, что мы незнакомы друг с другом).

Нетрудно было догадаться, что это за обитель. Сверху или из подвала, понять это в доме, состоящем из фанерных перегородок, было невозможно, громыхала дешёвая музыка. Грязноватый холл обклеен объявлениями, утыкан записочками на кнопках. Вам предлагали всё на свете, книги, уроки бальных танцев, шифоньер фанерованный, коллекцию жуков, лечебные вериги, экскурсии, кто-то

¹ непринуждённо (*фр.*)

скромно предлагал себя, чтобы не тратиться на объявление в бюро одиноких сердец. Лифт застрял наверху. Пешком взобрались на последний этаж.

Должно быть, мне всё-таки следует вернуться к её наружности: Марья Фёдоровна, как я уже дал понять, была женщина, не ослеплявшая взора. Станным образом — я заметил это ещё в кафе — она не была даже накрашена. О её фигуре невозможно было сказать ничего определённого до тех пор, пока она не предстала перед гостем в домашнем одеянии, слегка подчеркнувшем бёдра и грудь. Кажется, под халатом ничего не было. Возраст? Пожалуй, ближе к сорока, чем к тридцати, возраст, когда к вечеру молодеют, в полночь становятся двадцатилетней, а на рассвете пятидесятилетней. Впрочем, едва ли она проводила свои ночи где-нибудь за пределами этого общезития.

Возраст между старой и новой надеждой, возраст исхода и шествия по синайским пескам. Разве наша страна не была Египтом? Но где же Ханаан? Годы идут, на горизонте обманчивая водная гладь, ни облачка, палящее солнце над головой и зябкие ночи в дырявых шатрах. Квартирка, по-женски аккуратная, называемая «апартмент», состояла из кухни и комнаты; в нише за занавеской устроен альков.

Мы успели перекусить, прежде чем у профессора состоялся диспут с хозяином заведения, теперь можно не бояться захмелеть, сказал я Маше и откупорил бутылку. Кажется, она поняла меня иначе, отважно взялась за стакан. Снизу — или с потолка — раздавалось уханье музыкальной турбины. Я обвёл глазами комнату: этажерка, комод; а это кто, спросил я.

«Сын».

«Он живёт с вами... с тобой?»

Марья Фёдоровна покачала головой.

На мой вопрос: остался там? почему?.. — она криво усмехнулась, пожала плечами.

«А твои гости, — сказал я. — Они тоже сюда приходят?»

«Куда же ещё».

«Комендант не возражает?»

Согласен, я вёл себя бестактно. Бог знает почему меня интересовали эти подробности.

«Этот человек, с которым ты сидела...»

«Я по улицам не шатаюсь. Просто случайно остановилась. Вам, наверное, завтра на работу», — проговорила она после некоторого молчания, не решаясь или не пожелав говорить мне «ты». Возможно, это был косвенный ответ на вопрос о коменданте. Я подлил ей и себе, она не отрывала глаз от своего стакана, между тем как её пальцы слегка ослабили поясok халата. И по-прежнему неустанно в стены фанерного ковчега вбивала гвозди музыкальная машина.

Женщина встала, отдёрнула занавеску, включила светильник над кроватью, потушила верхний свет.

«Вам как лучше: чтобы горело или...?»

«Фонарь любви», — сказал я, не решаясь подняться. Какая-то неуместная робость овладела мной и, думаю, ею. Но тут произошло нечто неожиданное и чудесное: ни с того ни сего музыка смолкла. И стало так хорошо, как было когда-то в мире. Открыв рот, я озирался, словно не верил этой удаче.

В одиннадцать выключают, объяснила она.

И из недр этой блаженной тишины до нас донёсся храп.

Я снова налил себе, она присела на краешек стула. «Может быть, — сказала она осторожно, — не надо столько пить...»

Она добавила, опустив глаза:

«Вы, видно, не в настроении, передумали, что ль?»

Я сказал: «У тебя там кто-то есть».

«Она спит. Не обращайтесь внимания».

Оказалось, что там была ещё одна, тёмная комнатка; я принял её за кладовку. Марья Фёдоровна заглянула на минуту в закуток.

Храп, временами задыхающийся, прерывал то и дело наш едва тлеющий разговор. Я сказал:

«Это оттого, что она лежит на спине».

«Она всегда лежит на спине».

«Это ваша мама?» Всё время мешались эти «ты» и «вы».

«Бабушка. Ей восемьдесят восемь. Она меня воспитала. Единственный человек, который согласился с нами поехать».

«С кем это, с вами?»

«Со мной и с мужем».

«Я не знал, что ты замужем».

«Была».

«А сын?»

«Я вам уже сказала. У него своя жизнь... Я вам не нравлюсь?»

Теперь халат был раскрыт, она задумчиво гладила себя по груди и животу.

«Здесь говорят: чем позже вечер, тем красивей хозяйка... Маша, — пробормотал я. Вино начинало на меня действовать. — Ты разрешишь мне тебя так называть?»

«А тебя как?»

«Меня? — Я усмехнулся. — Никак. Имена ненавистны!»

«Чего?»

«Пожалуйста, тут нет никакой тайны», — сказал я и назвал себя.

«Тебе приходится бывать у женщин?»

«Иногда, — сказал я. — Мне как-то их всегда жаль...»

«Зачем мне твоя жалость», — возразила она.

Ночь в оазисе, полосатые пески, тёмные бугры стариков-верблюдов и нагая иудейка на пороге шатра.

VII

Время подпирало; предупредив моего товарища, что я не приду в редакцию, я отправился в путь. Одна пересадка, другая. Тут я услышал, стоя на платформе, голос по радио, по какой-то причине поезд задерживается на двадцать минут, пассажирам предлагают воспользоваться автобусом. Объявление было повторено несколько раз, прежде чем я опомнился, бросился к эскалатору и, выехав наверх, увидел, что автобус отходит от остановки. Подошёл следующий; водитель советовал ехать не до конца маршрута, а до ближайшей станции метро, хотя это была другая линия. Но и там пришлось долго ждать поезда. Выйдя из-под земли, я подумал, что все линии континента связаны между собой, — а ведь мы находились как-никак на одном континенте, — и тут только мне стукнуло в голову: я еду к больному с пустыми руками. Необъяснимая забывчивость, — накануне я приготовил подарок. Возвращаться было бессмысленно. Мой маршрут изменился. Я очутился на площади, похожей на площадь бывшей Калужской заставы; перед остановками толпились народ, мимо, разбрызгивая лужи, неслись машины с включёнными фарами. Всё смешалось в моей голове и смешалось на улице, люди подбегали со всех сторон, расталкивали друг друга и втискивались в подкативший, старый и забрызганный грязью автобус. Сквозь мутные стёкла ничего невозможно было разобрать.

Пытаясь сообразить что к чему, я подумал, что жена не знает о моём приезде, я могу её не застать. Кроме того, я вспомнил, что её нет в живых вот уже три года, — правда, известие могло быть ложным. Не мешало удостовериться. Причём же тут профессор? Ведь на самом деле я ехал в больницу, где он каким-то образом оказался, и даже приготовил для него подарок. Но если мой друг профессор мог ещё кое-как примириться с тем, что я пришёл с пустыми руками, — и в конце концов, наплевать мне было на профессора, — то она, конечно, будет обижена. Все эти мысли, как черви в банке, шевелились и сплетались в моей голове.

Между тем автобус, урча и сотрясаясь, кружил по тусклым улицам, нёсся мимо заброшенных, почернелых зданий. Ещё недавно здесь бушевали пожары. Где-то на горизонте, едва различимый на жёлтой полосе заката, начинался новый район. Моя жена переехала вскоре после моего отъезда, главным образом из-за того, что весь дом узнал о случившемся. Соседи пылали патриотическим возмущением. А здесь была пустыня безликих корпусов и безымянных жителей.

Лифт не работал. Добравшись до нужного этажа, со стучащим сердцем, я разглядел в полутьме табличку — там стояла моя фамилия. И поднёс палец к пуговке.

Звонок продребезжал в квартире, никто не отозвался, я нажал ещё раз, послышался шорох, скрип половиц. Звякнула цепочка. «Слава Богу, — сказал я, входя в комнату следом за ней, — всё неправда».

«Что неправда?»

«Всё! Ложный слух».

Она посмотрела на меня, — оказалось, что она несколько не изменилась, разве только стала ещё бледней. Посмотрела, как мне почудилось, с холодным удивлением:

«Что же я, по-твоему, должна была умереть?»

«Я не в этом смысле... просто я получил сообщение. Не стоит об этом».

«Ты почему-то думаешь, что без тебя тут всё рухнуло. Это ты умер, а не я!»

«Катя, — сказал я жалобно, — я только успел войти. И мы уже начинаем ссориться...»

«Никто не начинает. Это ты начинаешь; твоя обычная манера. Как ты вообще здесь очутился?»

Я пожал плечами, попытался улыбнуться. «Извини... я без цветов, без подарка. Приготовил и, понимаешь, забыл».

«Мне твои подарки не нужны. Это что, — спросила она, — теперь разрешается? Я хочу сказать, таким, как ты. Надолго?»

Я окинул глазами убогую мебель, голые стены.

«Вот ты как теперь живёшь. Одна?»

«А это, милый мой, тебя не касается... Ты не ответил».

Я сказал: «Зависит от тебя».

Хотя она понимала, что я имею в виду, но спросила:

«Что значит, от меня?»

«Я приехал за тобой».

«За мной. Ага. Как трогательно. Ты приехал за мной. Вспомнил...»

«Ты прекрасно знаешь, что я не мог тебе писать».

«Если бы хотел, нашёл способ. А вот я хочу тебя спросить. О чём же ты тогда думал?»

«Катя, ты прекрасно помнишь...»

Она перебила меня:

«Ничего я не помню. И не хочу вспоминать. Уходи».

Мне не предложили сесть, мы так и стояли посреди комнаты.

«Катя, — сказал я. — Ты же помнишь, как всё было. Надо было вы- бирать: или — или... А ты не хотела ехать».

«Конечно. Что мне там делать?»

«Если бы ты меня любила, ты бы поехала».

«Если бы ты меня любил, ты бы меня не бросил».

«Не будем сейчас спорить».

«А я и не спорю. Ты когда-нибудь подумал, что я тут должна была пережить?..»

Она заговорила громко и невнятно, слушать было мучительно — и оттого, что я не всё понимал, и оттого, что понимал, если не каждое слово, то по крайней мере смысл сказанного. Должно быть, она повторяла то, с чем мысленно много раз обращалась ко мне; наступил час отмщения. Зачем я явился, меня никто не звал. Она свою жизнь устроила. Между нами нет ничего общего.

Устроила, подумал я, глядя на её впалые щёки, на нищенскую обстановку её жилья.

Мне нужно было что-то ответить, да, да, лепетали мои губы, я виноват, я ужасно виноват перед тобой... И я тянул к ней руки, как будто хотел удостовериться, что вижу её наяву.

Но я в самом деле видел её наяву! Она умолкла, провела рукой по волосам.

«Катя! — сказал я, смеясь. — Ты даже не представляешь себе, ты просто не можешь себе представить — как я счастлив. Я не надеялся тебя застать. Всё у нас будет хорошо, уверяю тебя...»

Она смотрела на меня — с каким выражением? С насмешкой, почти с омерзением.

«Никто тебя не звал. Катись отсюда».

«Этого не может быть, Катя, мы когда-то друг друга любили. Ты меня гонишь?»

«Нечего тебе здесь делать».

Я решил схитрить и сказал:

«Но, знаешь, уже поздно. Мне негде ночевать...»

Вот уж этого говорить вовсе не следовало. Моя жена, прищурившись, взглянула на меня, отвела взгляд, мне показалось, что её лицо меняется. Временами я её вообще не узнавал. Я даже подумал, не ошибся ли я. Она пробормотала.

«Ах вот оно что. Ну, мы это уладим».

Я хотел ей сказать, что не стоит беспокоиться, — очевидно, она хотела устроить меня у знакомых, — и продолжал что-то говорить, но она не слушала. В углу на тумбочке стоял телефон. Она сняла трубку и дважды нервно крутанула диск. Я потёр лоб. «Может, мне лучше уйти», — пробормотал я. Всё произошло очень быстро. Моя жена — если это была она — подошла к окну и заглянула между занавесками.

«Ага, они уже тут». И тотчас раздался длинный звонок в дверь.

VIII

Я сказал: «Это недоразумение. Я думал, здесь живёт моя бывшая жена. Ошибся адресом».

Милиционер повторил своё требование. Я рылся во внутренних карманах пиджака, в плаще, в карманах брюк. Ужас случившегося дошёл до меня: я потерял портмоне — может быть, его вытащили в автобусе, — потерял свой паспорт апатрида или забыл дома вместе с подарком. Мне ничего не оставалось, как пообещать толстому человеку в шинели и блинообразной фуражке, что пришлю ему фотокопию моего документа по почте. По какой это почте, спросил он, усмехаясь, и мы вышли на лестницу, где стоял другой милиционер.

В тесном фургоне я покачивался между двумя стражами, в темноте белели их лица, блестели орлы на фуражках, отсвечивали пуговицы шинелей. В зарешечённом окошке мелькали тусклые огни. Нас бросало из стороны в сторону, автомобиль гнал по ночному городу, не снижая скорости на поворотах. Всё это мне было знакомо. И я утешал себя тем, что это была всё-таки милиция, а не другое учреждение. В конце концов, это их право: человек без документов, удостоверяющих личность, поддержат и отпустят. Гораздо больше меня угнетал разговор с моей женой.

Я продолжал себя уговаривать и тогда, когда меня втокнули в комнатёнку без окон и обхлопали со всех сторон, после чего было велено раздеться догола. Необходимая формальность, ничего не поделаешь. Я стоял на каменном полу под холодным душем. Вошёл человек в белом халате поверх милицейской формы, с машинкой для стрижки волос.

Но когда, сунув ноги в ботинки, придерживая брюки, я прошествовал по коридору и сел на указанное мне место перед яркой лампой, которая отражалась вместе с моей голой головой, с неузнаваемой физиономией в чёрном оконном стекле, — когда я уселся, вернее, когда меня усадили боком к столу, над которым, как водится, висел чей-то портрет, — дверь неслышно отворилась, милицейский чин, пожилой лысый мужик, собравшийся составлять протокол, вскочил, чтобы уступить место вошедшему человеку в штатском, молодому, с лицом, по которому словно прошлись утюгом. Человек сел. Без документов, сказал капитан милиции. Плоский человек кивнул и сделал знак капитану оставить нас вдвоём.

Он спросил, чем я занимаюсь.

Я ответил: собираю подавание перед церковью Святого Непомука. Что это за святой такой, поинтересовался он, побарабанил пальцами по столу и поглядел в окно.

Как ни странно, разговор, который занял, вероятно, не больше получаса, — циферблат на стене показывал без четверти два, я взглянул на свои часы, собираясь перевести стрелки, но вспомнил, что часы у меня отобрали вместе с брючным ремнём, шнурками от ботинок и ключами от моей квартиры, подумал, что на самом деле время не такое позднее, хотя что значит «на самом деле»? — на самом деле я сидел перед окном,

выходившим во двор, — можно было разглядеть и решётку снаружи, — в городе, откуда я никуда не уезжал, где только что виделся с Катей и по-прежнему надеялся, что все наши ссоры в конце концов завершатся примирением, вот что было на самом деле, а того, другого города, и профессора, и Марьи Фёдоровны никогда не существовало, — так вот, если вернуться к моей мысли, как это ни покажется странным, разговор с человеком, у которого не было лица, окончательно меня успокоил: именно так он должен был выглядеть, скучающим, насторожённо-рассеянным, загадочно-непроницаемым, как требовала его должность; в сущности, он не питал ко мне дурных чувств, таковы были «инструкции», другими словами, вступила в свои права рутина; всё было чем-то предписанным, подобно придворному этикету или дипломатическому протоколу. Все действовали как по уговору.

Мне хотелось сказать этому сотруднику или кем он там был: какое, в сущности, благо эти условности, этот ни от кого не зависящий порядок, всё то, что по-русски выражается словами «положено» и «не положено».

Ведь если бы не инструкции, он мог бы просто, не торопясь, играючи, вынуть оружие из невидимой кобуры под мышкой и пристрелить арестанта, — люди с такими лицами на всё способны.

«Значит, говорите, милостыню собираете. Чего ж так?»

Я пожал плечами.

«Поэтому и решили вернуться на родину».

«Не то, чтобы вернуться».

Он перебил меня: «А вам не кажется, что вы... — и снова побарабанил пальцами, — своим поведением родину, народ, всю нашу нацию позорите?»

Чем это я позорю, спросил я.

«А вот этим самым. Сидите у всех на виду и канючите. И небось в каких-нибудь лохмотьях».

Этот вопрос или, лучше сказать, постановка вопроса заинтересовала меня, я возразил, причём тут родина, о какой родине он говорит.

«Родина у нас, между прочим, одна!»

Я согласился, что одна.

«Так вот, у нас есть другие сведения».

Другие, какие же?

«У нас есть сведения, что всё это — маскировка».

Что он имеет в виду?

«То, что ты сидишь на паперти и поёшь Лазаря. (Тут следовательно, как и полагалось, перешёл на «ты».) А на самом деле занимаешься подрывной работой. Листовки печатаешь, организовал подпольную типографию».

Не листовки, а журнал. И почему же подпольный?

Человек поднялся, вышел из-за стола и воздвигся над сидящим. Потому что и я, тот, кто сидел перед лампой и отражением в чёрном стекле, был не я, а персонаж инструкции.

«Ты дуручку-то из себя не строй, — проговорил он. — А если не понимаешь, о чём речь, то я тебе объясню...»

Он добавил:

«Чем вы там развлекаетесь, мы прекрасно знаем».

Мне хотелось возразить: знаете, да не всё. Например, что существует инстинкт нищенства, тайный голос, который зовёт.

Мне хотелось сказать, что нет, не призрак — тот город с башнями и церквями, с широкими чистыми улицами; а вот то, что я нахожусь здесь, — поистине наваждение, морок, зажмуришься, потом откроешь глаза, и ничего нет. Я сидел перед лампой, а он расхаживал в тени, вздвперёд.

«Заруби себе на носу: мы всех вас знаем. Каждое слово, каждый шаг, что вы замышляете, куда ездите, откуда деньги берёте, всё знаем... А вот ты мне лучше скажи. — Он остановился. — Просто так, не для протокола... Человек, который бросил свою старую, большую мать и укатил за тридевять земель, как его можно оценивать? А что можно сказать о людях, который оставили родину?»

«Да ладно, — он махнул рукой, — я знаю, что ты хочешь сказать. Свобода выше родины — да? Слышали мы эти песни... А чего стоит так называемая свобода без родины? Или, может, ты начнёшь рассказывать, что у тебя не было другого выхода, дескать, пришлось выбирать: или на Запад, или... — и он ткнул большим пальцем через плечо. — А откуда ты знаешь, что тебя собирались арестовать, тебе что, так прямо и объявили?.. Может, поговорили бы, вправили мозги и отпустили?»

Вошёл капитан.

«Верни ему барахло. Он мне не нужен. И отвези его... — крикнул он в дверь, — чтобы его духу здесь больше не было!»

«Ясно? — спросил, когда мы снова остались одни, человек за столом. — Ещё раз приедешь, пеняй на себя».

IX

«Так прямо и сказал: пеняй на себя?»

«Так и сказал».

«Я что-то не пойму. Ты в самом деле там был или...?»

«Я сам не знаю, Маша».

Пора вставать, идти на работу. Я лежал, закрыв глаза, чтобы не видеть комнату. Рассвет не пробуждает во мне бодрых чувств, и это утро, конечно, не было исключением.

Она уже поднялась, что-то делала, ходила по комнате. Занятая своими мыслями, присела на край кровати.

«Ты, наверное, думаешь, что я так со всеми. Скажи правду».

«Да, — сказал я. — Думаю».

«Но ведь можно совершенно ничего не чувствовать...»

«Вот как?» — откликнулся не я, откликнулись мои губы. Мои мысли были далеко.

«Я всё брошу», — проговорила она.

«Вот как».

«Я о тебе ничего не знаю. Ты мне ничего не рассказываешь...»

«Что рассказывать?»

«Где ты работаешь».

«Где работаю... В редакции. Мы издаём журнал, разные брошюры».

Я сел в постели, Марья Фёдоровна встала. По-прежнему храп за занавеской.

«Ей надо сменить пелёнки. Я сейчас её разбужу, буду кормить».

Она добавила:

«Отвернись к стенке, не могу же я одеваться при постороннем мужчине».

«Но тебе приходится одеваться при посторонних».

«Я никого на ночь не оставляю».

«Для меня, стало быть, сделано исключение?»

«Не надо», — попросила она.

О, Господи: музыка. Внизу заработала турбина. Застучали ножами, заскребли грязными когтями по стеклу. Нагло-визгливый голос разнёсся по всему ковчегу. Я стоял одетый посреди комнаты, нужно было что-то сказать ей. Всё моё существо рвалось вон отсюда.

«Куда же ты, без завтрака...» Я возразил, что спешу.

«Мы увидимся?»

«В чём дело?» — спросил я.

«Не обращай внимания». Марья Фёдоровна вытерла слёзы или мне так показалось. Я оглядел её, она запахла плотней, подтянула поясок халата.

«Мы что-нибудь придумаем, — сказал я быстро. — Найдём тебе какую-нибудь работёнку. Как насчёт того, чтобы убирать нашу контору? Хотя, конечно, заработок не очень...»

Отдуваясь, я влетел к себе домой (квартира Маши казалась роскошной в сравнении с моей берлогой) и спустя немного времени плёлся, что-то дожёвывая на ходу, в рабочей одежде, с полиэтиленовым мешком и бутылкой, в грибовидной табачной шляпе. Свернул в переулок, который упирается в церковь, — так и есть: кто-то уже расселся на ступенях.

Он приветственно помахал мне, это был Вивальди. Кстати, я до сих пор не знаю: кто он был, откуда? Говорил без акцента, но чувствовалось что-то нерусское, а когда пользовался местным наречием, слышались русские интонации. Я думаю, что процент людей ниоткуда постепенно возрастает в мире.

«А ты, говорят, пошёл в гору. Лучший друг профессора».

«Вали отсюда».

«Ну, ну, вежливость — прежде всего».

«Отваливай, говорю», — сказал я, расстилая коврик.

«Я тебе мешаю?»

«Мешаешь».

«Но ведь и ты мне мешаешь».

«Бог вас вознаградит», — сказал я вслед старухе, которая сзади могла сойти за девушку. Будь я художник, я бы писал женщин со спины.

«Вот видишь, — заметил Вивальди, — тебе бросила, не мне».

«Не доводи меня до крайности».

«Только успел заступить на вахту, и уже... Хлебное местечко отхватил, ничего не скажешь».

«Я повторяю, не доводи меня до крайности. Вон место освободилось. Уже целую неделю пустует. Можешь сесть там...»

«Ты разрешаешь? — возразил он иронически. — Тихо, вон одна остановилась, о-о. Одни бёдра чего стоят. К нам идёт... Наверняка даст. Милостыню, конечно, а ты что думал?»

«Благослови вас Бог».

«Дай-ка мне хлебнуть... Ну что ты скажешь, опять тебе бросила».

Несколько времени спустя к нам приблизился блюстителъ закона.

«Здорово, дядя», — сказал Вальдемар.

«Вы что, теперь вдвоём?»

«Что поделаешь, герр полицист. Конкуренция большая, а посадочных мест мало!»

«Да, много вас развелось», — отвечивал полицейский и зашагал дальше.

«Тоже мне работа — груши членом околачивать, — заметил Вальдемар. — Вот так лет двадцать походит, глядишь, пенсия выросла. А мы?.. — Он вздохнул. — Я читал бюллетень. За истекший отчётный период подаваемость снизилась».

«Какой бюллетень?»

«Есть такой. Надо читать прессу!»

Он добавил:

«И паханá навестить надо».

Я пропустил эти слова мимо ушей. Вальди приложился к бутылке, утёр губы ладонью. «Навестить, говорю!»

«Кого?»

«Старого пердуна, кого же».

Я спросил, что случилось.

«Весь город знает, ты один не знаешь. Он в больнице... в травматологии».

Оказалось, что профессора сбила машина. То, что наш принципал сидел на игле, не было для меня новостью. Но «штоф», как объяснил Вальди, тут ни при чём: старик самым вульгарным образом был пьян в стельку.

«А ты, между прочим, как насчёт этого дела?»

Я спросил, какого дела.

«Насчёт штофа, едрёна мать».

«Пробовал», — сказал я.

«Ну и как?»

Я вздохнул, пожал плечами.

«Могу пособить, если надо», — сказал Вивальди.

Он добавил:

«Цена обычная».

«Буду иметь в виду», — сказал я. И так, это случилось вчера вечером. Пока мы лежали в шатре под синайскими звёздами. Странное смещение времени. Я смутно помнил, что уже направлялся однажды к нему в больницу.

«Давно?» — спросил я.

«Что давно?»

«Давно он там?»

«Кстати, — промолвил Вивальди, глядя вдаль. — Что я хотел сказать. Я его замещаю. Нет, ты только взгляни: какая ж... Какая ж...!» — воскликнул он.

«То есть как замещаю?»

«Очень просто. Тариф прежний — двадцать пять процентов. Порядок есть порядок. Эх, старость не радость», — сказал он, бодро вставая, подтянул штаны и пропал за углом.

Высокие двери раскрылись за моей спиной, и я услышал скрежет органа.

Х

Думаю, что Клим охотно избавился бы от моего присутствия, если бы не нужда в переводчике. То, что можно было назвать внешней политикой журнала, находилось всецело в его руках. Мне неизвестны примеры из эмигрантской жизни, когда бы славные принципы равноправия, демократии, терпимости к чужому мнению, всё то, что мы проповедовали, применялось на практике. Дым, а также нравы нашего отечества мы привезли с собой.

Иногда я думал о том, что все наши старания тщетны, журнал никому не нужен, эту страну не переделаешь, — и мне становилось жаль моего бедного товарища. Отчего люди, одержимые верой, вызывают у меня сострадание? Поглощённый вызволением родины из оков деспотизма, мой коллега и работодатель не имел времени выучить язык изгнания. Чужой язык заведомо не заслуживал усилий, которые надо было потратить для его освоения. Эти усилия были в глазах Клима чем-то непатриотичным.

Дорогой мы говорили о предстоящем визите, точнее, говорил Клим. Он придавал этому знакомству большое значение. Pater familias, южный барон с четырёхсотлетней родословной, был важной шишкой, председателем чего-то, вращался в консервативных кругах и пописывал в газетах. Супруга нигде не состояла, но была ещё влиятельней. Мы рассчитывали на субсидии.

Сойдя на безлюдной платформе, побродили по чистеньким тенистым улицам пригородного посёлка, оставалось ещё добрых полчаса; в назначенное время позвонили у калитки. Усадьба была защищена зелёной стеной бересклета. Никто не отозвался. Клим нажал ещё раз на кнопку. Кажется, о нас забыли. Наконец, микрофон ожил, послышалось что-то вроде шуршанья бумаги. Женский голос спросил, кого надо. Должно быть, прислуга или кто там у них.

«Это я... мы», — сказал Клим, и я перевёл его ответ.

Калитка отщёлкнулась, навстречу бежал огромный волосатый пёс, махая пушистым хвостом. Прошли по аллее, вступили на крыльцо. Дверь, над которой висели развесистые олени рога, была приоткрыта. Из внутренних покоев, изображая сдержанное радушие, вышла хозяйка дома.

«Бога-а-тенькие», — промурлыкал, озираясь, мой коллега. Мы очутились одни в просторной гостиной. Вероятно, нам давали время освоиться. Затем хозяйка, в чём-то шёлковом, шелестящем и переливчатом, внесла поднос с кофейником, чашками и печеньем, это была бледная, субтильная женщина, по виду не меньше сорока, такие женщины никогда не выглядят юными, но и не стареют; с лицом не то чтобы красивым, но каким-то слишком уж характерным. Густые, янтарного цвета волосы, полукруглые брови, прямой костистый нос, тонкие губы, впалые щёки, отчего лицо казалось немного скуластым, узкий раздвоенный подбородок; ей не хватало только круглого шарообразного чепца. Никакой косметики. Домашний капот, достаточно нарядный, всё же означал, что гостям не придают большого веса, во всяком случае, визит не считается официальным.

Вскоре появился барон, дородный господин средних лет с грубым мужицким лицом. Одет в короткие штаны, гетры и народную, по-видимому, очень дорогую куртку. Заметив, что Клим поглядывает по

сторонам, он подвёл нас к висевшей на видном месте картине под стеклом: развесистое древо на фоне архаического пейзажа — дуб короля Генриха Птицелова или ясень Игдрасил. На ветвях вместо птиц и животных висели щиты с гербами и коронами.

«Да, так вот. Гм!» — сказал барон, извлекая пробку из бутылки.

«Превосходный коньяк», — сказал Клим, и я перевёл его слова.

«Вы так полагаете? Я тоже, м-да... Ещё глоток?»

«Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Кремле?» — разливая кофе, спросила хозяйка.

Я перевёл:

«Её интересуют эти старые жопы в Кремле».

Клим обрадовался случаю продемонстрировать свою осведомленность. Барон усердно подливал, не забывал и себя, и постепенно багровел; Клим, напротив, становился всё бледнее, он говорил без умолку, глаза его сверкали. Хозяин сопел, кивал, поднимал и опускал брови. Я не поспевал за моим товарищем, а потом и вовсе умолк; было ясно, что если что-нибудь здесь имеет значение, то не речи, а только факт того, что мы здесь сидим.

Барон потрепал лохматого пса, лежавшего у его ног. Пёс, обладатель не менее славной родословной, умильно смотрел на барона.

«Мне приходилось бывать в России. Это огромная страна».

Пёс переменял позу. Барон помешивал ложечкой кофе.

Клим сказал, что последние события с особой убедительностью говорят о том, что свободному миру необходимо пересмотреть некоторые сложившиеся стереотипы. В частности...

Пёс забеспокоился, хозяин поднял брови:

«В чём дело, ты другого мнения?.. Вы правы, — сказал он. — Если не ошибаюсь, от Москвы до Урала пять тысяч километров!»

Запад слишком наивен, возразил Клим, если принимает на веру все эти заявления советских властей. Пора, наконец, понять, что...

«Страна с большим будущим. Непременно уговорю мою жену снова поехать. Что ты на это скажешь, Schatz?¹»

«Вы тут побеседуйте, — сказала хозяйка, — а мне надо сказать два слова господину, э...»

Теперь инициативу захватил южный барон. Он подвинул Климу, продолжая рассказывать, коробку с сигарами.

Хозяйка поднялась и направилась в соседнюю комнату, она шла маленькими шажками, как гейша, слегка покачивая бёдрами. Я поплёлся следом за ней. Мы прошли через столовую мимо низких резных шкафов с фарфором и хрусталём и оказались на кухне, почти такой же

¹ дорогая (нем.)

поместительной, как гостиная, откуда сейчас раздавалось нестройное пение: это хозяин и Клим исполняли русскую народную песню «Широка страна моя родная».

Баронесса остановилась в дверях.

«Знаете вы эту песню, о чём она?»

«Да, это национальный гимн, он очень древний».

«Древнее, чем царский гимн?»

«Пожалуй».

«О чём же он? Вероятно, о том, какая у вас замечательная страна?»

«Само собой».

«Но ведь она в самом деле замечательная, не так ли?»

«Кто в этом сомневается».

«Приятная мелодия, только они ужасно фальшивят... А я думала, — сказала хозяйка, — что это советская песня».

«Советская власть гораздо старше, чем думают».

До нас донёлся голос Клим:

«Наши нивы глазом не обшаришь!»

Барон вторил, вместо слов произнося какую-то абракадабру, пёс подвывал. Хозяйка притворила дверь.

Мне показалось, что она смущена и не знает, с чего начать.

«Поразительно», — сказал я. Теперь я понял, на кого она была похожа.

«Вы имеете в виду...?» Она усмехнулась, чтобы скрыть, что она польщена.

Я кивнул.

«Откуда вы знаете эту картину?»

«Она известна. Дюрер. Не помню, как называется».

«Портрет патрицианки. Значит, вы тоже заметили... Считается, — сказала она, — что эта Эльзбет... Так её звали, Эльзбет Тухер. Считается, что я происхожу от неё, правда, по боковой линии. Она была замужней женщиной, это видно по портрету, и согрешила с художником. Так что и Дюрер будто бы мой предок. Всё это легенда. В нашем роду не было женщин с такой фамилией».

«Легенды бывают правдивей действительности».

«Бывают, это верно... Имя тоже нетрадиционное. Все мои прабабки носили имя Мария. В разных сочетаниях. Кстати, меня зовут Луиза-Света-Мария».

«Света?»

«Это какое-то славянское имя. Мне объясняли, что оно означает. Вы, вероятно, можете дать точную справку».

«За этим вы меня и позвали?»

«Нет, конечно. Вы не догадываетесь, зачем?»

«Понятия не имею».

Она вздохнула. «Вы... давно здесь? Я не знаю, как это назвать: изгнание, эмиграция?»

Я ограничился неопределённым жестом.

«Но язык, наверное, знали ещё до того».

«Знал».

«Я хотела задать вам один вопрос... Вы можете не отвечать. Только прошу вас, не сочтите за обиду моё любопытство».

«Не сочту».

«Вы не обидитесь, договорились?»

«Я вас слушаю».

«Церковь Святого Иоанна Непомука... вам это имя что-нибудь говорит?»

«Он, кажется, охраняет мосты».

«Вы образованный человек. Видите ли, в чём дело. Мой кузен — пресвитер этой церкви. Да и я там бываю... иногда».

Она прислушалась, пение в гостиной умолкло.

«Ладно, пусть побеседуют».

«Это довольно трудно», — заметил я.

«Коньяк им поможет. Так вот... Простите, что я так. Я хотела спросить. Это вы там сидите? Можете мне не отвечать. Я понимаю. Жизнь на чужбине... Но неужели настолько...»

Я сказал, глядя в сторону:

«Считайте, что это моё хобби».

«Да, конечно, — сказала она. — Разумеется, — сказала Света, Марта, Мария или как там она звалась. — Я слишком хорошо понимаю ваши чувства. Вашу гордость. Хобби... Позвольте мне быть откровенной, я позвала вас не для того, чтобы удостовериться, я знала это наверняка. Сожалею, что так грубо вмешиваюсь в вашу жизнь, но раз уж... Я только очень надеюсь, что это обстоятельство, это... вынужденное обстоятельство не помешает нашему знакомству. Пожалуйста, не отвергайте с порога моё предложение. Или, вернее, мою просьбу. Я бы хотела вам помочь».

«Благодарю вас, баронесса, — сказал я, — вы очень добры. Но уверяю вас, вы заблуждаетесь. Я вовсе не...»

«Я? заблуждаюсь?.. О нет, моё сердце меня не обманывает. Пойдемте, нас ждут».

XI

Разумеется, я постарался не придавать значения этому разговору, ни в чьей помощи я не нуждался; разговор оставил неприятный осадок: за мной подглядывали; на обратном пути в электричке я вяло и невпопад отвечал Климу, который пребывал в приподнятом настроении. Похоже было, что они с бароном пришли по вкусу друг другу.

«Ну, а реальное какое-нибудь обещание ты получил?»

«Вот увидишь, — сказал Клим. — Он богат, как Крез!»

Погода вдруг установилась отменная, настоящая золотая осень, и в одно из воскресений, вместо того, чтобы с утра облачиться в балахон и касторовую шляпу, я отправился к моему другу и покровителю. Разыскать его оказалось непростым делом, больница находилась на западной окраине города, у чёрта на рогах, наводить справки у Вивальди я не стал, не хотелось, чтобы он знал о моём визите.

Тут чуть было не произошло то, чём я уже рассказывал; я ненавижу эту линию, там всегда что-то случается; поезд задерживался на двадцать минут, несколько раз повторилось объявление, со своей ношей под мышкой я бросился к эскалатору, водитель объяснил, что лучше ехать не до конца, а до следующей станции метро. Погода стала меняться, небо посерело, окна домов отсвечивали оловом. Я чувствовал, что проклятый автобус увозит меня в потусторонний мир, и успел, слава Богу, выпрыгнуть на ближайшей остановке.

Словом, я кое-как добрался и даже попал в приёмные часы, но, войдя в вестибюль, увидел, к своей досаде, Вальдемара. «Вот, — пробормотал я, — последовал твоему совету». Он ухмыльнулся. Мы подошли к справочному окошку. Долго блуждали по коридорам, поднимались по лестницам. «Может, помочь?» — спросил Вивальди. Он нёс какой-то кулёк. Я тащил нечто более весомое.

Профессор оккультных наук лежал в светлой палате, над кроватью висел никелированный треугольник для подтягивания в постели. Я поставил проигрыватель на столик-каталку и воткнул вилку в розетку. Наш патрон сумрачно кивнул, когда Вивальди, поглядывая по сторонам, извлёк из внутреннего кармана своё приношение, завернутые в бумагу ампулы, — следовало бы начертать на них мелкими буквами на целительной латыни: *pax in terra et in hominibus benevolentia*¹.

Вполголоса Вальдемар осведомился, не желает ли страдалец причаститься немедленно. Профессор покачал головой. Ампулы исчезли в тумбочке с двойным дном. Я покосился на соседей. Профессор заметил:

«Ничего, потерпят. Им тоже полезно».

Я нажал на клавишу, наступила тишина — слабый шелест пространства — короткое вступление. И два волшебных женских голоса запели:

Мать скорбящая стояла, вся в слезах, а на кресте...

Профессор, лёжа на спине, дирижировал, устремив взор в потолок.
*Dum pendebat Filius*².

Немного погодя он сделал знак остановить музыку.

¹ на земле мир и в человеках благоволение (лат.).

² ...висел Сын (лат.).

Мы топтались возле кровати. Глядя в потолок, профессор заговорил: «Смысл жизни, быть или не быть, как говорит Гамлет, тот самый, который... И вообще. Я пересматриваю свой жизненный путь — всё не то, не то... О вас, говнюнках, тоже, между прочим, думаю. Что будете делать без меня? Попадёте ещё кому-нибудь в лапы...»

«А что говорят эскулапы?» — срифмовал Вивальди.

«Чего они говорят, ничего не говорят...»

«Ползать будешь?»

«Ползать? а что толку?.. Жил в двенадцатом веке, — сказал он, помолчав, — знаменитый учитель, богослов, как же его звали, едри его... Однажды этот богослов сидел в своей комнате и писал гусиным пером проповедь. Дело было в Париже. Вы за моей мыслью следите?»

«Стараемся».

«Сидел и писал проповедь. А сам смотрел в окно на реку Сену. На берегу сидел мальчишка лет десяти, в руках у пацана ракушка, и этой ракушкой он, значит, загребает воду. Великий богослов выходит из дому, как же ты, говорит, собираешься вычерпать реку ракушкой? А парень ему отвечает: а как же ты хочешь изъяснить словами тайну Святой Троицы?»

«Ты что-то не то понёс, папаша», — зевнув, сказал Вальдемар.

«То есть как это не то?»

«Сам говоришь: десять лет пацану. Как это он...»

«А ты дослушай, я, между прочим, ещё не кончил! Слова не дадут сказать, вечно перебивают».

Наступила пауза. Профессор смотрел в потолок.

«Чего замолчал-то?»

«А то, что надо сначала дослушать, а потом свои блядские замечания вставлять... Распустились, суки... Это, говорит, дело такое же безнадёжное».

«Кто говорит?»

«Пацан говорит! — загремел профессор. — Устами младенца глаголет истина. И вот когда настал день и народ собрался, чтобы послушать проповедь великого богослова, он вышел, поднялся на кафедру и сказал: вот я тут перед вами. Все меня видели? Ну, и довольно с вас. И ушёл, и след простыл».

«Куда же он делся?»

«Слинял. Удалился в далёкий монастырь. И своё имя скрыл, поэтому, — сказал профессор, — и я не знаю, как его звали».

Снова помолчали, соображали, что-то надо было ему ответить. Большой пробормотал:

«Вот и я тоже думаю...»

Я спросил: включить? Он покачал головой.

«Вот и я думаю: пора, давно пора. О душе подумать надо. Пошлю вас всех к солёной маме... Надоели вы мне все, и всё мне надоело».

«Да куда ж ты денешься?» — спросил Вивальди.

«А вы куда денетесь? Попрошусь в монастырь».

«Да ведь ты, папаша, неверующий».

«Или студентом на теологический факультет».

«Я хотел вас спросить, — сказал я, — Вальди вас пока замещает...»

«Что?» — нахмурился патрон.

«Я говорю, пока вы здесь, он...»

«А кто это ему позволил? — закричал профессор. — С-суки поганые, мародёры, стоит мне только отлучиться!..»

«Без паники, ваше преподобие. Тебе волноваться вредно». Вальдемар проворно сел на корточки, извлёк из тайника ампулу с героином, явился шприц. Вальдемар всадил иглу в бедро профессору.

ХП

Моё аристократическое знакомство имело продолжение: сняв трубку, я услышал её голос. Минуту спустя в комнату вошёл Клим. Я извинился и положил трубку. «Зайди ко мне, — сказал он. — Кто это?»

Я знал, что нам предстоит то, что он называл принципиальным разговором. Ещё меньше охоты было у меня беседовать с баронессой. Что ей понадобилось? Именно этот вопрос задал Клим.

Почему он решил, что это она?

«Не увливай. Она, наверное, хотела поговорить со мной».

«Не думаю», — сказал я.

«Мало ли что ты думаешь. Она позвонила в редакцию, чтобы поговорить о деле».

«Позвони ей сам».

«Ты прекрасно знаешь, что это невозможно». Мы сидели в его кабинете (комнатка чуть больше моей, с картой во всю стену — родина с нами), он в своём кресле, я на стуле сбоку от стола.

«Я давно жду этого звонка. Это по поручению барона. Я думаю, он хочет мне кое-что сообщить. Что она тебе сказала?»

«Пустяки, ничего особенного».

Я смотрел на свои руки, разглядывал ногти.

«Ты сейчас позвонишь ей, — сказал Клим, беря второй микрофон, — от моего имени. Спросишь...»

Я покачал головой.

«Почему? — спросил он. Я пожал плечами. Клим подумал, процедил: — Ладно. Может быть, ты и прав, подождём ещё немного. — Я встал. — Минуточку. Сядь... Вот эта статья. Что это такое?»

В чём дело, пробормотал я.

«В чем дело? И ты ещё спрашиваешь. Да я просто не нахожу слов!»

Таково было вступление к принципиальному разговору. Увы, не первому. Полагаю, не будет неожиданностью — после всего, о чём говорилось выше, — если я скажу, что отношения наши мало-помалу достигли критической точки. Тут была в самом деле некоторая принципиальная разница, и чем дальше, тем она становилась очевиднее. Если угодно, водораздел. Наше пребывание на чужбине мой товарищ считал временным. Он не терпел слова «эмиграция». (Именно это делало его стопроцентным эмигрантом.) Мой товарищ был подлинным патриотом — чего нельзя, к сожалению, сказать обо мне.

Может быть, достаточно простого объяснения. Орбиты наших планет приблизились к пункту опасного противостояния. Мы слишком тесно были связаны своим делом, мы порядком надоели друг другу, это был обыкновенный житейский факт, ясный для обоих. Был ли он следствием идейных расхождений или, наоборот, причиной, не имеет значения. Наше далёкое отечество, всё глубже, словно скалистый остров, тонущее в дымке, всё дальше уходившее от нас в свою собственную недоступную жизнь, — для Клим это был единственный свет в окошке. Вся наша деятельность должна была служить подготовкой к возвращению. Он так в него верил, что временами меня охватывало сострадание. Он знал, чего он хотел. Чего хотелось мне, я не ведал. Я ничего не добивался. Я питал — чем дальше, тем сильнее — отвращение к «идеям». Выражаясь поэтически, Клима верил в Россию, — а я? Будет ли преувеличением сказать, что вся Россия для меня помещалась в постели, где на подушке рядом с моей головой покоилась голова Кати? Но Катя умерла, это случилось тому три года или около этого.

Кризис напоминал едва заметную трещину, которая, однако, змеилась всё дальше, грозя расколоть лдыну, где мы поставили нашу палатку. Кризис совпал со временем, когда надежда вернуться на родину блеснула, как лезвие зари на ночном небе. Клима жадно ловил новости. А вернее сказать, продуцировал новости, как и подобает истинному журналисту; мнимые перемены были исполнены для него огромного значения. Но мы по-прежнему были прикованы друг к другу, словно каторжники, и волочили вдвоём нашу тачку; тот, кто хотел бы ускорить шаг, должен был потащить за собою товарища.

Мне незачем пересказывать наш разговор, я вернулся к себе, и тотчас задребезжал телефон, словно там дожидались, когда я войду.

«Hallo», — сказал я скучным голосом.

Но это была не баронесса.

«А, — сказал я. — Привет».

Там молчали.

«Привет, — повторил я, — это ты? Извини, я ещё не говорил насчёт работы, надо подождать...»

«Успеется. Я не поэтому звоню...»

«Что новенького?» — спросил я, не зная, что сказать.

«Ничего».

«Откуда ты узнала мой телефон?»

Номер был в телефонной книге. Адрес редакции указан на обратной стороне журнальной обложки. В доме на улице Шеллинга рядом с входом висела наша вывеска. Всему этому мы придавали когда-то особое значение, это был вызов. Если журнал в самом деле достигал берегов отечества, то его первыми читателями, разумеется, были сотрудники славного ведомства — первыми и, возможно, единственными. Получалось, что мы трудились для них. В редакцию заглядывали подозрительные личности, звонили незнакомые голоса. Случись у нас взрыв или пожар, Клим, я думаю, был бы доволен.

«Мы увидимся?» — спросила Мария Фёдоровна.

Я что-то ответил.

«Когда?»

Новый звонок раздался, едва только я положил трубку.

«Да», — сказал я, поглядывая на дверь, откуда в любую минуту мог показаться Клим.

ХІІІ

В назначенное время, это было на другой день, я сидел за столиком у окна и поглядывал с высоты на площадь, на голубей, туристов, колонну с кукольной Богородицей и затейливый циферблат на башне. Прождав полчаса, я двинулся к выходу, испытывая некоторое облегчение, — в эту минуту она появилась: маленькая рыжеволосая женщина на высоких каблуках впорхнула, рассыпаясь в извинениях. Я подумал, не следует ли мне, как принято в консервативном кругу, наклониться к ручке. Повесил на вешалку её плащ.

«А знаете, — сказала она, усевшись, оглядевшись, это было то, что называется буржуазное кафе, с зеркалами, лепниной на потолке, редко расставленными столиками, место конфиденциальных встреч, где полагалось говорить негромким голосом, выпускать дым, не затягиваясь, и отдавать распоряжения кельнеру, полузакрыв глаза, — знаете... — она коснулась пальцами пышных волос и расправила широкое платье, — на самом деле я пришла вовремя. Я наблюдала за вами!»

«Чтобы решить, стоит ли продолжать со мной знакомство?»

«Я размышляла о вашей судьбе... Вы приглашены», — сказала она, опуская глаза, почти тоном приказа. Это означало, что она собирается за меня платить. Без всякого любопытства я пробежал глазами меню.

«Позвольте рекомендовать вам... Как насчёт божоле — лёгкого, молодого?» Официант принял от нас похожие на почётные грамоты папки с картами меню и напитков и удалился.

Я поглядывал на сублитную баронессу со странным именем Света-Мария, она смотрела на меня, и оба мы спрашивали себя, что может быть общего между нами.

«Как поживает ваш соиздатель? Надеюсь, — это было сказано небрежно, — он не знает о нашей встрече...»

«Разумеется, нет. Он интересовался, будут ли иметь продолжение переговоры с...»

«Ах, да, да. Можете передать ему... впрочем, муж сам ему позвонит».

«Коллега не говорит... э...»

«Ах, да. Конечно. Ну, как-нибудь обойдёмся. Муж позвонит вам. Скажите... Ведь это, наверное, очень трудно — жить в стране и не говорить на языке её народа?»

«Большинство наших так и живёт».

«Как я им сочувствую. Но ведь когда живёшь в чужой стране, необходимо научиться».

«Вы правы».

«Я имею в виду необходимость адаптации».

«Так точно».

«Вы отвечаете, словно в армии».

«Так точно».

Разговор грозил иссякнуть. Легко вздохнув, скосив глаза направо, налево, она спросила:

«Как вы относитесь к музыке?»

«К музыке?»

«Да. Я хочу сказать — любите ли вы музыку?»

«Смотря какую».

«Я хочу сказать, настоящую музыку».

«Настоящую люблю».

«У меня предложение...» — проговорила она и остановилась. Кельнер приблизился со своими дарами.

«Ого», — сказал я.

Она поблагодарила официанта кивком, он зашагал прочь походкой манекена. Я чувствовал себя в мире кукол. Одна из них сидела напротив меня — с фарфоровой кожей, слегка скуластая, с узким подбородком, в пышной причёске семнадцатого столетия. Под широким струящимся платьем целлулоидное тело, должно быть, обтянутое розовой материей.

«Здесь неплохо готовят, надеюсь, вам понравится. — Она была уверена, что я не только не был, но и не мог быть никогда в этом заведении. Она подняла бокал. — Prost... э-э...?»

Я назвал своё имя.

«А как зовут меня, вы, надеюсь, не забыли. Представьте себе, я догадываюсь, о чём вы думаете!»

«О чём же?»

«Вы думаете: крутом искусственные люди, всё у них рассчитано, подсчитано, и живут они рассудком, а не по велению сердца... Ведь так? Русские очень высокомерны. Я хочу сказать... Вероятно, западная психология...»

Она умолкла, закуривая сигарету, подала знак официанту принести кофе. Выпустила дым к потолку.

«У меня на сегодня абонемент. Мой муж, знаете ли, равнодушен к музыке».

Я мог бы возразить, что и я, пожалуй, равнодушен к музыке, если музыка равнодушна ко мне. Если же нет... Мне не пришлось долго ждать в фойе, баронесса явилась, оживлённая, с блестящими глазами, издающая еле ощутимый аромат духов, и несколько времени погодя мы оказались в высоком сумрачном зале, где, впрочем, изредка приходилось мне бывать. Огромная тусклая люстра под потолком обливала мистическим сиянием ряды публики, колонны и гобелены с подвигами Геракла. Свет померк. Пианист появился, встреченный аплодисментами. Народ сидел, оцепенев, как обычно сидит здешняя публика. Пианист играл Адажио си-минор, насколько мне известно, оставшееся без названия, — поразительную вещь, от которой невыносимо тяжело становится на душе; может быть, начало какого-то более крупного произведения, которое Моцарт так и не написал, увидев, что уже всё сказано, что дальше может быть только молчание, терпение и покорность судьбе. И в самом деле, зал безмолвствовал, когда музыкант, уронив руки на колени, опустил голову, сидел перед своим инструментом; потом раздались неуверенные хлопки.

Что-то происходило со мной, к стыду моему, — я совсем не был расположен вести светскую беседу и охотно распрощался бы с баронессой, поблагодарив за доставленное удовольствие; вместо этого я нёс какую-то чушь. Как ни странно, немецкая музыка всегда напоминает мне страну, из которой я бежал сломя голову.

«Только музыка?» — спросила она. Да, музыка и ничего больше. Сеялся мелкий дождь, она сунула мне ключи от машины, я принёс зонтик, и мы побрели в Придворный сад. Сидели там, подстелив что-то, на скамье в открытой ротонде с колоннами, и город церквей и сумрачных башен, в призрачных огнях, влажной паутиной обволакивал нас. Город, сотканный из вещества того же, что и сон.

«Откуда это?»

«Шекспир. Буря».

«Мне кажется, там сказано иначе».

«Какая разница».

«Вы в это верите?»

«Во что?»

«Вы верите в сны?»

«Госпожа баронесса...» — проговорил я.

Она поправила меня: «Света-Мария».

«Пусть будет так... Давайте внесём ясность. Я благодарен вам. Вы проявили ко мне необыкновенное внимание. Но мне кажется, вы принимаете меня не за того, кто я на самом деле...»

«Кто же вы на самом деле? — спросила она, закуривая; я отказался от сигареты. — Вы молчите».

«Мне трудно ответить».

«Хорошо, я попробую ответить за вас. Если я не права, вы меня поправите. Я действительно приняла вас не совсем за того, кем вы, по видимому, являетесь. Из чего, однако, не следует, что я разочарована».

«Спасибо».

«Я приняла вас даже за двух разных людей. Когда вы пожаловали к нам... с вашим коллегой... я подумала: этого не может быть. Это другой человек. Но это были вы. Я не знаю вашей среды...»

«Пожалуй, в этом всё дело».

«Но мне совершенно безразлично, кто вас окружает. Я знаю только одно».

«Что же именно?»

«Что мне придётся принять вас таким, каков вы есть! — сказала она, смеясь. — И вы не должны отказываться... не смею сказать, от моей дружбы, но от моей помощи...»

Я встал.

«О, я не покушаюсь на вашу гордость. Удивительные вы люди! Разве вас не унижает сиденье на паперти?..»

«Света-Мария», — проговорил я.

«Да, — она откликнулась неожиданно глубоким, грудным голосом. — Вы хотите мне что-то сказать?»

«Нам пора прощаться».

«Но до машины вы меня хотя бы доведёте?»

XIV

Я нарочно остановил такси на соседней улице, чтобы не привлекать внимания; меня могли узнать, ведь она никуда не переезжала, это была просто одна из ложных версий. По всей вероятности — слухов, распространяемых всё той же конторой. Ничего не изменилось, разве только фасады старых зданий стали ещё обшарпанней, кое-где обрушились водосточные трубы, подъезды с настежь распахнутыми, залатанными фанерой дверьми, зияли тьмой. Тускло отсвечивали пыльные ок-

на. Впереди, в расщелине переулка тлел ржавый закат. Ничего тут не изменилось, и в то же время всё стало чужим. Двойное чувство владело мной — я узнавал и не узнавал наш район. Редкие прохожие растворились в сумерках, протрусил собака, я шёл, вглядываясь в номера домов, но и номера стёрлись; свернул в соседний переулок — дом был в десяти шагах от меня, я кружил, не замечая его. Пёс неподалёку перебирал лапами от нетерпения, я поманил его, он бросился в сторону, остановился, виляя хвостом, точно ждал, что я позову его снова, позову по-русски: зверь не понимал чужого языка. Я вошёл в подъезд и стал не торопясь подниматься по лестнице.

«Здание, как я вижу, не ремонтировалось с тех пор», — сказал я, войдя в квартиру.

Она больна, лежала в постели. Она поднялась мне навстречу.

«Простудишься, надень халат. Где у нас...? Я сам»

Стоя на шагкой табуретке, я достал с антресолей два чемодана, сдул пыль и проверил замки. Я спросил у Кати, что она хочет забрать с собой, вынул стопку белья из шкафа, снял с плечиков и уложил её платя, а где то, где другое, зубная щётка, спрашивал я, где твоя зубная щётка? Тут только я заметил, что говорю с ней, задаю вопросы, а она не откликается. Она сидела на краю кровати, поджав пальцы босых ног, сунув руки между колен, её ключицы резко выделялись в разрезе рубашки, глаза блестели в тёмных глазницах. Ты совсем больна, пробормотал я, но ничего, мы тебя там подлечим.

Наконец, я услышал её голос. Глухой голос, как прежде.

«Я не понимаю», — сказала она.

Я возразил: чего ж тут не понимать. Приедем, надо будет основательно заняться здоровьем.

В ответ она покачала головой, оттого ли, что не верила в своё выздоровление, или оттого, что не понимала меня.

Конечно! Сам того не замечая, я говорил на чужом языке.

«Катя, — сказал я, — какой я идиот».

Мне показалось, что в дверь постучались. Я взглянул вопросительно на жену, она пожала плечами и кивнула головой.

«Кто это?» — спросил я, и она снова кивнула.

«Это — они?» — прошептал я в ужасе.

Открыть дверь и броситься прочь, пока они не опомнились.

Она покачала головой, словно хотела сказать, что «они» теперь не у дел, я не верил ей. На кухне был чёрный ход. Но внизу во дворе кто-то наверняка уже поджидал, нужно уходить на чердак. Перебраться на крышу соседнего дома. Слезть по пожарной лестнице... Все эти мысли, как ток, ударили мне в голову и ушли по спинному мозгу в пол. Я застыл, всё ещё под воздействием электрического удара. Раскрытый чемодан с одеждой лежал у моих ног.

Голос Кати прошелестел: «Сейчас увидишь». Дверь отворилась, вошёл некто, и я тотчас успокоился.

Вошёл оборванный бородатый мужик в изжёванной непогодой фетровой шляпе, в сапогах, просящих каши, с сумой через плечо, не здороваясь, спросил, кто это.

«Мой муж», — был ответ.

«Какой такой муж». Человек, ворча, начал стаскивать через голову свой мешок.

Я рылся в карманах, чтобы дать ему мелочь.

«На херá мне твои подачки, у меня своих денег хватает». Он сунул руки в карманы своего рубища и вынул полные пригоршни монет, там было и две-три скомканных бумажки. Мешок лежал на полу, человек наклонился и стал выкладывать на стол рядом с деньгами куски хлеба, остатки еды, завёрнутые в газету, достал со дна жестянку с бычками в томатном соусе. Под конец явилась поллитровка.

«Садись, ужинать будем...»

«А как же...?» — спросил я, кивая на чемоданы.

«Успеется». Он открыл зубами бутылку, налил себе и мне по полстакана, плеснул на доньшко Кате.

«Значит, говоришь, за ней приехал. А ты у неё спросил, хочет ли она? Со мной согласовал? Ладно, давай... Со свиданьем».

Он подвинул ко мне консервную банку, Катя принесла три тарелки, я их сразу узнал, теперь они были тёмные и выщербленные. Я сказал:

«Ей бы надо одеться, здесь холодно. Хотя бы халат накинуть».

«Ничего. Так она мне больше нравится. Мне вот даже жарко. — Сожитель скинул своё одеяние, остался в майке, обнажив могучие та-туированные плечи, на груди поверх майки висел большой целовальный крест. — Так, говоришь, приехал? Ну, раз приехал, чего уж тут. Как-нибудь устроимся... в тесноте да не в обиде».

Но я вовсе не собираюсь оставаться, возразил я или, может быть, подумал.

Всё своим чередом, сказал он.

Я спросил: это как понимать?

«А вот так и понимай. Ты пей, ешь... Чего тут не понимать. Поделится. Одну ночь ты, другую я. Уступаю тебе очередь. Цени моё благо-родство. Гостю почёт и уважение, верно я говорю, Катюха?»

«Послушайте, — сказал я. — У нас мало времени. Спасибо за угощение, было интересно с вами познакомиться. Нам пора. Такси ждёт за углом».

Катя молча вышла из-за стола и улеглась в постель.

«Ну чего ты, — сказал новый хозяин, — чего тебе здесь не нравится. Я, что ль, не нравлюсь? Харчами моими брезгуешь?»

«Не в этом дело...»

Кто-то скрёбся в дверь. Человек встал и открыл. Вбежала собака, вероятно, та же, которую я видел на улице, и стала кружить по комнате.

«На место!» — зарычал хозяин.

Он поставил тарелку с едой на пол.

«Не в этом дело», — проговорил я.

«А в чём же тогда? Я тебе вот что скажу». Он уселся за стол.

Пёс скулил в углу.

«Молчать! Ежели какая-нибудь там философия, то, конечно. А вот если так, по-простому, как жизнь велит... Жизнь, она свои законы диктует».

«Я вас не понимаю».

«А ты вообще-то что-нибудь понимаешь?»

Скулёж перешёл в протяжный вой. Мы поднялись. Пёс сидел, задрал кверху морду, возле кровати.

«Катя, — спросил я, — тебе холодно?»

Она молчала.

«Укрыть тебя ещё одним одеялом?»

Ответа не было, я увидел, что она умерла.

XV

Казусы, которые случались со мной, не стоили бы упоминания, если бы следом не потянулись другие, такие же странные происшествия, если бы с ними не входили в мою жизнь важные перемены.

Отнюдь не надеясь кого-либо убедить, хочу только заметить, что моя вторая профессия оставляла мне достаточно времени для размышлений. Я испытывал потребность подвести некоторые итоги. В те дни я понял, что целая эпоха моей жизни подходит к концу. Ничего не осталось от молодости, «зрелость» начала вянуть; я стоял у порога старости.

Не то чтобы я собирался устроить смотр своих достижений, какие там достижения. Если у меня и были какие-то задатки, я не сумел их реализовать. Я ничего не добился в жизни, ничем особенным себя не проявил. Умри я сегодня ночью, завтра ни одна душа обо мне не вспомнит. Просто я достиг поры, когда можно было сделать кое-какие выводы, извлечь кое-какие уроки из прожитого, я даже понял, что выводы, в сущности, уже готовы, нужно лишь по возможности чётко сформулировать их для себя. Вслушаться в голос, который их втолковывает. Я не отделию себя от своего «времени» (что за дурацкое слово). Очевидно, что я представляю собой в самом чистом виде то, что называется — дитя времени. Именно поэтому я принял единственно разумное решение выломаться из времени, как выламывают решётку тюремного окна.

Какое это, в сущности, гнусное время. Нет, это даже не требует доказательств. Это все знают!

Знают и всё-таки скажут: почему же только гнусное? Почему не великое? Время грандиозных открытий, неслыханных достижений. Например: когда и где ещё были изобретены зубные щётки такой изумительной формы, хитроумнейшей конструкции, для всех челюстей и на все случаи жизни? Скажут — да ведь никогда не было в истории счастливых времён, и всегда современники считали свой век самым бедственным. Почитайте, что пишет Тацит, почитайте хроники Великого переселения народов, или Чёрной смерти XIV века, или Тридцатилетней войны; в конце концов, загляните в историю Иова.

Я подумал: есть ли что-нибудь вроде объективного критерия бед, существует ли температура несчастий? Сверкающий столбик ртуты в термометре столетий то опустится, то подскочит ещё выше, пока, наконец, не упрётся в верхний конец шкалы: именно в это время нас угрозидило жить. Никогда я не мог понять людей, которые гордятся тем, что были свидетелями и участниками великого времени; этому времени можно только ужаснуться, его надо стыдиться.

Кто-то объяснил: дух истории утоляет горечь сознания, что всё в этом мире идёт прахом. Пускай нам кажется, что мы были этим прахом, человеческой пылью, спрессованной в сыпучее содержимое песочных часов. История ставит всё на место. История воздаёт правым и виноватым. История всё объясняет, примиряет, оправдывает. История — Бог нашего времени. Господи, какая чушь.

Да, мы сподобились в самом деле посетить этот мир в его минуты роковые; мы видели историю, не ту, о которой написано, но ту, которая была, воочию, как солдат видит перед собой медленно вращающиеся гусеницы танка. Куда деваться от чудовища, нависшего над нами, над каждым человеком? Вот великий вопрос. То, что будет историей нашей эпохи, не будет историей людей, это будет история трупов, это будет история выпотрошенного человечества. Как спастись, думал я, куда деться?

XVI

Теперь ещё два слова по личному вопросу. Моё отношение к Марье Фёдоровне: боюсь, что мне не удастся сказать на этот счёт что-либо вразумительное. В моей жизни, мало помалу приобретающей какой-то призрачный характер, она была ещё одним призраком, вот и всё. Видимо, я разучился по-настоящему привязываться к людям. Что же тогда мешало мне порвать с ней? Ответ простой, обыкновенная мужская причина, звоночек, который время от времени позвякивает в мозгу. Но я чувствовал, что тут примешивается что-то другое. Возможно, я просто жалел

Машу. Жалость вообще движет людьми гораздо чаще, чем думают. Наконец, то и другое могли быть двумя сторонами одного и того же, сострадание к женщине подогривало желание. Я не мастер анализировать взаимоотношения полов.

Тут, впрочем, было ещё одно, весьма скользкое обстоятельство. Меня не смущал способ, которым моя теперешняя подруга зарабатывала на жизнь. Загвоздка была как раз в другом — в том, что я пользовался её благодеяниями бесплатно. Для Маши это было знаком того, что она относится ко мне, так сказать, непрофессионально; знаком того, что она меня отличала; если уж на то пошло — доказательством любви. А для меня... Для меня это означало, что я оказался в дурацком положении невольного конкурента. В чём и пришлось убедиться в самое короткое время.

Я вошёл в холл; перед лифтом стоял человек.

«Не работает».

Я повернул к лестнице, он преградил мне дорогу.

В чем дело, спросил я. Он спросил, к кому я иду. Я пожал плечами.

«Можешь не объяснять, — сказал он, — и так знаю».

Оказалось, что это комендант. Мы вошли в каморку, где стоял письменный стол. Бумаги, телефон, портрет на стене — всё как полагается. Портрет изображал восточного potentата в погонах.

«Председатель революционного совета. Великий человек», — сказал комендант.

Я поинтересовался, какое это государство.

«Ирак. Не слыхал, что ли?.. Ирак — оплот свободы и независимости Востока против американского империализма. Друг нашей страны».

Какой страны, осторожно спросил я.

«Нашей! — отрезал комендант. — У нас страна одна. Есть ещё вопросы?»

Медленно отворилась дверь, показался широкий зад уборщицы, которая несла поднос со стаканами, сахарницей и тарелкой. Несколько времени мы пили чай, комендант, спохватившись, протянул через стол волосатую ручищу, представился:

«Алексей. Можно просто Лёша... А как тебя звать, я знаю. И чем ты занимаешься, знаю... Я ваш журнальчик почитываю, — сказал он, — вы там разную хреновину пишете, небось тоже на американские денешки, а?..»

Комендант допил чай, обсосал лимонную дольку.

«Не хочу, конечно, тебя обижать, но вообще-то говоря... — он покачал головой, — нехорошим делом занимаетесь».

Почему, спросил я.

«А потому. Предаёте национальные интересы России. Ты Ильина читал?»

«Какого Ильина?»

«Иван Александровича, профессора!»

«А», — сказал я.

«Читал или не читал? Очень советую. Великий человек. Вот вы там всё долдоните: фашизм, тоталитаризм... А что говорит Ильин? Ильин говорит: фашизм исходит из здорового национального чувства... России нужна сильная власть. Запад нас не знает, не любит, радуется нашим бедам... Пей чай».

Я поблагодарил за угощение, сказал, что мне пора.

«Куда это?»

Я вздохнул, пожал плечами.

«К Маньке?»

«Знаешь, Лёша, — сказал я спокойно. — Это не твоё собачье дело».

«Ага, — зловеще молвил комендант, развалился на стуле под портретом наследника ассирийских владык и сложил руки на животе. — Вот так, значит. Не моё собачье дело. Нет, ты постой, постой! Мы ещё как следует не поговорили».

«О чём?»

«А вот о том самом. Во-первых. Посторонним вход в общежитие запрещён. Мне ведь только стоит слово сказать. Тебя отсюда грязной метлой погонят! Это как минимум. Ясно?.. Нет, ты постой. Ты — не топись. Сядь...»

Он почесал в затылке и продолжал:

«Во-вторых... Мы так хорошо поговорили. Давай и дальше похорошему. В чём тут дело, всю, так сказать, ситуацию ты знаешь. Я тебе так скажу: если бы не я, Маша твоя давно бы пропала. Шаталась бы по панели, а потом, как все они, — в выгребную яму... Попала бы в лапы одному из этих... Я этот мир знаю. Советую со мной не ссориться. Давай начистоту, хочешь к ней ходить — пожалуйста. Я ничего не вижу, ничего не знаю. Но имей в виду! Если ты другое задумал...» — он погрозил пальцем.

«Что задумал?»

«Будто не понимаешь. Стать её другом. Покровителем, ёптвою. Ну, котом, по-русски. Так вот: и думать не смей. Здесь хозяин один. Вот он здесь, перед тобой... Мою мысль понял? Ходить, ходи. И про это дело не забывай: сколько надо, — комендант потёр палец о палец, — она тебе сама скажет».

Однако, подумал я, она ничего мне об этом не говорила.

XVII

Было воскресенье, по-прежнему стояли тёплые, дымчато-сонные дни затянувшейся осени. Полупустой поезд, безлюдная платформа; я прошёл мимо касс-автоматов, спустился в туннель под железной доро-

гой, вышел наружу, там тоже ни души, вышел с другой стороны и увидел. Она ждала на стоянке, помахала мне издалека, я уселся рядом с ней. И мы покатали через уснувшие поля, под выцветшими небесами, мимо игрушечных деревень с двускатными крышами и балконами, со шпилями церквей, где вместо крестов красуются петухи, навстречу поднимающимся из низин, медным, тронутым вялой киноварью лесам. По узкой, пустынной асфальтированной дороге ещё километров двадцать, и вот, наконец, лес расступился. Взошли на крыльцо. В этом домике, сказала она, её отец отдыхал после размолвок с её матерью, писал меуары и сочинял стихи.

Среди сизых елей за железной оградой помещалось фамильное кладбище, гранитные плиты с гербами, с длинными звучными именами. Составной герб — принадлежность не слишком древнего рода. Что значит не слишком древнего, спросил я.

«Древние гербы всегда просты, крест или зверь, больше ничего. А наш род известен только с шестнадцатого века. Я говорю о нашей фамилии, не о фамилии моего мужа... Вон там, — сказала она, — лежит мой дед. Он был повешен».

Вошли в дом и вступили в большую комнату, обставленную в рус-тичальном вкусе.

«Voilà». Она протянула мне фотографию в рамке, стоявшую среди других на столике в углу. Сухощавый человек с генеральскими листьями в петлицах, с планками орденов.

«Между прочим, один из немногих, с которыми Эрнст Юнгер был на ты. Вам это имя что-нибудь говорит? У Юнгера есть запись в дневнике о моём дедушке».

Она разыскала книгу на полке.

«В нём проявляется очевидная слабость аристократии. Он достаточно хорошо понимает, куда всё это идёт, но совершенно беспомощен перед лицом сволочи, у которой есть только один аргумент — насилие...» Беспомощен. Это он так пишет о моём дедушке. Но ведь это неправда, как вы считаете?»

«Если судить по результатам заговора, то Юнгер, может быть, и не так уж неправ...»

«Ах, не говорите. Разве сам по себе этот поступок, этот... жест не имеет значения?»

«Разумеется. И всё же...»

Она сказала:

«Я была совсем крошкой. И дед мой сидел вот в этом самом кресле. Он был в мундире с золотыми пуговицами и узких лакированных сапогах. Всё в нём было узкое, лицо было узкое, он был высокий и стройный. И говорил со мной с испанской учтивостью, словно с инфантой... Я стояла возле него, он усадил меня к себе на коле-

ни... От него пахло духами, табаком, сталью... он весь был из какого-то благородного металла. У него были синие глаза. Больше я его никогда не видела. Нам, как вы понимаете, пришлось уехать. Плиты положили уже после войны».

«Вы сказали — повешен?»

«Да, как все они. Он находился в Париже, занимал там высокий пост. Он и Юнгер жили в одной гостинице. Он даже успел кое-что сделать, когда пришло сообщение о взрыве. Ведь сначала думали, что покушение удалось. Но я уверена, он всё равно начал бы действовать, даже если бы знал, что диктатор остался жив... На другой день после взрыва, — всё было уже известно, эта bestия отделалась царапинами... — на другой день дедушку срочно вызвали в столицу, он понимал, что это означает... Отправился в машине с денщиком и шофёром. По дороге велел остановиться и сказал, что хочет пройтись. И они услышали выстрел в лесу. Сначала думали, что это партизаны. Моя мама узнала, что он лежит в госпитале в Вердене. Его спасли, но он повредил зрительный нерв и ослеп. Палач вёл его под руку к виселице».

Она поставила портрет на столик, долго возилась, переставляя рамки с фотографиями.

«Некоторые до сих пор считают, что заговор и покушение, в военное время... Мой муж тоже так говорит. Он считает, что это измена и по закону с ними так и должны были поступить».

Я спросил:

«По какому закону?»

«По тогдашнему, какому же ещё».

«И что вы ему ответили?»

«Что я могу ответить... — Она пожала плечами. — Мы давно уже ни о чём не спорим. Я ужасно голодна. А вы? Мы можем предварительно закусить, а ближе к вечеру пообедаем».

Она вынула из холодильника какую-то снедь, мы подкрепились и вышли из дому. Неловкость росла между нами, растерянность, которую можно было преодолеть только разговорами, но светский тон был неуместен, и оттого разговор только усугублял эту неловкость. Маленькая, бледная и зеленоглазая женщина в платье, почти доходящем до щиколоток, в ореоле янтарных волос, шла, стараясь попадать в шаг, помахивая прутиком; поговорили о здешних местах, об удивительном цвете неба и календаре, начался охотничий сезон, объяснила она. Её муж каждый год в это время ездит в Каринтию, у него там Schlößchen, крошечный домик-зámok в горах. Так что я могу переночевать здесь без всяких затруднений.

«А если бы...»

«Если бы он был здесь? Я бы вас не приглашала!»

Она прибавила:

«Мой муж — своеобразный человек. Да и я тоже... У нас нет детей». Я спросил, означают ли её слова, что барон против.

«Против того, чтобы у нас были дети, что вы! Как вам могла придти в голову такая мысль. Род должен продолжаться».

«Он последний в своём роду?»

«Есть родня в Англии, в Швеции. Северная ветвь. Но знаете, генеалогические соображения меня лично мало беспокоят».

Дошли до леса.

«Я думаю, — пробормотала она, — дождя не будет».

Блѣклое голубоватое небо незаметно превратилось в серожемчужное, дали заволоклись, исчезли тени. Мы шли кружным путём вдоль лесной опушки. «Расскажите о себе, — попросила баронесса, — мы всё время говорим обо мне».

«Вам в самом деле интересно?»

«Если бы не было интересно, я бы вас не приглашала».

«Что же мне рассказывать?»

«Меня всё интересует. Как вы здесь оказались. У вас есть жена?»

«Была».

«Здесь... или там?»

«Она умерла».

«О! Простите».

«Мне кажется, что...» — проговорил я и хотел сказать, что незачем и не о чем особенно распространяться, что она уже достаточно обо мне знает. Я хотел сказать, что мы случайно познакомились и так же ненароком расстанемся. И слепые фиолетовые небеса, увядающий лес, и что-то неясное вдали — пелена облаков, или другие леса, или руины замков, — призывают к молчанию.

«Мне кажется...»

«Да. Мне тоже», — сказала она, и теперь, когда я вспоминаю этот диалог, мне почти ясно, что имелось в виду. Мы подбирались к неизвестной мне цели нашего разговора, к тому, ради чего была затеяна эта поездка, мы словно карабкались на высокую гору, и чем дальше, тем труднее был каждый шаг, и мы радовались возможности брести, отдыхая, когда крутизна сменялась пологой тропинкой. А там опять круто вверх — последний, почти отвесный отрезок пути — и чуть было не оступились, чуть не сорвались вниз, — и вот площадка.

«Послушайте...» — пробормотала она.

Обогнули опушку, открылось широкое поле, рапс был уже убран. Я подставил руку кверху ладонью.

«Вы думаете, капают? — Она оглядела небо и покачала головой. — По-моему, дождя не будет».

«Вы не боитесь промокнуть?»

«Я? Нисколько. Но я говорю вам, дождя не будет. Вы плохо знаете наш климат».

«Вы хотели мне что-то сказать...»

Короткое молчание.

«Да. Хотела сказать».

XVIII

«Дело вот в чём».

Первые фразы были произнесены сухим, строгим, я бы даже сказал, начальственным тоном. Но затем самообладание стало покидать мою собеседницу.

«Дело вот в чём... только не свалитесь со стебля!»

«Что это значит?»

«Это такое выражение. Вы его не слышали? Я хочу сказать, не падайте в обморок. Мои семейные обстоятельства вам теперь более или менее известны. Я бы хотела просить вас, чтобы наш разговор, как и эта встреча, остались между нами. Впрочем, сейчас вы всё поймёте. Я хотела вам предложить... просить вас... не сочтите это экстравагантностью. Я... — она запнулась, — одним словом, я хочу, чтобы вы подарили мне ребёнка».

Площадка на вершине, куда мы, наконец, взобрались.

«Ребёнка?» — ошеломлённо спросил я.

«Да. Ребёнка».

Я остановился, и она остановилась. Крутом стояла такая тишь, что, упавши с дерева листок в ста шагах от нас, мы бы услышали. Стало накрапывать. Она вздохнула.

«Выслушайте меня... Я сделала все необходимые исследования. Вероятно, мне не следовало бы вам говорить, что я не люблю моего мужа, никогда не любила... но дело не в этом, дело в том, что теперь стало окончательно ясно, виновата не я, виноват он, я имею в виду бездетность... Мои годы уходят...»

Мы стали под деревом. Дождик слабо шелестел вокруг нас.

«Вы молчите», — сказала она.

Я проговорил:

«Света-Мария...»

«Да».

«Но почему я?»

«Почему вы. Представьте себе, мне трудно объяснить. Потому что вы, а не кто-нибудь. В тот день, когда вы приехали с вашим коллегой... когда вы вошли. У меня вдруг промелькнула мысль. Как-то ни с того ни с сего. Первые мысли всегда самые безумные... и... и, может быть, самые верные. Так вот, я подумала: Бог мой — а почему бы и нет?».

Я усмехнулся. «Света-Мария, вы меня совершенно не знаете».

«Немного знаю».

«Вы даже не знаете, — продолжал я, — достаточно ли я здоров».

«Я навела справки».

«Каким это образом?»

«Предоставьте мне самой заботиться об этом».

«Я здесь совершенно чужой человек».

«Это и есть, скажем так... один из доводов. Не единственный, конечно... Позвольте мне выложить все карты на стол. Если вы согласны... пожалуйста, не возражайте, выслушайте меня... Если вы согласны и... всё будет хорошо... я хочу сказать, если ребёнок появится на свет, никто ему никогда не должен будет сообщать об обстоятельствах его рождения, его жизнь, как вы понимаете, будет обеспечена, он будет носить наше имя, будет законным наследником, и никто...»

«Баронесса... — я перебил её, она посмотрела на меня с упреком. — Света-Мария. Я ничего не хочу обсуждать...»

«И не надо», — сказала она быстро.

«...разрешите мне только задать один вопрос. Вы сказали — если я вас правильно понял, — сказали, что барон не способен зачать ребёнка...»

«Да, но он не в курсе дела. Он уверен, что причина — это я».

«Значит, э...»

«Да, — сказала она просто, — врач показал мне его сперму под микроскопом».

Стало совсем сумрачно, капли падали сквозь листву, дождь шуршал вокруг нас, дождь был семенем, падавшим на осеннюю бесплодную землю. Баронесса сжимала на шее кружево воротничка, я набросил свой пиджак ей на плечи, она пробормотала:

«Само собой, и ваше существование будет обеспечено».

«Моё существование, что это значит?»

«Вам будет выплачиваться ежемесячное пособие. Из Швейцарии...»

«Баронесса!»

Она не слушала. «С тем, однако, что вы никогда...»

Пособие, подумал я, — за что?

Странно сказать, но только в эту минуту я осознал, чего, собственно, от меня хотят. Физически осознал. Чтобы на завтра выкинуть меня, не глядя, как использованный билет для однократной поездки.

Расхотаться! Вот что сделал бы каждый на моём месте.

Мы стояли под деревом, продрогшие, в сырой, пахнущей мёртвыми листьями полумгле, полутьме. Спустя немного я услышал ее голос на бегу.

«Пожалуйста, ничего не говорите... не отвечайте... Я понимаю, что наговорила много лишнего... Нам надо поторопиться... Не повезло с погодой... Боже мой, — говорила она, — вы совершенно промокли. Вам надо сменить платье. Пожалуйста, вот сюда. — Она немного суетилась. — Вы найдёте там всё что нужно... Вы умеете разжигать камин?»

Умытый и причёсанный, я чиркал спичкой, сидя на корточках, подобрал полы шёлкового халата. Она вошла. Как и я, она была в кимоно. Я откупорил бутылку. Мы сидели между свечами. Воцарилось удивительное спокойствие, больше ничего не было сказано, словно ничего не произошло; в сущности, и не могло произойти; лицо её выражало полную безмятежность, уста произносили будничные незначащие слова, — она давала мне понять, что не было никакого разговора. Двое, женщина и мужчина, сидели за столом, трещали дрова, мерцали свечи, искрилось вино. И вот она явилась издалека, непостижимая музыка, четырежды стучащая фраза наполнила счастьем, которому нет названия, рояль робко начал разговор, и оркестр отозвался сначала вполголоса, потом уверенней; скрипки постепенно овладели собой, почувствовалось тайное могущество, и волшебная тема отступила, прощальная, уплывающая, как далёкий остров вечной юности. Не мы понимаем музыку, сказал кто-то, понять музыку невозможно, — но музыка понимает нас.

XIX

Новость, которую я услышал от Клима, не была новостью: к этому шло. Правда, всё происходило по секрету от меня или по крайней мере без моего ведома: телефонные переговоры, визиты в редакцию и совещания, во время которых Клим оставался с гостями в своём кабинете. Меня не приглашали, со мной не советовались, меня оставили в покое. Я не протестовал. Мало-помалу мы вовсе перестали разговаривать, обсуждать что-либо; коротко приветствовали друг друга, после чего каждый уединялся в своей комнате и делал что положено. Главное, при всей его всё ещё не остывшей сенсационности, подразумевалось само собой.

Главное — это был гниловатый запах весны, которым тянуло всё сильнее из России. То, чему я отказывался верить, по-видимому, совершалось на самом деле, неотвратимо и с возрастающей скоростью: глетчер сдвинулся с места и поехал вниз, крошась и оплывая на солнце. Каждая неделя приносила новые перемены. Клим объявил, что на очереди вопрос о восстановлении гражданства. «Тебя, конечно, это вряд ли интересует». Моё равнодушие уже не раздражало его. По-видимому, он давно списал меня в расход. Войдя как-то раз в комнату, где я проделывал своё обычное упражнение, он коротко осведомился о чём-то, поглядел в окошко и пробормотал: «Да, кстати... не помню, говорил ли я тебе».

Я встал на ноги.

«Журнал закрывается».

Как уже сказано, этого надо было ожидать, и всё же я был несколько ошарашен.

Журнал был, что ни говори, нашим общим детищем, он сделался для нас почти живым существом, и вот теперь тебе объявляют, а вернее сказать, доводят до твоего сведения, что это живое существо готовится испустить дух.

«Когда?» — спросил я.

«По-видимому, со следующего месяца».

Клим развёл руками, это было сказано так, словно весть была неожиданной для него самого. Было сказано — и он почувствовал облегчение. Он поспешил уточнить: то есть, конечно, не закрывается совсем. Приостанавливается. Мы рассчитываем возобновить его на новой основе.

Я спросил: кто это «мы»?

«Я... и будущие сотрудники. В конце концов, и ты тоже... Если, конечно, захочешь».

То есть явно подразумевалось, что я не захочу. На новой основе — это значило «там».

«Ты решил вернуться?»

«Конечно».

«Но ты мне об этом ничего не говорил».

«Разве?.. Господи, но это же ясно. А как же иначе. Это само собой разумеется. Что нам здесь делать?»

«А что там делать?»

«Там? Извини, — сказал он, — я тебя не понимаю. Когда там такие события. Происходит настоящая революция! Мы просто обязаны вернуться».

Я спросил, могу ли я рассчитывать на выходное пособие.

«Какое пособие?»

«Фирма закрывается и выплачивает служащим компенсацию. Так принято... по крайней мере, в этой стране».

Последнюю фразу не следовало произносить. Получалось так, что я противопоставляю «эту страну» варварским обычаям России. И как бы попрекаю моего товарища тем, что он верен этим обычаям. В былые времена он бы взорвался. Но теперь — никакой реакции. Словно он хотел показать, что он уже там, по ту сторону границы. Покачал головой. Разумеется, никакого пособия мне не полагалось. Наши средства на исходе. Южный барон, как мне, вероятно, известно, отказал. Из Штатов больше ничего не поступает: они там считают, что холодная война кончилась. Так что уже по этой причине пора было закрывать лавочку.

Но сколько-то ещё осталось, сказал я. Нет, сказал Клим, денег хватит только на то, чтобы переправить технику и остальное.

Он собирался забрать с собой обе пишущих машинки, копировальный аппарат, ещё что-то и гордость редакции, недавно приобретённый компьютер. Прочее составлял наш архив, стопки старых номеров журнала, крамольные брошюры и рукописи. Говорить больше было не о чем, всё же я не удержался и спросил:

«А если там ничего не получится?»

«В каком смысле?»

«Если не удастся наладить выпуск?»

«Не думаю, — сказал он. — Наш журнал там известен. Одним словом...»

Одним словом, надо ехать, все эти годы мы держали руку на пульсе страны, но теперь события развиваются столь стремительно, что мы здесь начинаем отставать. Даже если бы денюжки не иссякли, надо было выпускать журнал там. Надо ехать, надо возвращаться туда, где нас ждут, где мы нужны, где нам готовы всё простить. Что простить? Да то, что мы сбежали, оставили родину, бросили нашу старую мать.

«Выходит, — пробормотал я, — можно считать себя уволенным?»

«Выходит так», — промолвил Клим и снова развёл руками. Я окинул взглядом свой «кабинет», оторвал приклеенный над столом план очередного номера, снял цветной календарь, свернул в трубку и сунул в карман. На улице шёл проливной дождь; постояв в подъезде, я швырнул календарь в урну и двинулся в неизвестном направлении.

Summing up¹, — я испытывал облегчение.

XX

Как ни странно, восстановить иные события легче немного погодя, нежели сразу после случившегося: память переживает нечто вроде обморока, нужен срок, чтобы она пришла в себя. Дождь покончил с бабьим летом. Мы ввалились в уединённый дом, промокшие до нитки. Дождь шумел всю ночь с воскресенья на понедельник, и всю обратную дорогу в город — возвращался я один — стрелы дождя летели навстречу окнам вагона. Это был тот самый понедельник, когда Клим объявил о своём решении. И когда, выйдя из нашей конторы, чтобы никогда больше не увидеться с моим товарищем (позже я узнал, что он в самом деле отбыл, потом вернулся, некоторое время спустя снова уехал, журнал, по слухам, так и не возобновился), когда, стоя в подъезде с ненужным календарём в руках, я думал о том, что непостижимая судьба поворачивает ко мне свой серебряный лик, чтобы сказать мне, что я свобо-

¹ резюмируя (англ.)

ден, наконец-то окончательно и безвозвратно свободен — от всех обязанностей, от всех дел, от рутины, от этих оглобелей жизни, — избавился раз и навсегда, — когда я так стоял и размышлял, дождь по-прежнему хлестал по чёрному тротуару и гнал согбенных прохожих, и смывал прошлое, и мимо меня, с могильным сиянием фар, в веерах брызг неслись автомобили. Итак... на чём мы остановились?

Что ж! Мы остановились на том вечере, воистину самом прекрасном из вечеров, по крайней мере, прекрасно начавшемся или, лучше сказать, прекрасно задуманном. Патрицианка, сошедшая с полотна XVII века, указала на ванную. Гость принял душ и, облачившись в дальневосточный халат, словно повелитель, прошествовал в маленькую гостиную.

Я вспомнил, как это делалось в годы нашей юности, на другой планете, в те ослепительно-солнечные дни и морозные, оловянные, свинцовые ночи, когда мы провели однажды каникулы в деревенской избе, вдвоём, с запасом привезённых продуктов и водки, с заснеженным штабелем дров на дворе. Я сложил крест-накрест сухие мелко распиленные поленья. Между ними щепочки, комок бумаги. Voilà! Огонь заплясал в камине. Я проверил тягу, придвинул решётку к очагу, уселся за стол и ввинтил штопор в бутылку отличного шабли primeur. Хозяйка, маленькая и уютная в тесном оранжевом кимоно, в вязаных носках, внесла тарелки с едой.

Ни единым словом не было упомянуто о том, что произошло на лесной опушке. Мне стало ясно: она спохватилась, она поняла, что совершила оплошность, и благодарна за молчаливое согласие считать не состоявшимся наш дикий разговор. Я похвалил вино, мы наслаждались покоем, сухостью, теплом, божественной музыкой, это был Четвёртый фортепьянный концерт Бетховена, мой любимый, — и сидели, как зачарованные, глядя на язычки огня. Говорят, три свечи — дурное предзнаменование, так, по крайней мере, считалось в России. Здесь же, если не ошибаюсь, они служат знаком и обещанием благополучия. *Pax in terra et in hominibus benevolentia.*

Вспомнилась эта формула, поход в больницу, покойный пахан-профессор, — как далёк от этого мира был мир, куда я ненароком забрёл! И уж совсем астрономическая дистанция отделяла от них планету, на которой мы жили зимой в заваленной снегом деревне, в избе с дощатым столом, почернелыми иконами и огромной деревянной кровати, вдвоём, с запасом еды и выпивки, с отсветами огня на железной обивке перед печкой. И снова — *pax in terra*, на земле мир... Я спросил, католличка ли она. Взглянув на меня, она спросила в свою очередь, почему я спрашиваю, я не знал, всё говорилось по наитию, невзначай. Да, конечно, сказала она; как и подобало южной дворянке; потом добавила: «Для меня это большого значения не имеет».

«Религия?»

«Не религия, а вероучение. Существует разница между культом и...»

«И чем?»

«Верой в Бога».

«Вы верите?»

Она снова взглянула на меня и ничего не ответила.

«Но вы бываете в церкви», — сказал я.

Должно быть, она подумала, что я намекаю на моё времяпровождение на ступенях св. Иоанна Непомука и моё разоблачение. Перевела глаза на оранжевые лепестки огня — фаллические цветы — и проговорила:

«Да, бываю».

Я встал, чтобы подбросить дров, вернулся, подлил ей и себе, за что же мы выпьем, спросил я. «В самом деле, — улыбнулась Света-Мария, подняв бокал, — за что? Может быть, за вас?..»

Она сидела спиной к очагу, прошло невообразимо много времени, что-то происходило, летели искры, рушились рдеющие головни, некогда бывшие юной порослью, стройными стволами, аккуратными поленицами, и за это время прошла вся жизнь, и жизнь была перерублена, когда обстоятельства, о которых не было ни малейшей охоты вспоминать, заставили бросить Катю и опостылевший город, пресловутую родину, а лучше сказать, когда эта родина вышвырнула меня пинком под зад, — но сейчас мне казалось трусливым и лицемерным ссылаться на «обстоятельства». Обстоятельства всегда готовы избавить нас от ответственности. И вот теперь я сижу за столом, в невероятном японском облачении, вернее, сидит моя уцелевшая половина, в доме, где я никогда не был и никогда больше не буду, перед маленькой пышноволосяй женщиной, отважно предложившей себя и тотчас отказавшейся от своего проекта, сижу в последний раз, ибо и с ней я больше не увижусь. Мысли, которые и мыслями не назовёшь, картины одна другой притягательней и ужасней проплывали на дне моих глаз; машинально я протянул руку и отпил глоток.

«Конечно, — проговорила она, — и у меня есть проблемы...»

Я перевёл на неё вопросительный взгляд.

«Прежде всего, я nullipara».

«Что это значит?»

«Не рожавшая. Мой врач считает, что есть известный риск...»

Значит, она вовсе не думала отказываться. Весь вечер её мысли вертелись вокруг этого предложения! Значит, то, что в «проекте» должны участвовать двое, что в конце концов у меня есть собственная гордость, — ею вовсе не принималось во внимание.

«Света-Мария...»

«Молчите. Это не ваше дело. Я же говорю — мои проблемы. Я ужасная трусиха. Вы знаете, что мне уже сорок? К тому же доктор говорит, у меня узкий таз...»

«Вы что, обсуждали всё это с вашим врачом?»

«Конечно, а как же. — Она добавила: — Он абсолютно надёжный человек».

Я молчал, она продолжала:

«Может быть, следовало побеседовать со священником. Но я вам уже говорила... Я, может быть, и верю в Бога. Да, конечно, я верую. Только, знаете, наша церковь как-то не внушает мне доверия».

«Ещё бы», — заметил я, невольно отклоняясь от темы.

«Вы, наверное, православный. Православие — очень строгая религия».

«Её не существует, — сказал я. — В России, во всяком случае».

«Вы хотите сказать, большевики... я слышала, что все храмы были разрушены».

«Причём тут большевики».

«Не понимаю».

«Её нет — одна оболочка. Видимость».

«Вы думаете? — сказала она рассеянно. Она пробормотала: — Иногда мне начинает казаться, что вас мне послал Бог...»

Говоря по правде, меня слегка передёрнуло от этих слов.

Не помню, что я ответил. Мы снова вступили на минное поле. Должен оговориться, что чужой язык имеет свои преимущества. Чужой язык освобождает от запретов. Он кажется безопасней. Слова не так обжигают, как на родном языке. На чужом языке можно говорить о вещах, которые на своём родном невозможны, на чужом языке легче признаться в любви или отвергнуть любовь... одним словом, я не думаю, что мог бы вести разговор с хозяйкой, случись нам беседовать по-русски.

Она умолкла, занятая своими мыслями, предоставив мне заполнить паузу незначащей репликой, вместо этого я вышел из-за стола, выбрал свободное место и, взмахнув руками, встал на голову.

«Что вы делаете?»

«Баронесса, — сказал я с пола, — мне так легче собраться с мыслями».

XXI

Обыкновенно, изъясняясь на языке аборигенов, я непроизвольно начинаю на нём же и думать или по крайней мере приводить в порядок свои мысли, теперь же я заметил, что думаю по-русски. Полагаю, со

мною согласятся, если я скажу, что язык родных осин удивительно хорошо приспособлен к тому, чтобы мыслить на нём, находясь в позе, которую я продемонстрировал моей собеседнице.

«И долго вы так будете стоять?»

«Всего три минуты, дорогая», — сказал я. Мы снова сидели за столом, перед оплывшими свечами. Над чёрными руинами в камине плясало призрачное пламя, это была агония. Баронесса встала и вернулась, сияя улыбкой, неся два высоких бокала и в крахмальной салфетке сереброголовую бутылку в оранжевом уборе под цвет её кимоно, с портретом бессмертной вдовы.

«Я считаю, нам нужно отпраздновать нашу свадьбу!»

«Вы ещё не получили согласие жениха», — сказал я холодно.

«Ах да, согласие... — Меня смерили длинным взглядом. — Я считаю, — внятно сказала она, — что мы должны отпраздновать нашу свадьбу».

Я отколушнул станиоль, снял проволочный предохранитель. Медленно, угрожающе вращая куполообразную пробку, сдерживая напор газа, я смотрел в глаза моей сообщнице, это был поединок зрачков; я почувствовал, как дёрнулась моя щека, слабый хлопок, словно отдалённый взрыв, нарушил молчание, лёгкое облачко курилось над горлышком, ледяной напиток полился в бокалы. Стоя мы ждали, когда уляжется кипенье. Мы напоминали дипломатов двух враждующих государств. Медленно, с опаской были вознесены кубки. «Zum Wohl!» — и она назвала меня по имени.

«Zum Wohl!»¹.

Я спросил, подняв брови: не подкинуть ли ещё дров в камин?

Она покачала головой.

«Между прочим, — холод шампанского почувствовался в её голове, — отвернуться от дамы, когда она бросает вам цветок, это... по меньшей мере невежливо. Знаешь что... Ведь мы теперь на ты, не правда ли. Я не настолько тупа, чтобы не понимать, что так просто это не делается... Не надо сейчас об этом думать. Предоставь вещам идти своим естественным ходом».

«Естественным?»

«Конечно. Разве это не естественно, если мужчина и женщина остаются наедине, и... ясно, что дальнейшее неизбежно?»

«Неизбежно?»

«Да».

«Мне кажется, — сказал я, — в нашей ситуации есть что-то комичное».

¹ на здоровье (нем.).

«Может быть... Отнесись к этому легче. Русские из всего делают проблему. В конце концов, это действительно забавно: представь себе, что у тебя интрижка с дамой из хорошего общества. Нет, нет, — она опустила голову, — я говорю не то. Совсем не то. Лучше помолчим. Представь себе, что...»

Она подвинула мне свой бокал.

«Бывают неудачи», — заметил я, берясь за бутылку.

Она обвела меня искоса ироническим взглядом.

«Вот что тебя волнует», — сказала она.

Мы вновь осушили рюмки. Я бы даже сказал, бодро осушили. Возможно, вдова Клико была виной тому, что диалог стал принимать игривый характер. В конце концов, выносить пафос можно лишь в небольших дозах. И мы попытались найти убежище во фривольности.

«Не то чтобы волнует, но... Всё бывает».

«Ты хочешь сказать: не всё бывает. Станный разговор... накануне брачной ночи. В конце концов, выпрыснуть два миллилитра — или сколько там — мужского семени, разве это так сложно? О, извини, — сказала она, смеясь. — Сама не знаю, что говорю!»

«Ты говоришь то, что думаешь».

«Может быть, но слова всё искажают. Я думаю обо всём сразу. О самом простом и самом сложном... самом непонятном. Это судьба... Ты веришь в судьбу?»

Я пожал плечами.

«Ты находишь меня недостаточно привлекательной?»

«Я этого не говорил».

«Хорошо, тогда я сама скажу. Сначала налей мне... только немного... это вредно для ребёнка. Ты говорил, что я похожа на портрет Дюрера. Другие тоже говорят. Но ведь эта дама, согласись, не так уж уродлива! Да... да... — говорила она, теперь уже глядя не на меня, а в пространство между нами, — я не юная девушка. Но позволь тебе напомнить: жёны, не слишком влюблённые в своих мужей, хорошо сохраняются, это давно замечено. Они не засыхают, как старые девы, и это понятно: результат регулярного полового контакта. Но и не расходуют почём зря свои силы. А я к тому же ещё была добродетельной супругой».

«Света-Мария... зачем ты мне это рассказываешь?»

«Дай мне договорить... Ты недурно сложен, для мужчины это самое главное. Залог полноценного отцовства. Но ты, возможно, не обратил внимания... должного внимания, что и я... Мои платья не дают ясного представления... Уверяю тебя, я сложена на диво. Ничего лишнего! У меня в меру широкие бёдра. Мой зад выступает ровно настолько, насколько это требуется. Живот без складок, живот нерожавшей женщи-

ны. У меня грудь, которой позавидует любая девчонка. У меня маленькие, немного расставленные, прекрасно сформированные железы с розовыми сосками. Хочешь, чтобы я продолжила это описание? Плесни мне ещё немного... капельку».

XXII

Пауза. Я намерен сделать паузу. Я огляделся: сколько уже было в моей жизни таких пристанищ, голых обшарпанных стен, подтёков на потолке. Всё, что я забираю с собой, несколько книг, зимнее пальто и, само собой, моё профессиональное обмундирование — штаны, балахон, древнюю касторовую шляпу, к которой я питаю суеверную привязанность, — частью сложено в чемодан, частью висит на стуле. Прочее мне не принадлежит. Я не собираюсь присесть напоследок, по русскому обычаю. Я сюда уже не вернусь. В положенный срок внесена квартирная плата, ключи лежат на столе, я предупредил жилищную компанию о том, что освобождаю комнату. Не комнату, а конуру. Они требовали, чтобы я произвёл ремонт, но с меня, как говорится, взятки гладки. Не буду рассказывать о формальностях, о сидении в коридорах всем нам знакомого учреждения, где, кстати, произошла у меня встреча со старым приятелем. В дальнем конце воздвиглась, валкой походочкой мимо обсевших все стулья, похожих на тени просителей приблизилась фигура Вальдемара. «Алала!» — услышал я древнегреческое приветствие. Теперь он был в длинной седой бороде, которую, я думаю, специально отбеливал; есть такие снадобья.

«Ты чего здесь торчишь?»

«Да вот, — сказал я, — сижу...»

«За пособием пришёл, что ль?»

«В этом роде».

Вальди выразил удивление, что давно не видел меня на рабочем месте.

«Если ты имеешь в виду редакцию, — сказал я, — то её больше не существует».

«Накрылась?»

«В этом роде».

«Ну и хрен с ней. Я не об этом. Кстати: за тобой должок!»

«После отдам», — сказал я.

«Когда это, после?»

Мы ещё немного потолковали. Прохвост сумел-таки после смерти нашего паханá окончательно закрепить за собою его прерогативы. Не знаю только, счёл ли своим долгом взять на себя его заботу о нас. В это время на табло появился мой номер, замигал огонёк над дверью.

«Я тебя везде найду!» — крикнул он вслед.

Выйдя из кабинета, я огляделся: коридор был по-прежнему полон страждущих, Вальдемар исчез; я спустился по лестнице в вестибюль, вышел на улицу, поглядел в обе стороны, дорога в мир была открыта. На углу я сунул три монеты в щель автомата, снял трубку и набрал номер. Я брёл мимо вывесок и витрин, распахнутых дверей кафе, кое-где столики снова стояли снаружи, за стёклами сияли шестиугольные звёзды, близилось Рождество, была оттепель, всё ещё продолжалось неопределённое время года. Навстречу мне постукивали каблуками женщины, маршировали мужчины в плащах нараспашку, плелись старухи, и на всех лицах играла, как солнце на поверхности вод, обманчивая весна; я шёл без цели и направления, — по крайней мере, так мне хотелось думать, в известном смысле так оно и было: без всякой цели; шёл, почти весёлый, свободный, вот что главное, и беззаботный, как этот город, по которому некогда брёл юноша-монах в чёрном плаще с капюшоном и видел в небе над дворцами огненный меч возмездия, но до огня и пепла было ещё далеко. В самом деле, времени было хоть отбавляй. Я вышел к скверу и удобно устроился на скамейке. Спинай ко мне, на постаменте, окружённом цепями, сидел позеленевший бронзовый король.

Известно ли ей, кто это, спросил я Марию Фёдоровну, когда она опустилась на скамью рядом со мной.

Она покачала головой.

«Надо знать историю нашей новой родины», — сказал я наставительно, принял из её рук аккуратно завёрнутый бутерброд, банку кока-колы, прочёл, жуя и прихлёбывая из отверстия, учёную лекцию.

Жестянка полетела в урну. Бледное солнце выглянуло из марли облаков. Я хлопнул себя по коленям. После этого началось длинное путешествие. Мимо старых особняков, чугунных решёток и маленьких львов, сидящих, точно дети на горшках, на своих постаментах, мимо аккуратных безликих зданий, построенных на месте сгоревших и разбомблённых кварталов, мимо голых деревьев, где высоко на суках висели похожие на гнёзда растения-приживалы, где сидели, задумавшись, чёрно-лиловые птицы, по мокрым песчаным дорожкам, где мальчишки мчались на карликовых велосипедах, с красными флажками на длинных качающихся жердях бамбука за спиной, словно конные самураи.

Сыр-бор разгорелся из-за того, что люди епископа собирали пошину с купцов из южных земель, а герцогу ничего не доставалось, продолжал я, и тогда герцог велел разрушить переправу и построил собственный мост выше по реке, откуда всё и пошло. Зависть, сказал я, породила этот привольный город. Держась за руки, мы спустились по каменным ступенькам к воде. Мост гремел высоко над нашими головами.

До зимы было ещё не так близко, настоящая зима в наших палестинах начинается в конце января, но народ запасается одеялами, воровства здесь не бывает, кто-нибудь притащит жаровню, люди живут

коммуной. В крайнем случае, сказал я, можно ночевать в метро, бургомистр заблаговременно распорядился не запира́ть двери в морозные ночи. Бургомистр даже посетил как-то раз это убежище. В газете была статья и фотография.

На сухой площадке между плитами берега и бетонным быком, стояли деревянные койки и ржавые железные кровати, комод с телевизором, газовая плита; на плечиках висел фрак, порьжевший от старости и невзгод, стояло облупленное пианино, на котором владелец, облачившись во фрак и цилиндр, в перчатках с обрезанными пальцами, играл в рождественские дни на базаре Христа-дитяти, пианино выволакивали наверх, и грузовичок вёз его на главную площадь города. Источенный червяком шкаф, переживший царствования и войны, с остатками деревянной резьбы, с чёрным исцарапанным зеркалом, отгораживал угол для желающих воспользоваться двуспальным ложем любви. Маша взглянула на меня, я пожал плечами. Устанавливается очередь, сказал я.

XXIII

Мало того, что я забыл о случившемся. Из памяти начисто выветрилось время, три или четыре года тому назад, когда сам я, получив известие, по собственной воле намеревался проситься с этим лучшим из миров. С тех пор я был осуждён, если можно так выразиться, на пожизненное существование. Как бы то ни было, новость оказалась ложной. Мысли заняты были другим, я снова куда-то ехал. Так как движение поездов временно было прекращено, я поднялся следом за всеми по эскалатору, рассчитывая воспользоваться наземным транспортом; было зябко, пасмурно, смеркалось. Угрюмая толпа штурмовала автобус. Вновь, как навязчивый сон, как сон во сне, изнурительная езда в лабиринте тусклых улиц, по кривым ухабистым переулкам, в тряске и духоте, в испарениях мокрой одежды; мелькание огней, дождь, ползущий по чёрным стеклам колышащегося экипажа. Дождь лил всё гуще, автобус остановился посреди водной глади, люди старались перепрыгнуть с подножки на тротуар. Оглянувшись, я увидел, что никого больше нет, ни автобуса, ни людей. Ливень стал утихать. Нечего удивляться, что я не сразу отыскал дом и обветшалый подъезд, ведь прошло столько времени, столько воды утекло; и, однако, было заметно, что ничего, в сущности, не изменилось. Единственное новшество — фонари, лунное сияние газосветных трубок. Память возвратилась ко мне. Лучше сказать, я вернулся в свою память, как в мёртвый дом. На постели лежала моя жена.

«Т-сс, — прошептал я, — только не пугайся».

Она села на постели. Я нащупал выключатель, свет зажётся над столом в оранжевом абажуре, остальное — кровать, стены, тускло отсвечивающий шкаф, циферблат часов — было погружено в полумрак.

Я принёс ей домашний халат, она накинула его на плечи поверх ночной рубашки, сунула руки в рукава, поднялась — я подвинул ей домашние туфли — и завязала поясок. Мы сидели за столом, она сказала, можно вскипятить чай, есть остатки ужина, осведомилась о багаже, я ответил, что оставил вещи в камере хранения, но тотчас поправился, сказав, что приехал налегке; она недоверчиво взглянула на меня, едва начавшийся разговор заглох. Она взглянула на часы. Я сравнил их с моими наручными часами, стоят, сказал я. Она не поняла, какие часы я имею в виду.

Я пробормотал:

«Значит, слух оказался ложным».

Моя жена рассеянно кивнула, очевидно, поняв, о чём я говорю. Она хотела подняться, я остановил её жестом. Она провела рукой по волосам.

«Ну, рассказывай».

Я ответил ей вопросительным взглядом.

«Как ты там живёшь. Обзавёлся семьёй?»

Я покачал головой.

«Очень уж ты облез, — сказала она. — Надолго приехал? Где собираешься остановиться?»

Я усмехнулся. «Знаешь что, — сказал я, — может, я сам приготовлю? Я всё найду!» — крикнул я, выходя на кухню.

Мы снова сидели друг перед другом, под абажуром, помешивая в чашках, где кружились маслянистые блики.

«Надолго, — промолвил я, пробуя с ложечки обжигающий чай, — ты спрашиваешь: надолго? А как ты сама думаешь?»

«Откуда мне знать».

«Как можно спрашивать, — я дул на ложечку, — как можно спрашивать, зная о том, что со мной здесь произошло?.. Он не остывает!» — возмущённо сказал я.

«Потерпи немного. Налей в блюдец».

«Да если бы и не произошло... В этой стране нельзя жить. Я бы просто загнулся в этой стране! Вот ведь и ты...» — я осёкся.

«Слух оказался ложным», — сказала она спокойно.

«Слава Богу», — пробормотал я.

Она проговорила:

«Значит, так. Жить здесь невозможно. Всё ужасно — начиная с чая».

«Да — и кончая этим гнусным переулком, этими грязными, небранными улицами, вечной толчейей, этим всеобщим, застарелым, неизлечимым хаосом, этой вечной неустроенностью, этим наглым презрением к человеческой личности!»

«Ну вот, теперь ты можешь спокойно пить свой чай... Ты завтра уезжаешь?»

Я сидел, опустив голову.

«Ляжешь там, — она кивнула на небранную постель. — Я себе постелю на полу».

«Что ты, Катя, — сказал я испуганно, — с твоим здоровьем!»

«Как-нибудь пересплю ночь. Когда тебе надо вставать?»

«Мне? — спросил я. — Ах, ну да... Чуть было не забыл».

«Что ты бормочешь?»

«Я хотел тебе сказать, Катя...»

Свет абажура, тишина и тепло разморили меня. Слова, как обсо-
санная карамель, прилипли к зубам, я чувствовал, что мне трудно гово-
рить по-русски, — я уже упоминал о том, как трудно произнести вслух
некоторые вещи на родном языке. Станный хохоток вырвался из моей
груди, я проговорил:

«А зачем мне, собственно, рано вставать? Я хотел спросить... Мо-
жет, мне остаться?»

Она подняла брови.

«Я вернулся, Катя, — сказал я. — Вернулся. Ничего не поделаешь».

Чай остыл.

ПУСТЬ НОЧЬ ПРИДЁТ

Женщина стояла, как птица, в прямой короткой юбке, лёгкая, стройная и прекрасная, как только может быть прекрасной женщина в девятнадцать лет, и эта линия обтянутой чулком, высоко открытой ноги, притягивала взгляды, заставляла людей украдкой поворачивать голову. Подошёл автобус, девушка оперлась на две палки и вскочила на площадку, я вошёл следом за ней.

Мы были знакомы — осмелюсь сказать, дружны — около года, каждую неделю виделись и говорили друг другу всё, за исключением того, о чём невозможно было говорить. Ничего особенного между нами не произошло, никакой «истории», о чём я честно хочу предупредить читателя, ничего такого, что началось бы с какого-нибудь необыкновенного события и кончилось неожиданной развязкой. Жизнь, как известно, плохой сочинитель; в жизни каждого из нас есть только одно начало и один конец — ни о том, ни о другом мы помнить не можем.

Мы не могли говорить о том, чего она не помнила; точная дата её рождения была неизвестна, считалось, что ей было семь лет, кто-то держал её на руках. Кто-то бежал с ней, все кругом спешили. Этот человек был, по всей вероятности, убит. Больше ничего не осталось в её памяти, ни боли, ни крови, и мы к этой теме не возвращались. Где-то на дне её души хранился запрет вспоминать; своего рода гриф «Секретно» на папке, в которой ничего нет.

Можно добавить, что это была война за национальную независимость — другими словами, война ни за что. Вы согласитесь со мной, что более мерзкого слова, чем «национальный», нет ни в одном языке. Свой родной язык она забыла. У неё было длинное экзотическое имя, похожее на название цветка или княжества, для моего уха, пожалуй, слишком церемонное, я укоротил его и слегка переименовал, получилось Дина.

«Дина, — сказал я. — Что за упрямство...»

Дом, где она жила, был старый, как все дома в этом городе, и казавшийся очень высоким, без лифта, с длинными полутёмными лестницами, квартира была на последнем этаже.

Я уговаривал её переехать ко мне. В доме обитал неопределённый люд. Этажом ниже помещалась пошивочная мастерская, дверь на площадку была открыта, оттуда пахло утюгами, слышались женские голоса. Квартира Дины состояла из комнаты и кухни. Тут же при входе, за занавесью,

веской помещалась уборная и жёлтая от ржавчины ванна. В этой ванне я иногда мыл Дину. В мои обязанности, которые я сам возложил на себя, входило также покупать продукты.

Широкая низкая тахта, перед зеркалом подобие туалетного столика — коробочки, баночки, деревянное блюдо с бусами, флаконы из-под духов, по большей части пустые. Окно доходило до пола и было наполовину задёрнуто тёмной гардиной. Паркет «дышал» — разошедшиеся половицы хлябали под ногами. Насколько свежа и опрятна, словно умыта росой, была хозяйка, настолько заброшенным выглядело её жильё. Время от времени я устраивал уборку. Дина сидела с ногами на тахте, — я хочу сказать, поджав ногу, — и смотрела в окно.

Говорят, Париж не меняется; поселившись здесь, я не уставал удивляться тому, что всё в этом городе существует по сей день: и крутые крыши, и дома без лифтов, и скрипучие лестницы, и окна до пола. Дешёвое барахло, вываленное из магазинов прямо под ноги проходим, розы, попрошайки, старики на скамейках — всё как встарь, город давно смирился со своей ролью быть огромным сборником цитат, и всё так же течёт Сена под мостом Мирабо, с которого некогда смотрел на воду поэт, дивясь тому, что он всё ещё жив. Высоко вдали Монмартр с сахарной головой Святого Сердца. Я прекрасно понимаю, что и то, о чём я говорю, тоже повторение сказанного тысячу раз. Приезжаю я посоветовал бы внимательней смотреть под ноги: обилие собачьего кала на тротуарах свидетельствует о неугасимой любви горожан к священным животным.

Вернёмся к нашей теме, — я имею в виду её жилище. Пока я возился с пылесосом, она сидела, сгорбившись на тахте, курила, поглядывала мимо меня на улицу. В углу стоял протез — она не любила его, предпочитала палки. Костылями вообще не пользовалась. Из окна был виден сплошной, вдоль всего фасада, балкон дома напротив и крутая черепичная крыша с окошками. Улица находилась в VI округе, в знаменитом квартале, — спрашивается, что здесь не знаменито? Достаточно пройти двести шагов, чтобы очутиться у подножья мрачной башни Сен-Жермен-де-Пре, на перекрестке, облюбованном музами, где обалделый турист стоит в замешательстве перед прославленными харчевнями *Flore* и *Deux Magots*, как Буриданов осёл между двумя стогами сена.

На шаткой этажерке, среди кое-как напиханной макулатуры (она читала всё подряд), в резной овальной рамке стояла чернобровая барышня в белом, под зонтиком, отороченном кружевами. Вылитая Дина.

«Может, это ты и есть?»

«В некотором смысле».

«Что ты хочешь этим сказать?»

Она пожала плечами. Я спросил, откуда известно, что это её мать, может быть, это бабушка.

«Может, прабабушка?» — возразила она.

Она не знала, как звали её родителей, что с ними стало, не знала ничего. Всё это лежало в пустой папке с грифом «Секретно». Я переставил портрет с этажерки, откуда он легко мог свалиться, на туалетный столик. «Можешь ли ты мне, наконец, объяснить...», — спросил я, но объяснять было нечего, мы могли говорить обо всём, кроме того, о чём нельзя говорить. Я уже сказал, что тщетно убеждал её переехать в мою квартиру. Мы ничего не скрывали друг от друга, скрывался и ускользал, если можно так выразиться, самый предмет разговора.

Бывало и так, что меня просто не впускали. Я стоял на площадке со стучащим сердцем, с продуктовыми сумками, звонил, ждал. Звякала цепочка, дверь приоткрывалась, надменный голос произносил:

«Извините, но я не могу вас принять».

Высовывалась голая рука.

«Сколько раз я просила вас не утруждать себя...» Через несколько дней я снова взбирался к ней на шестой этаж, и она спрашивала светским тоном, как ни в чём не бывало:

«Что случилось, вы были больны?»

В декабре лили дожди, тускло сияла иллюминация; мы встречали годовщину нашего знакомства в заведении, которое, я надеялся, должно было ей понравиться. На Дине было чёрное платье с рукавами из тёмного газа, с полупрозрачной грудью, я облачился во фрак, — ей-Богу, мы были красивой парой. И когда мы шествовали по залу следом за чопорным метрдотелем, я, задрвав подбородок, и она, слегка прихрамывая, люди за столиками оглядывались на нас с восхищением.

Гарсон вручил нам огромные, как почётные грамоты, папки с меню, второй официант приблизился с картой вин. Состоялся обмен мнениями, были высказаны глубокомысленные соображения, даны компетентные советы. Последовал церемониал опробования.

«Где вы обучились всем этим премудростям?»

«Нигде. Это разговор авгуров. Римские авгуры старались не смотреть друг на друга, чтобы не расхохотаться».

Я предложил выпить за нас.

«Что это значит?»

«За тебя, за меня».

«За вас — пожалуйста».

«Знаешь что, — сказал я смеясь, — всякому терпению приходит конец, ведь мы уже, кажется, договорились: говорить друг другу ты. Это первое. Второе...»

«Я знаю», — сказала она и стала смотреть по сторонам.

«Нет, не знаешь. Я не собираюсь возвращаться к нашей избитой теме. Дина! — сказал я. — У нас сегодня торжественный день. Будем говорить о чём-нибудь высоком».

«О чём?»

«Об Эйфелевой башне. Или о поэзии. *Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours...*¹ Тебе нравится?»

«Нравится». И разговор иссяк.

Подъехал столик с блюдами, приготовления до некоторой степени оправдывали наше молчание.

«Тебе скучно со мной?»

Она усмехнулась, пожала плечами.

«Я понимаю, я для тебя слишком стар».

Дина учтиво ответила:

«Вне всякого сомнения».

«Будь я лет на пятнадцать моложе...»

«Вы были бы слишком молоды».

«У тебя кто-нибудь есть», — сказал я как бы в шутку.

«У меня?» — спросила она удивлённо.

«Не у меня же. Блины остывают».

Я решил угостить её деликатесом моей страны и давал указания: что надо положить, как надо сворачивать блин. Надеюсь, меня поймут правильно: слава Богу, я не принадлежу никакой стране. Единственный вид патриотизма, который я признаю, — гастрономический.

«Почему вам пришла в голову такая мысль?»

«Очень просто: может быть, ты сама мне когда-нибудь приготовишь...»

«О! Я не об этом».

«Конечно. Я пошутил».

За такой увлекательной беседой прошёл наш праздничный ужин. Ближе к полуночи на эстраде появились музыканты, публика оживилась, пары вставали из-за столиков, образовалась площадка для танцев. Я заказал шампанское... Когда мы вернулись, Дина выглядела усталой, слегка возбуждённой, глаза блестели. Она попросила расстегнуть ей стеклянные пуговицы на спине. После чего, удалившись на кухню, я с великим облегчением стащил с себя чёрное одеяние, бабочку и манишку. Постучался, она сидела в халатике.

«Царский ужин».

Я обрадовался и поспешно возразил:

«Всё-таки, знаешь, — это не настоящие блины».

Мы лежали рядом на тахте, она в своём халатике, в чулке, я в носках и брюках.

«Прежде всего, настоящие блины должны быть с ноздрями».

«С чем?»

¹ Под мостом Мирабо течёт Сена. И наша любовь... (Здесь и ниже — из стихотворения Гийома Аполлинера «Мост Мирабо»).

«Ноздреватые. С дырочками; это первое. Второе, блины должны быть тонкие, тонюсенькие. По краям оранжевая корочка. Но самое главное, настоящие русские блины...»

«Неправда, — сказала она строго, — всё было очень вкусно. И вино замечательное. Пожалуй, я даже перебрала. Можете снять брюки, а то они сомнутся... Я знаю, что вы джентльмен и не воспользуетесь моей беспомощностью».

«Дина! — взмолился я, — мы же договорились...»

Я верю в зловещую силу слов. Если бы удалось заставить её перейти на «ты», наши трудности отпали бы сами собой. Проклятое «вы» было как бруствер, за которым она укрывалась. Как лежавший между Тристаном и Изольдой меч.

«Самое главное, — мямлил я, — к блинам полагается... Блины, если хочешь знать, запивают не вином, а водкой. Ледяной!»

«Бр-р», — сказала она.

Нам действительно было холодно, мы лежали под одеялом, и я гладил её натруженную протезом кожу. Круглый обрубок, всё что осталось. Ампутация в верхней трети бедра. В конце концов я был когда-то медицинским студентом. Но так же, как она не помнила детство, так и я не мог представить себе Дину ребёнком, я гнал от себя прочь видение искалеченной, лиловой, с признаками гангрены, детской ноги, торчавшей из эмалированного ведра в комьях полусохших, бурых от крови бинтов, где-то там, в южном славянском городе, в операционной комнате, среди воя сирен. Мне казалось, что и тогда Дина была чернобровой и юной, была той, что стояла под зонтиком в овальной рамке.

«Незачем», — сказала она, когда я попробовал повернуться к ней лицом. Мне хотелось сказать ей нечто важное. Что не зря мы нашли друг друга в этом городе. И что при всей разнице возраста, вкусов, происхождения мы были парой. Если уж на то пошло, то и я был в некотором роде инвалидом — духовным калекой. Этот вечер должен подвести черту в наших отношениях. Она должна решить, вернее, решиться. Всё это я собирался ей изложить по возможности спокойно и рассудительно, но лицо её, губы, углы рта приняли знакомое мне холодно-отчуждённое выражение. Я пробормотал:

«У тебя кто-то есть. Скажи прямо».

Никакого ответа, и всё та же брезгливо-безразличная мина.

«Ты хочешь сказать, что я для тебя слишком стар.

«Эту тему мы уже обсуждали. Лучше взгляните, — добавила она, — сколько сейчас времени».

«Не всё ли равно? Дина!»

Она молчала.

«Скажи мне. Почему ты упрямись?»

«Прекратите! Я сейчас встану и уйду. — Это было сказано, когда моя ладонь, прокравшись под то, что ещё было на ней, опустилась на шелковистый холмик. — И наш замечательный вечер будет испорчен».

Она переложила в сторону мою руку, точно посторонний предмет.

«Дина, это жестоко. Тебе нравится меня мучить?»

«Никто вас мучить не собирается... Да, вот именно: вы стары и безобразны. Что вы вообразили? Вы, кажется, забыли, что я вам ничем не обязана. Знаете что: одевайтесь. Я устала».

«Дина, послушай. Мы должны решить... Тебе надо переселиться».

«Куда это?» — спросила она брезгливо.

«Ко мне, куда же ещё».

«Мне и здесь хорошо».

«По крайней мере, не будем карабкаться на шестой этаж».

«Вас никто не заставлял!»

Мы лежали рядом, время было полночь. Событие уже произошло, ребёнок родился. Он лежал на соломе, и солдаты Ирода уже рыскали по окрестным сёлам. Диковинные пришельцы, чужестранцы в роскошных пёстрых одеждах, с подарками, на верблюдах, спрашивали у встречных на ломаном арамейском наречии, как проехать к Вифлеему, и люди праздновали это событие, праздновали своё собственное детство; а мы, никому и ничему не принадлежавшие, — мы лежали и ссорились.

«Переселиться, — буркнула она, — легко сказать. Это значит жить вместе».

«Да. Жить вместе. — Я добавил: — Это будет разумней во всех отношениях».

«Кроме одного».

«Интересно, какого же?»

«Жить вместе — это значит, что вы на мне женитесь, а я выхожу за вас замуж. Или я слишком самонадеянна?»

«Дина, — сказал я с упрёком. — Конечно. Конечно! Как только ты скажешь, мы идём в мэрию». Я снова повернулся к ней, она оттолкнула меня, сердясь и бормоча: «Ну что это... перестаньте». Мы лежали рядом, моя ладонь покоилась на её животе поверх халата.

«Но это не обязательно».

«Что не обязательно?»

«Не обязательно идти в мэрию».

«Это от тебя зависит, Дина, как ты захочешь; хочешь, зарегистрируемся. Не хочешь, пожалуйста...»

«И венчаться в церкви?»

«Можно и в церкви».

«В православной? Или...?»

«Это не так важно».

«Главное — поселиться вместе, да?»

«Да».

«Вместе жить».

«Да. Вместе».

«Будем последовательны, — сказала она. — Вместе жить, это значит спать в одной кровати. Или как вы это себе представляете?»

«Да».

«Вот так, как сейчас».

«Да... то есть нет».

«Вы хотите сказать, что...?»

«Ты находишь в этом что-то оскорбительное?»

«Не перебивайте меня. Конечно, ничего оскорбительного тут нет. Вы хотите, чтобы я стала вашей любовницей. Это невозможно».

«Почему?» — спросил я тупо.

«Потому что невозможно».

«Но всё-таки».

«Потому что это значит, что каждую ночь мы будем вместе. И каждую ночь это должно будет происходить, или не каждую, но это не важно... У вас, конечно, были женщины?»

«Дина, к чему этот разговор...»

«Пожалуйста. Прошу вас. Как это происходило?»

«Да никак».

«Но всё-таки».

Я гладил её живот. Я проник под халат. «У тебя слишком тугая резинка. Это вредно...»

«Вы не ответили».

«Что ты хочешь узнать?»

«Как это происходило».

«Как... Обыкновенно».

«Ага. Значит, это для вас обыкновенное дело».

«Ты прекрасно знаешь, что нет».

Разговор иссяк. Мы лежали рядом.

«Сволочи».

«Что?» — спросила она.

«Это я так... Почему же всё-таки мы не можем... вместе?»

«Почему, почему. Неужели я должна объяснять?»

«Что за чушь, Дина, ты нормальная здоровая женщина. У тебя будут дети».

«Вот этого, — она усмехнулась, — мне как раз и не хватало».

«Почему??»

«А разве не вы мне объясняли, — сказала она вкрадчиво, с нескрываемым злорадством, — что в этом гнусном мире для детей нет места, что дети нас не поблагодарят, что мы не имеем право производить потомство, потому что не знаем, что его ждёт, разве это не ваши слова?»

«Дина...»

«Да, да. Лично нас это не касается, вы это хотите сказать?»

«Да. Не касается».

«Это всё общие рассуждения, а жизнь есть жизнь».

«Жизнь есть жизнь. Ты права».

«И вообще не об этом речь».

«Не об этом, — сказал я. — О чём же тогда?»

«О вас».

«Обо мне?»

«Да. Вы сами не сможете. Вам только кажется, а на самом деле вы не сможете».

«Что, что не смогу?» — вскричал я, сбитый с толку.

Она вздохнула, как учитель, которому приходится долбить одно и то же непонятливому ученику.

«Хорошо, будем говорить откровенно. Хотя меня просто поражает ваше скудоумие, — или вы притворяетесь? Пожалуйста, уберите руку. Уберите руку... Так вот: я не хочу, чтобы делали вид, будто я нормальная женщина и всё такое. Я не хочу, чтобы на мне женились из жалости, ясно?»

«Ясно», — сказал я.

Это была глупость. Она мне мстила. Мстила нам обоим, вот, собственно, и весь ответ. И надо было действительно быть выдающимся тупицей, чтобы этого не понимать. Лицо её перекошилось, она с ненавистью отшвырнула мои руки.

Может быть, я тоже слишком много выпил. Всё во мне вдруг как-то взорвалось. Стиснув кулаки, я пробормотал.

«Проклятые сволочи. Бль... ляди!»

Я больше не мог сдержать себя, вскочив с постели, метался по комнате, Дина испуганно воззрилась на меня:

«Что с вами, я вас обидела?»

«Что со мной?! — завопил я по-русски, на языке, в котором она могла уловить разве только отдельные слова. — Что со мной... Ты на себя посмотри. Тебе девятнадцать лет! Проклятые гады! Что они с тобой сделали!»

Я остановился.

«Ты передачу видела? Митинг солидарности. Эти бандитские рожи. Борцы за независимость! Кому она нужна? Кому вообще всё это нужно? Что они с тобой сделали, что они сделали с тысячами таких, как ты... И всё это продолжается. И весь мир им аплодирует».

«Послушайте. Сядьте, пожалуйста. В чём дело? Если я...»

«Да причём тут ты...»

«Тогда в чём же дело? Почему вы разбушевались?»

Мне пришлось кое-как объяснить: накануне телевидение транслировало митинг солидарности с борцами фронта национального освобождения. Того самого...

«Ну и что. Господи, какое нам дело!»

Умница, она была права: в самом деле, нам-то что до них. Пусть перегрызут глотки друг другу.

«Извини, Дина, — сказал я. — Сегодня такой вечер, а я... Просто я вспомнил это сборище, представляешь себе, гигантская толпа сбежала, чтобы выразить им свою любовь».

Она пожала плечами, я присел на край тахты, и мы снова не знали, что сказать друг другу.

Мне показалось, что она чувствует себя виноватой.

«Знаете что, — промолвила она после некоторого молчания. — Я бы разрешила вам остаться, но... Мне не хочется вам объяснять, надеюсь, вы сами понимаете... Почитайте мне немножко. И расстанемся. Уже поздно».

«Мы так ничего и не решили», — сказал я упавшим голосом.

«Уже поздно... Почитайте».

«Что же тебе почитать?»

«Что хотите».

Обычный женский трюк: она чувствовала себя виноватой, и, хотя ничего не было обещано, я почувствовал облегчение. Я молчал. Она повторила:

«Ну, пожалуйста».

«*Sous le pont Mirabeau...*»¹ — глядя в тёмное окно, медленно начал я.

Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l'onde si lasse

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure²

Мы договорились, что утро вечера мудреней и завтра мы всё спокойно обсудим. Она дала мне ключ на случай, если она ещё будет спать. Я снова напялил фрак, повязал кашне, лицо Дины смутно виднелось за моей спиной, она помахала мне рукой из зеркала. Завтра уже наступило. Я возвращался к себе на Правый берег пешком, основательно про-

¹ Под мостом Мирабо...

² Взявшись за руки, лицом к лицу, будем стоять, пока под мостом наших рук катятся волны, усталые от вечных взглядов. Пусть ночь придёт, пробьёт час. Уходят дни — я остаюсь.

дрог, дома долго пил чай и поглядывал из окошка на раскалённые вывески, рождественские шестиугольные звёзды и гирлянды огней. Ребёнок родился, три волхва никак не могли объясниться с местными жителями, но в конце концов всё как-то уладилось.

Утро застало меня враспих, в том удивительном состоянии, когда сон неотличим от яви. Брызнуло солнце из-за крыш. Чёрноглубые тротуары блестели и дымились. Я был бодр и спокоен, чувствовал себя помолодевшим, я доехал до площади Согласия, оттуда было уже недалеко; я шагал в спокойной уверенности, что всё решилось само собой. Наш ночной разговор выглядел сплошной нелепостью. В самом деле, почему мы так судорожно вели себя, когда всё так просто. Когда-нибудь мы будем вспоминать об этой ночи, вспоминать наши пререкания. Или нет, мы поставим на ней крест, мы попросту вычеркнем её из нашей памяти. И всё-таки, думал я, наш бесплодный спор был необходим. Нас отравляли произнесённые слова, их надо было выговорить и освободиться от них. Сказанные вслух, они потеряли свою злую власть. Появились первые пешеходы, мимо просеменила старуха с батонами в кошёлке. Боясь разбудить Дину и сгорая от нетерпения, я оттягивал свой приход, расхаживал перед подъездом. Не выдержал и взбежал наверх.

Она меня непустила. Что ж, это у нас бывает. Мне даже показалось, что это к лучшему: она всё ещё упрячилась и растрачивала на мелочи своё упрямство; что это могло значить, как не то, что внутренне она сдалась. Я терпеливо звонил. Подождав ещё немного, стал спускаться по лестнице, но вернулся и, поколебавшись, отомкнул дверь ключом. «Дина?» — сказал я осторожно. Она не отзывалась, я вошёл в комнату, где на полу лежал яркий солнечный свет.

Тахта была аккуратно застелена, сверху лежал вынутый из рамки портрет барышни в белом, с кружевным зонтиком. Чёрным косметическим карандашом наискосок через всю фотографию было написано:

*«Il n'y a plus de moi. Ne me cherchez pas»*¹.

¹ Меня больше нет. Не ищите меня (*фр.*).

ВЧЕРАШНЯЯ ВЕЧНОСТЬ

Фрагменты XX столетия

*...praesens autem si semper esset praesens
nec in praeteritum transiret, non iam esset
tempus, sed aeternitas.*

Beati Augustini Confess. XI, 14¹

¹ ...настоящее же, если бы оно всегда оставалось настоящим и никогда не переходило в прошлое, было бы не временем, а вечностью. *Исповедь бл. Августина*, кн. XI, 14 (*лат.*).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

А.Я. в овальной раме

15 сентября 1936

Две ночи поднимаются навстречу друг другу, одна на Западе, другая на Востоке, чтобы, соединившись, слиться в одну безбрежную ночь.

Это ночь забвения.

Забывается всё; забудут и нас, и тех, кто нас забудет. Назвать ли эту историю поучительной? Мы грезили будущим, не чувствуя затхлый запах, который оно издаёт, не замечая, как будущее разлагается на ходу; мы жили будущим и чуть ли не в самом будущем, а оно тем временем превратилось в прошлое; так уличный светофор переключается с зелёного на красный, не успев загореться жёлтым.

Некогда в тридевятом царстве, в переулке у Красных Ворот жила Анна Яковлевна Тарнкаппе. Пишущий эти строки, может быть, единственный, кто её помнит.

Уже в те времена никаких ворот не существовало, не осталось деревьев на Садовом кольце; смутно помнится Сухарева башня, слышны звонки трамвая; на углу Мясницкого проезда в керосиновой лавке продают керосин; всё ещё кажется очень высоким дом Ефремова, цитадель воровского и нищенствующего сброда, ещё не снесён двухэтажный особнячок на площади Красных Ворот — там, говорят, родился Лермонтов.

Что касается переулка, то здесь ничего не менялось, по крайней мере, за последние пятьдесят лет. Возможно, этим объясняются некоторые кажущиеся несообразности в рассказах Анны Яковлевны.

«Veuillez avoir l'obligeance de ne pas mettre vos pieds sur le canapé¹. Я на нём сплю».

Некто в ботинках, не однажды побывавших в починке, в бумажных чулках на резинках, которые выглядывают из-под коротких штанов, ёрзает на её антикварном ложе.

¹ Убедительная просьба не забираться с ногами на диван (*фр.*).

«Должно быть, поэтому, — она вздыхает, — мне так часто не спится. Так теперь принято: есть не за столом, спать не на кровати...»

«А сны тебе снятся?»

«Иногда. Но я догадываюсь, почему ты спрашиваешь. Ты хочешь сказать, что это был сон».

Писатель радостно кивает.

«Так вот, к твоему сведению: ничего подобного. Это не сон. Лежу, ворочаюсь с боку на бок... Нет, думаю, не уснуть».

Квартира Анны Яковлевны находится на первом этаже. Тусклая лампочка озаряет могильным светом коридор, двери, за которыми прячутся жильцы, и массивный сундук, похожий на небесный камень Кааба. Никто не решается убрать его с дороги или попросту вынести на помойку, никто не «поднимает вопрос». Смутная догадка владеет жильцами, что сундук охраняет квартиру от несчастий. Ключ от всяческого замка давно потерян, никто не знает, что хранится в сундуке, скорее всего он пуст. Изредка на нём ночует какой-нибудь гость из провинции.

Но на самом деле ключ не пропал. Он хранится в шкатулке, а шкатулка лежит в хрустальном гробу. Гроб — на дне океана. И не где-нибудь, а на дне самой глубокой в мире Филиппинской впадины. Недавно экспедиция в батискафе опустилась на самое дно и убедилась, что он там. Вещи живут тёмной жизнью, более долговечной, чем жизнь людей.

В старых квартирах обыкновенно бывают высокие потолки. Последний раз потолок белили в год отречения императора Николая Второго. Рядом с лампочкой висит колокольчик звонка, на стене справа от входа — счётчик Сименс-Шуккерт, оба слова с твёрдым знаком на конце; встав на цыпочки, можно увидеть, как в окошке вращается диск с красной меткой. Висит объявление: экономьте электричество, каллиграфический почерк Анны Яковлевны угадать нетрудно. Ей же принадлежит ряд других воззваний. Если по дороге на кухню вам понадобится зайти в закуток и, накинув крючок на дверь, усесться, вашему отомлённому взору предстанет наставление, как вести себя в местах общественного пользования: спускать за собой воду, не оставлять брызги на крышке стульчака, не засиживаться, читая во время отправления естественных нужд художественную литературу.

Библиотека помещается тут же, в нише перед пыльным окошком, выходящим на лестничную площадку: Ник.Огнев, «Дневник Кости Рябцева», некогда чрезвычайно модное произведение; его же, «Исход Никпетожа»; Юрий Либединский, «Неделя»; «Княжна Джаваха», роман дореволюционной писательницы Чарской. А также разрозненные номера журнала «Красная Новь», самоучитель игры на гавайской гитаре и ряд других сочинений. Некоторые книги сохранились частично или представляют собой пустые картонные обложки: все страницы использованы. Библиотека регулярно пополняется.

При входе в квартиру первая дверь направо — жилплощадь Анны Яковлевны. Одно из ключевых слов эпохи. В словаре можно найти поясняющие его фразеологические обороты. Площадь предоставляется. Её занимают, уплотняют или освобождают. Остался без площади. За отсутствием площади. Прописан на чьей-то площади и проч. Окно смотрит во двор, похожий на все московские дворы. Вещи живут долго, но всё же не бесконечно, зато голоса, улыбки, запахи живы и тогда, когда ни от людей, ни даже от вещей ничего не осталось. От диванной материи восхитительно пахло куревом. Вся стена над спинкой дивана была увешана портретами в круглых, овальных, прямоугольных рамках и рамках, в мундирах и туалетах последнего царствования. Фотографиями был уставлен и комод, там среди прочих помешалась сама хозяйка, какой она была, по удачному выражению поэта, *в те баснословные года*.

«Нет, — сказала она, — я же вижу, что ты мне не веришь. Я не могу рассказывать, когда мне не верят!»

Томительная пауза; Анна Яковлевна устремила надменный взор в пространство; ты помотал головой, что могло означать и опровержение, и согласие. Ясно, по крайней мере, что главное в историях Анны Яковлевны — это занимательность, а не достоверность. Ноги в ботинках торчат над краем дивана, ты весь ожидание.

«Так вот... — глубокий вздох, — на чём я остановилась... Делать нечего. Дай, думаю, пройдусь... Подышу свежим воздухом. Выхожу. Дивная тишина. В небесах торжественно и чудно. Кто это сказал, тебе известно?»

Писатель надул щёки, выпучил глаза. Энергично кивнул и издал непристойный звук.

«Фу!» Анна Яковлевна облила презрением собеседника, и на некоторое время вновь воцарилось молчание.

«Между прочим, он родился в двух шагах от нас...»

Можно было бы и не намекать на двухэтажный домик Лермонтова: знаем; каждый знает.

«Тут рядом и Пушкин жил — в Харитоньевском. В раннем детстве».

«Дальше», — сказал писатель.

«Дай, думаю, прогуляюсь...»

«Это ты уже рассказывала».

«Попрошу меня не торопить! Горят фонари, во всех домах темно. И такое чувство, как будто я куда-то попала, где до сих пор никогда не была. Как будто я в царстве умерших...»

«Такой сон, да?»

Она фыркнула. Неужели мы настолько выжили из ума, что не в состоянии отличить сон от действительности? И потом, если не спится, то какой же это может быть сон. Анна Яковлевна сунула в рот папироску, потрясла коробком перед ухом, есть ли ещё спички.

«Фу. — Она с наслаждением затынулась, выпустила дым к потолку и помахала рукой в воздухе. — Можешь ли ты мне сказать, кто изготавливает эти отвратительные папиросы?»

«Дукат».

«Qu'est-ce que c'est que ce Дукат?»

«Фабрика, — сказал он небрежно. — Там написано».

II

Древо корнями кверху

14 сентября 1936

Итак, что же произошло? Анна Яковлевна вышла из подъезда, одиночество охватило её, словно порыв ветра. Перед ней короткий Боярский переулок вёл направо к недавно сооружённой станции метро, налево уходил Большой Козловский. Напротив — красивый особняк и стена чехословацкого посольства. Жёлтые конусы света покачиваются под тарелками ночных фонарей, прохладно, зябко. И тут внезапно доносилось цоканье подков по булыжной мостовой.

Не зря сказано кем-то: наш мир — сновидение без сновидца. Но это не был сон. Это ехал извозчик.

Это был могиканин почти уже вымершей профессии. Вдалеке, на пересечении Большого Козловского с Большим Харитоньевским, выехал из-за угла и погромыхивал навстречу музейный экипаж. Конь стал, перебирая копытами. Некто в картузе с высоким околышем, с бородой, расчёсанной на обе стороны, повернул из коляски клокатые брови к Анне Яковлевне. Не подскажешь ли, мать, где тут церковь Харитония. Анна Яковлевна была вынуждена ответить, что церкви больше нет. Куда ж она делась? Снесли.

«Ты знаешь, что это была за церковь? — Мальчик помотал головой. — Вот видишь, я, наверное, последняя, кто ещё помнит. В этой церкви венчался Боратынский, был такой поэт».

Эва, сказал мужик в картузе, вот так новость; а это что за улица? Анна Яковлевна назвала наш переулок. Ба, уж не тот ли; да ведь он-то мне и нужен.

Мужик стал вылезать, пролётка накренилась под его тяжестью, лошадь переступила ногами. Возница по-прежнему неподвижно возвышался на облучке. Бородатый гость шагал животом вперёд, он был невысок, дороден, суров. Квартира спала, и никто не узнал о визите. На цыпочках в полутьме Анна Яковлевна прокралась на кухню, поставила медный чайник на керосинку, заварила чай в пузатом фарфоровом чайничке с покалеченным носиком. Гость сидел на диване под фото-

графьями, расставив ноги в портах дорогого сукна и высоких смазных сапогах. Обнажив лысую голову,пил вприкуску, отдуваясь, держа блюдечко на растопыренных перстах. Важно кивнул, услышав, что хозяйка покупает чай на Мясницкой в знаменитом «китайском» магазине. От Высоцкого, стало быть. Она возразила, магазин был перловский. Как же, закивал гость, ещё бы не знать: Перлов Сергей наша родня.

«Интересно всё же. — Анна Яковлевна держит на отлёте курящуюся дымком папироску, разглядывает пустую пачку. — Дукаг... это от ducatum, что означает герцогство. Какой же, спрашивается, герцог, да и просто порядочный человек, решится взять в рот эту дрянь?.. Vous êtes fou, ты с ума сошёл! — зашипела она, когда, улучив момент, писатель нацелился выхватить папиросу из её пальцев. — Убери руки. Твоя мама и так недовольна, что ты торчишь у меня целыми днями...»

«А я уже пробовал», — гордо сказал он.

«Пробовал, что это значит?»

«На даче. Из листьев».

«Вот как. Из каких это листьев?»

Разговор о родне продолжался, полуночный гость допил последнюю чашку, перевернул и положил на доньшко огрызок сахара. Как если бы время замедлило бег, всё ещё было далеко до рассвета. От близких родичей и своих перешли к предкам, подтвердились предания. Прадед-татарин родом из Бугульмы, расторопный мужик по прозвищу Козёл, накопил денег, выкупился у барыни и в столицу прибыл в самую удачную пору: только что французы оставили Москву. Земля была дешёва. Он купил участок, разобрал пепелище и построил доходный дом. Потом ещё один, завёл торговлю, обзавёлся знакомствами, связями, под конец жизни был уже купцом второй гильдии. С тех пор перелок называется Козловским.

Выходит, подмигнув, сказал гость, мы с тобою сродственники. Белая кость, она из чёрной произошла.

«А у тебя какая кость?» — спросил мальчик.

«Белая. У всех людей кости белые. Это просто так говорится».

Она объяснила — впрочем, знала это и раньше: из всего козловского потомства в живых остались сын и дочь. Козлов-младший был дедушкой ночного визитёра, то, что этот гость в самом деле посетил Анну Яковлевну, не подлежало сомнению: «вот тут сидел, где ты сейчас сидишь». А дочь вышла замуж за барона Терентия Карловича фон Тарнкаппе.

Тут пошли разного рода генеалогические подробности, хитренькая усмешка показалась на увядшем лице Анны Яковлевны.

«Между прочим, говорят... хотя, конечно, проверить не так просто... Одним словом, считается, что барон Тарнкаппе был внебрачным отпрыском — угадай, кого?»

Писатель спросил, что значит внебрачный.

«Бастард. В некотором роде незаконный... laissons, оставим это. И вообще, если я обо всём этом рассказываю, ты понимаешь? Не для того, чтобы ты рассказывал другим».

Сейчас она скажет: ты уже большой, должен понимать. Не раз приходилось замечать, что взрослые употребляют слово «большой» в двух противоположных смыслах: и как комплимент, впрочем, достаточно сомнительный, и как упрёк, абсолютно необоснованный.

«Дальше», — сухо сказал он.

«При нём был выстроен этот дом, на месте старого. Да, да, этот самый, где ты живёшь... Сыновья Терентия Карловича, вон они, все трое, — Анна Яковлевна подняла глаза на стенку, — пропали без вести. А если точнее...»

Она смотрит в пространство. Что она там видит?

«Если точнее, были расстреляны».

Писатель смотрит на неё круглыми глазами.

«В двадцатом году, во время гражданской войны. При отступлении... Старший, Яков, — это мой отец».

Спохватившись, она бросает погасшую папиросу в пепельницу. Погружённая в загадочные мысли, поднимает окурок, снова роняет.

«Вот так, друг мой, — проговорила она. — Это бывает. Дом был записан на моего отца, я единственная наследница. Так что, как это ни смешно, — она развела руками, — дом принадлежит мне».

Опять же, как ни смешно, тебя не смущало странное явление гостя. Об Анне Яковлевне и говорить не приходится — с неё, как говорится, взятки гладки. Вокруг Анны Яковлевны происходили чудеса. Но, если вспомнить, сколько таких выходцев бродило по улицам в те годы, пряталось в норах коммунальных квартир!

Времена смешались, и в некотором смысле всё существовало одновременно.

Он спросил:

«Весь дом?»

«Да, — сказала она сокрушённо. — Так я ему и объяснила. Но он и так знал, поэтому и приехал».

«Откуда?»

«Не знаю; не интересовалась. А главное, никак не мог понять, что всё это не имеет никакого значения... Спрашивает, где документы. Нет никаких документов, всё пропало. Выходит, ты не могла доказать, тебя и попёрли. Я говорю: вы хотите сказать, что меня выгнали? Пытаюсь ему объяснить, что меня — как это называется — экспроприировали. Сперва был организован домком. Какой такой домком? Комитет по управлению и уплотнению. Слава Богу, — сказала Анна Яковлевна. — Люди остаются людьми. Оставили за мной эту комнату».

«Дальше».

«Что дальше?»

«Дальше рассказывай».

«Мой купец словно с Луны свалился; спрашивает: а кто же ещё здесь живёт? — Жильцы. — Кто такие? — Разные. — Ладно, сказал он и хлопнул себя по коленям, некогда мне тут с тобой тары-бары разводить, я желаю откупить у тебя дом. — Господи, говорю я, что вы будете с ним делать? — Не твоя забота. О цене сговоримся, составим купчую, всё как положено. И предлагает задаток, представляешь себе? Разворачивает бумажник и вынимает пачку банкнот. Я, говорит, дом отремонтирую, приведу в божеский вид. Конечно, и тебя не забуду. Выберешь себе какой-нибудь этаж, а всю эту шантрапу вон. Приличным господам будем сдавать».

«Я уж не стала говорить, — продолжала Анна Яковлевна, — на что мне эти банкноты. Что я с ними буду делать? — Она усмехнулась. — Вот видишь, он бы и твоих родителей выгнал на улицу. Всё-таки революция имела какой-то смысл».

«Революция, — сказал писатель, — покончила с икс-плю...».

«Не вздумай плевать. Ты хочешь сказать, с эксплуатацией. Veuillez m'expliquer... благоволите объяснить, что это такое».

«Рабочих и крестьян».

«Угу. М-да... Впрочем, в твоих словах есть доля истины. Этого нельзя не признать».

Таковы были памятные беседы писателя с экс-баронессой Анной Яковлевной Тарнкаппе.

III

Палеонтология времени (1)

22 сентября 1936

Ты увидел её такой, какой была она в те счастливые дни, когда ты забирался с ногами на диван и пел: «Иксплю, икспля, иксплю!», и в ту ночь, когда возвращались после неудачного путешествия в Колонный зал, о чём речь ниже; ты увидел её в те времена, когда читал её лицо на комодке, — ведь портреты можно читать, даже не сознавая этого, — и на фарфоровом, в чёрных трещинках медальоне колумбария, и тотчас, через много лет, услышал её журчащий голос, звучный прононс: «Veuillez avoir l'obligeance!..»; ты увидел переулок, и дом, и квартиру, где прошли лучшие годы жизни, и вспомнил, как однажды, а может быть, и не один раз, тебе привиделось, будто ты лежишь на её диване и видишь сон, и знаешь, что этот сон во сне есть не что иное, как действительность.

Гипертрофия памяти, о этот старческий недуг, подобный гипертрофии предстательной железы. Молодость умеет сопротивляться, мо-

лодость побеждает агрессию памяти; беспамьяство — её защитный механизм: мы молоды, откуда способны забывать. Но незаметно, неотвратно наши окна покрываются копотью памяти. Отложения памяти накапливаются в мозгу. Словно горб, склеротическая память не даёт распрямиться. Утрата способности забывать, вот что такое старение; мы умираем, раздавленные этим бременем. Итак, берегитесь! Вы заболете той же болезнью. Вот что могло бы сказать старшее поколение младшему. Берегитесь: когда-нибудь и у вас начнёт расти эта опухоль, и вас однажды настигнет бессонница воспоминаний. И уберечься невозможно.

Вернёмся всё же к начатому рассказу. Жилплощадь родителей. По имеющимся сведениям, она представляла собой длинную, наподобие пенала, комнату с окном в переулоч. Занавес на кольцах делил её пополам. Получилось две комнаты. В первой половине находилась оттоманка, на ней спал писатель, ближе к двери — шаткий столик, заваленный растрёпанными детскими книжками, под ним было свалено ещё кое-какое имущество: игрушки прежних лет, деревянное оружие, коробка с фангиками, интерес к которым угас, и альбом марок — новое увлечение. На этой же половине помещались буфет, книжный шкаф, обеденный стол и древнее пианино. От множества вещей комната, казавшаяся ребёнку просторной, выглядела ещё вместительней, он расхаживал, как в хорамах, там, где взрослые передвигались бочком; но если бы, например, пришлось освободить жилплощадь, она оказалась бы совсем небольшой — удивительно, как могло всё это уместиться; вообще говоря, это была одна из загадочных черт эпохи.

Скажут: не жильё, а камера хранения, чулан прошлого; скажут — судорожные усилия сберечь обломки безнадёжно отжившего; и в самом деле, было нетрудно угадать в этом нищенском изобилии, в мутных стекляшках люстры, в остатках лепнины на потолке, в никому не нужном пианино допотопной немецкой фирмы, с медными подсвечниками и двуглавым орлом, — угадать немое и трагикомическое столкновение эпох. Но, быть может, тут сказалось врождённое стремление сохранить непрерывность времени. Пускай нить, соединявшая прошлое с настоящим, рвалась то и дело, — руки людей ловили, кое-как связывали повисшие концы, снова подхватывали и снова связывали. Удивительное было время — всё в узлах.

Что касается второй половины, так сказать, второй комнаты, там стояли зеркальный шкаф, туалетный столик, остальное пространство, загородив часть окна высокой никелированной спинкой, занимала кровать родителей. На ночь задёргивалась портьера; шорохи, вздохи, слабый стон матрасных пружин, обрывки загадочных речей доносились до мальчика.

«Не могу забыть, всё время думаю...»

Отец: «Перестань».

«Всё время...»

«Откуда ты знаешь, что это была девочка?»

«Знаю. Теперь я уже никогда не смогу...»

«Откуда это известно?»

«Врач сказал».

«Что он сказал?»

«Сказал, у меня заросли трубы».

«Может, к лучшему».

«Как ты можешь так говорить!»

Смешок: «Не надо предохраняться».

«Ты и так не предохраняешься. Всё самой приходится».

«Нет, серьёзно, сама подумай: с нашей зарплатой. И в этой тесноте».

«Другие живут ещё тесней. Посмотри, как ютятся Островские, шестеро в одной комнате. А Гуджаян просто в подвале».

«Вы ещё козу к себе возьмите. Помнишь этот анекдот?»

«А ты поменьше рассказывай. Тебя и так уже считают евреем».

«Но это правда».

«Наполовину. Не забывай, что на пятьдесят процентов ты русский. И вообще, благосостояние растёт».

«Ты поставила будильник?»

Вздых: «Говорят, хлеб подорожает».

«Кто это говорит?»

«Марья Антоновна. У неё сын работает в этом, как его».

«А ты говоришь, благосостояние растёт».

«Да, в общем и целом, без сомнения».

«В общем и целом. А в частности?»

«Я знаю, что ты хочешь сказать. Есть люди, которые сознательно распространяют такие сведения».

Голоса доносятся из темноты, из-под воды, из чаши, заросшей лианами; ты не спишь, ты не спишь.

«Ты видел это объявление? Совсем рехнулась».

«Делать нечего, вот она и пишет».

«Здесь не плюй, там не сори».

«Делать нечего, вот и пишет».

«А у самой комната вся провоняла табаком. Ребёнок дышит табачным дымом».

Снова пауза, ты держишься на поверхности, изо всех сил стараешься не погрузиться в небытие.

«Говорят, в Москву завезли — не поверишь. Сто тысяч тонн бананов».

«Бананов?»

«Из Колумбии».

«Где это?»

«Ну, как тебе сказать», — говорит отец.

Пальмы, джунгли, лианы. Голые, шоколадного цвета туземцы в перьях выглядывают из чащи, потрясая копиями над головой.

Хочется вскочить и показать им в альбоме роскошную серебристую марку.

«А сколько они стоят, ты знаешь?»

«Понятия не имею. Я вообще никогда не пробовала бананов. А ты?».

Пауза.

«Надо ему запретить».

«Ты знаешь, кто она такая?»

«Конечно. Из бывших».

«Ну вот, а ты говоришь».

«Что ты хочешь этим сказать?»

«А то, что я не понимаю: как это таким людям разрешают жить в Москве».

Такие люди. Какие? Вскочить и крикнуть: ей принадлежит весь дом! Так что помалкивайте.

«Подделала анкету, вот и всё».

«Думаешь, это так просто?»

«А то бы её давно вытурили».

«За подделку документов знаешь, что бывает?»

«Взятку, наверно, дала. Небось припрятала брильянты».

«Какие там брильянты...»

«А что. Марья Антоновна рассказывала, у них умерла одна старуха. Совсем нищая была, побиралась. А потом вспороли матрас — там сто тысяч».

«Брехня...»

«Бродит по ночам. Вдруг понадобилось чай пить, я сама видела».

«Ночью?»

«Пописать выходила, а она на кухне зажигает керосинку. Ещё пожар наделяет».

«Не надо преувеличивать. Тихая, культурная старушка».

«В тихом омуте черти водятся».

«Слушай-ка, — сказал папа, — а кто это такая, ты её раньше когда-нибудь видела?»

«Никого я не видела. Я спать хочу».

«Барышня эта. Вчера приходила».

«Ты всё на барышень заглядываешься. Племянница».

«Какая племянница, она ей во внучки годится».

«А ты знаешь, что она разговаривает с мальчиком по-французски?»

«Кто разговаривает?»

«Она».

«Ну что ж, это очень хорошо. Расширяет кругозор».

«По-моему, это опасно».

«Не понимаю, почему?»

«Мало ли что — ещё кто-нибудь сообщит».

Молчание.

«Разве тебе не ясно, что это в высшей степени подозрительная личность?»

«Кто, племянница?»

«Да не племянница. Старуха!»

«Господи, да она сто лет здесь живет».

Я сплю, сказал мальчик. Экспля, эксплю.

«В Москву завезли... Сто тысяч...»

«А где это находится?»

Там еще что-то происходит. Под пальмами Колумбии. Издалека:

«Не хочу».

«Повернись, пожалуйста».

«Ты всегда выбираешь самый неподходящий момент».

«Смилуйся, государыня рыбка».

«Ты всегда... — Я сплю, сказал мальчик. — О-о!» — и в её голосе смешались протест и восхищение. Тихий скрежет пружин — последнее, что он услышал. И прошло много часов, много дней. Уже близился рассвет. Теперь ему снилось, что он спит и видит сон. Сон склонился над ним и будит его.

О снах во сне сказал далекий соотечественник Анны Яковлевны Тарнкапше: мы близки к пробуждению, когда во сне сознаём, что видим сон. Следует ли из слов Новалиса, что, если мы стараемся убедить себя, что мы бодрствуем, значит, мы грезим? Сон — это ряд ступеней, ты нисходишь в подвал, потом восходишь наверх, там чердак, там сквозь окно в крыше голубеет рассвет. Слабый стук будильника проник в слух, вот-вот прогремит гром, мальчик спал и думал во сне о том, что мать увидела ночью Анну Яковлевну на кухне, но не разгадала тайну, не узнала, для кого заваривался чай из китайского магазина. И, чтобы окончательно пробудиться, он встал и на цыпочках вышел в коридор.

Ему не было холодно в ночной рубашке, впрочем, как-то само собой получилось, что он одет. Возможно, он забыл, что возвращался в комнату надеть чулки и заправить в штаны рубашку. Как и Анна Яковлевна перед тем, как подъехала коляска с бородатым родственником, он стоял перед подъездом, тускло светила мостовая в сиянии фонарей, из тёмной листвы за стеной чехословацкого посольства бесшумно вылетела большая ночная птица и, махая крыльями, полетела низко, на уровне первого этажа, к перекрёстку, он шёл за ней. Он увидел, что, долетев до поворота, она уселась на каменную тумбу — должно быть, ждала его. Это была учёная дрессированная птица, когда он приблизился, она широко растворила клюв. Он не мог разобрать слов. Навстречу шёл кто-то, невозможно было понять, мужчина или женщина, далеко в просвете Большого Харитоньевского переулка, за спиной

идущего светлело, над Чистыми прудами занималась заря; но когда этот кто-то приблизился, писатель догадался, что навстречу идёт племянница, та самая барышня, о которой говорил отец. Она остановилась шагах в десяти и поманила его к себе. Он успел сделать шаг навстречу и был сердит на мать, которая наклонилась над ним и гладила ему волосы. Пора было в ненавистную школу.

IV

Племянница

10 апреля 1937

Анна Яковлевна была больна, покоилась под выставкой фотографий, маленькая, с необыкновенным румянцем, заострившийся нос торчал над одеялом, рядом на стуле стояла кружка с остывшим чаем, лежали порошки в воцаной бумаге и книга, которую она не раскрывала, роман Пьера Лоти.

Можно добавить, что под Пьером Лоти лежала ещё одна тоненькая книжка стихов: как ни странно, Бодлер.

«Если, — сказал писатель, держа в обеих руках большой ломоть хлеба, намазанный повидлом, — поставить ракету на колёса, получится ракетный автомобиль».

«Сперва прожуй...»

«Если присоединить к динаме электромотор, знаешь, что получится?»

«Нет, не знаю».

«Вечный двигатель. Динама будет давать ток для электромотора, а электромотор вертеть динаму».

«Ты это сам изобрёл?»

Инженер самодовольно повёл плечами.

«Я в этом ничего не понимаю. У тебя сейчас капнет. Только, пожалуйста, не на пол...»

«Насколько мне известно, — продолжала она, — вечный двигатель невозможен, хотя столько людей потратили жизнь на его поиски. Не думаешь ли ты присоединиться к ним?»

Мальчик слизывал стекающее на пальцы повидло. «Pas du tout, — сказал он презрительно, — вовсе нет. Ведь я его уже нашёл».

Анна Яковлевна осведомилась, что нового в училище. Так она называла, возможно, из упрямства, 613-ю среднюю школу в Большом Харитоньевском, воздвигнутую на месте взлетевшей на воздух церкви. Но что может быть нового в школе? Он пожал плечами.

«У тебя криво висит галстук... ах нет, не подходи. Подхватишь от меня. Вытри пальцы».

Порылась за пазухой и вытащила градусник.

«Тридцать восемь и ноль», — стоя у окна, объявил писатель.

«Дай-ка мне... Гм, действительно... Подойди к зеркалу и поправь».

Из тусклого, в чёрных царапинках, стекла, словно из окна в прошлое, на тебя уставилась голова с выпученными глазами, оттопыренными ушами — и высунула язык.

«Заправь под пиджачок. Попроси маму, чтобы она тебе выгладила».

Он объяснил символику алого пионерского галстука. Три конца галстука обозначают Третий Интернационал. А также три поколения революционеров: большевики, комсомольцы и мы.

«Кто это — мы?»

Мальчик сотворил перед зеркалом пионерский салют. В его руках появились невидимые палочки, затрещала сухая дробь барабана.

«Юные пионеры, — проговорил он, — тр-ра-татата! В борьбе за дело, трам-тарарам, будьте здоровы. Нет, — поправился он, — будьте готовы».

Он запел:

«Взвейтесь кострами, синие ночи! — Маршируя по комнате, чуть не налетел на стул. — Этот красный галстук смочен кровью борцов за дело рабочего класса».

«Угу, — пробормотала Анна Яковлевна. — Не испачкайся».

Но она была далека от иронии. Возможно, её мысли витали где-то. Она промолвила:

«Вот что я хочу тебе сказать... Ты, наверное, уже рассказал маме, кого мы вчера видели?»

«Милицionеров».

«Совершенно верно. А когда возвращались, на обратном пути. То же рассказал?»

Он помотал головой.

«Правильно. Не надо её беспокоить. Между прочим, я как-то начинаю сомневаться... — Она закрыла глаза ладонью, в комнате стало сумрачно, стало холодно, зеркало белело в углу, белело окно. — Накрой меня ещё, вон там лежит... Я как-то... — бормотала она, стуча зубами, — начинаю... Меня тут многие считают помешанной, но уверяю тебя... б-р-р... Не надо было ездить... Ах, не надо было... И тебя ещё пощипала с собой...»

Её голос, прерываемый кашлем, всё ещё слышался из-под одеяла и пледа, когда произошло событие, которому едва ли стоило придавать значение, а впрочем, как посмотреть, ведь память не гарантирует ни важности, ни случайности происходящего. В комнату вошла племянница. Или, что было правдоподобней, внучатая племянница, а ещё точнее, седьмая вода на киселе. Та самая. Забежала к больной по дороге куда-то.

Волосы окружили её светящимся нимбом — теперь она стояла у окна, ее лицо погрузилось в сумрак.

Кажется, она училась в театральной студии. Что же вы ставите, спросила Анна Яковлевна. «Платон Кречет». Это что, из современной жизни? Замечательная пьеса, драма, сказала гостья. Но со счастливым концом. — И о чём же эта пьеса? — Ах, бабушка, долго рассказывать. Это такой хирург, он влюблён в одну девушку, а у неё отец умирает во время операции. Но, несмотря на это, они любят друг друга. — Извини меня, детка, я совсем бестолковая: кто это, они? — Я же говорю, Кречет и Лида! — Всё так же неожиданно она попрощалась, её глаза, золотистокarie, взглянули на мальчика, каблучки простучали по коридору.

Самое удивительное состояло в том, что она была похожа на ту, другую, висевшую за комодом.

И это несмотря на то, что дама за комодом была, осторожно выражаясь, неодега, на племяннице же было платье и пальто.

В чем же тогда состояло это сходство? Ведь нельзя же себе представить, чтобы тебе, в этом возрасте, могло придти в голову, что если бы племянница сбросила себя всё, то оказалось бы, что она точь-в-точь та самая, в углу за комодом. Что она, чего доброго, позировала неизвестному художнику! И что это ошеломляющее открытие было сделано в те короткие минуты, когда девушка появилась в комнате, чтобы тотчас упорхнуть прочь. *Vraiment!*¹, малоправдоподобное предположение.

Необходимо объяснить. Наше описание жилища Анны Яковлевны будет неполным, если мы опустим одну немаловажную деталь: по обе стороны от окна помещались, одно за комодом, другое за диваном, два произведения искусства. Об иконе, висевшей, как полагается, в правом углу, много говорить не приходится, слава Богу, она не бросалась в глаза. (Хотя, если присмотреться, тоже кого-то подозрительно напоминала — уж не хозяйку ли комнаты? Но эта гипотеза — позднейшего происхождения.) Гораздо занятней был другой, куда менее благопристойный, а лучше сказать, прямо-таки скандальный, портрет в затейливой раме с остатками позолоты. Писатель как будто даже не обращал на него внимания, а всё же нет-нет да и взглянёт.

«*Comment la trouvez-vous, cette peinture?*»² — осведомилась однажды, не без некоторого беспокойства, Анна Яковлевна.

Писатель молчал — не потому, что не умел ответить по-французски, а потому, что не знал, что ответить. Картина вызывала неясную тревогу.

Это был типичный образец буржуазного разложения предреволюционных лет. Представлена была нагая особа в бокале с шампанским —

¹ Право же.

² Как тебе нравится эта картина? (*фр.*)

заметьте, не с бокалом, а в самом бокале, достаточно, впрочем, вместительном. Как она там очутилась? Одну ногу она подогнула, так как обе ступни не помещались на узком дне, прозрачно-золотистый напиток доходил ей до груди; приглядевшись, можно было заметить, что пальцы другой ноги отталкиваются от стеклянного дна, — казалось, она старается всплыть.

Русалка потеряла рыбий хвост, — одно из возможных объяснений, — расщепившись внизу, превратилась в женщину. И вот теперь рвётся прочь, ищет выбраться из стихии, которая стала ей чуждой. При этом она не забывала прикрыть поджатой правой ногой низ живота, ведь она была женщиной. Её бёдра образovali форму слегка перекошенной лиры, подчеркнув изгиб её тела. Она тянется вверх. Вода ласкает живот с ямкой пупка, ласкает бёдра, вот, оказывается, в чём дело: влага делает почти ощутимым музыкальное струение линий тела. Маленькие груди — левая чуть ниже правой, так что сосок оказался ниже уровня жидкости, правая выступила из воды. Надо признать, умелый мастер! И к тому же себе на уме. Легко, почти шутя, ушёл от упрощённой симметрии, но не запретил зрителю почувствовать эту симметрию. Линия рук особенно удалась. Одна рука под водой скользит по стенке сосуда, другая тянется к тонкому краю. Длинные волосы колышутся на поверхности вод. Взгляд наблюдателя поднимается к животу и груди, к круглому подбородку, и тут его ожидает ещё одна странность, если угодно, фокус художника: переливы света в бокале, игра бликов на поверхности вина лишили это лицо сколько-нибудь ясного выражения. Оно как будто обращено к вам, как будто вопрошает о чём-то и тотчас тонет, не дождавшись ответа, в прозрачной и зыбкой, почти нематериальной среде, так и хочется сказать — в материи сна. И в самом деле: не подсказало ли сновидение художнику его сюжет? Или он попросту приглашает полюбоваться, хочет выразить весьма тривиальную мысль, что тело женщины красноречивей её лица?

Грамматика женского тела, может быть, и не столь сложна, не так уж много этих падежей и глагольных форм, и все времена заменены одним настоящим; зато стилистика, поэтика, внутренние рифмы и ассонансы — о, тут есть над чем потрудиться. Лицо одухотворяет чувственность тела; в свою очередь, нагое тело расшифровывает загадку лица. Мы переселяемся в иную эпоху, в иное настоящее, мысли такого рода бродят в голове у зрителя, пока, наконец, он не отводит глаз, не отворачивается, чтобы стряхнуть минутный гипноз манерного, щекочущего эстетизма, вспомнить, где он живёт, в какой стране, в какое время.

Эта смешная картинка. Это лицо — лицо золотоокой племянницы, при всей абсурдности такого предположения. Было ли оно, это лицо, красивым? Задумчивость, неожиданная у девушки, поднявшейся из воды, — задумчивость о себе, о своей сущности, смутная догадка об участии, которая ждёт её в мире холодного воздуха, в чужой, опасной среде. Во-

да — ибо, в конце концов, это была первоматерия, из которой вышла новая Анадиомена, — вода не выгалкивала её, вопреки физическому закону, напротив, тянула назад, в материнское лоно, оберегала от искушений, от насилия. Но, верная своему назначению, девушка рвётся ввысь, в мир, наружу. Её судьба впереди. Никакого представления о катастрофе, лишь смутное чувство, предвидение утраты.

Позвольте, однако: беседовать на подобные темы с ребёнком? (Если предположить, что такая беседа могла состояться.) Или, вернее, с маленьким мужчиной — раз уж сомнительная картина притягивает его взгляд.

«Comment la trouvez-vous, cette peinture?»

Она и не ждет ответа.

«Видишь ли, что я хочу тебе сказать...»

Сейчас она скажет: ты уже не маленький. Как будто он и без того не понимает, в чём дело. Но, собственно, в чем?

«Когда-нибудь ты поймёшь: самое совершенное на земле, истинный венец творения, — да, не удивляйся, — это женщина... То, что некоторым людям кажется неприличным, на самом деле — красота. А красотой, запомни это, не может быть неприличной, не может быть непристойной, красота есть нечто священное. Здесь, конечно, изображена идеальная женщина, было такое время, когда художники изображали идеальных женщин. Но я тебе скажу, что каждая женщина более или менее приближается к этому образцу. Не к этой картине, конечно, ты же понимаешь, что этот бокал, в котором она барахтается, — это шутка... Я говорю вообще».

Анна Яковлевна почесывает гребенкой в затылке.

«Ты можешь мне не верить, но я тоже была когда-то... — она вздыхает, — да, да, — она прикрыла глаза, кивает седой головой, — очень недурна собою!»

Мать застала тебя за рисованием. Ужас! В воде колыхается нечто, плывёт утопленница. Хищные рыбы ринулись за своей добычей. Вдали корабль спешит на помощь. У неё длинные волосы, и тянутся следом на поверхности вод.

«А уроки ты сделал? Я запрещаю тебе ходить к...»

V

Визит терапевта сам по себе есть лечебное мероприятие

14 апреля 1937

Доктор Арон Каценеленбоген, медицинское светило Куйбышевского района столицы, могучий, пухлый, с дорогим перстнем на указательном пальце и печаткой на мизинце, с уходящей к затылку сверкающей

лысиной, сидел, расставив ноги по обе стороны живота, силился дотянуться губами до массивного носа, шумно втягивал воздух в широкие волосатые ноздри, решительно похлопывал себя по коленям и сдвигал брови, вновь погружаясь в таинственное раздумье.

«Доктор, — простонала больная, — я поправлюсь?»

Доктор Каценеленбоген хранил молчание.

«Я, кажется, вас о чём-то спросила!»

«Возможно».

«Что возможно?»

«Очень может быть».

«Что, что может быть?» — взывала она.

«Очень может быть, что вы поправитесь».

«Доктор, вы невозможны. Почему вы мне ничего не прописали?»

«Нет необходимости».

«Понимаю, — сказала она упавшим голосом. — Вы считаете, что я безнадежна».

«Я этого не говорил».

«Но подумали. Скажите мне правду. Я должна подготовиться, написать завещание... Доктор, с кем я говорю: с вами или со стенкой?»

«В данном случае это одно и то же. Что вы от меня хотите?»

«Почему вы мне ничего не прописываете?»

«Потому что вы и так поправитесь».

«Я считала вас моим старым другом».

«Можете продолжать считать меня вашим другом».

«Сколько лет мы знакомы?»

Доктор Каценеленбоген взвёл глаза к потолку, пожал плечами.

«Я страдаю. Я, может быть, лежу на смертном одре. А вы ничего не предпринимаете».

Доктор поднял густейшие смоляные — явно крашенные — брови и на мгновение вышел из задумчивости. Втянул воздух в ноздри, повернул на палец кольцо с жёлто-туманным камнем.

«Но я здесь, как видите. Да будет вам известно, что визит врача уже сам по себе является терапевтическим мероприятием. Надеюсь, вы и на этот раз убедитесь в этом... Пейте крепкий чай. Проветривайте комнату, у вас ужасная духота. Половину этого хлама, — он обвёл жильё презрительным взором, — давно пора выкинуть на свалку».

«Доктор, как вы смеете так говорить!»

Ответом был шумный вздох, опасно заскрипел единственный стул. Эскулап заколыхался, оборачиваясь.

«А-а, молодой человек. Сколько лет, сколько зим».

Писатель украдкой показал ему язык.

«Ай-яй-яй!» — сказал доктор.

Доктор медицины Арон Каценеленбоген проживал на Чистопрудном бульваре, в доме с барельефами фантастических зверей и растений в

стиле «модерн». Те, у кого ещё есть охота и время пройтись по бульвару, без труда найдут этот замечательный дом. В годы, когда частную практику, разновидность эксплуатации трудящихся, удалось, наконец, пресечь и домашний врач стал такой же архаической фигурой, как извозчик, вывеска с фамилией доктора и часами приёма по-прежнему красовалась у парадного входа, чему отчасти способствовала известность доктора Каценеленбогена, главным же образом то, что его частенько приглашали к влиятельным лицам. Рост и тучность, равно как и высокие гонорары, поддерживали репутацию доктора, который чаще ограничивался терапевтической беседой (обычно сводившейся к нескольким внушительным репликам), высоко ценил свежий воздух и лишь в крайних случаях прописывал пациентам лекарства, бывшие в ходу полвека тому назад.

Доктор Каценеленбоген разделял мнение герцога Ларошфуко о том, что у всех нас находится достаточно сил, чтобы переносить чужие страдания, и что, с другой стороны, мы никогда не бываем настолько несчастливы или настолько счастливы, как мы это воображаем. Он не надеялся на конечное торжество добродетели над пороком и не слишком верил в победу ума над глупостью. Доктор Каценеленбоген не любил рассуждать о вере и религии, справедливо полагая, что нет оснований считать человека образом и подобием Бога, коль скоро у Бога нет никакого физического облика, и втайне считал свою медицину вполне приемлемой заменой церкви; может быть, поэтому в его практике такую важную роль играла ритуальная сторона. И раз уж мы заговорили о вероисповедании, заметим, что та разновидность теизма, которую называют верой в исторический разум, нашему доктору тоже была чужда. К этому вопросу, впрочем, ещё предстоит вернуться.

Что же касается частной, или, по-тогдашнему, личной жизни доктора Каценеленбогена, о ней было известно немного. Доктор был вдов. Хозяйство вели домработницы или, если угодно, экономки; некоторые были его пациентками, другие спаслись от колхозов, сумев при содействии доктора зацепиться в Москве; все эти девушки, сменявшие друг друга, не упускали случая намекнуть в тесном кругу, что они удостоились чести состоять в интимных отношениях с их покровителем, но какова была доля правды в этой похвальбе, сейчас решить невозможно.

«Доктор, я, кажется, не успела рассказать вам, при каких обстоятельствах я простыла...»

«Это хороший признак».

«Я не понимаю!»

«Если вы готовы приступить к рассказу, значит, дела не так уж плохи».

«Но я чувствую, что у меня воспаление лёгких!»

«Будет лучше, — отвечал доктор Каценеленбоген, — если вы предоставите право ставить диагноз более компетентным людям».

Что же это были за обстоятельства?

VI

Уступка беллетризму. О чём она собиралась рассказать

8 апреля 1937

Дела давно минувших дней; впрочем, как уже сказано, занимательность важнее истины. Некоторые подробности, принимая во внимание возраст Анны Яковлевны и другие обстоятельства, могут быть оспорены. Но что такое истина?

Спать не на кровати, есть не за столом — мы уже слышали эти слова. Комната Анны Яковлевны демонстрировала главное, может быть, величайшее завоевание революции, ее важнейший урок, а именно, что без многого можно обойтись. Многое, как выяснилось, было попросту излишним. «Так теперь принято». И в самом деле, стол занял бы слишком много места. Не нужна и кровать, если есть диван. Не говоря уже о том, что оказалось вполне возможным обойтись без Бога, а заодно похерить и государя. Было ли в комнате зеркало, куда можно посмотреть? «Глупая женская причуда, к чему? — говорила Анна Яковлевна. — Я хочу остаться в моей памяти такой, какой я была когда-то. Можешь мне поверить: ко мне летели все сердца». Но зеркало все-таки было.

«Не хочу видеть себя, — сказала она, от ложного, эфемерного образа в поцарапанной амальгаме поворачиваясь к истинному: к фотографии на комодке. — Дама не может появиться одна, надеюсь, ты не откажешься меня сопровождать...»

Не удержавшись, она вновь покосилась на тусклое своё отражение.

«Mon Dieu, как я всё-таки постарела. Сколько мне можно дать, как ты думаешь?»

Ты стоял рядом с ней, ты стал выше с тех пор, как её посетил купец Козлов, а она ещё ниже, и теперь вы были одного роста. В остальном мало что изменилось, если не считать перемен в составе атмосферного воздуха. Что-то происходило в мире, правда, никто толком не знал, что именно происходило. Кое-какие новшества не могли остаться незамеченными: бульжник в переулке сменился асфальтом, чахлый скверик рядом с посольством был обнесён забором, там стояла строительная вышка, это была шахта метро. Потом и она исчезла, и появилось рядом с Хоромным тупиком, лицом к Садовому кольцу и народному комиссариату путей сообщения, изумительное сооружение — похожая на вход в туннель станция подземной железной дороги. Что касается воздуха, то, хотя он по-прежнему состоял из азота и кислорода с незначительной примесью инертных газов, но азота стало больше и к нему присоединилось нечто изменившее прозрачность атмосферы. Крупные объекты,

как-то: дома и дворы, подъезды и подворотни, по-прежнему были хорошо различимы, но те, кто ещё недавно выходил из подъездов, останавливался перекинуться словечком с соседом, заглядывал в керосиновую лавку, выстраивался в хвост перед продовольственным магазином, — короче, вчерашние обитатели дома и переулка, — растворились в этом воздухе один за другим. Бог знает, что с ними случилось, пропали или стали невидимы, вчера были, сегодня их нет и даже вроде бы никогда не было. Помутнение атмосферы достигло такой степени, что сейчас уже трудно объяснить, каким образом удалось отыскать извозчика, вернее, как он нашёл дом в Большом Козловском переулке. Но мы забежали вперёд: Анна Яковлевна всё ещё в сборах.

«Теперь ты должен отвернуться. Или, пожалуй, выйди... я позову».

Писатель — незачем напоминать, что он был и певцом, — сидя на сундуке в коридоре, пел гимн метрополитену:

«Где такие залы, подземные вокзалы, подземные порталы блестят, как серебро!».

Наконец, из-за двери послышался голос Анны Яковлевны. Он вошёл.

«Voilà!»

Писатель молчал, лишившись дара речи.

«Où est votre compliment? В таких случаях, да будет тебе известно, полагается сказать даме комплимент. — Дрогнувшим голосом она произнесла: — Ну, как?»

Анна Яковлевна ослепительна. Её глаза затуманены. Чёрное, длинное, до полу, шёлковое платье висит на её тощем тельце. Что-то мелко поблескивает на груди, переливается жёлтыми и лиловыми искрами. Некогда мама высказала предположение о припрятанных брильянтах. Брильянты не брильянты, но с ушей свисают мутно-жёлтые стекляшки, и шею обвилось такое же ожерелье. Анна Яковлевна стояла, пошатываясь на высоких туфлях, и как будто не знала, куда деть голые руки в чёрных, длинных, как чулки, перчатках до локтей. Её седые волосы были взбиты и приобрели неожиданный лиловый оттенок.

«Как ты меня находишь? А? — громко дыша от волнения, повторила она. — Я тебе не нравлюсь?»

Писатель по-прежнему безмолвствовал, открыв рот, взирал на неё с испугом и восхищением.

«Духи!» — приказала она, теперь её голос вновь звучал повелительно, как у герцогини. Мальчик подал с комода пустой флакон. Анна Яковлевна потряхивала духами на грудь и плечи, прыскала на ладонь воображаемой жидкостью, провела пальцами за ушами и вдоль шеи. Чудо: слабый, сладко-удушливый запах распространился в комнате.

«Mon éventail. L'éventail!», — повторила она нетерпеливо. Мальчик не знал это слово. Он попытался раскрыть эту странную вещь, сандало-

вый веер, скреплённый нитками, Анна Яковлевна выхватила ветхую принадлежность из его рук. Анна Яковлевна сама повязала ему тщательно отглаженный красный галстук. Наконец, была накинута шуба с воротником, по которому уже прошлись когти времени, прогулялась моль. Извозчик ждал у подъезда.

И это дивное путешествие началось, ехали, покачиваясь на рессорах, вдоль слепых домов, мимо тёмных оград по Большому Харитоньевскому, миновали Мыльников, Гусятников, а там Чистые пруды, и в лицо повеял свежий дух весны, и, высекая искры из-под колёс, вдоль бульварной ограды громыхал светлый пустой трамвай. А там Мясницкая, которая теперь называлась улицей Кирова. Было весело, томило нетерпение, цокали копыта, туман окутал висячие фонари, кучер молча восседал впереди, в глубине экипажа под натянутым верхом блестяли глаза Анны Яковлевны. Пусть твоя мама не беспокоится, говорила она, до рассвета успеем вернуться.

«Пожалуй, я расскажу тебе кое-что. Чтобы ты не скучал... Извозчик!» — сказала она громко.

«Да, мадам».

«Я надеюсь, вы не забыли адрес».

«Сорок лет ездим. Уж нам ли не знать».

«Поторопите лошадей. Мы должны к десяти непременно поспеть».

«Слушаю, мадам».

И подковы застучали чаще, карета колыхалась, шуршали резиновые шины.

«Скажу тебе по секрету, — шепнула она. — Может быть, мы увидим государя».

«Кого?»

«Государя императора».

«Николашку?»

«Фу! Стыдись».

«Его пустили в расход», — сказал мальчик.

«Этого не может быть. Этого никогда не было. Ложный провокационный слух».

«Так ему и надо».

«Как ты смеешь так говорить! Ты это всерьёз?.. Извозчик!»

Голос свыше откликнулся:

«Да, мадам».

«Остановите лошадей. Я с ним дальше не поеду».

На короткое время воцарилось напряжённое молчание, оба вслушивались в дробный цокот копыт, экипаж трясса, нёсся; наконец, она проговорила:

«Я понимаю, ему можно было предъявить кое-какие претензии. Да, я это признаю. Говоря откровенно, и, разумеется, *entre nous*, это был

никуда не годный монарх. Но расстрелять!.. — Она вздохнула. — Я знаю, что этого не было, уж я-то знаю, поверь мне. Но допустим... допустим, что это случилось. Можешь ли ты мне объяснить: за что?»

«За то, что он был оплотом контрреволюции».

«Тпру!»

Два рысака, с оглоблей посредине на немецкий лад, нервно перебирают точёными ногами перед роскошным подъездом.

«Сперва ты. Подать даме руку».

Подобрав шубу и платье, она собирается вылезти. Писатель выпрыгнул из кареты. Но не успел он выполнить долг мужчины, как перед ними очутился страж порядка.

Mon Dieu, какой порядок они нарушили?

VII

Похороны Максима

8 апреля (продолжение)

«Это недоразумение. Вы не смеете. Это неслыханно, — говорила Анна Яковлевна. — Дайте мне руку, я хочу вылезти».

«Здесь останавливаться не положено. — Кучеру: — Проезжай».

«Извозчик! стоять на месте. — Её глаза метали искры из полутьмы. — Это неслыханное самоуправство. Я приглашена... мы оба приглашены. Я требую объяснений. Но дайте же мне, наконец, выйти! Нет, я с подобным поведением ещё не сталкивалась. Требую, чтобы вы извинились».

«Гражданка, — усмехнулся милиционер, — вы, по-моему, перепутали адрес».

«Нет уж, извините. Адрес Благородного собрания мне прекрасно известен».

Он прищурился.

«Какого собрания, чего ты мелешь?»

Анна Яковлевна, путаясь в платье, выбралась из коляски.

«Та-ак», — проговорил милиционер, оглядев её сверху вниз и снизу вверх, и вставил в рот что-то висевшее у него на груди. Пронзительный птичий свист заверещал на всю Дмитровку и пустынный Охотный ряд, и тотчас из-за угла вышагнул второй.

«Товарищ старший лейтенант...»

«В чём дело?»

«Да вот тут...»

Товарищ старший лейтенант спросил документы. Возница неподвижно сидел на козлах, лошади стояли понурившись, было холодно,

зябко, туман наплывал на город и оседал мелкими каплями на бывшем меховом воротнике Анны Яковлевны, на милицейских шинелях, на кургузом пальтеце писателя. Она рылась в музейной сумочке. Траурные полотнища подъезда вздрагивали под мозглым дуновением весны, высокие окна Колонного зала отсвечивали темно и мертво, всё кончилось, если вообще когда-либо начиналось. Анна Яковлевна испустила трагический вздох, «слава Богу, — бормотала она, — хоть паспорт вернули... mais c'est incroyable, это уму непостижимо!» Молча ехали по знакомым улицам. Кучер размышлял, сворачивать на бульвар или дальше по улице Кирова, к Красным Воротам; поровнялись с порталом главного почтамта, и тут навстречу пронёсся таинственный ветерок, показались во мгле красные огни — поистине это была ночь сюрпризов. Анна Яковлевна растолкала спящего писателя.

Киров, будь он неладен, едет с Ленинградского вокзала по улице его имени, бывшей Мясницкой, в Колонный зал, и не этим ли объяснялось наглое поведение милиционеров. Но нет, — да и вряд ли составитель этой хроники помнит проводы Кирова. Нет, это не был любимый Сергей Миронович, вождь питерского пролетариата, тёмная личность, герой, предательски застреленный в коридорах власти. Это был, о ужас... vous avez eu raison, прошептала потрясённая Анна Яковлевна, ты был прав.

Заметим, однако, что и тот, кого везли навстречу, в некотором смысле сравнился с казнённым Кировым в силу непостижимой иронии рока. По крайней мере, мог с таким же правом стать героем известной песни *Помер Максим*. Нигде так явственно не звучит глас народа, как в непристойных куплетах, и ничто с такой очевидностью не выражает величественного равнодушия истории к свершившемуся. *Помер Максим, ну и хрен с ним!* (Или там было употреблено выражение покрепче?)

Экипаж пошатнулся, лошади втащили карету с Анной Яковлевной и писателем на тротуар. Пламя дрожало в стёклах нижних этажей, мелькало в провалах витрин. Анна Яковлевна быстро, нервно перекрестилась. Прошагали факельщики в длинных одеяниях, в шляпах с полями, отогнутыми книзу. Проследовали, кивая султанами, ступая тонкими ногами, две пары вороных лошадей под чёрно-жёлтыми попонами с двуглавой птицей. Проплыл балдахин. Четыре капитана, дворяне древних кровей, стоя по углам катафалка, высоко держали раструбы горящих светильников. Последним шествовал, весь в чёрном, демон в маске, вёл под уздцы верховую лошадь в плаще до копыт.

Нисходит ночь с темнеющих небес. Пустеет улица, и глохнет поскрипыванье колёс роскошного погребального экипажа, ни души в переулках, ни одного нищего на тротуаре, ни единой влюблённой пары в подъездах. Слышно, как вздыхает во сне огромный город. И вот начинает дрожать тёмный пахучий воздух, трепет проносится по проводам, запевают лиловые фонари. Голоса вступают один за другим, низко, глу-

хо, с хрипотцой, но всё чище и уверенней. Хорал огней уносится мимо спящих домов, гремит над площадями, и в тон ему пробуждаются куранты древней башни, бьют чугунные колокола, поддакивают колокольчики, и ещё какие-то подголоски доносятся снизу из подземелий, жалобные дисканты, фальцеты. Слышишь? — говорит Анна Яковлевна. Что это, спрашивает мальчик. Слышишь — это ночная музыка города. Не каждый достоин ей внимать. Не каждому удаётся её расслышать.

Въехали в Козловский.

VIII

Палеонтология времени (2). Размышления a posteriori. Непредвиденный ход событий

27 ноября 1941

Анна Яковлевна вспомнила, что уже много дней не отрывала листки настенного календаря. Между тем время идёт, события налезают друг на друга, с грохотом, с треском, как льдины на реке во время ледохода. Трещит и крошится эпоха. Самые разные происшествия совершаются одновременно, под общим знаком, в едином ключе, но лишь годы спустя осеняет мысль о тайной переключке, о закономерности. Вопрос, не есть ли искомый закон истории всего лишь умозрительный конструктор. Но ведь именно так пишется летопись времени. Так скрепляются проволокой фрагменты черепных костей, кусочки рёбер и позвонки. Динозавр стоит на шатких фалангах исполинских конечностей. Был ли он таков на самом деле, выглядел ли таким, когда ещё ходил по земле?

Молниеносный польский поход, чуть ли не играючи покорена Франция; артиллерия, ракетные установки нацелены на Британские острова, сухопутные войска готовы к вторжению, но затем планы меняются, и гигантская рать пересекает границу восточного соседа от Балтики до Карпат. Ранние морозы сковали грязь на дорогах, облегчив наступление, но застигли врасплох армию, ведь никто не рассчитывал, что покорение России затянется, и потери от обморожений превысили вдвое потери от ран. Меньше месяца осталось до Рождества, и вот, наконец, увидели с холмов Подмосковья, в огромных цейссовских биноклях звёзды на башнях византийской столицы.

Здесь стоит роковая дата — сколько дней и ночей протекло с тех пор? Века миновал, «наш» век, и, мнится, время собрать камни. Найти общий знаменатель, соединить диагоналями события, как соединяют звёзды линиями на карте неба, чтобы вышло созвездие. Доступно ли это тебе, живому свидетелю, недобитой жертве? Скажут: получается

круг, называемый *petitio principii*: вопрошая, каков облик эпохи, мы уже исходим из представления о некоей единой эпохе, а ведь её ещё нет. Ещё предстоит собрать её по кусочкам, и Бог знает, получится ли что-нибудь путное из хаоса разрозненных обломков XX века.

Анна Яковлевна сняла со стены календарь и вышла из комнаты умыться. Её наставления, начертанные красивым наклонным почерком по линейкам, висели в коридоре, в уборной, на кухне. Всё функционировало, горели тусклые лампочки, медленно обращалась красная метка диска за стеклом электрического счётчика. Телефон молчал. Двери жильцов заперты, не слышно ни голосов, ни радио. Все уехали.

Анна Яковлевна боялась выходить на улицу, неизвестно было, работают ли магазины и керосиновая лавка. Она варила кашу из запасов крупы на электрической плитке, пренебрегая заветом экономить энергию. По ночам не спала, полуодетая, готовая ко всему, лежала, накрывшись одеялом и пледом, и погружалась в бесконечные воспоминания. Ночью она говорила себе, что настоящее безумно, будущего у неё нет, — она и не горевала об этой потере, важно было лишь прошлое, ибо в нём содержалось и то, что было раньше, и то, что произошло потом; прошлое было не чем иным, как предсказанием и предвестием настоящего, и, глядя в прошлое, она различала в нём, как в тусклом зеркале, сполохи сегодняшнего дня. Под утро её одолевал сон. Однажды раздался звонок в коридоре. Анна Яковлевна прислушалась; звонок повторился. Она поднялась, проковыляла, не зажигая свет, по коридору к дверям. Почтальон, в фуражке с загнутой сверху тульей, в шинели с воротником и отворотами из собачьего меха (она подумала, что ввели новую форму), ждал на площадке, сверху из окна между маршами лестницы сочился призрачный свет. Был пасмурный день.

Она спросила: «Телеграмма?» Вместо ответа ей самой был задан вопрос — ошеломлённая, она ничего не понимала и, однако, поняла; почтальон говорил по-немецки. Он осведомился, здесь ли проживает госпожа Тарнкаппе. И она ответила автоматически: *das bin ich* (это я), после чего офицер, коротко сказав: *darf ich?* (разрешите?), вошёл в коридор.

Анна Яковлевна не решалась спросить, что всё это значит, кто он такой. Визитёр снял фуражку, щёлкнул каблуками и представился. Прошу, пробормотала она на языке, которым не пользовалась полвека. Вошли в комнату, он окинул стены светлым, льдистым взглядом, Анна Яковлевна взяла у него фуражку, он сбросил собачью шинель на диван, пригладил светлые волосы. Он сидел на низком диване, расставив ноги в узких глянцевого сапогах, на нём был голубовато-серый мундир с красной орденской ленточкой между серебряными пуговицами, что-то вроде вензеля на узких погонах. Чёрносеребряная нашивка над правым карманом: орёл с геометрическими крыльями и свастика. Она не верила своим глазам, не верила ушам.

Офицер спросил: «Откуда это у вас?» Он смотрел на картину в углу между окном и комодом.

Анна Яковлевна не нашлась, что ответить, и пожалала плечами.

«Оригинал? Вы знаете, что это за художник?»

Она пролепетала что-то.

«Правильно. Лео Пуц. Das Mädchen im Glas¹. Мюнхенская школа... — Он добавил после некоторого молчания: — Довольно странное соседство, вы не находите?»

Она не поняла.

«Я говорю, странное соседство. — Он показал на икону в другом углу. — Византийская богоматерь и эта юная дама в бокале».

Анна Яковлевна сжала виски ладонями, ощупала узелок волос на затылке, послушайте, пролепетала она. Офицер взирал на неё несколько иронически.

«Может, это всё-таки ошибка?»

Она чуть не спросила: может быть, вы мне снитесь?

«Вы имеете в виду...?»

«Я ничего не понимаю».

«Включите радио».

Она возразила: радио не работает.

«А вы попробуйте».

Музыка, иноземный, металлический голос диктора. Гость встал и повернул винт; чёрный рупор умолк. Офицер опустил на диван. Есть ли кто-нибудь ещё в квартире, спросил он. Анна Яковлевна покачала головой. Выходит ли она из дому, известно ли ей, что происходит в городе?

«Немецкий капитан является к вам с визитом, не наводит ли это вас на некоторые, скажем так... догадки? Ну хорошо, — он улыбнулся, — не буду вас мучить. Все плохое уже позади. Операция Тайфун успешно завершена. Правда, с опозданием, по причине ужасных дорог. Да и погода не благоприятствовала. Русский климат, ничего не поделаешь!»

Анна Яковлевна молча, с ужасом, зажав рот ладонью, воззрилась на него, капитан закинул ногу на ногу, покачивал носком сапога, постукивал ладонью по колену.

«Военные действия ещё не закончились, но это, я думаю, дело двух-трёх недель, не больше... Три дня назад четвёртая и девятая армии вошли в Москву. Это для сведения».

«Город сдан?»

«Sie sagen es, Frau Baronin»².

«Пожалуйста, не называйте меня так».

¹ Девушка в бокале (нем.).

² Совершенно верно, баронесса.

«В чём дело? Большевиков уже нет».

«Но мы, кажется, перешли в наступление...»

«Кто это — мы? — сказал он презрительно. — Вы хотите сказать: они. Можете не волноваться. Ложный провокационный слух».

«А как же Сталин?»

«Сталин бежал. Ушёл от ответственности. К сожалению, мы не смогли этому воспрепятствовать. В городе спокойно. Оккупационные власти следят за порядком. Есть кое-какие разрушения, но мы постараемся как можно скорее расчистить завалы, всё будет приведено в порядок. So ist es, Gnädigste»¹.

Молчание.

«Я рад, что вы не забыли родной язык».

«Я бы хотела его забыть», — пробормотала Анна Яковлевна.

«Ну, ну, ну. Не надо так говорить. Разве это такая уж неожиданность для вас? Я имею в виду развитие событий. С первых же дней было ясно, что Красная Армия продержится недолго. Впрочем, мы знали это заранее. Колосс на глиняных ногах. Если бы не погода, я думаю, всё завершилось бы ещё в сентябре».

«Вы сказали, война не кончена...»

«Фактически она уже закончена».

Снова пауза, тишина, офицер, это видно по его глазам, по тому, как он постукивает ладонью по обтянутому сероголубой тканью колену, собирается приступить к главной теме.

Как он её разыскал?

«О, это не представляло большого труда. У нас есть списки».

«Позвольте всё-таки... Чем я обязана чести?..»

«Вы хотите сказать, чести моего посещения? Чувствуется прекрасное старое воспитание. Но я полагал, что вы и сами догадались, с какой целью я разыскал вас».

«Keine Ahnung»².

«Вы последняя, оставшаяся в живых наследница старого рода. Ваш муж погиб...»

«Жених...» — пробормотала она.

«Прошу прощения. Ваш жених погиб от рук большевиков».

«Откуда это известно?»

«Нам всё известно. Вы бывшая владелица этого дома».

«Мы здесь не жили...»

«Да, это был доходный дом. Семья жила... позвольте, где же находился особняк родителей? Ах да, вспомнил: на улице Поваров».

«На Поварской. Он сгорел».

¹ Вот так, сударыня.

² Понятия не имею.

«Ваш дом сгорел, имущество разграблено, мужчины расстреляны, вы сами чудом уцелели. И вот на склоне лет, одинокая, бесправная, в вечном страхе за свою жизнь, вы ютитесь в этой комнатушке, в квартире, где некогда жила одна семья, как и в других квартирах, а теперь её заселил всякий сброд... Не достаточно ли всего этого?»

Анна Яковлевна молчала. Умолк и гость.

Он взглянул на часы, хлопнул себя по колену.

«Всё это теперь миновало, как дурной сон. В ближайшие недели будет заключено перемирие, Россия становится союзником рейха, состав будущего русского правительства уже известен. Но я полагаю, — впрочем, вопрос этот, как вы догадываетесь, уже согласован... — я полагаю, что дожидаться, когда новый порядок будет окончательно установлен, нет необходимости. Я предлагаю вам, баронесса, вернуться в Германию. Я не могу представить себе, что могло бы вас удерживать здесь, в этой злополучной стране, после всех бед, выпавших на вашу долю...»

Анна Яковлевна по-прежнему безмолвствует. Лицо капитана приняло непроницаемо-каменное выражение. Офицер сидит, прямой, неподвижный, с задраным подбородком, хрустальные глаза устремлены на хозяйку, но как будто не видят её.

Это что, приказ, прошептала она.

Он усмехнулся.

«Это не может быть приказом. Это приглашение. Вы немецкая дворянка, немецкая кровь течёт в ваших жилах. Вам будет немедленно предоставлено германское подданство, назначена пенсия».

«А если я откажусь?»

«В самом деле? (Подняв брови.) Das ist doch nicht Ihr Ernst»¹.

«Вы увезёте меня насильно?»

Капитан вздохнул. Сумасшедшая, подумал он. Ничего не поделаешь, возраст. Или до такой степени запугана, что...

«Конечно, нет. Никто не заставляет вас уезжать против вашей воли. Как я уже сказал, это приглашение. Как немка...»

«Mein Herr, — промолвила Анна Яковлевна, — я русская».

«Вы имеете в виду, — он показал подбородком на икону, — православное вероисповедание? В Германии русская церковь не преследуется, напротив. Мы видим в ней союзницу в борьбе за освобождение России от еврейско-большевистского ига».

«Я русская, я прожила здесь всю жизнь. И здесь умру. Воля ваша, но я никуда не поеду».

Гость склонил голову набок, с любопытством разглядывал Анну Яковлевну; внезапно грохнуло за окном, задребезжали стёкла.

«Виноват, — отрывисто сказал капитан. — Я должен идти».

¹ Вы это всерьёз?

Он коротко кивнул, надел фуражку. Хлопнула парадная дверь. Анна Яковлевна сидела, не двигаясь, и ждала следующего взрыва. Немного погода снова тенькнул коридорный звонок; оккупант возвратился. Или?..

IX

Диспут

27 ноября 1941 (продолжение)

«Как! вы в городе?»

«Увы, — отвечал, входя, доктор Каценеленбоген. — Я должен был уехать с внучкой, но мы потеряли друг друга в толпе, вы же знаете, что творилось».

«Я ничего не знаю».

«Ваше счастье. Это был какой-то ужас. Вдруг пронёсся слух, что немцы якобы уже в Химках. На вокзалах столпотворение. Одним словом, мы разминулись, а это был последний поезд».

«А ваша, э...?»

«Домработница? — Доктор пожал плечами. — Сбежала куда-то».

«Значит, вы теперь один».

«Один. Но, слава Богу, отогнали фрицев; я слышал, что из Сибири прибыло подкрепление».

«Из Сибири?»

«Или с Дальнего Востока. Свежие силы. Я думаю, в ближайшие дни наступит перелом».

«Дорогой мой... — сказала Анна Яковлевна, — я должна вас огорчить. У меня другие сведения. Но, ради Бога, раздевайтесь. Садитесь... Сейчас я сделаю чай».

«О! — сказал доктор Каценеленбоген, потирая ладони. — Горячего чайку было бы недурно. А у вас, похоже, вся квартира эвакуировалась?»

Она вернулась из кухни с чайником. Осторожно спросила, не попался ли ему кто-нибудь навстречу в переулке.

«Город вымер».

«Доктор. К великому сожалению, у меня другие новости. Но я вижу, вы совершенно замёрзли».

«Продрог. Какие же новости?»

«Тут осталось немножко варенья. Ещё чашечку?.. Вы говорите, подкрепление. Друг мой... — Шепотом, вперившись в доктора глазами, полными слёз: — Они в городе!»

«Кто?»

«Немцы!»

«Как! Что? Кто? Не понимаю».

«Да, — простонала она. — Я только что узнала».

Доктор Каценеленбоген воззрился на неё, подняв густейшие брови.

«Да, да», — шептала Анна Яковлевна.

«Дорогая моя, успокойтесь. Всё будет хорошо».

«Доктор... мы погибли. Всё пропало».

Доктор Каценеленбоген вытянул из жилетного кармана крохотный флакон, схватил чашку, накапал. «Вот, — сказал он. — Выпейте... Этого не может быть и никогда не будет, это противоречит здравому смыслу».

«Господи, какой там здравый смысл...»

«Я своими глазами видел, как наши бойцы прошагали по Садовой, как шла кавалерия. Своими глазами».

«Друг мой, вы грезите, мы оба грезим...»

И тут опять, как набат, теньканье в коридоре.

«Это, наверное, он», — прошептала Анна Яковлевна.

«Кто — он?»

Анна Яковлевна, стиснув ладони, обвела глазами комнату, милый, дорогой, бормотала она, вам надо... Длинный раздражённый звонок потряс квартиру, ещё один, и ещё.

«Вам надо спрятаться, идите в уборную, запритесь там... Это немец, он уже был здесь... Кто там?» — спросила она, величественно плывя к парадной двери, послышался чёткий ответ, она вынула из гнезда дверную цепочку и отвернула защёлку английского замка.

Офицер в шинели с собачьим воротником прошагал мимо сундука и вступил в комнату.

Увидев чашки:

«Sie haben Besuch»¹.

«Только что ушли».

«А я решил зайти к вам ещё раз. Может быть, вы передумали».

Он снял фуражку, расстегнул шинель, уселся, не дожидаясь приглашения.

«К сожалению, мне нечем вас угостить. Может быть, чаю?» — сказала она холодно.

«Благодарю. Вы не ответили...»

«Видите ли, mein Herr...» — и осеклась. Оба услышали торжественные шаги — появился, держа на руке щёгольское пальто, с величественной миной, доктор Каценеленбоген.

«Доктор, — пролепетала Анна Яковлевна, — позвольте вам представить... э...»

«Капитан Вернике. Я знал, что тут кто-то есть... Herr Doktor spricht deutsch?»

«Да, — сказал врач, — я говорю по-немецки».

¹ У вас гости.

«Приятно встретить культурного человека. Где вы научились языку, если позволите спросить?»

«Доктор, присядьте... вот тут можно...»

«Я учился в Гейдельберге. Это было давно».

«Как я понял, вы медик?»

Большой, грузный доктор Каценеленбоген, облачённый в костюм-тройку из английского коверкота, в широком галстуке и с цепочкой от часов на огромном животе, с опаской косился на стул, сопел, мрачно поглядывал из-под бровей.

«Для всех нас это новость... Мир сошёл с ума», — промолвила хозяйка.

«То, что мир сошёл с ума, что время сорвалось с оси, это знал ещё принц Гамлет, — возразил Вернике, — для вас это новость?.. Ах да, вы имеете в виду поражение Советов. Но, по здравому размышлению, это не должно удивлять. А вот вы меня, действительно, удивляете тем, что ни о чём не слышали. Кстати, Наполеон тоже был в Москве».

«Да, но чем это кончилось», — сказал врач.

«Доктор, может быть, всё-таки вы присядете», — сказала Анна Яковлевна.

«Отлично знаем, — сказал Вернике, — как это началось и чем кончилось. Это были другие времена...»

«И другие завоеватели, хотите вы сказать?»

Стул затрещал под доктором, однако уцелел. Наступила пауза, мужчины вглядывались друг в друга. Наконец, капитан произнёс:

«Я счастлив, что я увидел столицу царей, наследницу Византии. Эти башни, эти купола древних соборов. Счастлив, что имею возможность побывать в образованном кругу, где можно обменяться мнениями, так сказать, неофициально».

Гость умолк, ожидая ответа, и продолжал:

«Кстати, не лишено некоторой парадоксальности, что представителем русской интеллигенции в данном случае оказался, гм... Вы, если моё предположение правильно, иудей? Впрочем, оставим это. Хочу заметить, что население встречало немецкие войска с энтузиазмом».

«Вы так полагаете?»

«Я этому свидетель».

«С энтузиазмом... — проговорил доктор Каценеленбоген и похлопал себя по коленям. — Надолго ли?»

«Освобождение от тирании большевизма не могло не вызвать сочувствия. Как вы считаете?»

«Я не знаю, уместно ли здесь это слово: освобождение».

«Ага, вы так считаете. С политической точки зрения, кто же будет спорить, большевизм — наш враг. Но, в конце концов, политика — достояние узколобых умов. В некотором более высоком смысле наши цели были одни и те же».

«Какие же?» — поднял брови доктор Каценеленбоген.

Вернике усмехнулся.

«Были — я подчёркиваю. Видимо, для вас это тоже новость, попробую объяснить. Мы, как вам известно, националсоциалисты. Сталин провозгласил социализм в одной стране — национальный социализм, обратите внимание на совпадение терминов. Ленинская мировая революция, разумеется, нонсенс, и можно лишь удивляться тому, что трезвый политик верил в эти фантазии, чисто русская черта, впрочем. Сталин исправил Ленина. Невозможно всколыхнуть сразу всех. История предназначила двум нациям роль зачинателей. Если хотите — поджигателей. Простите, если позволю себе несколько патетический стиль, но ведь иначе об этом не скажешь — только огонь очистит мир. Нужно спалить обветшалый клоповник истории. Взорвать публичный дом западного либерализма... Германия и Россия — вот кому предстояло огнём и мечом проложить путь для других народов».

«Допустим. Но зачем же тогда понадобилось...»

«Минуточку, герр доктор, дайте мне договорить. Великая немецкая национал-социалистическая революция, как и русская революция, была направлена против гнилого упадочного Запада. Мы, немцы, — срединная держава, мы не Запад в том смысле, в котором говорится о Франции или Англии, мы — фаустовская культура, устоявшая против торгашеской цивилизации, но, в отличие от вас, мы сочетаем здоровый почвенный романтизм с железной дисциплиной. Западная демократия изжила себя. Либерализм на данном этапе, быть может, самый страшный враг человечества. Демократия выродилась, продана капиталу — это не демократия, а плутократия... Вы хотите что-то сказать, возразить?»

Доктор молча смотрел на капитана, как врач оглядывает больного. Кивнул, убедившись, что диагноз подтверждается.

«Но русская национальная революция провалилась, её идеалы извращены. Будем смотреть правде в лицо, я не хочу вас оскорблять, но вы же не станете отрицать, что власть в этой стране захватила еврейско-большевистская клика. Мы должны были её сокрушить, вернуть России её предназначение. Два цвета нашего времени, нашей великой эпохи — красный и чёрный, цвета борьбы и трагизма. Жертвенная кровь и геройская смерть».

Анна Яковлевна прислушивалась к тишине в квартире и, как ей казалось, во всем городе.

«Вы видите, — Вернике снова нарушил молчание, — я перешёл к главному, хотя в двух словах изложить всё это трудно. К сожалению, у нас мало времени...»

«И в чём же состоит это главное?» — спросил доктор Каценеленбоген.

«Одну минуту. Где у вас телефон? Есть у вас телефон?»

«В коридоре, — сказала Анна Яковлевна. — Но он, кажется, не работает».

«У нас всё работает. Так вот, — сказал Вернике, возвращаясь. — Переживание истории как борьбы высшего начала с низшим и неполноценным, молодости со старостью, идеализма с материализмом — всё это только разные проявления, если хотите, иносказания фундаментального конфликта. Конфликта эстетики с безобразием. Вот разгадка истории! К несчастью, русская нация лишилась инстинкта красоты. Он был присущ ей когда-то, в былые века, иначе откуда бы взяться этим дивным храмам, этим фрескам, возродившим угасшее искусство Византии...»

Капитан Вернике умолк, ответом было молчание.

«Да, лишился этого чувства, этого понимания красоты. Иначе он почувствовал бы, насколько уродлив и антиэстетичен навязанный ему режим. Этот народ нуждается в перевоспитании...»

«По моим воспоминаниям... — промолвил, наконец, доктор Каценеленбоген, стараясь дотянуться до носа верхней губой, — по моим воспоминаниям, Германия — страна прекрасных ухоженных городов, чистых улиц. Это была страна порядочных людей. Но что касается эстетики... Впрочем, я не специалист».

«Вот именно. А я по образованию историк искусств. Вы побывали в рейхе, но, как я понимаю, не застали великие дни. Если бы вы увидели однажды этот марш отборных отрядов, с головы до ног одетых в чёрное, под кровавыми стягами, погрузились в эту стихию мужественности, музыки, молодости... Не думайте, что я вульгарный расист. Для меня понятие расы — это прежде всего духовная категория. Коллективная душа! Вот истинное средоточие исконных расовых начал. Увы! — воскликнул Вернике, вставая с ветхого дивана. — Die Zeit ist um¹. Машина ждёт у подъезда. Я, собственно, — отнёсся он к доктору, — пришёл за вами».

Он застегнул собачью шинель, взялся за козырёк фуражки.

«Баронесса, честь имею. Подумайте ещё раз над моим предложением... Вас попрошу следовать за мной».

«Куда?» — спросил доктор Каценеленбоген.

«Как это, куда. Разве вы не видели объявлений в городе? Вы ещё вчера должны были явиться на сборный пункт».

«Господин офицер! — взмолилась Анна Яковлевна. — Господин офицер... Куда, за что? Доктор Каценеленбоген — уважаемое лицо во всей округе...»

«Моё почтение», — сказал капитан холодно.

«Я решительно возражаю! Я бы хотела связаться с вашим начальством».

¹ Время истекло.

«Полагаю, в этом нет надобности. Порядок есть порядок. Мы заедем к вам домой, вы заберёте с собой семью».

«У меня никого нет, — сказал доктор. — Дорогая, не волнуйтесь. Я уверен, что всё уладится». Он стоял, огромный, грузный, палка с набалдашником в правой руке, пальто и шляпа в левой. Капитан ждал, пошевеливал бровями.

«М-да, — сказал доктор. — Могу ли я, если позволите... на одну минуту?»

«В уборную?»

«Да. Могу ли я сходить в уборную?»

Капитан усмехнулся: «Сделайте одолжение».

Доктор Каценеленбоген прошествовал по коридору, капитан маршировал следом за ним и остановился у выхода, перед электрическим счётчиком. Доктор Каценеленбоген вступил в закуток и накинул дверной крючок на петлю. Прочёл наставление. Взглянул на клозетную библиотеку и шумно втянул воздух в широкие ноздри.

История как борьба эстетики с безобразием. Это уже что-то новое, подумал он (или проговорил), вытянул часы из карманчика брюк, потрогал пульс. После чего, ощутив себя, добыл коробочку в виде крошечного пенала. Некоторое время доктор Каценеленбоген любовался аккуратным гимназическим почерком Анны Яковлевны, покручивал на пальце кольцо с жёлтым камнем, затем дёрнул висячую фаянсовую грушу на цепочке, раздался шум спускаемой воды. Доктор раздал во рту ампулу и успел почувствовать боль от осколков тонкого стекла, впившихся в дёсны.

Х

Побег № 1

1944 год

Существуют города без истории, каменные шатры вчерашних феллахов, там и сям раскиданные на огромных пространствах, существуют города, у которых впереди — солончаки бесплодного будущего, где обрюзгшие женщины вышлёскивают помои перед порогом своих жилищ, где грохочет механическая музыка, где коровы жуют газету на пустыре и ветер несёт по ухабистым улицам пыль, сор и беспамятство. Существуют неодошевлённые города и одошевлённые.

Существует душа Города. Нет, это не *genius loci*, дух места, или как там это называлось; её, эту душу, создало наше воображение, но незаметно она отделилась от нас, чтобы являться в таинственных снах, манить к себе перезвоном ночных курантов по радио, за тысячу километров. Душа Города бродит по опустевшим улицам, ищет тебя, заглядыва-

ет в подворотни, забирается на чердаки. Давно уже прекратились ночные налёты, война ушла на запад, но душа великого города всё ещё озирает горизонт, вперяется в тёмное небо. И ты догадываешься, что это твоя заблудившаяся душа, и тут уже начинается какая-то фантазмагория, ностальгическая одержимость, то самое Dahin! Dahin!..¹ ах, не будем больше об этом, тем более что дальнейшее, в перспективе лет, в самом деле отзывает фантастикой. Но что было, то было: пробираясь под вагонами на запасных путях, выпутавшись из паутины рельс на станции «Москва-товарная», озираясь и совершив бросок, подросток скрылся за пакгаузами. Оттуда зорко выглядывал, ждал темноты, караулил огни медленно приближающегося товарняка, выбежал, улучив момент, отважно схватился за железный поручень, взобрался на тормозную площадку, поехал, вовремя спрыгнул, и что же дальше, трудно поверить — он цел и невредим, и никем не сцапан, никому не попалась на глаза, он бредёт с тощим рюкзаком за спиной по черным от угольной пыли подъездным путям, по задворкам Ярославского вокзала, и душа Города встречает, обнимает, выпускает в себя. Помедлив, он пересёк площадь вокзалов.

Стемнело, он плетётся в изнеможении, хоть ложись на тротуар, огибает круглый, в виде туннеля, павильон метро, сворачивает в переулок, и тут внезапно раздаётся сухой треск, фиолетовое небо вспыхивает нездешним свечением, лопаются ракетницы, над крышами расцветают алые, жёлтые, зелёные цветы, рассыпаются искрами, ура! — взят ещё один город, непрерывная череда побед. Писатель забыл обо всём, задрал голову, открыв рот, стоит перед подъездом. Неужто в последний момент он потерял бдительность?

Он входит. Он подкрался! Пальцем, осторо-о-ожненько — пуговку звонка. В ответ ни звука. Звонок не работает. Он ещё раз, посильней. Стоя перед закрытой дверью, он видит коридор, сундук, под потолком дребезжит колокольчик. Молчание, никого нет. Сердце грохочет, как сумасшедшее, от ударов подпрыгивает каменный пол, шатается лестница. Блудный сын, паломник с сумой за плечами, не хватает только посоха, в отчаянии тянется снова к звонку. Он не успел нажать, как дверь приоткрылась, натянулась цепочка, тусклый свет брызнул из коридора. Сквозь щель выглянуло перепуганное сморщенное личико. И сейчас же дверь захлопнулась. Он топчется на площадке. Его не впустили. Мёртвое молчание в доме. Его просто не впустили, мало ли кто вломится — война! И вся немыслимая авантюра — попробуй-ка в те годы, думал писатель, вспоминая этот день, попробуй вернуться в закрытый город без вызова, с подделанной метрикой! Вся долгая дорога — всё напрасно. Он стоит, понурясь, в чужом, холодном подъезде, перед дверью в чужую квартиру, тупо соображает, что же дальше, куда теперь, и так же мед-

¹ Туда, туда! (*Гёме*).

ленно движется время, на самом же деле не прошло и полминуты. Звякнула цепочка. Его хватают за руку, тащат по коридору — скорей, чтобы никто не увидел.

Мы сказали, побег; может быть, лучше: *прибег?* Прибежище. Прибегнуть *к чему*, прибежать *куда*.

Анна Яковлевна, маленькая, нисколько не изменившаяся, с только что зажженным, тотчас погасшим Дукатом в увядших устах, сидит в кресле. Он — на диване. На том же самом диване.

«Ох, ох. Н-да... Ну и вид у тебя».

Нужно отдать ей справедливость, она не задает лишних вопросов. Пусть мальчик говорит сам.

Все же она спросила: а где мама?

Там, сказал он. Его рассказ был сбивчив, лаконичен, а чего рассказывать, в общем-то, бормотал он, то есть, конечно... И, одним словом, выходит, что он сбежал! Да, бежал, рванул из эвакуации, как когда-то гимназисты убегали в Америку, сперва на барже по широкой медлительной реке, потом в товарных поездах, умудрился обойти посты дорожного контроля, военные патрули, милицию.

Он умолчал о том, что в дороге просил милостыню, спасся от странных заигрываний какого-то типа в пенсне и шляпе, о том, как, драпая от контролёров, на ходу спрыгнул на насыпь, чуть не сломал ногу, чуть было не оказался в шайке воров, ночевал в подвалах, лишившись на какое-то время чувств, был подобран, очутился в детприемнике, бежал. Господи, лепечет Анна Яковлевна и крестится, Богородица святая, спасибо! Но как же мама? Оставил письмо на столе, говорит он, я ей отсюда напишу, дурачок, возражает Анна Яковлевна, письмо перехватят, сейчас все письма контролируются, уж не знаю, вздыхает она, как она там будет выпутываться, можно ли туда позвонить? дать телеграмму? Как-нибудь дать понять, что он жив и здоров. Я взял деньги, говорит он, у матери, — то есть украл? — он пожимает плечами, а что тут такого, — как это, что тут такого! — нет, подумать только, — и снова: как же ты добрался? И действительно, много лет спустя эта ночь кажется сказочно неправдоподобной.

«Да что же это я!» — она спохватывается. С погасшей папиросой в руку бежит на кухню. Потом надо будет помыться, все эти лохмотья вон, вон! Я их вынесу на помойку. Как-нибудь устроимся, я схожу в милицию, поговорю с Самсон Самсонычем, приватно, он хороший человек, что-нибудь придумаем, внук приехал, а может, рассказать всё как есть, здесь родился, был прописан с родителями, отец погиб на фронте, мать в эвакуации, комнату заняли, пусть пока поживет у меня, а там посмотрим... о, как всё повторяется, как напоминает двадцатый год. Анна Яковлевна входит в комнату с чайником и сковородой, но мальчик уже спит на диване, подложив рюкзак под голову, подтянув к животу ноги в опорках.

Он спит крепко, непробудно, как спит солдат в окопе, как спят в отрочестве. В кресле прикорнула Анна Яковлевна. И понемногу, неслышно, крадучись, в комнату входят сны. Сны, о которых он тотчас забудет, стоит ему только открыть глаза, и непостижимым образом вспомнит о них годы спустя.

XI

Берлин

16 апреля 1945

1

Все полевые и тыловые госпитали, медленно, от станции к станции продвигающиеся санитарные эшелоны и замаскированные, с погасшими огнями, госпитальные суда были переполнены ранеными, умирающими, изувеченными, неизвестно было в точности, сколько их было, и никто не знал, сколько убитых наповал, засыпанных землёй, задохнувшихся в дыму и задавленных рухнувшими перекрытиями осталось лежать на полях и среди руин. Война достигла крайней точки ожесточения, когда счёт потерь потерял смысл. Те, кто отступал, дали себя убедить, что вместе с крушением государства исчезнет с лица земли вся их страна, и старались уничтожить всё, что оставляли за собой. Те, кто наседали, держались тактики, суть которой выражалась в трёх словах: выжечь всё впереди. Надо было спешить, американцы уже вышли на Эльбу. Успех обещало огромное превосходство сил.

В три часа ночи рванули двадцать тысяч артиллерийских стволов. Несколько сот катюш изрыгнули свою начинку; горячий ураганный ветер пронёсся над всем пространством от низины Одера до Берлина; прах и пепел висели в воздухе, горели леса. Через полчаса всё смолкло, белый луч взлетел к небесам. Вспыхнули слепящие зеркала ста сорока прожекторов противовоздушной обороны. Двадцать армий двинулись вперёд. Но ослепить противника не удалось: дым пожаров застлал окрестность. Не учли распутицу, болотную топь, густую сеть обводных каналов на подступах к Зеловским холмам. Во мгле атакующая пехота блуждала, потеряв направление.

С рассветом возросло вражеское сопротивление. Очевидно, там были использованы последние резервы. Прорыв был всего лишь вопросом времени. Но диктатор на подмосковной даче выражал нетерпение. Он приказал наступать конкурентам — армейской группе на юге со стороны Нейссе. Были введены вторые эшелоны стрелковых дивизий, в десять часов снялся с места стоявший наготове танковый корпус. Чем ближе наступающие войска подходили к высотам — последнему плацдарму ближних подступов к цитадели врага, тем упорней было проти-

воедействие. Под вечер командующий ввёл в сражение обе танковые армии. В хаосе танки давили своих. Успех все еще не был достигнут. Двенадцать тысяч немцев и тридцать тысяч русских остались на поле боя — в талой воде среди болот и на крутых склонах. Так, спотыкаясь и отшатываясь, и вновь наседая, и оставляя кровавый след, армии двух соперничающих фронтов, всё ещё называвшихся по старой памяти Первым белорусским и Первым украинским, обошли с флангов и взяли в клещи вражескую столицу.

Писатель задал себе вопрос, что ему Гекуба. Зачем ему этот очерк последнего сражения, и не довольно ли уже говорилось об этом, — зачем ему история, если вечной темой литературы может быть только история души. И не мог найти ответ, — разве только тот, что память об этих днях, как пыль и копоть уничтоженных городов, осела на окнах века, так что её не отмоешь; разве только та неотвязная мысль, что ещё одна такая война, *ещё одна такая победа*, — и наш мир погибнет окончательно.

Он спросил себя, что ему эти вожди, о которых — забыть, забыть, забыть! И не мог найти никакого другого ответа, как только тот, что наша судьба — всю жизнь созерцать эти убудочные иконы века.

Изредка, в минуты грозных событий, вершители судеб, те, от которых зависела жизнь миллионов людей, кто отождествил себя с историей и в самом деле олицетворял её слепую волю, — испытывали, насколько это было возможно при их ограниченных способностях, что-то вроде смутного прозрения. Не разум, но тягостное чувство говорило им, что гигантские скрежещущие колёса, чей ход, как им казалось, они направляют по своему усмотрению или, что то же самое, по своему произволу, увлекают за собой их самих. Как если бы, уцепившись за что попало, они вращались в огромном грохочущем механизме, который сами же запустили. Оба, карлик в Кремле и тот, другой, укрывшийся в катакомбах под парком новой Имперской канцелярии в Берлине, оба, побеждающий и побеждённый, испытывали одно и то же мистическое чувство зависимости, ненавидели его, но и гордились им, ведь оно подтверждало их уверенность в том, что все самые безумные решения оправданы и одобрены высочайшей инстанцией — тем, что один называл законами истории, а другой Провидением.

2

Теперь от линии фронта до правительственного квартала можно доехать на трамвае — если бы ходили трамваи. День померк. Офицер с чёрной повязкой на глазу, с Рыцарским крестом на шее, выставив трость, выбрался из машины на углу площади кайзера Вильгельма — от барочного дворца старой Имперской канцелярии остался только фасад. Офицер показал пропуск, молча ответил на приветствие наружной ох-

раны, поскрипывая протезом, пересёк бывший Двор почёта. Прямой и надменный, он прошагал мимо обломков плоского постамента, на котором некогда стоял голый, в два человеческих роста, воин-победитель с мечом, творение государственного ваятеля Арно Брекера.

Неожиданная встреча ожидала гостя при входе в сад: рослый худой человек в камуфляжной форме фронтовых СС с кубиками гауптштурмфюрера в левой петлице, что соответствовало капитану, стоял, как памятник, с рукой, простёртой в римско-германском приветствии. В светлых весенних сумерках, как хрусталь, блестели его глаза, и можно было разглядеть губы, соединенные рубцом, результат не вполне удачной челюстно-лицевой операции. В углу рта осталось отверстие для слёвыванья и приёма пищи. Приезжий кивнул на ходу, капитан выдавливал из зашито́го рта мычащие, бляющие звуки, ничего понять было невозможно, да и незачем. Офицер с Рыцарским крестом маршировал, подпрыгивая на уцелевшей ноге, обходил воронки от снарядов, перебрасывал искусственную ногу через поваленные стволы цветущих деревьев. На газонах белели, розовели левкой. Это было лучшее время года. Он приблизился к невысокой бетонной башенке, вновь извлёк из нагрудного кармана свою книжечку.

Постовой внешнего караула, с лицом бульдога, в звании унтерштурмфюрера, держа перед собой, как оружие, карманный прожектор, переводил взгляд с фотографии на командировочного, с командировочного на фотографию. Вытянулся, щёлкнув каблуками. По узкой, в три марша, лестнице штабной офицер Двенадцатой армии генерала Венка, стоявшей, как считалось, насмерть в семидесяти километрах от Берлина, полковник Карл-Дитмар Вернике, стуча тростью, сошёл в преисподнюю.

3

Бункер представляет собой инженерный шедевр XX века. Под тщательно замаскированными, укрытыми дёрном и травой плитами толщиной в двенадцать, а где и пятнадцать метров расположен лабиринт коридоров. Стальные двери, комнаты персонала, кладовые, забитые продовольствием, общая кухня и диетическая кухня вождя, запасные выходы наружу. Далее, по главному проходу до винтовой лестницы, сойти из предбункера ещё ниже, и вы попадаете в главное подземелье, называемое бункером фюрера. Встреченный двумя дежурными, посланец с пиратской повязкой минует комнату службы безопасности и тамбур газоубежища, хромотает по центральному коридору под вереницей ламп в защитных сетках, под рядами электрических и телефонных кабелей на низком потолке, мимо щитов сигнализации, ответвлений, пересекающих коридор, мимо спальни рейхсминистра пропаганды, спальни рейхсляйтера Бормана, комнаты лейб-профессора медицины Штумпфеггера, комнаты

лейб-овчарки Блонди с четырьмя щенками, мимо личных апартаментов фюрера и прибывшей в Берлин три дня тому назад фрейлейн Браун. А там второе газоубежище, секретариат, где стрекочут пишущие машинки, конференц-зал, сюда перенесены из канцелярии фюрера ежедневные оперативные заседания. Из машинного отделения доносится рокот дизельных агрегатов. Бетонированное сердце империи. Как уже сказано, высшее достижение строительной техники нашего времени.

Здесь не доносились звуки войны, не было слышно взрывов английских авиабомб, и даже грохот крепостных орудий, подтянутых русскими к городским окраинам, лишь слабым сотрясением, далёким мистическим эхом отдавался в ушах; здесь, в мертво-белом сиянии голых ламп, вели фантастический потусторонний образ жизни, продолжалась неустанная деятельность, принимались решения и отдавались распоряжения.

Здесь верили слухам, плели интриги, ждали неслыханных перемен, чудесного избавления, пришествия армии Венка, прорыва ударного корпуса Гольсте, раскола между Россией и союзниками; здесь ночь не отличалась от дня, здесь люди-тени отсиживались в своих норах, люди-призраки с незрячими воспалёнными глазами, в фуражках с задранный тулей, в приталенных мундирах и галифе, обтягивающих колени, встречаясь, молча отдавали друг другу ритуальный салют, теснились в зале над столом с картами, подхватывали налету падающий монокль, чертили стрелы воображаемых контрнаступлений; здесь фюрер, с лупой в мелко дрожащей руке, водил пальцем по карте города и предместий и отдавал приказы несуществующим армиям; здесь пили французский коньяк и вперялись стекленеющим взглядом в пространство, в покрытые извёсткой стены и потолки. Здесь доктор Гёббельс в спальне вождя читал вслух «Историю Фридриха Великого» Томаса Карлайля, вещие, пророческие страницы о том, как вослед ослепительным победам Семилетней войны наступили тяжкие дни, но в последний момент провидение спасло короля.

Отстегнув протез, полковник укладывается на ночь в предбункере, в спальном помещении для высших офицеров. Слышны детские голоса — за стеной разместилось семейство министра пропаганды. Рядом душевые кабины и уборные. Накануне нарушилось водоснабжение, к счастью, ненадолго. Но всё ещё пованивает экскрементами.

ХП

Праздник

20 апреля 1945

Длинными извилистыми переходами под землёй предбункер соединён с катакомбами под Имперской канцелярией, вдоль всего

помпезного фасада, по ходу Фосс-штрассе до пересечения с Герман-Геринг-штрассе. Рейх, оскаленная голова, лишённая туловища, зарылся в землю. На глубине двадцати метров расположены пещеры высших военно-государственных чинов. Здесь обитают начальник генштаба Кребс, шеф-адъютант фюрера Бургдорф, личный пилот фюрера генерал Баур и другие, а также телефонная станция и лазарет. То и дело поступают раненые, очередь санитаров с носилками забила проход, мертвенное сияние ламп на потолках под проводочными колпаками вздрагивает от далеких взрывов, раненые лежат вдоль стен на полу, между ними снуют медицинские сёстры и девушки вспомогательной службы, в подземной операционной профессор оберштурмбанфюрер Хазе в забрызганном кровью халате, с двумя ассистентами, безустали тампонирует раны, отсекает мертвеющую плоть, ампутирует конечности, в подвалах корпят над картоном картографы, переминаются с ноги на ногу адъютанты, стрекочут машинки секретарш, постукивают ключи радистов; население прибывает — жёны, дети, — испарения пота, мочи, отчаяния, сырой и душный запах от бетонных стен, а тем временем наверху, в завесах дыма и пыли, над сгоревшими садами Брегерсдорфа и Фогельсдорфа встаёт мутно-желтое солнце. Знаменательный день; в программе — парад в парке перед Имперской канцелярией, церемония в зале, поздравления в рабочей комнате вождя; затем, как всегда, доклад и обсуждение обстановки в конференц-зале бункера: положение в Берлине, положение на западном фронте, положение на аппенинском фронте.

Знаменательный день, на газонах застыли войска: два подразделения бывшей Курляндской армии. В две шеренги выстроились ветераны — это всё, что осталось от 10-й элитной танковой дивизии СС «Фрундсберг». Промаршировал и подстроился в ряд отряд подростков, истребителей танков. Фотографы и операторы наставили свои камеры перед явлением вождя и его соратников. Под гром барабанов, в низко надвинутых касках, головы налево, выбрасывая ноги в узких глянцево-сапогах, вышагивает подразделение лейб-штандарта «Адольф Гитлер». Два солдата сопроводительной команды ведут малорослого, растерянного, плохо соображающего, что к чему, солдата в огромном болтающемся шлеме. Мальчик подбил на Потсдамской площади русский танк. Фюрер ему Железный крест на грудь. Фюрер треплет малыша по щеке. Патетическим жестом — в бой! По бледно-голубому небу проплыли и растаяли нежные рисовые облака. Завыли сирены...

Поздравительный акт в правом, неповрежденном крыле канцелярии. Между высокими четырехугольными колоннами главного портала проходят в здание канцелярии сероголубые мундиры военных и чёрные мундиры СС; второй портал — для руководителей партии. Стража с ав-

томатами наперевес. В вестибюле проверяют всех, невзирая на чины и награды. Чертог фюрера пуст, исчез гигантский рабочий стол, нет глобуса, нет роскошных кресел, на стенах между окнами следы снятых картин, там и сям на потолке осыпалась штукатурка.

Едва успели разместиться, сенсационная новость — именинника придётся поздравлять заочно. Фюрер вылетел на юг. Оттуда, из Альпийской крепости, он возглавит оборону. Новый план, гениальный шахматный ход: если, что весьма вероятно, русские и американцы, наступая навстречу друг другу, рассекут страну пополам, гроссадмирал Дёниц на севере и фельдмаршал Кессельринг на юге возьмут врага в стратегические клещи. И тогда посмотрим, кто кого.

О, нет. Будто бы только что услышанные слова фюрера: он отказался лететь. Толпа заволновалась. И воцарилась тишина. И уже все глаза устремлены к высоким дверям. Он здесь, он остается в Берлине! Распахнулись створы. Он явился.

Ещё нам далеко до заката: 56 лет — возраст свершений. Правда, он выглядит значительно старше, наклонившись вперёд, тащит за собой непослушную ногу, правой рукой удерживает дрожащую левую. Голова ушла в плечи, он жёлт и согбен. Всю ночь фюрер в подземном кабинете бодрствовал наедине с самим собой, под портретом остроногого человека в треуголке. Вот так же на краю гибели, двести лет тому назад, великий король метался от одной границы к другой, искал выход. Провидение пришло на помощь. В Санкт-Петербурге скончалась царица Элизабет, и новый монарх, немец по крови, протянул Фридриху руку мира. Вождь сидел с толстой лупой над гороскопом, вперялся в значки планет и читал лукавые объяснения. Была констатирована растущая акцидентальная немощность Сатурна. Светлый Юпитер издали подмигивал Марсу. Вот оно! Перелом должен произойти в последней трети апреля.

Он обходит широкий полукруг поздравителей, вялым движением отвечает на вскинутые руки, вполуха выслушивает льстивые пожелания. Он остановился посередине, застыл, руки по обыкновению соединены на детородном члене. Это, если хотите, символическая поза. Фюрер оберегает свое державное одиночество. У него нет и не может быть детей. Он отец нации, одновременно её великий сын и состоит с ней в духовном инцестуальном браке. Запинаясь и глядя вниз, точно с полу подбирая слова, он начинает говорить. Пока ещё еле слышно, — стоящие на флангах напрягают слух. Медленно возвёл слезящийся взор к потолку, поднял руки. И произошло то, что бывало с ним в ответственные минуты: фюрер воскрес. Фюрер вновь зарядился от невидимых аккумуляторов. Всё или ничего! Гибель — или победа! Стоя посреди зала, он гремел, рыдал, заклинал, потрясал кулаками и вонзал в пространст-

во указующий перст. И, пожалуй, не так уж было важно, что он выдавливал и выкрикивал, — нечто в звуках его голоса, не подвластное рас­судку, было важнее слов.

Как вдруг он успокоился. Он сказал, что этой ночью принял окон­чательное решение остаться в столице и сам поведёт войска в реши­тельный бой. Капитулировать? — спросил он и впился в лица поздравите­лей. Никогда!

Это с одной стороны. Но есть и трезвый расчёт. Невозможно, сказал он, сомневаться в том, что именно сейчас, здесь, наступил высший и решающий момент. Если, о чём имеются верные сведения, в стане врагов наметился раскол, если в уже Сан-Франциско между союзниками пролегла глубокая трещина, значит, поворот близок. Раскол неизбежен теперь, когда хищники собираются делить добычу. Здесь, в самом сердце Германии, я — и он снова взорвался, взвил­ся, вознес слезящиеся глаза к потолку, бил себя в грудь, — нанесу со­крушительный удар большевистско-еврейскому колоссу.

Deutsche Treue! Немецкая верность... Генерал-полковник Вальтер Венк идёт на выручку, 12-я армия на подходе. Конев и Жуков не сумели сомкнуть кольцо окружения на юго-востоке. Поступили данные о том, что между двумя генералами наметилось соперничество. Не исключено, что они выступят друг против друга. В любом случае между Маловом и Шёнефельдом войска прочно удерживают проход. Каждому — вождь обвёл inferнальным взором застывший полукруг, — каждому предос­тавляется решить, готов ли он сражаться, готов ли пасть в бою на ули­цах Берлина, в предвидении пробивающихся к городу войск, в преддверии победы, — или захочет покинуть столицу. *Um Gottes willen!*¹ Он ни­кого не держит!

Полковник Вернике вперился единственным глазом в того, о ком только и можно сказать: этот человек — сама судьба. Что такое судьба: слово, исполненное глубокого смысла — или вовсе лишённое всякого смысла? То, о чём догадываются задним числом, не замечая, что это наше собственное измышление? Или нечто предписанное, предуказан­ное, непреложное, неумолимое? *Mein Führer!* Вы сказали: «Венк, я вру­чаю тебе судьбу Германии». Это было в начале апреля. Но теперь нет никакой армии Венка, нет и не будет. Её попросту не существует.

Я был откомандирован а Берлин, оставил штаб 12-й армии, когда мы успели пробиться до Потсдама. Дальше — ни на шаг. От двухсот ты­сяч личного состава осталось 40 тысяч, от дивизий «Клаузевиц», «Шарнгорст», «Потсдам», «Ульрих фон Гуттен» по горстке солдат, а то, что ещё имеется в нашем распоряжении, — три пехотных дивизии, два артиллерийских дивизиона и противотанковая бригада, — смешно ска­зать, на 90% укомплектованы из 17–18-летних юнцов. Вот вам и вся

¹ Ради Бога.

Befreiungsarmee¹. Я знал о решении генерала спасти уцелевших. Попросту говоря, совершить измену. Измену — тебе, мой фюрер! И больше никому... Должно быть, остатки 12-й армии уже переправились через Эльбу и сдались американцам.

Вы считаете, что весь немецкий народ ждёт, когда вы лично явитесь во главе войск на поле боя. Что представляет собой это поле боя?.. Мы в разрушенном городе. Мы не стоим лицом к лицу с противником. Мы окружены. Мы держим оборону на одной улице, русские продвигаются по другой. Мы засели на верхних этажах, русские ворвались в подъезд. И, однако, он прав: если наступил конец, надо встретить его достойно. Немецкий народ не сумел выполнить свою миссию — значит, он должен погибнуть. Нам всем крышка, думал Вернике. Слепому ясно, это конец. Семья погибла в Дрездене, он сам калека. Отчего всё так получилось? После триумфального марша по Европе, почти чуть было не увенчавшегося победой русского похода. Ещё немного, и война была бы закончена, грузин повис бы на виселице, еврейский Ваал обуглился в собственной печи. — Он слушал и не слушал вождя. — А что если бы вместо войны с Советами мы повернули оружие против общего врага, растленного Запада?

Вместе с Россией? И потом поделить с ней континент. Чуть, абсурд, какой это союзник, — эта нация созрела для завоевателя. Сталин разрушил собственную армию, потерпел постыдное поражение от финнов. Русские мужики ненавидели колхозы, комиссаров и жидов, население ждало освободителей. Нас ждали! И вот теперь этот народ, — чудовищная насмешка истории! — народ, не умеющий работать, не приученный к дисциплине, народ, не способный устроить свою жизнь на огромных просторах, лишённый исторического сознания, чуждый понятию красоты, величия, порядка, — гунны, вандалы! — теперь они здесь. Наши прекрасные города в развалинах, цвет нации полёг под Сталинградом, в Греции, в Африке, на дне морей. Вот он, подлинный закат Европы, трагический финал эллинско-арийской, нордической цивилизации.

Слабый шум отвлек внимание, шепот, возмущённые реплики. Человек в полевой форме сражающихся СС каким-то образом миновал тройную охрану, оказался позади собравшихся. Он мычит зашитым ртом и машет руками.

Глухо, тяжело ухает артиллерия, сыплется штукатурка. Фюрер вернулся в бункер. Марш соратников. Впереди шествует в необъятных галифе с двойными лампасами, в роскошном мундире, в крестах и звёздах, могучий, тучный Геринг. Рейхсмаршал прибыл на рассвете из Карингалла. Фургоны с картинами, вазами, скульптурами, древним оружием и драгоценным мобильяром отправились на юг. Рейхсмаршал

¹ армия-освободительница.

собственноручно включил взрыватель, вилла взлетела на воздух. За Герингом поспешает маленький, припадающий на ногу Гёббельс, шагает каменный Борман, шагает Гиммлер, у которого за сверкающими стёклами пенсне никогда не видно глаз, плетётся яйцеголовый Лей, кто там ещё. Марш живых покойников. Шествие хтонических богов. Один за другим, по узкой трёхмаршевой лестнице они возвращаются к себе, в подземное царство. Пятьдесят шесть лет тому назад, в эти же часы, раздался первый крик младенца, которому предстояло завоевать мир. В рабочей комнате накрыт именинный стол. Секретарши ждут, причёсанные и напомаженные, с оголёнными плечами, в праздничных длинных платьях. Из спальни вышла фрейлейн Браун.

На ней был «дирндль», что значит деревенская девчонка, любимый фюрером баварский наряд: белоснежная блузка с короткими рукавами-фонариками, корсаж и просторная юбка из тёмнокрасного муара, клетчатый, болотного цвета шурц-передник. Белые чулки и крохотные туфельки. Очередь к имениннику, щёлкают каблук, — фюрер сидя чокался с кланяющимися.

Ева топнула ножкой:

«Я хочу танцевать!»

Зашипел патефон, послышался нежно мяукающий голосок знаменитой эстрадной дивы — то были «Розы, красные, как кровь», шлягер тридцатых годов, — о, как защемило сердце, как напомнила эта мелодия о счастливых временах. Вождь встал, церемонно пригласил секретаршу Траудль Юнге. Весёлый, неунывающий группенфюрер Фегелейн — подруга фюрера приходилась ему свояченицей — с бутылкой в руке дирижировал танцем, допив свой бокал, мужественно облапил Еву. Три тура, после чего плавно, полузакрыв глаза, Ева перешла в объятия Вернике. Полковник переставлял поскрипывающую ногу, самоотверженно вёл свою даму; вдруг всё смолкло, все остановились. Пробили часы. Величайший полководец всех времён и народов, подперев рукой подбородок, с плавающим взором внимает грому литавр, могучим всплескам оркестра. Траурный марш из «Гибели богов», ночное факельное шествие с телом коварно убитого героя Зигфрида.

ХIII

Все еще не конец

30 апреля 1945

Вождь сидел, понурившись, на диванчике, там и сям были разбросаны цветы, на стене остались брызги крови, на полу лежал вальтер калибра 7,65 мм, на правом виске у фюрера было круглое отверстие ве-

личиною с пятипенниговую монету, на щеке, протянувшись до шеи, подсыхала змейка крови. Ева, теперь уже фрау Ева Гитлер, в небесно-голубом платье, примостилась у его ног, с открытыми глазами, с чёрно-лиловым отверстым ртом; её пистолет с неразряжённым магазином лежал на столе. Пахло порохом и миндалём.

Снаружи по-прежнему гремела пальба, дым пожаров застлал небосвод, пепел порхал над садом Имперской канцелярии, комья земли, щебёнка, осколки снарядов сыпались то и дело на башенку бункера. День переломился. Показались, бессильно покачиваясь, высокие сапоги, брюки, френч и туфлеобразный нос фюрера под лакированным козырьком. Камердинер Линге и шофёр Кемпка опустили труп на траву. Затем выплыли высоко открытые ноги фрау Гитлер в чулках нежно-апельсинового цвета. Бок о бок вождь и его подруга покоились неподалеку от входа в бункер. Поднялся и вышел, в генеральском мундире, слегка располневший личный секретарь Борман, приблизился, натянул покрывало на торчащие из носа усы фюрера и детский лобик Евы. Адъютант Гюнше тряс бензиновыми канистрами, Линге держал наготове толстый бумажный рулон, это были документы государственной важности. Он поднёс зажигалку, швырнул бумажный факел, пламя взвилось над трупами и тотчас погасло. Адъютант выхватил ручную гранату, Линге остановил его; подтащили ещё одну канистру; несколько мгновений, как зачарованные, смотрели на столб огня.

Сумерки спустились.

В нескольких кварталах от сада, там, где красноармейцам удалось пробиться настолько, что теперь их отделяла от противника одна улица и площадь с неизвестным названием, в ночном затишье слышался шорох, хруст стекла. Взвилась и рассыпалась ракета, окатив мертвым сиянием груды кирпича и полуобвалившийся угол аптеки, из-за угла высунулось белое полотнище; вторая ракета взлетела, выкарабкался человек с серебристым орлом на тулье форменной фуражки. Он шёл по пустынной площади, высоко держа над собой на коротком древке белый флаг, достиг тротуара и вошёл в ворота. Во дворе его окружили бойцы; из того, что он сказал, поняли только, что он имеет пакет для передачи русскому командованию; парламентаря повели в штаб дивизии.

Штаб находился в Темпельгофе, на кольце Шуленбурга, в старом особняке, вокруг громоздились развалины, могучие деревья, помнившие Старого Фрица¹, обгорели или до половины были снесены снарядами, но дом в югенд-стиле уцелел. Посланец, в чине подполковника, сидел в комнатке с занавешенным окном на втором этаже под охраной усатого старшины, а в зале с резным потолком, с

¹ Фридриха Великого.

картинами в простенках высоких окон, за большим столом на львиных ногах, командир дивизии связывался по телефону с командиром корпуса. Был первый час ночи.

Бумага, которую комдив извлек из пакета, на двух языках, была скреплена печатью и подписью человека, чьё имя должно было произвести впечатление. Комдиву, однако, оно ничего не говорило. На машинке было отпечатано следующее: *Подполковник такой-то настоящим уполномочен Верховным командованием сухопутных сил вести переговоры с представителями русского командования с целью установления места и времени встречи начальника Генерального штаба сухопутных сил генерала инфантерии Ганса Кребса для передачи русскому командованию особо важного сообщения.*

И ещё что-то там.

Подписал: Секретарь Вождя Мартин Борман.

Угу, пробормотал комдив. Какой такой секретарь? А, чёрт с ним.

«Давай сюда этого...»

Парламентёра ввели в зал. По какому вопросу всё-таки, отнёсся комдив к подполковнику. Ответа не было. По какому вопросу ваш генерал собирается вести переговоры, повторил он и снова снял трубку, чтобы связаться с командармом. Мы готовы встретиться, отвечала трубка.

Прошло ещё сколько-то времени, в три часа ночи на участке, где вечером появился парламентёр, смолкли пулемётные очереди, повисла в воздухе осветительная ракета. В укрытиях с обеих сторон следили, как из-за угла бывшей аптеки выбрался и не спеша пересёк линию фронта обещанный генерал. За ним шагали два офицера и рядовой с винтовкой через плечо, на штыке трепыхался белый флажок.

Делегация была препровождена в штаб дивизии, Кребс очутился в занавешенной прихожей, где до него сидел парламентёр; снял шинель и фуражку, повесил на вешалку, с кожаной папкой у бедра поскрипывал узкими сапогами из угла в угол. Кребс был худощав, строен, перетянут широким поясным ремнём с маленьким пистолетом в кобуре. И отец, и дед его были военными. В начале тридцатых годов Кребс был помощником военного атташе в Москве. В зале, стоя за столом, генерала ожидал командующий 4-й армией генерал-полковник Чуйков. Справа и слева сидели другие. Чуйков был сыном крестьянина-туляка и сам походил на умного и недоверчивого крестьянина. Лицо Чуйкова изображало недобрую торжественность. Минуло полтора года, как он сидел со своим штабом в землянке на правом берегу Волги, в почти несуществующем Сталинграде, на крошечном участке земли, который удерживали остатки 62-й армии, а наверху, на площади Героев, в подвале универмага сидел со своим штабом генерал-фельдмаршал Паулюс.

Войдя, немец остановился и коротко кивнул. Чуйков оглядел его из-под косматых бровей, молча указал пальцем на стул. Он попытался

заговорить по-английски, но плохо знал язык, и немец его не понял. Зато оказалось, что Кребс говорит по-русски. Произошло некоторое замешательство, после чего каждый перешёл на родной язык; переводчик, выпускник военно-разведывательного института иностранных языков, торопливо переводил.

Кребс сказал: «Господин маршал!»

Он думал, что имеет дело с самим главнокомандующим.

«Здесь, — продолжал он, расстёгивая молнию на папке, — изложены мои полномочия».

Дожидаясь, когда бумага будет прочитана и переведена, он держал наготове второй документ, вероятно, тоже имевший историческое значение, но приводить его было бы излишне, достаточно сказать, что по прочтении разговор с немцем был прекращен; тут же, не отпуская генерала, Чуйков вёл переговоры с резиденцией главнокомандующего в Штраусберге, оттуда телефонный сигнал достиг кунцевской дачи-крепости под Москвой, и диктатор повторил в трубку то, что давно уже было решено и подписано. Сопровождающие дожидались генерала, и Кребс воротился не солоно хлебавши в бункер; начинался рассвет.

Гигантским клином наступление нацелилось на излучину Шпрее: почему-то русские придавали особое значение руине рейхстага. Внимание было отвлечено от бункера. Это давало шанс выбраться.

XIV

Принудительная память.

Исход

24 июня 1945, 30 апреля 1945

1

Нечего и говорить о том, что ничего этого ты не видел, жил себе за тысячу шестьсот километров от Берлина в тридевятом царстве, в Козловском переулке, с мамой, которая к тому времени тоже вернулась, с Анной Яковлевной, которая никуда не уезжала; добил, дотерпел с грехом пополам школу и, должно быть, имел самое фантастическое представление о том, что творилось в мире. Ты и не помышлял о том, что тебя ждёт. Или всё-таки догадывался?

Спрашивается, можешь ли ты, имеешь ли право описывать войну, не быв на войне. Но сумеет ли, захочет ли рассказать о войне — об *этой* войне — тот, кто на ней побывал? Увидеть вновь *эту* действительность? Как глаз слепнет от слишком яркого света, так ослеплена его память. О, ночь забвения, летейская прохлада! Можно усмотреть в этом естествен-

ный защитный рефлекс. И, однако, война поселяется навсегда в душе и памяти каждого, кто жил в этом веке. Ибо кроме произвольной памяти Пруста, единственно достойной художника, кроме произвольной, как бы ни оценивать ее права, — есть память принудительная. Писателю предстояло увериться в том, что от такой памяти ускользнуть невозможно. От неё нет спасения.

В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск Действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона — Парад Победы.

На парад вывести: сводные полки фронтов, сводный полк наркомата обороны, сводный полк Военно-морского Флота, военные академии, военные училища и войска Московского гарнизона.

Какой это был восторг, какое счастье увидеть в кино марширующие колонны, офицеров с шашками наголо и маршалов, гарцующих на белом и вороном конях! Что здесь было на самом деле, что предписал диктатор и создал торопливый гений оператора и режиссёра — не всё ли равно! Грохочут трубы и барабаны, блестит под проливным дождем мостовая, солдаты победы швыряют к подножью Кремля трофейные вражеские знамёна. Внезапно пустеет площадь, столько повидавшая за полтысячи лет. Но такого она ещё не видела. Молчит оркестр. В тишине, со стороны Исторического музея, обогнув угловую Арсенальную башню, выстывает колонна солдат, чётко, по-военному выбрасывает вперёд ноги. На одной ноге топ, топ, — единым махом — шире шаг! Ведомые собаками-поводырями, бредут, подняв к небесам пустые глазницы, шеренги слепых. Маршируют сторевшие в танках, с красным мессивом вместо лиц. Визжат колёсики, катятся на самодельных тележках, соблюдая ранжир, безногие. Едут в корытах «самовары», обречённые жить после ампутации обеих ног и обеих рук.

2

Едва лишь трупы фюрера и подруги успели обуглиться, первая группа беглецов двинулась из бункера по направлению к Герман-Геринг-штрассе; за ней, с небольшими перерывами, шли другие. Вёл гауптштурмфюрер Отто Гюнше. Смеркалось, со стороны Потсдамской площади поднимались густые темные клубы дыма. Ворвался рокот моторов, появились низко летящие русские самолеты. Все бросились в подъезд. Здесь уже теснились люди — раненые солдаты в касках, женщины с детьми. Короткими перебежками удалось добраться до заваленного обломками входа в метро Кайзергоф. Шли по шпалам, свята карманными фонариками, натываясь на мёртвых и раненых, свернули в другой туннель под Шпрее. Где-то близко должна была находиться станция Штеттинский вокзал, там можно выйти на Фридрих-

штрассе, по другую сторону фронта, за спиной у всё ещё не сдающихся отрядов. Оттуда пробиваться к американцам. Главное — не попасть в лапы к русским. Но никакого просвета, ничего похожего на приближение к станции, — пути разветвились, кучки людей разбрелись в разные стороны. Это было начало блужданий. Кое-где под ногами хлопала вода, спотыкались, цеплялись за кабельную проводку, брели вдоль отсыревших стен, ничего не видя, кроме тускло поблескивающих, теряющихся за поворотами, уходящих во тьму рельс, сталкивались и снова теряли из виду друг друга.

Что-то почудилось впереди. Выступило из мрака выпуклое лобовое стекло, мертвые чаши фар. Локфюрер¹ спал, опустив голову в форменном картузе. Нет, это был сам фюрер. Вождь и спаситель вёл свой локомотив вперёд, к окончательной победе. Поезд мертвецов остановился навсегда. Они были видны там, за разбитыми стеклами. Для них не существовало поражения.

Кряхтя, цепляясь за что попало, пробирались вдоль вагонов, мимо сомкнутых дверей. Наконец, появился полуразрушенный перрон. Сверху сочился свет. Эскалатор завален щебнем. Вылезли кое-как. День угас. Невозможно было узнать улицу. Свист и гром доносились издалека, словно война пронеслась мимо. Вошли в подъезд и опустили, упали на ступеньки.

Их теперь было только двое: коренастый, приземистый, с каменным четырехугольным лицом, в фуражке с черепом и сером от пыли мундире генерала СС, и другой, на протезе, полуживой, с чёрной повязкой на глазу.

Им казалось, что в доме не осталось живой души. Генерал взошёл на бельэтаж. Звонок неожиданно отозвался в недрах квартиры: здесь функционировало электричество. Генерал нажимал на кнопку снова и снова, повернулся с намерением спуститься в подвал, в эту минуту дверь приоткрылась, выглянула женщина. Она не могла знать, как выглядит личный секретарь фюрера, его и в лучшие времена мало кто видел, но, взглянув на фуражку с серебряным черепом, застыла от ужаса. Держа под руку товарища, Борман поднялся с ним в квартиру. Хозяйка или, скорее, экономка, — это была квартира сбежавшего адвоката — плелась впереди. Оказалось, что они находятся на Шоссейной, в самом деле недалеко от Штеттинского вокзала, хватит ли сил добраться? Где русские? Где идут бои? Старуха не могла ответить.

3

К полудню передовые подразделения выдвинулись на Фоссштрассе. Имперскую канцелярию оборонял отряд СС, слишком немно-

¹ Машинист (нем. Lokführer).

гочисленный для столь обширного здания. В залах и коридорах рвались гранаты, сопротивление было подавлено за полчаса. Из пролома в стене выставился в сторону сада ствол «сорокопятки», прямой наводкой — по башенке бункера. Ответного выстрела не последовало. Когда с автоматами наперевес спустились в предбункер, пробрались, дивясь и остерегаясь, по длинному коридору, сошли по винтовой лестнице ещё ниже и рванули бронированную дверь комнаты службы безопасности, то увидели карточный стол, заставленный бутылками, залитый вином. За столом сидели двое. Кребс упал лицом на стол. Шеф-адъютант фюрера Бургдорф повесил голову, уставился в пол стеклянными глазами.

Война была окончена и всё ещё продолжалась. Все еще маячил за развалинами огромный тяжеловесный дворец с изрытыми огнем минометов колоннами портала, с каменными фигурами на крыльях, по-прежнему полоскалась свастика на кровавом полотнище над фронтоном, в лучах прожекторов. Две ночных атаки захлебнулись под огнем отчаянно оборонявшегося батальона СС и отряда юнцов с ручными миномётами, но вот, наконец, разлетелся от взрыва правый боковой вход. Красноармейцы уже бежали по коридорам. Русский танк приблизился к пролomu, пушка медленно поворачивалась, словно вынюхивала последних защитников рейхстага. Минуту спустя танк горел внутри, подожженный фаустпатроном подростка, слышались крики, наконец, откинулась крышка люка, люди выкарабкались из пекла, катались по земле, последним выпрыгнул из люка командир. Он был прошит тремя автоматными очередями — за час до капитуляции.

Война была окончена и, однако, продолжалась. Мертвец в расколотом шлеме, с пустыми глазницами, национал-социалистическая Германия, шатаясь, ещё размахивал обломком меча. Но уже круглощёкая, ясноглазая, крутобёдрая деваха, Ника XX века в берете с красной звездой, в туго перетянутой гимнастёрке, с карабином за спиной, в форменной юбке до коленок и солдатских сапогах, машет флажками, правит движением на скрещении Унтер ден Линден и улицы кайзера Вильгельма, посреди погибшего города, в виду Бранденбургских ворот.

XV

И выйдет обольщать народы

1 мая 1945

Полковник Вернике поправил на лбу чёрную повязку, протёр здоровый глаз, различил в темноте тиснёные корешки книг за стёклами, он лежал на диване в библиотеке. Кто-то зашевелился в углу перед задёрнутыми шторами. «Вы?» — спросил Вернике. Вспыхнула настольная

лампа. Секретарь фюрера в расстёгнутом мундире, с серо-каменным лицом, сидел в кресле, прикрыв пледом ноги в тесных, некогда глянце-вых сапогах. Фуражка с кокардой в виде черепа лежала на столе.

«Вам удалось поспать, рейхсляйтер?»

«Не знаю, — сказал Борман. — Возможно.»

«Будем двигаться дальше?»

Борман медленно покачал головой.

«Лишено смысла.»

«Но ведь мы, я полагаю, уже по ту сторону фронта.»

«Фронта, — усмехнулся Борман. — Какого фронта?»

Он перевёл взгляд на отстёгнутый протез, стоявший возле дивана. Полковник Вернике лежал, смежив свой зрячий глаз. Секретарь фюрера привстал, заглянул за край оконного занавеса. Там была серая тьма, город исчез. Ни грома орудий, ни автоматных очередей, ни голосов. Борман упал в кресло.

«Странная тишина. Может быть, заключено перемирие?» — заметил, по-прежнему не поднимая век, Вернике.

Помолчали.

«Могли ли вы себе когда-нибудь представить, рейхсляйтер, — заговорил Вернике, — что всё так кончится? Я, по крайней мере, этого не ожидал».

Мартин Борман скосил глаза, ничего не ответил.

«Даже когда большевистские армии подошли к столице, я всё ещё не верил, что конец так близок».

«Ты считаешь, что это конец?» — спросил Борман, неожиданно перейдя на ты.

«Сомневаться невозможно. Конец — трагический и полный величия. Таково веление судьбы».

«Н-да, — отозвался Борман, — величие. Какое уж там величие.»

Снова тишина.

«Я не терплю риторики. Вам угодно, — снова на вы, — выразиться поэтически».

«Какая уж там поэзия», — возразил Вернике в тон секретарю.

«Позволю себе, однако, не согласиться», — заметил Борман.

«С чем?»

«Для нас с тобой, может быть, и конец. Назовём вещи своими именами. Фюрер бросил отечество на произвол судьбы. Не пал в сражении, как обещал, а дезертировал из жизни. Помнится, он говорил, и я этому свидетель, что немецкий народ окажется не достоин своего фюрера, если мы проиграем. Уместно задать вопрос, оказался ли фюрер достоин своего народа. Ты молчишь?»

«Я слушаю, рейхсляйтер».

«Но так или иначе, война давно уже была проиграна. Это было ясно по крайней мере с тех пор, как мы оказались перед фактом наличия в Европе трёх фронтов... Разумеется, русские и американцы рассорятся, как только начнут делить добычу».

Он сбросил плед, подвигал носками сапог, потянулся всем телом. Встал и подошёл к дивану. Борман был лысоват, без шеи, с выпирающим животом. Ведь ему еще нет пятидесяти, подумал Вернике.

«Они уже ссорятся», — заметил он.

«Возможно. Не о том речь. Ты говоришь, судьба. Да, это так, наша судьба — исчезнуть. Рейх погибнет в огне. Собственно, уже погиб. В лучшем случае Германия превратится в скопище мелких захолустных полудоударств. В то, чем она была когда-то».

Он прохаживался по комнате, посвистывал. Остановился и вдруг спросил:

«Ты любишь Малера?»

«Малера?»

«Да. Густава Малера».

«Богемский еврей, — сказал Вернике. — И вдобавок давно забыт».

«Поделом ему. Пятая симфония, первая часть... собственно, там две первых части. Там всё предсказано. Всё что с нами произошло... Может быть, так было нужно. Германия должна была принести себя в жертву. Может быть, жидовско-христианская идея искупления обернулась на самом деле нашей идеей. Эта идея бессмертна, вот в чём дело, полковник. Национал-социализм — это феникс, сегодня он стал кучкой золы. А завтра...»

Борман сделал несколько шагов и снова остановился, глядя в угол, где пряталось будущее.

«Придёт день, — сказал он, — наша идея покорит весь мир. Я не люблю риторики».

Приоткрыв занавес, он уставился в пустоту.

«Могу вам открыть один секрет, рейхсляйтер, — проговорил Вернике после некоторого молчания. — Я знал о Двадцатом июля».

«О заговоре? — усмехнулся чёрный мундир. — Вот как. Впрочем, и я о нём знал».

«Вы? Знали заранее?»

Борман небрежно кивнул.

«И... ничего не предприняли?»

Секретарь вождя навис над ложем, вперился мёртвым взглядом в лежащего. Редкие, гладко зачесанные волосы, лицо без лица. Упырь, подумал Вернике.

«Не время обсуждать», — отрезал Борман, отвернулся и, заложив руки за спину, зашагал снова.

Но остановился.

«Заговор был обречён. Штауфенберг был, безусловно, отважным человеком. Человеком идеи, надо отдать ему должное. Но заговор был обречён».

«Даже если бы...?»

«Да, — жестко сказал Борман. — Даже если бы фюрер погиб. Заговор был обречён, потому что его возглавили слабые люди, интеллигенты, христиане. Этими людьми руководили моральные соображения. Мораль мертва, полковник! Надо, чтобы во главе заговора стоял простой народный генерал, не скованный предрассудками, солдафон с низким лбом. Любимец армии. Может быть, Роммель...»

«И тогда?» — осторожно спросил Вернике.

«Что тогда?»

«Родина была бы спасена?»

Каменный человек усмехнулся. «Лежи», — сказал он презрительно, потушил лампу и раздвинул шторы. Наступило утро.

«Лежи, нам некуда торопиться. Ни у тебя, ни у меня нет больше шансов. Ни у кого из нас не осталось шансов... Но история на нашей стороне. Германия принесла себя в жертву, да, взошла на костер — во имя обновления мира. Никто из нашего поколения до этого не доживёт, но то, что великий проект национал-социализма победит, не подлежит ни малейшему сомнению. Мир идёт к этому. К несчастью, мы не успели окончательно истребить еврейство. Оно окопалось в Америке. Но с Европой, и с Азией в придачу, янки не смогут бороться. Цивилизация зашла в тупик. В этот тупик её загнала коррупция, власть золота, тот самый дракон Фафнер, которого победил Зигфрид».

«Но и Зигфрид был убит», — возразил Вернике.

Борман усмехнулся.

«Вагнер больше не актуален. — Он подошёл к лежащему. — Ты когда-нибудь удосужился прочесть Коммунистический манифест?»

Полковник вопросительно воззрился на секретаря.

«Да, тот самый Коммунистический манифест, написанный немцем Энгельсом под диктовку еврея Маркса. Не удосужился. Напрасно! Много потерял. И Ленина ты, конечно, никогда не раскрывал, тоже напрасно. Нашёл бы у него несколько полезных мыслей».

«Например?»

«Эти люди, надо признать, не были лишены прозорливости. Уж они-то прекрасно понимали, что цивилизация денег, мир безудержной погони за наживой, губельного либерализма, политической анархии, весь этот Вавилон — рухнет рано или поздно. Но что они предлагали? Марксистский проект пролетарской революции выглядит комической утопией. От него разит чесноком. Он насквозь пропитан ветхозаветной идеей царства Божьего на земле. Под которым, конечно же,

подразумевается власть Иеговы. Что такое на самом деле диктатура пролетариата?» — говорил, устремив глаза в пространство, вздвигаясь вперёд поскрипывая сапогами, Борман.

«Вы хотите сказать, рейхсляйтер, что... Я тоже так думал...»

«Я больше не рейхсляйтер. Нет больше рейха. И меня не интересует, что вы думали».

Сумасшедший, подумал Вернике. То «ты», то «вы». Или пьян?

Тут он заметил, что под столом стоит плоская фляга из-под коньяка, пустая.

Вернике привстал, потянулся за протезом.

«Стоп. Лежать! Я ещё не договорил».

«Нам пора, рейхсляйтер...»

Борман метался по комнате.

«Идея абсолютной власти, воплощённая в личности вождя, — вот чего им не хватало. Дисциплина, самоотверженность и восторг. Ледяной восторг, полковник! Вот что понял Ленин и... в какой-то мере, конечно, но осуществил Сталин. Мы недооценили этого кавказца. Вероятно, он добился бы многого, преуспел бы в мировом масштабе, если бы родился в другой стране. Он считал, что миром будет править славянство, роковая ошибка. Эта победа их погубит. Они потеряли так много людей, что даже для России это обернется катастрофой. Не такой, как наша, более медленной. Но надолго их не хватит. Мы не зря боролись с коммунизмом. Это был больше чем враг, это был конкурент. Сегодня он победитель. А на самом деле мы его сокрушили. Это было смертельное объятье...»

«А всё-таки, — пробормотал невпопад Вернике, — всё-таки... где мы? У наших? у русских?..»

Борман остановился, тупо взглянул на него.

«Ты думаешь, на том свете? — сказал он. — Берлин — это и есть тот свет».

XVI

И возрыдают пред ним все племена земные

2 мая 1945

1

Неизвестно, сколько времени, расставшись со случайным спутником, пробивался среди горящих развалин таинственный персонаж, второй человек империи, личный секретарь вождя, рейхсляйтер партии, рейхсминистр, начальник партканцелярии, обергруппенфюрер СС,

политический руководитель фольксштурма, и прочая, и прочая; незримый, как дух, он запасся необходимыми бумагами, завладел партийной кассой и личными средствами вождя, добрался до Побережья, был принят на борт командой подводной лодки, благополучно пересёк Атлантический океан.

Но нет! Известие о том, что под именем Манфредо Берга он купил ранчо с обширным земельным участком на границе Бразилии и Парагвая, оказалось ложным.

Зато получены были достоверные сведения о том, что он остался в Европе. Монах ордена св. Франциска Мартини Бормаджоне окончил свои дни в монастыре Сант-Антонио на Эсквилинском холме в Риме. Однако и это оказалось легендой. Не он ли самолично распространял слухи? Во всяком случае, он был жив. Выяснилось, что он был болен и был опознан неким врачом-евреем, который его умертвил, впрыснув тройную дозу сильнодействующего препарата. Но никакого врача не существовало. Брат Хосе Пессеа, прелат-бенедиктинец монастыря Монсеррат на северо-востоке Испании, вот кто был теперь Мартин Борман. Монастыря не оказалось, и стало известно, что преступник долгие годы скрывался в Италии. На римском кладбище Верано, в безымянной могиле он вкушает мир.

Похоже, что окончательным опровержением всех домыслов и вымыслов — сколько их ещё было на нашей памяти, и не сам ли преступник усердно выстукивал их с того света? — было свидетельство некоего Артура Аксмана, однорукого шефа гитлеровской молодёжи. Он числился погибшим, на самом же деле сумел выбраться из гибнущего Берлина, скрывался, в декабре сорок пятого был схвачен американцами. Показал следующее: после самоубийства фюрера и Евы он, Аксман, покинул бункер вместе с врачом профессором Штумпфеггером, лётчиком вождя Бауром и Борманом. Блуждая в туннелях метро, добрались до станции Лертский вокзал, там наткнулись на русский патруль; рейхсляйтер бежал, а спустя короткое время Аксманн, которому тоже посчастливилось ускользнуть, увидел на улице трупы Бормана и Штумпфеггера.

И всё же получить подтверждение этому рассказу не удалось. Преступник погибал всякий раз, чтобы воскреснуть в новых свидетельствах. Призрак Бормана странствовал по городам и весям. Его видели в Чехии, в Египте, в Испанском Марокко; уверяли, что он обретается в Чили; кто-то опознал его в Австралии. Всплыла Москва: признанием пользовалась сенсационная версия о том, что рейхсляйтер был многолетним русским шпионом. Сбежал в Советский Союз, откуда выцарапать его уже невозможно.

Мистическое существование Бормана не прервалось и в 1972 году, когда во время земляных работ в окрестностях Лертского вокзала

нашли побуревший череп и несколько трубчатых костей. Находка хранилась в Федеральном управлении уголовной полиции как возможное вещественное доказательство, до окончания следствия. И прошло ещё сколько-то лет, прежде чем судебная медицина не оснастилась новейшим методом. Из останков был выделен генетический материал, несколько молекул нуклеотидов — код наследственности. Их сравнили с ядерным материалом из крови престарелой родственницы Мартина Бормана; пробы совпали. Время повернулось вспять. Каменный человек погиб, сорока пяти лет от роду, в Берлине в первых числах мая 1945 года.

2

Плакаты на рекламной тумбе, на стенах домов с выбоинами от осколков.

WEHR DICH ODER STIRB

NUR DAS VOLK IST VERLOREN, DAS SICH SELBST AUFGIBT¹

Русский правитель, без лба, с длинным нависшим носом, бровищами и усищами, с ножом в зубах:

DIESE BESTIE MUSS VERNICHTET WERDEN²

Где я? — бормотал, не замечая, что говорит сам с собой, человек с повязкой на вытекшем глазу, с непокрытой головой, в изодранном мундире с грязным подворотничком и чёрно-серебряным прусским крестом между углами воротника. Где русские? Смолкла канонада. Выглянуть из душного подземелья. Дождь. Запах сирени плывёт из-за решётки сада.

Он увидел очередь перед мясной лавкой. Удивительно, что ещё что-то осталось, что не разнесли лавку. Немецкая дисциплина! Стать в хвост. Но зачем? Дождь всё сильнее. Кто-то уверенно говорит о близком спасении. Вы что, не слышали? Венк со своей армией идёт на выручку.

А, пусть думают, что хотят.

Барышня читает вслух экстренное сообщение, замызганный листок. Фюрер, до последнего дыхания сражаясь во главе армии, пал на поле боя.

Фюрер... до последнего дыхания... Личный шофёр с камердинером выволокли обоих из подземелья, Гюнше облил бензином. Столб огня. Пал, сражаясь, на поле боя. Пусть, пусть думают, что хотят. Но любопытно — потрясающая новость, и никакой реакции в очереди.

¹ Защищайся или умри. / Лишь тот народ погиб, кто сдаётся.

² Этому зверюгу надо уничтожить.

Говорят, они уже в Цоссене. Кто? Этого не может быть. Откуда это известно? Всякий, кто распространяет провокационные слухи, подлежит расстрелу на месте. Ах, оставьте вы все это. Сейчас самое главное не попасть в лапы к азиатам.

Кто-то нацарапал мелом во всю стену: *Si fractus illabatur orbis, impavide ferient ruinae*¹.

Нам только латыни и не хватало. Скоро появятся русские надписи.

Вы бы лучше, герр полковник, сменили вот это... Что сменить? Показывает на мундир и Ritterkreuz²: мало ли что... на всякий случай.

3

На искусственной ноге вверх по лестнице, вдова аптекаря предложила у неё переночевать.

Нестарая женщина, пожалуй, меньше сорока, стройные ноги. С верхней площадки смотрит на карабкающегося офицера.

Ветер треплет штору из плотной бумаги, затемнение — кому оно теперь нужно? Просторная квартира. Отсидеться, отлежаться. Он представил себе широкую супружескую кровать. Прошу вас, г-н полковник. И... и тут опять вой сирен, срочно вниз. Неважно куда, в подвал так в подвал. На лиловом небе самолёты, совсем низко, как шмели. Со стороны Рангсдорфа равномерные залпы флаков³. Значит, на юге всё ещё держатся.

Тяжёлая герметическая дверь, бомбоубежище какого-то учреждения, чиновники, разумеется, сбежали. Потолок подпёрт свежеекорёнными бревнами. Люди сидят, согнувшись, вдоль стен. Рты и носы обвязаны платками. Якобы предохраняет от разрыва лёгких взрывной волной.

Слепой солдат с монахиней, сестрой милосердия. Женщина кормит в углу крошечного ребёнка. Простая человеческая жизнь, что с ней стало? Снова это холодное озарение, как будто проснулся после наркоза, а под одеялом, единственная нога ампутирована. Красота отбивающих шаг чёрных батальонов, великие идеи, звучные слова. Всё провалилось в тартарары.

Если, расколовшись, обрушатся небеса.

Господин офицер, вам бы лучше... Кивает на мундир и орден. Сами понимаете. Русские уже в...

Всякий, кто распространяет провокационные...

¹ Если, расколовшись, обрушатся небеса, неустрашимо вознесутся руины. (*Гораций*).

² Рыцарский крест.

³ зенитные орудия.

Рёв, свист — все ближе. Грохот разрыва сотрясает потолок и стены подвала. Большевистский бог войны. Еврейский бог мести. Если вспомнить, что мы там, у них, натворили, что ж. Неудивительно.

Майский день померк. Парк изрыт воронками, в кустах кучка женщин. Похороны девушки-санитарки. Остановившись, он тупо смотрел, как заворачивают в какую-то скатерть несчастное безногое тело и опускают в яму.

Теперь куда?

Опять эта женщина. От дома ничего не осталось. Осталась одна жена аптекаря.

В погребке или где там. В жилище лемулов. Стропила намазаны фосфором, чтобы не расшибить лоб. Глаза привыкают к темноте, кругом всё обсижено. Последняя новость: «ами» и «томми» рассорились с русскими и перешли на нашу сторону. Пожалуйста, не наступайте на ноги. Куда ещё — здесь и так повернуться негде. Герр офицер, вам бы всё-таки... Нет, вы только подумайте: удалось связаться по телефону. Сестра говорит: «Wir sind schon Russen»¹.

Этого не может быть. Связь прервана. А я говорю вам... Вы уверены, что это она? Где она живёт, ваша сестра? В Веддинге. Тогда всё понятно. Вражеская пропаганда, Веддинг всегда был коммунистическим районом. Вот так и распространяются провокационные слухи.

А что, они ведь тоже люди. Подруга рассказывала: подъезжает танк, оттуда вылезает Иван, лицо в копоти, смеется — рот до ушей. Женщины бегут навстречу.

Ложь, они, знаете, как себя ведут? Они всех женщин. Старух, маленьких девочек, всех подряд. Хоть кричи, хоть не кричи. Сперва это самое, потом стреляют. Вот так — в упор: встал, подтянул штаны, и — в лоб, в грудь, в живот, всех подряд. Вы это ещё увидите.

Да что там говорить. На нее посмотрите. Беженка из Восточной Пруссии. Что-то ещё бормочет на диалекте. Явно не в своём уме.

Всё-таки, знаете: у них ведь тоже есть и матери, и сёстры.

Чуть было не сказал — я сам был на Восточном фронте. Уже, можно сказать, в самой Москве. Проклятое, обманчивое «чуть-чуть».

Они всех без разбору. Лишь бы было что между ногами. А я вам говорю, я точно знаю, переговоры уже начались. Американцы не допустят, чтобы Берлин стал русским. Еще немного потерпеть... Венк на подходе. Что Венк? Где Венк? Нам всем крышка. Они всех... Мужчин сходу, а женщин потом.

Чего ж вы хотите. Женщины всегда были добычей победителя.

И маленькие девочки, и старухи, — да? Вы *это* хотите сказать?

А что мы у них там творили, тебе это известно? Мне племянник рассказывал.

¹ Мы уже русские.

Не хочу слушать, scher euch alle der Teufel¹.

Подъехали к одной деревне, а там будто бы ночевали партизаны.

Ну, партизаны, это совсем другое дело, это же звери.

Наши тоже хороши...

Кто подъехал-то? Да не слушайте вы его. Разве вы не видите, что это за фрукт.

Sonderkommando², вот кто. Навстречу идёт священник. В чёрной рясе, седая борода, и держит перед собой золотой крест. Это он вышел просить, чтобы пощадили деревню. А его попросту автоматной очередью. Потом сожгли всю деревню из огнемётов, детей, старух — всех.

Да не слушайте вы. Немецкий солдат детей не убивает. Это всё чёрная рать, не зря у них и черепа на фуражках. Слушай, ты, если ты не замолчишь... И вы тоже, не знаю, в каком вы чине. Или вы стащите с себя к чёртовой матери этот мундир, или...

Или что?

Или катитесь отсюда. Сейчас Иван придет. Нас всех расстреляют вместе с вами.

«Прежде я тебя пристрелю», — холодно говорит Вернике и вынимает пистолет.

4

Свист, грохот, рушится потолок. И тишина. Ничего, мы ещё живы. Лицо в потёках крови, но, кажется, цел. В горле сухо от известковой пыли. Звуки доносятся как сквозь вату, по-видимому, оглох. А кстати, какое сегодня число? Довольно валяться. Вдруг наступило лето. Осколки жаркого солнца хрустят под сапогами. Вперёд — во что бы то ни стало. За углом полуразрушенного дома — табличка с названием улицы, этого не может быть, вот так сюрприз, я в двух шагах от Шпрее, ну-ка живей, перебраться через мост Кронпринца, если мост цел. Улица перегорожена баррикадой, ребячьи голоса, патруль подростков. Вскокивают и отдают приветствие. Командир, старик с фельдфебельскими погонами, вышел навстречу. Здесь бои начались три дня назад. Здесь было 5000 мальчишек. Осталось 50. Затем все как-то странно меняется.

Русский танк «ИС» впереди, в просвете улицы. Пушка опущена низко к мостовой, кумулятивная граната прожгла броню. Экипаж погиб. Нет, они здесь. Или другие; впрочем, какая разница? Из-за руин высунулись круглые шлемы, автоматчики поднимаются во весь рост. Один забросил оружие за плечо, вытянул из травянистых галифе портсигар, рвёт газету, сыплет махорку. Наконец-то. Пора!словно к доро-

¹ Катитесь вы все к чертям.

² спецподразделение СС.

гим, долгожданным друзьям, выходит навстречу, припадая на ногу, оборванный, в серой щетине человек с почернелым лицом, и как будто видит себя со стороны. Всё как в замедленной съёмке. Беззвучно опускаются брызги земли, оседает пыль и извѣстка, полковник Вернике медленно поднёс руку к лицу, стащил грязную повязку с мёртвого глаза на виду у вскинувших и тотчас опустивших свое оружие солдат, стоит посреди улицы, — вместо левой ноги протез, вместо меча восьмизарядный вальтер Р-38, — и не спеша приставляет дуло к виску.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XVII

Жизнь — государственная тайна

Без даты

1

Если бы существовала астрономия событий, мы увидели бы, как туманное солнце Победы встало на востоке и, останавливаясь, исчезая в тучах и вновь поднимаясь, постепенно светлея и наливаясь золотом, поползло все выше, пока не достигло зенита: это было утро 9 мая 1945 года. Толпы бежали к Красной площади, плакали и смеялись, и обнимались, и гремели оркестры в уличных репродукторах, и было видно, как взлетают над головами солдаты войны с брякающими медалями на гимнастерках, и в небе плыл и польхал стяг со знакомым портретом.

Жизнь, новая жизнь начиналась при звуках победных труб, жизнь казалась обетованной землей, наконец-то обретенной, и, однако, осталась прежней, — и уже далёким эхом звучал в ушах топот парадных сапог, заглохла маршеобразная музыка, жизнь мчалась, а вместе с тем стояла на месте, как стоит вагон под стук колёс, а навстречу летят поля и деревни; жизнь была predetermined, для неё, словно в чёрную дыру туннеля, были проложены рельсы в сгустившийся мрак будущего, и она неслась по ним, увозя на тот свет ни о чём не подозревавшего пассажира. То, что древние называли фатумом, а люди менее просвещённого времени — Божьей волей, теперь именовалось государственной тайной. Станок ткал серо-чёрную, маркую ткань под названием «диагональ». Рулоны этой ткани прибыли на северный полустанок, где бригада простуженных подростков разгрузила их прямо на снег, а ты, приятель, где ты был в это время? Ни о чём не догадывался, ничего не знал о государстве тайн и заграждений; сидя на корточках где-нибудь в Парке Культу-

ры, затягивал шнурки ботинок с коньками раздумянившейся барышне в белой вязаной шапочке с помпоном, и плясала, подзуживала весёлая музыка, и флаги трепыхались на мачтах, и сияли фонари, лёд блестел, и падал снег.

Между тем угрюмые тощие женщины, все в такт, кивая серыми стриженными головами, стучали ногами по приводу, стрекотали швейными машинами под тускло-слепящим светом лампочек без абажуров, и глядите-ка, твой бушлат готов, новенький, и топорщится, перетянутый верёвкой в кипах готовой продукции, по десять штук в связке. Сгорбленная старуха с самокруткой во рту, дочь действительного статского советника и правнучка декабриста, пересчитала кипы и расписалась в бумажке. Пятьдесят лет тому назад она подрывала устои государственного строя, в короткой шубке стояла на стрёме, пока два гимназиста лепили клейстером прокламацию прямо на дверях губернского дворянского собрания; потом отправилась за границу изучать революционную теорию, и сорок лет жизни ушли на собрания, речи, платформы, членские взносы, выборы комитетов, разоблачение уклонов, борьбу фракций, резолюции, дым дешёвых папирос и дебаты до пузырей пены в углах рта; в те годы она коротко стриглась, ходила крупными шагами в холщовой юбке, а теперь носила бушлат, крутила и слюнила четвертушки газетной бумаги с махрой и пересчитывала новенькие бушлаты. Жизнь была predetermined, жизнь неслась вперёд и стояла на месте, огороженная колючей проволокой, окружённая со всех сторон, словно минными полями, государственной тайной.

2

Итак, бушлат был готов, ждал тебя, оставалось дооформить дело. Стёганный ватный бушлат в гардеробе отечественной истории — то же, что тога в Древнем Риме, рыцарский плащ и монашеская ряса Средневековья, камзол века Светочей. Имя изобретателя бушлата неизвестно, фасон и выкройки составляют компетенцию ведомства охраны государственных тайн, подобно инструкциям тайной полиции, местонахождению оборонных заводов, паспортному режиму, сведениям о сексуальной жизни вождей. И то, что всё это — государственная тайна, есть в свою очередь тайна.

В толковых словарях говорится, что бушлат — это одежда моряков, не верьте, первейшая обязанность лексикографа — хранить тайну. Словари лгут, как лгут календари. В парадных сводках перевыполнения планов графа «Производство бушлатов» отсутствует. Но на самом деле бушлат, ласково именуемый «бушлатик», есть одеяние эпохи, национальный наряд, форменное рубище, носимое зимой и летом. Бушлат не покупают, его выдают — взамен рубахи, куртки, пальто или шубы; быв-

шему дирижёру он заменяет фрак, бывшему солдату — шинель, бывшему монарху — мантию. Бушлат служит подушкой и одеялом. Бушлат фигурирует в лагерных преданиях, порождает целый лексический слой. Идиоматическое выражение «одеться деревянным бушлатом» означает врезать дуба, сыграть в ящик, освободиться с биркой на левой ноге, откинуть лапти, отбросить копыта, отдать концы, приказать долго жить, загнуться, околеть, подохнуть, почить в Бозе: умереть.

3

Государственная тайна есть феномен, целесообразность которого не то чтобы иллюзорна, о, нет, но как бы растворяется в том, что на первый взгляд порождено определённой целью и назначением: в мертвенном сиянии газосветных ламп, в лабиринте коридоров и дверей, в неслышном шаге сапог по ковровым дорожкам, в контрольных постах на площадках этажей, в бессонных караулах у глухих ворот и гранитных подъездов, побелевших от инея, в уходящих ввысь, слепо отсвечивающих окнах цитадели, похожей на огромный колумбарий. На первый взгляд то, что там происходит, есть средство для достижения некоторой цели. На самом деле в них, в этих средствах, и состоит цель, смысл и задача.

Там ткут, прядут, как Парки, нить судьбы, там трудятся ночь напролёт, там дрожит в сжатом воздухе беззвучная музыка бдения, там сидят в обшитых дубом кабинетах неподвижные, как буддийские изваяния, начальства, там скрипят перьями в кабинетах с зарешечёнными окнами младшие и старшие следователи в накинутых на плечи шинелях, с простыми, как пемза, лицами выходцев из народа, с окурком в углу рта; там вырабатывается этот особый, невещественный и неосязаемый материал — субстанция государственной тайны, подобно тому как паук фабрикует бесцветную паутину, как ткётся ткань на бумажнопрядильном комбинате, и существуют нормы, и есть техосмотр, и есть передовики, перевыполняющие производственный план.

И, как в еврейском предании невидимая рука раз в год записывает в Книгу судеб, кому жить, кому умереть, так и здесь, пока ты копошишься в своей маленькой жизни, некто невидимый решает твою судьбу в тайных канцеляриях. Множатся донесения, подшиваются новые материалы, дело пухнет и переходит из одного кабинета в другой, обрастает визами и резолюциями, уснащается постановлениями, последний удар штемпеля — папка захопывается. Ночные автомобили просыпаются в подземном гараже. Вспыхивают фары. Раздвигаются ворота. Машины развезут только что вышедшую из ткацкого станка тайну по адресам.

Знал ли ты, знали ли все вы о том, что в недрах огромного здания скрывается тюремная сердцевина, средоточие тайны, что в подвалах

раздевают догола, стригут машинкой под ноль, затем холодный душ, и хорошо, если только это; что в гробовой тишине по длинным переходам ведут арестанта, чмокая, пощёлкивая языком, постукивая ключом по пряжке, чтобы не встретиться с другим конвоиром, что на крышах за высокими стенами помещаются прогулочные дворы и стоят сторожевые вышки? Нет, разумеется, не знал. И никто не знал; если же знает, то все равно не знает...

Тайна, как туман, окутывает город.

XVIII

Свидание

28 октября 1948

Это произошло... Неплохой зачин для рассказа, в котором невероятность событий узаконена поэтикой приключенческой литературы, но, к несчастью, такая литература — не твой удел. В прекрасном старом дворце Дементия Жилиярди на Моховой, левое крыло, если стать спиной к Манежу, Александровскому саду и звёздно-зубчатой крепости, — вот где это произошло. И была тихая, блёкляя, задумчивая погода, какая стоит только в октябре и только в нашем городе.

Этот дом стал легендой, мифом. Рассказывают, что он стоит по сей день, — признаться, маловероятное утверждение! Никогда больше ты не входил в воротца ограды, не поднимался на третий этаж, где справа окно и низкий подоконник, а посередине вход на факультет, никогда не заглядывал в угловую, называемую Круглой, аудиторию. Пожилая женщина в кацавейке и тёплом не по сезону платке, отчего она казалась ещё старей, в тёмной юбке, на ногах довоенные фетровые боты, в руках кошёлка, все в этом столетии ходили с кошёлками, — стояла, ожидая конца последней лекции. Студенты гурьбой покидали зал. Она приблизилась, ей нужен был репетитор для внука.

Несколько времени оба топтались в коридоре, шум и толкотня мешали разговору. Но именно так, на публике, следовало произнести первые фразы, мне вас рекомендовали, что-то в этом роде. Может быть, отойдем в сторонку?

В шестом классе, продолжала она, входя в аудиторию. По математике лучше всех, а вот с русским языком беда. Не хотелось нанимать взрослого преподавателя, хорошо, если бы репетитор был товарищем для мальчика.

Что-то недоброе почудилось в этой тётеньке, но, может быть, память исказила первое впечатление. Тусклый взгляд, бесцветный голос; вдобавок, произнося отрывки фраз, она прикрывала рот, словно стесня-

лась недостающих зубов. В опустевшем зале — это и была вышеупомянутая Круглая аудитория — подошли к подоконнику, она смотрела вниз, на пустынную площадь, наклонилась, чтобы увидеть угол улицы Герцена, откуда выворачивал трамвай. Она искала глазами людей, дежурящих на углу, нищего, который сидит перед оградой слева от ворот. Ничего подозрительного, люди спешат по тротуару, подчиняясь единому ритму, тяжёлому, учащённому дыханию города. Уже висел вдоль Манежа длинный плакат: «Мир будет сохранён и упрочен, если народы мира...» — дальше не было видно, но все знали это изречение наизусть. Всем было известно: мы — за мир!

Мы за мир, и песню эту понесём друзья по свету. Пусть она тратата. Сбоку над фронтоном, на крыше, рабочие тянули вверх на канатах огромный покачивающийся портрет Вождя, в литых усах, в мундире с расшитым воротником и звездой Победы.

Она проговорила, всё ещё не глядя на тебя: «Дело вот в чём...» — и студент подумал, что она выставит какое-нибудь особое условие; она поправила платок на голове и коротко, остро взглянула, видимо, сомневаясь, сможет ли он справиться с обязанностями репетитора.

«К сожалению, мне надо спешить».

И добавила:

«Вам тоже».

«Мне?» — спросил он.

«Да. Только ни о чём меня не спрашивайте. Никакого внука у меня нет».

А кто же, задал он нелепый вопрос.

Она посмотрела ему в глаза.

«Обещаете, что никому не слова? И, пожалуйста, никаких вопросов. Вы меня не знаете, я вас не знаю. Вы меня никогда не видели, ясно?.. Вам надо уехать».

Молодой человек воззрился на старуху. Уехать, куда?

«Из Москвы, срочно. Куда-нибудь... чем дальше, тем лучше. Это мой совет вам. Мы не можем долго разговаривать, — говорила она бесцветным, безразличным голосом, — я сейчас уйду, а вы немного побудьте здесь. Вас должны арестовать».

«Меня? Кто?» — спросил он растерянно.

Старуха мелко кивала головой в сером платке: да, да.

За что, спросил он.

На прошлой неделе ты поругался с кем-то в кино, в очереди перед кассами, вы были втроём, ты, она и Аглая, вмешалась милиция. Выходит, милиция?.. Летом на пляже к тебе подошла цыганка, открой десять карт, сказала она, какие будут красные, а какие черные. — А что это значит? — А то значит, сказала она, что красные к радости, чёрные — к горю. Он открыл, все десять оказались красными.

Мы за мир, и песню эту. Понесём, друзья, по свету.

Всё это крутилось в голове. Он снова спросил: «Но за что, вы мне можете сказать?»

«Это уж вам знать».

«Откуда вы взяли?»

«В какую-нибудь из ближайших ночей... я думаю, ближе к празднику, это делается ночью. Никому ничего не говорите, маме вашей скажите, чтобы вас не разыскивала, уезжайте, и всё. В глушь, где вас никто не знает».

Что-то ещё удерживало её.

«Главное, не задерживайтесь, уезжайте сегодня же. Лучше ночью, чтобы никто не видел. Это безумие, что я вас предупредила».

Студент остался в пустой аудитории, тупо размышлял о чём-то, вышел, спустился, повернул направо, пересёк трамвайную линию. Остановился.

Он прочёл: *Мир будет сохранён и упрочен, если народы мира возьмут дело мира в свои руки и доведут его до конца.* Что означали эти слова? — очевидно, ничего, или примерно то же, что *жил был у бабушки серенький козлик*. Это была словесная конструкция, лишённая содержания. Но ему подумалось, что перед ним тайнопись, зашифрованное сообщение, он повернул назад, перешёл снова улицу Герцена.

Писатель шагал по тротуару, вдоль решетки университета, мимо ворот медицинского института, мимо американского посольства, мимо окон ресторана «Националь», шёл, не оглядываясь, вдруг поверив, уверенный, что за ним идут. Он ничего не знал о них, и всё-таки знал: его *накололи*, следят из подъездов, поджидают на углу улицы Горького, он замедлил шаг, нужно было резко изменить маршрут, нырнуть куда-нибудь, но нырнуть было некуда. Люди спешили вокруг, кто-то выругался, наткнувшись на него. Незачем гадать, почему, за что, они всё видят, всё знают, если придут за тобой, значит, есть за что. Никому не известно, что они замышляют, всё — тайна, и кто такие эти «они», тоже тайна.

Какие выйдут красные, а какие черные. Вишь ты, одни красные. Или — недоразумение, подержат и отпустят? Но нет, сказал он себе, и как же это мы раньше не догадывались. Весь предпраздничный шум, друг мой, дурачина, и блеск витрин, и сверканье автомобилей, и толкотня на тротуарах, всё это — морок, обман, переливчатое покрывало индийской Майи, а под ним — ночь и туман. *Мы за мир, и песню эту...* И всю дорогу, непрестанно дурацкая мелодия бубнила у него в мозгу.

XIX

Героический эпос бдительности

Вечером 28 октября

Она сказала правду, не было никакого внука, но был сын. И когда, проделав кружной путь, — лишняя предосторожность не мешает, — сперва в другую сторону, в густой толпе пешком к Арбату, потом на метро сколько-то остановок и опять пешёчком до Покровских ворот, — когда она вошла в подъезд старого дома на углу Колпачного переулка, поднялась по лестнице, открыла дверь коммунальной квартиры своим ключом и, неслышно прошагав по коридору, вступила в комнату, когда, наконец, размотала платок и повесила кацавейку, — при этом оказавшись, как мы и думали, не такой уж старой, — то первый вопрос не был произнесен, но был ей задан одним движением глаз: ну как?

Сын лежал на кровати, костыли для домашнего употребления стояли в углу. За окном — нежно-фиолетовое, фиштакшковое, как всегда в это лучшее время года, в этом лучшем из городов, небо, негаснувший, погожий день.

Мать сидела на стуле, не горбясь, боком к обеденному столу, руки на коленях. Виделась ли она с ним. Удалось ли его отыскать? Конечно, сказала она. Сразу узнала. — Так. И что же? — Ничего. — Сказала?

Молчание.

«Да, сказала».

«А он что?»

«Он ничего не понимал. Я боюсь, — проговорила она. — За тебя боюсь».

«Ерунда. Мне ничего не грозит. Ты ему что-нибудь рассказала?»

Словно страдая от невыносимого зуда, так похожего на зуд в пальцах несуществующей конечности, он выпытывал каждое слово: что, как, о чём говорили. Не волнуйся, Юра, сказала мать, никто нас не слышал. Я же говорю тебе: вызывали тебя, потому что ты член партбюро. — Всех вызывали, возразил он угрюмо. — Тебя вызвали, продолжала мать, как коммуниста. Ну и, конечно, репрессированный отец.

Может быть, и других заставили подписать. Кто это может знать? Нет, конечно, ни о чём она не рассказывала. Никаких вопросов, я вас не знаю, вы меня не знаете. И что ваш однокурсник — мой сын, и что его *вызывали*.

Удивительное слово тех лет: произнесёшь, и всё ясно, кто вызывал и куда. Зачем вызывали, тоже не надо объяснять. И, разумеется, под строжайшим секретом. Обречённый ни о чём не подозревает. Его тело всё ещё живёт среди людей, в толпе студентов, с шумом, смехом

вываливающихся из Круглой аудитории, только что окончилась лекция. (О французском классицизме, уточнил сын.) Но уже накинута на него невидимая сеть, уже одной ногою он там, и вот-вот поедет, как по эскалатору, в преисподнюю. Уже невозможно называть вслух его имя.

«Пойми, Юра, — сказала мать, повторяя то, о чём они накануне проговорили полночи, решив, наконец, что она отправится в университет предупредить. — Пойми, ты всего лишь свидетель. Так это у них называется. Ты думаешь, оттого что ты что-то подтвердил, что-то подписал, его и заберут? Всё решено заранее. Они всё знают без тебя. И знают гораздо больше. Им нужен формальный свидетель — может быть, даже не один. Они всегда действуют по закону. Который сами же сочинили. И твои показания сочинили, и его собственные, на самого себя, это отработанный механизм. За ним следят уже давно, это я тебе гарантирую. Ждут, когда накопятся доносы. Настоящий виновник — это осведомитель, кто-нибудь в вашей группе. Его-то, конечно, вызывать не будут. От твоих показаний ничего не изменится. Этой сетью опутали всех. Уж я-то знаю. Господи, мальчишка, я же видела, кто он такой: мальчишка».

«Я тебе так скажу, — продолжала она, — и не будем больше возвращаться к этому разговору. Я тебе так скажу... Чтобы трудоустроить умственно остальных людей, существуют лечебные мастерские. Там слабоумные клеют картонные коробки. А чтобы дать работу садистам, создана эта организация, все эти управления, подвалы, тюрьмы».

«По-настоящему, — сказала она, — надо бы арестовать меня. Я их ненавижу. Я всех их ненавижу. Я ненавижу усатого ублюдка. Твой отец исчез в тридцать седьмом году, через десять месяцев мне ответили: десять лет без права переписки. Что это означает, это мы уже и тогда знали. А твой дед был народовольцем».

Всё так, думал инвалид. Он сидел на кровати, опустив ногу на пол, давно уже стемнело, шелковый абажур освещал стол и лицо матери, остальное — стены, книги — было погружено в сумрак. Не я, так другой, и ничего бы не изменилось. Свидетели — чистая формальность, всё правильно. И всё-таки, всё-таки!..

А она думала: мало того, что мальчик прямо со школьной скамьи отправился на фронт. Мало того, что пришел с войны калеккой. Сколько их вообще осталось — из всего их класса вернулось двое. Так нет же, надо мучить его ещё.

Они вызывают людей, чтобы связать всех круговой порукой. Накануне, вернувшись, он рассказал, как было: позвали в деканат. Там говорят — зайдите в секретариат, какие-то формальности. Он отправился в административное крыло. Дом Жилиярди выходит на площадь покоем. Клятвенные братья Огарёв и Герцен, в кустах на своих постаментах, могли бы кое о чём напомнить. Университет, оплот русского свободомыслия... эх! Инвалид шёл, опираясь на палки, переставлял ноги. В

ректорате объяснил, что ему велели явиться. К кому? — спросила секретарша и, не дожидаясь ответа, сняла трубку телефона. Там что-то ответили. Он заковылял дальше. Уполномоченный обитал в конце коридора за дверью без таблички. Он постучался, подождав, отворил, там была вторая дверь, он снова постучался. Кум сидел за столом, это был гладколицый, голубоглазый, сдержанно-вежливый человек в штатском, разговор в кабинете за двойной дверью начался с уважительных комплиментов, в них сквозило даже некоторое участие. Юра знал, что такое особый отдел. Но сидевший напротив него не был похож на военных особистов, он говорил без южного акцента, правильным русским языком, говорил «вы». Себя называл «мы». Это была форма, называемая в грамматике *pluralis majestatis*, множественное величества. Присаживайтесь, — тут он назвал Юру по имени-отчеству, — вы, наверное, догадываетесь, зачем мы вас пригласили. Не догадываюсь, сказал Юрий. — Хотелось бы, м-м, побеседовать. Речь идёт о... — Он назвал фамилию, мягко поглядывая на посетителя. В нём было что-то подкупающее, он словно хотел сказать: вот видите, вы ожидали увидеть какого-нибудь дуба, мы совсем не таковы. — Не буду от вас скрывать, продолжал он, у нас есть сведения, что...

Откуда это известно, холодно спросил Юра, и в ответ уполномоченный усмехнулся, кинул на свидетеля оценивающий взгляд, как бы прикидывая, что это: наивность или притворяется? — К вашему сведению, сказал он осторожно, органы осведомлены обо всём. — Зачем же тогда...? — Вы хотите сказать, возразил уполномоченный, зачем понадобились ваши показания. Но это ваш долг, долг советского гражданина, коммуниста. — А если, спросил Юра, я откажусь. — Уполномоченный потянулся за портсигаром, протянул свидетелю, Юра помотал головой. Уполномоченный закурил. — Откажетесь помочь следствию? — спросил он. — Ваше дело, мы никого не принуждаем. Возможно, придётся сделать соответствующие выводы. — Он смотрел на свидетеля ясным взором, в котором можно было уловить насмешку, впрочем, еле заметную. — Кстати, хотел бы напомнить, что укрывательство врага — уголовно наказуемое деяние. Конечно, до этого дело не дойдёт, вы один из лучших студентов, партбюро будет рекомендовать вас в аспирантуру, мы поддержим ходатайство.

Какой же он враг, сказал Юра. Он всё ещё упирался. Кум не спорил. Да, пожалуй, правильной будет сказать — не враг, а заблуждался. Мы выясним. Может быть, ограничимся разъяснительной беседой. Вправим мозги... То, что здесь написано, установленный факт, сказал он холодно и взглянул на часы. Сейчас, думал Юра, напомнит об отце. Он видел это по глазам кума. Страха он не испытывал. Меня сейчас вырвет, подумал он, прямо здесь, на пол. И на всякий случай отодвинулся. Интересно, как он будет реагировать. А что если спросить: где ты был, сука,

во время войны? *Где вы все были, сволочи.* Ему протянули протокол, он расписался. Затем положили перед ним печатный бланк о неразглашении, и здесь тоже оставалось поставить подпись.

«Разъяснительная беседа... знаем мы эти беседы. Держи карман шире», — бормотала мать с кривой усмешкой.

Ему не в чем себя упрекнуть, сказала она твёрдо. Если бы он отказался, ничего бы не изменилось. Никому бы это не помогло. Оттуда не возвращаются. А Юре они бы отомстили.

Да, узнала его сразу. Они, мать и сын, не называли обреченного иначе, как с помощью местоимений: он, его, ему. Сказала ему, что нужен репетитор. А когда остались вдвоём, посоветовала уехать, вот и всё. Куда-нибудь подальше, в глубинку, страна у нас, слава Богу, большая. Она знала по прежним временам, что такие случаи бывали, людям удавалось отсидеться в глуши, пока там, наверху, не наступила очередная ночь длинных ножей, новые крысы не передушили старых. — На другой день писателя не было на занятиях. Не появился он и назавтра, и через неделю, и через две недели. Не то заболел, не то перевёлся куда-то. Кто-то кому-то сказал по секрету, пошёл запашок, слушок: арестован; за что, лучше не спрашивать. Нет дыма без огня — наверное, есть за что. Пошёл слушок, якобы за кражу книг в Ленинской библиотеке. Пошёл слушок — за участие в антисоветской организации. Уже не первая раскрытая организация. Этажом ниже, на философском, тоже раскрыли подпольный кружок по изучению индийской философии. На партбюро секретарь сделал краткое сообщение: органами государственной безопасности разоблачён и так далее; эта информация не для разглашения, однако всем нам, товарищи, нужно сделать из этого случая серьёзные выводы. Так была подведена черта, после чего стало ясно, что писателя вообще никогда не существовало. Кто такой NN? Не было никакого NN.

XX

Побег № 2.

Если это вообще возможно

1 ноября 1948

Поезд нёсся мимо пакгаузов, закрытых шлагбаумов, пустырей, поезд стоял на вокзалах, перроны, освещённые могильными фонарями, ночной стук колёс, как стук чугунных часов под ухом, расцвет в потёках дождя, пассажир держал рюкзак на коленях, в страхе протягивал билет контролёру, высматривал милицейскую фуражку на платформе, дремал, пробуждался в переполненном вагоне, вновь поднимал голову, налитую свинцом, и в панике проверял, на месте ли деньги во внутреннем

кармане, вагон почти опустел. А там новые толпы штурмуют на станциях поезд, и опять милиция, и опять контролёры, и дежурный в красной фуражке подаёт знак кому-то на платформе, и в каждом из входящих беглец старался угадать переодетого «сотрудника». Весть о побеге охотилась за ним, летела по проводам, меняла поезда, растекалась по городам. Так он думал. Так выглядело это в его воображении. Пассажир устало поглядывал на медленно проплывающие, нераспаханные поля, на таёжные леса, постепенно растущие на горизонте, надвигающиеся, словно оккупационное войско, и вот уже летят, обгоняя друг друга, тёмные ели, опускаются, так что стали видны верхушки, вагон постукивает, подрагивает, пронзительный свисток локомотива, и полустанок пронёсся мимо, пролетела будка путевого обходчика, поезд идёт по длинной загибающейся насыпи, над ним необъятное небо, и внизу, сколько можно охватить взглядом, густой неподвижный лес.

И тут тебя охватывает неописуемое чувство, смесь отваги, отчаяния и злорадства; второй раз в жизни, очертя голову, ты бросился навстречу небывалому приключению — прыжок с парашютом в пустоту. Voilà! — они таки явились. Ночью, как предсказывала эта тётка. Машина остановилась перед подъездом, и дальше как в кино, такие фильмы появлялись через полвека. Остановились, сверяют номер дома — поднимают с постели дворника — кулачищем в дверь — нет, кулаками не стучали, длинный звонок — фуражка с голубым околышем — следом другие. Квартира напрягает слух: к кому? *За кем?* Сапоги в коридоре, стук в дверь, *проверка паспортов*. Вваливаются в комнату, узкую, как пенал. Такой-то. А его уже след простыл.

Странная теория — считается, что таким способом можно спастись. Переждать... пересидеть. Оно, конечно, верно, но, конечно, что там всё знают, всё видят, а всё же кому-то посчастливилось ускользнуть. Приедут незваные гости, а он здесь больше не живет. Ночной лейтенант сидит за столом, постукивает пальцами, другие заглядывают за портьеру, под кровать. Уехал, куда? Как же это вы не знаете. И давно? Да он совершенно отбил от рук, родную мать забыл, живёт своей жизнью. Тэк-с. Пристальный взгляд, пальцами та-та-та. И ведь не говорят, зачем пришли: государственная тайна!

Удивительная теория, она выворачивает тайну наизнанку. Что же дальше? А ничего. Дел много, работы неуворот, отложат, а там, глядишь, переменится погода. Так уже бывало. Оказывается, была даже родственница в Ленинграде, муж был арестован за то, что в двадцать седьмом году голосовал за троцкистскую оппозицию. Решила не дожидаться, когда придут, быстро собралась и укагила с трёхмесячным ребёнком на Урал. И прожила там два года, пока не рухнул Ежов. Времена, сказала мать, не вечны. И видно было, что она изо всех сил старается в это поверить.

А ты, спросил писатель. А я, если успею, уеду к сестре. Она металась по комнате. Бог даст, сегодня ещё не придут. Они всегда являются накануне праздника, это известно. Откуда ты знаешь, спросил сын. Это известно, повторила она. Оба ни на минуту не усомнились, безоглядно поверили незнакомке во вдовьем платке. Да и нельзя было не поверить. Такие вещи не выдумывают; значит, знала. Мать провела полдня в очередях перед кассами на Ярославском вокзале. Была глубокая ночь. Писатель сидел, откинувшись на спинку дивана, всё ещё называемого оттоманкой, на котором он спал ребёнком, всё было как в далекие времена: буфет, пианино, только детского столика с книжками давно уже не существовало. Мать металась туда-сюда, забывала, вспоминала.

Подумать только, что делается. Теперь они уже и детей хватают. Но я тебе скажу, — она остановилась с бельём в руках, — ты сам виноват. Ты мне никогда ничего не рассказываешь. Где ты проводишь время, с кем водишься. Шуточки, анекдоты, неужели ты не понимаешь, где ты живёшь. Чего уж теперь говорить. Я для тебя не авторитет. Был бы папа жив, он бы тебя приструнил. Надо переждать. Всё-таки есть справедливость. Например, когда сняли Ежова, всё изменилось. Сталин вмешался, и всё это кончилось. Она вздохнула, она действительно вела себя мужественно. Только бы не разбудить соседей. Вот деньги, вот тёплые носки. Где билет? Паспорт не забудь. Слава Богу, страна у нас большая. Мне обещали устроить... тебе не обязательно знать. Везде есть хорошие люди. Они приютят. Отсидишься сколько надо, а там и я к тебе приеду. Просто надо выждать. Она вытерла слёзы, высморкалась. Присесть напоследок, иначе пути не будет. Бог даст, времена изменятся. Это долго не может продолжаться. Побудешь там и вернёшься. Главное, соседей не разбудить.

Писатель сказал, что ему нужно попроситься. С кем? С Анной Яковлевной. Да ты с ума сошёл, не смей!

Она первой вышла из подъезда. Взгляд налево, направо — никого. Тёмные купы деревьев за глухой стеной чехословацкого посольства, конусы жёлтого света под тарелками фонарей. До отхода поезда ещё добрых полтора часа, но лучше выйти, пока не рассвело. Молча двинулись к площади Красных Ворот, теперь она называлась Лермонтовской, по Орликову переулку пешком до площади вокзалов. Странная история, говорил он себе много лет спустя, но ведь чего только не бывает на свете. И страна, столь реальная, обступавшая со всех сторон, казалась ему в этих воспоминаниях каким-то сказанием. Не забылись подробности, но сцепились в причудливый узор. Невидимое и всевидящее око наблюдало за ним со своих высот, но и это осталось предположением, творимой легендой, чем-то таким, что находилось на стыке действительного, вероятного и фантастического; всё было неправдоподобно в этой небывалой стране, вполне реальным был только финал.

Студент высаживается на станции с названием, о котором никто никогда не слышал, но он будет помнить его всю жизнь; никто не встречает, люди косятся на его городское пальто, он стоит на остановке, он трясётся на продавленном сиденье допотопного автобуса, сумка с московскими продуктами у ног, брезентовый дорожный мешок на коленях. В дальнем селе отыскивает попутчика, и ещё часа три в телеге, а дальше пешком. Кто посоветовал, чьи это знакомые и знакомые знакомых, неизвестно. Да и незачем знать; кто-то кому-то звонил, кого-то нашли, с кем-то договорились; всё вполголоса, всё обиняками, род коллективного инстинкта, цепь страха и взаимопомощи; люди понимают, что надо спешить, — и всё тайна, искра пробежала и погасла, ты меня не знаешь, я тебя не знаю. И, собственно, это даже не адрес: есть такие места, которых и на карте не отыщешь, куда и почта не доходит, откуда три года скачи, ни до какой цивилизации не доскачешь.

Шёл я и в ночь, и средь белого дня. Близ городов озирался я зорко.

Вот он, неумирающий русский миф. Бегство из крепостной неволи на Дон, в Сибирь, побег с каторги по славному морю, из страны вглубь страны, в неисследимую глушь: исчезнуть, слинять, сорваться. Воля! Сами того не ведая, мы впитали эту идею с молоком матери.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь. Горная стража меня не поймала.

Обмануть всесоюзный розыск, уйти с концами. Жуки на булавах, мы все лелеяли эту мечту.

XXI

Свет не без добрых людей

9 ноября 1948

Он поселился в сторожке на краю джунглей, которые были не чем иным, как одичавшим садом, брошенной заимкой, а то и помещьем давно исчезнувших владельцев. Дальше начинался сырой тёмный лес. На ветхом столике стояла коптилка, лежали спички и толстая, изгрызенная временем и мышами книга. Дощатое ложе застелено ветхим одеялом, подушка, набитая тряпьём, на гвозде тулуп. В углу — железная печка с трубой, колено подвешено на проволоке и труба выходит из крыши. Измученному долгой дорогой постояльцу ничего не снилось. Утром на столе стояла еда. *Хлебом кормили крестьянки меня.* Он вспомнил — читал — в царское время женщины ставили крынки с молоком на полке перед окошком, для беглецов, бредущих через тайгу.

Он выглянул, светило холодное яркое солнце. Чуть-чуть золотилась пожухлая листва. Всё кругом словно вымерло. Новосёл повалился

на топчан, успел подумать о том, что сейчас, должно быть, прозвенел звонок, народ выходит из Коммунистической аудитории на галерею с колоннами, толпится у балюстрады; и тотчас он догадался, что все было сном: и тётка во вдовьем платке, и ночные сборы — ничего этого не было. Но и пробудившись, сидя на топчане, собираясь с мыслями, он как будто переместился из одного сна в другой. Он поднялся, добрел до отхожего места, рядом на столбе висел умывальник.

Писатель листал серые, обломанные по углам страницы, читал наугад, это была история Исхода. И сказал фараон, пусть перестанут громы Божии, отпущу вас, и отправились, числом до шестисот тысяч, не считая детей, как вдруг послышался хруст шагов. Это были они, он замер, всё ещё надеясь, что не заметят, пройдут мимо. Бабий голос окликнул его. Он молчал. Дверь приоткрылась.

«Я уж думала, помер ты. Али сбежал».

Куда ещё бежать.

Лохматый зверь семенил навстречу, хоть и виделись накануне, на всякий случай пролалял: это ещё кто? «Свои, свои», — бормотала старуха. Вошли в избу.

За столом на лавке под образами сидел мужик, весь заросший неседеющим волосом, можно было дать ему лет пятьдесят, можно было и семьдесят. Студент поздоровался. Хозяин молча оглядел вошедшего, показал кивком на скамью. Гость выложил на стол банки с американскими консервами и два круга темно-красной копченой колбасы. Стесняясь, положил рядом конверт.

Мужик заглянул в конверт, не вынимая, пересчитал деньги, ничего не сказал, сунул за пазуху. Разлил желтоватую водку по гранёным стаканам. Давай, сказал он, с новосельем. Тебя как звать-то.

Водка оказалась самогоном.

«Огурчиком закусите», — сказала хозяйка.

Пёс стучал когтями, кашлял в сенях.

«Чего он там?» — спросил хозяин.

«Соскучил небось».

Пёс по имени Козел вошёл и уселся на вислом заду. Хозяин взял большой нож, рассек колбасу, отрезал ломтик. Пёс вскочил, подобострастно подковылял, не сводя глаз с колбасы. Задрав морду и раскачиваясь на задних лапах, Козёл исполнил танец, следуя, как за магнитом, за ломтиком колбасы, который двумя пальцами держал хозяин.

«Хер тебе», — сказал мужик и положил ломтик себе в рот. Игра продолжалась, Козел снова танцевал на задних лапах, поймал, наконец, колбасный ломтик и проглотил, не успев разжевать.

Напиток бросился в голову писателю, он беспомощно тыкал в тарелку алюминиевой вилкой. Волосатый мужик задумался, угрюмо поглядывал на гостя.

«Та-ак, — проговорил он, — работать, значит, у нас будешь. А ты чего делать-то умеешь? Небось и лопату ни разу в руки не брал».

«Картошечку вот берите...»

«Ты, мать, делом займись. Не встревай. У нас свой разговор. Ну чего, рассказывай. Как там жизнь-то?»

«Да никак», — сказал студент.

«Так уж и никак! Ты пей, пей. Здравей будешь... Из самой Москвы, что ль, приехал? Кто победил-то?»

Студент не понял.

«Крепись, не поддавайся, — сказал хозяин, беря с тарелки пучок лука, — успеешь окосеть... Немец, говорю, в Москве али как?»

Писатель взглянул на свой стакан, взглянул на мужика. Кобель переступил передними лапами, моргнул, скромно дал знать о себе.

«Пошёл вон... Всё одно. — Хозяин хрустел луком. — Под немцем-то, пожалуй, лучше. А?».

«Да ведь немцев давно уже нет».

«Куды ж они делись?»

«Мы победили».

«Это кто ж это, мы? Ты, что ль? — спросил мужик, прищурясь, и с шумом втянул воздух в волосатые ноздри. — Чтой-то не слышать, чтоб победили... Васён, — сказал он, — хватит тебе шебаршиться, садись с нами. С ним рядом садись...»

«Чего ты его спаиваешь. Вот, салцом закусите».

«Ладно, бабка, твоё дело помалкивать. Ты, парень, если что, не бойся. Никто тебя здесь не выдаст. Пока, а там поглядим. Как себя покажешь. Да гони ты его вон! — загремел он. — Суку этого».

Хозяйка поднялась, отворила дверь, и пёс удалился, заметно припадая на задние лапы.

«Зависит, говорю, как себя поведёшь. Небось там делов наделал... Твоя работа. Я тебя не пытаю. У нас тут закон тайга, медведь прокурор».

Последовало молчание, хозяин крутил перед собой стакан, выпил не торопясь, схватил новый пучок, нюхнул.

«По-нашему так. Что Гитлер, что Усатый, все одно... С Гитлером-то, пожалуй, лучше, а в общем, один хер. Пушай они там себе глотку перегрызут».

«Уже перегрызли».

«Кому?»

«Гитлеру, кому же».

«А Усатый где?»

Гость пожал плечами. «В Кремле».

«А говорят, Кремль сгорел. Французы спалили».

«Дядя, — сказал студент, — когда же это было!»

«Ну, значит, восстановили. М-да. Надо бы ему, — продолжал хозяин, — девку какую найти, дело молодое».

«Найдём», — сказала Васёна.

«Может, Клавку позвать? Давно не виделись».

«Я-те дам Клавку».

«Да не мне, не мне!»

«Знаю я тебя. Я-те дам Клавку».

«Ты, бабка, лучше помалкивай. Сами разберемся. Ну, давай, что ли, ещё по одной... Мать! открой консерву, чего он там привез... Тут до тебя тоже один жил, — продолжал хозяин. — Как ты, скрывался... Да ты не трухай, я же не спрашиваю, что ты там натворил. Ешь, пей. Никто на тебя не донесёт».

Выпили.

«Вот я и говорю, старик здесь жил, в сторожке. Всё молился... Ни-колу видишь? — Он повернулся, показал пальцем. Студент обвел иконы осолопевшим взглядом. — Да не та, внизу. Учить вас надо... Он подарил. И тулуп евоный. А Богородицу с собой взял».

«Давно?»

«Чего?»

«Когда он здесь жил?» — спросил писатель.

«Давно. Тому уж лет сто».

«Как это, сто?»

«Ну, может, чуток меньше. Я его не застал. Люди рассказывали. Лет десять прожил, а потом ушёл».

«Куда?»

«А леший его знает. В тайгу ушёл. Знаешь, кто он был?»

Снова послышалось царапанье, хозяйка отворила, Козел воздвигся на пороге.

«Ну, чего тебе?»

«Соскучил», — сказала Василиса.

Козел вновь намекнул, что не прочь поучаствовать в трапезе.

«Ишь чего захотел».

Не отказался бы и от...

«Ишь ты какая сука, выпить ему захотелось. А вот сопливого мово не хочешь? Пошёл вон».

Пёс вскинул жёлтые брови, пожал плечами.

«Старый стал», — заметил хозяин.

Дверь осталась открытой, Козёл, выйдя из сеней, расставил лапы перед крыльцом и, опустив зад, похезал.

Голос хозяйки донёсся: «Вот я тебя!»

«Так кто же он был?» — спросил писатель, с трудом справляясь с собой.

«Старец? Святой. То-то и оно. Царь».

«Какой царь?»

«Государь император!» — вскричал народный человек.

Студент воззрился на него.

«Он самый, — сказал мужик убеждённо, — кто ж ещё. Помер, проводили как положено, ну, там музыка, лошади с энгими, — он потряс корявой ладонью над головой, — с метёлками. Николашка на трон взошёл. А он, родимый, ночью, когда все разошлись, возьми и встань с одра смерти. И утёк по подземному ходу. Слиял! Там и одежда была для него приготовлена, вроде как крестьянин. В лаптях поканал. А вместо него верные люди другого в гроб подложили. Вот он тут и скрывался».

Что-то сдвинулось в отуманенном мозгу писателя. Почему бы и нет, подумал он. История вне хронологии. Может, так и поймашь за хвост её неуловимый смысл.

Он заметил, что о старце написал Толстой.

«Это который, Лев, что ль? Правильно, значит, написал».

Писатель сказал, что он однажды видел похороны настоящего царя.

«Это которого?»

«Последнего».

«Врёшь. Тебя тогда ещё и на свете не было».

Подумав, хозяин прибавил:

«Видели мы их всех в гробу. Суки поганые... Чтоб им черти на том свете пятки щекотали...»

За перегородкой, где помещалась кухня, с грохотом свалили охапку дров.

«Да ведь уж топили, Васён!»

Бабий голос ответил:

«Холодно чегой-то».

«Всё сгорит, — бормотал волосатый мужик. — Всё-о-о! — повторил он с видимым удовольствием. — Прахом пойдёт! Ну, давай еще по маленькой».

«Егоша, может, хватит?»

«Молчать! — кулаком об стол. — Сказано: всех покараю и не оставлю на камне... Ты читай Писание, там всё сказано. Евреи написали... По-нашему, жида. Умные, гады, всё знают. А насчёт того-этого, ничего не бойся. Тут закон — тайга. А если кто спросит, нет таких, и гробите отседа...»

«Я вот тебе что скажу, — бормотал он. — По секрету... — Он наклонился и зашептал: — Меня тоже нет. Я уж который год вовсе как бы и не живу. Спроси меня, кто я такой, я тебе не отвечу. Никто! Понял? Чего ты на меня смотришь? А? — мужик стукнул кулаком. — Небось думаешь, нализался и ничего не соображает. А на самом-то деле кто тут с тобой сидит? С тобой Григорий Петров сидит! А, может, и не Григорий Петров, хе-хе. Может, вовсе даже не человек, а так, одна видимость».

«Да что ж это такое!.. Ты его не слушай — болтает незнамо что».

«Нет меня. Убили, пропал без вести. У меня и похоронка есть, там прямо сказано: погиб в боях, за нашу советскую... А я в р-рот её ебал! И валите отседа. Нет таких, и всё, и пошли вы все к едреней фене».

XXII

Сельская идиллия. Утрата девственности

Ноябрь или декабрь

Старуха нашла для него старые растоптанные валенки, телогрейку, трех, писатель бродил по заснеженной пустоши, возвращался к себе, топил печурку, спал, просыпался, читал вслух ветхую Библию, и зверь внимал ему, сидя на поджаром заду, щёлкал зубами, чесался, помалкивал. Однажды, миновав развалившуюся мельницу, перебрались по льду через речку и углубились в лес, собака взвизгнула, побежала, махая хвостом, провалилась в сугроб, хрустнули ветки, белый пушистый убор посыпался с еловых лап, из чаши вышла снежная королева.

Вышла невысокая, присадистая, полнолицая, на вид лет сорока, в тёплом платке, из-под которого выглядывал белый платочек, в шубейке и маленьких чёрных валенках. Козёл крутился возле неё, она чесала его за ушами, приговаривая: Козлик. А тебя как, спросила она.

«Не хочешь говорить. А я и так знаю», — и пошла вперёд. Пёс выбежал на лёд. Добрели до мельницы, она стрепла ногой снег с единственной ступеньки, оставшейся от сгнившего крыльца.

«Кабы не проломилась», — пробормотала она.

Писатель опустился рядом.

Пёс осведомился, помахивая хвостом: так и будем сидеть?

«А куды нам спешить».

«Вы здесь живёте?» — спросил студент.

«Живём...»

Помолчали, женщина сидела, вытянув ноги в валенках, поправляла платок.

«Живём — хлеб жуём. Чего тебе, Козя? Домой хочешь?»

Она поглядела на белое ватное небо и широко зевнула.

«Чегой-то спать хочется. К непогоде. Потопали, милые».

По дороге разговорились: она жила в посёлке, километров за семь. Да какой там посёлок, полторы старухи. Небось, скучно тебе здесь, сказала она. Писатель ответил, что хозяева хорошие. И ещё о разных пущах. Как-то сразу, легко и просто перешли на ты. Григорий Петрович говорит, в сторожке будто бы жил святой старец. — Какой еще старец, не было никакого старца. — А кто же? — Никого там не было. — Хозяин говорит, давно, сто лет назад. — Ну, это другое дело; мало ли кто жил.

Вон у нас помещики жили, баре; ничего не осталось. — Якобы царь. Об Александре Первом тоже рассказывали, что он не умер в Таганроге, а скрывался в Сибири.

«Ты его больше слушай, — сказала Клавдия, — он тебе наговорит».

«Так и не пойму, кто он вообще-то?»

«Кто... — Она усмехнулась. — Никто, вот он кто».

«Они что, тебе родня?»

«Какая родня — седьмая вода на киселе».

Оттоптали снег с валенок и вошли в дом.

В тот раз ничего не было, и, кажется, прошло ещё сколько-то времени, Клавдия приходила несколько раз, прежде чем — прежде чем что? Впоследствии всё выглядело так, словно он жил на бывшей заимке очень долго — или, напротив, провел считанные дни.

«Давай помогу, что ль», — промолвила она, вышла следом за Василисой на кухонную половину и вернулась, неся перед собой ухват с шипящей чугунной сковородой. Григорий Петрович, с расчёсанной на две стороны бородой, в чистой рубахе, восседал под образами. Клава выбежала в сени — «я сейчас», — там была другая дверь, — и вернулась в платочке, из-под которого кокетливо торчала ореховая прядь, в пёстром платке с бусами на груди, с неумело покрашенными губами.

«Ишь ты, ишь ты», — проворчала старуха. Григорий Петрович сурово смотрел на Клавдию из-под нависших бровей. Все уселись за стол. Козя, не дождавшись, когда начнут, уже хлебал что-то из миски.

«Вот это другое дело, — сказал Григорий Петрович, принимая у Василисы бутылку с бело-зелёной этикеткой. — “Карагандинская”, эва. Караганда-то знаешь где?»

«Не знаю».

«И не надо знать. Чучмеки, вишь, тоже научились делать».

«А говорят, ихний бог не велит пить», — сказала Клава.

«Это почему же. Пить никому не запрещается. Где брала?»

«Пей, отец, и не спрашивай. Кушайте, милые».

«Снег-то какой повалил. Завалит нас всех», — промолвила Клава, наклонившись к окошку.

«Ничего, откопаем тебя».

«Кушайте на здоровье...»

Несколько времени спустя хозяин объявил:

«Всё, напился, наелся. А теперь вот почитаю вам».

«Да ты уж читал...»

«Пушай послушают. Им будет полезно».

Василиса принесла толстую книгу в чёрном пожухлом переплете, мужик сдвинул в сторону тарелки, нацепил очки, послунил палец.

Хорошо жить в честном браке, но лучше никогда не жениться.

«Это почему же?» — спросила Василиса.

«Молчать. Слушай и не перебивай».

Писатель спросил, что это за книга.

«Граф Лев Толстой. Слышал про такого?»

«Вроде бы слышал, — сказал писатель. — Мы о нем уже говорили».

«Когда это? Ну и нечего встречать. Называется, — сказал Григорий Петрович, — “Путь жизни”».

Если люди женятся, когда могут не жениться, то они делают то же, что делал бы человек, если бы падал, не споткнувшись. Если споткнулся и упал, то что же делать, а если не споткнулся, то зачем же нарочно падать? Если можешь без греха прожить целомудренно, то лучше не жениться.

«Да какой же это грех — женитьба, — сказала Василиса, — чего он там пишет! Сам небось...»

«У Толстого было одиннадцать детей», — сказал студент.

«Вот. Это тебе ученый человек говорит».

«Молчать... Много вас умников».

Губительны для доброй жизни излишества в пище, также и ещё более губительны для доброй жизни излишества половой жизни. И потому чем меньше отдаётся человек тому и другому, тем лучше для его истинно духовной жизни».

«Духовной! — сказал хозяин и строго взглянул на Клавдию. — Тебя касаемо».

«Я-то тут причём».

«А при том, что женщина — сосуд дьявольский греха».

«Какой еще сосуд».

«А вот такой». Чтение продолжалось.

Говорят, что если все люди будут целомудренны, то прекратится род человеческий. Но ведь по церковному верованию должен наступить конец света; по науке точно так же должны кончиться и жизнь человека на земле, и сама земля; почему же то, что нравственная добрая жизнь тоже приведёт к концу род человеческий, так возмущает людей?

Главное же то, что прекращение или не прекращение рода человеческого не наше дело. Дело каждого из нас одно: жить хорошо. А жить хорошо по отношению половой похоти значит стараться жить как можно более целомудренно.

Григорий Петрович вздохнул, потянулся к бутылке.

«Да уж пил, хватит с тебя», — проворчала Василиса, налила четверть стакана и подала ему. Клава поднесла пучок лука.

«По местам», — сказал хозяин, дожёвывая головку.

Вам сказано, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Слова эти не могут означать ничего другого, как только то, что, по учению Христа, человек вообще должен стремиться к полному целомудрию.

Неиспорченному человеку всегда бывает отвратительно и стыдно думать и говорить о половых сношениях. Называют одним и тем же словом любовь духовную — любовь к Богу и ближнему, и любовь плотскую мужчины к женщине или женщины к мужчине. Это большая ошибка. Нет ничего общего между этими двумя чувствами. Первое, духовная любовь к Богу и ближнему, — есть голос Бога, второе — половая любовь между мужчиной и женщиной — голос зверя.

«Вот — поняли? — Он снял очки, уложил в футляр. — Половая любовь — это, значит, когда это самое: голос зверя! Блядство, по-нашему. Поклонишься зверю, и огню его, и чаше его. Клавушка, — сказал он неожиданно плаксивым голосом, — совсем ты меня бросила...»

Немного спустя разомлевший и подобревший хозяин, сидел спиной к столу, расставив ноги в валенках и полосатых портах, с гармонью на коленях, раздумываясь Клава обнимала и целовала его в ухо, Козёл спал, головой на полу, разложив лапы, хозяйка полезла на полати. На столе среди тарелок с недоеденной едой, толстых гранёных рюмок, порожних бутылок горела керосиновая лампа, и снег по-прежнему мёртво и густо валил за окошками. Со скрежетом растянулись половинки баяна, запели тонкие регистры, заворчали под заскорузлыми пальцами басы, студент неловко обхватил Клаву, почувствовал большую грудь женщины, чашу бёдер, оба раскачивались в каком-то подобии танго, она отступила, баян развернулся. И, и... й-эх! Й-эх! — Клава подрагивала, помахивала платочком, поворачивалась, поглядывая из-за плеча, мелко перебирала ногами в толстых вязаных носках, бусы подпрыгивали на её груди, двумя руками она манила к себе студента, увернулась, вновь приблизилась, хозяин притопывал, выглядывая из-под свирепых бровей, как волк из кустарника, со скрежетом растягивал во всю ширину половинки баяна, качался вправо и влево, и вместе с баяном раскачивалась вся изба.

Собака нехотя поднялась, потянулась, сладко зевнула и щёлкнула зубами. Уложив передние лапы на шаткую лесенку, Козёл сделал попытку вспрыгнуть. Хозяйка с печи протянула ему руки. Писатель подхватил Козю сзади, и пёс вскарабкался на лежанку. Сильно коптила лампа. Клава подбежала и прикрутила фитиль. В полутьме мужик, босой и взмокший, держал на коленях женщину, отколупывал толстыми пальцами пуговицы на груди у Клавы. Пёс моргал сверху.

«Козя, чегой-то он делает, а? Сам говорил, сосуд греховный...»

«Клавушка, — лепетал Григорий Петрович, — пойдём со мной...»

«Куда это?»

«На сеновал пойдём».

«Беда мне с вами... Ладно, — сказала она, — повеселились, и будет. Я домой пошла. Ну вас всех...»

«Да куды ты пойдёшь. В такую темень... И дорогу-то небось замело».

Они вошли в сторожку. В темноте Клава нашарила на столе спички, засветила коптилку. Писатель в нерешительности стоял возле печки. Женщина, в расстёгнутой шубейке, сидела на коленях перед железной дверцей.

«Старик-то наш как разошёлся, а? На сеновал захотел... Козёл сладострастный... У них и сеновала-то никакого нет, скотину не держат, одного только поросёнка кормят, зачем им сеновал?»

«Ты с ним... — пробормотал студент, — у тебя с ним было?»

«Было, не было, тебе какое дело».

Она насовала в печурку бумагу, щепу, втокнула поленья, дверца не закрывалась. Повозившись немного, чиркнула спичкой, подождав, затворила дверцу и опустила защёлку.

«Было, да сплыло», — сказала она.

«Слушай, а кто же он всё-таки?»

«Петрович? Зачем тебе знать? — Она поднялась, отряхнула колени. — Дезертир, вот кто! Когда война началась, они с бабкой в городе жили. А у них в деревне дом. Успел он попасть на фронт, али нет, не знаю».

«Сколько ж ему лет?»

«А Бог его знает. Сразу-то не забрали, вроде бы справкой обзавёлся. А потом и до него дошла очередь. Только через месяц он вернулся, говорит, комиссовали, а у самого фальшивый паспорт, на чужое имя, это я точно знаю... Ну вот, пожил немного в деревне, а потом сюда, так всю войну и пересидел. Хи-итрый мужик».

«Ты смотри не говори, — добавила она, — что я тебе рассказывала».

«Я тоже», — сказал студент неожиданно для самого себя.

«Что — тоже?»

«Убежал. Меня вроде бы собирались арестовать».

Пламя гудело в печурке, стало тепло. Клава уселась рядом с ним на топчан. Теперь она была без платка, встряхнула ореховыми волосами.

«Взопрела. — Она стащила с себя шубейку, кинула на табуретку, расстегивала пуговицы платья. — Давай и ты раздевайся. Чего ж ты думаешь, мы не догадались, что ль».

«О чем догадались?»

«О чём, о чём... Не надо об этом, — зашептала она, — что там с тобой было, никому до этого дела нет... Смотри только, никому больше не говори... Бог с ними со всеми... Обойдётся, забудется. А мы с тобой сейчас поженимся. Ты небось ещё ни с кем? Давай, сымай».

Она снова присела перед печкой, железно уже начало багроветь вокруг трубы. Клава отворила рукавицей дверцу, запихнула ещё два полена в огненное чрево.

«А это нам больше не нужно» — и задула коптилку.

«Вот сюда, — шептала она, засовывая к себе под сорочку руку студента. Её грудь с твёрдым соском влилась в его ладонь. — Поласкай, поласкай... и другую тоже... а теперь вот сюда... И я тебя поласкаю».

Он почувствовал её руку, медленно глядящую, обнимающую.

«Нет, нет! — сказал он испуганно, — стой!»

«Всё, не буду... Тесно тут, — проговорила она, устраиваясь на топчане, — ничего, как-нибудь... Ну, иди».

Причащение огню и чаше совершилось в несколько мгновений.

XXIII

Слово «документы» в этой стране всегда означает: паспорт

5 марта 1949

Не каждый год, хоть в Азии, хоть в Европе, а где, в какой части света помещается наша Россия, никто не может толком объяснить, собственно говоря, мы сами часть света, не Европа и не Азия, — не каждый год бывает такая ранняя весна; тебе, приятель, повезло. Вокруг ещё громоздились пласты жёсткого ноздреватого снега, земля не успела расступиться, а небо уже дышало пьяной влагой, и дорога, в хрупком стекле луж, блестела на солнце. Всё с тем же заплечным мешком странник шагал по обочине, всё та же на нём ватная телогрейка, шапка-ушанка, на ногах кирза. Предполагалось добраться часа через два до посёлка, а что там? Свет не без добрых людей, сказала Василиса: недельку-другую проболтаешься, а там, Бог даст, вернёшься. Да, но Петрович. Это было одно из тех подозрений, которые никогда не удаётся ни подтвердить, ни опровергнуть.

Две ночи подряд выла собака, кричала сова. В облаках мелькал серебряный месяц. Старуха гадала на червонного короля, выходило — дальняя дорога. Ещё ничего никто не знал. Что-то чувствовалось. Через два дня Клавдия явилась с новостью: ждут какое-то начальство. Может, и облава. На кого облава-то? А кто их знает. Люди бают, а я почём знаю. Да что говорят-то? Постановление вышло, слышал кто-то: об усилении мер. Вроде банда объявилась, грабят, поджигают.

Сказала и пожалела. Григорий Петрович, волосатый хозяин, сидя в углу под образами, где он, казалось, проводил всё время, вынес решение: не про нас это. Мы не воры, не разбойники, нас не касаемо. А ты, парень, отседа вали. И Василиса снова: ты там где-нибудь побудь, а потом назад вернёшься. Петрович уточнил: поглядим. Да смотри: о том, где жил, у кого, — никому, понял? Было ясно, что он струсил.

Позже Клава объяснила. Начальство начальством, может, и вправду вышло новое постановление, да не в том дело. «Ты что, не усек, что ли?» Это была ее версия. Старый козёл возревновал. Но это же не новость, возразил студент.

«Что не новость?»

«Что мы с тобой».

До сих пор как-то обходилось с Григорьем Петровичем. Изредка она уступала ему. Даже, пожалуй, не так уж и редко.

«А что поделаешь. Только я прямо сказала: если его прогонишь, на меня больше не рассчитывай, уйду. А потом и вовсе».

«Что вовсе?»

«Перестала ему давать, вот что!» Значит, почувствовал, что тут настоящая любовь.

Писателя томило неуместное любопытство. Он спросил:

«Скажи, Клава, а кто из нас лучше?»

Она ответила просто:

«Кто лучше умеет? Он».

«Он?»

«Ну да. Ты ведь у меня совсем как... Милый, — сказала она, — да разве в этом дело?»

«А я думал», — пробормотал он.

«Чего ты думал?»

«Что для тебя это важно. Ты такая страстная...»

Она засмеялась.

«Страстная, да. Только это одно дело, а любовь — другое. Учить тебя надо...»

Словом, Петрович ждал повода. Струсить, может, и струсил. Но главное, искал повод избавиться. Только я ему тоже не подстилка, сказала Клава.

«Ты там побудь немного, — шептала она, — подожди меня. Я за тобой приеду. Я всё приготовила, у меня и деньги есть, и всё. Поедем в Уфу, у меня там тётка живёт. У неё все знакомые. Паспорт тебе другой выправим. Устроишься где-нибудь. Будем жить с тобой...»

Он хотел спросить: а может быть, хозяин попросту донёс на него? Известил кого надо. Решил, наконец, от него избавиться.

Ночью лежали, обнявшись, на жаркой скрипучей кровати у Клавы, засыпали и просыпались, давай напоследки, а вот я тебя научу, бормотала она, проявив незаурядную изобретательность, тяжело дыша, лаская и будоража его плоть, и рождались новые силы, словно дело и назначение пола всё ещё не были исполнены до конца. Стало ясно, что началось это предчувствие последних дней — вся эта часть жизни завершилась. Пробудившись, он увидел свет в низких окошках. Сел, мучительно зевая. Было тихо. Студент ничего не понимал. Зачем всё это, зачем понадобилось бежать из Москвы? Ложная тревога, и доказательст-

во — то, что никто не разыскивал беглеца. Нелепый разговор со старухой в университете, кто её знает, откуда она взялась. Всё предстало в ином свете: в Египте мы сидели у котлов с мясом. В Москве осталась Наташа, университетская любовь. Он покосился на спящую. Что, если бы сейчас Наташа оказалась на её месте?

Клавдия вскочила с постели.

«Батюшки, проспали!»

Писатель ел ложкой яичницу с чугунной сковороды. Клава запикивала в мешок дорожные харчи. Солнце стояло уже совсем высоко, а он всё шёл и шёл, и ничего не было видно впереди, кроме сизой кромки лесов. Медленно наползали оттуда графитовые облака.

Неизвестно, в котором часу он добрёл до деревни; начинало смеркаться. Сыпался лиловый снег. Ни звука, ни лая собак. Избы заколочены досками крест-накрест, кое-где висели полуоторванные ставни. Кто-то обитал за этими окнами; деревня, явно не та, о которой говорила Василиса, была населена призраками. Тем лучше. Снег шёл всё гуще. Давно уже промокли сапоги, одежда набухла влагой. Попрошусь, думал он, переночевать. Так он дошёл до конца короткой улицы, из мглы явились остатки кладбищенских ворот, церковь со сбитой маковкой. Тут он увидел, что в проломах окон мерцает огонь.

Странник вступил на паперть, приоткрыл тяжёлую дверь. Пахло дымом, в полукруглом каменном зале на полу был разложен костёр. На стенах смутно виднелись полустёртые лики святых. Вокруг костра на тряпье сидела компания. На вошедшего обернулись. Он поздоровался.

Никто не ответил. Студент топтался, не решаясь что-нибудь сказать. Кто-то промолвил: «Эва, да это Андрюха». Другой возразил: «Какой тебе Андрюха».

Спросили: «Ты кто такой?»

Он пожал плечами.

«Ты чей будешь-то?»

«Ничей», — сказал студент.

«А ничей, так садись».

Ему подстелили что-то. Он снял мешок с плеч и опустился на пол.

«Вот, — сказал он, выложив свои припасы. — Хотите?»

«А выпить не найдётся?»

Писатель вытащил бутылку, заткнутую бумагой, сокрушённо развёл руками.

«Воды у нас и тут хватает, — сказал старшой. — Ну давай, что там у тебя».

Компания оживилась, старшой крякнул. Тащи из нашего эн-зэ, сказал он, раз такое дело. Поднялась фигура в лохмотьях. Пошёл следом за ним и старшой, тощий бородатый мужик. Несколько минут спустя он вышел из царских врат, облачённый в старую фелонь, с медным наперсным крестом и в камилавке, за ним шел второй с бутылью.

«Благослови, Господи!» — возгласил старшой. В костер полетели щепки, обломки досок. Скучная снедь была разложена на чём-то. Мутный самогон пошёл по рукам.

Что же произошло потом? Всё приключение было недолгим, по крайней мере таким казалось впоследствии. Засыпая, писатель думал о том, что это, пожалуй, неплохой выход — прибиться к ним на какое-то время.

Он увидел себя на дороге, или это был переулочек его детства, кто-то шёл навстречу, раскрыв объятая, говорил, кричал ему в ухо, как он рад, что всё так счастливо сложилось. Писатель открыл глаза, его ослепил карманный фонарик. Человек в чёрных валенках с галошами, в шинели и шапке тряс его за плечо.

«Что? Кого?» — пробормотал студент.

«Ваши документы».

«Какие документы?»

«А ну, поднимайся», — сказал милиционер.

XXIV

Смерть — если это была смерть

1953 год

1

Карлик знал, что он излучает страх, поле страха окружало его, как электромагнитное поле, чье напряжение возрастает обратно пропорционально квадрату расстояния от генератора: самый большой страх испытывали соратники. Карлик гордился этой способностью и должен был постоянно тренироваться, чтобы сохранить форму, как тренируется спортсмен или упражняется музыкант-виртуоз.

Как всякий, кто убил очень много людей, он сам был одержим страхом за свою жизнь; оттого, быть может, это чувство было ему ближе и понятней других человеческих чувств. Но ужас сродни восторгу — карлика можно было только обожать; страх, думал он, не может быть ничем иным, как доказательством любви; страх — это и есть любовь. Сидя в одиночестве в глубоком кресле, в углу тёмной ложи, он смотрел на злого волшебника Ротбарта, который махал красными матерчатыми крыльями, насакивая на отважного серебристо-голубого принца Зигфрида, а снаружи, над двухколесной повозкой греческого бога, над восьмиколонной глыбой театра и опустевшей площадью, вокруг могильных фонарей, металась мокрая зима. И танцовщики, и оркестранты, и дирижёр, и рабочие сцены, и переодетая охрана в партере и на

ярусах, в фойе, в коридорах и на лестничных площадках, за кулисами и позади колосников — все испытывали на себе воздействие радиационного поля вождя. Но случилось так, что дирижёр, тучный старик во фраке со звёздочкой лауреата, как-то по особенному, слишком высоко взмахнул палочкой, и неслышно распахнулась тайная дверь ложи. Пахнуло холодом, карлик занёс указательный палец над кнопкой тревоги, — сработал мгновенный рефлекс, — и медленно повернул седую голову. Бледная особа, вся в белом, подчёркивающим её худобу, вошла, готовая к услугам, приложив палец к губам. Силуэт дирижёра в оркестровой яме размахивал руками, кланялся и раскачивался. На сцене бушевал ураган. Всё поехало в сторону; он не успел нажать кнопку из-за внезапного головокружения. Бледная дама исчезла. Таковы были обстоятельства первого предупреждения.

2

Карлик знал, что история абсолютно детерминирована, подчинена железному закону, и знал, что закон, безошибочно правящий историей, — это он сам: без этого убеждения он не мог бы стать тем, кем он был. Ошибки совершали другие. Однажды некий писатель, прибывший по приглашению, как все они, чтобы восхищаться, теперь уже мало кто помнит, как его звали, расхрабрился и задал вопрос: зачем столько портретов человека с усами? Вопрос понравился карлику, он объяснил. Зарубежный гость не понимал, что всеобщее поклонение было не чем иным, как гордостью за страну: с ним, под его руководством она стала первой в мире. Он ответил, что не может отвечать за других: народ любит его, ничего не поделаешь. И это было правдой. Ни на одно мгновение народы не должны были забывать, что он здесь, со всеми и над всеми, что в его окошке, в Кремле, всю ночь горит свет. Полный дум, он рассказывает в своём кабинете. Карлик был цельной натурой. То, что не удавалось другим — писателям и политикам, — монолитная мысль, — достигалось ценой гениального упрощения. Ухватиться за главное и вытянуть всю цепь. Вот решение задачи, какой бы запутанной она ни казалась. Как если бы всё можно было вытянуть в цепь, выстроить в одну линию. Но ведь надо только уметь взяться, и окажется, что так оно и есть.

Не зря подростком он учился в семинарии. Сказано в Писании: твоё да пусть будет да, твоё нет — нет. И дальше что-то о тёплом — ни холодном, ни горячем. Эти церковники были не дураки. Нет, тепленьким он никогда не был. Он был холоден, он был горяч. Он ненавидел историков, вечно твердивших о том, что события надо рассматривать одновременно и так, и сяк. Карлик смотрел в корень. Он упростил историю. В этом была его сила, его гений. Раньше других он внял тайному

зову истории. Из глубины веков ему подавали приветственные знаки его предшественники, великие государи Руси. Он сам стал величайшим русским государем. Не только восстановил в её исконной целостности российскую державу, но раздвинул её границы ещё дальше.

Он был по-своему неглупым, этот человек с седеющими усами. Две вещи он усвоил основательно: что власть окружает властителя особым ореолом и что властителю нужен стиль. По поводу первого пункта следует сказать, что существует очарование власти. Власть рождает величие, а не наоборот. Люди жаждут иметь над собой повелителя, наделённого всемогуществом, всеведением, всевидением, — носителя абсолютной правоты. Таким его делает власть. Он внушает священный ужас, чтобы тотчас смягчить его доброй улыбкой, незлобивой шуткой. И чудо: в его устах плоский юмор превращается в тонкое остроумие, банальность — в прозрение, пустые, ничего не значащие слова заключают в себе высшую мудрость. Всё это делает власть.

Следует отметить: принцип единоначалия не противоречит марксизму. Впрочем, и великое учение требует поправок. Нужен новый вклад в сокровищницу. Учение учением, а политика есть политика. Она предъявляет свои требования.

Что касается стиля, то он выработал его по контрасту. Он создал противовес говорунам, окружавшим Ленина, которых он ненавидел, и первому среди них, умевшему зажечь толпу на митингах. И самое главное — противовес заклятому врагу, в котором увидел было союзника. Этот горел, пылал, бесновался, яростно жестикулировал, шагал вдоль шеренги своих янычар, с выброшенной рукой, задрав туфлеобразный нос под лакированным козырьком. Это был нерусский стиль. Русскому народу претит всякая театральность. Карлик был воплощённая скромность. Он был спокоен, прост, в полувоенном френче и фуражке скупо приветствовал ликующие массы, скупое, вдумчиво ронял слова, подкреплял их коротким указующим жестом.

3

Вскоре после этого последнего, как оказалось, посещения «Лебединого озера» он призвал ближних соратников, как обычно, смотреть кино: в полумраке сидели в низких уютных креслах в маленьком зале, это была «Клятва», эпохальный фильм с любимым артистом Геловани. Да, карлик был скромен. Но народу нужен не только такой вождь: ещё больше нужен двойник в белом мундире с бриллиантовой звездой на шее, в широких золотых погонах, чуть-чуть седеющий, нестарый и нестареющий. Искусство и Судьба уготовили артисту эту историческую роль. С некоторых пор ему было запрещено бывать на людях. Геловани скрывался в своём замке в Кутаиси, соратники видели его, как и обыч-

ные люди, только на полотне. Карлик смотрел картину много раз, знал её наизусть, и всякий раз испытывал чувство, что это и был настоящий вождь, его подлинное воплощение, а сам он лишь замещал вождя. Нельзя сказать, чтобы это двойственное чувство было таким уж неприятным. В нем содержалась толика гарантированного бессмертия. Не то же ли ощущали его соратники? После кино все отправились на ближнюю дачу. Карлик шутил, пил и ел с аппетитом, играя, замахивался на сотрапезников; было видно, что недавний отдых на Кавказе пошёл ему на пользу. Между делом обсуждались дела.

Было выдвинуто предложение (как выразился кто-то из сотрапезников, «думается, назрело время») ввести новый термин, венчающий великое учение. Вместо «марксизм-ленинизм» — *марксизм-ленинизм-сталинизм*. Для начала целесообразно применить в лозунгах ЦК к Первому мая. Роль терминологии, новых слов чрезвычайно велика. Они знаменуют новый этап. Карлик слушал, но ничего не сказал. Предложение повисло в воздухе.

Говорили о погоде, о югославском ренегате и о только что открывшемся новом заговоре. Разливая вино, карлик поинтересовался ходом следствия, и все глаза обратились к первому человеку после Хозяина. Ждали подвоха. Тучный шеф государственной безопасности засопел мясистым носом, блеснул стёклышками пенсне, нити заговора врачей-убийц, сказал он, ведут глубоко. Это было то, чего ожидал от него карлик-полубог. Он погрузился в задумчивость, покрутив бокал, взвешивая каждое слово, заметил, что напрасно кто-то думает, будто старые заслуги освобождают от ответственности. Жутким ветерком повеяло. Вот так, сказал он веско и снова взялся за бокал, тотчас вознесли свои чаши все остальные. Вино было проверено, на всякий случай он проследил, чтобы сделали несколько глотков. Было нелегко отделаться от тяжёлого предчувствия. Вождь отхлебнул сам. Всё-таки это был хороший признак. Настроение улучшилось, заговорили о том, о сём; на рассвете, сильно нагрузившись, выбрались из-за стола, хозяин был или казался навеселе, однако твёрдо держался на своих коротких ногах, обутом в мягкие сапоги, поглядывал снизу вверх каждому в глаза, похлопывал по плечу. Было около шести часов утра. Огромные чёрные лимузины развезли сопящих, полуживых сотрапезников по домам. Розовая заря осветила зубчатую цитадель. Ничто не предвещало беды.

В полдень раздался звонок из подмосковной дачи. Голос дежурного генерала доложил, что вождь не вызывает к себе, как обычно делал в этот час.

В то роковое утро он видел сон, в тягостном сознании, что его постоянно отвлекают от важного дела; просыпаясь, он думал: какое это дело? Солнце его жизни клонилось к закату, карлик отбрасывал длин-

ную тень гиганта. Долгой казалась ему его жизнь и вместе с тем — неоспоримый признак старости — как бы вчерашней. Иногда он был даже убеждён, что так оно и есть, и поправлял себя: не сколько-то лет тому назад, а на прошлой неделе.

Подобно спириту, он искал подбодрения и совета у предков. Некогда царь Иван Грозный притворился умирающим, чтобы увидеть, кто из ближних ждёт его смерти. Это была нелюбая мысль. На последнем пленуме отчётный доклад вместо карлика делал второй из ближайших, тучный, мучнистый, с некоторых пор при перечислении имён его имя стояло сразу после имени вождя, что давало повод для тайных злорадных размышлений о кураторе госбезопасности, который как будто оказался передвинутым на третье место. Закончив, как полагалось, здравицами, докладчик переждал аплодисменты, вернулся на своё место за столом президиума и объявил: «Слово предоставляется товарищу...» Этого ждали и не ждали. Зал, едва успевший отхлопать ладони, снова грохнул аплодисментами. Теперь карлик поднялся со своего места, медленно сошёл по трём ступеням к пульту. Всё ещё продолжалась, не могла утихнуть неистовая овация. Вождь свирепо усмехнулся. Поднял, наконец, руку, укротил возторг, дал понять, что время заняться делом. Сумрачным взором обвёл притихший зал. И заговорил глухим желудочным голосом. Знал ли он о том, что это его последняя речь?

Как всегда, он был мудр, нетороплив, загадочен. Поразил всех. Он сказал, что он стар и близится время, когда другой займёт его место. Этого никогда не могло случиться, но так он сказал. Другой взойдёт на его место. Но кто? Сумеют ли преемники закрепить и умножить достигнутые успехи, проявить твёрдость в борьбе с врагами? Нет, — и он скорбно покачал седой головой. Одного примера достаточно: стоило только удалиться на несколько дней, дать себе короткий отдых, как они наделали уйму ошибок. Так он подверг большевистской, ленинской, нелицеприятной критике ближайших соратников. Их поведение граничило с преступлением. Услыхав это, шеф безопасности блеснул стёклышками пенсне. Так, взлетев, вспыхивает на солнце топор палача.

И тут он остановился, сделал паузу и совершил гениальный ход конём. Сказал, что готов и дальше выполнять свой долг, оправдать доверие и нести бремя. Готов оставаться Генсеком, а также по-прежнему исполнять обязанности председателя Совета министров. Но от должности ведущего на заседаниях Секретариата просит его освободить.

Он был разочарован, когда после мгновений всеобщего замешательства тот, с тестообразным лицом, второй из ближайших и, несомненно, метивший в наследники, воздел руки, громогласно простонав: «Нет, просим остаться!» И тотчас зашумел, взроптал Свердлов-

ский зал. Просим остаться! Просим остаться! Карлик понял — как понял Грозный, — что кто-то там в президиуме клюнул было, но опомнился, кто-то чуть было не выдал себя, но вовремя разгадал игру.

5

Не следует ожидать от хрониста (или кого бы то ни было), что он представит единственно верную сводку событий; было бы странно, если бы дальнейшее выглядело неопровержимым, а не осталось зыбким, так и сяк истолкованным, если бы конец карлика не был опутан клубком сплетен, квази-исторических версий и легенд. История без загадок превращается в унылую фактологию. История, как и религия, апеллирует к фактам, но требует веры. Трешины действительности тем глубже, чем меньше мы ей доверяем.

Спустя немного времени в кабинете на подмосковной даче зажётся свет, стража вздохнула с облегчением. Но отшельник по-прежнему не давал о себе знать. Сколько часов прошло после этого, никто не знает. Прибыли соратники. Когда после долгих сомнений, тревожного перешёптыванья, пререканий, кто первым откроет дверь, все вместе, наконец, втиснулись и вошли, оказалось, что спальня пуста. Карлика нашли в большой столовой на полу, в ночной сорочке и пижамных штанах. Было одиннадцать часов вечера, карлик спал.

Он спал, но это был необычный сон. Карлика перенесли на диван в малую столовую. Снова споры и колебания: дать ли ему выпасты? Вызвать врачей? Оба решения были одинаково опасны, ибо явление белых халатов означало бы, в случае если вождь проснётся, что они сочли его опасно больным. Отсутствие же врачей можно было истолковать как желание дать ему окочуриться беспрепятственно и поскорей. В итоге прений сочли за благо удалиться, дабы карлик, пробудившись, не увидел, что они оказались свидетелями происшедшего: спящий, как это бывает в подобных случаях, обмочился. Больному человеку это простительно; но тогда получается, что он в самом деле нездоров, — и они вышли на цыпочках, с величайшей осторожностью, а место возле ложа в малой столовой заняла, незаметно явившись, ни с кем не здороваясь, высокая дама в белом.

6

Наступил первый день марта, годовщина убийства императора, когда грянул взрыв, покалечивший лошадей, и самодержец вышел из кареты, и второй злоумышленник, подбежав, бросил пакет с бомбой между собой и царём; роковая годовщина, о которой карлик, всё больше ощущавший себя византийцем, запретил вспоминать.

Минувшая ночь казалась далёкой, снова прибыли на дачу; уже много часов из покоев вождя не поступало сигналов. Профессора и академики медицины первыми вошли в малую столовую, и вслед за ними соратники.

Никто не решался приблизиться к карлику, словно он был под током в тысячу вольт. Главный академик первым притронулся пощупать пульс. Правая рука и правая нога были парализованы, лицо, изрытое мелкими рытвинами, след перенесённой оспы, было перекошено, и левая щека отдувалась при дыхании. Больного переодели и внесли в большую столовую, где больше воздуха. Карлик издавал неясные звуки. К нему входили в носках. Как тяжесть перекрытый распределяется по опорным столбам, так члены консилиума разделили между собой тяжкое бремя ответственности. Было назначено безопасное лечение: кислородные подушки, уколы камфары и кордиамин. Все понимали, и никто не смел признаться себе, что лечение уже не поможет. Однако на другой день приоткрылся один глаз, перекошенное лицо зашевелилось. Карлик улыбался. Поднял левую руку, показывал пальцем в пустоту. Возможно, в эту минуту дама-сиделка в белом, на которую старались не обращать внимания, появилась в дверях, он первым её увидел. Шеф тайной полиции склонил над ним мясистый рубликник, воззвал: «Товарищ С.! Здесь находятся члены Бюро Президиума. Скажи нам что-нибудь». Карлик подмигнул и ему. Вдруг послышался шум, крупное цоканье сапог, в расстёгнутой генеральской шинели, с криком: «Суки, сволочи, загубили отца!» в столовую ввалился Василий, как обычно, он был нетрезв. Он стоял, закрыв лицо ладонями, и надрывно рыдал. Академики не решились отменить лечение, задачей которого было не дать повода для подозрений. Пора было принимать ответственное решение. Поспешно прибыл перепуганный до немоты главноначальствующий всесоюзного радиовещания. Шеф безопасности лично составил текст. И голос главного диктора страны, торжественно-загробный голос, в кватрирах и на столбах, в далёких городах, где солнце, поднявшееся из-за Курил, уже клонилось к закату, в горячих степях и за Полярным кругом, в тайге, в репродукторах лагерных зон, в бараках для заключённых и казармах охраны, возвестил о тяжком недуге вождя.

Новость дошла до всех ушей, но никто не решался признаться, что он понял истинный смысл этих слов: *потерял сознание*. В школах плакали учительницы. В таёжных дебрях рыдали медведи и лоси. В краю болот, где, как дредоут в игре «морской бой», скрывалось обширное лагерное княжество под кодовым названием ИТЛ «АЛ», к платформе Белый Лух сто второго километра секретной железной дороги подошёл состав с угольной шпаной, в узком зарешечённом окошке под крышей вагона показалось высосанное лицо подростка, и гнусавый аденоидный голос заорал:

«Ус подох!»

Если это был он. Сказание о двойнике — секулярная оболочка бес-смертия. Некогда в дни Первой и Седьмого ноября, вождь с трибуны мавзолея приветствовал свои портреты на стягах, на палках, на брусьях-носилках. Народ изображал демонстрацию. Демонстрация изображала Народ. Был ли (логически рассуждая) стоявший на трибуне в свою очередь изображеньем Вождя? Издалека, за цепью охранников, видели великого человека в усах, в шинели и фуражке. Карлик вёл мистическое двойное существование. Но кто бы ни был тот, на трибуне, он был кем-то, был во плоти. Мало-помалу, однако, он растаял и растворился в субстанции жизни, как Бог пантеистов в природе или как беллетрист в своём романе. Остались портрет и глухой желудочный голос. Этот голос обратился к подданным на двенадцатый день после вражеского вторжения. В замечательном фильме режиссера Чиаурели и писателя Павленко «Клятва» карлик-великан в белом мундире, в День Победы, выходил из самолёта к народу. Когда же, наконец, по прошествии лет, карлика увидели в его неподдельном естестве, получалось против правил; получалось, что он вернулся к действительности, когда его уже больше не было.

Он лежал в цветах и лентах, в мундире, застёгнутом на все пуговицы, в золотых погонах, со звездой, усыпанной брильянтами, лежал по стойке «смирно», вытянув руки вдоль короткого туловища, смежив орлиные очи. Бледная дама уже не раз появлялась в эти дни и на этих страницах; сейчас она сторожила у изголовья. Выскочил откуда-то чёрный мальчик, ангел со стрекозиными крылышками, её сын, вскарабкался к усопшему и поцеловал его в усы. Никто не обратил на него внимания, в рассказах очевидцев о нем нет ни слова. Он стал у ног почётного караула: по обе стороны гроба застыли тучный шеф тайной полиции, мучнисто-ожирелый наследник, впавший в детство первый маршал и другие. Рыдала музыка, отдалённо напоминавшая траурный марш Шопена. Но был ли тот, чей профиль виднелся над пышным кружевным глазом, тот, мимо которого, подгоняемая стражей, семенила, спешила толпа плачущих, смертельно напуганных и осиротевших, — ибо никто не знал, что с ними будет дальше, — тот, чью реальность удостоверил факт смерти, так что нельзя было уже сомневаться, существовал ли он на самом деле, — был ли он *Тот самый*?

Между тем человеческий фарш запрудил все пути к Колонному залу. Живое месиво колыхается на Манежной площади, в Охотном ряду, на Театральной площади и площади Революции. Ожило древнее чувство конца времён. Храпят, задирая морды, кровные кобылицы, конная милиция подаётся, теснимая толпой. Визжат женщины, вскрикивают затёртые и затопанные. Люди ищут спасения в подъездах и подворотнях. Темнеет. В плачущем свете фонарей толпы всё ещё волоклись, не

зная пути, пробивались к вокзалам, искали ночлега. Солдаты спрыгивали с грузовиков, собирали трупы задавленных, раненые лежали вповалку в приёмных отделениях больниц.

Чем меньше мы верим в действительность, тем шире, как на треснувшей льдине, расходятся в стороны её расщелины. Слухи о том, что народу показан был кто-то другой, почти приблизились к градусу достоверности, когда стало известно из неизвестных источников, что вождь, преданный соратниками, скрывшийся от врачей-убийц, никем не узанный, переодетый, в ожидании своего часа, жив и работает под-метальщиком в Мавзолее. Это был Геловани.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

XXV

Человек-призрак

15 апреля 1955

Почеши в затылке, приятель, признайся: когда думаешь о событиях, именуемых судьбоносными, о войне народов, о победе, похожей на поражение, об отечестве лагерей, ты кажешься себе плохим патриотом, тебя не оставляет холодная, безнадежная мысль. Охватывает злое, обывательское, подозрительное чувство, что *они* хотят тебя погубить, сгноить и только и ждут удобного случая, что *им* это ничего не стоит. Кто же эти «они»? Им нет имени. Таково твоё чувство Истории.

Ты её раб, ты не ведаешь, кому и чему ты служишь, ты мобилизован на какое-то изнурительное строительство, за которым последует разрушение, и новое строительство, и снова развал, и так без конца, — а меж тем биотоки мозга, биение сердца, таинственная озабоченность желёз внутренней секреции ткнут твою душу, и она покидает тленный субстрат, чтобы взвиться над миром и соединиться с душами других людей, — что для неё войны и перевороты?

Человек сотворил этого Голема для того, чтобы Голем расправился с ним. Человек откармливает историю, чтобы злобное животное принялось по кускам пожирать человека. Надо сопротивляться. Надо сопротивляться! Хотя бы это было то же, что сопротивляться возвращению Земли. Постарайся же уцелеть — вот в чём твоё единственное достоинство. Выжить — единственная форма сопротивления. С точки зрения истории твоя жизнь значит не больше, чем жизнь дерева в тайге. Лагерные электропилы валят деревья одно за другим. Топоры обрубают верхушки и ветви, корилки сдирают кору. Бывшие артиллерийские, выбракован-

ные и свежённые на край света лошади из последних сил выволакивают нагие стволы с делянок на лесосклады. Зелёный убор сгорает на кострах. Остаются кладбища пней и поля чёрного праха.

Ясным утром, в шестом часу московского времени, мимо вагонов только что прибывшего экспресса, мимо потного и отдувающегося локомотива, в толпе усталых пассажиров брёл, таща за полуоторванную ручку перевязанный верёвкой деревянный чемодан, приезжий из дальних мест.

Милиционер, скучавший у входа в пассажирский зал, издали наколол его опытным взглядом, подождал, когда тот приблизится, поманил пальцем.

«Ваши документы».

Мы уже знаем, что это означало, но путешественник не имел паспорта. Путешественник извлек из глубин своего одеяния сложенный вчетверо листок. Сержант развернул справку, посмотрел на приезжего, на фотографию и снова на приезжего, оглядел с головы до ног, от буро-рыжих валенок до шапки-ушанки с оттопыренным козырьком рыбьего меха, и повёл за собой в дежурную комнату.

В чемодане оказались книги. Это по-каковски же будет, спросил сержант с некоторым разочарованием, встряхнул, полистал наугад. По-французски, робко сказал приезжий, и дежурный, поколебавшись, махнул рукой: дескать, проваливай. Пассажир следовал по месту назначения, указанному в документе, от столицы сто километров с гаком, конечная остановка пригородных поездов; ну и шагай куда положено, на другую платформу; путешественник так и сделал. Но, спустившись вниз по лестнице подземного перехода, помедлил, вернулся назад и, оглядевшись, поспешил к выходу на вокзальную площадь.

Некогда император Карл Пятый похвалялся тем, что над его владениями не заходит солнце. Писатель имел счастье жить в стране столь обширной, что и над ней, как над империей Карла, не заходило солнце; только это было ночное солнце. Ночь спешила навстречу, покуда на плохо смазанных, визжащих колёсах вагоны континентальных поездов везли его, громяхая на стыках.

Не оглядываться! Превратишься в соляной столп. Громыкнул запов, и, выйдя из проходной, с чемоданом на плече, по знакомой дороге он двинулся к станции. Раз в сутки отправлялся на юг по местной узкоколейной дороге поезд, состоявший из двух трофейных пассажирских вагонов для военнослужащих и вольнонаёмных и полудюжины теплушек для контингента. В тамбуре, где сидит конвой, топится железная печурка, отсюда и название. В самом же вагоне, запахнувшись поплотней в ватные рубища, слышались в неразличимую массу, сидит на полу, клацает зубами контингент. Арестант, всё ещё арестант, всю ночь ехал до комендантской столицы, единственного населённого пункта, кото-

рый можно было найти на картах этого края. Сутки заняло оформление вышеупомянутой справки. У него спросили: куда едешь? Он ответил. Ему сказали: туда нельзя. Он это знал заранее и назвал городок за сто первым километром, ему выдали билет.

Подошёл поезд из Котласа, пассажир спал, качаясь на багажной полке под потолком, подложив под голову чемодан. В Горьком толпа, штурмом бравшая вагон на Москву, едва не сбила его с ног. Он смотрел на них: это были свободные люди. Провёл ночь на вокзале и ещё одну в вагоне.

Под нежнорозовым, перламутровым небом пустынная привокзальная площадь отсвечивала тусклым металлическим блеском, блестя, как слюда, окна домов, розовели лужи, ночью прошёл дождь. Путешественник вспотел в ватных доспехах и дрожал от холода в непромокаемых валенках. Время от времени он чувствовал себя персонажем чьего-то сна. В этом сне он стоял на кромке тротуара, не решаясь приблизиться к веренице машин с кубиками на бортах. Таксист презрительно косился на его одеяние. Приезжий протянул смятую трёшку.

Он высадился в переулке напротив чехословацкого посольства, брёл в своих валенках, оставляя на тротуаре влажные следы. Ничего не изменилось в подъезде дома, построенного бароном Терентием Карловичем Тарнкапше. Всё те же три истёртые ногами поколений каменные ступени, и по-прежнему из окна наверху, между маршами лестницы, сочится призрачный свет. Сто лет назад нужно было подпрыгнуть, держа наготове палочку, чтобы ею достать до кнопки звонка. Он надавливает на пуговку и слышит робкое треньканье звонка в коридоре. Тишина, бесконечно тянущееся время, незванный гость нажимает ещё раз. Наконец, шаги, чужой женский голос. Я, сказал путешественник. Там не расслышали; голос повторил: кто там? Дверь приоткрылась, насколько позволяла цепочка. Он увидел бледное лицо, встрёпанные волосы, блестящие заспанные глаза, женщина стояла в халате поверх длинной ночной рубашки.

«Ты?!» — произнесла она наконец. Гость кивнул, пожал плечами.

Спихватившись, она захлопнула дверь, несколько времени длилась тишина, звякнула цепочка, дверь открылась, ш-ш, прошептала она, приложив палец к губам, теперь плотно запахнутый халат был перетянут пояском. Писатель подумал, что она не одна. Как ни удивительно, она его узнала. Тусклая лампочка освещает коридор, справа от входа висит счётчик Сименса-Шуккерта, в квартире все спят, и сундук по-прежнему загородил дорогу. Те же золотистые, почти рыжие глаза; в первые минуты ему кажется, что племянница ничуть не изменилась. Она открыла дверь, пропуская в комнату гостя.

Но в ушах звучит не ее голос, а причитанья Анны Яковлевны, кашель из-под одеяла, и тотчас происходит *это* — в комнате появляется девушка.

В комнату входит племянница, вернее, внучатая племянница, забежала на полпути; та самая, о которой ночью говорил отец; та, что стоит спиной к окну, и волосы окружают светящимся нимбом её лицо, погружённое в сумрак. Кажется, она собиралась стать актрисой, какую же пьесу вы ставите, спросила Анна Яковлевна.

«Твоя мама в больнице, — сказала племянница. — Уже третий месяц».

Странник стянул ушанку с остриженной головы. В комнате было полутемно, широкое трёхстворчатое окно выходило во двор. Комод на прежнем месте, но картина в роскошной облупившейся раме, нагая девушка в бокале, исчезла, нет иконы, не стало фотографий, и к запаху пыли и старины примешивается душно-сладковатый аромат женщины. Под халатом дышало и двигалось её тело. Рассвет затушеввал черты её лица. На диване — но это уже не тот диван, без спинки, на которую так удобно было опираться, — на раскладном диванном ложе скомканное одеяло, подушка с вмятиной от головы; одна подушка, отметил он. Туалетный столик, заставленный баночками, флакончиками, заваленный безделушками. Новые вещи вперемешку со старой рухлядью. Слева от двери на плечиках, занавешенные простыней, висели её платья.

Писатель попросил разрешения оставить в комнате чемодан с книгами.

«В какой больнице?» — спросил он.

Она оглядела его, качая головой: «Тебя, в таком виде...» — ватное рубище, буро-рыжие, расширяющиеся книзу валенки на толстых подшивках. К тому же она не знала, где эта больница, надо сходить в поликлинику.

А комната, спросил он, что с комнатой.

Длинная, как пенал, комната родителей, откуда бежал он в ту далёкую ночь, и мать провожала его на вокзал, и далее потянулась вереница дней, почти уже нереальных, волосатый мужик, и жизнь на заимке, и жаркое тело Клавды, время, остановившееся на время, застрявшее, как он, пока «старшой» не пошёл докладывать, пока не подъехал к полуразрушенным воротам милицейский фургон, чёрная шинель вошла и растолкала его.

Кто живёт в их комнате? Живут, сказала она.

Пили чай. Житель потустороннего мира был благодарен Валентине за то, что она не интересуется, не расспрашивает ни о чём. Он понял, это был род неписанного этикета. Где был, откуда явился — никаких вопросов. И слава Богу. Писатель сказал, что ему нужно ехать в N, подыскать жильё, получить паспорт, прописаться. Она кивала, словно всё, что он говорил, разумелось само собой и всё, о чём он мог бы рассказать, было и без того известно.

Философия паспортного режима

10 мая 1955

Похоже, что никто больше не интересуется сочинителем этой хроники. Его оставили в покое — надолго ли? Бывший узник — впрочем, что за выражение, слово, никогда не употребляемое нашим братом, как солдат никогда не скажет о себе: воин, — пошлая риторика журналистов, — как же тебя наименовать: пленник, каторжник? Словом, некто *бывший* обретается на окраине населённого пункта, который не назовёшь ни городом, ни деревней, живёт у полубезумной хозяйки, в комнатке с низким окошком, щелястым полом, с топчаном, на котором лежит соломенный тюфяк, какая-никакая простыня, одеяло, подушка; ты сидишь или, лучше сказать, восседаешь за дощатым столом под свисающей с потолка лампочкой, наслаждаясь покоем и одиночеством, в том особом, ни с чём не сравнимом состоянии человека, который знает, что никто не погонит его на работу.

Жидкое солнышко, косясь, заглядывает в твоё жильё, ты спал, сколько было душе угодно, встал, не заботясь о времени, с восхитительным сознанием, что можно было и не вставать; сегодня воскресенье, но и это не имеет значения, для нас каждый день воскресенье. О-о, какое блаженство не работать, мечта миллионов. Время, похожее на время юности, когда его так много, что о нём не стоит жалеть.

Право же, если кто-нибудь ещё верит в светлое будущее, то потому, что представляет себе коммунизм как царство, где никто не работает.

Итак, продолжим наши размышления об истории. Тот, кто некогда начертил замечательные слова: *есть великая славянская мечта о прекращении истории*, не представлял себе, насколько он прав.

Мечта осуществилась. Это было нечто новое: образовались лакуны, и в них провалилась история. Государство стало похожим на дырявый сыр. Но ненадолго: как растёт плесень в сыре, так и в этих пустотах выросла новая цивилизация. Ожила и двинулась своим путём псевдоистория. Вот и толкуйте после этого, что география не имеет значения; лагерная цивилизация не могла бы расцвести в иных географических условиях. Страна, посрамившая империю Карла V, держава, размеры которой превосходили воображение, была словно создана для того, чтобы сделаться обетованной землёй каторжного труда. И труд преобразил страну. Круг замкнулся — эта цивилизация вернулась в лоно истории. Но теперь стало невозможно разгадывать историю и судьбу страны, храня молчание о главном: о лагерях.

Довольно об этом. Дело сделано. Паспорт лежит на столе. Читайте, завидуйте, как некогда пел поэт. Вольноотпущенник размышляет о тайне серой дерматиновой книжечки. Так аскет-пустынный погружается в созерцание Распятого.

Прямо скажем: насколько проще, понятней, — он чуть было не подумал, честнее, — была его справка с физиономией выходца из лесов. Там, по крайней мере, всё было ясно, там стоит чёрным по белому, женским почерком барышни-делопроизводительницы спецотдела: статья, срок, где отбывал. Там расставлены красные флажки. Обозначено силовое поле документа. *Видом на жительство не служит. При утере не возобновляется.*

Между тем как власть и могущество паспорта состоит в том, что пределы этой власти неизвестны.

Могущество постановлений заключается в их секретности. Мина, скрытая под дерматиновым переплётом, необстрелянному взгляду не видна. Но ты-то знаешь, где она зарыта: на второй страничке. Графа *На основании каких документов выдан паспорт.* Там, где рукою другой барышни вписано: *На основании справки БО № 0004458 и Положения о паспортах.* Синяя татуировка раба. Стигма государственной неполноценности.

Никто никогда не видел это Положение, и не увидит. Но это и не требуется. Существует версия — порхает слух, — что таинственное Положение вовсе не существует. Важно не Положение, а упоминание о нём.

Человек без паспорта как бы уже вовсе не человек, его имя ничем не подтверждено, его происхождение никак не удостоверено, у него нет возраста, нет профессии, нет национальности, нет даже пола: он никто, вот он кто. Отсутствие паспорта не может быть восполнено другими бумагами — справками, удостоверениями, дипломами, аттестатами; напротив, делает обладание ими подозрительным и преступным. Невозможно и поселиться где бы то ни было, ибо нет документа, на котором можно оттиснуть соответствующий штамп. Могущество паспорта даёт себя знать в полной мере, когда паспорт отсутствует.

Однако паспорт паспорту рознь. Когда-то нужно было скрывать незаконнорожденность, марающий честь поступок, разорительные долги или дурную болезнь. Теперь надо скрывать пометку в паспорте. Она как глубоко в теле созревший гнойник, от которого время от времени сотрясают приступы лихорадки, но удалить его невозможно

Сердце паспорта — его номер; венец всей длинной череды номеров, под которыми ты числишься в папках и картотеках различных ведомств. Государство шифров, империя номеров. Писатель спросил себя, когда это началось. Уже сто лет назад можно было сидеть, как Герман, в 17 номере Обуховской больницы, носить на фуражке номер полка, одалживать у Федосей Федосейча дельце за № 368. Когда же мы окон-

чательно запутались в цифровых тенётах? Номер метрического свидетельства, номер военного билета, номер ордера на арест, номер камеры, номер следственного дела, номер оперативного дела, номер и шифр командантского лагпункта, шифр и номер справки об освобождении. Но не может быть, чтобы буквы и нумерации существовали сами по себе. Должен быть верховный номер. Это и есть номер паспорта.

Мысли проносятся мимо, как мусор на ветру; ты покоен, ты счастлив.

XXVII

Соты вечного успокоения

22 июня 1955

Опять-таки не назовёшь улицей просёлок, ещё не просохший после дождей; громыхающий грузовик обдаёт прохожего грязью. На вокзале безлюдно. В гремучем полупустом вагоне сочинитель сидит у окна, ждёт, когда войдут контролёры, войдёт добровольный патруль, войдёт милиционер. В толпе пассажиров, неузнанный, не разоблачённый, он шагает по перрону Ярославского вокзала, сегодня, кстати, началась война. Он шествует по перрону, он семенит, догоняя мать, кругом колышется человеческое желе, в суматохе поспешной эвакуации, с баулами, с чемоданами, с швейной машиной они не могут отыскать свой вагон, теряют и нагоняют друг друга. Они стояли в просвете забитого людьми и вещами пульмана, ждали, искали глазами отца, и вот он протискивается, он успел придти попрощаться. Но разговаривать невозможно, отец машет рукой. Гремят репродукторы. Над толпой, штурмующей поезда, раскатился хищно-радостный баритон. *Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...* Могучий хор. Ансамбль красноармейской песни и пляски. *Вылетают кони шляхом каменистым. Встретим мы по-сталински врага.* Солнце палит с небес, лето в разгаре. Какие там кони. Говорят, уже сдали Смоленск, моторизованное полчище катится к Москве, как океанский вал. *Не скосить нас саблей острой.* Где эти сабли... Отец стоит у вагона. Завтра скороспелое войско, именуемое народным ополчением, как во времена гражданина Минина и князя Пожарского, выступит в поход, через два месяца от этого ополчения ничего не останется.

Писатель... — но по какому праву ты величаешь себя писателем, не оттого ли, что история, как кто-то сказал, есть род литературы и, собственно, становится историей лишь после того, как она написана кем-то; не потому ли ты лезешь в писатели, что биография, подобно истории, начинается на бумаге, станет биографией лишь при условии, что твоя

жизнь станет литературой? — писатель едет по узким ветвящимся переулкам и думает о том, что его жизнь — единственный материал, которым можно склеить распавшееся время. Соблазнительная идея. Трамвай выворачивает на главную улицу. А там уже показались башни и луковницы, он шагает вдоль крепостной стены, мимо пышно распустившихся деревьев, огромный монастырь нависает над ним из-за кирпичной ограды, снизу кажутся приплюснутыми его почернелые главы. Поодаль высокая прямоугольная труба крематория и контора. Секретарь смерти протянул руку — где ваш паспорт, как же иначе, и с привычным трепетом посетитель извлекает новенький, в серых корочках, волчий билет. Человек-лемур нацепляет очки, разворачивает книгу судеб, слюнит палец, листает страницы, водит пальцем по строчкам.

Двадцать восьмой колумбарий. Сто тысяч тонн бананов из Колумбии. Мальчик слышит скрип кровати, шорохи, вздохи, загадочный диалог родителей. Сколько-то времени провести перед табличкой, где стоят две даты и пустой овал дожидается фотографии матери. Вспомнить фантики, марки, комнату-пенал, древнее пианино, портгеру, отгородившую их кровать. Бедные, они даже не знали, где находится эта Колумбия. Теперь дальше. Мимо окошек с засохшими цветами, откуда выглядывают детские, юные, старые лица, с датами, с почернелыми буквами, — двадцать девятый, тридцатый, тридцать первый — и ещё один, и ещё: вот он! Халдеи знали, пифагорейцы знали, мир построен из предвечных чисел. Под каким числом нам предписано покоиться в узком сосуде, за дощечкой поддельного мрамора? Не одному тебе знакомое, странно тревожащее чувство неживой жизни, которая обитает здесь, существует, не существуя, подглядывает, подслушивает, прячется там, среди кустов и холмиков по другую сторону аллеи.

Кое-где выпали таблички, в тесных нишах стоят почернелые вазы, и вот оно, наконец, в мутном овале уже покусанного алмазным зубом времени медальона жалкое, улыбающееся лицо Анны Яковлевны Тарнкаппе. Крест и надпись... ты читаешь дату её ухода. Ты стараешься вспомнить, отыскать этот день, как песчинку в песке. *Где ты был, Адам?* Что ты делал в тот день, что с тобой делали? Почуялось ли тебе, что за тысячу вёрст, в переулке у Красных ворот, в комнате-келье с фотографиями, комодом, диваном, источающем запах её папирос, в эту минуту закрылись ее глаза? Чтобы потом открыть их уже здесь, на фаянсовом медальоне. Умерла ли она на своём диване или за ней тоже пришли? Смерть приезжает ночью в машине, входит в подъезд, покает подковками по ступеням, истоптанным ногами поколений. Слава Богу, этого не случилось, ведь тогда она не оказалось бы здесь. Не было бы никакого медальона, и вообще оказалось бы, что никакой Анны Яковлевны никогда не существовало. Писатель бредёт по пустынной аллее, перед ним бежит его короткая тень, слева стена колумбария, справа грибницы крестов и надгробий. Не дойдя до ворот, оборачивается.

Он сощурился от слепящего света, там кто-то стоит, новые посетители. Приставил руку к глазам: две женщины, старая и молодая, у Анны Яковлевны в гостях. Если не она сама собственной персоной. Помедлив, он возвращается.

Она сидит на скамейке.

«Представь себе, мне показалось...»

«Что показалось?»

«Что ты стоишь с Анной Яковлевной!»

Валентина оглядывает писателя. Совсем другое дело, теперь у него человеческий вид. Где ты живёшь? Зашёл бы хоть раз. Он пожал плечами. Работает? Писатель покачал головой, никуда не принимают. (Он особенно и не старался. Встаёт вопрос, на что он живёт.) Тишина, они сидят против 33-го отсека, и жизнь, вечная неживая жизнь витает вокруг, прячется в листве. Не хочется ехать на вокзал, возвращаться в пустое жильё из этого солнечного царства. Помнишь, проговорил он, как ты однажды пришла, Анна Яковлевна болела. Ты стояла у окна, спиной к свету, и волосы светились, как нимб.

Нет, она не помнит.

«Ты училась в театральной студии».

«Было дело».

«А даму в бокале помнишь?»

«В бокале? Какую даму?»

«Картину».

«А-а, хи-хи...»

«Куда она делась?»

Она пожимает плечами, покачивает кудрями.

«Твой портрет».

«Скажешь ещё».

«Я это понял, — сказал писатель, — когда ты ушла».

«Но она же голая. Сколько тебе было лет?»

«Я смотрел на картину другими глазами. Я не видел наготы. Можешь мне поверить, — он усмехнулся, — я смотрел на неё и видел тебя. Давно было дело».

«Давно».

Ещё посидели; он спросил: а доктора Каценеленбогена она помнит?

Доктора помнит: толстый такой. Он ещё на неё заглядывался.

«Тоже, наверное, где-нибудь здесь».

Оба смотрят туда, где чернеет, белеет, улыбается медальон.

«Ты её любила?»

«Не знаю; не очень».

(Спрашивается, почему же она пришла.)

«А она тебя?»

«Я думаю, — сказала племянница, — она была ведьма».

«Она была, — возразил писатель, — как бы это сказать... — и попытался восполнить недостаток слов слабым кивком, неопределённым мановеньем руки. — Одним словом...»

(Он знает, что Анна Яковлевна принадлежала к породе людей, вокруг которых совершаются чудеса. Это свойство она отчасти передала ему.)

Ещё немного побыть перед тридцать третьим колумбарием.

Ей, однако, пора.

«Заходи, — сказала она, поднимаясь, — буду рада».

Писатель смотрит ей вслед. Блузка, под которой просвечивают бретельки бюстгальтера, тесная юбка, сужающаяся книзу, подрагивающие бёдра, мелко, быстро шагающие ноги в модных золотистых чулках.

XXVIII

Сатурн

15 августа 1955

1

Назад, назад, моя история, к началу времен... Трижды выпускал голубя бородатый Ной из ковчега, и на третий раз не вернулся голубь. Вода сошла, сыновья разделили землю. Симу достался восток, Хаму — юг. Иафет же, самый младший, получил во владение ночные страны; там и осела славянская Русь вперемежку с разными племенами: чудью, мерей, муромой, весью, мордвой, печерой, до самого Варяжского моря.

И было земли немерено, таёжных лесов, болот, рек и пустошей глазом не охватишь, дикого зверя и рыбы — невпроворот, и всё это поделили между собой нунунги и князья. Каждый правил из своей деревянной крепости, нанимал и кормил дружину, оружейников, сборщиков дани и прочих нужных людей, а кругом расселился народ: кто промыслял рыбной ловлей, кто охотился на зверя, кто сводил тайгу и распахивал землю, кто побирался и грабил на лесных дорогах. Поклонялись богам: Перуну — будущему Илье-пророку, Велесу — святому Власию, Яриле, который стал святым Юрием, и приносили жертвы плодами, телятами и людьми. Так понемногу основалось наше отечество.

Новые владетели пришли на смену старым, и раздвинулись границы могущественных княжеств, народишко между тем редел, хирел и вырождался, и пришлось завозить новых людей для работы. Не было больше ни чуди, ни мери, а был единый великий народ, называемый контингентом.

Великие открытия часто обгоняют своё время. Так произошло с изобретением колючей проволоки. Родина колючей проволоки, как считают, экзотический остров Куба, по другим сведениям — Трансвааль, где англичане, в войне с бурами, сгоняли население в концентрационные лагеря. Однако в то время колючая проволока, крупнейшее техническое достижение нашей эпохи, ещё не нашла широкого применения.

Проволока толщиной от 8 до 10 мм изготавливается горячей прокаткой и волочением из углеродистой стали. Готовая продукция поставляется заказчику в виде мотков длиной до тысячи метров. Основным элементом проволоки является насадка, именуемая также бабочкой или касатиком. Устройство касатика вкратце может быть описано так: он состоит из двух отрезков проволоки с заострёнными концами, плотно намотанных на основной провод навстречу друг другу, так, чтобы концы длиной до 30 мм оставались свободными и торчали наружу. Различают два верхних конца, левый и правый, и соответственно два нижних. Касатики расположены на расстоянии 80 мм друг от друга. При необходимости по проволоке может быть пропущен ток.

Наружное ограждение из колючей проволоки в десять рядов протягивается между столбами, вбитыми в грунт через каждые пять метров, и дополнительно укрепляется двумя диагональными нитями. Внутреннее ограждение состоит из 5–7 нитей, которые крепятся на наклонных рейках над тыном, окружающим зону. На концах реек находятся лампы, образующие так называемое осветительное кольцо.

Необычайная ценность колючей проволоки доказана многолетней практикой её использования во всех климатических зонах. Колючая проволока вошла как обязательный поэтический элемент в лагерную мифологию и фольклор, воспета лагерными стихотворцами, упоминается в былинах и преданиях.

Часто бывает так, что новому изобретению дают старинное название. Польское *narę* известно с конца XVI столетия. Невозможно с точностью сказать, когда оно перекочевало в наш язык, где превратилось в термин; важно отметить, что, введённые в общенациональный обиход, нары представляют собой вполне современное сооружение, отнюдь не напоминая о старине. По имеющимся данным, нарами пользуются от 30 до 70 процентов населения страны. Но, в отличие от колючей проволоки, нары поставляют в готовом виде местная промышленность. Соответственно и породы дерева, из которых изготавливаются нары, могут быть различными в разных регионах. В лагерях, колониях и родствен-

ных им учреждениях средней полосы на постройку нар идёт сосна, в Заполярье и на островах Северного Ледовитого океана — карликовая сосна, в Южной Сибири, на Дальнем Востоке и в ряде других районов — берёза, ель, пихта, лиственные породы. Использование искусственных материалов, а также спрессованных опилок, переработанного камыша и пр. для строительства нар себя не оправдало.

Различают два основных вида нар: сплошные, чаще используемые в тюрьмах, и двухэтажные — лагерные; ради экономии места здесь речь будет идти о втором виде нар, называемых вагонными (за пределами нашего описания остаются также редко применяемые трёхэтажные нары и земляночные полуярусные нары).

Нарокомплекс конструкции инженера, лауреата Сталинской премии Дымогарова (дымогаровская вагонка) состоит из четырёх лежащих мест — двух верхних и двух нижних. Места на нарах занимают по обычным правилам лагерной иерархии: почётными считаются нижние этажи. Возможно также использование мест под нарами.

Нары состоят из вертикальных брусьев с приступочкой для влезания на верхний этаж и дощатых настилов с подголовниками. На настил укладывается плоский матрас, набитый тряпками, на подголовник — тряпчатая подушка. С наружной стороны лежачее место ограждено невысокой доской для предохранения спящего от падения. Фанерная бирка с фамилией, датой и сроком прибавается к ножному краю.

Хотя нары представляют собой горизонтальное устройство, ошибочно думать, что на нарах только спят. На них лежат, сидят, принимают пищу, выясняют взаимоотношения, играют в самодельные карты, прячут разнообразное имущество и так далее. На нарах *живут*.

4

Век стоит на раскоряченных лапах, слепой динозавр. Радуйся, о, радуйся забывчивости начальства. Ветер перемен утих. Благослови этот соломенный тюфяк, эти первые времена, шаги на воле, подобные первым шагам младенца. Ты живёшь двойной жизнью. Книжки лежат на столе, и в комнату просочилась луна.

Если бы (говорит Паскаль) сапожник каждую ночь видел во сне, что он король, он был бы не менее счастлив, чем король, которому еженочно снилось бы, что он сапожник. Если во тьме тебя обступают лесные и болотистые края, а утром, проснувшись, на самом деле видишь себя лежащим на тюфяке в комнате у хозяйки, то что это, собственно, значит: *на самом деле?* Два сна, два зеркала лицом друг к другу, и в одном отражается одно, в другом другое; и во сне ты пробуждаешься от сна и вспоминаешь о возвращении, как вспоминают сон; на самом деле ты *там*, и ничего не изменилось. И всё так же сбивается с ног конвой, торопясь в казарму, спешит изо всех сил крысиное шествие серых буш-

латов по шпалам, торопясь из рабочего оцепления в зону. Все так же подавальщики в столовой, с тремя этажами оловянных мисок на деревянных подносах, выкрикивают зычными голосами номера бригад, и тридцать глоток за длинным дощатым столом, от которого пахнет кислыми тряпками, орут: «Сюда!», тридцать рук зачерпывают жидкую перловку, обливают ложку и запихивают в валенок. Всё так же вдоль стен стоят с провалившимися лицами мисколизы, хватают миску из рук, допить, долизать остаток. Назавтра снова в предутренней тьме ты выходишь с бригадой из ворот, полукругом, хищно зевая, сидят на поджарых задах овчарки, ты расстёгиваешь бушлат, чтобы дать себя обыскать, обхлопать, облапать под мышками и между ног, ты стоишь в строю, ждешь хриплый возглас, команду конвоя, шагаешь в колонне по шпалам одноколейки.

Узкая загибающаяся насыпь, слишком короткое расстояние для мужского шага, если со шпалы на шпалу, слишком большое, если перешагивать через шпалу. Колонна по четыре в ряд, двое между рельсами, двое по торцам, опутив головы в рыбьих ушанках, глядя под ноги, чтобы не споткнуться; впереди конвой, два стрелца с автоматами поперёк груди, — шире шаг! — позади конвой, замыкающая пара, поспешает, чтоб не отстать, а вокруг тонут в морозном тумане заснеженные поля скованных льдом болот, остатки штабелей под сизыми шапками снега, поломанные куртины, лиловые небеса. И медленно зреет рассвет.

XXIX

Любовь

1955 или, что то же самое, 1952

...И, как бывало уже не раз, без повода, будто бы ни с того ни с сего, но на самом деле в силу тайного сцепления вещей, вспомнилась изумительная красота Вселенной, открылся мерцающий каплями ртути небесный ковш рукояткой вниз, направо в пустыне звёзд крупным бриллиантом сверкал Юпитер, левой и выше переливался голубоватый Сириус. Это было всё, что он мог назвать и опознать, да ещё скромная Полярная звезда в вышине и семеро сестёр — Плеяды. Невдалеке темнела казарма, ближе к зоне располагались службы, магазин для вольнонаёмных, сарай пожарной охраны. И, наконец, зона: с угловой вышки вдоль увешанного лампочками древнерусского тына, вдоль запретной полосы, по рядам колючей проволоки бил прожектор. Сторож в ватном бушлате, в растоптаных валенках, в каком-то тряпье вокруг шеи и на остроженной наголо голове, в ушанке с завязанными ушами расхаживал перед магазином, останавливался, задрав голову, оглядывал звёздную рос-

сыпь, хлопал себя по бокам, бил одна о другую ноги в негреющих валенках, изрыгал морозный пар. Сторож был бесконвойным, *малосрочником*, отсидевшим две трети срока, большинство же имело четвертной — двадцать пять и пять *по рогам*. Было около полуночи. Он научился угадывать время без часов. Он шагал, отходя всё дальше от магазина, возвращался, вновь отдалялся, чутко прислушивался, приглядывался. Вдалеке на угловой вышке спал стоя перед своим пулемётом караульный солдат-попка, огненный глаз прожектора струил свой луч поверх древнерусского тына. Донеслось нежное позванивание, побрякивание кольца на проволоке, овчарка, трусившая по ту сторону тына, остановилась — сторож тихо пощёлкивал языком — она узнала его и молча потрусила обратно. Сторож постоял, подумал и двинулся, сперва медленно, потом всё быстрее и уверенней, скрипя валенками, обогнул казарму и погрузился в ночь. По глухой, еле видной во тьме таёжной дороге он шагал, не сбиваясь с пути, стало жарко от быстрой ходьбы, он расстегнул бушлат, развязал и стащил с головы ушанку — холодный пар окутал лоб и взмокший платок на голове. Он снова нахлобучил ушанку. Так прошло, может быть, полчаса, лес расступился. Путник съехал в овраг с оледеневшим ручьём под ковром снегов. За оврагом находилась деревня, полтора десятка углстых крыш; нигде ни огонька.

Ты взшёл на крыльцо, стяхнул с себя снег, оттопал с валенок. Никто не отозвался на тихий стук в дверь; тайный гость спрыгнул с крыльца, пробрался к окошку, немного погода брякнул засов. Блестя во тьме заспанными глазами, женщина стояла, дрожа от холода, босая, в деревенской ночной рубаше, накинув на голову платок. Из сеней вступили в жарко натопленную избу, Маша чиркнула спичкой, коптилка стояла на столе, в заиндевелых окошках отразились их лица. Смуглый лик Богородицы в жестяном окладе метал тусклые отсветы, большая почернелая печь отгородила горницу от кухни, на полатах спали дети, мальчик и девочка, в углу под иконой стояла деревянная кровать. Висела одежда на гвоздях, висели фотографии между окнами и плакат «Все на выборы», постукивал маятник размалёванных ходиков. Гость запасся гостинцем, бережно извлёк приношение из кармана в подкладке бушлата. Кровать ждала их. Долгая ночь оберегала до рассвета.

И медленно вращался вокруг неподвижной точки небесный купол, сиял Юпитер, медлила показаться голубая Венера, подкрадывался невидимый глазу Сатурн, планета-покровительница концлагерей. И, уже возвращаясь (было всё ещё темно), спеша по невидимой дороге, он услышал марширующие сапоги, увидел впереди две тёмных фигуры, это шагали навстречу два солдата; глядя под ноги, он прошёл мимо них. Они не сказали ни слова, не остановились, это был молчаливый сговор невольников. К кому они шли: к ней? Нет, разумеется; вся деревня — десяток баб — обслуживала казарму

И оттого, что ты знал — она спит, утомлённая, запершись на все замки, — невозможная мысль пришла тебе в голову: что всё, что с тобою случилось, было лишь предварением, было подстроено судьбой, чтобы в конце концов ты очутился в этом краю, под лиловым лучом окольцованной планеты лагерей, чтобы с риском быть пойманным брёл по лесной дороге, входил в тёплую избу и видел в полутьме блестящие глаза, обнимал сильное, жаркое тело, чтобы, изнемогая от счастья, понял, что всё — прах и тлен в сравнении с этой встречей.

Ты... или это был кто-то другой? — спросил писатель, поворачиваясь на своём ложе, и не мог найти ответа.

XXX

У того, кто раньше умрёт, останется больше времени побыть среди мёртвых

1952, 1953

1

И вновь завершился круг, один из тех, подобных планетным орбитам, кругов его жизни, и уже невозможно было припомнить, когда он потерял Машу из виду; словно деревню окончательно погребло под снегом; но, как и прежде, старому лагернику не надо было вставать со всеми в утренней тьме, когда нарядчик стучит по нарам своей доской, на которой расписаны бригады и сколько народишку выходит к воротам. В этот час ты возвращался, предвкушая сладкий сон в опустевшей секции, зато вечером, когда барак наполнялся усталыми и возбуждёнными работягами, ты приступал к сборам, влезал в ватные штаны и всаживал ноги в валенки, голову повязывал тряпкой, чтобы не дуло в уши и затылок, нахлобучивал шапку, надевал бушлат и запасался латаными мешковинными рукавицами. В синих густеющих сумерках ты стоял перед вахтой. Гремел засов, ты выходил, предъявив пропуск бесконвойного. По тропе в снегу брёл до угловой вышки, сворачивал на дорогу, ведущую к станции. Слева, между сугробами находилась площадка, усыпанная щепками и корьём, высились штабеля дров, темнел большой дощатый сарай, похожий на пароход, с железной мачтой-трубой на проволочных растяжках. Сквозь ртутное мерцание звёзд, без усталости грохоча, дымя плотным белым дымом, шёл вперёд без огней и флагов опушённый снегом двускатный корабль. Ежедневно его утроба пожирала восемь кубометров берёзовых дров.

Всю ночь свет горел в зоне на столбах и бараках, в посёлке, в казарме, в пожарном депо. Ток подавался на кольцо. Всё могло выйти из

стройка, но венец огней вокруг зоны и белые струи прожекторов, бьющие с вышек, не смели померкнуть ни при какой погоде. Дровокол принимался за дело. Расчистить рельсы для вагонетки, стрести снег со штабелей. Обухом наотмашь — по смёрзшимся торцам, чтобы развалить штабель. На столбе под чёрной тарелкой качалась на ветру хилая лампочка, колыхалась на площадке, махая колуном, тень в ватном бушлате. Становилось жарко, он сбрасывал бушлат, размазывал бабий платок.

Толкая по рельсам нагруженную тележку, он довёз её до сарая, толкнулся в створы низкого входа, и оттуда вырвался оглушительный лязг. В топке выло пламя. Облитый оранжевым светом, полуголый глянецевый кочегар висел грудью на длинной, как у сталевара, кочерге, ворочал дрова в печи. Кочегар что-то кричал. На часах, висевших между стропилами над огромной, потной и сотрясающейся машиной, было два часа ночи. Механик спал в углу на топчане, накрыв голову телогрейкой.

Кочегар крикнул — звонят с вахты. Дежурный ругается. Кольцо вокруг зоны тускнело, когда топку загружали сырыми дровами. Дровокол вывалил в сарае содержимое вагонетки. Или это был не ты?

Ты! — возразили ему, проснись, зашептал голос из тьмы безвременья, и увидишь, что этот *другой* был тобою в тот год, нескончаемый, как год на Сатурне. В той стране, где солнце — лиловой звездой, в те дни и ночи, когда в смутных известиях, нёсшихся, словно радиоволны, из одного таёжного княжества в другое, в ночных толковищах вполголося на скрипучих нарах, в лапидарном мате крепля уверенность людей, которых считали несуществующими, в том, что только они и существуют, что повсеместно паспорта заменены формулярами, одежда — бушлатом и вислыми ватными штанами, человеческая речь — доисторическим матом, и даже на Спасской башне стрелки заменены чугунным обручком, который показывает один-единственный год; когда рассказывали о том, как старичок председатель Верховного Совета, в очках и в бородке клинышком, крестьянский сын, народный староста, лишь только докладат, что прибыл состав, канает на Курский вокзал, стучит палочкой по перрону вдоль товарных вагонов, гружёных помиловками, то бишь просьбами о помиловании, а сзади ему подадут мел. И старичок-козлик, мелом наискосок на каждом вагоне — резолюцию: *От к а з а т ь*, и состав, как был, восемьдесят вагонов, катит обратно; когда рассказывали и расписывали, как маршал государственной безопасности, в пенсне на мясистом рубильнике, в погонах, как доски, с животом горой, докладывает, сколько кубометров напилили за день по всем лагерям, и Великий Ус, погуляв туда-сюда по просторному кабинету, подымив трубочкой, подходит к большим счётам наподобие тех, какие стоят в первом классе, пересбрасывает костяшки, щурится: мало! *Пуцай сидят*.

А то еще ходил достоверный рассказ про то, как один мужик забрался ночью в кабинет оперуполномоченного и спросил: правда ли, что вся Россия сидит? И что будто бы портрет над столом, ухмыльнувшись поло-

винкой усов, ответил ему загадочной фразой: *Благо всех вместе выше, чем благо каждого*. Мужик не понял и спрашивает снова: правду ли болтают, что никого на воле уже не осталось? И Ус ему будто бы ответил:

«Ща как в рыло въеду, не выеду».

2

Дровокол вывез пустую вагонетку из сарая. Волоча кабель, поплёлся к штабелю с ёлкой, она будет посуше, выкатил несколько баланов, разрезал, электрическая пила стрекотала, как пулемёт, рукоятка билась под руковицей. Дул пронзительный ветер, колыхался жёлтый круг света, лампочка раскачивалась на столбе под чёрной тарелкой. Как вдруг свет погас. Пила замолкла. Открылся сумеречный, сиреневый простор под усыпанным алмазными звёздами небом. Агрегат по-прежнему рокотал в сарае, из железной трубы валил дым и летели искры.

В темноте дровокол расхаживал вдоль расставленных шеренгой полутораметровых поленьев. Ель — не берёза, литые берёзовые плахи на морозе звенят и разлетаются, как орех, а ёлка пружинит. Колун завяз в полене, было плохо видно. Колун ждал, и когда дровокол наклонится над обухом, вырвался и саданул дровокола обухом в лицо. Писатель полетел навзничь. Милость судьбы: нагнись он чуть ниже, он был бы убит.

Кочегар заметил, что перегорела лампочка на площадке, и выглянул в темноту. Писатель сидел на снегу, горячие красные сопли свисали у него изо рта и носа. Несколько времени погода он доплёлся до зоны и утром получил в санчасти освобождение, но положенных дней не хватило, пришлось ехать на больничку, с замотанной физиономией под конвоем топтать на станцию, следом за подводой, в которой везли еще трёх, совсем уже немощных.

И опять, невидимый, во второй раз стоял над кромкой лесов мертво-бледный Сатурн. Лицо зажило, передний зубы были наполовину обломаны. Злодейская планета покушалась на его жизнь; неудачно; и ждала случая повторить. Новое приключение вторглось в ночные грёзы; вспомнилось, как бывает при слабом повороте калейдоскопа, любимой игрушки детства: сместились цветные стёклышки, явился другой узор, выстроилась другая картинка.

После долгой дороги буханки плохо пропечённого хлеба, укрытые одеялом, которые он вез в 156-й квартал, оказались побиты, разломаны, бригада с кулаками набросилась на возчика, расхватили куски, затем подошёл состав, с высоких штабелей на ветру грузчики в дымящихся от пота рубахах скатывали по лагам на платформы баланы авиасосны, шпальника, резонансной ели, свисток паровоза возвестил об окончании смены, состав шёл в северную гавань, там другие заключённые грузили лагерную продукцию на океанские пароходы — лес, всё ещё хранивший дурман тайги, плыл на волю, в чужие страны.

Возчик ночевал в бараке погрузколонны, навалил на себя несколько одеял с соседних лежаков, не мог согреться; наутро, не дожидаясь рассвета, двинулся в обратный путь. Он чувствовал себя нездоровым, несколько раз останавливал лошадь, чтобы тут же, на дороге, спустить ватные штаны, и по возвращении едва успел распрячь, еле-еле успел добежать до барака.

Отхожее место представляло собой холодное полутёмное помещение в конце коридора между секциями; на дощатом помосте, на корточках всегда кто-нибудь, кряхтя, справлял пахучую полужидкую нужду. Отдохнув немного, он слез с нар и поплёлся снова, вскоре дело дошло до того, что приходилось то и дело выбираться из секции, карабкаться на помост; казалось, он извергнет из себя весь кишечник, вместо этого вылетал кровавый плевок; так прошли день и ночь.

Назавтра он уже не вставал, спустя сутки, под вечер был отвезён на станцию, конвой стоял у колёс, те, кого вместе с писателем отправляли на больничку, втащили его в вагон. В третьем часу ночи — пол всё ещё качался под ним, колёса постукивали на стыках — писатель умер.

Так он попал на тот свет.

Светлым он не был, этот потусторонний мир, и состоял из одной комнаты, сумеречный свет сочился из двух окон, было холодно. Голый, как все, новичок дрожал на койке под тонким саваном. Слава Богу, прекратились спазмы, измученный кишечник обрёл покой. Исчезло время. Вошёл санитар, бородатый мужик в белом, талдычил что-то; наконец, дошло, это был ангел смерти. Это был загробный мир заключённых, с похоронными формулярами вместо паспортов, и апостол Пётр, заведующий, был тоже с формуляром. И сказал Пётр, чьё имя значит камень, что не стоило так суетиться, и бояться не стоило, ибо здесь всё то же самое. Сроков здесь не бывает. О статье никто не спрашивает. Кто хлебал баланду там, будет жрать её и здесь. Кто сюда попал, никогда отсюда не выйдет. И к лучшему.

XXXI

Жизнь — осколок бутылочного стекла под луной

1948 год

1

Чтобы попасть внутрь, надо было пройти через стеклянную дверь, за которой клевал носом сторож в шапке, надвинутой на брови, в пальто с крысиным воротником и валенках; его не волновала ни погода, ни поэзия, он грезил о какой-нибудь зелёной речке на

Смоленщине, где теперь оборванные женщины бродили между печными трубами сожжённой деревни, среди зарастающих травой и бурьяном окопов и ключев колючей проволоки. В тёмной раздевалке стояли пустые вешалки — никто не раздевался; с двух сторон парадную лестницу клуба стерегли колонны, выкрашенные под серый мрамор, — тому, кто не каждый день обедал и по большей части питался морковным чаем и хлебом, колонны эти могли напоминать ливерную колбасу или плёнку молока на остывающем кофе. Наверху, с площадки, где раздваивалась лестница, мраморный кумир в парике взирал на девочек и юнцов, сияло позолотой незабываемое: *Держайте, ныне ободренны, раченьем вашим показать...* Удивительно, как до последних мелочей, с филигранной точностью всё это отпечатала полусонная бредящая память.

Не поднимаясь, мимо аппетитных колонн поворачивали налево. В узком коридоре висели плакаты, объявления, пожелтелые правила пожарной безопасности, кучками теснился народ, стихотворцы, кто в шинели с гражданскими пуговицами, кто в коротком полуребяческом пальтеце, глядя в одну точку, рубили кулаком, читали стихи. Другие смотрели вниз, сдвинув брови, расставив ноги, это были критики, готовые вынести приговор.

До войны было детство, смутная и нереальная пора, её стыдились, от неё отреклись, и, право, не было худшего оскорбления, чем напоминание о детстве; после войны остался голый мир, холодный и неуютный город, населённый поэтами; ничего не было важнее и нужнее стихов, все читали друг другу стихи, грезили о стихах, шатаясь по тусклым улицам, бормотали короткие строчки, похожие на обрубки конечностей. Сильные, но неясные ощущения, беспредметное вождение, с которым не знали, что делать, искавшее на ком остановиться, и боль, исходящую непонятно откуда, и ожидание чего-то — всё это можно было выразить только в короткой фразе, на конце этой фразы болталась приблизительная рифма.

Длинные периоды казались порождением лицемерно-болтливового довоенного мира. Теперь над всем господствовала ковкая строка. Чтение напоминало прыжки на костылях. Это был марш инвалидов. С кровавых полей — на Парнас. Короткая фраза выражала краткость прожитой жизни. В этой фразе, как огонёк в копилке, жил образ, родившийся из удачно найденного слова. Здесь ценили метафору. Здесь можно было стать знаменитым благодаря единственному, неожиданному образу, он был патентом на талант. Его хватало на целое стихотворение. Он заменял мысль.

Растворились двери, и народ ввалился в комнату для малых мероприятий, как-то: кружков самодеятельности и т.п.; как всегда, не хватает стульев. В углу перед председательским столом поминутно поправляет очки девушка в звании секретаря, в пальто, съезжающем с узких

плеч. Искрится в тусклом свете затканное изморозью полукруглое окошко под потолком. Меж тем по опустевшему коридору, в шубе, потёртой шапке и фетровых ботах шествует знаменитый поэт, старик с нависшими, загибающимися кверху, как усы, бровями. Расцепив крючки шубы, усаживается за стол.

Заседание клуба молодых поэтов началось.

2

Было что-то отрадное, уголявшее горечь, было оправдание длинной и бесполезной жизни старого стихотворца в этом собрании устремлённых на него блестящих глаз. Маленькая поэтесса, стоя у стола, лепетала о безответной любви, её сменил, отстранил двадцатилетний хриплоголосый ветеран.

Эта молодёжь не могла себе представить, что можно жить в дальних воспоминаниях, как в мутно-светящемся водоёме, откуда внешний мир различим как бы в тумане.

Старик склонил бритый, лоснящийся череп, сдвинул усоподобные брови, застыл с сосредоточенно-недовольным выражением, как у настройщика перед расстроенным инструментом; слушал и не слушал. Он был усатым гимназистом в южном приморском городе, где чавкали арбузами, лузгали семечки и смахивали с губ шелуху, гуляя с барышнями по бульвару. Он ораторствовал на митингах, прятал под шинелью символическое красное полотнище, причёсывал пятернёй мокрые волосы, ссорился с отцом, заседал в комитетах, вдруг всё кончилось, он очутился в холодном северном городе, где ветер свистел по прямым пустынным улицам от реки, блестящей по ночам, как олово, и вдали на сумрачном небе рисовался собор и шпиль Петропавловской крепости. Он печатал свои стихи на обёрточной бумаге, жил с голодной подругой и близнецами, в огромной пустой комнате с окнами на гранитную набережную, и сумрак дня сменяли вечерние сумерки, а к полудню небо разгоралось металлическим сиянием, и он вставал и подходил к окну, слагал стихи, пылал неугасимой верой и заседал на собраниях футуро-группы «Рёв Революции»; однажды к ним постучались, это была девушка-землячка без пристанища, на лестнице стоял её товарищ, жили коммуной, в большой комнате было две кровати, и когда родился ещё один ребёнок, оба, смеясь, объявили себя отцами. Никого не осталось в живых, всех убило время, уцелел он один.

3

Трудненько ему придётся, думал руководитель поэтической студии, прислушиваясь к декламации; это были совсем не те оды, что печатались в журналах. У поэта были маленькие, близко поставлен-

ные глаза, бесформенный нос, точно продавленный посредине чьим-то могучим кулаком, кадык танцевал на его гусиной шее, в углах рта пузырилась слюна. Он утирал её свободной рукой. Другая рука рубила воздух, на лбом подпрыгивал клок волос; охрипшим голосом поэт кричал о варварской жизни в окопах, о беспросветном дожде, о подмокших сухарях, об атаке, о рукопашной схватке, а после, — рубил он кулаком, — мы хлестали ледяную водку и выковыривали ножом засохшую кровь из-под ногтей, — все взглянули на его руку, и руководитель ещё гуще сдвинул брови. И всё это, думал ты через много лет, лёжа на соломенном тюфяке, на окраине городка, о котором прежде даже не слышал, всё это нужно каким-то образом впустить в роман, не оставить втуне, ибо на всём почил тусклый слюдяной отблеск времени, ставшего вечностью. *Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв — и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо...* Это была пора, когда грубая мужественность стихов ещё не успела превратиться в кокетство, это были люди, которые безропотно умирали жестокой и животной смертью на Кюстринском плацдарме, в слепящих струях прожекторов на Зеловских высотах, это было время, когда...

4

Это было время девушек. Взгляд натёк на них повсюду на каждом шагу, ухо ловило смех, болтовню, обрывки загадочных реплик, девушки наводнили город и сны, все были одинаковы, и все были разными, в метро, на тротуарах, по-двое, по-трое, в облаке одеколона, прелестные, низкорослые, с локонами на плечах, с пышным коком над лбом, над подведёнными чёрным карандашом бровями, в туго перетянутых ремнём травянистых гимнастёрках с погонами солдат и сержантов, в плоских синих беретах, приколотых к затылку, в синих прямых юбках до колен и гремучих сапогах, девушки в перешитых платьях, в блузках, под которыми просвечивал лифчик на бретельках, просвечивали ватные подкладные плечи, в чулках со стрелками, в неуклюжих плоских туфлях-танкетках на микропоре, девушки в порхающих юбочках, в задранных сверху шляпках, марширующие туда-сюда перед кинотеатрами, перед подъездами «Метрополя» и «Националя», по улице Горького, где гуляют английские офицеры в темно-зеленых шинелях, где шагает бок-о-бок со своим двойником в стекле витрин двухметровый красавец-негр, девушки, скрывавшие и выставлявшие напоказ колени, круглый зад и маленькие груди, смуглые огненноглазые девушки-попрошайки под цветастыми платками, предлагающие любовь в полутёмных подъездах, на лестничных клетках, на скамейках пустых заброшенных парков, девушки, неожиданно ставшие взрослыми, как никто, чувствующие внезапно наступившее время — их время...

Спящий повернулся на тюфяке. Вышли из клуба мимо дремлющего смоленского швейцара. Мимо тёмного монумента, мимо мёртвых, раскинувших голые ветви деревьев — и незнакомый город под луной, с блестящими обледенелыми тротуарами, с длинными чёрными тенями, с тёмными окнами спящих домов, открыл им свои могильные объятия. Они шли, все трое, уцепившись друг за друга, чтобы не поскользнуться, повернули за угол и остановились перед витриной манекенов: оливковые люди в фуражках и шинелях отдавали им честь, на штырях висели пехотные и морские фуражки, на полочках лежали и висели золотые погоны. Они брели дальше, оба и между ними та, которую звали Наташа, — если это была Наташа, — лунный свет и морозный воздух изменили её черты. Но когда ты снова хотел подхватить её под руку, та, что шагала с другой стороны, покосилась на тебя недоверчиво, у неё было сосредоточенно-ненавидящее лицо, и чёрная коса выбилась из-под пальто. Остановились перед подъездом, она схватила Наташу, втолкнула в тёмный подъезд, ты остался один на скользком тротуаре, дёргал за ручку, дверь не поддавалась, ты искал звонок, вывеску невозможно было прочесть, зато рядом находились ворота, дворник сидел на табуретке. Подворотню освещала тусклая лампа в проволочной сетке. Дворник потребовал пропуск. Расстегнув бушлат, я вынул свой пропуск бесконвойного. Сержант молча кивнул и опустил голову, погружаясь в дрему. Двор весь в снегу, добраться по узкой протоптанной дорожке до двери, двинуться вверх по лестнице, в полутьме, крадучись, чтобы их не спугнуть. Так и есть — они наверху, на площадке верхнего этажа. «Ты простудишь её!» — сказал я. Ибо знал, что Наташа, если это она, была хрупкой и болезненной. Она стояла, раскинув руки, у стены, как приговорённая, умирая от стыда, с закрытыми глазами, без пальто, с поднятым платьем, так что я видел её облитый луной живот и тень внизу, и ноги в чулках с резинками; и та, другая, что-то делала с ней.

XXXII

Трое. Чёрный ферзь

1955, 1948, 1946

Теперь этот приснившийся, дальний, забытый эпизод требовал прояснения. Удивительно, думал писатель, что ты вновь занялся отгадыванием загадки, когда всё уже давно позади; стоит ли её вообще раскапывать?

Тогда, в Бутырках, когда глаз надзирателя весь день всходил и закатывался в тюремном глазке, и снова показывался, следя за тем, чтобы сиделец не спал, не прилёг днём, а вечером, после отбоя, едва только ты ложился, как скрежетал ключ в замке и откидывалась кормушка, утробный шопот поднимал тебя с койки, и сапоги дежурного надзирателя вели тебя длинными гулками коридорами в кабинет следователя на допрос и приводили назад на рассвете, так что в конце концов ты едва не слетел с катушек, — так вот, тогда ещё можно было размышлять, кто тебя посадил. На кого только не могло пасть подозрение! Стукачом мог быть каждый. Но, получив своё, ты об этом больше не думал.

И вот опять воскресает эпоха китайских теней, опять за каждым углом тебя подстерегает предательство и смотрит преданными глазами умной собаки. Собственно, в этом и заключалась высшая цель: связать всех общей порукой. Так приходишь к позднему пониманию — это была сеть, паутина, каждый мог в ней увязнуть, в смутном ожидании, когда, наконец подползёт некто и воткнёт в тебя свой хоботок. То была подлинная начинка времени. От этих мыслей никуда уже не уйдёшь.

Тебя предупредили, ты попытался скрыться, но не ясно ли, что несчастный свидетель, — с каким сладострастием тебе зачитали его показания! — не ясно ли, что он был лишь украшением. Это следовало из того, что показания были сделаны в последние дни. Совсем немного оставалось до той ночи, когда должны были за тобой придти. Старуха в платке была права, та, что предупредила и потонула в этом тумане, где теперь он брёл, как слепец, с протянутыми руками. Кто же она была, эта тётка, искавшая репетитора для мнимого внука? Поразительно, что такие люди всё ещё существовали.

Следствию всё известно. Органы не ошибаются.

Но тогда зачем нужны свидетели, допросы, протоколы, вся многомесячная канитель? Сцапали — и в лагерь. И не надо содержать всю эту многоголовую сволочь — следователей, начальников и начальников над начальниками.

Всё известно — откуда? Во всяком «деле» должен существовать секретный осведомитель. Если миллионы и десятки миллионов арестованы, значит, в стране существуют десятки миллионов доносчиков. Мы напоролись на одного, шаря в тумане.

Но где доказательства? В обществе, где подозревать можно каждого, нужны доказательства. Но они похоронены в архивах. И всё же есть, есть, есть доказательство. Писатель бодрствует в своей комнатке-келье с тёмным окошком и щелястым полом, лампа горит на столе, улики налицо. Нужно было уметь их видеть; вот этого, друг мой, тебе как раз и не доставало.

Аглая, достоевское имя. Подруга с чёрной косой... Наташа и Глаша. Что-то тут было неладно. Какой-то дымок повеял. Догадывалась ли об этом сама Наташа, откликнулась ли взаимностью? В конце концов тень

однополой любви всегда крадётся за дружбой юных девушек; вопрос, созревает ли эта привязанность до чего-то определённого или рассеивается, как туман на заре. Драма ревности — ему пришло в голову, что история смахивает на бульварный роман. Однако после того, как писателя прямиком доставили на Лубянку, сперва во Внутреннюю, тайную тюрьму, в эти изматывающие ночи, когда лейтенант листал дело, — сама его пухлая толщина должна была произвести впечатление, — читал, качал головой, издавал невнятные звуки, что-то подчёркивал, хлопывая ладонью по столу, называл студентов: а вот этого знаешь? а эту? — когда, порывшись, добыл фотографию Наташи, подмигнул: девочка ничего, небось ухлёстывал за ней, ну и как? *Не дала?* — словом, когда казалось, что, сейчас он другое имя, оно, *это* имя, единственное, как раз и не было упомянуто. И ни разу не всплыло за все месяцы, словно никакой Глаши в природе не существовало.

Заседание клуба юных поэтов закрылось, оттепель последних дней сменили новые заморозки, обледенелый тротуар блестел в тусклом свете фонарей, и Наташе пришлось уцепиться за подругу, хотя, собственно, это было обязанностью мужчины. Но кавалер плёлся сзади, а они шли рука об руку, вдвоём. У соперницы были тёмно-блестящие, тяжёлые волосы под меховым беретом, трагически тёмный и блестящий взор, было круглое лицо с румянцем во всю щеку, с чуть пробившимися усиками, и навязчиво полная грудь. Обогнули памятник, чью уродливость скрадывала шапка снега, брели вдоль чугунной ограды и дальше, свернув направо, мимо витрины Военторга — мёртвое эхо войны, и тусклые фонари, и поблескивающий асфальт, и навстречу из мглы ползут на мягких лапах заиндевевшие троллейбусы. Прижавшись к подруге, девушка прячет руки в пушистую муфту, щебечет милую ерунду, и та, другая, темно-окая, молчаливая, крепко держит Наташу, боясь упустить, — означало ли это, что она боялась соперника? Припоминаешь все мелкие происшествия этого вечера, движения, взгляды — с каким торжеством, наслаждением она шагала, прижав к себе подругу, — и поражаешься собственной слепоте.

Где трое соберутся во имя Моё, там Я среди них.

Я, Око Госбезопасности.

Подумаем о мотивах. Что вдохновляет потомков Искарриота, что их вынуждает? Комсомольский долг. Карьера. Деньги. Страх. Расстрелянный отец, дядя, дедушка. Но *тут* было другое, был личный, тайный, горячий мотив: соперничество, ревность; почему бы и нет? *C'est le mot*¹.

Но если эта гипотеза правильна, значит, были основания ревновать. Значит, она видела, что Наташа, слабовольная, податливая Наташа, колеблясь между двумя, склонялась к тебе?

¹ Вот отгадка (*фр.*).

Он был зол. На неё, на них обоих, на щебетанье Наташи. На эту вечную уклончивость. Или ей нравилось держать его в неуверенности? Что-то стремительно ускользало, близился переулочек прощания, и непременно получится так, что он так и не дожждётся, когда уйдёт Аглая, и они всё ещё будут стоять перед подъездом её дома, обсуждать свои бабьи дела, словно забыв о нём; зато всё, о чём ты ораторствовал по дороге, о Зощенко и Ахматовой, об идиотских постановлениях партии, которая собирается выращивать литературу в цветочных горшках, наконец, о вожде, изрыгом оспой, — все эти давно уплывшие нечистоты времени, — всё, слово в слово, окажется в протоколах, где именно так и будет названо: «издевательские насмешки». Не только над докладом секретаря ЦК тов. Жданова, но и *horribile dictu*¹ — «в адрес одного из руководителей советского государства», таково было кодовое наименование карлика в этих сочинениях. То, что слышать враждебные высказывания могла (не считая Наташи) только она, пришло в голову уже тогда, ещё во Внутренней тюрьме; но какого рода была эта девичья привязанность? То-то и оно.

И как было не соблазниться этой возможностью избавиться от соперника. Сказать себе: ведь это же мой долг: помочь разоблачить. Всякая попытка поставить под сомнение партийный документ есть вражеский выпад, идеологическая диверсия. Здесь есть своя логика. Он подумал, что так можно дойти до оправдания всего этого абсурда. Но это означает остаться внутри абсурда? Как уютно жить внутри абсурда!

Режим отлит из чугуна. Он твёрд, как чугун, и не поддаётся ковке. Но хрупок. Значит, всякий, кто посягает. Всякого, кто посягает... *Не строй из себя целку*. Не изображай невинность. Сказано: *там Я среди них*. Я — глаза и уши. А где же был тот, кому эти уши несли свою дань, как пчёлы — нектар, где тот, чьё имя нельзя называть, чей лик ужасен? Мы даже не знали о его существовании. А между тем он был так близок, спокойно сидел за двойной дверью, в правом крыле дома на Моховой, что-то листал, подчёркивал, набирал телефонный код, скромно-невзрачный, словно инсект, покачивался посреди своей слабо поблескивающей паутины, как в гамаке.

Но Наташа! Ты забыл звук её голоса, теперь снова вспомнил; снова представил себе её ужимки, нечто кукольно-целлулоидное в её облике; теперь она — словно экспонат среди прочих. Оставаясь вершиной этого треугольника, она вовсе не была главным действующим лицом. Она и не хотела распоряжаться. Она была в меру капризной, в меру практичной, настолько же умницей, насколько и дурочкой, глупышкой, воспитанной в этой роли и всё ещё не готовой сменить ампулу; прятала руки в муфту, прятала носик в пушистый воротник; вовсе не желала учиться и, может быть, держалась на курсе лишь благодаря влиятельным родите-

¹ страшно сказать (*лат.*).

лям; хотела походить на Ольгу Пушкина, на Наташу Толстого, намекала на дворянское происхождение; гладко причёсывалась, но оставляла завитки волос вокруг лба; носила длинные косы и бант на затылке; хотела быть как Дина Дарбин, хотела быть «девушкой моей мечты», что ей и удалось, тратила время на пустяки или то, что должно было выглядеть пустяками; вся её жизнь была пустяком, но также и стилизацией под легкомыслие. Ибо она никогда не упускала из виду простого и главного — жить в уютных комнатах, вкусно кушать, удачно выскочить замуж. Такой была Наташа.

Она была влюблена — не в тебя, о, нет! Она была влюблена в себя, в собственное тело со всеми его прелестными подробностями, и то, что она попала в сети иной привязанности, в сущности, не должно было её удивлять, если бы не страх. Она боялась Аглаи, боялась тяжёлого взгляда этих траурных глаз, мерцающего из угла комнаты, ловила этот безмолвный сигнал, всё ещё принимая его за призыв эгоистичной дружбы; ты заметил этот взгляд, когда единственный раз был у неё в гостях. Дикая застенчивость приковала тебя к дивану, ты попал в другой мир, ты не смел произнести ни слова, да так и просидел, не вставая, весь вечер. Комнату заполнила незнакомая шикарная молодёжь, впрочем, это была не комната, а нечто неправдоподобное, отдельная квартира, где тогда жил в отдельных квартирах? Пожилая женщина в белом фарфучке разносила тарелки, роскошное картофельное пюре с мясом, за роялем сидел студент консерватории, гений с длинными волосами, играл «На тройке» Чайковского. Никто из них не догадывался, что в этой пьесе изображен ухаб, на который взбирается лошадь, затем широкий раскат саней вбок и бег с колокольчиком по зимней дороге, и снова ухаб, раскат, и снова бег, уж колокольчик-то не могли не услышать, — и широкая распевная мелодия, снежная равнина, и далёкая, тонушая в морозном тумане русская тройка. Чтобы представить себе эту картину, нужно было пожить во время войны в эвакуации, за тысячу вёрст от Москвы. — Потом был внесён патефон, и какой-то длинный юноша с бантиком на шее, в костюме с иголки, — может быть, жених? — обнял томную Наташу, извивался в великолепном танго.

Нет, не она, с её слабым, как бы невольным, кружащим голову эротическим излучением (это головокружение он и принял за любовь) была героиней этого мрачного сюжета. Чем больше он размышляет, вновь и вновь расставляет фигуры на шахматной доске, тем яснее становится, кто был главной фигурой. Он встаёт и выходит из дома. Городишко, сто первый километр, спит, в вышине сияет луна. Они выходят. Трое выходят на площадь, начался снегопад. Белые хлопья сыплются вокруг искусственных планет. Та, что идёт справа, крепко держит под руку подругу, ждёт, когда, наконец, распрощается и уйдёт третий лишний. И вот, наконец, свернули с Арбата в Большой Афанасьевский, вот дом Наташи, сейчас, как в том сне, они проскользнут в подъезд, а ты будешь стоять в

недоумении на тротуаре, дёргать за ручку, искать звонок, увидишь сержанта в проходной, и он потребует предъявить твой пропуск бесконвойного. И ты увидишь... что ты увидишь? Её бесстыдно задранное платье и чулки с резинками.

Они остановились перед подъездом, словно для того, чтобы принять решение, и ты *принял решение*, ты сказал себе, хватит, пора кончать со всей этой тоской и морокой, плюнуть на них обоих; обзлѐнный, чуть было не выпалил. Как вдруг Наташа проворковала, не хочу спать, погуляем ещё немного. Внезапно он понял: это был крик о помощи.

Вот именно. Она боялась Глаши, её страстного взгляда, быть может, слегка наигранного; боялась тѐмных подъездов, и поцелуев, и дерзких объятий, когда вдруг прижимаются всем телом, грудью, животом, бѐдрами. Страх девственницы — это была брешь в крепостной стене, над которой развевался лесбийский флаг. Но вот что удивительно (они всё ещё топчутся перед подъездом; он всё ещё бродит по улочкам подмосковного городка под луной), вот что приходит на ум, внезапная догадка: он сам хотел бы обнять — кого же? Черноволосую, с пробирающимися усиками, румяную и полногрудую.

Мы можем прожить много лет, не поняв своего чувства, давно угасшего, до тех пор, пока память, совершив круг, не вернѐтся к далѐким временам, чтобы расставить шахматные фигуры так, как они стояли тогда. Она, она, думал писатель, напоила нас отравой неутолѐнного вожделения. Любовь была закована в неписанный этикет, сдавлена плотным лифчиком, жестким, как панцирь, поясом с резинками для чулок. Вот кто был средоточием неразрешившегося романа втроѐм. Арест разрешил его. Вспомнилось, что Аглая носила фамилию матери; до революции это означало бы — внебрачный ребёнок, прочерк в графе «отец». Теперь прочерк означал, что отец «репрессирован». Да, можно прожить много лет, прежде чем станет ясной коренная двусмысленность нашего существования: чѐрноволосая девушка была посланницей ада, таков был метафизический смысл её явления. Земной же, прозаический смысл и повод были те, что необходим крючок, чтобы выудить жертву. И не так уж трудно догадаться: пропавший отец, вот кто был зацепкой, — отец, о котором нельзя вспоминать и о котором ей напомнили. Прижали к стенке и предложили стучать.

XXXIII

Стоп: ещё один. Сеть.

Тогда же

Но тут же он подумал, что эта гипотеза — ведь что ни говори, это была лишь гипотеза, с романтическим привкусом, — что она не всё объясняет. Не все «факты». Как всякий, кто угодил в эту паутину, он сомне-

вался и в фактах; как все, жившие в этом государстве, понимал, что заподозрить стукача можно в каждом. Мы все были пленниками государственной тайны. Вся жизнь была зыбкой, неверной, двусмысленной, люди появлялись из тумана, чтобы затем вновь раствориться в густой белёсой мгле. Откуда взялся Серёжа?

И этот тоже как будто перестал существовать после того, как ты провалился в люк и крышка захлопнулась, после того, как сам перестал существовать для тех, кто остался наверху; и так же, как фамилия Глаши, серёжина фамилия на допросах и в протоколах никогда не упоминалась. Не было никакого Серёжи. Писатель вспомнил.

Одно другому не мешает: Аглая, чёрный ферзь, с одной стороны, а с другой — слон, в шахматном просторечии офицер. Правда, всего лишь один раз, если не изменяет память, Серёжа пришёл в университет в гимнастёрке и сапогах, в погонах курсанта.

Пожалуй, только теперь — слишком поздно — можно оценить внешность Серёжи. А ведь она была в самом деле очень характерной. Как если бы специально подбирали этих людей с маленькими, постоянно прищуренными глазками, с правильными розовато-гладкими лицами, ничего не выражающими, лишёнными индивидуальных черт. Эта стёртость и была их особым выражением. Это был *стиль*. Надо было уметь читать эти лица, думал писатель. Но не потому ли он вспоминает теперь выразительно-невыразительную физиономию друга, что, сам того не замечая, копит улики.

Обыкновенно Серёжа приходил в университет в костюме, должно быть, пошитом по заказу: длинный по моде пиджак, галстук, отутюженные брюки — всё прекрасно сидело на нём, и это в нищие послевоенные годы; не иначе как сын богатых родителей, но ведь о родителях никто не спрашивал... Он был студентом таинственного военного института иностранных языков, никто толком не знал, что это был за институт, кого он готовит. И сейчас казалось, что, подружившись с писателем, Серёжа проходил, так сказать, производственную практику.

Знакомство произошло всё в той же поэтической студии. Был ещё один парень, некий Миша Китайгородский: в детстве жили с Серёжей в Кривоколенном переулке, на одной лестничной площадке, и в школе сидели на одной парте. После войны Серёжа с родителями переселился на улицу Чехова, и дом был особый, посторонних туда не пускали, и к Серёже нельзя было ходить в гости; он и не приглашал. Старый поэт, руководитель студии, похвалил Мишу. Вместе с Мишей приходил закадычный друг и тоже заглядывался на Наташу. Потом этот Миша куда-то пропал, зато Серёжа, хоть и не писал стихов, стал завсегдатаем клуба, и как-то так получилось, что вы сблизились.

О том, что Миша не уехал, не заболел, а был арестован за «разговорчики», узналось неизвестно как и откуда; прошёл шепоток, слухок; Серёжа об этом молчал, как и вообще полагалось помалкивать о таких

происшествиях; но память об исчезнувшем друге сблизила вас. Всё как-то выстраивается, думал писатель, шахматная партия разыгрывается сама собой. Не было бы Китайгородского, не было бы и Серёжи. Миша исчез, а Серёжа остался. Серёжа приходил на факультет, туда, где окна выходят на площадь и крепость с зубчатой стеной, допоздна бродили по городу, входили в фешенебельный ресторан на улице Горького. Серёжа говорил, что продал английский словарь Уэбстера и теперь был при деньгах, отчего бы и не кутнуть. Это были головокружительные вечера. Снаружи в окнах, задёрнутых тюлевыми занавесками, горели красные неоновые вывески, в вестибюле встречал швейцар в серебряных галунах, волны тепла, роскошного уюта окатывали, окутывали входящих, в тусклом тумане, в волшебное сиянии люстр, среди говора, женского смеха, неслышного бега официантов усаживались за столик с крахмальной скатертью, подходил надменный метрдотель, подавальщица в наклоне, в кружевном передничке приносила розовый графинчик, холодную телятину, заливное из судака а-ля... теперь уже не вспомнишь, как это называлось, не сказать, чтобы очень уж аппетитное, но ужасно аристократическое. Серёжа шурился, смотрел на бёдра официантки, на эстраде бренчал и ухал оркестр, и конферансье, похожий на дворецкого в американском фильме «Сестра его дворецкого», похожий на графа Данило из оперетты «Весёлая вдова», — *па-айду к Максиму я, там ждут меня друзья!* — похожий на Эдвина из «Сильвы», — *помнишь ли ты, как мы с тобою встречались*, — объявлял жирным баритоном:

«Дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях...»

И называл чьё-то явно знаменитое имя, простирая ладонь в угол, где сидел с каменным лицом этот знаменитый, а напротив него, с серебристой лисой на спинке стула, вся в кудряшках белокурая красавица, точь-в-точь как Людмила Целиковская. И вообще здесь все были похожи на кого-то. Оркестр грянул заказанное, истинно-русское, любимое, от которого хотелось вскочить и пройтись гоголем. На эстраде, рядом со спиной и фалдами дирижёра уже стоял наготове дородный певец со сверкающей лысиной, в крахмальной манишке с бабочкой, именуемой «собачья радость». И — *Вдоль по Питерской. По Тверской-Ямской, да эх-ы!*

Серёжа разливал водку. Люстра вращалась, переливаясь огнями. Начинаясь увлекательная беседа, писатель спешил поделиться своим открытием. Серёжа кивал, говорил, что и он догадался. Открытие состояло в том, что мы живём в царстве обмана и лжи. Самая счастливая в мире страна на самом деле самая бездоленная, величайший стратег и полководец никакой не полководец, а деспот и трус, который прячется в Кремле, в нашей стране фашизм, что и подтверждается сходом с немцами: у них фюрер, у нас вождь, у них партия, и у нас партия, наш рулевой. И так далее, и всё такое прочее.

**Утренние утехи.
Ничтожество, или частное лицо**

10 октября 1956

Тёмным утром, когда казалось, что день так и не наступит, когда тусклые огни отражались в лужах и угрюмые пешеходы сталкивались зонтами, человеческая каша съезжала по эскалаторам, вдавливалась в вагоны и колыхалась в подземных туннелях навстречу летучим огням, — утром в понедельник, в комнате-келье баронессы Тарнкаппе нагая девушка тщетно старается выбраться из стеклянной неволи, тусклой белизной отсвечивает исполосованное временем зеркало, и стена над диваном увешана фотографиями баснословной эпохи. *Veuillez avoir l'obligeance...* Мальчик ёрзает на диване.

Тёмным осенним утром, в свинцовых лучах Сатурна, когда кажется, что день никогда не наступит, в доме на углу Большого Козловского переулка, в комнатке покойной Анны Яковлевны висит на стуле, валяется на полу рубаха мужчины, бюстгальтер и кружевные трусики женщины; двое дремлют после предутренних объятий, он, повернувшись к стене, она с приоткрытым ртом, в путанице волос на подушке, над краем раскладного дивана.

Он проснулся окончательно, теперь и он лежит на спине. Счастливый любовник стряхнул с себя лохмотья сна. Женщина по-прежнему посапывает. Скосив глаза, он видит её плечо и левую грудь, слегка соскользнувшую вбок. Что сулит этот день? Или чем он грозит. Оставаться по-прежнему в подвешенном состоянии, приезжать, возвращаться и снова приезжать в квартиру, где новые жильцы, сменив старых, случайных, вот-вот должны вселиться в бывшую комнату родителей. Ночевать у Вали в ожидании, когда донесут соседи, нагрянут мусора, — всё ещё надеяться, что каким-то образом зацепишься, получишь какой-никакой штамп в паспорте. Проклятье труда, о, проклятье труда, — кто из нас не давал себе клятву никогда не работать, «если выйду когда-нибудь на волю», кто не твердил себе: нет уж, буду лапу сосать, с голоду подыхать, но работать ни-ни, и никто меня не заставит. Увы, проклятье тащилось за ним, как тень. Получить прописку можно, если числишься на работе, а поступить на работу, если прописан.

Прописан-то он прописан, но где?

«Дай взгляну ещё раз».

Она натянула повыше одеяло. Писатель перевалился через Валентину, зашлёпал в угол, вернулся с предательской книжечкой в сером дерматины. Сумерки одели в серое его тело, он был худ, широкоплеч, с впалым животом, волосы, начинаясь от пупка, осеняли его пол. Женщина смотрит на тебя. Точнее, смотрит на него.

«Слушай-ка... Ты что, еврей?»

«Мусульманин».

«Нет, серьёзно».

«Словно первый раз видишь».

«Хотела спросить».

Он усмехается. «С нижней точки зрения, еврей».

«А я и не знала».

«Мой отец был половинкой. Вероятно, бабушка».

«Что бабушка?»

«Настояла на том, чтобы...»

«Говорят, бабам нравится».

«Что нравится?»

«Ну, когда член голый».

«Тебе тоже?»

«Может, и нравится».

Ого! он растёт. Божественный гриб набирает рост. Мужчина нависает, женские ноги, как щупальца, обхватили его ягодицы. Любовь — это труд. Тяжело дыша, любовники перекатываются на постели, и, оказавшись наверху, женщина превращает победу мужчины в свой триумф.

Они лёжат рядом. Серый день возвращается в комнату. Серая книжечка валяется на полу.

Две вещи определяют место человека на земле: паспорт и детородный орган. Две инстанции решают твою судьбу — женщина и чиновник.

Признаться ли себе в том, что только *это* у него и осталось?

Валентина шарит голой рукой, нащупывает книжечку.

В чём дело, паспорт как паспорт.

Не совсем. Федот, да не тот.

«Вот», — сказал он.

Загадочная графа «На основании каких документов выдан...»

На основании справки №... и Положения о...

«Ну и что?»

«А то, что в твоём паспорте, например, такой пометки нет. Это такой шифр. Для тех, кому положено, он означает: вышел из заключения. Я ходил к юристу. Хотел узнать, что это за Положение».

«И что он сказал?»

«Ничего. Это такая контора адвокатов на пенсии. Старые волки. Работают на общественных началах, можно получить консультацию бесплатно. Они там все сидят в одной комнате. Я говорю: вот я вернулся, хочу узнать, что мне положено, чего не положено. Он посмотрел на меня и сказал: пойдёмте, я вас провожу. Вышли в коридор, он говорит: я не могу ответить на ваш вопрос. Не все законы подлежат разглашению. Положение о паспортах — секретное».

«Правильно, — сказала Валентина. — Если каждый будет знать... Нам пора, давай одеваться. Слава Богу, что хоть...».

«Что — слава Богу?»

«Что хоть национальность — русский».

Тени жильцов уже копошатся на кухне. Чайник вскипел, она возвратилась.

«Ведьма эта, плоскодонка. Тощая, как щепка. *Кто это у вас там ночует, посторонних к себе пускаете. А если придут проверять. Я говорю, а твоё какое собачье дело*».

«Но они в самом деле могут проверить. Может, она уже написала».

«Пускай пишет. Начальник меня знает».

Начальник милиции её знает, и тот, к кому они собрались, её тоже знает; а всё же. Отовсюду внимательные глаза следят за тобой. В толпе нормальных граждан ты словно инвалид на тележке. Паспортный инвалид. Вон там впереди маячит синяя фуражка, ждёт, когда ты подъедешь.

Не попадайся на глаза начальству. Одиннадцатая заповедь, которую русский народ прибавил к Декалогу Моисея. Звенят подковки сапог, мильтон тебя уже наколол. Оторваться, затеряться в толпе, перебраться на другую сторону улицы. Нырнуть в переулок, в первый попавшийся подъезд. Поздно, он догоняет тебя: *ваши документы!* Внезапно задрезбужало в коридоре: они на лестнице. Звон — ты что, не слышишь? Они пришли за мной.

«Да нет там никого...»

Она одевается. Наклонившись, так что её круглые плоды нависают во всей красе, она продевает в шёлковые трусы одну полную ногу за другой, хозяйственно заправляет груди в бюстгалтер.

«А я говорю: звонят».

«Ну, звонят, кто-нибудь откроет».

«Говорю тебе, один звонок, это к нам».

Спрятаться в сортире? Соседи шастают в коридоре. Где такой-то? А вон там — и пальцем на дверь уборной.

Вздохнув, она накинула на себя что-то, вышла в коридор и вернулась.

Она лично руководит его экипировкой. Скромно, но прилично. Не бросаться в глаза, но так, чтобы люди видели, что порядочный человек. Хорошо бы ещё что-нибудь нацепить. Что-нибудь патриотическое. Роеся в деревянном блюде с брошками, клипсами, бусами. Вот это будет в самый раз. Алый эмалевый значок «40 лет ВЛКСМ» красуется у писателя на лацкане пиджака. Пусть люди думают, что он старый комсомолец.

Писатель пожимает плечами. Он вообще никогда не состоял в комсомоле.

«Почему?»

Так получилось. В эвакуации, в сельской школе никакой комсомольской организации не было, и вообще обо всём этом было напрочь забыто во время войны. В университете вступать было неудобно — когда все давно уже комсомольцы. Да и зачем?

«Призрачная организация», — сказал он.

«Ты так думаешь? — Она усмехнулась. — А вот сейчас увидишь».

Что-то похожее на солнце проглядывает в прорехах сероватомолочных облаков, добрались до бывшей Волоколамской заставы, оттуда троллейбусом, и вон оно, видное издалека, бетонно-стеклянное, с уходящими ввысь рядами окон, с огромными буквами над крышей во всю длину фасада. Вслед за спутницей писатель вступил в просторный вестибюль.

Что-то есть в его внешности, неуверенной походке, притягивающее бдительный взгляд грозного швейцара с лицом мопса. Мимо, мимо... Презрительные девицы с наклеенными ресницами в низких креслах за столиками чёрного стекла, папироса между двумя пальцами, высоко закинутые ноги, коленки в апельсиновых чулках. То ли кого-то поджидают, то ли так положено — чтобы в креслах полулежали модные красотки. Племянница — но теперь она уже не была племянница, она превратилась в таинственную незнакомку, в столичную штучку, в девушку из высших сфер, — в светлом габардиновом плаще с пояском, подчёркнувшим бёдра, в шёлковом платочке вокруг шеи, на цокающих каблучках, показав мимоходом красную служебную книжечку отеля «Комсомольская юность», втокнула писателя в лифт, и оба отразились в зеркалах, бесшумно, тайно поплыли наверх, бесшумно остановились. Светлый коридор, ковровая дорожка и ряды дверей с узорными бляхами.

Костяшкой пальчика с полированным коготком: тук-тук.

Ещё раз — тук-тук.

«Алексей Фомич, а мы к вам!»

Каблучками в трёхкомнатные хоромы: цок-цок.

Алексей Фомич кажет розовое молодёжное лицо.

«А-а, Валенька... заходи, заходи».

Он только что принял душ, свеж, душист, мокрые волосы, лёстрая шёлковая пижама, щёгольская сорочка лимонного цвета, просторные пижамные штаны и меховые шлёпанцы.

И, должно быть, думает писатель, полновесный, могучий, как у коня, между крепкими волосатыми ногами.

Однако... какие у неё знакомства.

Она выпархивает из ванной с пушистым полотенцем на вытянутых руках — Валентина здесь как дома. Алексей Фомич вытирает крепкий затылок.

«А это, Алексей Фомич, я вам говорила...»

«Прости, Валюша, запомятовал».

«Я вам говорила... насчёт...»

«А! Этот. Как же, вспоминаю».

«На вас вся надежда...»

«Чайку? Кофейку? У меня полчаса времени... давай по-быстрому».

«Всё-то вы заняты, нельзя так много работать...»

Дверь неслышно отворилась, въехал столик. Мальчик в курточке и картонной каскетке проворно расставляет чашки, рюмки, тарелочки с закусками. Уселись; так в чём дело-то.

«Я вам уже говорила... У него...»

Она вздыхает. Есть от чего вздохнуть.

«Короче. Когда освободился?»

«Алексей Фомич, за вас».

Пригубить рюмочку. Заодно налили и просителю.

«Время, время! У меня совещание в президиуме».

«Чтобы вы были по-прежнему молодым, красивым...»

«У тебя что, отгул?»

«Я сегодня в ночную смену...»

Обещающий взгляд.

«Угу. Статья? Тири-рири-ри... — Он напевает, оглядывает трапезу. — Небось, пятьдесят восьмая?»

Маслом туда-сюда, словно точит нож о булочку. Вилкой листок голландского сыра — шлёп. Сверху ломтик краковской колбасы.

«Алексей Фомич, мальчишкой был. Сболтнул что-то там».

«Тири-ри. — Искоса, писателю: — Небось, прокламации писал! В организации состоял! Чего молчишь-то, язык проглотил?»

«Нет», — сказал писатель.

«Боишься сказать, что ли?»

«Ничего не писал и нигде не состоял».

«Все вы так. Каждый из себя невинную жертву корчит. Ладно, кто старое помянет... Поучили тебя маленько, тоже полезно. Ты теперь свободный, полноправный гражданин».

«Да ведь в том-то всё и дело, Алексей Фомич, полноправный-то он полноправный...»

«Знаю, знаю... Ничего коньячок, а? Ладно, всё понял. Обещать не обещаю. Посмотрим... Попробуем. Паспорт у тебя с собой?»

Оба возвращались в квартиру возле Красных Ворот. А ты, спросил он.

«Что я?»

«Какая у тебя должность?»

«Много будешь знать. Какая должность... Горничная. Обыкновенная горничная».

«Это я понял, — сказал писатель. — Туда, я думаю, просто так не попадёшь».

«Правильно думаешь».

«Как же ты...»

«Как попала? Вот так и попала: по знакомству; а ты как думал? Без блата теперь ни шагу. Само собой, проверка, врачебная комиссия, куча всяких справок. Одна анкета — десять страниц. Ну, и конкурс, конечно. Никогда не думала, что пройду. Сто баб на одно место, ужас».

XXXV

Интермедия: личная жизнь Валентины

Октябрь или ноябрь

В полдень века золотушное солнце слабо отсвечивает в окнах верхних этажей. Войдём в подворотню. Здесь всё то же. Разве только исчезли пожарные лестницы, никто больше не лезет на крышу, не носится по двору, не играет в «классики», в «колдунчики», в «двенадцать палочек». Двор пуст. Мальчики тридцатых годов лежат в полях под Москвой, в калмыцких степях, в прусских болотах. Тебе повезло, твоя очередь приблизилась, когда наступил мир, твоё место на кладбищах войны пустует.

Писатель спрашивает себя, что осталось от девушки в бокале. Наши детские увлечения, детская очарованность, детская влюблённость не только запоминаются на всю жизнь, но как будто проецируются на других женщин, участвуют в том особом виде творчества, которое, собственно, и называется любовью. В первые минуты, в то утро, когда он явился с вокзала, ему показалось, что она всё та же. Это была иллюзия. Девушка-русалка давно уже выбралась из своей стихии, превратилась в обычную женщину. Вопрос, который он задал, — любит ли он её по-прежнему; вопрос, который и сама она задавала себе в иные минуты, когда, пресыщенные друг другом, они погружались в отчуждённое молчание, когда мало-помалу перед ней открылась истина о нём, перед ним — истина о ней. Человек, который приезжал к Валентине, чтобы остаться на ночь, которого она понемногу поддерживала, подкармливала, который почти уже перебрался к ней, — молчал, когда нужно было что-то сказать, ни единого слова о чувствах, ни словечка благодарности; человек с выжженными проплешинами в душе наподобие полей чёрного праха и обгорелых пней, которые оставляют за собой бригады на лесоповале. А женщина, с которой связали его одиночество и чувственность, — кем была она, кем стала за эти годы?

При входе во двор налево, в первом этаже находится широкое трёхстворчатое окно, прежде называемое венецианским, — может быть, потому, что никто не бывал в Венеции, и никогда не будет. Досюда никогда не доходит солнце. Комната экс-баронессы Анны Яковлевны Тарнкаппе. Окно задёрнуто занавеской.

Валентина стоит перед зеркалом: дуэль глаз, клоунада ленивых телодвижений. Из опрокинутой комнаты на неё взирает призрачная по-

лунагая женщина, чья молодость всё ещё продолжается, да, да, продолжается всем назло и притягивает взгляды. Рассматриванье себя, а точнее сказать, пожирание себя в волшебном стекле, ни с чем не сравнимое переживание; всякий раз открываешь себя заново, всякий раз что-то изобретаешь. Она только что поднялась. Оторвавшись от своего отражения, она присела на корточки перед комодом, её колени блестят, сорочка сползла с плеча. Незачем тащиться на кухню, для этих вещей имеется спиртовка. Она поставила её на пол. Завтрак подождёт. Отупелая, нечѐсаная, без мыслей, она сидит на своём ложе.

Ей показалось, мелькнула тень за окном, вскочив, она заглядывает за край гардины, видит угол двора и косо освещѐнный солнцем наверху брандмауэр. Осторожно клокочет вода в стерилизаторе. Умелые пальцы надпиливают крошечной пилкой горлышко ампулы, щелчок — сосок отлетает, волшебный сок насасывается в стеклянный цилиндр. Теперь стянуть жгутом левую руку повыше локтя, короткий, нежный прокол, струйка крови вползает в «баян», зубами ослабить жгут, поршень вперѐд. Ласковая смерть вливается в меня.

Отбросив одеяло — жарко, — я лежу на спине, шевелю пальцами ног. Я жду. Сейчас «двинусь»... Ничто так точно не передаѐт наши ощущения, как этот язык, этот нежный, бесстыдный код посвящѐнных, нас много, мы узнаѐм друг друга по этим паролям. Вот оно! Уже забирает. Уже возвестило о себе серебряными звоночками, мимолѐтным головокружением, покальванием в пальцах, в паху, в затылке. Время растягивается, утро далеко позади, и ясно до слѐз, до последних уголков памяти, что прежняя жизнь была жалкой, скудной, никчѐмной, какое-то полусуществование, и только *это* расправляет скомканную душу, распахивает глаза, поднимает на крыльях. Только это делает тебя человеком, и не просто человеком, — женщиной. И я смеюсь от счастья, и медленно, величаво красавица поднимает ресницы. Комната, как была, так и осталась, но всё кругом наполнилось смыслом и ожиданием. Взглянуть на часы — всё ещё длится полдень. У неё бездна свободного времени.

Она снова перед зеркалом — там усмеваются, подмигивают, срам какой, надо же, наконец, причесаться. Бросив на столик щѐтку с ключками волос, она принимается за лицо, протирает пахучим лосьоном лоб, подбородок, проводит ваткой под глазами, где карандаш? — поправляет дуги бровей. Для кого украшаешь себя? Господи, да ни для кого. Она почти упирается носом в стекло, колдует с тушью для ресниц, перебирает патроны с помадой, тронула губы пламенно-оранжевым — стѐрла, — тѐмным, пурпурным, как кровь, — снова стѐрла, провела губным блеском. Она полна любви к себе.

И оживает стекло, разгорается тусклым серебряным пламенем, медленно отступает та, другая, окружѐнная сиянием, улыбается уголка-

ми бледно-блестящих губ. Происходит то, что всегда происходит: она понимает, что это — игра, но грань игры и действительности исчезла; если она играет сама с собой, то и та, в хрустальном стекле, играет с нею. Покачать головой, погрозить ей пальцем. Сбросить всё с себя, как те нежные и наглые, в маленьком смотровом зале гостиницы, где показывают трофейные фильмы, что ж, и нам есть что показать.

Она осталась в лакированных туфельках на шпильках, выгода этих каблуков очевидна: идешь, покачиваясь, становишься гибче, стройней, зад и бедра круглей и выше. С лицом покончено, напоследок острый взгляд в расширенные наркотиком зрачки, но долго его не выдержишь.

Она поворачивается так и эдак, разглядывает себя сбоку, от затылка к изгибу поясницы, к полукруглой линии в меру пышных ягодиц, спереди от лебединой шеи к соскам невысоких грудей, вдоль опущенных мраморных рук к ладоням, к узким алым ногтям, к длинным пальцам с простеньким бирюзовым колечком, приносящим счастье, с платиновым перстнем, наделённым магической силой, — подарок могущественного Алексея Фомича. Глубоко, страстно дышит её отражение, любясь собой, она поднимает руки, её ладони открыты, она покачивается, как в танце, балансирует, словно идёт по канату в лиловом сиянии юпитеров, и та, вторая, в зеркале, жадно следит: дойдёт или не дойдёт до площадки? Канат покачивается под ней, она переставляет узкие стопы, трется друг о друга внутренние поверхности бедер, и сладостное ощущение заливает плечу, передаётся зрителям. Вдруг шорох, скрип! — этого ещё не хватало, — она спрыгивает с каната, бросается к дверям. Дверь приоткрыта. То ли сама собой отворилась, то ли кто-то прячется в коридоре. Кто-то подглядывает за ней. Это бывает. Ей говорили, всё зависит от дозы, но надо убедиться. Подхватив что-то, прикрыв грудь, она высовывается, стоит сундук, горит чахлая лампочка, двери жильцов закрыты. Она оборачивается и видит свою союзницу и соперницу в чёрно-серебряном стекле. Одеяло сползло. Валентина лежит на диване, на смятой простыне, слёзы текут по щекам, она оплакивает свою долю, уходящую молодость, и не знает, был ли кто-нибудь в коридоре, отомкнул ли кто её дверь, заперту на ключ, или всё это бред, яд, лишнее деление на стеклянном цилиндре шприца. Сколько-то времени проходит. Ей пора на дежурство в отель.

XXXVI

Уступка философствованию, которое никуда не ведёт

21 февраля 1957

Подведём итоги, сказал он. Феерическая поездка с Анной Яковлевой в Колонный зал окончилась ничем. Вечный двигатель так и не был

изобретён. Девушка навек осталась в бокале. Война, конец детства, университет... Время поэтических проб, вздыханий, ожиданий, и снова жизнь насмеялась над тобой. Памятный разговор в Круглой аудитории, бегство из Москвы и конец юности. Где во всём этом смысл, где связь вещей? Подведем итоги; литература — это итог.

Любовь к пустынькой Наташе ушла в песок. — Слишком поздно, мы догадались, что одними чувствами не отделаешься. — Нужны «дела». — Сны объяснили, в чём дело, с грубой наглядностью.

Было, может быть, что-то трогательное, что-то подлинное в этом танце влюблённости. Но она и была создана для влюблённости, больше ни для чего. Представить себе, чтобы при каком-нибудь необыкновенном стечении обстоятельств, она «отдалась», так же невозможно, как невозможно предположить, чтобы он нашёл в себе нужную решимость. Самое слово «половой акт» резало слух. Но если бы это случилось, если то, что демонстрировал театр сновидений, каким-то образом однажды осуществилось, что было бы? Любовь, пардон, вытекла бы вместе с семенем. И, однако, называя вещи «своими именами», мы избираем самый лёгкий путь, мы не постигаем истину, мы проскакиваем сквозь неё, как пуля сквозь яблочко мишени.

Сопя, кашляя, сочинитель сидит в своей комнатёнке за дощатым столом. Да, сочинитель, бумагомаратель, графоман: пусть лучше так, чем называться «писателем», надутое, фальшивое, лживое слово. Пузо вперёд, в зубах декоративная трубка. *Пи-ссатель сраный*. Слышите ли вы это змеиное «с-с»? Похоже, мы дожили до той поры, когда выражение *советский писатель* стало эвфемизмом проституции. И так, на чём мы остановились... Вжиться в минувшее. Восстановить настроение тех лет, сделать прошлое настоящим. В ту пору сочинитель ещё не читал Августина. Но он постиг: литература — это вечность прошлого. Не назвать ли так всё сочинение? И так, вернёмся к тем временам, revenons à nos moutons, словечко Анны Яковлевны. Её давно уже не было в живых...

21 февраля, продолжение

Он помнил, как он кипел ненавистью к вертлявым, неуловимым существам: за их лицемерие, за их уклончивость, за то, что невозможно было понять, где кончается искренность и начинается театр, где граница между невинностью и притворством, и не есть ли это одно и то же; он ненавидел их за то, что они притворялись, будто ни о чём таком не подозревают, на самом же деле были циничны, расчётливы, знали всё наизусть. О, эта желторотость. Ведь ему даже в голову не приходило, что женщина, будь ей восемнадцать или все сорок (что, по тогдашним твоим понятиям, было бы безнадежной старостью) вовсе не видит оскорбления в том, что её «желают», напротив, обидно и оскорбительно

почувствовать, что с тобой не желают возиться. Не приходила в голову та простая истина, что бесцельное обожание может льстить, забавлять, но в конце концов надоест.

В каждой ужимке и в каждом движении тела скрывалась двусмысленность, отворачиваясь, тебе на самом деле подставляли себя, «нет» означало «да», «да» значило «нет». Была ли в этом какая-то логика, были ли они по-своему правы? Они словно заранее знали, что стоит переступить границу, стоит только «дать», — да, именно так, цинически, они выражались, и не только мысленно — наверняка пользовались этим словом в разговорах между собой, — и любовь захлебнётся в своём утолении. Кто же не знает, что образ невинной девочки есть изобретение мужчины. Драгоценнейшее, может быть, изобретение, но — артефакт! И все же предположение, будто вся эта тактика подчинена расчёту, оставалась лишь предположением.

Укоряя других в цинизме, сам становишься циником.

Правда двулика.

Вжиться в ту далёкую жизнь...

Человек с предательским паспортом поднимает голову. Ему показалось, что кто-то скребётся в дверь. Оставьте меня в покое! Писатель был явно не в духе — оттого ли, что не мог собраться с мыслями, в буквальном смысле собрать их, как подбирают бусы, раскатившиеся на полу, или не мог сосредоточиться оттого, что находился не в духе, а на дворе — гнилая бессолнечная весна.

Смысл в том, чтобы отыскать смысл. Собрать и нанизать эти бусы на нитку. Он озирает свои бумаги, и тут ему начинает казаться, что по крайней мере на первый случай существует ответ. Он ещё не совсем постиг, каков он, этот ответ, но понемногу отлегло от сердца, пала активность желёз, вырабатывающих плохое настроение. Рахитичный луч упал из окошка на пол, протянулся до стола, проглянуло солнце.

Ближе к вечеру

Ему пришла в голову забавная мысль. Он подумал, что эта потребность нащупать стержень, преодолеть удручающий хаос жизни, убедить себя в том, что *всё не зря* и за кажущейся бессмысленностью существования скрывается некий умысел, — что в ней, этой жажде единства, в этом монотеизме жизни даёт себя знать наследственный недуг: капля еврейской ветхозаветной крови ещё жила в нём. Он усмехнулся. Но почему недуг? Микрокосм его жизни вдруг предстал как отражение макрокосма страны. И это было нечто целое и всеобъемлющее. И, может быть, в этом весь смысл? Или, по крайней мере, оправдание его жизни. Иудейская идея.

Страна Россия, думал он, что за страна! Полная чаша. Всего в избытке. Но никому не дано насладиться красотой её природы, величием

рек, изумительной архитектурой городов, широтой, простором, волей. Всё тонет в хаосе. Ничего не удаётся. История оборачивается кровавым абсурдом. Вот откуда эта мечта выломаться из истории. На минуту сочинителю показалось, что душа страны, осознающая себя — где? в чём? разумеется, в литературе, — что это его собственная душа.

Её вечное «не то» — это ёго собственное *не то*.

Да, ты мог упрекать себя в том, что у тебя нет характера, нет воли, ты ничего не в силах добиться; все надежды, все начинания пошли прахом; ничего из тебя не получится, ты был прав. Это оттого, что ты живёшь, чтобы стать литературой. Ты тот самый, сраный писатель. Как только я принимаюсь о чём-нибудь рассказать, происходит литература. И, знаете ли, — я успокаиваюсь. Испарения гнусного века для меня не опасны, я вооружён противогазом. Я неуязвим: меня больше нет. И не стучитесь ко мне.

Ему становится почти весело.

Напиши-ка о том, как некто собирается рассказать о своём времени, но время ненавидит таких, как он, ибо ненавидит всякую независимость, всякую самодостаточность, хотя бы она была всего лишь упорством, с которым ты отстаиваешь своё существование. Напиши роман о сером, неинтересном человеке без имени, без профессии, без семьи, без пристанища, о том, чьё имя — *Некто*. Только так ведь, не правда ли, можно себя называть. Только такой персонаж может стать героем нашего времени. Напиши о человеке, чья бесцветность оправдана тем, что ему выпало стать свидетелем эпохи, враждебной всякому своеобразие, и если, наконец, он взялся за перо, он остаётся каким он себя ощущает: песчинкой в песочных часах истории. Нет, мы не призваны на пир всеблагих, мы не зрители высоких зрелищ, куда там, — вихрь увлёл тебя за собой, скажи спасибо судьбе, славь злодейское государство за то, что ты уцелел.

Он хватается за вставочку, школьное перо: быть может, эти заметки «по поводу» столкнут с места его работу. Нужно отдать себе внятный отчёт, в чём состоит задание. Написать о том, что роман не даётся? Не означает ли это, что в дальней перспективе времени, в пропасти зеркал твои персонажи всё-таки живы и машут руками — то ли прощаются, то ли зовут к себе?

Вот почему, между прочим, — «фрагменты». Потому что эта эпоха похожа на отбивную — кусок мяса, по которому так долго колотили молотком, что он превратился в дырявый лоскут. И роман о ней может быть только лоскутным. Связное повествование — это, господа, былая роскошь, достоянье других времён, когда герой романа был субъектом истории. Сейчас он только объект.

О чём и «повествует».

Но тут опять. Едва лишь нам удалось нанизать бусы, как нитка выскальзывает из пальцев, жемчужные шарики рассыпаются. Кому это —

нам? Кто говорит? Стать рассказчиком или остаться безличной точкой зрения, ничьим взглядом? *Revenons au commencement*¹. Где-то в Старой Москве обитает старушка из «бывших». На дворе тридцатые годы, глухое безмузыкальное время. Нужно, чтобы оно зазвучало; так переключаются на музыку скучный, бездарный текст. Так расчерчивают нотный стан, но где же мелодия? Нужна тема. Что-то должно происходить. Старухе необходим собеседник, лучше всего ребёнок, он-то и представляет собой, в первом приближении, повествующую инстанцию. Мы пришли к необходимости персонального рассказчика. Двигаться дальше по проторённому пути, превратить повествователя в персонаж? Твоё «я» существует в двух лицах. Ты говоришь с самим собой, но это значит, что ты преобразуешь себя в Другого. Марсель — это Другой, не Пруст. Роман растёт и мужает в воспоминаниях, но, поглощая их, оказывается чем-то бóльшим. Мы раскормили чудовище, теперь роман правит бал — распоряжается и тобой, и твоей памятью, и двойником — диктует свои законы. Роман есть то, что некогда называлось *сверх-Я*. Роман — всеильный наркотик, «бан», чудодей.

Важно не то, что он способен удвоить существование, открыть для тебя твоё другое Я, о коем доселе ты не подозревал, — важно, что он убеждает тебя в том, что Другой существует на самом деле. Считается, что триггер отпирает запертые камеры сознания. Открывает ли он новые пласты действительности?

Слоистость действительности есть не что иное, как слоистость твоего «я».

Ночь на 22 февраля

Здесь, как и всюду, проставлена дата. Заметьте, однако, что вмешательство хронологии насилует подлинную жизнь. Коварство так называемого исторического мышления, силки, которые расставляет нам линейная повествовательность. Было то-то, потом случилось то-то, и получилось то-то. И выходит какое-то подобие осмысленности. На самом деле мы не живём в хронологически упорядоченном времени, хоть и стыдимся в этом признаться. Долой хронологию!

Прошлое — как повороты детского калейдоскопа; вопрос в том, кто перебрасывает эти цветные стёклышки, из которых при каждом повороте складывается новый узор, вопрос — кто же это великое и безрасудное Дитя, которое крутит трубку калейдоскопа.

Но не значит ли это (спросил он себя), что мы тянемся к литературе как области, где прошлое не противостоит настоящему, где время воспоминаний неприметно переходит в сновидческое время, *le temps onirique*, столь же легитимное, как и всякое другое, и в котором, как

¹ Вернёмся к началу (*фр.*).

матрёшка в матрёшке, в свою очередь содержалось другое сновидение; и не в этом ли преодолении линейного времени новое и высшее оправдание литературы? Задав себе этот головоломный вопрос, сложив руки на столе, сочинитель опустил на них тяжёлую голову.

Он спал несколько минут.

Сон, нечто всплывшее из колышущейся бездонной массы бессловесного, промытое в чистых струях сознания, чтобы превратиться в послание, в притчу, — сон застал его не за столом и не на соломенном ложе, но где-то на дальней линии метрополитена, был поздний час, поезд всё ещё стоял на станции, ты вошёл в пустой освещённый вагон. Тотчас в твоём мозгу ожило другое видение: ты брёл вдоль отсыревших стен туннеля, цеплялся за кабельную проводку, ты был там, среди врагов, и вместе с ними спасал свою шкуру, тускло поблескивали рельсы, что-то выступило из мрака, лобовое стекло, мертвые чаши фар. Машинист спал перед пультом управления, уронив голову, это был поезд мертвецов. А снаружи грохотала артиллерия, рушились остатки погибающего города. Ты хорошо помнил, что тебя в этом городе никогда не было.

Но вот прозвучал голос, предупреждавший об отправлении, в эту минуту на перрон вбежал запоздалый пассажир, бросился к вагону, двери захлопнулись. Пассажир дёргал за ручку застрявшего портфеля, делал отчаянные знаки, видимо, просил тебя помочь раздвинуть двери, наконец, они разошлись, снова сомкнулись, и перрон вместе с пассажиром поехал назад.

Ты сидел у окна, поглядывал на своё тёмное отражение в стекле, перечёркнутое несущимися огнями, и думал о том, что сны дешифруются не наяву, а в романе, что вопрос о том, какое время реальней, «онирическое» или реальное, отнюдь не решён и что следовало бы сдать портфель в бюро находок. Но поезд летел, не останавливаясь, это была дальняя линия с большими расстояниями между станциями. Пока, наконец, не дошло до сознания, что станция была конечной, а куда едем дальше, неизвестно. Тем лучше: будет время познакомиться с содержимым портфеля. Отщёлкнув замок, ты нашёл там толстую рукопись, принялся за чтение, а поезд по-прежнему шёл, не замедляя хода, и вагон раскачивался и громыхал на стыках.

Писатель почувствовал себя плагиатором. Он обдумывал случившееся, для чего понадобилось улечься, и должен был признать, что не только присвоил чей-то труд, но присвоил чужую судьбу. Чужой образ, безымянная тень сидит за столом и глядит на него тёмными глазницами, глядит с укоризной. И, уже просыпаясь, с необычайной ясностью он постиг, что тот, опоздавший, так и не успевший вскочить в вагон, был он, а в вагоне сидел другой, тот, кто собирался сдать портфель в бюро находок, но передумал, — да и поезд не останавливался.

Но и это был сон: и комната, и тюфяк, на котором он уснул, не раздеваясь, и увидел себя подбежавшим к последнему поезду; очнувшись,

он вспомнил, что война всё ещё не кончилась, сообразил, что он заблудился в горящем Берлине, подобно тому как заблудился в своём романе, и странствует в лабиринте подземных путей, и заглядывает в стёкла вагонов застрявшего поезда. О, это вечное повторение, борозда в мозгу, по которой проносилось его воображение. Он стянул с себя этот морок. Стало ясно, что вся его жизнь на воле была долгим и (как это бывает, когда спят тревожно) абсурдно-логичным сном, правильным, но основанным на ложных посылках, наподобие бреда у некоторых душевнобольных. Ложной посылкой было освобождение. Он лежал, но не в хижине Швабры Анисимовны или как там звали полусумасшедшую хозяйку, а на нижних нарах, что было большим преимуществом, так как то и дело приходилось бежать в сортир. Там он сидел, уцепившись за что-то, на корточках, на дощатом помосте с круглыми дырами, тужился, стараясь выдавить из себя весь свой кишечник, но выходил лишь плевок кровавой слизи, и так продолжалось день и ночь, двое или трое суток, он потерял счёт дням, не мог идти пешком с партией больных, его везли на подводе, это был долгий марш ходячих и лежащих от зоны до станции, в темноте следом за ними влачился усталый конвой, тебя втащили в вагон, где за решёткой тамбура сидели у железной печки два других конвоира, везли свой народ по лагерной ветке до станции с древним раскольничьим именем Колевец, на больничку. Там он и умер от токсической дизентерии и был свезён на поля захоронения, и некий голос шепнул ему: сучий потрох, ты и на том свете будешь жить в Унжлаге. А в барачной секции, в тумбочке между нарами осталась лежать его толстая рукопись опоздавшего пассажира. Задача, следовательно, в том, чтобы переправить её за зону, а там и на волю.

Кого-то надо просить. Тут он спохватился, что всё ещё едет. Пустой вагон гремит на стыках, огни туннеля несутся за тёмным стёклом, где смутно маячит его отражение, два солдата в зелёных бушлатах, в шапках рыбьего меха качаются в тамбуре перед погасшей печкой. Да, сказал он себе, хронология в самом деле есть мнимость.

XXXVII

Всё, что не разрешено, — запрещено

22 февраля 1957

Кто-то дёргал за ручку. Это не могли быть *они*. Скорее какой-нибудь сосед... подосланный стукач. Кто-то пытался к нему проникнуть.

Хрустнула ржавыми суставами дверь. Явился некто. Она стоит на пороге. Оба уставились друг на друга. Наконец, она спросила: «Ты кто?»

Что он мог ответить?

«Я здесь живу».

«Что ты тут делаешь?»

Писатель скосил глаза на бумаги, на книжку, пожал плечами. Она приблизилась.

«Что ты читаешь?»

«Книгу, — сказал он. — Вот. Ты ведь умеешь читать?»

Подумав, гостя ответила:

«Это не по-русски».

Есть такая страна, объяснил он, Франция.

«Ты приехал оттуда?»

«В некотором смысле — да».

«Как тебя зовут?»

«А тебя?»

«Не скажу».

«Ну и я не скажу».

Помолчали.

«Швабра Анисимовна — твоя бабушка?»

Да, так, кажется, звали сумасшедшую старуху. Не ответив, девочка повернулась и выбежала из комнаты, оставалось вновь пожать плечами.

Через минуту она вернулась с огромным ломтём хлеба, намазанного повидлом. Оба стали есть, откусывая по очереди.

«Вытри руки, — сказал писатель, когда хлеб был доеден. — И на платье накапала. Нельзя быть такой неаккуратной».

Он добавил:

«Что же ты стоишь?»

Снова молчание, девочка ёрзает на табуретке, устраиваясь поудобней.

Она сказала:

«А я тебя ждала».

«Вот как. Почему?»

«Потому что ждала». Ответ, не лишённый логики.

«Почему же ты думала, что я приеду?»

«Я знала, что ты вернёшься».

«По правде сказать, — заметил писатель, — я в этом не был уверен».

«В чём?»

Он был непонятлив, ей пришлось повторить вопрос: в чём он не был уверен?

«Что я вернусь».

«Понимаю. Ты хочешь снова туда уехать».

«Как тебе сказать...»

Ему хотелось ответить — да, уехать, но не «туда», а прочь, назад, в детство. Но разве это так трудно? Дух тридцатых, предвоенных лет витает в комнате с топчаном и щелястым полом, и вы оба ровесники.

*Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi*¹.

Листаешь пожухлый томик, некогда принадлежавший Анне Яковлевне. Та самая книжка, которую разглядывал милиционер на вокзале, вместе с тобой она тянула лагерный срок. Её прислала мать по просьбе Анны Яковлевны. А должно быть, когда-то мерцала золотыми буквами на корешке, за стеклом, в дубовом шкафу, в сторевшем особняке Тарнкаппе.

«А это что?» — девочка показала на бумаги.

«Это секрет».

«Почему?»

«Если об этом узнают, мне снова придётся уехать».

Твои акции заметно повысились. У собеседницы заблестели глаза.

«Ну, хорошо, — сказал писатель, — пусть это будет наш общий секрет. Клянёшься, что никому не скажешь?»

Она усердно кивает.

«Всеми страшными клятвами».

Она поклялась всеми страшными клятвами.

«Теперь пойдй посмотри, не подслушивает ли кто».

Девочка сползла с табуретки. На цыпочках приблизилась к двери, выплянула в сени.

«Бдительность, — изрёк писатель, подняв палец. — Бдительность прежде всего». Он перебирал исписанные листы. Признаться, он был несколько взволнован.

Решительно ничего необыкновенного не произошло в этот бледный, анемичный день, в позднюю пору обветшалой зимы. Но ты чувствуешь: настал исторический час. Писатель, у которого появился хотя бы один слушатель, — это уже совсем не то, что писатель без слушателей и читателей. Разоблачить себя, свой тайный порок, стукнуть себя в грудь, объявить всенародно, — хотя бы народ был представлен семилетней девчушкой, — чем ты, собственно говоря, занимаешься.

Как если бы он оставил своё переодетое «я» в костюмерной, съёр с лица грим, вышел на подмостки, и все увидели, кто он такой на самом деле. Как если бы не умеющего плавать посадили в утлую лодчонку без весёл; как если бы слушатель, которому ты доверился, осыпал тебя похвалами. И — побежал докладывать.

Всё, на что нет специального разрешения, запрещается. Если что-нибудь не запрещено, это не значит, что разрешено. Всё, что делается самовольно, есть преступление.

Впрочем, если бы это не было преступлением, не стоило бы писать. Оригинальная логика, не правда ли?

¹ Уже много лет для меня ничего не существовало в Комбре, кроме подмостков и самой драмы моего отхода ко сну. (*Пруст*, пер. Н.Любимова).

Он всё ещё перебирает листки.

«Здесь эпитафия, но мы его не будем читать...»

Он откашлялся.

«Некогда в тридевятом царстве...» — остановился и взглянул на девочку.

«Это такая сказка?»

«Отчасти».

«Некогда в тридевятом царстве, в переулке у Красных Ворот жила Анна Яковлевна Тарнкаппе. В те времена уже никаких ворот не существовало. Не было деревьев на Садовом кольце, смутно помнится Сухарева башня, слышатся звонки трамвая на Мясницкой, маячит керосиновая лавка на углу проезда. От особняка, где родился Лермонтов, не осталось следа».

«Ну как?» — спросил он. Ответа не было, девочка сучила ногами, ёрзала на своей табуретке, упираясь ладонями в деревянные рёбра, не спускала с него глаз. Сейчас, подумал он, прыгнет и убежит.

«Как тебе эта проза?»

«Зато в переулке за последние сто лет, кажется, ничего не менялось. Поэтому не следует удивляться, если история, о которой однажды тебе поведала Анна Яковлевна...»

«Мне?» — спросила девочка.

Он помотал головой.

«А кому?»

«Не знаю. Дальше будет видно».

«Поэтому не следует удивляться случаю, который произошёл... случаем, о котором...»

«Поэтому не приходится удивляться...»

Писатель испустил тяжёлый вздох.

«Нет, — сказал он угасшим голосом, — это невозможно».

Схватил вставочку и вперился в исписанный лист.

«Понимаешь, так писать не-воз-мо-жно!»

«А как?»

«Гм. Если бы я знал...».

Не дождавшись внятного ответа, она спросила, кто это.

«Анна Яковлевна? Была такая... дальше всё становится ясно. Она живёт в коммунальной квартире. То есть её уже давно нет!»

«Кого нет?» Дети не устают задавать вопрос за вопросом. Этого требует ритуал беседы. Но в самом деле, кого нет: Анны Яковлевны или квартиры?»

Писатель отшвырнул перо, взбил поредевшие волосы на голове,

«Анны Яковлевны. В этом всё дело: она одновременно здесь и там».

«Где — там?»

В другом времени, хотел он сказать, неужели непонятно? Ему стало легче при упоминании об Анне Яковлевне. Он даже немного развалился, если допустить, что можно развалиться, сидя на табурете.

«Вообще-то всё так и было. За исключением того, что выдуманно».

Значит, спросила девочка, это сказка?

«В некотором роде, да. Но я говорю тебе, что если не считать того, что я придумал, всё остальное правда. Мне было тогда немного больше, чем тебе. И вот теперь мне кажется, что, например, этот визит, ночью, когда он приехал на извозчике, мнимый, а может, и действительный родственник, я тебе сейчас прочту, — вот это, мне кажется, как раз не фантазия».

Il en est ainsi de notre passé. C'est peine perdue que nous cherchions à l'évoquer, tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa portée, en quelque objet matériel (en la sensation que nous donnerait cet objet matériel), que nous ne soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du hasard que nous le reconstruons avant de mourir, ou que nous ne le reconstruons pas¹.

«Если ты будешь слушать внимательно, — торжественно сказал писатель, — я посвящу этот роман тебе».

XXXVIII

Легка на помине

Всё ещё 22 февраля

Он прислушался, что-то вновь происходило за дверью.

«Подслушивают, — прошептал он, — я так и знал».

Это был скрип колёс.

«О! — воскликнул жилец, — вот это да! Вот так номер».

Кресло-качалка застряло в дверях, ворочалось так и сяк, наконец, удалось протиснуться. Доктор медицины Арон Каценеленбоген, пятясь, вкатил кресло спинкой вперёд, развернул, сморщенное личико показалось из-за подлокотников, сильно состарившаяся Анна Яковлевна, подняв ветхую аристократическую ручку, приветствовала жильца.

Что касается доктора, то он выглядел, как всегда, импозантно. Однако заметно похудел.

¹ Вот так же обстоит и с нашим прошлым. Пытаться воскресить его — напрасный труд, все усилия нашего сознания тщетны. Прошлое находится вне пределов его досягаемости, в какой-нибудь вещи (в том ощущении, какое мы от неё получаем), там, где мы меньше всего ожидали его обнаружить. Найдём ли мы эту вещь при жизни или так и не найдём — это чистая случайность. (*Пруст*).

«Всё бывает, — молвила Анна Яковлевна, отвечая на безмолвный вопрос писателя, — представь себе: всё бывает. Даже то, чего не бывает...»

Она поглаживала тощую седовласую обезьянку у себя на коленях.

«Не так-то просто было тебя разыскать, — заметил доктор. — Забраться в такую дыру — это надо уметь».

«Но я вижу, ты не забыл язык, это меня радует», — поглядывая на стол, сказала Анна Яковлевна.

«Это ваша книга...»

«Можешь оставить её у себя. Она мне не нужна... Кто эта девочка, твоя дочь?»

Девочки след простыл. Может быть, оттого, что она родилась, когда вас уже не было на свете, думает писатель. Несовместимость времён.

«Да, мы не виделись тысячу лет. Как ты жил эти годы? — Она оглядывала убогое жильё, покачивала маленькой лысеющей головой. — Кажется, ты не слишком преуспел в жизни... или я ошибаюсь? Господа, помогите мне выбраться».

Вдвоём подхватили старушку, усадили на табурет, где перед этим сидела юная слушательница. Доктор Каценеленбоген опустился в освободившуюся каталку. Подняв остатки некогда соболиных бровей, Анна Яковлевна поглядывает на стол, на исписанные и исчерканные страницы.

На ней длинное тёмное платье, вязаная кофта, она встряхивает перед ухом спичечным коробком, как бывало, и, конечно, ни одной спички не осталось; доктор, приподнявшись, протягивает ей факел зажигалки. Запах бензина, дивный аромат дешёвых папирос. Мальчик ёрзает на диване, убедительная просьба не забираться с ногами! Всю зиму снег свозили из переулка во двор, снег стоит горой в венецианском окне, в комнате бело, в углах за комодом справа икона, слева — да, конечно: нагая дама никак не может выбраться из бокала.

Дым тонкой струйкой вытекает из увядших уст Анны Яковлевны. Чёрный дым вылетает толчками из прямоугольной трубы крематория. Кто это изготавливает такие скверные папиросы?

«Дукат, — сказал писатель, — по-моему, фабрика существует до сих пор».

«Странно. Ведь дукат — это от слова ducatum. Ты куришь?»

«В лагере курил. Махру».

«Qu'est-ce que c'est que cette махра?»

«Махорка», — пояснил доктор Каценеленбоген.

«Ну, рассказывай, я хочу знать».

Что рассказывать? О чём? Писатель пожимает плечами.

«Когда вы вернулись?»

«Я один вернулся. Сбежал из эвакуации».

«Да, да, конечно... память, память стала никуда», — кричит Анна Яковлевна и кивает сморщенной старушечьей головой.

«А мама в конце войны».

И так как за этим должен последовать другой вопрос, он объясняет: Донской монастырь. Недалеко от...

«От меня, — сказала Анна Яковлевна, — можешь не стесняться. А твой отец?»

«Мой отец пропал без вести. Зимой сорок первого».

«Да, да, — вздыхает она. — Страшная зима. Не правда ли, доктор?»

«Вы правы, дорогая, — сказал доктор Каценеленбоген. — Зима была ужасная. Хотя лично я до неё не дожил».

«Немцы всё ещё в России?»

Доктор Каценеленбоген дипломатично кашлянул.

«Э! э! э! — вскричала Анна Яковлевна. — Софи! Не смей!.. Она не выносит папиросного дыма».

Совершив в воздухе дугу, голая и тощая, того особенного цвета, который напоминает покрытый плесенью шоколад, обезьянка плюхнулась на стол.

«Софи, назад!» — громыхнул доктор, но было поздно. Раскорячившись на столе, высоко подняв загнутый кренделем хвост, Софи выдала из себя комок и ещё один комок.

«Ужас, — пробормотала Анна Яковлевна, — что за воспитание...»

«Софи! и тебе не стыдно?» — внушительно сказал доктор Каценеленбоген.

«Для библиотеки», — пропищала Софи, показывая чёрной лапкой на запачканную, поруганную рукопись.

«Какой ещё библиотеки?»

«В Козловском переулке, в уборной».

«Боже мой, откуда ты знаешь о Козловском переулке, тебя ещё не было на свете...»

«Ничего, я сейчас уберу», — бормотал писатель.

Он явился с железным совком для выгребания золы из печки, молча стряхивал жёлто-коричневые колбаски с рукописей.

«Поди прочь, не хочу с тобой разговаривать, — говорила Анна Яковлевна. Хулиганка снова сидела у неё на коленях. — Я тебя больше не люблю...»

Наступило неловкое молчание.

«О-о... моя спина. Не могу сидеть на этих табуретках. Доктор, отчего у меня болит спина?»

«Это позвоночник. Возрастные изменения».

«И вы ничего не предпринимаете!»

Доктор Каценеленбоген втянул воздух в широкие волосатые ноздри.

«Вообще, что это за манера сваливать всё на возраст. Я была не такой уж старой!»

Удивительные вещи происходят, а впрочем, так и бывает, когда после долгой разлуки ужасаешься, до чего изменился человек, а потом ви-

дишь, что он всё такой же. Доктор, конечно, сильно сдал за эти годы, но вот прошло каких-нибудь четверть часа, и перед нами прежний доктор Каценеленбоген, медицинское светило Куйбышевского района, величественный, массивный, с перстнем на пальце, с собственной практикой, которую он сумел сохранить в почти уже построенном обществе социализма, с вывеской у входа в прекрасный старый дом на Чистых прудах.

София, доктор тянет губы к мясистому носу, приподнимает седую бровь.

Анна Яковлевна:

«Прекрасно знаю, что вы хотите сказать. Что присутствие врача — само по себе терапевтическое мероприятие. Mon Dieu! сколько можно повторять одно и то же».

Она вновь покоится в кресле; правда, это уже не старое, верное кресло из комнатки-кельи в Большом Козловском. Анна Яковлевна восседает в инвалидном кресле-каталке.

«Совсем дырявая память! — вздыхает она. — Я ведь знала, помнила, как вы с мамой вернулись из эвакуации... (Писатель не возражает.) А ты, если не ошибаюсь, поступил в университет?»

«Не ошибаетесь».

«Не хочу мучить тебя бестактными вопросами, ты уж прости меня. Ты, кажется, снова уехал... надолго?»

«Уехал... на северо-восток».

Доктор Каценеленбоген заметил, что пребывание в здоровом северном климате имеет свою положительную сторону.

«Это верно», — сказал писатель.

Анна Яковлевна спрашивает, отчего он не живёт в их квартире, и снова ничего не остаётся, как в ответ пожать плечами.

«Извини мою назойливость, я не совсем понимаю. Но меня интересует. Чем ты всё-таки занимаешься? На что ты живёшь?»

«Я занимаюсь... — пробормотал он, — вы же видите». (Кивок в сторону стола.)

«Je m'y attendais... я так и подумала. Удаётся что-нибудь зарабатывать?»

«Для этого надо печататься».

«Я могу похлопотать, — сказал доктор Каценеленбоген. — У меня сохранились кое-какие связи».

Писатель поблагодарил. Анна Яковлевна возразила:

«Дорогой мой, вы меня просто изумляете. Какие связи?! В вашем положении... я хочу сказать, в *нашем* положении».

Она умоляюще взглянула на писателя, украдкой постучала пальцем по лбу.

«Что касается заработка, — продолжал он, — я работаю. Вернее, работал. Она меня устроила».

«Эта женщина?»

«Ну да. Ваша племянница».

«Господи, какая она мне племянница. Седьмая вода на киселе. Скажи мне... (понизив голос) ты с ней в близких отношениях?»

«В общем, да».

Доктор Каценеленбоген изобразил на лице понимающую мину.

«Она тебя любит? Почему ты на ней не женишься?»

«Дорогая, почему молодой человек непременно должен...»

«Доктор, молчите. Я знаю, что вы хотите сказать».

«О женитьбе не может быть речи, — сказал писатель. — Мы принадлежим к разным этажам общества».

«Но ты выражаешься прямо как в старорежимные времена! Что ты хочешь этим сказать?»

«То, что сказал».

«Но ты её любишь?»

Писатель взглянул на Анну Яковлевну ничего не выражающим взглядом, посмотрел на рукопись со следами безобразия. Вопрос застыл на сморщенном личике Анны Яковлевны. Доктор Каценеленбоген обнаружил в нагрудном кармане пиджака сигару и занялся раскуриванием.

«Я не могу любить, — помолчав, сказал писатель. — Это свойство во мне убито».

«Что ты говоришь! Человек не может существовать без любви».

«Очень даже может».

«Я бы хотела знать, что ты пишешь: рассказы, романы?»

«В этом роде».

«В моё время считалось, что романов без любви не бывает. Слово роман, собственно, и означало любовную связь. Как можно писать роман и не иметь представления о том, что такое любовь! — Писатель молчал. — Что же вас связывает?»

«Что связывает... — Он усмехнулся. — Вероятно, постель».

«Немаловажный фактор», — заметил, выпуская дым, доктор Каценеленбоген.

«Доктор, не пытайтесь изобразить из себя циника. Вам это совершенно не к лицу!»

«А также благодарность, — продолжал писатель. — Она приняла во мне большое участие. Не оттолкнула меня. Вам, может быть, неизвестно, что значит вернуться оттуда... Люди шарахались от меня как от привидения. А она... И кроме того... вы спросили, что нас связывает...»

«О! — и Анна Яковлевна всплеснула руками, сокрушённо закивала. — Так я и знала! Подтверждаются мои самые худшие предположения. Вы слышите, доктор, они вместе курят опиум!»

«Не опиум, — сказал писатель. — Теперь опиум не курят».

«А что же курят?»

«Ничего. Теперь колотся».

«Колотся, чем? Ах, впрочем, всё равно... Доктор! Вы медик, и вы молчите?»

Доктор Каценеленбоген отложил в сторону сигару.

«Я бы хотел взглянуть, — проговорил он. — Ну-ка, засучи рукав, живо. М-да. Совершенно верно. Именно так. Часто?»

«Нет, не часто», — сказал писатель.

«Что касается Валентины, от неё всего можно ждать, — со вздохом сказала Анна Яковлевна. — До чего мы дожили. Так что же это за работа, которая даёт тебе возможность проживать в этой избе?»

«Возможность проживать мне предоставляет милиция», — ответил писатель.

«Позволю себе заметить, — вставил доктор, — что нам с трудом удалось тебя разыскать».

«Я посудомой... бывший. Мыл посуду».

Он попытался объяснить, что в столице развёрнуто большое строительство. Помнит ли Анна Яковлевна, где находилась Калужская застава? Так вот, ещё дальше. Там огромная гостиница. Горы посуды с остатками яств.

«Представляю себе, что это за яства. Значит, это она тебя устроила? Вероятно, она там занимает высокую должность».

«Горничная».

«Как! — удивилась Анна Яковлевна. — Я не понимаю. Ты говоришь, вы принадлежите к разным социальным слоям. Если она всего-навсего горничная, обыкновенная *femme de chambre*... разве расстояние между вами так уж велико?»

«Простите, Анна Яковлевна, — сказал писатель. — *Je craindrais d'offenser vos oreilles*¹».

«Но я хочу всё знать о тебе! Валентина меня не интересует. Если я спрашиваю, то лишь потому, что ты связан с ней...»

«Мы всё хотим знать», — сказал доктор Каценеленбоген.

«В обязанности горничной входит обслуживание гостей».

«Угу. Обслуживание? — задумчиво переспросила Анна Яковлевна и опустила глаза на уснувшую обезьянку, та была удивительно похожа на Анну Яковлевну. — Должна сказать, что в моё время в борделях подвизались более привлекательные девушки... Да, но... ты сказал, что работал. А сейчас?»

«Сейчас не работаю».

«Понимаю. Ты узнал, кто она такая, и уволился».

«Не совсем так. Дело в том, что её покровитель... одним словом, там произошла неприятная история, меня стали тягать, и я подумал, что мне лучше уйти».

¹ Боюсь, что это не для ваших ушей (*фр.*).

Анна Яковлевна тяжело вздыхает. Я устала, говорит она. Анна Яковлевна всматривается в писателя. Ни тени осуждения в её взоре, лишь горечь и сострадание.

«Как же ты опустился, бедный мой мальчик...» — пробормотала она.

Писатель лежал на топчане, какая глупость, думал он. Надо было расспросить её. Уточнить подробности, которые так нужны. Откуда взялась эта картина — голая девушка в бокале. Что стало с соседями, куда они делись. Что произошло с самой Анной Яковлевной. Тысяча вопросов.

Дым её папироски всё ещё стелился в воздухе. Витал аромат докторской сигары. Всё забывается. Он дал ей просто так исчезнуть.

Но не для того ли она явилась, чтобы напомнить?..

Он встал, засунул руки в карманы холстинных штанов, взад-вперёд он рассказывает по своей манере¹, уставясь в щербатый пол. Встряхнуть жестяную лампу, есть ли ещё керосин. Писатель сидит за столом, отупело перелистывает бумаги.

XXXIX

Вдвоём. Смуглая Венера

Назад: 31 декабря 1956

1

У всех пациентов независимо от вида употребляемого снадобья наблюдались аффективные нарушения. В течение длительного времени у них преобладал неустойчивый, часто сниженный фон настроения. У большинства отмечались повышенная возбудимость, истероподобные формы реагирования, эмоциональная лабильность. Периодически возникало чувство враждебности и агрессивности к окружающим.

«Ну и что?» — спросила она.

У 61% больных возникали: страх перед будущим из-за отсутствия уверенности в том, что они смогут удержаться перед соблазном очередного употребления препарата, страх покончить с собой — вскрыть вены, повеситься, выпрыгнуть из окна.

«Тут первый этаж, тут не выпрыгнешь».

«Есть другие способы».

¹ халупе.

«Ты что, струсил? Небось там уже пробовал».

«Там? — Он усмехнулся. — Ты не представляешь себе, что — там».

Она напевает:

Новый год, порядки новые... Колючей проволокой лагерь окружён.

«Ого. Это ты откуда набралась?»

«Ниоткуда».

Она напевает знаменитое танго: «Брызги шампанского».

«Кругом глядят на нас глаза суровые. Ля-ля, ля-ля, тара-тата, тара-тата. Не пробовал, так попробуй. Надо же когда-нибудь».

«Ты так думаешь?»

«Я так думаю. Я что тебе скажу — вся жизнь становится другой. Потом поймёшь: без этого жизнь не в жизнь. А насчёт здоровья, это всё больше разговоры. Мало ли что там написано. Вот я: что я, больная, что ли. Я себе сейчас сделаю, ты посмотришь. А потом тебе. Дурачок, я же тебя люблю, если бы не любила, никогда бы не узнал. Разве по мне что-нибудь видно? Здоровью не вредит, это только так запугивают».

«Всё ясно», — сказал писатель.

«Да хотя бы и вредило — что нам терять? Всё равно до старости не доживём. Эх, милый. Да если б не штоф...»

«Штоф».

«Ну да. Он живой, а ты не знал? Спит в ампуле, всё равно как ребёнок в материнной утробе. Ты его впусти в кровь, он проснётся. Что я хочу сказать. Если бы не он, я бы давно уже лапти откинула, ручкой махнула бы всем вам».

«Кому — вам».

«Мужикам. Давно бы себя порешила».

«Откуда это у тебя».

«Оттуда. Нечего спрашивать. Откуда у всех. Чего это я разболталась. Давай... Главное, соблюдать стерильность. А то занесёшь какую-нибудь заразу. Чужим шприцом ни в коем случае, и свой никому не давать. Можно просто в бедро, поглубже. Но самое лучшее вот так. Сначала прокипятить. Потом жгут. Баян обязательно сполоснуть, дистиллированной водой, я специально в аптеке покупаю».

«Баян?»

«Да что ты, первый раз, что ли, слышишь. Вот; во-о-от... Теперь подождать немного. Сейчас начнёт забирать. Сперва как будто съезжаешь куда-то».

«На тот свет».

«Скажешь ещё».

Она молчит, медленно дышит.

«Да на том свете, если уж на то пошло, лучше, чем на этом. Когда-нибудь увидим. А потом поднимаешься. Выше и выше. О-о... Ну, давай. Вместе, так вместе. А насчёт того-этого...»

«Насчёт чего?».

«Ладно притворяться-то. Не понимаешь, что ли? Насчёт того, что стоять не будет. Это всё сказки».

«Откуда ты знаешь?»

«Знаю. Ну давай, не ленись. Засучи рукав. От дозы зависит. Если свою дозу знаешь, то ничего не будет, даже наоборот. Ещё как захочется. Ты меня ещё не распробовал как следует. Небеса увидишь, в раю побываешь. А если просто так хочешь расслабиться, успокоиться, то надо немного увеличить. А вообще с дозами осторожней. Можно и до галиков доколоться. До галлюцинаций. Со мной однажды было, как-нибудь расскажу. Смех один... Бери жгут. Сам, сам. Ну, у тебя веняк хороший. Протереть; вот спирт. Ваткой, говорю, протри. Теперь смотри, берёшь пилку. Ампулу надпилишь вот здесь, где узко, потом просто щёлкнуть пальцем, раз! Теперь насосать».

«Это нам известно».

«Ну, и прекрасно. Медленно, не торопись. Нам спешить некуда. Там всё равно раньше одиннадцати не начнётся. Теперь, как только кровь появится, распусти жгут. Толкай поршень, пальчиком, до конца, до конца-а-а, чтоб ни капли не пропало. А теперь быстро вынуть, и ваткой. Руку согни в локте. Сперва станет тепло в животе. Чувешь? Ещё подождать... пока врубишься в кайф. Тут, милый, целая наука. Голову только не надо терять. А то, хочешь, ежа как-нибудь попробуем».

«Ежа?»

«ЛСД. Психоделик. Самая сейчас модная штука. В другом мире окажешься».

«Ты пробовала».

«Было дело».

«И что же?»

«Да так, не понравилось. И опасно, стебануться можно в два счёта».

«Нам пора, Валя».

«А, успеется».

2

Здравый смысл говорит нам, что все земное мало реально и что истинная реальность вещей раскрывается только в грезах. Люди ограниченные сочтут странным и, быть может, даже дерзким, что книга об искусственных наслаждениях посвящается женщине — самому естественному источнику самых естественных наслаждений. Но нельзя отрицать, что, подобно тому как реальный мир входит в нашу духовную жизнь, способствуя образованию того неопределимого сплава, который мы называем нашей личностью, — так и женщина входит в наши грезы, то окутывая их глубоким мраком, то озаряя ярким светом.

«Была такая. Мулатка по имени Жанна Дюваль».

«Мулатка?»

«Ну да. Белый отец и чёрная мать. Или наоборот. Чёрт её знает, откуда она явилась. С островов».

«Чёрные, они горячие».

«Глаза, как угли. Полуведьма, полубогиня. Приучила его к гашишу. Лживая, невежественная».

Она мрачнеет.

«Ты хочешь сказать, как я?»

Он разводит руками.

«Нет, ты скажи правду».

«Валя, — промолвил он укоризненно. — Приди в себя».

«Покажи книжку. Господи, а это ещё откуда?»

«Ниоткуда. Это книжка Анны Яковлевны. Бодлер... был такой поэт».

«Опять эта Анна Яковлевна. Вечная Анна Яковлевна».

Итак, вот перед вами это вещество: комочек зеленой массы в виде варенья, величиной с орех, со странным запахом. Вот источник счастья! Оно умещается в чайной ложке. Вы можете без страха проглотить его: от этого не умирают. Впоследствии слишком частое обращение к его чарам, быть может, ослабит силу вашей воли, быть может, принизит вашу личность; но кара еще так далека! Чем же вы рискуете?

«Ну как, забирает? Погляди на себя в зеркало».

«Ух ты».

«Чешется? Ничего, пройдёт. Ты лучше приляг. Я говорю, голову не надо терять. И меру знать. А то загудишь. Подвинься маленько. Ничего не будем делать, полежим просто вдвоём... Я тогда совсем девчонкой была».

«Когда?»

«Когда тебя взяли. У меня ведь никого нет. Отца вовсе не было, фамилию его ношу, а кто он был? Сделал своё дело и сбежал. Может, на фронте убили. С матерью тоже, знаешь, большой любви не было. Ну вот. Уговорил меня кто-то поступить в театральную студию, была такая при Еврейском театре».

«Ты разве еврейка?»

«Да какая там еврейка. Мне сказали, там и русских берут. Я, по правде сказать, евреев на дух не переносу. А вот так получилось. Я в школе в драмкружке была. У нас там был руководитель, артист или кто он там, он меня чуть было — ну, в общем...»

«Чуть было».

«Ну да. Он ко мне и так, и сяк. Потом потерял терпение и говорит: почему ты мне не даёшь? А я только смеюсь. Женитесь, говорю, на мне, тогда и е...те сколько хотите».

Молчание.

Мне вообще в жизни везёт. Ну, и внешность, конечно, играет роль».

«А я?» — спросил писатель.

«Что — ты?»

«Я тоже на тебе не женился».

Она усмехнулась. «Куда тебе. — Помолчав: — Милый, когда ж это было. Это я тебе про старые времена рассказываю. Ты другое дело. Я ведь тебя люблю...»

«А тех не любила?»

«Ну, это по-разному. Любила, не любила, тебе-то что».

«Ты говоришь, поступила в еврейскую студию».

«Ну да; была уверена, что не возьмут. И, представь, прошла по конкурсу. Прочитала что-то там, потом ещё этюд. Как ты, например, будешь себя вести в парикмахерской. Ну вот; а месяца через два, только начались занятия, всю эту лавочку прикрыли, кого-то там арестовали, уж не знаю, чем они там занимались. А другим просто под зад, и катись, вообще весь театр разогнали. Я, можно сказать, на улице очутилась. Домой возвращаться не могу. Какой у меня дом. Мамаша с кем-то там связалась».

«Ты что-то пугаешь. Еврейский театр, на Малой Бронной, — ведь его разогнали уже после войны».

«А я что говорю?».

«Ты была в театральной студии, когда я тебя первый раз увидел. Анна Яковлевна была больна. Я хорошо помню. Ты стояла спиной к окну».

«Ну и что?»

«А то, что это было ещё до войны».

«Сам ты пугаешь. Это тебя забирает, вот ты и несёшь. Анна Яковлевна... А чего Анна Яковлевна. Она ведь мне никакая не родня. Мне мама говорила: разыщи Анну Яковлевну. Будто бы бабка у них в услужении была. Моя бабка».

«У кого?»

«У них — у фон-баронов. Ну вот; что я рассказать хотела. Осталась, можно сказать, у разбитого корыта. Да ещё с пузом. То есть ещё не с пузом, но уже».

«Вот как».

«Я там в студии сдуру связалась с одним. Короче, хоть в петлю лезь. Если б не Алексей Фомич, не знаю, что бы со мной было. Он меня, можно сказать, подобрал».

«А ребёнок?»

«Не было никакого ребёнка, освободилась, и всё. Он тогда ещё не был таким большим начальником».

«Алексей Фомич?»

«Век буду ему благодарна, Бога за него молить. Господи, ты что думаешь, я с ним живу? Ну, бывает иногда, пожалеешь его по-бабьи. У него семья, на Урале где-то там. Я уж не знаю, что там у них, жену он не любит, вот и ездит в Москву то и дело. Говорит, что из-за меня приезжает. Он даже мне предложение сделал, говорит, брошу всё... Он вообще-то большая шишка, ну и связи, конечно, сам понимаешь».

«Что же ты?»

«Не знаю. Не судьба, наверное».

«Но ты с ним живёшь?»

«Да не живу я. Это не считается. Не люблю я его как мужчину. Ну, пожалеешь иногда».

«Это когда ты бываешь на дежурстве?»

«Всё тебе надо знать».

«Чем же он тебе не угодил?»

«Чем, чем. Чем мужик может не угодить? Не получается у нас с ним. Только-только разожгусь, а уж он спустил».

«Это оттого, что он тебя любит».

«Может, слишком любит».

«Постой, — сказал писатель, — там кто-то стоит. Дай-ка я погляжу...»

«Лежи. Не обращай внимания»

«Это он за нами приехал?»

«Я говорю, не обращай внимания. Как настроение?»

«Превосходное. Много там будет народу?»

«Не знаю. Много. Сколько сейчас времени? Хватит валяться. Я тебе новый галстук купила».

«Алексей Фомич знает?»

«Что я колюсь? Знает, а как же».

«Я не об этом. Что мы с тобой... Ещё приревнует».

«Ну и пусть ревнует. Что я хотела рассказать. Был у меня один в студии».

«Тот самый?»

«Который?.. Нет, не он... Вообще-то ко мне многие клеились. Ты как, ничего? Сейчас расскажу, и поедем. Я гордая была. Мальчик был один. Нежный такой, как куколка. Нежный и грустный. Вот мы раз сидим у него, отец был какая-то важная птица, отдельная квартира, всё такое, у него была своя комната. Сидим, он говорит: хочешь попробовать. Я думала, он меня сейчас раздевать начнёт. А может, он и в самом деле думал, что я под балдой ему отдамся. Делаю вид, что ничего не понимаю. Я тебя научу, говорит, это так приятно. Если бы не наркотик, я бы руки на себя наложил. Что ж так, говорю. А вот так. Я удивилась, с чего бы это, — такая жизнь, дом — полная чаша, мощные родители, ни в чём нет отказа. У них и дача была, и прислуга. Кругом, говорю, люди голодают. Инвалиды с протянутой рукой, ты сходи — я говорю — как-нибудь на вокзал. Или к «Метрополлю», там девчонки продаются за ку-

сок туалетного мыла. И знаешь, что он мне ответил? Я без двух вещей не могу жить. Без каких это вещей? Без этого и без тебя. Он совсем ничего не умел. Я у него первая была».

3

Viens sur mon coeur, âme cruelle et sourde,
Tigre adoré, monstre aux airs indolents;
Je veux longtemps plonger mes doigts tremblants
Dans l'épaisseur de ta crinière lourde;

Dans tes jupons remplis de ton perfume
Ensevelir ma tête endolorie,
Et respirer, comme une fleur flétrie,
Le doux relent de mon amour défunt.

Je veux dormir! dormir plutôt que vivre!
Dans un sommeil aussi doux que la mort,
J'étalerai mes baisers sans remords
Sur ton beau corps poli comme le cuivre.

Pour engloutir mes sanglots apaisés
Rien ne me vaut l'abîme de ta couche;
L'oubli puissant habite sur ta bouche,
Et le Léthé coule dans tes baisers.

A mon destin, désormais mon délice,
J'obéirai comme un prédestiné;
Martyr docile, innocent condamné,
Dont la ferveur attise le supplice,

Je sucerais, pour noyer ma rancœur,
Le népenthès et la bonne ciguë
Aux bouts charmants de cette gorge aiguë,
Qui n'a jamais emprisonné de coeur¹.

¹ Сюда, на грудь, любимая тигрица, / Чудовище в обличье красоты! / Хотя мои дрожащие персты / В твою густую гриву погрузиться. / В твоих душистых юбках, у колен, / Дай мне укрыться головой усталой / И пить дыханьем, как цветок завялый, / Любви моей умершей сладкий тлен. / Я сна хочу, хочу я сна — не жизни! / Во сне глубоко и, как смерть, благом / Я расточу на теле дорогом / Лобзания, глухие к укоризне. / Подавленные жалобы мои / Твоя постель, как бездна, заглушает, / В твоих устах забвенью обитает, / В объятиях — летейские струи. / Мою, усладой ставшую мне, участь, / Как обреченный, я принять хочу, / Страдалец кроткий, преданный бичу / И множачий усердно казни жгучесть. / И, чтобы смыть всю горечь без следа, / Вберу я яд цикуты благосклонной / С концов пьянящих груди заостренной, / Не заключавшей сердца никогда.

(«Цветы Зла», пер. А.Эфрон.)

«Ну вот; а теперь пора».
«Куда?» — словно просыпаясь, спросил писатель.
«Как куда? На бал!»

XI

Эротическая мобилизация. Встреча Нового года в гостинице «Комсомольская юность»

31 декабря 1956, 22 часа

Один и тот же мотив тонет и возвращается в сумятице звуков, в смене лет — о, если бы стала действительностью эта иллюзия музыкальной структуры, если бы ты мог придать своей жизни вид продуманной композиции! Но ведь и в самом деле всё повторяется. Такой же ослепительной, в роскошном платье, предстала когда-то глазам ребёнка ветхая Анна Яковлевна, собираясь на бал в московском Дворянском собрании. Наркотик превратил Валентину в царицу ночи. Чёрный омут глаз вбирал в себя свет огней и гасил волю всякого, кто заглядывал в них ненароком. В ушах дрожали хрустальные подвески, траурное ожерелье спускалось до ямки ключиц, мерцали фальшивые камни на худых пальцах, с неизъяснимо женственной, томной грацией нагие руки поднимались к затылку ощупать узел волос. Под тонкой завесой дышала её грудь, под платьем угадывались нервно подрагивающие бёдра, лениво покачивалась узкая спина, слегка откинутаая назад, угадывалось всё её тело и манило к себе, в прохладную тьму. Валя была похожа на восставшую из могилы красавицу.

Сбросить шубку на руки мопсообразного швейцара и, вперяясь в пространство чёрными опрокинутыми глазами, постукивая серебряными каблукками, через убранный еловыми гирляндами вестибюль — к зеркалам лифта. Уже отсижена торжественная часть в конференц-зале перед длинным столом президиума с лобастым гипсовым бюстом в глубине сцены, прослушан доклад, отхлопаны здравицы. Праздник перекочевал на шестой этаж. И вот они входят.

На столах, на свисающих до полу крахмальных скатертях ждут кортгы бутылок, кувшины с разноцветными соками, судки с заливными яствами, подносы с бутербродами, холмы мандаринов, сыры, хлебы и винограды; в сторонке скромно толпятся рюмки, блистают бокалы, высятся горки тарелок; одним словом, нечто новое, современное, называемое модным словом «шведский стол» — каждый подходит со своей тарелкой и набирай что хочешь, сколько хочешь.

Ах, всё это подождёт. Хватануть рюмку хрустальной, как слеза, экспортной какой-то «Посольской», откусить от бутербродов с икоркой, с

балычком, утереть пальчики снежной салфеткой, и — туда, в зал, где за шёлковыми гардинами, за чёрными запотевшими окнами тьма и россыпь огней великого города, в зал, сотрясаемый inferнальным весельем, бряцаньем какофонического оркестра, звериным воем и плачем истекающего липкой спермой саксофона. Кавалеры облапили дам, груди и животы прижались к мужчинам, и всё это сосредоточенно движется, топчется, колышется вокруг огромной разряженной ёлки. Как вдруг смолкает музыка, угасает люстра под потолком, полутьма наполняется шорохом ног, крутится бисерный шар, цветные огни летают по потолку, шныряют по волосам, по лицам, и над толпой взвываются, раскручиваясь, ленты серпантина. Пары сливаются в поцелуях, в жадных объятьях. Но не успевает что-либо произойти, как снова вспыхивает свет. Танго: ходуном ходят пиджаки мужчин с могучими подкладными плечами, раскачиваются бёдра женщин, качают коромыслом сцеплённых рук слившиеся в экстазе пары. Торжествует низкопоклонство перед загнивающим Западом.

Впрочем, это был стремительно устаревающий танец — вчерашний день. Нечто сверхсовременное явилось. Увы, всё тот же оболстительный, растленный Запад. Три гитариста в лазоревых одеяниях, в чёлках до бровей, согнувшись над плоскими, похожими на крышки стульчаков инструментами, вытряхивали бряцающие звуки, пристукивали носками узких заграничных туфель, изрыгали неразличимые слова, а сзади длиннокудрый мальчик в серьгах и кольцах, сидя на возвышении перед агрегатом медных тарелок, свистулек, больших и маленьких барабанов, неустанно работал руками и ногами, отбивал ритм.

В те времена стали распространяться особого рода радения. Поначалу их приняли за некоторую особую молодёжную субкультуру, это была ошибка. На самом деле их нельзя было назвать ни культурой, ни антикультурой, скорее они могли напомнить ритуальные оргии аборигенов тропических стран или сцены священного массового помешательства эпохи клонящихся к закату Средних веков. Речь шла о приобщении индивидуума к народной душе. Речь шла о новой соборности. Речь шла о коллективной истерии. Казалось, век двух мировых войн, неслыханных разрушений, кровожадных режимов, концентрационных лагерей отменил суверенную личность. Народился массовый человек. Новое поколение чувало запах обугленных тел, который источали гигантские крематории прошлого. Массовый человек жаждал забвения. Он искал вырваться из расчерченного и распланированного мира, бежать от кошмарных видений истории в рай безволия, погрузиться в водоворот грохочущей музыки и африканских ритмов. Были построены огромные, похожие на ангары, капища, где в ночном, лиловом и серебряном сиянии, в мелькающих огнях, на эстрадах, сжигаемые внутренним огнём, одержимые священным недугом, подпрыгивали жрецы нового культа. Гривастые исполнители, похожие на павианов, в ритуальных лохмоть-

ях, в амулетах на голой шерстистой груди, извивались, сгибались и разгибались, метались на помосте, терзали струны и потрясали крышками от стульчаков, полуголые певицы, увешанные побрякушками, исторгали истошное пение, с фаллосом-микрофоном у рта, как бы готовясь обхватить его жадными губами; над всем господствовал ритм. А внизу бесновалась толпа.

Вот почему не было неожиданностью, когда культовым певцом популярнейшего поп-ансамбля стал крупный гамадрил, иначе плащеносный павиан *Papio hamadryas*. Пластинки с его записями разошлись миллионным тиражом. Гамадрил был лауреатом конкурсов и обладателем огромного капитала. Вскоре сольные и коллективные выступления собакоголовых приматов, с их хриплыми, завораживающими голосами, развитым чувством ритма и способностью много часов подряд, с не доступной человеку изобретательностью выполнять ритуальные телодвижения, певцов-шаманов, виртуозно владеющих струнными и электронными приспособлениями, распространились широко по миру и составили серьёзную конкуренцию человеческим исполнителям. Однако это произошло позже, а у нас на календаре всё ещё пятидесятые годы.

Ночь. Выше нас только чёрное небо и огромные, на подпорках, расклённённые буквы над крышей гостиницы. Внизу, едва различимый, прочерчен цепочкой мертвенных фонарей широкий новый проспект. Ползёт, светится жёлтыми окнами последний троллейбус, бегут одинокие автомобили. Струится песок в космических часах, течёт слышное время...

Внезапно в гром и дребезг праздника вторгается репродуктор, и толпа в панике устремляется в соседний зал, к столам. Голос главного диктора, тот самый, нестареющий голос, некогда вещавший стране о победах, повергший в трепет сообщением о болезни вождя, декламирует новогоднее обращение к советскому народу. Официанты с деревянными лицами срывают станиолевую обёртку с чёрных запотевших бутылей. Доносятся клаксоны автомобилей с Красной площади. Гнусаво-торжественный перезвон, мерный бой курантов. Хлопают пробки, брызги пены орошают крахмальную скатерть, туалеты дам и костюмы мужчин. С Новым годом! С новым счастьем! За нашего дорогого! Всеми любимого!.. Иосифа Виссарионовича...

Какой тебе Иосиф Виссарионович? Иосиф Виссарионыч уже, так сказать, того. На небеси, тц-кать. За нашего дорогого Никиту Сергеевича! Нет уж, давайте, девушки, дружно, до дна.

Визг, хохот, и снова хлопанье пробок, и вот, несколько времени погодя, через час, через два, — кто знает, не остановилось ли время вместе с последним ударом башенных часов, с умолкнувшей мелодией гимна, — да и не всё ли нам равно, — с атласного дивана, где некто облепленный разудалыми, раскрасневшимися, утомлённо-возбуждёнными женщинами, пьяный, как зюзя, красивый, как гусар, полулежит, высоко

забросив модную туфлю, закинув коверкотовую брючину за другую брючину, третий или четвёртый секретарь какого-то там забайкальского обкома, — а в общем-то, хрен знает кто, — помавает огромным бокалом, и раздается сперва нестройное, а затем всё дружнее, а там и с других лежаков, с ковров и подоконников, нежно-бабье, мужественно-молодецкое пение.

Из-за острова на стрежень! На простор речной волны!

Ражий детина, могучий, полуголый, огненноглазый, в смоляных усах, в заломленной папахе, — легендарный Стёпка Разин поднимает на голых мускулистых руках трепещущую персидскую княжну.

И за борт её бросает! В набежавшую волну!

Что-то от удалой казацкой вольницы появляется в мужчинах, а женщины все как одна — персиянки.

Тоненькие голоса:

Саша, ты помнишь наши встречи? В приморском парке на берегу!

С другого дивана, мужественно-блудливо:

Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбёжка любая...

Откуда-то появился баянист — маленький, коренастый, в красной рубахе с расшитым воротом, в высоких, чуть ли не до пупа, сапогах, разворачивает дугой во всю ширь свой скрежещущий инструмент.

Маэстро, врежь! Брызги шампанского!

Сапогами — топ, топ, топ.

Новый год, порядки новые, колючей проволокой лагерь окружён.

И скрип баяна.

Кругом глядят на нас глаза суровые!

Мать вашу за ногу — это ещё что.

А чего — народная песня. Самая модная.

Народная-то она народная, только я бы не советовал.

Ладно, чего там. А вот я вам спою. Маэстро, классика: гоп со смычком!

Гоп со смычком, это буду я. Граждане, послушайте меня.

Эх, путь-дорожка! Фронтовая!

Ленинград, и Харьков, и Москва, ха-ха, знают всё искусство воровства, ха-ха!

Красная рубаха, чубчик прыгает над мокрым лбом.

Чёрный ворон около ворот. Часовые делают обход. Звонко в бубен бьёт цыганка, ветер воет над Таганкой. Буря над Лефортовым поёт!

Ночь. В большом зале на эстраде осиротевшие инструменты лежат на стульях, лазерево-серебряные пиджаки повисли на спинках стульев, изнурённые музыканты с лицами как маринованные овощи, подкрепляются за кулисами, трясут папиросный пепел на пёстрые рубахи. В уборной по одиночке — «баяном» — в вену.

Хор, рыдая:

Вспомни про блатную старину. Оставляя корешам жену. Передайте передачу, перед смертью не за плачу, перед пулей глазом не моргну

Кто-то:

«Во дают».

«Начальство, дери их в доску».

«А ты знаешь, сколько получает первый секретарь?».

«Им получать не надо, сколько хочешь, столько и бери».

«Ну, не скажи».

«А я тебе говорю».

Ревела буря, дождь шумел. Во мраке молнии блистали. И бескрайними полями. Лесами, степями. Всё глядят вослед за нами черножого-о-ных глаза!

ХЛІ

Эротическая мобилизация. Чем кончилось

4 часа утра

«А, и ты тут... Где Валюха? Валенька! иди сюда».

И снова гаснет свет. Мерцает из зала разноцветными огоньками ёлка. Пары лежат в обнимку. Иных развезло.

«Ну как, весело? Такая, брат, жизнь пошла. Пей, веселись. После лагерь-то, а?..»

«Алексей Фомич, всё благодаря вам».

«Что-то я притомился. Пошли ко мне, отдохнём маленько. И бутылку прихвати, вон ту. Чёрную бери, мартель. Ать, два!»

«Алексей Фомич, кабы не вы...»

«Ладно, слышали. Потопали... И ты тоже. Ну как, понравилось?»

В лифте:

«Я вам, дети мои, вот что скажу: надо быть человеком. Кругом одно зверьё, вот что я вам скажу. Заеваешься, глотку перегрызут».

«Прилягте, Алексей Фомич. Сейчас вам расстелю».

«Сперва выпить. Такая, говорю, селяви...»

«Алексей Фомич... может, хватит? Лучше отдохните. А мы тут возле вас посидим».

«Я сказал, выпить».

«Батюшки, а я и закуски не взяла. Сейчас сбегая».

«Стоп. Обойдётся. Ну, давай... чтобы мы все были здоровы».

«За вас».

«Я что хочу сказать. Ты не смотри, что они такие. Я-то их знаю, сам сколько лет на ответственной работе... В этой среде, понятно? Зверьё, одно зверьё. А надо быть человеком. Вот так. Иди ко мне, Валюха».

«Алексей Фомич, вам бы лучше отдохнуть».

«Иди ко мне, говорю».

«Неудобно как-то...»

«Чего неудобно? Запри дверь. Дверь, говорю, запереть».

«Ну, я пошёл», — сказал писатель.

«Оставаться здесь».

«Да как же, Алексей Фомич...»

«Чего Алексей Фомич! Твою мать... Как прописку пробивать, по-мощь, понимаешь, оказывать, на работу устроить, так Алексей Фомич. А вот чужих баб еть! Пуцай тут сидит. Пуцай смотрит».

«Может, мы лучше пойдём... Алексей Фомич, это всё неправда».

«Чего неправда? Ты ему даёшь? Я всё знаю. У меня своя разведка. Ты всем даёшь. Стели постель. Я лечь хочу».

«Сейчас всё будет Алексей Фомич. Две минуты. Только подушку взбить. Вам помочь раздеться? Мы сейчас уйдём...»

«Ку-да? Ни с места. Пуцай сидит и смотрит. А ты иди сюда. Ко мне! Снимай тряпки».

«Алексей Фомич, миленький...»

«Это мои тряпки. Снимай всё, сука. Я вот тебе сейчас покажу. И ему будет полезно, будет знать, как бабу ублажать надо... Всё с себя снимай. Одеяло прочь».

«Да как же, Алексей Ф...»

«Я не смотрю», — угрюмо сказал писатель.

Там что-то происходило. Там сопел и ворчал комсомольский руководитель Алексей Фомич.

«Во-от. Шире ноги, паскуда! Давай, давай, давай... О-о!»

«Ну... ну...» — лепетала женщина. Словно тяжёлый воз поднимался в гору.

«Ыхы, хы, хы! Ы!.. ы».

И всё стихло. Успокоилось тяжкое дыхание, воз доехал. Несколько мгновений ещё дёргалось грузное тело.

Валентина выбралась из постели.

«Слушай. Что с ним?»

«Не знаю».

«Алексей Фомич! А? Алёша!»

«Умер», — сказал писатель.

«Что?!»

«Отдал концы, вот что».

«Слушай, что делать-то? Беда-то какая... беги за врачом. Или нет, лучше я сама... Слушай меня: мы скажем, ему стало плохо, я отвела его в номер, он тут и помер. Я стала звать на помощь, тут ты прибежал... Ска-

жешь, как раз шёл по коридору. Ты свидетель, понял? Ты здесь сиди, я побегу в санчасть... Или нет, ты лучше уходи, я сама. Позвоню сейчас отсюда», — бормотала она, вытирала рубашкой у себя внизу, не знала, куда её деть, в спешке одевалась, слезы и краска текли у неё по лицу.

Теперь веселье бушевало на всех этажах.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

XLII

Нечистый дух. Антипатриотическая позиция романиста получает достойный отпор

Сентябрь 1967

Скажут: дела давно минувших дней. Что произошло за эти годы? Да ничего сверхъестественного; сменился правитель, только и всего. И, однако, что-то варилось в котлах, что-то менялось в составе атмосферного воздуха. Что же именно? Полагаем, что лучше об этом справиться у историков.

Как? Разве вы не историк?

М-м... не совсем.

Оглядываясь назад, трудно поверить, что эпизод, о котором пойдёт речь, мог состояться на самом деле. Слишком уж надо было для этого быть... наивным, что ли. Но, с другой стороны, назвался груздём — полезай в кузов. Рано или поздно следует приобщиться к литературной среде. Быть может, общее потепление этих лет пробудило отвагу.

Было в самом деле тепло, мягкая русская осень, время — около четырёх часов дня. Поезд остановился на пустынном полустанке, тридцать шестой километр от столицы. Только что прошёл дождь. Капли влаги переливаются голубыми, розовыми и серебряными огнями на траве. В сосновом бору чисто, свежо. Лучшего времени года не бывает, лучшего места не найдёшь во всём свете.

Путешественник миновал рошу, прошагал мимо кладбища знаменитостей, тех, кто некогда населяли посёлок. Свернул на дачную улицу и, наконец, поравнялся с голубеньким палисадником. Он стоит у калитки. Мохнатый чёрный зверь, выскочив из-за угла, с грозным лаем несётся навстречу. Дом был основательный, снаружи обшитый досками, с балконом, с резными наличниками на окнах. С крыльца сошла пожилая простоволосая женщина. По всему виду писателя было ясно, что он вовсе не писатель. Он стал объяснять, что его ждут.

Дача принадлежит литературному министерству и предоставлена маститому критику в пожизненное пользование. Хозяина нет надобно-

сти представлять, довольно будет напомнить, что его зовут Олег Михайлович, «тот самый», известный в кругах под именем Олег Двугривенный. Ему доложили. Он ждёт наверху. Одет в рабочую одежду: байковая куртка, подпоясанная витым шнурком, на шее платок, на ногах отороченные мехом домашние туфли. Он прост и приветлив, несмотря на громкое имя и высокий чин. В кабинете витает тонкий аромат духов. Посетителю указано на кожаный диван, сам поместился вполборота к рабочему столу. Пёс дремлет на ковре.

Над столом в простенке между окнами, за которыми шевелится желтеющая листва, граф Лев Николаевич Толстой, каким его изобразил художник Крамской, с пером в руках, перед старинным письменным прибором трудится над народно-исторической эпопеей «Война и мир». В углу стоит столик с пишущей машинкой. Оробелый гость сидит на краешке дивана, поглядывает на полки с корешками книг.

«Ну-с», — промолвил Олег Михайлович, потирая ладони. Скрипнула дверь, въехал на колёсиках столик со скромным угощением. Зверь поднял морду, но передумал и улёгся снова. Пожилая тётка — экономка? тёща? мать? — уплыла из комнаты.

«Ну-с...» — и он повернулся вместе с вращающимся креслом к столу, извлёк увесистую папку из нижнего ящика письменного стола. Посетитель с трепетом следил за его движениями. Измученный бессонными ночами, он сидит в углу за крохотным столиком, на порядочном расстоянии от следователя: необходимая мера предосторожности, чтобы арестованный не напал на лейтенанта. А также для того, чтобы не видели, что он там читает. Медленное, перелистывание толстого следственного дела, загадочное движение бровями, покрякивание, покачивание головой, всё это производит нужное впечатление. Олег Михайлович перелистывает рукопись. Какая неосторожность. С каждой минутой арестанту становится ясно, что роман не лучше его дела, каждая страница — улика. Подавив волнение, гость (мы с утра ничего не ели) неловко тянется за бутербродом.

«Что?.. — рассеянно, не поднимая глаз от рукописи, спрашивает хозяин, словно угадав его мысли. — Угощайтесь, прошу вас...»

«Поверите ли... — говорил он, поглаживая машинописный лист, — простите, запамятовал, как вас по батюшке... (Писатель поспешно назвал своё имя и отчество.) Поверите ли, света белого не вижу. То звонят из «Молодой гвардии», просят юбилейную статью, то собрание партактива, семинар молодых прозаиков, творческий вечер кого-то там, надо выступить. Извольте каждый день тащиться в город. Своей работой некогда заняться».

«Сочувствую», — сказал басом Лев Толстой из дубовой рамы.

Олег Двугривенный поднял глаза на классика.

«Ему хорошо. Сидит в своей Ясной Поляне... М-да. Не примите это на свой счёт, — сказал он мягко, — это я так... Что же мне вам сказать...»

Он задумался, поднёс к подбородку переплетённые пальцы.

«Не скрою, меня увлекла ваша вещь. Мне трудно определить её, так сказать, жанровую принадлежность, на роман как-то не тянет. Скорее, автобиография?»

«Не совсем».

«Ага. Я так и подумал. Как-то слишком уж обрывисто, видно, что автор ещё не умеет как следует сколотить композицию. Но, в конце концов, русская литература всегда игнорировала строгую форму, не правда ли, всегда выламывалась из традиционных жанров... Это что такое? — строго спросил он. Пёс стучал хвостом о ковёр. — Прекратить».

«Критик, как вы понимаете, не совсем обычный читатель. Критик — это одновременно и читатель, и критик. Как бы ни показалось это тавтологией. Кушайте, не обращайтесь на меня внимания...»

Хозяин снова повернулся в кресле к гостю, положив ногу на ногу, покачивал меховой туфлей.

«Хочу вам сразу же сказать. Я готов и дальше обсудить с вами ваш, э... роман, это ведь всё-таки роман, не правда ли? Но если вы ждёте от меня содействия в смысле того, чтобы публиковаться, то, извините за откровенность, я вряд ли вам буду полезен. Ко мне обращаются молодые писатели, я всем отказываю... ну, может быть, за немногими исключениями. Так что не ждите от меня ни рекомендательных писем, ни звонков в редакции... Но мне почему-то кажется, что вы обратились не за этим. Или, во всяком случае, не только за этим, ведь правда?»

«Конечно», — сказали из рамы.

Критик вновь покосился на портрет.

«Видите, он ответил за вас... Я позволю себе вести с вами разговор, так сказать, с двух точек зрения. Допустим, вы принесли рукопись в журнал, к примеру, в “Новый мир”. Хороший журнал, как сейчас говорят — либеральный. Можно, конечно, и к ним предъявить кой-какие претензии, но не об этом речь... Как бы то ни было, напечататься там — большая честь. Так вот. Что вам ответит серьёзный, квалифицированный, съевший зубы на своём деле редактор?»

Он взглянул на писателя и прищурился. Следствие продолжалось.

«Ну, разумеется, он похвалит вас, осторожно, слегка, чтобы вы не зазнались. Скажет, что вещь нуждается в доработке, такую-то главу надо переписать, такую-то совсем, может быть, выкинуть. Ну там, усилить звучание, приблизить к современности. Может быть, даже укажет вам на неудачный выбор главного героя, литература должна заниматься не литературой, а жизнью, если писатель пишет о писателе, значит, что ему нечего сказать... А в заключение... — Олег Михайлович улыбнулся, — в заключение скажет, что редакционный портфель в настоящее время переполнен!»

«То есть, — не выдержал писатель, — незачем и соваться?»

«Правильно, — проворчал Лев Толстой. — Вали отсюда, пока цел».

«Нет, конечно. Так редактор не скажет. Во всяком случае, я предполагаю, что он прочтёт вашу вещь, что, скажем прямо, бывает не часто... И не у каждого найдётся время беседовать. Но мы с вами говорим о добросовестном редакторе. Не исключаю, что он разберёт с вами, в качестве примера, какую-нибудь отдельную тему. Допустим, главы о войне. Ваш герой переживает войну ребёнком. Сами вы на фронте не были, ведь правда? А я, между прочим, воевал. Так вот: как описана у вас война? Вы ни словом не упоминаете о том, что под Москвой была одержана победа, что немцев не только остановили, но и погнали прочь. Вы только описываете панику и хаос первых месяцев. Мало того — тут уж не только редактор, я сам просто не знаю, что сказать. К вашей старухе является немец, офицер, и заявляет, что Москва сдана. Что за бред? Позвольте вас спросить».

«Дело в том, что... — упавшим голосом отвечал гость, — я пишу, как бы это сказать... не только о том, что было. Но и о том, что могло быть. Так сказать, альтернативная история».

«Альтернативная. Так, так... Другими словами, вы допускаете, что мы вполне могли бы проиграть войну. Я вам, уважаемый, вот что скажу. Если бы мы не верили в нашу победу, не напрягли все силы, а ещё лучше сказать — если бы мы не любили нашу родину, мы бы, возможно, и проиграли. Но этого не могло быть».

«Ну, хорошо, — вздохнув, продолжал Олег Двугривенный, — предположим, вы согласитесь эту главу выкинуть. А дальше? Ваш герой арестован, осуждён, попадает в лагерь. Спору нет, это страница нашего прошлого, трудная, мучительная страница. Но лагерная тема вас буквально поработила. Эти бесконечные возвращения. Выходит, что лагерь — это чуть ли не самое главное. Не только в вашей жизни, — в жизни нашего народа. Ведь именно так у вас получается, разве я не прав?»

«Не знаю...»

«Вот так здорово; а кто же знает?.. Как будто ничего другого, ничего положительного, реального в эти годы не было. Против такого подхода и я бы, знаете ли, решительно возразил. Да и ничего нового вы не можете сказать, всё давно сказано».

Он смотрел пристально на арестанта. Гость торопливо дожёвывал бутерброд, ронял крошки. Лев Толстой негодуяще тряс бородой.

«Мне кажется, я понимаю; что ж, сердцу не прикажешь! Мне кажется, вы просто не любите Россию».

Писатель тупо взирал на Олега Михайловича, повесил голову и неожиданно пробормотал:

«Тебя хвалить я не умею и крест свой бережно несу».

«Я тоже когда-то любил Блока, — возразил критик. — Да... И ещё одно. В вашем романе имеются интимные сцены. Конечно, литература имеет право коснуться разных сторон человеческой жизни, в том числе и закулисных. Но, помилуйте, разве так можно! Описывается новогод-

ний бал. Я уж не говорю о том, что комсомольские руководители, все до одного, выглядят какими-то чудовищами... Но что можно сказать об этой сцене, где этот ваш, простите, забыл, как его имя... ну, не суть важно, где он насилует горничную, которая на самом деле не горничная, а проститутка и наркоманка, и всё это совершается на глазах у героя...»

Удручённое молчание.

«Мы несколько отвлеклись. Повторяю: всё это вам скажет редактор, если, конечно, найдёт время беседовать, но мы говорим о хорошем, терпеливом редакторе, с большим опытом, с тонким вкусом... А теперь скажу я. Скажу вам то, о чём редактор, возможно, просто умолчит. И что меня — лично меня! — прямо-таки ошеломило».

Критик снова умолк, смотрел в окно.

«Н-да... — проговорил он, словно очнувшись, — где же это место... — Он листал рукопись. — Та-та-та... Тирим, тим-тим...»

Перевернул страницу, вернулся к предыдущей.

«Вот послушайте».

«К подследственному он относился неплохо, не бил, не сажал в карцер, говорил ему ты, иногда болтал от скуки, развалившись на диване, если дело происходило в главном кабинете, вероятно, одном из тех, что выходили прямо на площадь с памятником Рыцарю революции, там были дубовые панели, ковёр и особенные часы, нарисованные на стене, без цифр, как-то раз он включил радио, передавали музыку из оперетты “Табачный капитан”. Следователь был человек вполне ничтожный, тёмный и малограмотный, но какой-то ярко выраженный; когда он говорил, никогда нельзя было понять, лжёт он или говорит правду; чаще он всё же лгал, потому что одна из задач его работы состояла в том, чтобы путать и сбивать с толку, и держать обвиняемого в постоянном неведении относительно чего бы то ни было, но лгал он также без всякой нужды, по привычке или ради удовольствия. Следователь был воплощением Зла, но какого-то слишком уж приземлённого зла; был очень русским человеком, с открытым и довольно приятным лицом, с простоватым и одновременно хитрым взглядом и этой способностью неожиданно переходить от суровой официальности к балагурству и амикошонству. О нём невозможно было сказать, дурак он или себе на уме, навеселе или трезв, он был и прост, и непрост, в нём была необычайная скользкость; иногда он напоминал сумасшедшего. Что-то соображал, любил подмигивать, вдруг мог ляпнуть какую-нибудь гадость. Любил такие словечки, как мура, лады, чин-чинарём, замнём для ясности, себя называл с ироническим самодовольством: мы, разведка, и, само собой, без устали матерился».

«Что скажете?» — осведомился Олег Двугривенный.

«Ничего, — сказал писатель. — Похоже на правду. Они все были такими».

«Здесь чёрным по белому стоит: очень русский человек. Все они такие. Н-да. Но ещё цветочки...»

«На что пригодилась мне моя жизнь? На то, чтобы разобраться в потайных механизмах общественной жизни — отколупнуть крышку часов и увидеть, как поворачиваются колёсики, от которых зависит движение стрелок? И разгадать смысл российского мифа, эту сказку о добром, прямодушном, наивном и бесхитростном народе?»

«Я это место выкинул».

«Позвольте, у меня в руках ваша рукопись».

«Я... в окончательную редакцию это не войдёт... — лепетал гость. — Там, очевидно, слишком много рассуждений. И, кроме того, это говорится от имени героя, а не автора. Говорится под настроение...»

«Разумеется, разумеется... Но вы всё-таки послушайте».

«Никто, о Боже, не представляет себе, каким странным и страшным существом может быть русский простонародный человек, — разве лишь тот, кто прожил жизнь в нашей стране, тряся по её дорогам и пробирался вдоль поломанных заборов, мимо покосившихся изб, где живут на четвереньках, ходят на четвереньках и с порога, стоя на четвереньках, кланяются начальству. В стране, где ежедневно бездарность и тупость ведет прицельный огонь по всему мелкому и человеческому. Где каждые тридцать лет нация хором совершает обряд самооскопления, так что поневоле изумишься, откуда всё ещё продолжает рождаться это живое и человеческое...»

«Надо знать его, этого человека, жить с ним на одной земле, чтобы видеть, как он фантастически силен и вынослив, ибо за много веков сумёл вытравить в себе всё уязвимое, хрупкое. На х... мне!» — со вкусом прочёл Олег Двугривенный и продолжал:

«Надо знать его... Тут не распущенность только, как растёгнутая ширинка: в этом лозунге всё мировоззрение, вся жизненная философия русского человека, не желающего ничего для себя, но зато и никого не щадящего; здесь вся бездна презрения ко всяческой утончённости, физической слабости, духовной жизни, к вере в добро, словом, презрение к культуре, на этом презрении зиждется у него всё. Вечно нетрезвый или одержимый мечтой о выпивке, он готов помыкать всяким, о котором он подозревает, что того есть тайная слабинка, заветная святыня, — у него же заветного нет. Всё — хуйня...»

«Право, не понимаю. К чему эти нецензурные выражения?»

«...всё — пустые слова: верность, любовь, привязанность, этот человек пойдёт и предаст брата, изобьёт до полусмерти жену, отшвырнёт сапогом собаку, бросит детей на произвол судьбы — и всё это ради чего? За бутылку, из гонора, а ещё больше ради того, чтобы насмеяться над самим собой, ведь для него нет большей сладости, как унижить себя, поиздеваться над собой и заодно над всем светом. Раб в душе, он считает себя выше других народов, потому что знает: ни-

кто не дойдёт до последней точки, а он дойдёт; никто в последнюю минуту не окажется так страшно свободен, как этот раб, ни в ком абсурд не победит окончательно. А он, на крайности, в порыве безумного вдохновения пойдёт на всё: жестокая российская жизнь именно так и устроена, что доводит его до этой крайности; изрыгая чудовищный мат, он сожжёт себя или раздерёт грудь в сумасшедшем восторге, хоть стреляй в него, — во имя абсурда. Потому что абсурд — это и есть его бог».

«Это что, — спросил критик, — разве это роман? Это трактат какой-то. А вернее, пасквиль!».

«Хотите почувствовать в полной мере русскую жизнь? — нырните в неё со всего размаху, чтобы стукнуться головой о дно. Сказано: „Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, не находя покоя. Тогда говорит: возвращусь в дом мой. И, придя, находит его незанятым. Тогда берёт с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого“. Вот когда вам захочется удавиться у постели несчастного бесноватого, вот тогда вы и узнаете, что собственно значит быть исцелителем».

Олег Михайлович тяжело вздохнул.

«Отношение к войне, как вы говорите, альтернативная история, то да се... ладно, это ваше дело. Но вот это!» — он швырнул папку на стол.

«Я собираюсь кое-что переделать...»

«Прошу меня не перебивать. Вы, любезнейший, ненавидите Россию, вот что я вам скажу. То, что вы здесь пишете, это... это...»

Не окончив фразу, Олег Михайлович взглянул на часы и устремил взгляд в пространство. Какого лешего, думал он, я трачу время с этой сволочью.

«Скажите... — снова заговорил он, — это так, между прочим... Кто-нибудь знает о вашем визите ко мне?»

Писатель смотрел в пол, пожал плечами, помотал головой.

«Так вот: мой вам совет».

Критик аккуратно выровнял стопку машинописных листков, закрыл папку, завязал верёвочки. Вручил посетителю.

«Засуньте её куда-нибудь подальше».

«Куда?» — спросил писатель.

«Куда-нибудь. И никому не показывайте. Если ещё не успели кому-нибудь показать... Ваш роман абсолютно непроходим. И даже ещё хуже».

«Можно многое простить, — продолжал он. — Даже критику системы. Но клевету на русский народ, которому выпали на долю такие бедствия... Да что там говорить».

«Как я понимаю, мне надо бросить литературу».

«Бросить? Я этого не говорил. Но, конечно, такую литературу... Как вы этого не понимаете?»

Тщетно ждать ответа от подсудимого, да и какой может быть ответ. Из портретной рамы слышится бормотанье, глубокий вздох.

«Ах вот оно что, — сказал Олег Двугривенный. — Вы в самом деле думаете, что это выход?»

Впрочем, чему же тут удивляться, подумал он.

«Не знаю. Я, собственно, об этом не думал».

«Вы, кажется, сидели? Да, похоже», — ответил хозяин как бы самому себе и снова взглянул на часы.

Пора было сматываться.

«Появился тамиздат. Я говорю о заграничных изданиях... Появился и самиздат. Рискованное дело, что и говорить, но некоторых соблазняет. Чаще всего это совершенно бездарные люди... А кончается тем, что подают на выезд. Вы, кстати, прошу прощения... еврей? С одной стороны, это не так просто, вы правы. А с другой стороны, времена меняются...»

Пора, пора... Мохнатый пёс заскулил.

«Прекратить! А ну пошёл отсюда вон».

Зверь встал, дойдя до дверей, обернулся и скучно поглядел на хозяина.

«Я могу вам определённо сказать, что это не выход. Конечно, при вашем отношении к родине...»

Гость осмелился прервать его: «Вы что, действительно думаете, что я отношусь...?»

«Да ничего я не думаю, — сказал с досадой Олег Двугривенный. — Просто я хочу сказать, что никому мы там не нужны. Нашему брату там нечего делать... А главное, русский писатель не имеет права бежать под предлогом того, что его зажимают, не дают печататься, то да сё. Талант — настоящий талант! — всегда пробьёт себе дорогу. Каждому сбудется по вере его, как говорил Михаил Булгаков, слышали про такого писателя?»

«Да, — продолжал человек в кресле, — чего уж тут греха таить, есть у нас бюрократы, околотитературные чиновники, которые считают себя вправе распоряжаться литературой. Порой приходится идти на уступки... Таковы правила игры, ничего не поделаешь. Вы думаете, мне легко печататься? Но я убеждён, что достойней остаться со своим читателем, пусть даже ценой каких-то потерь, чем, знаете ли, идти на поклон, искать лёгкой жизни, да и какая там жизнь... Мне доводилось бывать за границей. Мы там никому не нужны... Здесь наша родина, дорогой мой. Наш язык, наши могилы... Одним словом, я хочу сказать, что долг русского патриота нести факел здесь, а не где-то там, где нас не знают и не понимают. А с властью, знаете ли, всегда можно договориться».

Дивный воздух, в сосновом бору сухо, чисто, свежо. И, право же, лучшего времени года не бывает, лучшего места на земле не найдёшь.

XLIII

Время идёт всё быстрее, предваряя развязку

22 февраля 1977

Две ночи, на Западе и на Востоке, встают одна другой навстречу. Всё тонет, всё забывается.

Некогда в переулке у Красных Ворот стоял угловой дом, в комнате, смотревшей во двор, на первом этаже, проживала бывшая дворянка, недобитая белогвардейская штучка, о которой рассказывали разное; потом туда вселилась её родственница, и о ней тоже говорили, что она будто бы выскочила замуж за крупного осетра, будто бы получила срок по какому-то тёмному делу; говорили о наркотиках, о подпольном публичном доме для высокого начальства; кто-то вроде бы видел Валю перед «Метрополем», где прохаживаются девы горизонтальной профессии, — постаревшую, густо покрашенную. Всё шатко, всё сомнительно было в этой квартире; появлялись и пропадали люди, чьи имена забыты и о которых теперь даже трудно сказать, действительно ли они жили на свете.

*Fugaces labuntur anni!*¹

Пришли новые жильцы, для которых прошлого не существовало, хотя сами они отличались немногим от тех, исчезнувших; настали другие времена, которые, впрочем, оказались в некотором смысле прежними временами. Всё изменилось, квартира не изменилась. Когда после долгого отсутствия и разного рода бюрократических приключений составитель этой хроники вновь водворился в длинной, как пенал, комнате родителей, из которой постояльцы минувших лет унесли почти всю мебель, в коридоре по-прежнему горела тусклая лампочка, стоял сундук с висячим замком, хранивший квартиру от несчастий, вращался диск в окошке электрического счётчика фирмы Сименс-Шуккерт, оба имени с твёрдым знаком на конце, и сортирная библиотека пополнялась литературными новинками. Призрак слонялся по ночам, шумела вода в уборной, покойная баронесса проверяла, всё ли на месте, искала свои наставления, давно истлевшие, как и она сама.

И всё же нельзя сказать, чтобы всё успокоилось. В одну из таких ночей, точнее, тёмным ночным утром накануне Дня Советской армии, в коридоре задребезжал звонок, один раз, и ещё, и всё настойчивей. Писатель в халате и шлёпанцах вышел из комнаты. Кто там, спросил он, и голос за дверью ответил: «Телеграмма». Он спросил, кому телеграмма, была названа его фамилия; он ещё не вполне проснулся, чем и объяс-

¹ Уносятся быстротечные годы. (*Гораций*).

нялось притушение бдительности. Едва только он успел, сняв цепочку, приоткрыть парадную дверь, как кто-то с силой толкнул её, с площадки выскочили из тёмных углов мужики, их было семеро, и вперлись в коридор, натываясь в полутьме на сундук. В комнате писателя стало тесно, зажгли свет. Это были «понятые» — слово неизвестного происхождения и неясного значения; среди гостей он разглядел и управдома.

Для начала было предложено сдать оружие.

«Перочинный нож?»

Командир отряда усмехнулся, показывая, что он ценит юмор.

«Между прочим, — заметил писатель, — я реабилитирован».

«Это мы знаем».

«Могу предьявить справку облсуда».

«Незачем», — возразил человек со служебной физиономией без особых примет, который к тому же и никак не представился. Романтика былых времён выветрилась, рыцари с льдыстыми глазами, в долгополых шинелях, вымерли, не стало больше фуражек с голубым околышем, португеза, петлицы, щит и меч на рукаве гимнастёрки, скрипучие сапоги — всё уплыло в прошлое. Человек был в штатском, при галстукке и с университетским ромбом на лацкане пиджака.

«Всё знаем», — уточнил он, пряча в карман ордер на проведение обыска. Зачем же тогда, возразил писатель, коли и так всё известно. Что известно? — спросил следователь. То, что знаете, сказал писатель. А это мы сейчас подтвердим, сказал следователь, компания кое-как разместилась, кто опустился на неубранную кровать, кто пристроился к столу, на котором стоял множительный аппарат, в просторечии — пишущая машинка, а кто и просто сидел на полу. Следователь стоял перед грубо сколоченными стеллажами, брал одну за другой книжки и ронял на пол.

«Всё по закону, — говорил следователь, листовая и бросая книжки, — это вам не прежние времена».

«Закон?» — переспросил писатель. Что такое закон? — хотел он задать вопрос, подобный вопросу римского прокуратора. Но, как Пилату не дано было знать, что есть истина, так и тебя не удостоили бы ответом. Следователь разглядывал иностранную книгу в переплёте со стёршейся позолотой.

«Пруст, — уныло сказал хозяин. — Французский писатель. Он давно умер».

«Кто такой Пруст, мы знаем, — возразил человек, окончивший юридический факультет, — откуда это у вас?» — и, не дожидаясь ответа, сунул книгу в служебный портфель.

Ворох исписанных бумаг был ссыпан туда же, следователь озирал жильё, голизна которого облегчила его задачу. Понятые покашливали, как публика на скучном спектакле. В коридоре прокрались, тактично прошлёпали шаги — квартира уже не спала.

Следователь показал пальцем на шкаф, единственное родительское наследство. Хозяин покачал головой. Ключ, сказал следователь. Потерялся, ответил писатель. Ну что ж, промолвил следователь, извлёк из портфеля отвёртку, и после некоторых усилий створки распахнулись. Слева на полках помещалась посуда, справа висели на плечиках старые платья матери, пиджак довоенных времён, внизу, на фанерном дне стояла швейная машина. Повозившись с отвёрткой, следователь поднял крышку футляра.

«Ага, — сказал он, поднимаясь с колен, — вот это другое дело», — и помахал в воздухе добычей. Писатель пожал плечами. «Ай-яй-яй!» — укоризненно сказал управдом, а следователь, ликуя, сорвался с места и пустился в пляс. Теперь, наконец-то, на нём были, вместо скучных штатских брюк, синие крылатые штаны, мундир с золотыми погонами, и на рукаве блестел золотой меч государственной безопасности! Он притопывал глянцевыми сапогами, хлопал себя по груди, по бёдрам, раскинув руки, пошёл павой, выкидывая ноги, пошёл вприсядку, понятия били в ладоши, а писатель, играя бровями, притопывал и брэнчал на откуда-то взявшейся гитаре. В дверь заглядывали ухмыляющиеся лица. Следователь, не переставая выкидывать коленца, подъехал к хозяину, манил к себе, подбадривал, писатель приосанился, сунул кому-то гитару, щёлкнул пальцами, хлопнул в ладоши и пошёл, помахивая полами халата, шлёпая тапочками, навстречу следователю. Й-эх! Эх!

«Нет уж, — сказал следователь, усевшись за стол, и отщёкнул портфель, чтобы достать бланк протокола, — объясняться будете в другом месте».

«Я не понимаю».

«Вот там и поймёте».

«Да в ней ничего такого нет», — говорил писатель, показывая на книжку в бумажном переплёте, извлечённую из швейной машины и теперь лежавшую перед исполнителем закона.

«А где издана? — парировал следователь. — Не прикидывайтесь дурачком. Кто автор, не вы ли?»

«Ай-яй-яй», — повторил управдом.

«Понятия не имею, кто это такой», — убеждённо сказал писатель.

«Откуда же она у вас?»

«Подумать только!» — сказал управдом, собачьими глазами глядя на следователя.

Писатель не пожелал подписывать протокол, несмотря на неопровержимость улики. Пишущая машинка была уложена в чёрный холщёвый мешок вместе со всеми бумагами; что касается главной улики, то она была бережно упрятана в портфель, где уже покоился Пруст. В заключение была вручена повестка. Жильцы сидели в своих норах. Хлопнула парадная дверь. Робко выглянуло из-за крыш золотушное сол-

нышко. Команда вышла в переулок. Управдом отправился по своим делам, свита понятых разошлась. Следователь положил портфель и мешок на заднее сиденье, уселся рядом с шофёром, заурчал мотор, внутренности изрыгнули дым, экипаж покатила по Козловскому к Чистым Прудам и далее вдоль трамвайного пути, повернул на улицу Кирова, к площади имени Рыцаря революции, лишний раз подтвердив пословицу о том, что все пути ведут в Рим.

Оставшись один посреди разорённой комнаты, писатель погрузился в думу. Нужно сознаться, ночное вторжение застало его врасплох. Разумеется, непонимание, зачем понадобилось представителю власти умыкнуть книжку с псевдонимом на обложке, все эти голубые глаза, были чистым лицемерием, другое дело, содержится ли там что-нибудь «анти». Что-нибудь такое — масляным блеском заглялись глаза следователя — противозаконненькое. Что такое закон? Закон есть совокупность инструкций, по которым надлежит творить беззаконие.

Законный, противозаконный — не всё ли равно? Пустые слова. Был или не был злополучный роман вредным, антинародным, клеветническим, подрывным — какая разница? Нелегальный писатель по определению не является писателем. Литература без разрешения — это, простите, уже не литература, это преступление, незачем даже заглядывать в книжку, изданную «там», достаточно одного этого факта, и теперь наша задача — выяснить, какими путями роман попал за границу.

А вот этого вы никогда не узнаете. Писатель злобно усмехается.

Но что это за время, когда темой литературы становится вся эта чушь, эта призрачная деятельность: обыски, допросы, протоколы, копошение мух в паутине. Вместо того, чтобы писать о подлинной жизни — о жизни души. О человеческом уделе, о любви и смерти.

Он думает о том, что через каких-нибудь десять, пятнадцать лет от него, от всей этой словесности, которую кто-то уже успел наименовать *Литературой Нравственного Сопротивления*, не останется и следа. Останется ли вообще что-нибудь от нашего времени?

Однако злорадная ухмылка, в которой не мог отказать себе автор этой хроники, означала и кое-что другое. Он подходит к раскрытому шкафу: старые платья матери, отцовский пиджак. Смотрите-ка, им в голову не пришло! Ведь искать можно только то, что спрятано. А тут достаточно сунуть руку в карман пиджака и вынуть письмо.

Дорогой сын, ты будешь удивлён.

Да, время как-то уж очень замедлилось в этой квартире, ленивый русский Бог, похожий на деревенского священника, зевая, слез с полатей, зашлёпал босыми ступнями по своей избе и подтянул гирьки ходиков. Маятник встрепенулся, часы пошли чуть быстрее.

XLIV

Призрак или не призрак — это как посмотреть. Мистика действительности.

*Тот же день, канун
праздника Вооружённых Сил*

Не так-то просто было отыскать свой состав в суматохе и толчее, под гром победной музыки. В толпе они потеряли друг друга, наконец, он увидел маму, она стояла перед пульмановским вагоном с рюкзаком за плечами, с чемоданом и швейной машиной у ног, искала глазами подростка, всю ночь собирали вещи, распаковывали и снова упаковывали, разрешалось брать 25 килограммов на человека, но она непременно хотела взять с собой и то, и это, и, конечно, машину. Всё на свете пережила швейная машина, и войну, и мать, и теперь стояла, раскуроченная, в шкафу. Мальчик протиснулся к вагону, загремела и поехала в сторону широкая раздвижная дверь, открыл широкий просвет, и началась сумасшедшая посадка: кто по приставной лесенке, кого просто подтягивают, втаскивают внутрь чьи-то руки. Справа и слева помост из необструганных досок, но когда удалось, наконец, взобраться, нары были уже заняты, люди сидели на полу, посередине громоздился скарб.

Они выглядывали из вагона, искали в толпе и почти уже потеряли надежду, как вдруг он появился, он успел прийти в последнюю минуту, в последний раз подросток видит отца. Гремят над вокзалом, перекрывая многоголосый говор, репродукторы. *Вставай, страна огромная...* Где-то там армия отбивается и отступает, и красноармейцы толпами сдаются в плен, никто об этом не знает, ничего толком не разобрать, и вдруг оказалось, что моторизованное полчище уже приблизилось к Смоленску, катится, как океанский вал, к Москве.

Протяжный свисток, вагон дёрнулся, гром столкнувшихся буферов прокатился по составу. Отец медленно отъезжает, машет рукой.

Дорогой сын...

Внезапно, как колокол, квартирный колокольчик. Один звонок. Столько-то раз положено звонить каждому из жильцов, один звонок — общий.

Я и сам не перестаю удивляться всему, что произошло. Долго сомневался, имею ли я право подвергать тебя риску, напоминая о себе.

Тишина, в коридоре никакого движения. Никто не выходит открывать. Квартиросъёмщики напрягают слух в своих норах. Не выезжают, понимают, кто там. Особый приём расследования: дать подозреваемому передохнуть, дать ему почувствовать себя в безопасности — и вдруг вернуться! А тот тем временем извлёк ненайденную улику из тайника. Сле-

дователь вспомнил, что забыл пошарить в карманах пиджака. Подсказал инстинкт ищейки, что не всё ещё нашли. Подследственный замечает следы. Писатель мечется по комнате, ища, куда бы засунуть письмо. Книжка — дело второстепенное, а вот письмо — это уже посерьёзнее. Возможно, они подозревали о существовании письма; не исключено, что кто-то узнал, донёс, какие-то сведения просочились; удобнейший момент застать на месте преступления. Пришли не за чем-нибудь — за письмом. Пришли не только за письмом. Пришли за ним. Тёмная, с непрозрачными стёклами машина ждёт у подъезда.

Вот теперь тебя по-настоящему охватил страх.

О чём речь? В конце концов, если уж на то пошло, и письмо — не причина, а повод. Тот, кто однажды хлебал лагерную баланду, будет жрать её снова. Да, снова и, может быть, в самом близком будущем. Для того, кто там побывал, срок не кончен. Срок никогда не закончится. Кончилась только оттепель — сколько их было, и сколько их будет. Маятник качнулся влево, качнётся вправо. Пора назад. Ну-ка выкладывай свой паспорт, он тебе больше не нужен. *Пора домой.* Место на нарах найдётся, пайка — за тобой. Ибо лагерь — это и есть наш дом, наше подлинное отечество, и ты, вольоотпущенник, неужто до сих пор не сообразил: этот трепет, это ожидание, когда за тобой придут снова, — на самом деле не что иное, как ностальгия по лагерю, по тройному ряду колючей проволоки, по вышкам и прожекторам, по нарам, по крысиному бегу на рассвете между шпалами узкоколейки, по звёздным ночам и Ковшу над тайгой.

И, словно зачарованный, онемев, он видит, как медленно отворяется дверь и глубокий старик стоит на пороге. Очевидно, соседи впустили в квартиру, если только он сам каким-то образом не отомкнул парадную дверь и прошёл, незамеченный, по коридору.

«Т-сс!» — прошептал гость, быстро оглянулся и притворил за собой дверь комнаты родителей.

«Ты... — пролепетал писатель, — у тебя свой ключ?»

«Какой ключ?»

«Как ты открыл дверь?»

«Как — дёрнул за ручку и вошёл».

«Нет, как тебе удалось войти в квартиру?»

«Вот так и удалось. Ты удивишься... я сам не устаю удивляться».

Вошедший растерянно озирался и вместо старых, верных вещей видел разбросанные по полу книжки, растерзанный шкаф, вместо кровати алюминиевую койку-раскладушку со скомканным одеялом, вместо люстры свисающий с потолка провод с голой лампочкой, видел всё это безобразиие.

Покончив с осмотром, он вперился в углы потолка, в остатки лепнины, искал что-то, хлопнул в ладоши раз-другой.

«Клопов нету?» — спросил он.

«Клопов?»

«Ну да... Комната не прослушивается?»

И ещё раз ударил в ладоши, но ожидаемого эха не последовало.

«Что же ты стоишь?» — спросил сын.

Отец направился к столу, снова поднял глаза к потолку, где всё ещё висела перекладина для занавеса, некогда делившего комнату пополам.

«Понимаешь, — лепетал писатель, — у меня был обыск, не обращаешь внимания...»

«Обыск, ага. Вот как. Неужели, из-за меня?»

«Почему же... не думаю. Кто же мог знать?»

«Узнали, наверное, — вяло возразил отец. Он сидел боком к столу на табуретке, сын опустился на койку. — Ну, если были, значит, не придут».

«Я-то был уверен, что это они снова».

«Был уверен. Уг-м».

«Это такой метод, — объяснил сын, — вроде бы ушли, и вдруг шашть — вернулись!»

Гость смотрел в окно. Напротив, наискосок от дома — особняк чехословацкого посольства, сад за глухой каменной стеной. Короткий Боярский переулок ведёт к Садовому кольцу. Сумрачный полуживой день.

«Искали, искали, самого главного не нашли».

«Письмо, что ли?» — спросил отец, по-прежнему не отрывая глаз от окна.

Писатель потёр лоб.

«Надо бы всё-таки, — пробормотал он, — разобраться».

«Разобраться, в чём?»

«Да во всём этом...»

«Не ломай себе голову, — сказал отец, — ничего тут не поймёшь. А уж с этой сволочью и подавно не разберёшься. — Он добавил: — Я думаю, они и сами толком не знают, чего хотят».

«Я уж было решил, что они вернулись... это у них такой приём, сделать вид, что ушли... Ладно, — сказал писатель, — насрать на них».

«Полностью разделяю твоё мнение».

«Письмо было для меня полной неожиданностью».

«Я с оказией послал. По правде сказать, сильно сомневался. Стоит ли вообще напоминать о себе...»

«Выходит, ты остался в живых. Сколько лет прошло. Почему от тебя так долго не было вестей?»

«Почему... Сам должен понимать, не маленький».

«Мама умерла».

«Знаю, знаю...»

«Значит, ты всё-таки жив».

«До некоторой степени».

«Как же ты смог вернуться?»

«Сюда? Вот так и вернулся. Долго объяснять».

«Надолго?»

Отец покачал головой. Он был сед, в нищенском одеянии, с длинной неопрятной бородой, но теперь уже не казался таким старым.

«Времени мало. Надо мотать отсюда, а то заметят. Если уже не просекли, это у них просто делается...»

Не совсем понятно, кого он имеет виду, «их» или соседей. Или всех вместе, то есть что соседям поручено следить. Может, и поручено, почему бы нет? Это было бы наиболее логичным. Может. Как раз сейчас и подслушивают. Он показал глазами на дверь. Писатель вскочил, подкрался и толкнул дверь. Никого в коридоре не оказалось. Ни звука на кухне. Тоже, конечно, подозрительный знак.

«Та-ак, — проговорил писатель, опускаясь на раскладушку. — Что ж... Возможен и такой вариант».

Гость не понял.

«Я говорю, возможен и такой поворот, — сказал сын. — Извини... я имею в виду роман».

«Какой же может быть поворот. Книжка твоя напечатана. Я, по правде сказать, не сразу догадался; это что, псевдоним? Или, может, это не ты?»

«Я, — сокрушённо сказал писатель. — А может, и не я. То есть я, конечно, — поправился он. — А насчёт сюжета... Переделать никогда не поздно. Я и так всё время то вычёркиваю, то добавляю... Представь себе, эти крысы стащили у меня все бумаги. И машинку унесли... И ещё неизвестно, что за этим последует».

«Что последует — известно что. Мало тебя учили».

Сын развёл руками, как будто хотел сказать: горбатого могила исправит.

«Но расскажи хотя бы, что с тобой случилось, ведь считается, что ополчение погибло... разве только очень немногие...»

Отец усмехнулся.

«Вот я и есть эти немногие. Тебя это действительно интересует?»

«Интересует».

«А по-моему, ты каким был, таким и остался!»

«Каким?»

«Чужим. Ты ведь никогда меня не любил, признайся».

«Как и ты меня», — сказал сын.

«Я?»

«Конечно. И ты, и мама — вы оба меня не любили».

«Почему ты так думаешь?»

Писатель пожал плечами.

Помолчали; должно быть, отец угадал мысли сына.

«А кстати, — проговорил он, — эта дворянка, что с ней стало?»

«Умерла».

«А, ну да, конечно».

Снова пауза.

«Между прочим, — сказал отец, — у тебя могла быть сестричка».

«Сестричка?»

«Мама была беременна».

«Вот как».

«После аборта долго болела, ты этого, конечно, не помнишь...
А может, и к лучшему, что не родила».

«Да, — сказал сын. — К лучшему».

После некоторого молчания:

«Где она лежит? Всё равно не смогу её повидать. Ты-то хоть у неё бываешь?»

Сын в отчаянии взглянул на отца.

«Нет, я ужасно тебе рад... Просто не могу опомниться... Ты для меня давно был мёртв...»

«Может, я и в самом деле мёртв».

«Но всё-таки. Как тебе удалось?»

«Вот так и удалось. Я же тебе написал».

«Там слишком кратко!» — простонал писатель.

Сумрачный день, солнце, едва блеснув, заволокло серой ватой.

XLV

Или всё-таки реальное лицо?

Тот же день

«Я поставлю чай».

«Никаких чаёв! Как произошло... Вот так и произошло, хочешь
верь, хочешь нет. Ты хоть, когда война началась, помнишь?»

«Конечно, помню. Очень даже хорошо помню этот день».

«Речь этого мудака помнишь?»

«Речь Молотова? А как же. Вот на этом месте стоял буфет».

«Верно».

«На нём рупор, чёрный, из картона. Мы с мамой слушали».

«А потом, первые недели?..» Гость вздохнул, махнул рукой, не дождаввшись ответа, как будто хотел сказать: быть может, и помнишь, да ничего не знаешь.

«Все записывались, — сказал он, — я тоже. Конечно, если серьёзно, какие это были добровольцы? У нас вообще ничего добровольно не делается. Некоторых, так даже просто хватили на улице, приказ — в ополчение; попробуй откажись. Но я тебе так скажу, настроение было, — не у всех, конечно, у многих, — настроение такое, что надо! Немец наступает. Надо любой ценой остановить. Ты ведь не помнишь, что было перед войной».

«Почему же?».

«Что ты можешь помнить... У тебя в этой книжке столько наворочено, но ведь это же всё из пальца высосано!»

«Ты разве читал?»

«Читал, а как же».

«Где ж ты её увидел?»

«Там, где же ещё. Увидел и купил».

«Откуда ты знал, что это я?»

«Первую страницу прочёл и узнал».

«Значит, все-таки не всё высосано из пальца, — улыбнулся писатель. — Я теперь всё переписал заново, — сказал он. — Но они у меня всё отняли».

«Ничего, напишешь заново. Чтó я хотел сказать... Перед войной. Ведь чтó говорилось. От тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее. Малой кровью, могучим ударом. Ни одной пяди своей земли! Ведь это годами, изо дня в день, с утра до вечера. Пели и гремели. Надо готовиться к войне, надо подтянуть кушаки. И все думали: да, надо потерпеть, зато у нас самая сильная армия, в два счёта справимся с любым врагом. Эти песни... — Бородатый гость сморщился, схватился за голову, словно от боли. — Полетит самолёт, застрочит пулемёт. И помчатся лихие тачанки! Это они собирались на тачанках с немцами воевать. Не скосить нас саблей острой... Кто это в наше время воюет с саблей? Будённый со всей своей кавалерией обосрался. Гуталин вообще куда-то слинял».

«Лихо выражаешься, — заметил писатель. — Где это ты научился?»

«Научишься... Короче, что хочу сказать: настроение было такое, что — хватит. Теперь не до упрёков, что было, то было. Тридцать седьмой год, раскулачивание, всё надо забыть. Сейчас не до этого. Так что, с одной стороны, за всеми следят, кто что сказал, кто не верит в нашу победу, кто ещё не записался добровольцем, и попробуй что-нибудь сказать... А с другой стороны, всем ясно: надо, и ничего не поделаешь. Митинг, тут же и райкомовские деятели, и эти, конечно, с голубым околышем, только оставили свои фуражки дома. В общем, по одной только Москве чуть не двести тысяч подали заявление. Может, и больше... Прямо с митинга — на пункт формирования районной дивизии нашего Куйбышевского района. Три часа на сборы; еле успел прибежать к вам на вокзал, попрощаться. Ковардак был невероятный. Немец рвётся к Москве, может, уже совсем близко, никто толком не знает, сводки — сплошное враньё, все только догадываются, да что там догадываются — знают, а заикнуться никто не смеет... Засиделся я у тебя», — сказал он.

«Побудь ещё немного».

«Погляди-ка ещё разок, на всякий случай».

Писатель вышел в коридор, выглянул на лестничную площадку.

«Я о тебе беспокоюсь, — сказал гость. — Со мной-то они что могут сделать, — ничего».

«Ты так думаешь?»

«Чего тут думать. Меня ведь всё равно что нет. — Пауза. — Да, так вот... Войско — смех один: кто в чём. В пиджачках, в штиблетах, в летних туфлях белых, как тогда носили, их надо было чистить зубным порошком. Сперва отправили на рытьё окопов. Где-то уж не помню где; под Рузой, что ли. Никакого обучения, вместо оружия лопаты. Через неделю выдали обмундирование. Что такое бэ-у, знаешь?»

«Бывшее в употреблении».

«Так точно, тебя учить не надо. Вот такое обмундирование. Сапог вообще не выдали. Ещё через неделю пришла партия винтовок, мбсинских, образца девяносто первого дробь тридцатого года. Это же смех! Начали учить устав. Зачем учить устав, если никто почти что за всю жизнь ни одного выстрела не сделал? Еще хорошо ещё, что дали несколько дней до отправки на фронт. В общем, худо-бедно научили разбирать оружие, заряжать, стрелять по мишеням. Так что мы, например, смогли даже отразить первую атаку противника, сумели организованно отступить...»

«Я, наверно, многое путаю, — сказал отец, — давно было дело... К чему это я всё говорю? Дивизию прикомандировали к 32-й армии. На дворе осень, октябрь, ночи холодные. А мы в лёгких шинелишках. Да и немцы тоже. Думали к сентябрю вообще всё кончить... Это на наших-то дорогах... Споткнулись, реорганизовались — и снова наступление. Это я уже потом узнал, два танковых клина врезались с двух сторон, один с юга, другой с севера. За ними моторизованные корпуса. А нашим ставка запретила отход. Стойте насмерть! Ну мы и стоим. Сколько там народу полегло, один Бог знает. Оба прорыва соединились. Все оказались в котле, не только ополченцы, но и вся 32 армия резервного фронта, и ещё одна, 24-я, и в придачу три армии Западного фронта».

«В котле?»

«Это у немцев так называлось. В окружении. Сперва вроде бы поступил приказ пробиваться на Сычевку, на Гжатск. Пытались прорваться, этот прорыв дорого обошёлся. А тут и вовсе связь со штабом прекратилась. Нам всё говорили, идёт помощь, а на самом деле командование бросило нас на произвол судьбы. Крутом леса. Пошли разговоры, что немцы никого в плен не берут, считают, что всё ополчение состоит из комиссаров и евреев. Сдаваться бессмысленно. Да и вообще от всего московского ополчения остались только отдельные отряды. Не отряды даже, а кучки полузамёрзших людей. Под Ельней полегло всё наше ополчение».

Тишина, книжки по-прежнему лежат на полу, створки шкафа распахнуты настежь. За окном сыплется снег. Правильно: не стоит ломать голову, потом разберётся. А вот закусить бы не мешало, ты тоже, наверное, проголодался, бормочет писатель. Сбежать на кухню.

«На кухню не смей. Потерпишь».

«Никогда не думал, что тебя увижу».

«Я тоже не думал».

«Далеко тебе ехать?»

«Чем дальше, тем лучше».

«Я тебя провожу».

«Ни-ни».

«Ничего со мной не будет. Или ты сам боишься?»

«Я? — спросил отец. — Меня нет и не было, заруби себе на носу. Ведь это самое логичное, а? Самое правдоподобное».

«Так-то оно так».

«Я погиб за Родину в октябре сорок первого, — торжественно и даже не без некоторого самодовольства сказал гость — Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей... Все приказы так заканчивались. Вы похоронку получили?»

«Не знаю... мама об этом ничего не говорила».

«Не получили. Да какие там похоронки. Не до того было... Пал за Родину — когда, где, может, под Ельней, а может, на Северном полюсе... И сколько нас было, и где мы лежим, никто не знает и никогда не узнает... Никто нас не хоронил, не до того было. Пали, и пускай лежат. Умер Максим, и хрен с ним. Весной снег сойдёт, вороны расклюют. Ворон знаешь сколько в том году развелось?»

От густого снегопада в комнате стало сумрачно, поблескивали безумные глаза гостя.

«Говорилось, пять дивизий народного ополчения, может, пять, а может десять, а где они? Нас всё равно что не было».

«Дальше», — попросил писатель.

«Зачем тебе? Хочешь обо всём этом написать? Ну, валяй, пиши. Сочиняй! Придут и снова отнимут. Да и так всё равно не получится. Об этом писать невозможно. Кто там был, не расскажет, а кто захочет написать, выйдет неправда».

«Ну, а всё-таки».

«Всё-таки... Сначала шли кучками, старались только не потерять направление — на Восток. Шли, шли, одного нет, другого нет. Потом я вовсе остался один. В одной деревне попросился ночевать. Хозяйка с детьми на полатах, мужа нет. Положили меня на лавке. Только было задремал, постучали. Да как ещё постучали! Входит патруль: офицер и два солдата. Ищут партизан. Я тогда ещё не говорил по-немецки, но кое-что понимал. Немец, видимо, знал немного по-русски, спрашивает: это кто? Хозяйка, вечно буду её помнить, отвечает: здешний, из нашей

деревни. У меня отросла борода, весь оборванный, вполне могу сойти за колхозника. Почему не у себя дома? А у него дом сгорел. Почему в военном? Хозяйка объясняет: был мобилизован, дезертировал, не хочет с вами воевать. Пошли! Привели в штаб. А там...»

«Как! — вскричал писатель. — Вернике?»

«Какой ещё Вернике».

«Ты же говоришь, читал... — Он ходил взад-вперёд по комнате. — Так значит, — бормотал он, потирая лоб, — вопреки всему, вопреки всякой вероятности и даже вопреки моему замыслу... ты жив».

«Можно считать и так», — сказал отец и развёл руками, как бы извиняясь.

Февральский снег валит густыми хлопьями, пурга разгулялась, исчезли дома, не видно перекрёстков, и фигура странного визитёра растворяется, тонет в белой каше.

XLVI

Гости за гостями. Генерал Колесников

Всё тот же день

Писатель не знал (и, надеюсь, никто не знал), что почти в ту же минуту, когда отец выходил из подъезда, перед домом остановился чёрный лимузин с пуленепробиваемыми стёклами, не спеша вылез некто грузный с пакетом. В коридоре раздался звонок, кто-то открыл и был весьма изумлён, если не ошарашен.

Тут, надо сказать, акции писателя в коммунальной квартире повысились. Новый, чрезвычайно импозантный визитер обогнул сундук, постучался в дверь костяшками пальцев.

«Привет, — сказал он. Писатель открыл рот. — Не узнаёшь?»

Высокий гость шагнул в комнату столу, положил пакет на стол. Снег капал с его барашковой папахи.

«Узнаю, — проговорил, наконец, хозяин. — Сергей?»

«Он самый».

Из внутреннего кармана шинели была извлечена плоская фляга тёмного стекла. Гость искал, куда бросить шинель и папаху. Писатель кивнул на раскладушку. Гость остался в мундире с планками орденов, в золотых погонах, в синих брюках с красными лампасами. Фантастические харчи явились из пакета.

Гора с горой не сходится, объявил он, а человек с человеком...

Какой же это род войск, спросил писатель.

Генерал сам добыл из шкафа стаканы (рюмок не оказалось), разложил на тарелках бутерброды с паюсной икрой и сёмгой.

«Род войск, хе-хе. А всё тот же».

Нарезал тонкими ломтиками лимон. Тягостное молчание повисло. В воздухе. Вздохнув, уселись.

«Ну-с... — Грозный гость вознёс стакан с тёмно-золотистым напитком. — Со свиданием, так, что ли?»

Теперь было видно, что Серёжа почти не изменился. Прошлое не меняется.

Поседел, полысел, это верно. Массивен. Ироничен. И всё-таки. Те же небольшие, полуприкрытые веками глаза, черты лица выразительно-невыразительные. Автоматически, словно загипнотизированный, писатель взялся за свой стакан. Чокаться, однако, не стали.

«Так-то оно будет веселей». Генерал жевал бутерброд. Бровями — на тарелку с яствами: дескать, не отставай.

«Коньячок ничего себе...»

Писатель разглядывал оставшееся питьё в стакане.

«Неплохой коньяк, говорю!»

Писатель кивнул и допил. Тотчас было налито по второй.

«Гора с горой не сходится, а человек с человеком... Понимаю, всё понимаю. — Генерал вертел свой стакан. — Мой визит, как бы это сказать. Не очень приветствуется, а?»

«Значит, это правда», — сказал писатель.

Генерал хмыкнул, приложился к стакану.

«А ты разве сомневался?»

«Я сперва хотел тебя выгородить, думал, что и ты», — сказал писатель.

«Похвально. И что же дальше?»

«Что дальше? Следовательно сам тебя выдал».

«Как это? А, ну да. Спрашивал обо всех, а обо мне молчок, верно?»

«Тебя как будто не существовало».

«Угу. А может, меня и вправду не было?»

«Может, и меня не было? — возразил писатель. — Может быть, мы просто-напросто действующие лица какого-нибудь бездарного романа?»

«И это возможно, — сказал гость. — Жизнь, она ведь сама по себе бездарная штука, чего ж тогда требовать от литературы. Твоё здоровье... Ладно, шутки в сторону. Рад тебя видеть. Что ты жив остался».

Снова сгустилось молчание.

«Скажи, Сергей, — проговорил писатель. — Я не спрашиваю, как ты меня нашёл. Найти нетрудно... Скажи... Зачем ты пришёл?»

«Не пришёл, а приехал. Я ведь не в Москве нахожусь... Зачем... Это вопрос!»

«Я всё помню».

«Я тоже!»

«Я был не первый. Наверно, и не последний».

Генерал искоса, подняв бровь, глядел на друга.

«Ты меня посадил», — сказал писатель.

«Не я. Тебя государство посадило».

«Ты приехал убедиться, что я всё знаю?»

«Давай ещё по одной... У тебя курить можно? Ничего ты не знаешь».

Гость протягивал ему раскрытый портсигар, писатель улыбнулся жалкой улыбкой. «Дукат?» — спросил он.

Генерал щёлкнул зажигалкой, затянулся и выпустил дым к потолку.

«Причём тут Дукат?»

«Disatum значит герцогство по-латыни»

«Я не герцог. Какой там Дукат, это заграничные... Так на чём, стало быть, мы остановились? Я твои чувства прекрасно понимаю».

«Сколько тебе заплатили, Серёжа?»

Генерал помрачнёл. Тяжело взирал на писателя.

«Мы были друзьями...».

«Да. Мы были друзьями. Если ты думаешь, что я пришёл оправдываться, то ошибаешься. А если всё ещё не понял, я объясню».

Пауза. Что тут объяснять, думал писатель.

Генерал сказал:

«Всякое государство должно защищаться. Наше — тем более».

«Чьё это — наше?»

«Наше. Моё и твоё. Подчёркиваю: особенно такое государство, как наше».

«От кого?»

«Что — от кого?»

«От кого защищаться?»

«В том числе и от таких, как ты. Ты пей. Закусывай... Я, конечно, имею в виду не тебя сегодняшнего, а твои тогдашние настроения».

«Откуда ты знаешь, что мои настроения изменились?»

«Я думал, жизнь тебя научила».

Генерал поднялся и подошёл к окну.

«Пурга-то какая».

Руки в карманах форменных брюк, крепкий красноватый затылок. Тёплый, тусклый туман ресторанного зала, медленно вращается, перебиваясь цветными огнями, люстра. Жирный конферансье, официантка в фаргучке, тесная юбка вот-вот треснет на широких бёдрах.

Лысый глянецвый певец.

Вдоль по Питерской. С кала-а-кольчиком. Да эх.

Генерал насвистывал мотивчик.

Он вернулся к столу.

«Наше государство, наше социалистическое государство, устроено так, что критиковать его, а точнее сказать, клеветать, — нельзя. Недопустимо. Почему? Вроде бы ясно. — Он снова разлил коньяк по ста-

канам. — Но я объясню. Потому что критиковать значит требовать перемен. А любые перемены, реформы, даже самые осторожные, для такой системы опасны. Наше государство монолит. Каков он есть, таков он и есть. Это не глина, которую можно мять так и сяк. Попрошу меня не перебивать».

«Да, монолит. Твёрдый, но хрупкий. А теперь вспомни, — продолжал он, — что ты говорил. Как был настроен. Я-то хорошо помню».

«Ещё бы. Всё записывал».

«Записывал или не записывал, не обо мне речь. Ты говорил — фашистский строй. Как у немцев. Может быть, и фашистский, — Серёжа ухмыльнулся, — ну и что? Что с того, я спрашиваю. Давай, — сказал гость, берясь за стакан. — Во-первых, неизвестно, что лучше. Я имею в виду, какой режим лучше, хваленая демократия или твёрдый порядок. А во-вторых... Давай».

Они чокнулись.

«А во-вторых, и это, брат, самое главное... Что есть, то есть. Менять ничего нельзя, упаси Бог. Иначе начнётся такое, что... Русский народ — это, может быть, самый терпеливый народ на свете. Но если дать ему волю, если чуть-чуть ослабить контроль. Тут, брат, такая начнётся заваруха. Костей не соберёшь»

Серёжа погрозил пальцем, раздавил в блюдце окурок.

«Тебе, может быть, и казалось, что надо сказать правду, открыть людям глаза... А я тебе скажу, что в государственных делах, в которых такие, как ты, ни хрена не смыслят, правда, она подчас хуже всякой лжи. Вреднее всякой лжи! Что значит сказать правду? Это значит призывать к перевороту. Вот так, друже. Сегодня ты говоришь мне, завтра скажешь другим. Слабых, неустойчивых сколько угодно. Особенно среди тогдашней молодёжи. Уж нам-то это хорошо известно... Вот они и подумают: а на хера всё это терпеть? Пора приступать к делу. Листочки писать, что-нибудь этакое, а может, и посерьёзней. Да ты и сам, кажется, собирался...»

В комнате сделалось сумрачно, гость вздохнул, погладил затылок.

«Вот что. — Он вытащил из нагрудного кармана блокнот. — Мне неудобно выходить...»

Держа в руках листок, писатель прочёл: *Живо. Одна нога здесь, другая там. Генерал Колесников.*

Он вышел из подъезда, перешёл на другую сторону, приблизился к чёрному лимузину и заглянул в заснеженное окно. Человек опустил стекло, писатель показал записку. Несколько времени спустя позвонили в коридоре. Писатель отворил парадную дверь и принял от шофёра новый пакет и бутылку.

Время отступило. В полутьме, не зажигая света, гость и хозяин сидели за столом, понурясь, жевали, о чём-то думали, подносили к губам спасительное зелье. А помнишь, говорил один, как мы с тобой. Как не

помнить. Молодость, она, знаешь. А эту помнишь. Как же, было дело. Ничего у меня с ней не вышло. Наверно, сейчас старуха. А может, и померла. Вот так, брат. Жизнь-то, а? Житуха наша. Как обернулась. Ты уж меня прости. Служба, ничего не поделаешь. Ты тогда в институт этом учился, как его. Ну да. Это ведь тоже служба была. Назвался груздём, полезай в кузов. Да чего уж там. Ладно — кто старое помянет. Это ты правильно сказал. Я ведь тебя любил. А я, думаешь, не любил. Ещё как. Такие дела. Жизнь никого не щадит. Может, тебе помочь. Да чего там помогать, спасибо. Ты как живёшь-то. Да ничего, живу. Помаленьку. Один живёшь. Да как тебе сказать. Может, тебе чего надо. Ты скажи. За тебя, брат. И за тебя. Со свиданьем. Гора с горой не сходится.

Обнимались, тихонько пели:

«Вдоль по Питерской...»

XLVII

Слава Богу, живём в большой стране

1 марта 1977

Что за день, думал писатель. Ноги тащили его к зловещему зданию. Такая же пасмурная погода стояла и в тот день, обманчивая петербургская весна. Мостовая блестела от сырости. Дым рассеялся, император выбрался из кареты. «Хорош, — сказал он, взглянув на Рысакова, и, отвернувшись, пробормотал: — un joli monsieur»¹. Император ждал смерти вот уже сколько лет. Кажется, снова обошлось. «Ваше величество, — кто-то подбежал, — вы ранены?» — «Я нет. Слава Богу. А вот...» — кивнул на двух умирающих: конвойного черкеса и прохожего мальчика. В эту минуту писатель, войдя в подъезд, предъявил повестку и паспорт.

Царь шёл нетвёрдой походкой к решётке канала, к человеку, который стоял там, скрестив руки. Человек не снял шапку. Царь смотрел на него с любопытством. Гриневицкий поднял руки с пакетом и сделал шаг навстречу. Бомба шмякнулась о бульжную мостовую, грохнуло, полетели камни, император, с помутившимся взором, в ключьях обгоревшей одежды, с полуоторванными ногами сидел в луже крови, прислонясь к решётке, а в двух шагах от него на мостовой, с развороченным животом корчился Гриневицкий.

Писатель явился, как положено, на Кузнецкий мост для допроса после домашнего обыска и изъятия компрометирующих материалов. Ему указали комнатку слева от проходной, окно забрано решёткой, стол и два стула. Минут через пять вошёл человек в штатском. Он

¹ Здесь: Какая всё-таки сволочь (фр.).

был русоволос, не стар и не, молод, со светлым невыразительным лицом. Поздоровался кивком, сел напротив, вынул портсигар. Протянул подследственному.

Писатель покачал головой.

«Ну и я не курю», — сказал сотрудник, не назвавший себя, и спрятал портсигар.

«Ну что ж... — проговорил он, не спуская светлых глаз с посетителя. Кажется, что он смотрит не на тебя, а сквозь тебя. Капитан, майор? — О чём же мы с вами будем беседовать?»

Писатель сделал неопределённое движение, дескать, это уж ваше дело.

«Давайте сразу договоримся. Я никаких протоколов составлять не собираюсь, хотел бы просто с вами побеседовать, а вас попрошу не хитрить, не притворяться, что вы не понимаете, в чём дело, для чего вас вызвали... Не строить из себя целку!»

Он употребил это непристойное выражение просто и непринуждённо, как если бы оно давно стало общеупотребительным, — что, вообще говоря, так и было, — давая понять, что беседа будет непринуждённой. Но в этой конторе все слова надлежит понимать по-особому. «Побеседовать» — это было в некотором роде нововведение. Писатель насторожился.

«Ну вот, — офицер усмехнулся — вижу, вы уже изготавились к обороне».

Он вздохнул, поиграл ключом. Открыл ящик стола и вынул знакомую пухлую папку с наклейкой «Дело №...», со штампом «ХВ» — хранить вечно. В просторечии: Христос воскрес. Канцелярское бессмертие.

«Боюсь, что оно не устарело, — сказал офицер, похлопывая по следственному делу. — Вы как считаете?»

«Я реабилитирован», — сказал писатель.

«Как же, как же; а я разве говорю что-нибудь против?»

Он листал дело.

«Вот тут есть любопытные вещи, — пробормотал он, — похоже, что вы собирались скрыться...»

После этого явилась на свет ещё одна папка, перевязанная крест-накрест шпагатом.

«Это я вам возвращаю, это нам не нужно...»

Писатель получил назад свою рукопись.

«А у меня к вам, кстати, вопросик. Касательно вашего, этого... Опять же не для протокола. Вот вы называете одного из... скажем так: одного из крупнейших людей нашего времени — карликом. Почему?»

«Он был низкорослым».

«Людей невысокого роста много. Однако мы не называем их карликами. Карлик — это...»

«Карлик — это карлик».

«Угу. Но согласитесь, что читатель, если только он не полный идиот, понимает, что вы имели в виду не только рост».

«У меня нет читателей».

«Ну, ну, ну. Каждый писатель рассчитывает, что у него в конце концов найдутся читатели. Для потомства пишете, а? Хорошо, оставим это. Но мне всё-таки интересно, чем объясняется такое отношение к одному из... вы ведь согласны, что история нашей страны немыслима без него. Или я ошибаюсь?»

«Тем хуже для истории».

«Кстати, вы тут где-то в другом месте отзываетесь об истории весьма даже презрительно...»

«Она этого заслужила», — мрачно сказал писатель.

«Откуда вы знаете?»

«Мы все современники...»

«То-то и оно, что современники, — сказал майор. (Допустим, что это был майор.) — История, знаете ли, меняется. Сегодня одно, завтра другое. Можно так повернуть, можно этак. Историю, я вам скажу, хуже всего понимают как раз те, кого она, пардон, за жопу взяла».

«То есть современники?»

«Они самые». Человек снова раскрыл и протянул портсигар.

«Спасибо, вы уже спрашивали».

«Но, может быть, вы передумали».

«Передумал, стоит ли курить?»

«Передумали, стоит ли так унижать нашу страну, её вождя... А впрочем, хрен с ним, — неожиданно сказал майор. — Умер Максим, ну и... Вернёмся к делу. Я всё-таки закурю, если позволите...»

Архивная папка лежала перед ним, он постукивал ногтями по обложке. Кошка играет с мышкой. Майор сладко затаился и пустил струю дыма в потолок.

«Вас реабилитировали, разрешили вам жить в Москве, а вы опять за своё. Опубликовали... простите, не хочу вас обижать... свою стряпню за границей. Сам этот факт, знаете ли... не говоря уже об издательстве. Известное издательство, знают, что им печатать... И кто они такие, тоже известно. Книжка ваша тянет на статью, скажу вам прямо, на сто процентов. С первой страницы до последней».

«Какая книжка?»

«Ну, ну, ну. Будто вы не знаете».

Теперь из ящика явилась и книга.

«Не моя, — сказал писатель. — Я её читал, но... написал не я».

Майор испустил тяжёлый вздох.

«Ну вот опять. Я же просил. Я, между прочим, не для того вас пригласил, чтобы добиваться признания. Тут дело ясное! Если уж на то пошло... — он презрительно взглянул на роман, швырнул его в стол,

взглянул на писателя, — мне ничего не стоит сейчас же выписать ордер на арест, и разговор окончен! Какая статья, сами знаете. Она теперь усовершенствована. Хранение, распространение, то до сё. Публикация клеветнических материалов за рубежом. Вот так, уважаемый... — тут он в первый раз назвал сочинителя по имени-отчеству. — Кстати сказать, не обижайтесь, роман-то, между нами говоря, ни в какие ворота».

Он раздавил папиросу в пепельнице, встал, выглянул в коридор и сделал знак кому-то. Оба молча сидели друг против друга. В дверь деликатно постучали, явилась с подносом пышнобёдрая буфетчица в наkolке и круглом передничке.

«Угощайтесь». Офицер вдумчиво мешал ложечкой чай в стакане с подстаканником, отхватил крепкими зубами кусок бутерброда с ветчиной. Следом за ним взял стакан и писатель, обжигаясь, отпил глоток.

«Бежать задумали?» — неожиданно спросил майор.

«Как это, бежать».

«Уехать. Есть такие случаи. По еврейской линии... Ведь у вас папа был, если не ошибаюсь, каким-то боком? А кстати, что с ним случилось?»

«Вы же знаете...»

«Вы что, думаете, мы всеведущи?»

«Он погиб, — сказал писатель. — В сорок первом году».

«На фронте? Вот видите. Отец проливал кровь за родину, а вы эту родину собираетесь оставить».

На что писатель возразил, что не собирается, да и вообще впервые слышит.

«Так уж и впервые! Все знают, вся Москва, можно сказать, только и говорит об этом на кухнях. А вы не слышали. Впрочем, действительно, — сказал он, вытирая пальцы бумажной салфеткой, кивая рассеянно, словно говоря сам с собой, — что вам там делать? Это ведь только, пока вы здесь, на вас обращают внимание. А приедете — кому вы там нужны?»

Приоткрыв дверь, он щёлкнул пальцами. Снова явилась упитанная буфетчица забрать поднос, сотрудник оценивающе смотрел на её фигуру.

«Н-да...»

Вздыхнул, сложил руки на груди, склонил голову на плечо.

«Я понимаю, вы хотите сказать, что вам здесь не дают заниматься литературой, преследуют, грозят посадить снова...»

Майор встал. Повертел головой, оглядывая потолок, хлопнул в ладоши.

«Это так, профессиональная привычка, — промолвил он, усмехаясь. — Разведка есть разведка, она ведь и против себя тоже работает. — Сел. — Так о чём бишь...»

«Я бы вам не советовал, — сказал он. — По-человечески не советовал бы. Ну, помурьжат вас, разок-другой придут с обыском. На допрос вызовут. Это же для вас не новость. Снова будете отпираться... Ну, в крайнем случае поживёте сколько-то времени, так сказать, на природе. У какой-нибудь бабы. Вдали от суеты... Вы ведь стреляный воробей».

Что он имел в виду, ссылку?

«Долго не продлится. А вот эмигрировать не стоит. Нет смысла... Немного терпения. Тут ведь дело такое: скажем прямо, пахнет керосином».

Он барабанил пальцами по столу.

«М-м?» — взглянул на писателя. Подследственный молчал.

«Керосинчиком, керосинчиком пахнет. Эксперимент не удался. Не вышло, прямо скажем. Сидим все, пардон, в жопе. Нужно что-то предпринимать. А для этого, как вы понимаете, нужна крепкая рука, нужны смелые, ответственные люди. Надо выволакивать страну из дерьма... Вас, конечно, удивляет такая откровенность. Но ведь это почти что, можно сказать, и не тайна. Можете настучать на меня, я не возражаю. Но уж тогда вместе сядем, хе-хе!»

Офицер встал, прошёлся по тесной комнатке, и, как всегда, невозможно было понять, лжёт он, как все они, — пудрит мозги, ломает дурака, — или всё это говорится всерьёз.

«Тут такие дела готовятся, а вы собрались драпать... (Писатель сделал протестующий жест, человек остановил его.) Ну, пять лет, ну, восемь от силы — сколько это ещё может продолжаться? А потом крах. Да ещё какой. Страна у нас огромная, если уж рухнет, то такой будет трагедией! Все усилия, жертвы, вся наша, можно сказать, славная история — псу под хвост. Света белого не увидим. Не-ет-с, — и он помахал пальцем перед носом подследственного, — этого допустить нельзя, мы и не допустим. Можете думать о нас что хотите, но только единственная сила, которая может спасти Россию, — это мы! Да, мы, государственная безопасность. Вот такие дела, уважаемый. А вы говорите...»

Писатель, несколько обескураженный, выслушал эту тираду. И так, даже они... Или это какой-то новый спектакль, который разыгрывают перед ним, — зачем, с какой целью?

Да не мы одни спрашивали себя, на чём всё это держится, и не находили ответа. И, однако, не могли представить себе, чтобы этот режим когда-нибудь испустил дух.

Писатель чуть было не спросил: а как же будет со мной?

«Что же мне с тобой делать... — неожиданно перейдя на ты, проговорил майор, капитан или кто он там был, и пожал плечами. — Следствие продолжается! Кто однажды отведал тюремной баланды... как это говорится?»

«Будет жрать её снова».

«Ну уж и пошутить нельзя. Ладно! — Он хлопнул ладонями по столу. — Заболтался я с вами, где у вас повестка-то...»

Он небрежно черкнул что-то. На нетвёрдых ногах составитель этой, вопреки разным несуразностям, всё же правдивой хроники направился к выходу. На улице моросил дождь.

Первое марта, пасмурный денёк... Два взрыва на Екатерининском канале.

XLVIII

Сон без сновидца, называемый действительностью

1 марта 1977, вечер

Он вернулся домой сильно утомлённый и, как был, не раздеваясь, повалился на раскладушку. И ему опять стало сниться: сперва, выходя на крыльцо вахты, он ещё сознавал, что видит сон, с любопытством ждал, что будет дальше; ночь была ясная и морозная, и небо над головой усыпано брильянтами, мелкими и покрупнее. Где-то там, не видимый глазом, должен был нести вахту Сатурн, планета лагерей. И понемногу действительность вступила в свои права, и, прохаживаясь от пожарного депо к магазину для вольнонаёмных, поскрипывая подшитыми валенками взад-вперёд, оставляя за собой угловую вышку, где темнела фигура стрелка и два огненных глаза били под прямым углом, над тыном и навесом с рядами колючей проволоки, и возвращаясь назад, он окончательно уверился в том, что все происшествия этого дня, приемная на Кузнецком мосту, болтовня майора в штатском, покушение на Александра II, комната родителей, куда он вернулся с допроса, если это был допрос, а не что-то тайное, двусмысленное и пахнущее провокацией, — что всё это приснилось ему, когда, усталый, он присел на ступеньки магазина и задремал ненароком. Он открывает глаза, дрожа от холода, встаёт на затёкшие ноги. Воспоминание о сне исчезло, он хлопал себя по бокам, похрустывал валенками по снежной тропе и более ни о чём не думал.

Но правильной будет сказать, что мысль его, вслед за телом, как бы окоченела, сосредоточилась на одном: он выжидал. Он следил за временем, поглядывал на Большую Медведицу над тёмным лесом и постепенно удлинял свой маршрут. И вот уже, чуть погода, человек-тайна, человек себе на уме шибко шагает в непроглядной тьме и, наконец, дошёл до оврага. Он вспомнил: деревня называлась Кукуй.

Он стоит на крыльце и топает валенками, отряхивая снег. Постучался в дверь. Вдруг оказалось, что дверь не закрыта. Это оттого, что его ждут. Он вошёл в сени, в темноте нащупал скобу и, наклонив голову, переступил порог избы. Никого не оказалось, на столе горела свеча, блестел жестяный венец вокруг неясного лика Богородицы, на стене

пощёлкивал маятник часов-ходиков, висел плакат «Все на выборы». В ужасе он понял, что попал в ловушку, законвоируют, добавят срок, переведут на другой лагпункт, — и весь в поту проснулся.

Было жарко в одежде. День угас. Писатель сел на койке. Кто-то ещё, кроме него, находился в комнате: он услышал слабый смешок. В сумерках она сидела вполоборота, и, как когда-то, поблескивали её глаза, белело лицо в платке.

«Ты здесь? — проговорил он. — А я сейчас был в деревне, прихожу, тебя нет. Нехорошо оставлять огонь, спалишь избу... Куда ты пропала?»

«К тебе поехала», — был ответ.

«Как же ты меня разыскала... столько лет прошло».

«Вот так и разыскала».

Он продолжал расспрашивать: «А как же твои ребята?»

«Они уже взрослые, зачем я им?»

И он подумал — в самом деле, причём тут дети, он никогда ими не интересовался.

Тут ему пришла в голову простая мысль, что там, в лесном и болотном краю, время не может идти так, как оно идёт в столице. Там время не спешит. Там правит Сатурн. И его не удивило, когда, привыкая к сумраку, он увидел, что она ничуть не изменилась. Всё так же стояла её высокая грудь, светилась открытая шея, и ровные зубы белели в улыбке.

Она сбросила на плечи платок, вынула гребёнку из ореховых волос, снова вставила.

«Маша, — сказал он, чуть не плача от счастья, — Маша... А я так скучал по тебе. Я тебя не забыл!»

«Вот и свиделись», — сказала она спокойно.

«Я думал, никогда больше не увижу тебя».

«Куды ж я денусь».

«Ты никуда не уедешь, ты здесь останешься?»

«Не знаю. Коли ты не против...»

«А дом, — сказал он, — можно продать».

«Какой дом?»

«Твой, в деревне. Мы поедем вместе, что надо, заберём. Сейчас можно ехать свободно, лагеря уже нет».

. «Это кто тебе сказал, что лагеря нет. Лесу, может, и поубавилось. А лагерь, — она усмехнулась, — куды ж он денется».

«А деревня?»

«Очнись, милый. — Что-то материнское звучало в её голосе, и чувствовался знакомый северный акцент. — Ведь сам говоришь, неровен час, можно спалить избу. Вот она и сгорела. В деревне, может, кто и остался, а дома больше нетути!»

«Ну и Бог с ним, — согласился писатель. — Даже ещё лучше. Маша! Что это мы всё говорим не о том?»

«А о чём говорить-то. Ну вот, — засмеялась она, видя, как он встаёт, тянется её обнять, — опять за рыбу деньги. Чуть только пришла, он уж снова за своё».

«Маша, я ведь тебя люблю. Только одну тебя по-настоящему и любил. Веришь ли, думал: а что если мне туда вернуться... Маша! У меня никого больше нет, одна ты и осталась».

«Так уж и одна...»

«Возился тут с одной, ничего от тебя не утаю, но поверь, Маша, любовь бывает только одна! Я всё помню, я ничего не забыл... Вот говорят, — бормотал он, сидя на раскладушке и вперяясь во тьму, — вот говорят, тоска по лагерю... А ведь это правда. Ведь это же, можно сказать, самый что ни на есть законный образ жизни для русского человека. Небось слышала поговорку: кто однажды отведал баланды...»

Она перебила:

«Нешто ты русский?»

«А кто же я? Господи, я и сам не знаю, кто я... Вот и я думал: ты там, возьми и вернись...»

«Не болтай! — послышался строгий голос. — Освободился, Бога благодари».

«Вот я думал: плюну на всё и махну к тебе. И будем там жить-поживать... — Он спохватился: — Ты говоришь, дом сгорел? Ну что делать — приедем сюда».

«Тесновато будет», — сказала она задумчиво.

«Как-нибудь устроимся, Маша... Иди скорей, Маша. Иди ко мне...»

«На койке, говорю, вдвоём тесно будет... Да не гожусь я больше для таких дел, милый. Ты небось и не заметил».

Повернув голову, он увидел, что гостя всё ещё сидит боком к столу, силуэт на фоне светлого окна обведён серебряной каймой. Она встала, провела руками по груди и широким бёдрам.

«Раздеться мне, что ль, или так видно?»

И действительно, он увидел выбухающий живот.

«От кого же ещё...» — сказала она спокойно, отвечая на невысказанный вопрос.

«И ты молчишь?» — вскричал писатель.

XLIX

Побег №3. Поруганное отечество

24 апреля 1980

1

Зыбкая, смутная, как сама действительность, как проект ненаписанной главы, погода сопровождала весь его долгий путь. Он высадился

в большом городе, стоял шум, шёл дождь, он двигался в толпе пассажиров, — это был, вероятно, вокзал, — постепенно всё смолкло и опустело, — в сумерках, под низкими, серыми, как намокшая вата, облаками, прыгая через тускло блестящие рельсы, пробираясь между вагонами, он достиг отдалённой платформы, и там ждал другой состав, путешественник смутно помнил, что должен был пересесть на поезд, идущий на Котлас, но оказалось, что он уже на той станции, откуда предстояло ему ехать в засекреченное лагерное княжество: длинная череда теплушек и два или три вагона для вольнонаёмных ждали отправления, — и он взобрался, никем не замеченный, в вагон. Послышались крики команды, топот, говор, этап из России прибыл — но разве и эта станция не была Россией? — и началась торопливая посадка. Но в вагон, где он сидел, никто не вошёл, и так он и поехал, один, лёжа на скамье.

Ночью его растолкали, милиция, подумал он, дело происходило в далёкой вымершей деревне, в заброшенной церкви, где он заночевал, — и понял, что всё пропало, сейчас потребуют документы; но это оказался контролёр с фонарём. Где мы, спросил пассажир. Контролёр ответил: в немецком трофейном вагоне. Пассажир не понял, как это, в немецком? Был немецкий, а теперь русский, отвечал контролёр и протянул руку за билетом; ты что, забыл, что мы победили. Потом сказал: пропуск. Пассажир спохватился, ведь они въехали в закрытую зону, а о пропуске он забыл; в отчаянии он протягивал мужику деньги. Тот, не говоря ни слова, сунул купюру в карман, он вовсе не был контролёром, а ходил по вагонам, собирал на выпивку, — и, покачивая керосиновым фонарём, двинулся дальше по гремящему шагкому вагону.

Пассажир стоял перед грязным окном, дожидаясь, когда конвой внизу пересчитает людей, видел, как колонна колыхнулась и поспешно всей массой стала сходить и съезжать с насыпи, — построились, конвой прокричал команду, двинулись, растворились во мгле, — лишь после этого он выглянул из тамбура: никого, — и спрыгнул с подножки. И тотчас раздался свисток, лязгнули буфера, состав двинулся в обратную сторону. С деревянным чемоданом и дорожным мешком за плечами приезжий шагал по шпалам узкоколейки, он помнил дорогу и знал, что дорога повернёт в сторону, вовремя сошёл, там была проложена лежнёвка, рельсы из длинных жердей для вагонок; идти по ступняку, разбитому лошадиными копытами, кое-где вовсе провалившемуся, было неудобно, он пошёл по осклизлой лежне, опираясь на палку, чтобы не оступиться в болото, держа в левой руке чемодан.

Так он добрался до лагпункта, осталась в стороне казарма, он прошёл мимо сарая электростанции, миновал магазин для вольняшек, конюшню, пожарное депо. Впереди тянулся высокий тын, увешанный лампочками, с угловой вышки над проволочными рядами бил прожектор, было тёмное утро. Небо очистилось, в вышине горели созвездия.

Ворота были широко раскрыты, вокруг стоял конвой с овчарками на коротком поводке, смиренно сидевшими на костлявых задах. На крыльце в длинной шинели и лисьей шапке стоял сам начальник лагпункта. Понеслась жестяная громахающая музыка, это дул в трубы лагерный оркестр. Начался выход бригад.

Никто не заметил, не видел приезжего; он ждал; развод кончился, ворота закрылись. Небо над лесом пожелтело, побагровело, он не мог понять, что это: восход, закат или зарево дальнего пожара, и шёл тёмной таёжной тропой, стало жарко от быстрой ходьбы, и так как он был — раньше каким-то образом не заметил — в бушлате, то расстегнулся, стащил с головы взмокнушую ушанку, — наконец, вышел к оврагу. По ту сторону находилась деревня. Он подошёл к крайней избе, взобрался на крыльцо, никто не откликнулся на его стук. Он спрыгнул, подкрался к тёмному окошку и тут только заметил, что и окна, и дверь заколочены крест-накрест старыми, потрескавшимися досками.

А ведь она должна была его ждать. В недоумении он двинулся дальше, деревушка, десяток угластых изб, казалась вымершей, всё же кто-то появился вдали. Он спросил у горбатой, сморщенной бабуши, что случилось, куда она делась. Кто? — спросила старуха. — Тебе кого надо? Старая ведьма была к тому же ещё и глуха. Маша! Маша! — закричал, теряя терпение, путешественник. — Которая Маша? Эва, прошамкала она, да ведь она померла. Сердце оборвалось у приезжего, как, прошептал он, как это померла! когда?.. Да тому уж лет десять, сказала старуха.

2

Сон или не сон, говорил он себе, но в любом случае — перст судьбы. Это было одно из тех путешествий (сколько их уже было!), когда нет уверенности, что доберёшься до цели, когда неизвестно, встретит ли тебя кто-нибудь; поездка в направлении, обратном течению времени.

Ночной поезд шёл теперь значительно быстрее, в Горький прибыли через каких-нибудь 9–10 часов. Здесь предстояла пересадка на маршрут Котельнич — Котлас до полусекретной станции, единственной, которую ещё можно было отыскать на карте. Путешественник не нуждался ни в каких картах. По прибытии он увидел за концом платформы верстовой столб, четырёхзначное число.

Под проливным дождём он пробирался через путаницу чёрноблестящих рельс, обходил мёртвые составы, скелеты вагонов; неизвестно и не у кого спросить, ходят ли ещё по лагерной ветке на север. Расписания не существовало, пробовал расспросить какого-то мужика в брезентовом армяке; судя по невнятному ответу, в иные дни можно было сутками дожидаться отправления. В старом немецком трофейном вагоне с полустёртой надписью «Reichsbahn» писатель качался на лавке,

поезд стучал, гремел, путешественнику снился дальний путь, снились леса, летящие за окном; открыв глаза, приподнявшись, он видел в слезящемся стекле всё ту же дощатую платформу и ни одной живой души, вновь раздался свисток, вагон вздрогнул, взвизгнули колёса. Вошёл человек в рубище, в фуражке контролёра.

Пассажир вспомнил детскую книжку: *это что за остановка, Бологое или Поповка?* Где мы, спросил он. Колевец, отвечал контролёр. Аа, проговорил пассажир, с трудом преодолевая сонливость, а следующая? Человек пожал плечами, следующая Керженец, сказал он. Пассажир покачал головой, хитро усмехнулся, вы, наверное, здесь недавно, Керженец давно проехали; Лапшанга — вот какая будет следующая. А за ней Белый Лух. Ошибаетесь, гражданин, какой-такой Белый Лух, нет тут никаких белых лугов, холодно возразил контролёр. Да что вы мне говорите! — пассажир вышел из себя, — я тут... — он хотел сказать: я тут жил. Вам куда надо-то? — спросил контролёт. А вот туда, буркнул пассажир, чуть было не прибавив: не твоё собачье дело, и протянул билет. Контролёр щёлкнул компостером. Ваш пропуск, сказал он. — Какой ещё пропуск, я же вам показал билет. — Билет билетом, а пропуск пропуском, закрытая зона, отвечал наставительно человек в фуражке. Всё ещё закрытая? — пробормотал пассажир. Чего ж там закрывать? Он рылся в бумажнике. Премного благодарим, отвечивал контролёр, сунул трёшку в карман, и прошло ещё некоторое время. Путешественник, в резиновых сапогах, с заплечным мешком, стоял в одиночестве на песчаной полосе, тянувшейся вдоль рельс, полустанок назывался Белый Лух. Невдалеке холмик, покрытый бурой прошлогодней травой, и полосатая перекладина, это был конец железной дороги. На ручных часах приезжего было десять часов, всё ещё московское время. Он смотрел, как маленький пыхтящий паровоз с длинной трубой совершал манёвр, чтобы подцепить сзади короткий состав. Тёмный занавес туч висел над станционной избушкой, над остатками леса. Дождь утих, готовый зарядить сызнова. Конец света, крайний северный лагпункт.

На самом деле вовсе не конец, — этак можно полстраны считать концом света. Писатель рассчитывал за полчаса добраться до бывшего посёлка вольнонаёмных, а оттуда, если не запугаешься, до Кукуя будет не больше часа бодрым шагом. И он шагал по заросшей насыпи, где когда-то пролегал лесовозный ус, — кое-где ещё лежали потрескавшиеся, полусгнившие шпалы. Мимо буйно разросшихся куртин, через кладбища замшелых пней, мимо болотной трясины и густого подлеска, когда-нибудь он вновь станет тайгой. Он шёл и шёл, а часы показывали одно и то же время. Должно быть, остановились. Увидел где посуше и выбрался, наконец, на знакомую дорогу — до посёлка не больше двух километров. И чем ближе он подходил, тем отчётливей чуял родной запах. Ветер нёс навстречу автору этой хроники испарения лагеря.

Что же он увидел? Да ничего: несколько деревянных домов, кто-то живёт; выбежала собака, завyla, закашляла, подняв острую морду к серым небесам; он знал: надо идти не торопясь, не останавливаясь, и зверь отстанет; он узнал сарай своей электростанции, пожарное депо, избушку магазина — всё стоит на своём месте. Но зона, самое главное, — зона порушена, нет больше тына, нет вахты, нет вышек. Остатки ржавой колючей проволоки висят кое-где на столбах запретной полосы. Среди болотных трав стоят в воде почернелые бараки с выбитыми стёклами, с провалившейся крышей.

Путник с тоской озирает эту картину. Это было зрелище рухнувшей лагерной цивилизации. Он сказал себе, что все эти годы чувствовал себя эмигрантом среди живших на воле. Ты знал, что твоё происхождение никуда не делось, не рабочий, не крестьянин, не интеллигент, — заключённый — вот сословие, к которому ты принадлежишь, и твои бумаги всюду следуют за ним, и бушлат, и валенки, расширяющиеся книзу, и лагерная пайка, место на нарах и очко в сортире ждут тебя, и придёт время — ты вернёшься. И вот он, наконец, вернулся, и что же? Отечество его души, брошенное, осиротелое, обвалилось и догнивает в болотах.

Он свернул к бывшей казарме. На верёвке между шестами висело бельё, на окнах занавески. И здесь обитал кто-то. Путник торопился, изпод полога лиловых облаков проглядывал жёлтый закат. И было уже темно, когда он вышел из леса, перебрался через глинистый овраг, подошёл к дому. Мёртвые окна отсвечивали, как слюда.

Где-то очень далеко хлопнул и прокатился выстрел. Снова тишь, слабый шелест дождя.

Он стоял на крыльце. Нужно было собраться с духом. Нужно раз навсегда покончить с хронологией. Но мы и так с ней покончили. Истинное время повествования следует иному порядку. Вспомнил он и слова Маши — будто изба сгорела. Ничего подобного, это был тот же старый, но всё ещё крепкий дом на краю таёжной деревушки. Писатель вобрал в себя воздух, как перед прыжком в воду, поднял кулак и дважды, негромко стукнул.

Слабо скрипнула дверь в сенях. Отщёлкнулась задвижка наружной двери. Ему открыли. Она, разве только чуть располневшая, босая, в длинной деревенской рубахе, с круглым мягким лицом, с большой грудью. Дрогнувшим голосом странник спросил: узнаёшь меня? В полутьме с трудом можно было различить её улыбку. Значит, она была рада? Ему показалось, что она его ждала. Это было совсем уж невероятно. Он не успел прибавить ни слова — она прижала палец к губам. Он остался стоять в тёмных сенях.

Чуть погода его впустили в избу. Как в далёкие времена, на столе горела керосиновая лампа. Поблескивал образ в углу. Широкая кровать

была разобрана. Что-то скрипнуло, заплакал ребёнок. Приезжий обернулся. Рослый мужик в майке, с татуировками на плечах, в галифе и тапочках, покачивал деревянную кровать-зыбку, нагнулся, вынул дитя из зыбки. Маша — на ней была белая блузка и тёмная просторная юбка — сидела на лавке, круглолицая, с перехваченными сзади ореховыми волосами, спокойная, одна рука под грудью, другой подпирая щеку.

«Здорóво», — мрачно сказал хозяин, и гость откликнулся:

«Здравствуйте...»

«Чего стоишь, снимай свой сидор, разоблачайся...»

Приезжий стащил кепку-кемель с седеющей головы, сбросил ляжки мешка, расстегнул куртку. Сидя на пороге, стянул с ног заляпаннные глиной резиновые сапоги, размотал портянки.

«Так, — сказал хозяин. — Не узнаёшь? Сапрыкин», — и протянул жёсткую ладонь.

Это был нарядчик Сапрыкин. Ночным утром, когда высоко в рдеющих облаках прятался бледный месяц и дежурный надзиратель на вахте, сойдя со ступенек, бил кувалдой о рельсу, нарядчик шагал по трапу, входил в барачную секцию и стучал о нары обструганной доской с рукояткой, на доске был список бригад. С доской и карандашом стоял перед распахнутыми воротами, зычно выкликал номера бригад. Потом снова в поход по баракам, собирать отказчиков, гнать в санчасть, в бур — лагерную тюрьму; да, это был он, могущественный Степан Сапрыкин, царь и бог, и ближайшее лицо при князе-начальнике лагпункта.

«Не ждал, — спросил он, — что увидимся? А я тебя узнал».

Приезжий молча вынимал из мешка гостинцы, поставил на стол бутылку с красно-золотой этикеткой.

«Эге, — сказал Сапрыкин. — Марья! Давай, собирай на стол. Старый кореш приехал».

Время от времени она поднималась из-за стола, брала на руки плачущее дитя, вынимала большую белую грудь из расстегнутой блузки, садилась в сторонке, малыш сосал, отрывался от груди, таращил глаза, мужики подливали друг другу.

И снова:

«Стёпа...» — бормотал приезжий.

«Чего Стёпа...»

«Жизнь-то, а?»

«Чего жизнь?»

«Жизнь-то как повернулась...»

«Да уж так... Всё одно...»

«Это ты верно сказал».

«Ты-то как?»

«Да вот, видишь...»

«Где живёшь-то?»

«В Москве, Стёпа, живу».

«Ишь ты; небось далеко пошёл».

«Да уж куда там. Ну, давай ещё по одной со свиданьцем».

«Кирюха! — вскричал, точно спохватился, нарядчик. — Поцелуемся, что ли... Такая, брат, жизнь». И уже невозможно было понять, кто что сказал. Где ж мы его положим, пробормотала женщина. С нами и положим, выговорил хозяин. Нешто уместимся? — спросила она. Втроем лежали в тёмной избе, женщина посередине. Что-то хлюпало, поскрипывало, постанывало в сенях и за окнами. Громкий храп перекрывал звуки. Мужской голос пробормотал:

«Маша...»

«Спи».

«Маша, прости меня».

«За что тебя прощать?»

«За всё... Простишь? Иди ко мне, Маша...»

«При нём, что ль?»

«Он спит. — Земеля! ты спишь?.. — Маша, может, ты с ним хотела? Я не обижусь. Маша, он не слышит».

3

Ты погружаешься в тело женщины, ты там, тебя больше нет, и нет выхода, ты бредёшь в ночи, навстречу мерцающему огню, и на тысячу километров кругом ни единой души — леса и болота. Но когда странник подошёл к костру, оказалось, кто-то сидит, загородив пламя, в ушанке и телогрейке; он окликнул сидящего, и тот медленно повернул к нему корявое морщинистое лицо, чего тебе надо, спросил он; хочу с тобой поговорить, ответил скиталец; с кем это, возразил тот, нет меня, ступай откуда пришёл.

Странник сказал: я заблудился, позволь мне погреться, а кто ты такой, меня не касается, и знать не хочу, и спрашивать не стану... А впрочем, нет, знаю: ты тот самый Беглец, который *ушёл с концами*, сколько разных известий, разных *параши* я слышал о тебе. Не то форму украл, шапку со звёздочкой, солдатские портки, не то через подкоп, и никто тебя не поймал, собаки не взяли след. Но будто бы ты затосковал по лагерю и вернулся — сам, по своей воле. И тотчас никого не стало, путешественник один сидел возле угасающего огня.

Ночью захотелось по малой нужде. Приезжий выбрался из постели, ощупью добрался до двери, вышел из сеней на крыльцо. Небо очистилось и сверкало брильянтами звёзд, как в далёкие небывалые времена. В сенях, накрытое чистой дощечкой, стояло ведро, висел ковш. Он напился. Отворив дверь в избу, он увидел на столе огонёк, колпачок был отвинчен, ламповое стекло лежало рядом. Приезжий опустил на табуретку, сидел напротив женщины; некоторое время молчали.

«Вот такие дела...», — пробормотал он, и снова наступило молчание. Она разглаживала рубашку на коленях, разглядывала ладони.

«Маша, — сказал он, — я ведь за тобой приехал».

В зыбке зашевелилось, застонало дитя, она качала кроватку, покачивала головой, приговаривая: «Ш-ш, ш-ш!»

«Маша, — проговорил гость. — Я жить без тебя не могу. Маша, поедем со мной».

«Куда?» — спросила она, усмехнувшись.

«В Москву».

«Чего я там не видала».

«Маша...».

«Ну». Так говорили здесь, когда хотели сказать: и что же? Что дальше?

«Возьмём с собой ребёнка».

Он добавил:

«У меня комната в Москве. (Она опустила голову.) Маша. Ты ведь меня любила».

«Было дело», — сказала она.

«А теперь? Разлюбила?»

Она пожалала плечами, еле заметно покачала головой.

Утром Сапрыкин встал мрачный, молчаливый. Нашёл остаток, опохмелился. Ели многоглазую яичницу с огромной чугунной сковороды, друг на друга не глядели.

«Чего уж там, — сказал хозяин, вставая, — давай провожу тебя».

L

Суд

День без числа¹

География карательных, наблюдательных, исправительных, или как там их следует называть, учреждений ещё ждёт своего Страбона. В новой повестке стоял не Кузнецкий мост, а какая-то неслыханная улица. В отчаянии писатель думал, что его так и не оставят в покое.

Зато войти внутрь не составляло труда: никаких проходных, никто не спрашивает пропуск. Снаружи здание казалось не таким огромным. В действительности это был лабиринт. Плетёшься по длинным сумрачным коридорам, сворачиваешь в другие коридоры, поднимаешься на другой этаж, снова спускаешься, и всякий раз видишь в окнах на лестничных площадках другие улицы, если не вовсе другой район. Возмож-

¹ Гоголь.

но, несколько зданий были соединены друг с другом. Писатель всматривался в таблички на дверях, на русском, но непонятном языке, толкнулся раз-другой наугад, там шли важные заседания, оттуда махали руками, требуя, чтобы ты не мешал. В другие комнаты вовсе невозможно достучаться. Изредка кто-то выбегает с озабоченным видом, с папкой под мышкой, служащие снуют по коридору, что-то показывают рукой на ходу, никто не отвечает на твои вопросы. Ты стоишь в замешательстве перед доской объявлений, здесь всё как обычно: инструкция на случай пожара, список злостных неплательщиков членских взносов, распределение путёвок.

Ты вошёл в зал, свет бил из окон, мешая с порога разглядеть сидящих за длинным столом на помосте под портретом правителя. Пятеро в масках, что наводило на мысль о тайном судилище, шестой посередине, это был человек с голым черепом, на котором играли блики, с лицом скопца, в судейской мантии, наброшенной на плечи, — по-видимому, председатель. У торца сидел секретарь. Маски разных цветов были, как выяснилось, женщинами.

Публики не было, стояли ряды пустых стульев. Подойдя к помосту, писатель слегка поклонился. Подскочил секретарь, принял от него большую, свёрнутую в трубку и перевязанную шёлковой ленточкой, словно почётная грамота, повестку. Писатель сел в первом ряду.

«Я не разрешал вам садиться», — заметил председатель.

Он развязал ленточку, внимательно изучил повестку, развернул папку с делом и проверил установочные данные: фамилия, имя, отчество, год рождения и так далее. Прежние судимости?

Писатель не понял.

«Я спрашиваю, — терпеливо сказал председатель, — были ли вы раньше под судом».

«Нет».

«Неправда, — возразил председатель, — вы были репрессированы. Здесь имеется справка об освобождении. Вы были осуждены по статье...»

Он зачитал документ.

«Видите ли, это было Особое совещание. Так называемая тройка. — Писатель, стараясь улыбаться, процитировал Гоголя: — Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка...»

«Семёрка», — поправил кто-то.

«Туз, — сухо сказал председатель. — Попрошу отвечать на вопросы. Итак, вы были судимы».

«Заочно. Решение принималось по списку, а осуждённому предъявляли бумажку, надо было только расписаться».

«Это известно, можете не объяснять. Правда, карточный термин слышу впервые... Но как бы то ни было! Это были другие времена, и не-

зачем вспоминать», — заключил человек в мантии, упустив из виду, что он только что спрашивал о них. Он захлопнул папку, склонил блестящий череп направо и налево: будут ли вопросы к подсудимому?

«У меня вопрос, — сказала чёрная маска, крайняя слева. — Как по-вашему, что самое главное в жизни?»

Писатель развёл руками. Надо бы ответить, подумал он, любовь к родине.

«Литература, — сказал он и тут же пожалел, вспомнив, что всё, что не разрешено, запрещено. — То есть... я хочу сказать... — он запнулся. — А вы как думаете?»

«Вопросы задаём мы, — сказал председатель. — В виде исключения я отвечу. Самое главное — это любовь».

«К родине», — добавил писатель.

«Оставим политику. Просто любовь. Не правда ли?»

Маски дружно закивали.

«Прошу», — наклонил голову председатель.

Чёрная маска заговорила:

«С вашего позволения, я начну с мелкого, но, на мой взгляд, характерного факта. Всякий раз, когда он бывал у меня, а это происходило ежедневно, он залезал с ногами на диван. Мне надоело напоминать ему, что я на этом диване сплю... Это первое. Во-вторых, когда я ему что-нибудь рассказывала, он смеялся надо мной. Например, был случай, когда мне нанёс визит мой дальний родственник Козлов. Это была купеческая семья, с которыми породнились Тарнкаппе. Между прочим, название переуллка...»

«Ясно. Но суд рассматривает вопрос о любви».

«Вот именно! Речь идёт о любви... Когда я ему рассказала об этом визите, он заявил... — маска всхлипнула, — заявил, что всё это мне приснилось!»

«Успокойтесь, — мягко сказал председатель. — Мы вас слушаем».

«Я его любила. Как сына, как внука... И вот такой ответ. Я вам скажу, в чём дело... — Шопотом: — Вы не поверите. Он любил другую женщину».

«Кого же?»

«Девушку в бокале шампанского. У меня была картина одного немецкого художника...»

Голый череп председателя повернулся к секретарю:

«Надо эту девушку вызвать».

Секретарь, вполголоса:

«К сожалению, невозможно. Это картина».

«Так, — сказал председатель. — Свидетельница показывает, что у вас была связь с нарисованной женщиной. Что вы на это скажете?»

Что можно было на это ответить? Сумасшедшая.

«Я бы всё-таки хотел, — сказал писатель, — чтобы всё было по закону. Почему мне не выделили защитника?»

«Ваша просьба отклонена. Адвокату здесь нечего делать. Ведь приговор, — добавил, улыбнувшись, председатель, — по существу уже вынесен».

«Как это, вынесен. Зачем же тогда вся эта канитель?»

«Бестактный вопрос. Я бы сказал, оскорбительный для суда. — Человек в судейской мантии молча, подняв брови, смотрел на подсудимого. — Не ожидал от вас, — сказал он, — чтоб это было в последний раз!»

Он обратил взор на другой конец стола. Красная маска заволновалась, послышался хриплый прокуренный голос.

«Чистая фантазия. А если начистоту, я эту ведьму знаю. Картина такая, действительно, была. Порнографическая картинка, прямо скажем. Но дело-то в том, что...»

«Что вы можете сказать о подсудимом?»

«Я его любила, а он оказался неблагодарной свиньёй».

«Так я и знал, — пробормотал писатель. — Никто тут не скажет обо мне доброго слова... вы специально их подобрали».

« Попрошу не перебивать свидетельницу».

«Я его приютила, хотя это было опасно. Люди-то сами знаете какие, я имею в виду соседей. Нагрянет милиция, и что я скажу?»

«Ты же говорила, — не выдержал писатель, — что начальник милиции тебя знает. Это я тебя предупреждал, а ты только смеялась... Она не меня любила, а мой... пардон... — Писатель похлопал себя внизу. — Она причула меня к наркотикам... А потом бросила!»

«Я? бросила?!.. А ты забыл, что было с Алексей Фомичом?»

«Кто такой Алексей Фомич?»

«Это её содержатель. Комсомольский руководитель высокого ранга».

«Фамилия? Надо вызвать его», — сказал, отнесясь к секретарю, председатель.

«Поздно! Нет моего дорогого Алексея Фомича. Это он его убил! Убил, а сам смылся. Мне пришлось отвечать...»

«Да как ты смеешь!..»

«Предупреждаю, если вы ещё раз позволите себе перебивать...»

«Что, что вы можете со мной сделать? — всхлипнув, выкрикнул писатель. — Со мной уже всё сделали... Проклятая жизнь, — бормотал он. — Проклятая страна...»

«Если вы ещё раз... Вы будете выведены из зала».

«Х-ха. Сделайте милость!»

«Заседание продолжается, — выдержав паузу, величественно сказал председатель. Писателю: — А вам советую выбирать выражения. Проклятая страна... как это у вас язык повернулся сказать такое!»

Последние лучи солнца блестели на его черепе. Он обратился к зелёной маске:

«Ваша очередь».

Маска молчала.

«У вас есть претензии к... этому господину?»

Она кивнула.

«Пожалуйста».

«Я женщина. Баба, по-простому говоря».

«Так. И что же?»

«Ничего», — сказала зелёная маска.

«Мы вас слушаем, — мягко сказал председатель. — Вы хотели что-то сказать суду. Что вы хотели сказать?»

«А то, что не каждому такая баба достанется».

«Вы хотите сказать — такая, как вы? Он вас не оценил?»

«Он ходил в деревню. Ко мне ходил, ночью».

«Как, будучи заключённым?»

«Он был бесконвойный. Ну и пользовался, что никто не видел».

«Следовательно, ещё одно грубое нарушение закона. Внесите, — сказал председатель секретарю, — соответствующее дополнение в обвинительное заключение... Продолжайте, мы вас слушаем».

«Да я не о том. Вот он, значит, ходил ко мне в деревню».

«Как называется ваша деревня?»

«Кукуй».

«Красивое название, — сказал председатель. — Далеко?»

«Что далеко?»

«Далеко ли он ходил к вам?»

«Недалече. Вёрст восемь будет. А ночи были чудные, звёзды, словно брильянты, глаз не оторвёшь!»

«Вы очень поэтически выражаетесь... Если я вас правильно понял, вы чувствуете себя оскорблённой. Чем он вас обидел?»

«Ради этого только и ходил».

«Ради того, чтобы любоваться ночным небом?»

«Люди не видали, а Бог всё видит», — сказала маска, и все согласно закивали.

«Хгм... — Председатель суда прочистил голос. — Итак?»

«Это бывает, у некоторых душевнобольных, — заметил писатель. — Когда они слышат голоса, и все их в чём-то обвиняют, ругают...»

«Это вы о свидетельнице?»

«Да причём тут свидетельница. Я хочу сказать, это бывает. Но я ведь не сумасшедший».

«Если бы он любил, — лепетала маска, — а у него только одно на уме... Придёт, и сразу — давай, ложись».

«Вы хотите сказать... э?»

Маска не слушала.

«Я-то была... какая я была, о-ох! Да на меня заглядеться можно было! Глаз не оторвёшь! Молодая, ядрёная. Шея как у царевны-лебеди. Груды белые, круглые, в руки возьмёшь — словно пышки. Словно мне семнадцать лет, а соски как у зрелой бабы, словно вишни, высокие, сладкие... Вот здесь, — маска показала на талию, — тоненькая, как девушка, а бёдра! Широкие, пышные, и передница, и задница, прости Господи, да ведь только Бог один может такое создать; а самая-то сладость, она внизу, она не видна. Нежная, розовая, глубокая — пропадёшь!»

Председатель снова откашлялся.

«Вы... — проговорил он, — ближе к делу, ближе к делу...»

«То ли ещё бывало... Мы с ним и в баню ходили. Сама для него топила».

«Что за чушь, — пробормотал писатель, — какая там баня, это уж ни в какие ворота не лезет...»

«Чего там говорить, — неожиданно спокойно сказала маска. — Бросил он меня. Попользовался и бросил. А я уже была чижолая».

Наступило молчание. Председатель взглянул на секретаря, тот показал на нетерпеливо ёрзавшую розовую маску.

Послышался слабый голосок:

«Я... я хочу тоже сказать...» — и она расплакалась.

«Деточка моя, — ворковал председатель, — ну полно, полно... успокойтесь. Мы вас внимательно слушаем».

Маска хлопала носиком, поднесла к глазам под маской скомканный розовый платочек.

«Он нанёс мне жуткое оскорбление!»

«Ага, — оживился председатель, — какое же оскорбление?»

«Мне стыдно», — пролепетала она.

«Не надо ничего утаивать. Расскажите всё суду».

«Мы вместе учились».

«В университете, если не ошибаюсь?»

«Да. Он за мной ухаживал».

«Та-ак... и что же?»

«Ухаживал, ухаживал, и... и ничего. Сколько можно ждать? — закричала она. — Я спрашиваю!»

«Чего ждать?» — не понял председатель.

«Как это, чего! Вы что думаете, я первая должна?.. У меня есть гордость! Сам должен знать!»

«Простите, кто? Кто должен знать?»

«Он! Он мою девичью гордость оскорбил. Мою стыдливость. Я же не бревно! Я хотела ему принадлежать. А он? Он даже ни разу меня не обнял!»

«Неправда, — неожиданно войдя в зал, сказала девушка по имени Аглая. Она была без маски. — Он только делал вид. На самом деле он был влюблён в меня!»

«Ты?.. — вскричал писатель. — Как ты сюда попала?»

«Позвольте, позвольте... — лепетал председатель. — Попрошу к порядку!»

«Минуточку, я сейчас всё расскажу», — сказал писатель.

«Нечего рассказывать. Он был недостоин моей любви».

«Вот: это она. Она стучала на меня!»

«Идиот, тебе это приснилось».

«Наденьте маску. И сядьте», — сказал секретарь.

Она возразила: «Пошёл ты, знаешь куда?» И больше её не было.

В зале воцарилась тишина.

«Есть ли ещё вопросы?» — осведомился председатель.

Никто не откликнулся.

«Слово предоставляется...» — он покосился на последнего свидетеля, это была полосатая маска, крайняя слева. Она не дала ему закончить.

«Совсем заклевали парня!»

«Так ему и надо», — заметил кто-то.

Главный судья спросил:

«Вы были с ним в связи?»

«Ну, была, — сказала маска, поправляя на лице съезжающую маску. — Плохую дали», — пробормотала она.

«Простите?»

«Маску, говорю, никудашную дали...»

«Мы вас слушаем», — мягко сказал председатель.

«Не знаю... рассказывать, что ли. Али нет?»

«Говорите, говорите!»

«Он приехал. А кто такой, никто не знает. Ну, живи, коли приехал... А на самом-то деле, оказывается, сбежал».

«Сбежал, откуда?»

«А бес его знает. Должно, от суда спасался. В бегах».

«Так. Мы это выясним. Продолжайте».

«У Колбасовых жил, на огородах. Я с ним и спозналась. Вот он и стал меня уговаривать: давай, говорит, убьём старика, Григорий Петровича, а дом продадим. Я, как дура, уши развесила».

«Вы стали его сообщницей?»

«Да какая там сообщница. Я его любила, а он...»

Председатель барабанил пальцами, переглядывался с секретарём. Тот делал отчаянные знаки, стучал пальцем по ручным часам.

Председатель вознёс голову, возвестил:

«Слушание дела откладывается в виду вновь открывшихся обстоятельств!»

Тут он увидел, — все увидели, — на скамьях для публики сидит ещё кто-то. Белая, как снег, маска поднялась и зашагала к столу.

«Наше время истекло, — сказал председатель, — вы имеете что-то добавить?».

Маска медленно сняла с себя маску, и все увидели, что лица под ней нет. Что же там было? Ничего.

«Нет! — завопил председатель суда и попытался встать с места. — Кто разрешил? Кто она такая? Я не приглашал. Немедленно вывести. Здесь не театр! — кричал он, отбиваясь от удерживающих. — Здесь не сумасшедший дом!..»

Началась суматоха, маски повскакали с мест, председатель лежал на полу между стульями, закатив глаза, и кто-то делал ему искусственное дыхание. Публика, которую не пускали, вломилась в зал, и всё смешалось.

II

Unzeitgemäße Betrachtungen¹. Литература как способ покончить с собой.

Начало 80-х

1

Поистине странное свойство литературы, чтобы не сказать — коварство, состоит в том, что всё, в том числе и мысли о литературе, она превращает в материал для самой себя. Весьма тривиальная мысль, но надо было, думал автор, добраться до неё самому.

Разве только с помощью сравнений можно уразуметь её природу и суть. Литература делает сочинителя похожим на паука, который вытягивает из себя нить, покуда не израсходуется весь, и вот висит, покачиваясь на ветру, иссохший, прозрачный, посреди своей сети.

Или он становится похож на того царя, наказанного за жадность, у которого всё, чего бы он ни коснулся, превращалось в золото, и он умирает голодной смертью. Литература — это эрзац самоубийства.

Писатель поймал себя на том, что в этих размышлениях есть нечто утешительное. И что разглагольствовать о своём ремесле много приятнее, чем писать.

¹ Несвоевременные размышления (*Ницше*).

Лёжа на раскладушке, как Марк Аврелий в солдатской палатке, он предаётся философским мечтаниям и чувствует себя, надо признаться, чрезвычайно уютно. Можно оценить преимущества своего положения: никто больше не покушается на его одиночество, никто не спрашивает документов, и никто не гонит на работу. Он вспомнил, что где-то читал о том, что обезьяны умеют говорить, но молчат, чтобы люди не заставили их работать. Умницы! С точки зрения социалистической морали он был тунеядцем. К счастью, милиция им не интересуется. Высокое и таинственное начальство вроде бы о нем забыло. Тишина и удобная поза настроили на возвышенный лад; мысли текли, как спокойный ландшафт перед глазами путешественника, он даже задремал на короткое время, не переставая, однако, размышлять; и если не решался, в силу известного суеверия, назвать себя счастливымчиком, то, по крайней мере, понимал, в чём состоит счастье, одинаковое для улитки и человека. В том, чтобы, отряхнув всё внешнее и ненужное, обрести убежище в самом себе. Или, что то же самое, в идеальном представлении о литературе.

Литература беспринципна. Литература превращает всё на свете, политику, историю, религию, мораль — в средство. В средство для чего? Для себя, ответил он. Литература срезает на корню, как срезают гриб, чтобы бросить его в лукошко, любые догмы и верования. Ко всем этим ужасно серьёзным вещам она относится так, как женщины относятся к разговорам о высоких материях: ведь обыкновенно женщин гораздо больше занимает, кто говорит, и как говорит, и какие чувства он при этом выражает, чем сами идеи и мнения. В этом заключается её радикальная безответственность: литература подотчётна чему-то другому: самой себе.

Литература предстала перед ним чуть ли не платоновской идеей. Некая вневременная сущность, одетая в текст. То, что мы сочиняем, — её несовершенные воплощения.

2

Он и сам, без сомнения, заметил, что переселился со своим скарбом в собственный роман. Будь он женат, он захватил бы и жену, а так приходится тащить с собою любовниц. Так он сделался персонажем призрачного зазеркального мира.

В этом мире слов и фраз он ведёт себя так же, как вёл бы себя в действительном мире: влачится по воле обстоятельств и, как это свойственно слабым натурам, время от времени бунтует — таковы его «побеги». Но каждый такой побег есть не что иное, как попытка уклониться от обстоятельств вместо того, чтобы встретить их лицом к лицу. В сущности, это бегство от жизни.

Само собой, ему хочется верить, что, если он не находит себе места в обществе, то виной этому гнусное общество. Виноват, однако, он сам — в том, что он не нашёл в себе мужества подняться над ним, каким бы ни было это общество.

Его неудачи — очевидное следствие его бесхарактерности. Он прав, называя себя «некто». Такие люди бывают упрямы, вот почему он долбит своё — пишет, пишет, и всё без толку. Да, таков он, этот герой, с его желеобразной, как студень, биографией.

Отсюда зыбкость его самосознания. Этот Некто чувствует себя неуверенным, не решается сказать о себе: я, предпочитает обращаться к себе от имени Другого и больше всего любит говорить о себе в третьем лице. Погружаясь в сумерки своего сознания, он теряет границу между кем-то другим и самим собой. Поистине есть что-то раздражающее в этом отсутствии твёрдой почвы; всё повествование становится ненадёжным. Вывод неутешителен: абсолютной, незыблемой и несомненной действительности в его романе, как в кабинете зеркала, не существует.

3

Вместо того, чтобы отдаться своему воображению, он дрессирует его, и оно, как учёный медведь, покорно проделывает все штуки, каких ждут от него. Вместо того чтобы честно воспроизвести свои сны, он подправляет их, не слишком заботясь о верности своих имитаций. Он раб своего интеллекта, который «лучше знает», что такое сон, и диктует свои указания воображению.

Подсознание, едва лишь он пытается, его осознать, становится артефактом; сон денатурируется, как белок под воздействием кислоты, едва только, пробудившись, ты спешешь зафиксировать его на бумаге.

То-то и оно, что все попытки отказаться от вмешательства разума напрасны, ибо мы не в состоянии обойти его алгоритм — грамматику; мы не можем выражаться иначе, как при помощи языка; автоматическое письмо — сапоги всмятку; «поток сознания» оборачивается всё той же литературой; задача преодолеть деспотизм грамматики внутри самой грамматики и освободиться от контроля рассудка, не теряя рассудка, — кажется неразрешимой.

Психоделик, о котором — о, как давно это было, — рассказывала Валентина, которым однажды, единственный раз, угостила (опыт, впоследствии вытравленный из романа), не освободил его от сознания, но лишил обособленной личности и разрушил связи между вещами. Это не был тот дивный сон, который она обещала любовнику, и не рай, воспетый Бодлером, но какое-то особое бодрствование. Бывший заклю-

чѐнный, он воспользовался привычной метафорой: сознание вышло на волю из тюремной камеры своего «я». Это было внеличное сознание, присущее разве только божеству. Возможно, и она переживала на свой лад нечто подобное.

В этом состоянии они любили друг друга; комната превратилась в подвал без стен, в трюм океанского корабля, где за стеной колыхались волны; возлюбленная отождествилась со снадобьем, он — с действием снадобья; она стала мужчиной, сам же он ощущал себя огромным влагалищем; он лежал внизу, на дне корабля судеб, заполненный ею, закупоренный огромным фаллом; но фаллом был и он сам; она находилась внутри, но и он каким-то образом оказался внутри, — разрешение не наступало, и они лишь измучили друг друга. Обогастило ли это приключение его сексуальный опыт (если этот опыт вообще нужно «обогащать»)? Едва ли.

4

Нетрудно заметить, что, пытаясь оправдать свою бехребетность, он ищет и находит алиби: это — «эпоха». Он чувствует, как зловонное дыхание века обдаёт его прозу. Прежде, говорит он себе, герой романа был субъектом истории, а теперь он лишь её жертва. Могучая воля Бетховена, великое гармоническое трезвучие оркестра в финале Пятой симфонии — убийственное фиаско. Смешно и подумать о том, чтобы противостоять абсурду: мутный поток истории сбивает с ног, романист прыгает по камням, мечтая добраться до берега, — тщетная надежда!

В чём же, спросил он, оправдание твоей разлохмаченной жизни? В литературе? Он пожимает плечами. В служении отчизне? Но отчизна в нём не нуждается. Наконец, в любви? Нет ответа. И он задаёт себе (правильней сказать — тому, другому, сибариту на соломенном тюфяке) нелепый вопрос, был ли он достоин женской любви.

Как выглядел он в глазах женщины? Худой, костлявый — вызывает сострадание. Скрывающий своё прошлое — пробуждает любопытство. Высокий, выше среднего роста — что даёт основание рассчитывать на большой член. Неловкий, робкий, стеснительный, не умеет подать себя, ничего в жизни не добился. Пожалуй, такой персонаж способен разбудить материнские чувства. Он из тех, кто, сам того не сознавая, ждёт, когда им завладеют.

5

Только что ты сказал: мы любили друг друга; двусмысленное выражение. Как ров и стены окружают рыцарский замок, так замок любви защищён от того, что обозначается этим же словом, но не есть

любовь. Таково противостояние любви и секса в осаждённой душе подростка. Но оправдывать платоническую любовь, когда тебе пошёл уже который по счёту десяток! Любить это состояние влюблённости, а не ту, кто стала избранницей?

Он вновь расписывается в своём безволии. В своей трусости. Ибо что же иное боязнь совокупления, как не бегство от жизни?

Любовь, думает он (и вспоминает увлечение глупенькой Наташей), это смесь поклонения и страха: поклонения девической прелести и страха соединиться с ней. Можно было бы сказать, что любовь — это избирательная импотенция. Означает ли это, что, *vice versa*, отвага, с которой мужчина овладевает женщиной, выдаёт недостаток любви? Мы во власти мифа, который кастрирует мужчину, — мифа женской неприкосновенности и возвышенной чистоты. Любовь, говорит он себе, — это боязни оскорбить любимую покусанием на её плоть. Итак, ничего не изменилось со времён Платона, вновь и вновь мы противопоставляем небесную Афродиту площадной, всё тот же дуализм: поэзия и плоть, верх и низ.

Эти женщины, думает он (и вспоминает «суд»), воображают, будто они живут собственной жизнью; попробуй-ка возразить, что на самом деле они существуют лишь в твоём воображении; но, в конце концов, и сам я, не правда ли, — плод моего воображения. В сущности, это была всегда одна и та же женщина, которая хотела одного и того же: чтобы её любили «не просто так», а в постели, но и не просто «переспать», а чтобы это была любовь; развести любовь и соитие она не могла. Оттого ли, что женщина — цельное существо, в противоположность мужчине? Оттого, что игра в прятки — неизменная черта её природы? Что эта двусмысленность, двуязычие жестов, улыбок, взглядов не противоречит её цельности? И когда оказывается, что примирить ангельское и зверское невозможно, она воспринимает это и как измену чувству, и как унижение плоти. Высшая тайна любви оказывается банальной. Но стоит только её разоблачить, как банальность оборачивается — тут он вспомнил Машу, и ночную дорогу в лесу, и сверкающий ковш Медведицы — чудом и тайной.

6

Суд, происходивший на самом деле, то есть в романе, заставил его задуматься, удалось ли ему взглянуть на женщин их собственными глазами. Недостижимая цель литературы, — ведь для этого нужно было отказаться от собственного языка. От языка, каким мы только и располагаем. Есть ли у женщины собственный язык? Всё, о чём рассказывается в романах, рассказывается мужчиной, а если рассказ-

чик — женщина, то и она пользуется мужским языком. Означает ли это, что женщина непознаваема? Или — если она говорит собственным языком, который услышать так же трудно, как услышать пение райских птиц, — то это окажется язык, где смысл бессмыслен, где всё подчинено абсурдной логике? Только музыка в состоянии воспроизвести этот язык — музыка с её контрапунктом, сменой тональностей, с её темами и вариациями. Проза, сказал он себе, здесь бессильна, романист, сказал он себе, может лишь подражать женщине, как артист в женской роли говорит тонким голосом и ходит, качая бёдрами, как ловчий свистит голосами птиц.

Он вспомнил первое в его жизни столкновение с этой загадкой: то была девушка в бокале шампанского. Поразительно, что она сразу явилась тебе во всё своём естестве. Нагота не должна была оставить никаких секретов. На самом деле — теперь он это хорошо понимает — она-то и захлопнула перед ним врата тайны. *Comment la trouvez-vous, cette peinture?* Как тебе нравится эта картина? Что он мог ответить? Впервые она заставила мальчика почувствовать, что здесь «что-то не то». Другими словами, почувствовать себя — до всякого вожделения — мужчиной.

Ему пришло в голову, что, если при каждой встрече с незнакомой женщиной его мозг мгновенно, как при вспышке магния, фотографировал сцену обладания, то смысл этого обладания можно переписать иначе: он искал поселиться в ней. И расплатой за право жительства был он сам, точнее. Ему вспомнилось, как, бездомный и бесправный, в лагерном одеянии, он явился на старую квартиру, и его встретила Валентина. Вспомнилось и тёмное осеннее утро в тот день, когда им предстояло отправиться на поклон к всемогущему Алексею Фомичу, и как, нежась в постели, она жадно разглядывала этот отпрыск, эту его суть, играла с ним, словно кошка с мышью перед тем, как съесть. Значит, любовь — это кража? Его подруге хотелось в буквальном смысле слова аннексировать его член, — комично звучит, а? — похитить, сделать так, чтобы он навеки остался в ней, чтобы наслаждение плоти, наслаждение властью не прерывалось никогда.

Он вспомнил, как Валентина умоляла, после того, как всё кончалось, не уходить из неё, требовала остаться в ней. Любил ли он её в самом деле? На первый взгляд, то же повторилось и с Машей. Он был из тех мужчин, которые ищут убежища. Каким счастьем, блаженным концом блужданий казалось — войти с мороза, захлопнуть тяжёлую дверь, сбросить своё рубище и лечь, и накрыться с головой, и обнять любимую женщину, единственную, наконец-то обрётённую, и поселиться с ней в тёплой, тёмной избе, и забыть всё на свете!

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ЛП

Вне всякого сомнения новые времена

16 мая 1991

В одно прекрасное, нежно-перламутровое утро летописец отправился на вокзал встретить поезд, прибывающий с северо-востока. Отворились двери вагонов, усталые пассажиры запрудили перрон. Его толкали, он покорно двинулся вслед за толпой.

О, теперь-то мы понимаем, как опасны посягательства на суверенность памяти, попытки диктовать ей, исправлять её ошибки. Обновлять прошлое? Какая это, в сущности, неаппетитная процедура — выволакивать мертвеца из могилы, с его фанерным чемоданом, в рыжих лагерных валенках, оставляющих мокрый след, — вон он там, бредёт, единственный среди живых; на вокзальной площади протянул трёшницу таксисту, чтобы тот не сомневался. Четверть часа комфортабельной езды по пустынному в этот час Садовому кольцу, и — и что же? На каждом шагу он уличал свою память в подделках и подтасовках: вошёл в подъезд, но это был не тот подъезд, нажал на кнопку звонка и услышал чужой, незнакомый звук. Сколько лет прошло с тех пор...

Всё изменилось. Многим кажется — наступила новая эпоха. И, однако, он выбрал всё тот же Курский вокзал, повинуюсь таинственному зову, который влечёт преступника на место преступления. Он ознакомился с расписанием пригородных поездов. Покинув вокзал, он высадился на станции метро «Кировская», и пожалуйста, кому теперь нужен Киров, название доживает последние дни. Он свернул в переулок Мархлевского, там, где улица Кирова делает перегиб (в нашем городе прямых улиц не бывает). Отыскал нужную вывеску и, войдя, спросил: кто такой Мархлевский? На что последовал лаконичный ответ: *х... его знает!* Кто такой был Киров?

Да, время обновилось. Время, как старый пиджак, перелицовано. Зачем понадобилась рекогносцировка на вокзале, возлагал ли писатель на своё предприятие серьёзные надежды? Приходится признать: да, возлагал. Кто подал ему замечательную мысль? Не мог же он сам сообщить. Клиент извлёк из портфеля пухлый манускрипт. Пять экземпляров (для начала хватит). Нет, лучше восемь. Он получил восемь ксерокопий, вышло довольно дорого. Теперь в переплётную мастерскую.

На другой день он опять стоял у выхода на перрон, и опять это наваждение, поезд из Котласа, пассажиры выбирались из тесных ва-

гонов, вытаскивали багаж; *опять, как в годы золотые*¹, беспаспортный путешественник в национальном одеянии — ватном бушлате, вислых ватных штанах, рыжих валенках, ушанка на стриженной голове, — влачил перевязанный верёвкой чемодан, и бравый милиционер выудил его из толпы.

После чего аппарат остановился, и катушки завертелись в обратную сторону, время поехало вспять, толпа отшатнулась, и он с ней, пятясь, поднялся по ступенькам вагона, протискивался задом наперёд с чемоданом к своему месту, состав, толкаемый сзади локомотивом, набирал скорость. Пассажир лежал, качаясь, под потолком, на третьей, багажной полке, и оттуда показывал контролёру свою справку: *видом на жительство не служит, при утере не возобновляется*, и фотография каторжника, и лихие росчерки начальств. Кинематограф памяти негромко жужжал, крутились бобины, стрелки вращались на циферблате века, время уехало прочь, туда, откуда прибыл поезд; тёмным утром в бараке догорает тусклая лампочка над столом дневального, стриженные головы поднимаются на нарах, нарядчик с доской учёта стоит в дверях, и загробный голос на столбе вещает о том, что Великий Ус отдал концы.

Усмехаясь, писатель-фантаст перешёл через подземный туннель на платформу пригородных поездов. О да, старый проектор века выброшен на свалку, историю спустили в сортир. Что бы мы делали, не будь этих канализационных труб, по которым, невидимые, плывут и пузырятся нечистоты прошлого! Не стало больше ни бушлата, ни валенок *бе-у*: на тебе была шляпа, что само по себе говорит о многом. В пиджаке и несколько криво повязанном галстуке писатель был похож на отставного бухгалтера, на бывшего актёра из провинции, пожалуй, и на испившегося литератора. До Орехово-Зуева меньше двух часов; он думал воротиться в послеобеденные часы.

Занял место у окна в последнем вагоне. По утрам народ едет в город, а не из города, он надеялся начать поход в полупустом поезде, но из вокзального помещения повалила толпа. Предприниматель ждал, когда рассядутся, разбредутся по вагонам, электричка неслась, оставляя позади пригородные платформы и полустанки, вереница пассажиров всё ещё тянулась между скамьями из вагона в другой вагон. Писатель стоял с сумкой через плечо у передней скамьи. Ну-с... — он приготовился, прочистил горло. «Уважаемые граждане!» — начал он срывающимся от волнения голосом, доставая из сумки товар.

«Уважаемые пассажиры...»

Взять себя в руки. Смелее. Оптимистичней.

«Вашему вниманию предлагается новая книга, роман известного современного автора... — он назвал свой псевдоним, — пока ещё не изданный. Эпохальное произведение о нашем трудном переходном времени».

¹ Блок.

Писатель вознёс над головой своё изделие. Пассажиры, уже при- выкшие к вагонной коммерции, казалось, не слышали его речь. Лишь кто-то сидевший близко от входа, повернув голову, спросил: «Самиздат, что ль?»

«Зачем же самиздат? — живо возразил писатель. — Эти времена прошли».

Он имел в виду времена подпольной литературы.

«Ну это ещё как сказать, — откликнулся голос. — А ну, покажь».

Вот уже и первый покупатель.

«Остросюжетный роман, действие происходит в широком диапазоне времени... Читается захватывающе...»

Колёса стучали, неслись голые поля.

«Почём?»

«Что почём?»

«Сколько, говорю, хочешь за свой роман?»

Писатель, стесняясь, назвал цену.

«Ишь ты, — заметил пассажир, листая самодельную книгу. — Больно уж много вас тут...»

«Простите, кого?»

«Много вас, говорю, развелось, — сказал пассажир. — Держи». Он вернул книгу и отвернулся к окну.

Продавец двигался между скамьями, размахивал книжкой, выкрикивал: «Широкая панорама истории нашей страны! Увлекательное чтение!» Кто-то окликнул его: «Папаш! А чего-нибудь повеселее у тебя нет?» Писатель возразил, что это труд всей жизни. «Агата Кристи есть?» Писатель никогда не слышал это имя. Нет, сказал он. «Ну и хрен с тобой». Так он прошёл всю электричку, пассажиры вставали, сходили, вместо них входили и усаживались другие; усталый, он присел на свободное место, сумка с нераспроданным товаром стояла у его ног.

Прогремел мост через реку, поезд замедлил ход. Остановились у пустынной платформы. Взглянув рассеянно в окно, он увидел табличку с названием остановки — как сквозь сон... Похоже, писатель был единственным, кто выбежал из вагона. Поезд мягко тронулся и покатил, поблескивая стёклами вагонов.

ЛП

Князь и девушка

16 мая, около полудня

Скажут: это другая железная дорога, с другого вокзала. И ошибутся. Бор стоял перед пассажиром во всей красе. И, однако, изрядно поре-

дел за эти годы, погрязнул; окурки, жестянки, грязный целлофан валялись там и сям вдоль дороги. Посёлок разросся, и всё же писателю показалось, что тут мало что изменилось; он сказал себе, что это симптом старости, капитуляция перед прошлым: думаешь — пустыри нового времени, а на самом деле это всё та же оптика воспоминаний, нечто подобное обратной перспективе: отступая, прошлое становилось всё крупнее и отчётливее, становилось навязчивее. Было тепло, путник обмахивался шляпой. Наконец, он отыскал дачу.

Знакомые, печальные места... Вот мельница. Она уж развалилась! Знакомый шум её колёс умолкнул.

Жалкое зрелище являл собой дом покойного Олега Двугривенного, окна заколочены посережевшими досками, крыльцо сгнило и обрушилось, кровля в ржавых заплатах. От штaketника мало что уцелело, и всё кругом заросло крапивой.

Стал жёрнов — видно, умер и старик.

Как вдруг показался кто-то, хозяин вышел из-за угла.

«Здорóво, мельник!» — смеясь, сказал приезжий.

«Какой я мельник! Я ворон здешний!» — отвечал знаменитый литературный критик, но времена его славы самым прискорбным образом ушли в забвение. Олег Двугривенный был в длинной, сивой, неопрятной бороде. Он был лыс, морщинист, в замызганной, с продранными локтями толстовке, коротковатых портах и разбитых ботинках.

«А ты кто такой будешь?»

Писатель назвал себя. Владелец дачи изобразил напряжённую думу.

«Не помню. Зачем пожаловал?»

«Дедушка, мы ведь знакомы. Я у тебя был».

«Это когда же?».

«Я ещё роман свой посылал... помнишь?»

«С какой это стати ты говоришь со мной на ты?»

«Да ведь мы оба старики. Стало быть, не помните?».

«Может, помню, а может, не помню. Много вас тут было... Чего надо? Зачем пришёл?»

«Да, собственно, ни за чем».

«Ну и вали отсюда».

Разговор, спотыкаясь, продолжался некоторое время, после чего хозяин дачи сделал вид, что вспомнил, наконец, гостя, — а может быть, и вправду узнал. Обогнув дом, пробрались с задней стороны в сени, писатель узнал деревянную лестницу, с потолочной балки свисал канат. Хозяин сбросил обувь и с неожиданным проворством вскарабкался наверх, ухватившись за канат, переступая по ненадёжным ступенькам грязными ступнями с когтями вместо ногтей. Следом полез приезжий.

«Прошу в кабинет».

Здесь по-прежнему стоял письменный стол и висел портрет. С этой стороны окна не были заколочены, пыльный солнечный свет прокрался в комнату. Гость окинул горестным взглядом изрядно поредевшую библиотеку.

Олег Михайлович пробормотал:

«Растащили всё, гады...»

«Кто?» — спросил писатель.

«Да мало ли кто. Я и сам кое-что продал. Жить-то надо... Вот, — сказал старец, показывая на бумаги под слоем пыли. — Работаю, пишу мемуары... А ты что — тоже писатель?»

«Вроде бы».

«Ну и как?»

«Да никак». Гость сидел на диване, поставив между ногами свой рюкзак.

«Написал чего-нибудь?»

«Чего-нибудь написал».

«Новый роман?»

«Да всё тот же».

«Автор одного произведения. Хвалю».

Громко сопя, он занялся своей бородой, гладил, схватил в кулак, спросил:

«По вагонам ходишь?»

«Откуда вы знаете?»

«Многие ходят. Кто торгует, а кто и просто побирается. До чего мы докатились. Это надо же. Какую Россию потеряли!»

«Какую?» — спросил гость.

Критик насушился.

«Великую, вот какую. Великую державу. И великую литературу... Что там у тебя?»

Писатель расстёгивал сумку.

«А-а, — сказал критик разочарованно. — Я думал, пожрать что-нибудь...»

«Может, сходить купить?»

«Куда?»

«Я видел магазин на станции».

«В этом магазине — шаром покати. Как и повсюду, впрочем. Докатились. Дожили!»

«Как же вы питаетесь?»

«А? Как питаюсь. Да вот так и питаюсь. Дочка обо мне заботится. Я продал мельницу чертям запечным. А денежки отдал на сохранение...»

«Кому?» — спросил писатель.

«Дочке, кому же. Это чьи же творения, твои, что ль?»

«Я вам когда-то показывал...»

«Когда это? А, ну да. Ещё до всей этой заварушки?»

«Вы, как Фирс», — сказал писатель, продолжая литературный разговор.

«А? Кто?..»

«Фирс, у Чехова».

«Ну и что».

«Фирс говорит: перед несчастьем. Перед каким же это несчастьем? А он отвечает: перед волей».

«Подавиться бы им всем этой волей... Как же, помню, помню. Это ты тогда ко мне приходил? Ко мне многие ходили. Нужен был, вот и ходили... Автобиография, что ли?»

«Роман».

«А, ну да. И что же, пристроил его куда-нибудь?»

«Да вот он, — терпеливо сказал писатель. — Я его с тех пор несколько раз переписывал».

«Это как же так получается. Выходит, всю жизнь потратил, писал, а теперь никто и читать не хочет!»

«Выходит, так».

«Вот до чего дело дошло. Всё просрали! Ещё Розанов писал: не осталось царства, не осталось церкви, что ж осталось-то? Ничего! А кто виноват?»

«Не знаю, — сказал писатель. — Никто».

«А вот я тебе скажу, кто. Они! Они всё и порушили. Либералы проклятые. Ведь это надо же! Была великая страна, весь мир нас уважал. Весь мир боялся! Извини, — сказал старик, — я это, как бы сказать, поиздержался. Не одолжишь ли мне... заимообразно...»

«Мы сейчас быстренько организуем, — бормотал Олег Михайлович, засовывая денежную бумажку глубоко в карман штанов; наклонился, вытащил откуда-то бутылку. — Там ещё маленько осталось... — Явились и стаканы. — Только вот закусывать придётся, хе-хе, мануфактурой... Ну-с, коллега, собрат по перу! Со свиданием!»

Выпили какую-то гадость. Олег Михайлович заметно оживился, потирал ладони.

«Ты не смотри, — заговорил он, — что я выгляжу не вполне, так сказать... Я тебе могу оказать содействие. У меня есть связи. Есть ещё порох в пороховницах! Похлопочу за тебя в нашем союзе».

Писатель спросил, что это за союз.

«Союз русских литераторов. Неужели не слыхал?»

Писатель сказал, что он один раз в жизни состоял в союзе. Вернее, в поэтической студии. Давно дело было.

«А! ты, значит, ещё и поэт!»

Гость покачал головой.

«Мы издаём журнал, — сказал Олег Двугривенный. — Хороший журнал, солидный. Патриотический журнал. То есть пока ещё не издаём, но дело на мази. У нас самые лучшие силы, те, кто болеет за державу. Большие русские писатели.»

«Например?»

«Например... Какие ещё тебе нужны примеры! Потерпи малость. Дай срок. Мы ещё своё возьмём. Всю эту сволочь поганую — под ноготь! Вот так! Под ноготь! Ну, давай ещё по одной. Там ещё осталось. Нехорошо оставлять»

«Что это за напиток?»

«Хороший напиток, не волнуйся. Только им и живу».

Таинственное зелье было, по всей вероятности, плохо очищенным самогоном. Может быть, поэтому, возвращаясь, писатель сбился с пути. За деревьями блестела вода. Оказывается, здесь был пруд. Он раздвинул кустарник, спустился к берегу. Не пруд, озеро, довольно большое

Дунул ветер, и закачались камыши. Рябь бежала по воде. Кто-то купался в озере. Пошли круги, вынырнула мокрая девическая голова, показались худенькие плечи, ключицы, тёмные соски, она встала по пояс. Девушка из бокала. Русалка. Путешественник разинул рот. Почти непроизвольно, повинаясь действию волшебного напитка, он двинулся к воде и тотчас провалился в прибрежный ил.

Откуда ты, прекрасное дитя?..

LIV

Урок политической экономии. Главное — оставаться оптимистом

16 мая

Зуево ху...во, думал он, выходя. Народ спешил мимо. Коммерсант стоял с сумкой за плечами на опустевшем перроне. Его окликнули:

«Гражданин писатель!»

Услышав такое обращение, ты невольно поёжился. Некто спешит навстречу, словно поджидал тебя.

«Гражданин писатель... можно вас на минутку?»

В чём дело, спросил приезжий.

«Вы, как я слышал, продаёте сочинения».

«У меня только одно сочинение. Хотите купить?»

«Мы вернёмся к этому вопросу, — человек ответил уклончиво. Он попросил разрешения представиться, почтительно осведомился: — А вас как?»

Романист смотрел на диск вокзальных часов. Обратный поезд уже стоял на соседнем пути. Как, воскликнул человек по имени Яков, — можно просто Яша, — вы уже возвращаетесь; может быть, не стоит топиться.

«Следующий только через два часа», — заметил писатель.

«Орехово-Зуево очень интересный город, — сказал Яша. — Красивый город».

«Орехово-Зуево меня не интересует», — сухо сказал писатель.

«Жаль. Я всё же попросил бы вас задержаться... ненадолго. Есть небольшой разговор. — Он добавил: — На коммерческие темы».

Чужа неладное, поколебавшись, писатель поплёлся следом за человеком к зданию вокзала. Вы, наверное, здесь никогда не были, говорил Яша, между прочим, этому городу триста лет. Тут когда-то жил фабрикант Савва Морозов, слыхали про такого? Они вошли, но не через главный вход, а в дверь за углом, где висела табличка «Комната матери и ребёнка». Детей и матерей там не оказалось. На скамьях ожидала компания, человек пять-шесть. Писатель попятился.

«Ну что вы, — проворковал Яша, — вас здесь никто не тронет. Поверьте, мы не грабители. Мы все здесь такие же, как вы... Присаживайтесь».

Путешественника познакомили с Натальей Викторовной, попросту тётей Наташей, дородной дамой, на вид не меньше сорока, не больше шестидесяти, в вязаной кофте болотного цвета и просторной тёплой юбке.

«Ты бы сбежал...» — отнеслась она к Якову.

«Яволь. Айн момент», — отвечал по-немецки Яша и явился через несколько минут с пивом и харчами.

На двух пеленальных столиках разложили бумагу с докторской колбасой, нарезали толстыми ломтями батоны, открыли две банки бычков в томате. Бутылки от греха подальше — под стол. Тётя Наташа как старшая уселась подле импровизированного угощения, тут же посадили писателя, компания расселась вокруг.

Почти сразу же отворилась дверь, показалась блинообразная милицейская фуражка с новеньким латунным орлом.

«Афанасий Ильич, вы в самый раз, — промолвила тётя Наташа, — выпейте с нами за компанию».

Афанасий Ильич, присоившись, принял из её рук полный стакан пенного напитка. Бодро опорожнил, прожевал ломоть хлеба, щедро нагруженный колбасой, утёр усы, напомнил:

«Распитие спиртных напитков в помещении вокзала строго воспрещается».

«Яволь», — откликнулся Яша, и милиционер удалился. Пир продолжался, руководила тётя Наташа, как выяснилось, актриса.

«Бывшая», — уточнила она.

«Вы больше не играете?» — спросил писатель.

«В некотором смысле нет, в некотором смысле да. У нас, знаете ли, всё стало театром. А вы, стало быть, посвятили себя литературе?»

В некотором смысле, отвечал писатель.

«Можно взглянуть?.. Хм, — проговорила она, — я думаю, это вам дорого обошлось. В смысле, бумага и прочее. Перепечатка тоже, наверно, недёшево стоила».

«У меня своя машинка».

«Вот как. Я вижу, вы состоятельный человек».

«Да какое там».

Тётя Наташа выразила понимание.

«Ксерокс, переплёт — кто вам всё это делал?»

«На улице Мархлевского... может, знаете».

«Слыхали».

«Жутко дерут», — заметил кто-то.

Наталья Викторовна проговорила:

«Как всё-таки всё изменилось... Ведь ещё совсем недавно, копирующий аппарат, Господи Боже! Всё было за семью замками».

«Запросто срок можно было схватить», — подхватил кто-то.

«Да, мы, можно сказать, свидетели великих событий... Извините за нескромный вопрос. Окупить расходы вам, по крайней мере, удалось?»

Писатель покачал головой.

«Ничего удивительного. Ведь правда?» — она оглядела свой коллектив. Народ помалкивал, доедал яства, допивал питьё.

«Вы, как я понимаю, новичок».

«В литературе?» — спросил писатель.

«Причём тут литература — я имею в виду торговлю».

Романист сделал неопределённый жест.

«Не буду вас мучить загадками. Мы тут все торговцы. По разным причинам — вы меня понимаете — оказалось, что добывать таким способом средства на пропитание всё ж таки легче, чем по своей специальности, а у многих ещё к тому же семья... Я вот, например, двадцать лет проработала и в провинции, и в Москве, здесь, между прочим, в зувеском районном театре, начинала. Уже и амплу успела два раза смеять. Пока мне не пришла в голову, как говорится, счастливая идея. Вам, очевидно, тоже».

«Мне посоветовали», — сказал писатель.

«Поздновато, пожалуй... Вам не кажется?»

«Пожалуй».

«Вы, опять же прошу прощения, женаты? Дети, внуки?»

Он отвечал, что живёт один.

«Ваше счастье. А мне сына надо устраивать в институт, а то ещё не дай Бог в армию загремит. И дочку поднимать надо. Я одна обоих растила... Но зато мне моя профессия очень помогла. Коммерсант, я вам скажу, должен быть актёром, иначе дело не пойдёт... И людей удалось подобрать, я хочу сказать: коллег по общему делу. Они на меня не в обиде, ведь правда?»

Компания дружно закивала. Яша сказал:

«На вас, тётя Наташа, можно сказать, всё держится».

«Ну, не всё, но как-то дело идёт. Кое-какие связи удалось завязать. Без связей, дорогой мой, тут и трёх дней не продержишься...»

«Вы тоже продаёте литературу?»

Наталья Викторовна обвела компанию ироническим взором. Кто-то хихикнул.

«Так вот, если вернуться к нашему разговору... У вас довольно толстое произведение. Почему вы его не опубликовали обычным способом, как все?»

«Не все».

«В конце концов, у нас сейчас свобода, пиши что хочешь».

«Я всегда писал что хотел».

«А, понимаю. У меня был один знакомый, всю жизнь писал в стол...»

«А теперь?»

«Теперь? Он умер, не дождался... Короче говоря, что я хочу сказать. Напечатают или не напечатают, это ещё бабушка надвое сказала, ведь правда? А если ещё к тому же ваш роман не обещает прибыли...»

«Не обещает».

«Вот видите. Ну что ж, — сказала она, подумав немного и переходя на ты, — давай, куплю у тебя, пусть это будет твой первый проданный экземпляр. Не знаю, конечно, может, и не стоит читать, а? Сам-то ты, кажется, не очень уверен... Сколько с меня?»

Писатель робко назвал цену. Мне советовали, объяснил он.

Тётя Наташа усмехнулась.

«Кто это тебе советовал? — Она отсчитала бумажки, романист сунул выручку в карман. — За такую цену вряд ли у тебя найдутся покупатели. Ты о конъюнктуре хоть какое-то представление имеешь? Это же рынок».

«Я тоже подумал, может быть, надо...»

«Рынок, дорогой мой! Не фунт изюма. Будущее покажет, если, конечно, ты здесь удержишься. Так вот, собственно говоря, об этом мы и хотели с тобой потолковать... Ты человек интеллигентный, мои люди сразу это заметили, не хам, не рвач. И, конечно, извини за резкость, полный идиот... Так что придётся тебе объяснить азбуку нашего дела. Коммерция есть коммерция».

«Это верно», — уныло сказал романист.

«Ты слушай, что тебе говорят... В одиночку, дорогуша, работать никак невозможно. У нас теперь, конечно, капитализм, каждый может делать что хочет. Только вот не каждому позволено. Если тебя сегодня не ссадила с поезда милиция, то это твоё счастье. Торговля в поездах, да будет тебе известно, считается незаконной. Штраф как минимум. А можно и срок схлопотать».

«А как же тогда...»

«Одну минуточку. Да, штраф. Да ещё и по шеям надают. А другой раз попадётся, — под суд. Но это пусть тебя не беспокоит. Ты мента этого видел, Афоню нашего, Ильича? Я ему скажу пару слов. А он поговорит с кем надо. Это не главное. Ты об уголовном мире имеешь представление?»

«Я вообще-то сидел», — как-то неожиданно для самого себя объявил писатель.

«По бытовой статье?»

«Нет, пятьдесят восьмая. Давно было дело».

«Ну, всё равно. Я что хочу сказать? Ведь тебя же моментально накалят. Сегодня сошло, завтра сошло, а потом подойдёт к тебе такое рыло — конечно, не в вагоне, — поговорить, — и никуда не денешься! Отнимут товар, отнимут выручку, это ещё самое безобидное... Чуешь, к чему я клоню? Нужна профессиональная солидарность».

Она взяла бутылку, встряхнула.

«Допивай. Нехорошо оставлять. У нас тут, — тётя Наташа показала на коллег, — пока что, слава Богу, всё в порядке. Ты платишь мне, я расплачиваюсь с бандитами. Только уговор: ничего не утаивать. Идёт?»

«А если ничего не продам?»

«Значит, и платить нечем. Очень просто. А вообще, если появятся какие-нибудь вопросы, обращаться к Якову. Он у нас доцент, бывший завкафедрой — в Челябинске, если не ошибаюсь?»

«В Свердловске», — сказал Яша.

«Ты, я тебе скажу, — продолжала Наталья Викторовна, — ты не тушуйся. Коммерция — это такое дело, это как погода. Начинаешь, вроде бы ничего не получается, неходовой товар. Но представь себе, что вдруг твои книжки начнут хорошо раскупаться. Один купит, другой, смотришь — всю торбу распродал. Уверю тебя: недели не пройдёт, как появятся конкуренты. И не печатным материалом начнут торговать, а вот именно таким, как у тебя, самодельным. Твои же книги будут продавать, да ещё выдавать за свои. Книжная торговля, вообще говоря, на Горьковской дороге не новость. Да и на Октябрьской вроде бы кто-то уже промышляет... Но товар надо уметь раскрутить. Как говорится, сесть на позицию».

Помолчали, после чего тётя Наташа похлопала писателя-коммерсанта по колену.

«Вот так, друг любезный... Ты меня понял».

LV

Академик Курганов

26 августа 1991

Бывший Олег Двутривенный не бросает слова на ветер. Упомянув о протекции, он имел в виду собрания в доме Игоря Валериановича Курганова, о которых в последнее время заговорили в столице. Давно пора этому замечательному человеку появиться и на наших страницах.

Последний представитель некогда славной московской школы математиков, автор известных работ по аналитической теории чисел, член-корреспондент Академии наук и почётный член иностранных академий, Герой социалистического труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий и, как говорили, без пяти минут нобелевский лауреат. Таков этот муж, *out of thy star*, как говорит Полоний, не тебе чета: дотянись до него тебе, братец, и во сне не могло бы присниться. Спасибо Олегу Михайловичу: он представил тебя великому человеку.

Вот он стоит у окна своего кабинета, с высоты десятого этажа обзревает мост и скучные дома на другом берегу. Медленно влачатся мутно-зеленоватые воды. Приходится признать, легендарный основатель нашего города выбрал место, по тем временам, может быть, и выгодное, — холм над излучиной, — но для будущей столицы полумира всё же мало подходящее: слишком уж неказистая речка омывает её гранит.

Существует взгляд, по которому с возвышением Москвы, подмявшей под себя прочие княжества, история будто бы совершила промах. Ложный взгляд! Именно Москва — а не Тверь, не Ярославль, не торгашеский и поддавшийся западному влиянию Новгород — стала достойным преемником одряхлевшей Византии, именно этот выбор позволил нам стряхнуть с себя монгольское иго, расширить границы, создать могучее национальное государство.

Да и вредная идея, ибо сеет сомнение в богоизбранности России.

Эти мысли прервал колокольчик в прихожей; мрачно-гнусавым боём отозвались на явление первого гостя часы в гостиной.

Жилплощадь Игоря Валериановича отвечает его званиям и заслугам. Дом для ответственных работников, квартира — просторные, старомодно-темноватые хоромы с большой и малой столовой, рабочим кабинетом, спальнями и так далее. Свой путь в науке И.В. Курганов избрал

ещё школьником. Математический гений расцветает рано. Доказательство правильности гипотезы Римана о нулях дзета-функции, — по общему мнению, одной из семи проблем тысячелетия, — было найдено Игорем Валериановичем в 23 года

Дальнейшее восхождение происходило уже не столько по учёной лестнице, сколько по административной и партийной. Поездки с делегациями за границу, борьба за мир, председательствование на конференциях, сидение в президиуме торжественных заседаний образовали важнейшую часть его многогранной деятельности. На склоне лет он стал депутатом Верховного Совета и членом ЦК. Важно, однако, отметить, что Игоря Валериановича отличала широта интересов. Теперь, когда развал государства, упадок Академии (одно время дело дошло до того, что перестали вовремя выплачивать оклад) и общее гибельное направление так называемой перестройки потрясли основы народного и национального бытия, он обратился к отечественной истории. В смутные годы выкристаллизовалось его мировоззрение как философа и патриота, сложилось стройное учение, в котором строгость мышления, воспитанного в школе точных наук, соединилась с метафизическим взглядом, логика с интуицией, научная методология с православной верой.

Общеизвестны попытки построить единую концепцию исторического процесса. Маркс, Шпенглер и иже с ними потерпели позорный крах. Лишь Курганову удалось разгадать загадку истории, разоблачить ту скрытую демоническую силу, которая стоит за событиями, манипулирует политиками и, так сказать, заведует судьбой народов. Как пример можно указать на тайные пружины февральской революции 1917 года и последующего большевистского переворота. Установление этого факта по праву считается вторым после доказательства римановой теоремы крупнейшим достижением академика Курганова.

Изменился и круг друзей. Теперь за большим столом в гостиной, под пыльной люстрой собирались писатели, публицисты, лица духовного звания. Поздние отпрыски царской семьи порой украшали общество, как украшают грудь состарившейся дивы фальшивые бриллианты. Здесь царило благолепие. Ощущалась особая теплота. Здесь изъяснялись на особенном языке, смеси дореволюционного с простонародным. Здесь говорили «не токмо» вместо не только, «потому как» вместо потому что, «ежели» вместо если; здесь был любим высокий штиль, употреблялись такие слова, как державность, духовность и соборность.

Два слова о домашней жизни И.В., дабы завершить это краткое предварение. Быт пожилых супругов был подчинён заведённому порядку. Об изменах не могло быть и речи. Сусанна Ароновна, некогда бывшая ученицей Игоря Валериановича, настолько же невзрачная и щупленькая, суетливая и тихая, как мышка, насколько мастит, оса-

нист, величествен, крупно-благообразен был 75-летний патриарх, принадлежала к числу тех мудрых женщин, которые понимают необходимость периодически, не дожидаясь опасного перенапряжения, выпускать пар из котла, и прочно держала в руках контроль. Барышни, посещавшие дом, являлись по очереди, раз в неделю, ритм, признаваемый наиболее целесообразным как с медицинской точки зрения, так и с точки зрения приличий. Первая, совсем молоденькая, вертлявая и смешливая, приезжала рано утром, выпархивала из такси, вбегала в подъезд, не здороваясь со сторожихой, исчезала в кабине лифта. Войдя в опочивальню, сбрасывала меховое манто, под которым не было ничего, кроме узорчатых паутиных чулок с лазоревыми подвязками, отшвыривала туфельки на шпильках и, приподняв шёлковое китайское одеяло, будила спящего академика поцелуем. Некоторое время проходило в играх, в более или менее успешных объятьях, после чего Игорь Валерианович вновь дремал, эфирная гостья скучала, мечтала, глядя в потолок; пробуждаясь, он нежно целовал её на прощанье, иногда отечески журил: «Небось, к Кубышкину тоже ходишь». — «Папочка, ты у меня один». — «А вот мне Фёкла Даниловна докладывала». (Та самая сторожиха-консьержка.) — «Да врёт она!» — «А вот давеча тебя видели». — «Да ведь он еле ползает, куда ему...» — «Козёл вонючий, сколько он тебе платит?» Девушка хныкала, клялась в верности и теребила золотой крестик между миниатюрных грудей. «Больше не будешь? — притворно-грозно спрашивал академик. — А то разлюблю».

Нельзя думать, будто финансируемая любовь исключает человеческую сторону отношений. Вторая посетительница была женщина зрелой комплекции, с круглым мягким лицом и вся мягкая, была не жадной до денег, чем выгодно отличалась от феи в манто, — добрая, сострадательная, умевшая по-матерински приласкать и обогреть у большой груди, расчесать бороду, уложить седые кудри, исцелить душевные раны (у кого их нет?). Приходила по вечерам и, когда хозяин засыпал, пила чай на кухне с хозяйкой.

LVI

Пир витязей в шатре над речной излучиной

26 августа

«Благослови, Господи, сей дом, и хозяев его, и трапезу».

Окончен краткий спич духовного лица, взметнулся, помавая семя и овамо, просторный рукав чёрной шёлковой рясы.

Пауза

«Ну-с, государи мои...» — промолвил Игорь Валерианович, и общество, оторвавшись от созерцания пиршественного стола, обратило взоры к хозяину.

«Кх-гхм! Не будем омрачать этот маленький праздник последними новостями, вы, наверное, уже прочли речь этого, как его, так называемого президента... ужас, ужас, ничего другого не скажешь».

Он вздохнул, и все вздохнули.

«Позвольте мне поднять этот бокал за...»

Русское застолье! Все схватились за рюмки. Так некогда на крутом берегу Днепра дружина вздымала кубки с густым пенно-медовым напитком.

Пошли чокаться. И...

«Ах, хороша!»

«Отлично пошла!»

«За вас, за вас, Игорь Валерьяныч! И где это вы такую достаёте, поделитесь секретом!»

«Как там сказано, отец Кирилл? Его же и монаси приемлют».

«Так точно-с».

Налили не мешкая по второй. Вилки пирующих тянулись к селедочке, к свежему хлебу, к грибкам, ножи золингенской стали смело нарушили девственность ароматного сливочного масла. Ложечками из ваз загребалась икра, из овальных судков щедро накладывались на тарелки паштеты и винегреты.

«Позвольте огласить, — хозяин постучал вилкой о бокал, — повестку дня. Хотелось бы — как и обещал — ознакомить присутствующих с новой моей работой, м-м, некоторыми новыми мыслями... буду весьма признателен за деловую критику. Это первое. Во-вторых, высококочтимый Олег Михайлович (кивок в сторону принаряженного Олега Двугривенного) доложит о проекте журнала. Дело, как вы понимаете, чрезвычайно ответственное. Думается, — здесь академик Курганов употребил привычный партийный оборот, — думается, что назрела необходимость».

«Мы обязаны дать отпор», — скромно вставил Олег Двугривенный.

Игорь Валерианович несколько начальственно покосился на критика, помолчал, провёл холёной рукой по голубым усам и погладил раздвоенную бороду.

«М-да... Вот именно. Но прежде отдадим должное благам земным. Впрочем, прошу не слишком налегать на закуски, предстоит нечто более существенное...»

В углу из стоячего дубового гроба вновь пробили часы. Хозяйка дома выглянула из дверей. Немного погодя, ведомый Сусанной Ароновой, в сопровождении двух помощниц в кокетливых кружевных наколках и передничках, въехал на колёсиках столик с большой эмалиро-

ванной кастрюлей. И когда под изумлённый ропот публики была поднята крышка, густой пар, дивный дух шибанул, разнёсся по всему чертогу — это были пельмени, они самые, из тончайшего теста, сваренные в бульоне из сахарных говяжьих костей, с начинкой из нескольких мяс, при этом лук и чеснок для фарша обязательно рубится ножом, никаких мясорубок, — хо-хо!

«Хе-хе...»

«Ничего себе, скажу вам...»

Сусанна Ароновна, в хлопотах вокруг стола:

«Вот сметана, вот укус, перчик... маринованные грибочки. Масло, кто желает».

«Мать честная... а это что?»

«Толчёный орех с баклажанами, в лимонном соусе, прошу...»

«О! а там что?.. — Бархатный баритон: — Господа, позвольте, наконец, выпить!»

Игорь Валерианович с кубком в руке вновь, со слезами на глазах, воздвигся над столом.

«Ваше императорское высочество, высокочтимый отец Кирилл, дорогие друзья... Извините, не могу более сдерживать своих чувств... Не могу выразить, до чего я тронут, счастлив встретить скромный мой юбилей посреди стольких милых мне лиц!»

Шум поздравлений. Встали с мест. Кто-то приблизился приватно чокнуться и облобызать именинника.

«Право, не ждал, что мне, в мои преклонные годы придётся пережить то, что все мы сейчас переживаем. В самые страшные, в самые опасные моменты нашей истории, которая совершалась на наших глазах, в годину войны, не было такого мрака, такого, я бы сказал, позора!..»

Старик опустил кудлатую голову и, казалось, раздумал пить.

«Господа, — кто-то робко подал голос. — Да что же это такое — пельмени остывают!»

«Но дайте же договорить Игорю Валерьянычу! Игорь Валерьяныч, просим».

«Совершенно справедливо, — горько усмехнулся хозяин, — остывают, чтоб им ни дни ни покрывки! Выпьем, друзья мои, за то, чтобы весь этот морок, вся эта чёрная туча над небом отечества рассеялась...»

Звон бокалов, стук вилок покрыли его слова. Рассеялось впечатление от горестного тоста. Отчество академика приняло удобопроизносимый вид.

«Мастерица, надо сказать, ваша супруга, Игорь Вальян-ч... Отродясь не вкушал...»

«Истинная правда, Олег Михал-ч. Совершенно с вами согласен».

«А как насчёт того-этого?..»

«Юные пионеры, будьте готовы!».
«Всегда готовы. Ах, хороша!»
«Где там у нас грибочки... Подать их сюда! Нет, до чего дело дошло, а? Намедни открываю Литературную газету и читаю...»
«А кто автор? Ну, ясное дело».
«Козёл вониючий...»
«Ничего не поделаешь, я вчера получил гороскоп, вы, прошу прощения, имеете представление о звездословии?»
«Чего? Понятия не имею».
«Печальная, надо сказать, картина. Аспект планет сугубо неблагоприятен. Юпитер... известно вам, какую роль играет Юпитер?»
«Понятия не имею. Патиссончики ничего...»
«Покровительствует нашему отечеству, к вашему сведению. Так вот, представьте, повреждён соседством Сатурна».
«Это как же понимать?»
«А вот так и понимайте».
«Бредни всё это...»
«Не-ет-с. Не совсем. Нет, он всё-таки прав. Необходимо сплотить все патриотические силы. Дать отпор».
«Эх... семь бед, один ответ. Положите-ка мне ещё...»
«Битте-дритте!»
«Как живёте-можете, ваше императорское высочество?»
«Вашими молитвами... вашими молитвами».
«Если я правильно вижу сложившееся положение... шансы на восстановление законной монархии...»
«Возможно. Возможно».
«Да ведь в том-то и заковыка, кого считать законным».
«Великая княгиня Леонида...»
«Да какая она великая княгиня».
«Из грузинского царского рода».
«Да какой там царский. Седьмая вода на киселе».
«Ну, не скажите».
«У них там все князья. Если уж говорить начистоту, нам нужен наш, русский монарх».
«Где ж его возьмёшь? Коли вся династия перебита».
«Паштет, скажу я вам, что надо!»
«Ожидается высочайший визит».
«Это кто ж такой?»
«Государь наследник цесаревич и великий князь Георгий Михайлович, к нам, в Россию...»
«Откуда?»
«Хрен его знает...»
«Я попросил бы всё-таки не выражаться. Всё-таки, знаете..»

«Да, но как быть с дворянством?».

«С каким это дворянством, никакого дворянства больше нет».

«Как это нет».

«А вот так. Дворянство везде исчезло или исчезает. Только в других странах оно оставило наследника, а у нас...»

«Вы что же, считаете, что русский народ брошен, так сказать, на произвол судьбы?»

«Да-с, считаю».

«Это что ж такое, а? Братцы! Жомини да Жомини, а об водке ни полслова!»

Глохнут, сливаются в общий гул голоса, алеют потные лица, повисли головы, пир вступил в заключительную фазу

«Между прочим, совершенно неопровержимые данные. Игорь Вальян-ч, вы слышали? Ельцин-то, оказывается, иудей! — На одну четверть, это известно. — Не на одну, а на три! — Ну и что? — Как это, ну и что. — Бредни всё это. — Ну, не скажи. — Братцы! Жомини да Жомини... — Вася! Я ведь её любил. А она... — Отец Кирилл, позвольте с вами чокнуться, так сказать, индивидуально... — Вот вы говорите, дворянство... — Слушай-ка, а кто это там, никак Двугривенный? — Да ведь ты с ним уже здоровался. — Что-то не припомню... — Трёхкопеечный. — Вот сука, и он здесь. — Повреждён Сатурном... — Нет, до чего дело дошло... — Господа! (Стук вилок о стакан.) Господа, Игорь Валерианович просит всех в кабинет».

LVII

Российская рапсодия

26 августа, на закате солнца

Окончен пир, затихли песни, обессиленная дружина лежит вокруг шатра на зелёном взгорье. О журнале как-то забыли — или, может быть, в другой раз? Некоторое время заняло рассаживание, преодоление послеобеденной сонливости, размешивание сахара в чашечках чёрного, как совесть злодея, кофе. Наступило молчание. Воцарился тот особый, пепельно-мглистый предгрозовоый сумрак, за которым должен последовать громовой разряд.

Слышится шелест бумаги, лёгкий удар стопкой страниц о письменный стол. Щёлкнул выключатель настольной лампы, полоска света пробилась из-под двери. И голос мужа из кабинета достиг чуткого женского уха

В данной работе...

Сусанна Ароновна вся превратилась в слух.

...проанализированы с православных позиций ход и направление истории России в XX веке перед лицом надвигающегося нового мирового порядка. Позволим себе утверждать, что этот новый порядок однозначно расшифровывается как грядущее царство Антихриста.

Слышалось:

Силы, стоящие за ним, рассматривают Россию как главное препятствие для осуществления своих целей. Ибо они понимают, что только Россия...

Доносилось:

Русский патриотизм есть великий мистический, метафизический, геополитический, исторический, державный и эсхатологический Проект, доверенный избранному народу великороссов... Русский патриотизм напрямую связан с таинством пространства как отражения вечности в имманентном мире...

Робкие хлопки на миг прервали чтение. Тишина, и снова:

Русский язык является языком потустороннего, он непереводим на другие языки. На русский язык можно сделать только плохие переводы с других языков, ибо суетность, мелочность содержания других языков и наречий...

Остроглазая, маленькая, как мышка, Сусанна Ароновна сидит в кресле. В полутьме светится полоска под дверью. Шелестит переворачиваемая страница.

Наше национальное положение в сегодняшнем мире требует от нас соборного обновления Русской Доктрины. Нас, русских, хотят загнать в угол, пользуясь нашей незлобивостью, нашей сосредоточенностью на духовном...

Осознание причин и смысла нашей нынешней национальной катастрофы, установление конкретных носителей исторической вины...

Кто-то всхлипнул. Смущённое сморкание. Мгновение тишины. Мягкий академический баритон, натренированный в выступлениях, так хорошо идущий (подумала Сусанна Ароновна) к голубовато-седым кудрям и усам Игоря Валериановича:

Цельный ряд исторических фактов... Исследования последних лет... Как подчёркивает наш современник, выдающийся русский историк Михаил Назаров... Нас, совопросников мира сего, обвиняют в клевете. Хочется спросить: в клевете на кого? Не может быть клеветой то, что является правдой... Сражение с чёрными силами... Царство Антихриста.....

Голос окреп, посуровел.

Необходимость выработки ответственного, национального отношения к феномену еврейства... Проблематика крови... Переворот 1917 года как предпосылка красного террора и голодоморов, с

одной стороны, а с другой стороны, безуспешность попыток ассимилировать евреев, этот как исторически, так и биологически чужеродный паразитический элемент.

Часы из гроба:

«Дон!.. Бом!..»

Слушательница нехотя поднялась из своего кресла. Привычное восхищение мужем, его умом и эрудицией достигло высокого градуса. Не так уж важно было, о чём вещал Игорь Валерианович. Голос мужа погрузил Сусанну Ароновну в эротический экстаз. Домашние заботы призывали. Как вдруг распахнулась дверь кабинета.

Боже, что случилось?

Некто с тоскливо-страдальческой миной вышел из кабинета, извините, пробормотал он, где у вас?.. Сусанна Ароновна гневно взглянула на покинувшего собрание, молча, презрительно показала пальцем, куда идти. Несчастный писатель едва сумел добрести до заветной дверцы, еле успел дрожащей рукой задвинуть дверную задвижку, расстегнуть и спустить штаны. Кафельные стены уборной потряс взрыв. Пищеварительный тракт не справился с изысканными яствами. Это был рецидив старинного недуга. Грозное напоминание. Режущая боль в животе снова вынудила страдальца подняться с тряпичного ложа. Он заковылял в сени между двумя барачными секциями, к помосту с круглыми дырами. *И пайка, и место на нарах, и в хладном сортире очко*, как сказал псаломщик, лагерный рапсод. Никуда они не делись — ждут тебя.

Не пропала в тумане времён, о нет, хибара бабуси Швабры Анисимовны, сто первый километр, там тоже всё скучает по тебе. Долой хронологию — трубка калейдоскоп поворачивается так и сяк. Писатель выбрался из своей комнатки со щелястым полом, вышел в огород. В сумерках зашлёпал к дощатому домику-скворечнику, корчась от спазмов, усёлся там на корточках, орлом, как это называется.

LVIII

Прекрасная Франция, или последнее приключение певца вчерашней вечности

5 сентября 1992

Чудо телефонии в одно тревожное утро повергло соседей в трепет, привело в боевую готовность неусыпный инстинкт бдительности.

Да, зазвонил телефон в коридоре, ничего особенного; но звонок был необыкновенный — громкий и продолжительный. Подошёл кто-то из жильцов. Через минуту снова звонок, голос телефонистки.

Сосед постучался: «Тебя, что ли».

Писатель взял трубку.

Таинственный дальний, нежный голос на неведомом наречии, словно звонят с другого конца Земли.

«Excusez-moi de vous déranger, j'aimerais parler à M...»¹

«Je vous écoute. — Там продолжали говорить. — Un instant, s'il vous plaît»², — сказал писатель, поглядывая на соседа, который опаздывал на работу, но всё ещё торчал в дверях своей комнаты. Писатель попросил перезвонить через полчаса.

«Кто это тебе звонил?»

«Понятия не имею».

«Небось, знаешь, коли ответил».

Когда ровно через полчаса снова раздался звонок, приоткрылась другая дверь, бывшая жилплощадь Анны Яковлевны и сгнувшейся бесследно Валентины, — и выснулась кривая физиономия. Теперь прислушивалась вся квартира. Ожила мифология призрачных спецслужб. Писатель отвечал кратко, на иностранном языке, и это мог быть только язык врага. Разговор был недолгим.

Неизвестно, сколько времени протекло, прежде чем, поднявшись с раскладушки, на которой он проводил теперь почти весь день, автор этой хроники привёл себя в относительный порядок. Он вышел из дому. Топография города меняется по мере того, как мы стареем: некогда просторный мир детства съёжился, как шагреновая кожа. Не стало железных ворот, запиравшихся на ночь, и можно было видеть мимоходом, что двор как-то странно сморщился. Переулок стал короче и грязней. Привычным путём из Большого Козловского он свернул в Большой Харитоньевский к Чистым Прудам. Бывший бульвар являл хватающее за сердце зрелище запустения. Вокруг замусоренной детской песочницы на поломанных скамьях разместилась община пожилых алкоголиков и бомжей. Не доходя до Покровских ворот, спиной к дому с барельефами сказочных зверей, — писателю чудилось, вот-вот покажется рядом с подъездом вывеска доктора Кацеленбогена, — на скамейке сидела женщина лет тридцати, темноглазая и темноволосая, неброско одетая. Он приблизился. Дама проворковала:

«C'est moi. Vous êtes surpris?»³

В руках у неё книжка в белом бумажном переплёте, опознавательный знак. Та самая книжка. Никаких сомнений: эту тётку подослали *они*.

Уйти в глухую несознанку. Ничего не знаю, понятия не имею, чего от меня хотят. Он посмотрел направо, посмотрел налево.

¹ Простите, можно поговорить с г-ном...?

² Я вас слушаю. — Одну минуту (*фр.*).

³ Это я. Вы удивлены?

«Спрячьте», — быстро сказал он.

«Боже мой, эти времена прошли! Неужели вы думаете, что я решилась бы...»

«Прошли? — спросил он. — Может быть?».

«В чём же дело, почему вы так испугались?»

«Рефлекс».

Поколебавшись, он сел рядом.

«Вы читаете по-русски?»

«К великому сожалению, нет. Взяла с собой на всякий случай. — Она улыбнулась. — Как доказательство».

Как улика, подумал он.

«Дела давно минувших дней, — заметил писатель. — Всё это уже устарело».

«Настоящая литература не устаревает».

«Спасибо. Вы в этом уверены?»

«В том, что ваша проза не устарела?»

«Нет. В том, что это настоящая литература».

Дама снова улыбнулась прелестной улыбкой.

«Вы, однако, порядочная кокетка. Пожалуй, я должна сделать вам ещё один комплимент. Откуда у вас такой прекрасный... вы не пробовали писать по-французски?»

Продолжая говорить, она отщёлкнула сумочку, протянула визитную карточку, мы, сказала она, предполагаем начать новую серию. Что-то вроде библиотеки новейшей русской литературы.

«Вот как. Кто это — мы?». Он разглядывал карточку, название издательства ничего ему не говорило.

«Если вы, конечно, не возражаете».

«Мадам Роллан...» — проговорил писатель.

«Жюли Роллан. Зовите меня Жюли. А вас — можно мне называть вас по имени? Скажу вам по секрету, что я уже подыскала переводчицу».

«Я там кое-что переделал. По сравнению с...»

«Мы это обсудим. Хотя должна заметить, что времени осталось немного. Роман должен выйти не позднее начала марта... Вы имеете представление о парижском Salon du livre?»¹

«Ни малейшего»

«О, тем лучше! Вас ждёт много интересного».

«Меня?»

«Мы хотели бы вас пригласить».

«Пригласить, куда?» Писатель воззрился на даму.

Она возразила:

¹ Ежегодная весенняя книжная ярмарка.

«Я понимаю, вы стеснены в средствах... Финансовую сторону вашего визита издательство, естественно, берёт на себя».

Поразительно. Они никогда это не поймут. Что значит прожить всю жизнь в закрытой стране. Всё равно что получить приглашение с другой планеты.

«У вас не будет никаких забот».

«Не в этом дело», — сказал он.

«А в чём же?»

Вот дура.

Некто приближался издалека.

«Видите, — сказал писатель, показывая глазами на нищего. — Помолчим немного. *Un homme averti en vaut deux*¹».

Человек в лохмотьях протянул ладонь лодочкой. Мадам Роллан поспешно рылась в сумочке. Писатель сказал:

«Вали отсюда». Собиратель милостыни удаляется в сторону Покровки.

«Зачем же вы так резко обошлись с ним?»

«Разве вы поняли, что я сказал?»

«Догадалась. И, кстати, что вы хотели этим сказать: *un homme averti*? Он показался вам подозрительным?»

«На водку собирает. Это в лучшем случае».

«А в худшем?»

«Жюли, — сказал писатель, — я отравленный человек».

«Да, но ситуация в России изменилась!»

«Возможно. Если вы так считаете. Но я уже сказал вам: я отравленный человек. Принюхайтесь, — сказал он. — Разве вы не чувствуете?»

«Вы хотите сказать, в Москве плохой воздух? Уверяю вас, в Париже не чище...»

«В Москве всегда был плохой воздух. Я не об этом. Испарения лагерей. Вся Россия отравлена. — Она не знала, что ответить, он продолжал: — А что касается вашего предложения, спасибо, конечно...»

«Вы бывали в Париже?»

«Нет, разумеется. Меня туда не пустят».

«Почему?»

«Я не член Союза писателей. Следовательно, не писатель. А раз не писатель, значит, и ехать незачем. Не говоря о том, что за мной повсюду следует моё дело».

«Но, если я не ошибаюсь...»

«Удивляюсь вашей осведомлённости. Формально я реабилитирован. Так это называется. Это ничего не значит. Мне не дадут визу».

¹ Бережёного Бог бережёт.

«Издательство оформит официальное приглашение через министерство иностранных дел».

«Не поможет».

«Но откуда вы знаете?»

«Оттуда... Я живу в этой стране, вот откуда».

Эх, не надо было так говорить. Вообще не надо распространяться. Ну, всё равно, семь бед — один ответ.

«Я всё-таки не понимаю... — пробормотала она. — Хорошо, отложим эту тему. Я бы хотела взять у вас интервью».

«Интервью, о чём?»

«О вас, о вашем романе. Немного поговорить с вами».

«Прямо здесь?»

«Нет, здесь шумно. К тому же я не взяла с собой аппарат. Не согласитесь ли вы поехать со мной в отель...»

«Не о чем разговаривать».

«А всё-таки».

«Послушайте, — сказал писатель. — За мной следят».

«Дорогой мой, это уже становится смешно. Кто это за вами следит — посмотрите вокруг. Здесь никого нет! Или вы думаете, что вас окружают невидимки?»

«Да, думаю. Один сидит рядом с нами. А другой прогуливается по дорожке. Слышите, как хрустит песок?»

«Замечательно. Превосходный сюжет. Напишите об этом рассказ... Как вы думаете, — спросила она, поднимаясь, — где-нибудь поблизости найдётся стоянка такси?»

ЛХ

Интервью

Тот же день

Войдя, писатель хлопнул в ладоши. Должен быть отзвук, объяснил он. Француженка, в коротком светло-коричневом платье с пояском, опустилась перед шкафчиком, который в гостиницах называется баром. Её колени блестели, обтянутые шёлком. Какой отзвук, спросила она.

«Если слышится эхо, значит, комната прослушивается. Вон там, — он показал вверх, — должен быть микрофон».

«Я вижу, вы опытный конспиратор».

Вздохнув, она подняла на гостя тёмно-блестящий взгляд. Писатель криво усмехнулся, пожал плечами.

«Вроде нет», — в его голосе звучало почти разочарование.

Жюли выставила бутылку, за ней ещё одну поменьше, явились миксер, лёд в металлическом лотке и два высоких стакана. Устроились на диване перед столиком с магнитофоном. Оба сделали по глотку, она взглянула вопросительно на гостя.

Он кивнул: «C'est ça»¹.

«Вы готовы?»

Она прочистила голос. Ей показалось, что аппарат не в порядке, она остановила крутящиеся бобины, нажала на другую клавишу, катушки послушно завертелись в обратную сторону. Остановила, снова включила, поднесла к устам микрофон.

«Par commencer... для начала я хотела бы задать такой вопрос. О чём, собственно...»

Молчание, крутятся катушки. Ясный день за окнами. Закат века. Её палец с длинным розовым ногтем нажимает на стоп. Мсье такой-то. Я, кажется, вас о чём-то спросила, сказала она вкрадчиво.

Писатель держит в руках чашечку микрофона, как Гамлет — череп шута. Это первое в его жизни интервью — и, вероятно, последнее.

«О чём этот роман? — переспросил он сдавленным, не своим каким-то голосом. Что ей ответить? — Не знаю. Может быть, о преодолении хаоса».

Нет, возразила мадам Роллан, и катушки остановились, говорите естественней, расслабьтесь; ближе ко рту; пожалуйста; ещё раз.

«Тема моей книги — преодоление хаоса».

Вот это другое дело.

«Что вы подразумеваете под хаосом? Вашу собственную жизнь?»

«Отчасти, да».

«Значит, это автобиография».

«Нет. Условие писательства — самоотчуждение».

«Что это значит?»

«Это значит, что надо стать чужим себе самому. Использовать свою жизнь как материал. Не более чем материал, с которым можно работать».

«Вы говорите о хаосе».

«Да. Жизнь — это хаос случайностей. Нужно отыскать в нём какой-то смысл».

«Но вы как будто в этом сомневаетесь...»

«Очень может быть, что это иллюзия».

«Вы говорите — преодолеть хаос».

«Существует очарование беспорядка. Соблазн хаоса. Хаос тянет в него погрузиться. Освобождает от дисциплины и традиции, поощряет своеволие...»

¹ Подходяще (*фр.*).

Писатель потянулся к стакану, к остаткам мужества.

«Понимаете, — сказал он, — надо сопротивляться».

«Сопротивляться — чему?»

«Всему. Всему этому гнусному миру. Омерзительному веку, в котором нас угораздило родиться...»

Собеседница остановила плёнку, передохните, сказала она, у вас такой вид, словно вас ведут на казнь... Разве вам неприятно, что о вас узнают во Франции?

Зачем мне всё это, хотел он возразить.

Отлично, продолжим. Она нажала на клавишу.

«Вы — бывший узник Гулага».

Он поморщился.

«Кажется, вам не очень приятно говорить об этом?»

«Узник... слишком громкие слова. Да и название неверное. Гулаг — это ведь всего лишь контора. Главное Управление Лагерей».

«Вам не кажется, что в вашем романе слишком уж большое внимание уделено концлагерям?»

«Может быть. Но Россия этого века невысказана без лагерей принудительного труда. Вся страна была покрыта лагерями. Даром это не проходит. Существует лагерная цивилизация; мы её создали. Это и есть то, что называлось социализмом. Мы его построили. Мы по-прежнему живём в лагерном мире. Мы усвоили психологию лагеря. Она стала общепризнанной психологией. Лагерный образ жизни впечатался в русский национальный характер».

Нет, пожалуй, он слишком уж разговорился.

«Я вас слушаю», — её голос напомнил о себе. Провокация, кругом провокации. Всё это мелькает в мозгу. Но уже ничего не поделаешь.

«Я не касаюсь вопроса, насколько лагерь отвечал традициям государства, где классическое крепостное право было отменено всего лишь каких-нибудь сто тридцать лет тому назад... У Толстого говорится: солдат, раненный в деле, думает, что и вся кампания проиграна. Так и здесь. Вы скажете, что человек, отдававший лагеря, уверен, что это и есть самое главное в жизни народа. Между прочим, — сказал писатель, — в лагерях так и думали, что на воле никого уже не осталось. Но всё-таки лагерь — это не aberrация, не искажение, лагерь — это, знаете ли... это, как и война, — стержень века».

«Ржавый стержень, — сказала она. — Но я бы хотела вернуться к роману. Если не ошибаюсь, у вас его отняли? — Писатель кивнул. — Но вы сумели его восстановить, это требует большого мужества. Внутреннего мужества».

«Ну и что?»

Палец госпожи Роллан остановил магнитофон. Умоляю, простонала она, говорите громче!

Писатель обвёл глазами стены, отхлебнул из стакана.

«Ну и что, у меня всё равно нет читателей».

«Поверьте мне, во Франции...»

«А, бросьте...»

«При том, что роман носит несколько странный характер. Да ещё этот эпитаф из Августина... Вы, — она запнулась, — vous êtes donc catholique?»

«Bien sûr que non».

«Alors qui êtes-vous?»

«Personne».

«Que voulez-vous dire?»

«Rien. Personne c'est personne. En Russie cela arrive assez souvent qu'une personne découvre qu'elle n'est personne¹. Мне кажется, — проговорил он, — по-французски все это как-то не очень ловко выходит, но ничего не могу поделать».

«Нет, отчего же, я вас прекрасно поняла. Скажите мне это ещё раз по-русски. Или вообще что-нибудь».

«Но вы же не поймёте»

«N'importe². Я хочу услышать, как звучит русская речь. Это очень мелодичный язык. Итак, некто оказался никем. Бедняжка! Впрочем, я должна сказать, это сейчас довольно популярный тезис. Смерть автора. Если не ошибаюсь, об этом говорил Ролан Барт... Вы хотите сказать, что вы потонули, исчезли в своей книге?..»

Пауза.

«Название. Что вы скажете о названии?»

«Толкуйте его как вам угодно».

«Я бы хотела услышать *ваше* объяснение».

«Память превращает вчерашний день в вечность».

«Замечательно».

«Память уничтожает время...»

«Ещё лучше. Но, кажется, вы собирались увековечить не только собственное ваше прошлое».

«Неудачное слово, всё равно что восславить. Никакого славного прошлого нет».

«Странно. Все русские гордятся прошлым своей страны. Или, по крайней мере, не стыдятся его».

«Я не горжусь и не стыжусь».

«Но вы же только сказали: гнусное время».

¹ Разве вы католик? — Нет, конечно. — А кто же вы? — Никто. — Как это понимать? — Как хотите. Никто — это никто. В России довольно частое явление. Когда некто оказывается никем.

² Не важно (*фр.*).

«Я живу в нём».

«В прошлом, а не в настоящем?»

«В вечности».

«Громко звучит!»

«Это принудительная вечность».

«Навязанная память, хотите вы сказать?»

«Пожалуй. Во всяком случае, не память Пруста. Жюли! — сказал он и сам остановил бобины. — Жюли, чем вы меня напоили?»

«Обыкновенный виски с тоником. Вы сказали, что вам нравится...»

Она поднялась с дивана.

«Открою вам маленький секрет. Вы спросили, бывала ли я в Москве...»

«По-моему, я об этом не спрашивал».

«В самом деле?» Она прохаживается по комнате. Магнитофон на столе не подаёт признаков жизни — обиженный собеседник, которому дали понять, что он больше не участвует в разговоре.

Сочинитель проговорил:

«Мне вообще кажется... не могу точно выразиться. Все координаты как будто смещаются».

«Это ваш стиль. Вы ведь постоянно сбиваете с толку читателя. Да, мне приходилось бывать в Москве, но когда не знаешь языка... Русский очень трудный язык. К тому же я слишком тупа. Но я приехала не с пустыми руками. Переводчица подготовила rapport de lecture¹, причём весьма подробный. Так что кое-какое представление о книге я всё-таки получила. А теперь познакомилась и с автором. Ба! ваш бокал пуст».

Она снова сидит на корточках перед баром. Платье обтягивает её бедра. Жюли поднимается.

«A votre santé! На-здховья! Чокнемся, по русскому обычаю».

«Будем считать, что интервью закончено?»

«По-моему, получилось неплохо. Нет, — сказала она, — не буду вам раскрывать тайну. Подождём, пока подействует...»

«Вы имеете в виду это... — он держал перед собой стакан. — Вы туда что-то добавили? Это и есть ваш секрет?»

Убийственная догадка осенила писателя, вернее, должна была осенить, подозрения были не напрасны. Всё понятно, говорил он себе, так я и знал! Дурацкое интервью, мнимое приглашение в Париж... Признавайся, сука, тебя ведь подослали, ты, может, вовсе и не француженка!

Он как будто даже старался внушить себе, что поддался на провокацию. Но удивительное дело — не испытывал при этом никакого волнения.

А! не всё ли равно.

¹ краткий пересказ содержания (*фр.*).

Он почувствовал желание говорить.

«Не знаю, как будет выглядеть французский перевод, в любом случае мой роман безнадежен. Он безнадежен уже потому, что противостоит нынешнему состоянию русского языка. Во что я верю, — надменно сказал сочинитель, — так это в язык!»

«Un instant¹, я хочу включить...»

«Зачем? А впрочем, всё равно. Сделайте одолжение».

Она перевернула кассету. Затешился зелёный огонёк индикатора, вновь завертелись катушки.

«Да, я верю в язык. Моя вера простирается до уверенности, — да, я в этом убеждён! — что язык есть движущее начало истории. Судьбу нации предопределяет судьба её языка. Вы улыбаетесь?»

«О, я слушаю вас внимательно».

«И этот провокатор тоже». Писатель покосился на магнитофон.

«Будем считать, — сказала Жюли, — что это наш общий провокатор».

«Великие эпохи языка внушают веру в историю. И наоборот. Это не новость. Крушение Рима было следствием деградации латинского языка. Она началась задолго до нашествия варваров... Готы и вандалы застали этот язык уже тяжело больным. Упадок языка парализовал сопротивление, ничто уже не могло помочь, ни сто семьдесят легионов, ни стена вокруг Города...»

«Это ваша собственная теория?»

«Это не теория, а факт. — Писатель сделал хороший глоток. — И вот теперь Россия... Русский язык болен, мадам. Болезнь сопровождается приступами лихорадки, за которыми следует прострация, полный упадок сил... И это тоже началось не вчера...»

Достаточно взглянуть, продолжал он, на засохшие извержения языка двадцатых годов, а ведь тогда ещё литература считалась свободной. Что же говорить о том, что было дальше... Речи вождей, словопрения идеологов, газетные статьи. Ведь это — клинические документы. Вы видите эти скачущие температурные кривые, эти безжалостные анализы крови. Все симптомы того, что врачи называют пиемией, гноекровием.

«О!» — сказала она.

«В чём дело?»

«Восхищена вашим красноречием».

«Если бы это было только красноречие... Вам бы наши заботы, дорогая! Следствием болезни языка была цепь катастроф, постигших нашу страну. Это процесс, против которого не попрёшь. А теперь взгляните на нынешнюю ситуацию. Впрочем, как вы можете взглянуть, вы не знаете язык. И слава Богу...»

¹ Минуточку.

Он умолк, хлебнул из стакана.

«Будьте добры, — прохрипел он, — вырубите эту машину...» И катушки остановились. Женщина искоса поглядывала на гостя.

«К чертям весь этот монолог. Вам всё равно придётся сокращать...»

«Вы правы, — проворковала она, — должна вам признаться: напиток не совсем обычный... Вы молчите. Вы, может быть, подумали Бог знает что... Хорошо, тогда я договорю, ведь я ещё не всё сказала...»

И умолкла. Писатель ждал.

«Я понимаю, вы не можете доверять случайным знакомствам... Но я вас не обманываю. Больше того... В вашем романе есть главный герой, но нет, опять таки насколько я могу судить, — нет героини! Нельзя же назвать героиней эту старую дворянку...»

«Почему?»

«Должна ли я объяснять? Ваш герой любит её не той любовью, какой мужчина любит женщину. В романе нет большой любви! Да, да, — поспешно прибавила она, — вы скажете, эта крестьянка. С которой он сошёлся в лагере, я правильно говорю? Не будем спорить. Дорогой автор! — сказала мадам Роллан. — У меня есть предложение. Пусть оно вас не смущает, в конце концов мы оба находимся под действием этого питья... Я хочу быть героиней твоей книги».

«Вы? Ты?..»

«Да, я. Ты находишь в этом предложении что-то странное?»

«Я тебя совершенно не знаю. Откуда ты, кто ты?»

Она рассмеялась.

«Тем лучше! Ты сочинишь мне биографию. Выпьем за это. За мою новую жизнь в твоём произведении. Писатель, я хочу переселиться в твою книгу».

«Ты уже переселилась», — пробормотал он.

«Милый мой, в этом и состоит творчество. Вытеснить реальную жизнь властью воображения».

Смеясь, оба опорожнили свои чаши.

«Но всё-таки. Всякое изображение имеет свои границы. Ты француженка. Ты первая живая француженка, которую я вижу в своей жизни».

«Mon Dieu, я столько слышала о том, что русская интеллигенция молится на Францию. Chacun de nous a deux patries, la nôtre et la France¹, кто это сказал?»

«Франклин, кажется».

«Я думала, кто-то из русских. Но разве вы не сказали бы то же самое о себе?»

¹ Господи. (...) У каждого из нас две родины: наша собственная и Франция.

«Дела давно минувших дней, это были другие русские... Как же я могу писать о тебе, если я о тебе ничего не знаю?»

«О, мысленно ты уже пишешь. Ты вставишь главу, где будет рассказано, как мы встретились. Как я позвонила твоему герою... О котором, между прочим, тоже известно не так уж много. Например: на что он живёт? Он нигде не работает. У него нет женщины, которая могла бы его содержать. Верно?»

«Допустим».

«И, наконец, неизвестно до сих пор, не он ли сидит сейчас передо мной!»

Она прошлась по комнате, где уже стало сумеречно.

Это был довольно просторный номер, состоящий из гостиной и спальни, с несколько вычурной мебелью, с люстрой, которую обитательница предпочла не зажигать, и трёхстворчатым зеркалом в спальне.

Задумавшись, сочинитель сидел за столом перед умершим магнитофоном. Голос Жюли послышался из спальни:

«Вы живы?»

Он пробормотал:

«Я жив. Я всё ещё жив... Но я стар. Как-то незаметно я стал стариком».

Она что-то возразила, гость не расслышал.

«Ты хотел, — теперь её голос звучал отчётливей, должно быть, она отвернулась от зеркала, — чтобы я тебе рассказала о себе. Но ты забыл, писатель, что для того, чтобы узнать женщину, не надо её слушать. Или, слушая, делать противоположное заключение. Женщину надо видеть, потому что тело не обманывает».

Послышался шорох, стук туфелек, она продолжала:

«Ты упоминаешь одну картину — там есть описание. *C'est une nudité...*¹ Как можно догадаться, весьма посредственный художник, но картина почему-то играет в жизни героя особенную роль... Опиши меня, как ты описываешь действующих лиц».

«Забавная игра, — отвечал писатель, стоя на пороге спальни. — Зачем играть в литературу. Литература сама есть игра».

«Смотря как подойти к вопросу, — возразила она. — Ты готов? Где твой стилум? Где восковые таблички? Гусиное перо? Пишущая машинка?»

Она стояла спиной к писателю,

«Я вижу тебя в зеркале. Ты невысокого роста. Это оттого, что у тебя коротковатые ноги. Но это не портит твою красоту. У тебя прекрасно сформированные бёдра, плотные белые ягодичы. Впрочем, я не могу описывать женщину, которая повернулась ко мне задом...»

¹ Обнажённая натура (фр.).

«Старый ловелас! Начни со спины».

Писатель обнимает женщину, по-прежнему глядя в зеркало, её груди лежат, как в чашах, в его ладонях. Это что, часть сюжета?

LX

Ремонт отечественной истории. Не надо искать женщину — она сама вас отыщет

10 июля 1998

Господа, дело идёт к концу; сколько лет вы не были в городе? Небось соскучились. Москва изменилась — это скажет вам каждый. Прямо тут же, из автомата на улице, можно позвонить за границу. В киосках продаются иностранные газеты. В книжных магазинах бывшая крамольная литература. В булочных хлеб по нормальной, выше прежнего, цене. Не надо никакого блата, нет никакого дефицита, всё всем доступно — разумеется, кроме тех, которым недоступно. У которых нет денег. Всё сыты — кроме голодных. Мирно, бок о бок с кремлевскими звёздами сверкают новенькие двуглавые орлы. Веют трёхцветные флаги. В подъездах не пахнет мочой.

Стало ещё тесней, ещё шумнее... да, пожалуй, и веселей! То есть не то чтобы, но всё же. Если вас не пугает давка в метро, не смущает толчея на тротуарах, не оглушает грохот транспорта, выкройте часок, чтобы прогуляться по городу. Поезжайте до станции с восстановленным историческим названием, поднимитесь наружу, на площадь, где ещё недавно стоял на круглом постаменте суровый муж в долгополой шинели, где доньше висится славная цитадель — с некоторых пор её украшает мемориальная доска в честь безвременно ушедшего шефа Государственной безопасности. Здание охраняется, и нет возможности забросать жидкими испражнениями эту скрижаль. Бог с ней. — Высоко над рядами мертвенно отсвечивающих окон, над стенами расположенных на крыше прогулочных дворов для узников, в бледно-голубом небе плещется трёхцветный стяг самодержавия, православия и народности.

Ещё немного пешёчком куда глаза глядят. Перед вами сквер с памятником Первопечатнику Ивану Фёдорову. Перед вами заново отделанная Иверская. Три четверти века ожидала она ремонта, как, впрочем, и вся наша, порядком износившаяся, отечественная история давно и настоятельно требовала капитального ремонта.

Работы предпринимались не раз. Но всякий раз неудачно. Только было замажут трещины, оштукатурят, покрасят, наведут марафет — опять всё валится. Будем надеяться, что теперь яркие краски нашей истории не сразу пожухнут, нескоро облупится позолота.

Итак, стало быть, Иверские ворота... За двумя арками видна великолепная, блестящая от солнца площадь с далёким Василием Блаженным и портящей перспективу глыбой гостиницы «Россия». Надо бы её снести к чёртовой матери. — Между арками, у подножья вновь отстроенной игрушечной церкви удобно расположился на солнышке некто. Он немолод, лыс, в сивой нечесаной бороде, как и подобает представителю вольной профессии, в железных очках на носу, из которого торчат седые волоски. Ноги в портках, выдавших виды, в башмаках загадочной судьбы, лежат на земле, между ногами молча взывает к милосердию древняя фетровая шляпа.

Ага! Женщины всё ещё не оставляют его вниманием. Стройная, юная, светловолосая, в платье неувлимо-нежного цвета, именуемого, если мы не ошиблись, палевым и который рискуют носить только такие, прекрасно сохранившиеся дамы, простучав каблучками, совсем уж было пропала в толпе, но остановилась, обернулась... приблизилась! Она стоит перед собирателем подаяний. Бывают такие совпадения, словно пересекаются диагонали судьбы.

Сиделец протягивает лодочкой ладонь.

Она стоит как вкопанная.

Он опустил руку, женщина всё ещё стоит.

«Чего надо?» — проскрипел он.

Словно очнувшись, она проговорила:

«Вот так встреча... Вот это да. Писатель!»

Увы, это был ты.

«Ты кто такая?» — спросил он.

«Та самая! — улыбаясь, отвечала дама, опустилась на корточки, платье обтянуло её бёдра. — Писатель! Где мой роман?»

Ничего не изобразилось на лице нищего, он сумрачно оглядел её:

«Вали отсюда...»

«Ро-о-оман, — пропела она, — вы обещали, если я буду вести себя хорошо, посвятить мне свой роман».

Она поднялась, не без некоторого усилия. Насупившись, он спросил:

«Когда это я обещал?»

«Тогда! У бабушки. Пожалуйста, не делайте вид, что вы меня забыли!»

Она протянула руку старцу. «Сам, сам...» — бормотал писатель, встал, подтянул штаны — жест, возвращающий мужчине самоуважение. Дама подняла с земли его шляпу, вытряхнула в ладонь кучку медяков, вручила, писателю.

«Ничего не помню», — сказал он строго, сажая шляпу на облысевшую голову. Несколько времени оба шагали рядом.

Не помню, не знаю, повторял он мысленно, ни тебя, ни ваш городишко, ни комнатку с топчаном и дощатым полом, ни старуху-хозяйку, ничего не помню, и катитесь вы все подальше.

Il en est ainsi de notre passé. C'est peine perdue que nous cherchions à l'évoquer¹.

Вошли в сквер и усадились на скамейке перед Первопечатником.

«Та-ак, значит... — пробормотал он. — Сколько же это лет прошло?»

«Я была девочкой. Я была в тебя влюблена, писатель».

Он усмехнулся.

«Ты просто не заметил. Мужчины невнимательны. Ты и сейчас меня не узнал... А я, между прочим, вспоминала о тебе. Писатель, я всё та же».

«Та же... Только я не тот».

«Ты не выполнил своё обещание. Где книга?»

Нищий молчал, мутно поглядывая из-под косматых бровей.

«Я жду», — сказала она холодно.

«Чего ты ждёшь?»

«Чего я жду, о, Господи. Вот уж никогда бы не подумала. Так опуститься... Где ты живёшь? Как ты вообще существуешь?»

«Существую...»

«У тебя есть какое-нибудь жильё?.. Ты пойдёшь со мной, — сказала она. — Будешь жить у меня... А эти лохмотья — вон, вон...»

«Не смей меня оскорблять».

«О, я бы тебе ещё и не то сказала... Писатель, за тобой должок, где мой роман?»

«Путаешь меня с кем-то...»

«Я? путаю?»

«Нет его. И меня нет».

«Это как же надо понимать?» — спросила она, нахмурившись.

«Нет больше никаких романов! — крикнул он. — Конец, finita... Сколько можно?»

«Куда ты его дел. Куда ты его дел?! Я спрашиваю».

«Тебе говорят — нет. В сортир спустил... — Усмехнувшись: — Вместе с тобой».

«Со мной?»

«Ну да. Ты ведь тоже была — как это называется — действующее лицо. Хоть и второстепенное».

¹ Вот так же обстоит и с нашим прошлым. Пытаться воскресить его — напрасный труд. (*Пруст*).

Нищий взглянул на позеленевшего человека в курдюках, повязанных ремешком. Он опирается на печатную доску, в другой руке держит типографский лист. Сверлит укоряющим оком. Пора бы и его туда же. Взорвать к чертям постамент. Девочка протягивает хлеб с повидлом. Вместе слизывают с пальцев сладкие капли.

«Неправда, — сказала она. — Я не верю. Мы его разыщем. Или ты напишешь заново».

«Держи карман шире...»

Помолчав, он добавил:

«Ни к чему. Не вижу необходимости».

«Мы поговорим об этом после; пошли».

«Куда это?»

«Есть необходимость или нет, не нам судить. Поднимайся, у меня мало времени».

«Зато у меня сколько угодно!»

Чудный день, яркое летнее солнце. Город шумит, новые времена, вдруг оказалось, что в Москве очень много машин. Писатель сказал:

«Мне нехорошо. Лучше проводи меня».

«Куда?» — спросила девочка. Он сидел за дощатым столом в комнате с низким окошком, память — как застарелая хроническая болезнь, кто-то царапался в дверь, девчушка вошла, держа в руках ломоть хлеба с повидлом. Бдительность, сказал жилец, подняв палец, бдительность прежде всего, и принялся перебирать исписанные листы. Оба стали есть и слизывать повидло с пальцев.

«У нас большая квартира, — говорила она, — мой сын предприниматель. Мы ни в чём не нуждаемся... У тебя будет своя комната. Все условия для работы... Ты всё вспомнишь, торопиться некуда. Напишешь ещё лучше, чем было. А потом мы издадим книгу за свой счёт, в самом лучшем издательстве. Писатель. Я требую. Ты обещал!»

«Там есть столовая, бесплатная... Отсюда недалеко... Проводи меня».

«Никаких столовых! Мы едем к нам».

«К вам. Угу. Куда же это?»

«Посиди минутку. Я возьму такси».

«Девочка моя...» — неожиданно проговорил писатель, глядя мимо бородатого Первопечатника, мимо Иверских ворот. Шум столыцы, вода под времени заглущил его бормотанье.

«Девочка... Я понимаю, надо было сопротивляться... Надо было твердить своё... Надо было оправдать».

«Что оправдать?»

«Всё. Историю. Литературу. Свою собственную жизнь. Ничего не вышло».

«Но есть Бог», — сказал Первопечатник.

Писатель поднял голову.

«Ты так думаешь?» — спросил он.

Рядом с ним женщина, уже не казавшаяся такой моложавой, сжала виски ладонями, да, да, говорила она, есть Бог, и он всё видит и всё понимает; он и тебя ведёт, и не зря мы с тобой повстречались.

«Ты начнёшь всё сначала. Сними очки. Дай-ка я на тебя взгляну. — Она сама сняла с него очки и сунула ему в карман. — Не такой уж ты старый! Ты напишешь новый роман. Напишешь роман о пути к Богу...»

Ишь ты, подумал писатель, какие все стали богомольные.

Вслух он сказал:

«Может, он и есть. Только не про нас».

«Послушай... — Она встала, взглянула на ручные часы. — Мне надо торопиться. Ты тут посиди... Я скоро вернусь».

«Можешь не возвращаться...»

«Посиди, я сейчас...»

«Минутку... Что я хотел сказать... Будь на моём месте человек в десять раз талантливей, всё равно ничего бы не получилось. Новые времена... Что же это за такие времена, такая эпоха. Когда какого-то Элвиса Пресли боготворят сотни миллионов... О чём тут толковать... Пресли отменил Бетховена... А ты говоришь... Кому всё это нужно... Извини, мне сегодня как-то нехорошо, надо бы лечь. Я, пожалуй, тоже пойду... Рад был тебя видеть. И что у тебя всё в порядке... Всё в порядке...» — бормотал он, не замечая, что рядом никого уже нет.

LXI

Глас народа

10 июля

Он лежал на скамейке. К нему подошли, он поднял голову.

«Отдыхаем, папаша?»

Их было трое, в кожаных куртках с металлическими застёжками.

«Ну-к, подвинься...»

Нищий спустил ноги.

«Подвинься, ё...ный в рот!»

Один из них плюхнулся на скамью и начал его оттеснять, так что он чуть не слетел на землю. В чём дело, спросил он. Сучий потрох, блядина, ответили ему. Доставай что ты там насобирали.

Сейчас, сказал он, вставая. Прихлопнул на голове старую шляпу. Сунул руку в штаны, как-то странно вздрогнул и выхватил финку.

Писатель стоял, расставив ноги, держа нож у живота лезвием вперёд, взглянул на одного, взглянул на другого.

«Вот что, отцы... Гребите отсюда. Пока хуже не будет».

Он не желал им зла.

«Эва, какой шустрый...» — они переглянулись. Один стал заходить сзади, писатель косился на него. Он рассчитывал, бросившись на главного, расчистить себе путь к отступлению. Его опередили. Оружие было выбито у него из рук молниеносным ударом ногой, другой удар сзади свалил его наземь.

Его обступили. Кованым сапогом — под ребрину.

«Канючить милостыню. На святом месте. Господа Бога гневить. Родину нашу позорить, с-сука!»

«Ребята, — бормотал нищий, — я же не знал...»

«Будешь знать! Васёк, поучи-ка его маленько».

Васёк поучил.

«Ещё раз тебя тут увижу, — зловеще сказал главный, — пеняй на себя».

И голос свыше, как эхо, прогремел:

«Пеняй на себя!»

Vox populi, vox Dei¹.

LXII

Глава без названия

Ночь на 11 июля 1998

Выйдя из метро, он поплёлся, кряхтя, по Боярскому переулку и увидел, что его ждут. Наконец-то! Оба вошли в подъезд; писатель открыл дверь своим ключом. Было уже поздно, квартира спала.

Он повалился на раскладушку. Молодой человек в чёрной одежде молча сидел у его ног. Некоторое время они поглядывали друг на друга, хозяин вперил глаза в потолок, потом спросил:

«Может, выпьешь со мной?»

Гость покачал головой. «И тебе не советую», — сказал он.

Ещё помолчали.

¹ Глас народа — глас Божий (*лат.*).

«Болит?»

«Всё тело. Особенно здесь. Может, ребро сломали?»

«Я надеюсь, — сказал пришелец, — что этот прискорбный случай не был причиной твоего решения».

«Тебя всё не было».

«А что же тогда, осмелюсь спросить, тебя побуждает?..»

Писатель не удостоил гостя ответом.

«Как бы то ни было, — заметил молодой гость, — решение правильное».

Покряхтывая, писатель слез со своего ложа. Налил себе водки, нацелился было на стакан гостя, чёрный юноша накрыл свой стакан ладонью. Ну, как хочешь, пробормотал писатель. Поднял чашу с напитком жизни и смерти. Но передумал и поставил на место.

«Хочешь оставить записку?»

«Некому».

«А это? — гость показал на бумаги. Он усмехнулся. — Ты, кажется, хвастался, что спустил всё в сортир. Горбатого могила исправит, так, что ли?»

Писатель махнул рукой. Подумав, посетитель поднялся.

«Ты уходишь?»

«До следующего раза».

«Нет, нет, — испуганно сказал писатель, — подожди!»

«Но ты, кажется, передумал».

«Помоги мне».

«Ну что ж. Ты победил», — сказал гость.

«Как это?» — спросил писатель.

«Ты победил, — прошептал, склонившись над ним, пришелец. — Поэтому ты должен умереть...»

В старых квартирах высокие потолки. Ангел стоял у стола для подстраховки. Писатель поставил на стол табуретку. Морщась от боли в боку, взобрался наверх и прилаживал верёвку к крюку для люстры, которую унесли временные жильцы вместе с мебелью. Слез со стола. Они обнялись.

Гость сказал:

«Это будет длиться меньше одной секунды. А о том, что наступит дальше, можешь не думать».

И он исчез за дверью.

Писатель снова вскарабкался на табуретку, надел на шею петлю и оттолкнул ногой опору. Табуретка с грохотом упала на пол, следом за ней рухнул самоубийца. Ему показалось, что он сломал второе ребро.

ЭПИЛОГ

Апофеоз и последнее бегство

Конец XX века

В те времена, если кто помнит, много говорилось о *дороге к Храму*. Под храмом подразумевалось нечто метафизическое, но судьбе было угодно превратить метафору в реальность. Рассказ об открытии самого величественного сооружения наших дней был, возможно, последним произведением автора, о котором здесь так много говорилось. Собственно, оно и должно было стать заключительной главой хроники, но включение этого фрагмента в основной корпус романа может быть оспорено, по меньшей мере, по двум соображениям. Во-первых, в сохранившихся бумагах нет на этот счёт никаких указаний. Во-вторых, и это главное, выспренный тон рассказа — в своей чрезмерности, пожалуй, даже несколько оскорбительный — мало приличествует хронографу. Правда, автор не раз высказывал своё скептическое отношение к истории; по крайней мере, намекал, что-де история есть не что иное, как род литературы. В самом деле, текст (приводимый здесь с сокращениями), по первому впечатлению, представляет собой обычный для беллетристов гибрид правды, которая кажется вымыслом, и вымысла, выдаваемого за правду.

Свой рассказ автор начинает с экскурса в прошлое. С самого начала тень мрачного пророчества нависла над дворцом-собором, воздвигнутым во исполнение воли покойного императора Александра Благословенного, в благодарность за избавление России от нашествия двенадцати языков. Некая монахиня предсказала, что храма простоит не дольше полувека. Увы, так и случилось. После первого взрыва собор устоял, второй взрыв разрушил его до основания. Вместе с тем истёк и срок насланного свыше проклятья. И ныне Храм-дворец вознёсся вновь, дабы возблагодарить Всевышнего не только за победу над французами, но и за спасение от тевтонов, и от большевиков, и от язвы либерализма.

Но не ради одной лишь благодарности. Не все, быть может, отдавали себе отчет в смысле и назначении торжественного акта. К исходу столетия ощутилась, настоятельно дала себя знать потребность в обновлении национальной Идеи. Сочинитель сам где-то обмолвился насчёт «ремонта» истории. Пришло время великого примирения с прошлым. История, этот апокалиптический зверь, была усмирена, приручена и вышагивала, словно учёный медведь, на задних лапах, с бантом на шее, под бряцанье бубна, под возгласы поводыря-дрессировщика. Позволим себе такое живописное сравнение.

К несчастью, подготовка к национальному празднеству была омрачена диким инцидентом. Неудивительно, что о нём предпочли не распространяться

Тем, кто живёт вдали от России, нелишне будет напомнить, что у нас теперь демократия. Можно говорить что хочешь. Можно критиковать власть — само собой, в дозволенных рамках. Можно ходить по улицам с плакатами. Для этого необходимо обратиться в Управление уличных шествий и митингов. Всё можно. Тем не менее, должностные лица были несколько смущены, узнав, *кто* собирается демонстрировать. Обратились в Санитарно-эпидемиологическое управление, там ответили, что при условии соблюдения гигиенических мер — не возражают. Неясно было, о каких мерах может идти речь. Запросили патриарха. Оттуда поступил неопределённый ответ: разумеется, церковь отстаивает тезис о бессмертии души, но, знаете ли...

Особо щекотливый вопрос был, что скажет Государственная Безопасность, — не пахнет ли тут провокацией? Рассказывали, что один ответственный работник, погрозив пальцем, напомнил мудрую поговорку русского народа: кто старое помянет, тому глаз вон! Ему возразили, что подобное увещье демонстрантам как раз не грозит...

Особую бестактность устроителей можно усмотреть в том, что решено было собрать всех участников на Волхонке — именно там, где шли последние приготовления к открытию Храма. Напрасно прибывший на место князь церкви уговаривал собравшихся, помолясь Богу, вернуться восвояси. Пришло так много, что толпа запрудила окрестные улицы. Конная и пешая милиция, народная дружина, силы безопасности, отряд государственных громил оказались в затруднительном положении: применить силу по понятным причинам было слишком рискованно. Власти колебались; высшее руководство и сам правитель были вынуждены ограничиться умеренными указаниями; органы массовой информации получили наказ не освещать случившееся; агенты следили за тем, чтобы иностранные корреспонденты не затесались в толпу. Столица была взволнована, как водится, поползли всевозможные невероятные слухи, из которых самым замечательным был тот, что ничего такого вообще не было. Просто толпа собралась перед Храмом по случаю дня Всех святых. Тем не менее, центр был оцеплён, и приостановилось движение городского транспорта.

Со своей стороны, демонстранты проявили завидную дисциплину. Всё успокоилось; в молчании, по шестеро в ряд, с плакатами, портретами, иконами, колонна двинулась в сторону Моховой. Далее намеревались продефилировать по Охотному ряду, через Театральный проезд к зданию на Лубянке, бывшей площади Дзержинского, где должен был состояться митинг.

Было около десяти часов утра, стояла прекрасная погода. Нежной, как пух, зеленью успели покрыться деревья в Александровском саду. Парад возглавили полководцы. Впереди шагал маршал Тухачевский. Довоенный мундир без погон, с красными звездами в петлицах и орденами над левым карманом, болтался на его остоле, как на вешалке. Что-то вроде надменной усмешки мелькало в провалах глазниц; на череп, посеревший от времени, надвинут форменный картуз. За маршалом, гремя и хлябая в сапогах берцовыми костями, выступала когорта высших офицеров, героев гражданской войны, комкоров и командармов, с простреленными затылками, кто в боевой гимнастёрке, кто в полусгнившем лагерном бушлате, с привинченными орденами и нашитыми шевронами. Предоставляем читателю вообразить во всех подробностях изумительное зрелище. Милиция, стоявшая шпалерами вдоль улиц, опасалась вмешаться, демонстранты могли рассыпаться, и как бы чего не вышло.

За военными шли штатские. Шли писатели. Тут можно было угадать известных покойников. Поэт Осип Мандельштам, в длинном не по росту, перепачканном могильной жижей ватном одеянии, семенил, с трудом поспевая за шеренгой. Чётко, по-офицерски печатал шаг труп Гумилёва. Спешил, в очках на безносом лице, Исаак Бабель. Нарушая строй, двигались, приплясывая, с косами и серпами крестьянские поэты, за ними маршировали суровые пролетарии. И далее, насыщая воздух столицы запахами распада, шествовало молчаливое мёртвое многолюдье: остатки эксплуататорских классов, отбросы общества в профессорских шапчонках, в пенсне, с трудом держащихся на остатках носовой перегородки, кулацкие элементы в лаптях, священники в рясах, врачи-вредители, ортодоксы-ленинцы, левые и правые уклонисты, революционные евреи, монархисты с императором на палке, — кого тут только не было.

Некоторое замешательство произошло, когда приблизились к цели. Одни, как намечалось, правили к Лубянской площади — там, говорят, все окна таинственной цитадели были заполнены бойцами невидимого фронта, побросавшими дела. Впрочем, к случившемуся отнеслись со всей серьёзностью: гранитные подъезды на случай штурма были забаррикадированы, в центре площади, на круглом постаменте бывшего Рыцаря революции установлено пулемётное гнездо. Другая часть демонстрантов, их было большинство, требовала изменить маршрут.

Следуя этому пожеланию, главнокомандующий повёл своё мёртвое войско через Кремлёвский проезд на главную площадь столицы. Мимо маршала Жукова (при виде марширующего Тухачевского каменный всадник отдал ему честь) к мавзолею. Туда же, естественно, подтянулись всё ещё медлившие силы поддержания порядка.

Всё смолкло. Маршал Тухачевский, стоя на импровизированной трибуне, обвёл толпу безглазым взором, приготовился открыть митинг. Прозвучал перезвон курантов, вслед затем часы на древней башне отбили положенное число ударов. И тут произошло то, чего не могло не произойти: силы повиновения и порядка потеряли терпение. В новенькой униформе — прорезиненные куртки, травянистые порты, полусапоги с высокой шнуровкой, — расчищая путь автоматными очередями и дубинами, устремились вперёд маскированные бойцы-громилы особого назначения. От первого же удара продырявленный пулей наркома Ежова череп маршала Тухачевского (который в своё время и сам был не промах) развалился на крупные и мелкие фрагменты. Ещё удар дубиной — и из съехавшего мундира посыпались на помост обломки рёбер, трубчатых костей и костей таза. На площади и в проездах процедура потребовала более продолжительного времени; подключились подразделения милиции, народные добровольцы и просто желающие размяться. Завершая операцию, на Красную площадь высадились национальные парашютисты. Трое суток подряд грузовики марки «Вольво Трак Файндер» вывозили за пределы столицы груды поломанных костей, ветхие рубища, остатки внутренних органов. Водоструйные машины смыли с брусчатки пятна мозга. Так закончился этот непристойный *marche funèbre*¹.

Но вернёмся к торжественному акту. Десять тысяч военнослужащих оцепили квартал. Тысяча восемьсот сотрудников милиции заняли наблюдательные посты в подъездах, в подворотнях, на балконах и чердаках близлежащих зданий. Грузовики перегородили главные улицы, до трёхсот конных милиционеров охраняли перекрёстки. Патрули народных добровольцев с нарукавными повязками прогуливались по тротуарам. Силы госбезопасности, агенты в штатском обеспечили необходимую меру энтузиазма.

Ждали прибытия державных начальств, предстоятелей церкви, чужеземных гостей. Представители чуть ли не всех государств, во фраках и цилиндрах, в африканских тогах, в арабских бурнусах, в просторных шёлковых штанах и мантиях Дальнего Востока, в тихоокеанских колпаках и шкурах диких зверей заполнили гостевые трибуны. Вокруг теснился народ. Состоялись молебен и освящение; румяные, длиннокудрые и пышнобородые иереи в золотых фелонях и бледнолицые послушники в скуфьях и рясах обошли кругом огромный дворец, орошая стены святой водой. А далее перед зрителями предстало изумительное зрелище. На площади перед порталом появились как бы из тьмы веков древнерусские ратники под предводительством вещего князя Олега,

¹ похоронный марш (*фр.*).

высоко поднявшего свой щит, дабы приколотить его к воротам покорённого Царьграда. Грянул гимн в исполнении сводного оркестра Министерства обороны и Государственного академического Большого театра. За русичами, соблюдая строй, промаршировала новгородская дружина, впереди под княжеским стягом, в багряном плаще и золотом острокопечном шлеме покачивался в седле святой благоверный князь Александр Невский. Следом вели на верёвке поникших, униженных тевтонских рыцарей. Зазвучала музыка композитора Прокофьева. На большом, в половину фасада, полотняном экране осветились кадры Ледового побоища из эпохального фильма режиссёра Эйзенштейна. Площадь опустела, и минуту спустя появился царь-надёжа Иван Грозный, он вёл войска на Казань (на экране — пролом в стене татарского кремля, верный, могучий Малюта Скуратов одной рукой удерживает падающий на него свод, в другой — царское знамя, разверстым бородастым ртом кличет сподвижников на приступ). Оркестр исполнил «Как во городе было во Казани». Криками восхищения, аплодисментами, весёлым смехом встретила публика фельдмаршала Кутузова с повязкой на глазу и согбенного Наполеона, удирающего из России под звуки разудалой «Камаринской», музыка композитора Глинки.

И так далее, и так далее.

Но вот, наконец, дошла очередь до главного номера, наступил кульминационный момент празднества, знаменующий кульминацию всей отечественной истории. Гром оваций, гудение колоколов потрясли цитадель и площадь. Огибая дворец, со стороны набережной, на высоком постаменте, под скрип задрапированных колёс, слегка покачиваясь, ехал семиметровый писанный красками Вождь — победитель Германии, в прямых несгибаемых брюках с алыми лампасами, в белом мундире с золотыми погонами генералиссимуса, в литых, слегка седеющих усах, с бриллиантовой Звездой Победы между углами затканного позументом воротника. А тем временем на экране хищно-радостный, нарумяненный и напудренный Геловани сходил с самолётного трапа в Берлине, приветствовал полки. Оркестр рывкнул: «Славься», объединённый соборный и оперный хор грянул: «Союз нерушимый республик свободных» на слова выдающегося поэта Сергея Михалкова.

Толпа растеклась по улицам и переулкам. Не стало верховой стражи на перекрёстках, милиционеры слезли с коней, с крыш и чердаков, грузовики разъехались. Торжественный декор, фанера и шёлк были припрятаны до следующего праздника. Артисты сдали плащи и знамёна, картонные латы, золотые острокопечные шлемы из папье-маше, древнерусские холщёвые порты, лосины времён Отечественной войны 1812 года, лапти и краснотрёхзвёздные шлемы Гражданской войны, плащ-палатки, гимнастёрки и галифе Великой Отечественной войны — в костюмерные. Дворники сгребали окурки,

жестяные банки, картонки из-под мороженого, огрызки яблок, куриные кости, комья промасленной бумаги из-под жареных цыплят, все свидетельства нового благополучия. Водоструйные машины проехали по площади. Начался новый век.

Сочинитель выбрался из толпы. Опираясь на палку, останавливаясь передохнуть время от времени, проделал пешком путь через центр. День клонился к закату, точнее, было то неопределённое время дня, когда, если не знаешь, который час, невозможно отличить предвечерние сумерки от брезжащего рассвета. Над сумрачным, серокаменным городом простёрлось ярко-серебряное небо, темно отсвечивала слюда окон. Кое-где уже тлели и вздрагивали лиловые и малиновые вывески. Видимо, это был всё же конец дня; две ночи поднимались навстречу друг другу — одна на Западе, другая на Востоке; две ночи готовились слиться друг с другом; странник шёл и шёл, и чем дальше он углублялся в лабиринт улочек и тупиков, тем реже попадались ему встречные пешеходы. Он запомнил, какое сегодня число. И уже почти стемнело. Не уверенный, правильно ли он идёт, он дошёл до угла, свернул и доплёлся до следующего поворота и, наконец, узнал свой переулок, на каменной тумбе сидела учёная птица, повела воронёным клювом, показывая дорогу. Он шагал по Большому Козловскому, дошёл до того места, где переулок раздваивался. У подъезда, напротив бывшего чехословацкого посольства, в конусе света стоял экипаж, бородастый возница дремал на козлах. Писатель вошёл в подъезд, в темноте нашарил кнопку звонка, и шаги Анны Яковлевны зашелестели по коридору.

Finis aeternitatis

2007 год, постскрипtum

Мои друзья просили меня сопроводить книгу кратким объяснением.

Её название больше подошло бы к мемуарам. Тем не менее (как писал мнимый издатель «Опасных связей»), «есть основания думать, что это всего лишь роман». С романиста и взятки гладки. Однако я предвижу трудности, которые, возможно, помешают воспринимать книгу как чисто беллетристическое повествование.

Обыкновенно, когда заходит речь о прозе, спрашивают: о чём это? Ответить нетрудно: эпизоды из жизни некоего персонажа, принадлежащего к поколению сверстников автора. Жизнь эта протекает на фоне истории только что минувшего века с её главными событиями: войной, победой, лагерем, крушением режимов, полагавших себя вечными. По-

зади век заблуждений и злодеяний, масштаб которых заставляет усомниться в том, что некогда именовалось историческим разумом. Можно называть по-разному иррационализм истории: Промысел или Абсурд; выяснилось, что это одно и то же.

Два вождя, С. и Г., — персонификации этого абсурда.

Говорить о том, что герой романа противостоит мировой бессмыслице, смешно: мутный поток истории сбивает его с ног. Герой романа ищет целостности и оправдания своей разлохмаченной жизни — и века, в котором его угораздило жить. Он надеется вернуть ценность своему сугубо частному существованию и найти смысл человекоядной истории. Как? Написать роман.

Трудность чтения моей книги состоит в том, что это одновременно и рассказ о жизни, и рассказ о том, как сочиняется роман о жизни. Точка зрения, с которой обзревается романый мир, двоится. Субъект повествования расщеплён, он существует в разных временах и в нескольких лицах; влачит своё земное существование, и живёт в собственном романе, и размышляет, как ему написать роман.

Литература предстаёт перед ним как последняя надежда, как единственный способ, оглянувшись, заново обрести утраченный смысл. Удастся ли? Вопрос.

Б.Х.

СОДЕРЖАНИЕ

Взгляни на иероглиф	5
Зов родины	83
Возвращение	111
Пусть ночь придёт	179
Вчерашняя вечность. <i>Фрагменты XX столетия</i>	191

Борис Хазанов
ПУСТЬ НОЧЬ ПРИДЁТ
Повести о женщинах

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*
Дизайн обложки *И. Н. Граве*
Оригинал-макет *Б. Н. Марковский*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47

Редакция издательства «Алетейя»:
СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,
тел. (812) 577-48-72, aletheia92@mail.ru

Отдел продаж:
ferpro@yandex.ru, тел. (812) 951-98-99

www.aletheia.spb.ru

*Книги издательства «Алетейя» в Москве
можно приобрести в следующих магазинах:*

- «Историческая книга», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95
«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.
Тел. (495) 915-27-97
Магазин «Фаланстер», Малый Гнезниковский пер., 12/27.
Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21
Магазин «Циолковский», Новая площадь, 3/4, подъезд 7д.
Тел. (495) 628-64-42
«Галерея книги „Нина“», ул. Бахрушина, д. 28. Тел. (495) 959-20-94

Интернет-магазин: www.ozon.ru

Формат 60x88¹/₆. Усл. печ. л. 27,38. Печать офсетная.
Заказ № 3140.

Отпечатано в цифровой типографии ООО «Буки Веди»
на оборудовании Kopica Minolta
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 38, стр. 1, пом. IV
Тел.: (495) 926-63-96, www.bukivedi.com, info@bukivedi.com



Борис Хазанов (псевдоним Г.М.Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет по обвинению в антисоветской агитации, отбывал наказание в Унженском исправительно-трудовом лагере. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей. Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, «Русская премия» (Москва), премия имени Марка Алданова (Нью-Йорк), шорт-лист премий «Русский Букер» и «Большая книга». Живет в Мюнхене.

В издательстве «Алетейя» вышли в свет книги:

Истинная история минувших времен.

К северу от будущего. Романы и повести

Третье время. Романы и повести

После нас потоп. Романы и повести

Вчерашняя вечность. Повести и рассказы

Опровержение Чёрного павлина. Романы, повести, эссе

Миф Россия. Статьи и эссе

Подвиг Искарюта. Рассказы, статьи, письма

В лучах чужих планет. Рассказы, статьи, переводы

Элизум теней. Автобиографическая проза

...Пиши, мой друг. Переписка с Марком Харитоновым (в двух томах)